КОНТИНЕНТ

139

2009

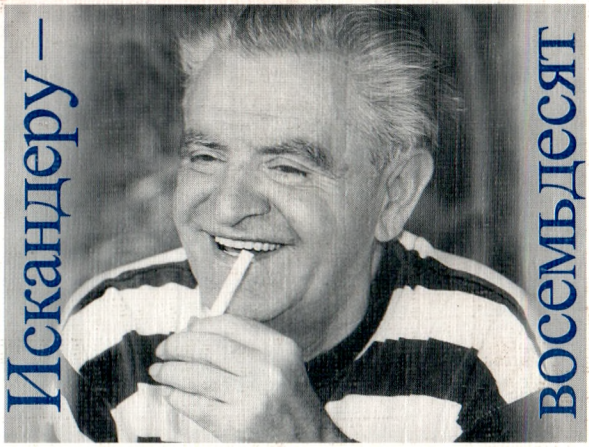
КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

№ 139



Стиль полемики важнее предмета ее; предметы споров меняются, но стиль разговоров – основа национальной традиции, и чем сложнее развитие, тем больше дискуссионных вопросов. Избежать этого нельзя, но можно избежать отчуждения и ненависти и перейти от дискуссии к диалогу, где дух целого витает над различием реплик; и тогда противостояние идей становится созидательной, а не разрушительной силой.

Григорий Померанц



Душа реальна. Вот мой дом.
И потому меня живьем
Никто не взял, не сжал, не скрючил.
Идею чести целиком
Я в этом мире ледяном
На жизнь, как шапку, нахлобучил.

Фазиль Искандер

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

Стихи

Алексея Горобца, Валентина Резника, Владимира Тоцкого

Рассказы и повесть

Нины Горлановой, Надежды Муравьевой, Славы Сергеева

Статьи, очерки, дневники, интервью

Владимира Бибихина, Евгения Гонтмахера, Евгения Ермолина, Александра Кырлежева, Дмитрия Матвеева, Александра Мишуловича, Владимира Можегова, Бориса Немцова и Владимира Милова, Андрея Рудалева, Георгия Семенова, Игоря Фролова, Виктора Шендеровича, Алексея Юдина

А также

наш постоянный раздел

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА»



Последние пятьсот лет центральной проблемой для Московского Царства остаются отношения с вечно притягательным и вечно ненавидимым Западом.

Андрей Пионтковский



Когда мы говорим о Пастернаке и Гете, речь идет не о сходстве манер, а о более глубокой и неожиданной близости.

Ольга Седакова

КОНТИНЕНТ



Сердечно поздравляем

нашего автора, друга и преданного читателя
Льва Соломоновича АЙЗЕРМАНА —
с восьмидесятилетием!

Члена редколлегии, заместителя главного редактора
и незаменимого автора «Континента»
Евгения Анатольевича ЕРМОЛИНА —
с пятидесятилетием!

Желаем нашим дорогим юбилярам
неиссякаемой энергии для долгих лет радости и творчества

Глубоко скорбим о кончине
бесконечно дорогого нам человека
Натальи Леонидовны ТРАУБЕРГ
и приносим соболезнование родным и близким покойной

КОНТИНЕНТ

Литературный, публицистический
и религиозный журнал

Выходит 4 раза в год

139

2009, № 1
январь — март

ПАРИЖ · МОСКВА

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

Журнал основан в 1974 году в Париже
писателем Владимиром МАКСИМОВЫМ

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 014255

Учредитель — И. И. Виноградов

Издатель:

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НЕЗАВИСИМАЯ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "КОНТИНЕНТ"»

Адреса редакции: ул. Мясницкая, д. 22, офис 114-115
ул. Плющиха, д. 27, кв. 1

ВНИМАНИЕ! Рукописи принимаются по адресу:
119121, Москва, ул. Плющиха, д. 27, кв. 1
Время работы редакции: 13:00–17:00 по будням

E-mail: idugina@mail.ru

Телефон редакции:
(499) 248-62-35

Internet: www.magazines.russ.ru/continent/
http://continent-rus.ru/

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются,
и в переписку по этому вопросу редакция не вступает

Материалы, присланные по электронной почте, не рассматриваются

При перепечатке наших материалов ссылка на «Континент»
обязательна

Авторы несут ответственность за достоверность
приводимых ими фактов и цитат

© АНО «Независимая редакция журнала "Континент"»
© Название журнала «Континент» — В. Е. Максимов

Главный редактор
Игорь ВИНОГРАДОВ

Редакционная коллегия:

Марина АДАМОВИЧ
Василий АКСЕНОВ
Юрий АФАНАСЬЕВ
Александр БЛОК
Армандо ВАЛЬЯДАРЕС
Галина ВЕЛИКОВСКАЯ
Галина ВИШНЕВСКАЯ
Алла ДЕМИДОВА
Ион ДРУЦЭ
Евгений ЕРМОЛИН
Николай ЗЛОБИН
Андрей ЗУБОВ
Вячеслав ИВАНОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Оливье КЛЕМАН
Роберт КОНКВЕСТ
Наум КОРЖАВИН
Эдуард КУЗНЕЦОВ
Александр КЫРЛЕЖЕВ
Николаус ЛОБКОВИЦ
Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
Адам МИХНИК
Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ
Жорж НИВА
Амос ОЗ
Мишель ОКУТЮРЬЕ
Ярослав ПЕЛЕНСКИЙ
Валерий СОЙФЕР
Юлиу ЭДЛИС
Сергей ЮРСКИЙ

Редакция:

Галина ВЕЛИКОВСКАЯ, Ирина ДУГИНА,
Евгений ЕРМОЛИН, Марина КОПЫЛОВА, Александр КЫРЛЕЖЕВ,
Сергей ЛЕБЕДЕВ, Светлана ОПАРИНА

Представители «Континента»

АВСТРИЯ
Елена ВОРОНЦОВА
Buchengasse 133/2/32
1100, WIEN, OSTERREICH
☎/fax 0043-1-607-30-23

БОЛГАРИЯ
Наталия ЕРМЕНКОВА
«Интербалканика»,
ул. Карнеги, 11
100 СОФИЯ, БОЛГАРИЯ
☎/fax (359-2) 919-87, 963-42-49

ГЕРМАНИЯ
Лев УКЕЛЬСОН
Wertachstraße 11,
86153 AUGSBURG, BRD
☎/fax (821) 41-77-08

ИЗРАИЛЬ
Юлия ЭЙДЕЛЬМАН
Hashaftim 22
64365 TEL-AVIV, ISRAEL
☎ (03) 69-67-375

ИТАЛИЯ
Александр и Татьяна Сергиевские
69 via Palestro
00185 ROME, ITALIA
☎/fax (+39) 064-463-249

КАНАДА
Ольга БУТЕНКО
1221, Boul. Rene Levesque
SILLERY QC G1S1V8, CANADA
☎/fax (418) 688-1221

ПОЛЬША
Татьяна ХОХЛОВА
U1 Belwederska 25, Rosyiski osrodek nauki i kultury
00-594 WARSZAWA, POLSKA
☎/fax (022) 849-27-30

Веслава ОЛЬБРЫХ
Fundacja «Slavica Orientalia»,
Zadanie 05/150, 05-077
WESOLA 4, POLSKA
☎ (022) 773-10-93

США
Марина АДАМОВИЧ
315 Oak Street
Garwood NJ 07027
☎ (908) 789-59-42

Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
1800 Connecticut ave., N.W.
WASHINGTON, D.C. 20009 USA
☎ (202) 986-6010,
fax (202) 667-4244

ФРАНЦИЯ
Татьяна МАКСИМОВА
5 rue Chalgin, 75116 PARIS,
FRANCE
☎ (1) 45-00-67-56

Анастасия ВИНОГРАДОВА
62-bis, Avenue du general Leclerc
78230 LE PECQ, FRANCE
☎ (1) 30-61-11-24

ШВЕЙЦАРИЯ
Нелли ЗЕДГИНИДЗЕ
25 Malagnou
1208 GENEVE, SUISSE
☎/fax (22) 736-40-69

Татьяна ХОФЕР-НИКОЛАЕВА
15 Ch. de la Rochette
1202 GENEVE, SUISSE
☎ (22) 736-14-82

ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ
Леон Габриэль ТАЙВАН
Raina bulv., 19
LV 1586, RIGA, LATVIA
☎ (3712) 234-145

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции 9

К 80-летию Фазиля Искандера

Фазиль ИСКАНДЕР. Стихи 10
Евгений ЕРМОЛИН. Эдельвейсы с Ошхамахо 12
Георгий СЕМЕНОВ. Фазиль Искандер 13

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ «КОНТИНЕНТА»

Алексей ГОРОБЕЦ
Осенний ветер счастья. *Стихи* 15

Слава СЕРГЕЕВ
Москва нас больше не любит. *Повесть «нулевых» лет* 20

Владимир ТОЦКИЙ
Я вышивал крестом на перекрестной рифме. *Стихи* 99

Нина ГОРЛАНОВА
Поднебесных 103

Валентин РЕЗНИК
От ГУЛага до Арбата. *Стихи* 109

Надежда МУРАВЬЕВА
Плоть слова. *Рассказы* 114

РОССИЯ И МИР

Григорий ПОМЕРАНЦ
Черная харизма 154

Андрей ПИОНТКОВСКИЙ
В поисках потерянного времени 159

У нас в гостях «Новая газета» и журнал «The New Times»

Борис НЕМЦОВ, Владимир МИЛОВ
Путин и кризис 178

Евгений ГОНТМАХЕР
На обломках самовластья 182

Александр МИШУЛОВИЧ
Прогноз и диагноз. *Еще раз о науке и религии* 186

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ
Комментарий к событиям российской жизни
/декабрь 2008— февраль 2009 г./ 203

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Проблемы российской современности *в русской сетевой и бумажной периодике четвертого квартала 2008 г.* 219

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

Виктор ТОПОЛЯНСКИЙ. Фартовое дело 251

РЕЛИГИЯ

Александр КЫРЛЕЖЕВ. Памяти Оливье Клемана 268

Владимир МОЖЕГОВ. После выборов 273

У книжной полки

Алексей ЮДИН. Диалектика постсекуляризации 306

Основные события церковной жизни в зеркале прессы (*декабрь 2008 — февраль 2009*) 322

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Религиозная мысль *в русской сетевой и бумажной периодике четвертого квартала 2008 г.* 330

ГНОЗИС

Владимир БИБИХИН. К обновлению веры 342

У книжной полки

Дмитрий МАТВЕЕВ. Как спасти «разговор о боге» 353

ПРОЧТЕНИЕ

Ольга СЕДАКОВА. Символ и сила 371

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

В фокусе — Захар Прилепин

Игорь ФРОЛОВ. Закон сохранения страха 435

Андрей РУДАЛЕВ. Поедая собственную душу 452

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Художественная литература *Четвертый квартал 2008 г.* 466

ПРИЛОЖЕНИЕ

Результаты экспертизы по делу Пионтковского 497

От редакции

Мы должны от себя и от имени А. Н. Илларионова принести извинения читателям: мы не сумели выполнить обещанное — напечатать в этом номере большое аналитическое исследование о российско-грузинской войне 2008 года, предпринятое группой авторов под руководством А. Н. Илларионова. К сожалению, завершение и подготовка текста к печати заняли у авторов много больше времени, чем рассчитывали и они, и мы. Редакция «Континента» до последней возможности задерживала этот номер, чтобы обещанный материал все-таки попал на его страницы. Но дальнейшее ожидание грозило тем, что нам пришлось бы извиняться перед читателями уже за куда большее и совсем уж недопустимое опоздание с выходом номера, чем теперь. Авторы исследования заверяют, что в следующем, 140-м номере оно непременно появится на наших страницах. Мы берем на себя риск и ответственность заверить в этом читателей и со своей стороны.

Мы должны также сообщить нашим читателям, что в Хамовническом суде г. Москвы рассматривался иск г-на Дубинина и г-на Алексашенко к редакции «Континента» и А. Н. Илларионову по поводу двух высказываний А. Н. Илларионова об их деятельности в 1998 году, содержавшихся в его интервью «Континенту» (№ 134). В одной части иска истцам было отказано, в другой суд частично удовлетворил их требования и обязал редакцию «Континента» напечатать соответствующее опровержение, которые мы, во исполнение решения суда, ниже и помещаем:

Опровержение

В соответствии с решением Хамовнического районного суда г. Москвы опровергаются сведения, содержащиеся в интервью Андрея Николаевича Илларионова, опубликованном в номере 134 журнала «Континент» за 2007 год, о том, что Дубинин Сергей Константинович, Алексашенко Сергей Владимирович участвовали в валютных операциях на Чикагской бирже.

К этому нам остается добавить только, что мы считаем себя безусловно обязанными объяснить читателям, как могло появиться на страницах «Континента» то, что нам пришлось по решению суда (которое мы считаем совершенно справедливым во всех его пунктах) опровергать. В следующем номере мы подробно расскажем обо всей этой судебной эпопее, тем более, что она обязывает нас вновь затронуть целый ряд чрезвычайно важных и острых общественных проблем.

К 80-летию Фазиля Искандера

Шестого марта этого года исполнилось 80 лет Фазилю Искандеру — нашему любимому писателю, автору бессмертного эпоса «Сандро из Чегема» и многих других замечательных произведений, вошедших в золотой фонд современной русской прозы; оригинальнейшему поэту, неповторимому человеку, соединившему в своем творчестве искрометный юмор с тонким и глубоким философским осмыслением природы человека и социума; редкостно счастливому литератору, чьи фразы, формулы и выражения стали популярными афоризмами; вице-президенту Российского ПЕН-клуба и давнему члену редколлегии нашего журнала. Мы горячо поздравляем патриарха отечественной словесности и желаем ему долгой, наполненной светом жизни, новых творческих свершений и разнообразных радостных досугов.

Поздравленья юбиляру шлют в эти дни и рядовые блоггеры Сети, и разного разбора знаменитости, и президент с премьером. Но наше подношение — иного свойства. Мы публикуем в этом номере несколько новых стихотворений самого Фазиля Искандера, короткое эссе о его творчестве, написанное Евгением Ермолиным, а также предоставленный нам Еленой Семеновой небольшой текст из записных книжек ее мужа, известного русского писателя Георгия Семенова (1931—1992). Эти несколько страничек представляются нам особенно, может быть, трепетным, неожиданным и дорогим для Фазиля Искандера подарком к его юбилею — голосом любви и восхищения из его прошлой жизни, голосом его давнего друга.

Фазиль ИСКАНДЕР

Старому другу

Мой старый друг, мы однолетки,
Как яблоки с единой ветки,
Давай умрем одновременно,
А если повезет, — мгновенно.

И, если повезет нежданно,
Ты улыбнешься мне: — Не кисни.
А я подумаю: как странно,
Улыбка — это утро жизни.

Хитрость

Этой темы коснемся слегка,
Человека понять нам поможет:
Хитрость — развитый ум дурака,
Он иначе развиться не может.

Протест

Вершит свой путь цивилизация
И на искусстве ставит крест.
И в знак протеста нализаться я
Решил. И выразил протест.

Небо и земля

Незабываемый вовеки
Широкоглазия разрез,
Полуопущенные веки
Под легкой тяжестью небес.

Под легкой тяжестью... Нелепо,
Но с логикою невпопад,
Кто чаще думает про небо,
Тот чаще опускает взгляд.

Письмо

Он не ответил на письмо.
От предрассудков независим,
Решил: забудется само,
Да мало ли случайных писем!

...Десяток простодушных строк.
А на душе неловкость, смута.
Как бы на дружеский кивок
Вдруг не ответил почему-то.

Бывшие друзья

Как беспощадны бывшие друзья,
Особенно в часы душевной смуты.
Без ненависти вспоминать нельзя
Зачеркнутые лучшие минуты.

Ты отказался от любви его,
Хотя свою уже вернуть не в силах.
Где было всё — теперь там ничего,
Зевота и зиянье дней постылых.

Евгений ЕРМОЛИН

ЭДЕЛЬВЕЙСЫ С ОШХАМАХО

В наших сегодняшних литературных и прочих играх, среди дрязг и интриг, огромная фигура Искандера маячит на все более далеком и туманном горизонте, как некий недостижимый, почти мистический Эльбрус, осененный блистающими снегами. Вот он здесь и рядом — и в то же время где-то *там*, как олимпийское божество, степенно вкушающее нектар и амброзию вечности. Увы, божество уже почти совсем чуждое злобе дня, поскольку она слишком зла, а день слишком ничтожен в своих банальных выраженьях. Масштабы очевидно не совпадают, откуда эффект даже не сшибки, а какой-то фигуры взаимного недоумения. (И вот я не уверен, что он слишком уж по делу подключился к комментированию событий августовской Кавказской войны минувшего года. Но Бог ему судья.)

В середине XX в. Искандер успел попасть на пир русской культуры, русской литературы, понесших к тому времени огромные жертвы и потери, но как-то сохранявших и ресурс общественного влияния, и умение говорить с царями, не теряя достоинства. А главное — сохранявших дух вселенскости, щедрое, отзывчивое сердце и гуманную душу. Умевших чужое делать своим и близким.

Сегодня мы питаемся зачерствевшими крохами с этого пиршества, а молодые писатели из ближнего зарубежья, даже и пишущие на русском языке, не стесняются признаваться в своей нелюбви к России. Да и за что ее сегодня любить, эту провинциальную химеру, алчную, мстительную, лишенную великодушья?

Но если вы все ж любите Россию не в ее слишком распространившихся подлости и пошлости, а в ее идеальном проекте, если вы хотите услышать, как шумит в ушах горячий и вечный ветер ближневосточья и средиземноморья, долетевший до восточного черноморского берега и перенесенный затем в гнилые погоды Москвы; если вы хотите услышать, как может чисто и нежно звучать русское слово, украшенное, но не сокрушенное перлами восточного красноречия, и если «настоящий человек» как герой и как автор русской прозы для вас не фикция, — вам нужно читать Искандера.

Наивная и мудрая человечность его книг — как выстрел, пронзающий душу насквозь. Этна в предгорьи трусов и трусих. И с этой дырой в душе живешь уже дальше, благодарно и памятно.

Завершая развитие «горной» метафоры, вспомню еще одно имя Эльбруса: Кускамафь, или Ошхамахо, — Гора-Приносящая-Счастье. Простое и редкое вещество счастья и составляет его дар читателям.

Пять лет назад в статье о Искандере я писал: важно иногда сознавать, что есть в нашей словесности патриархальный патрициат. Есть немолодые многоопытные люди с небесспорными, но явными достижениями, писатели, много лет собеседующие с веком и миром — каждый в свою меру. А в совокупности — этакая бранная когорта, благодаря которой многое все-таки состоялось в русской литературе... Список этих стариков, который был предложен тогда, сильно поредел. А вот Искандера «кавказские гены» счастливо наградили завидным долголетием. Порадуемся.

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР

...Я не собираюсь при жизни памятники ставить никому, но Фазиль Искандер для меня и русский писатель, и абхазский, и даже немножечко испанский. Почему испанский? А его «Сандро из Чегема» напоминает мне героя Сервантовского «Дон Кихота»: Санчо Панса — такой же мудрый и хитроватый, находчивый в трудную минуту человек. А как же сам рыцарь? А рыцарь — это автор, Фазиль Искандер. Вот потому и испанский.

Чтение книг Фазиля Искандера доставляет мне истинное наслаждение. А вот писать о его произведениях — дело чрезвычайно трудное. Я предпочел бы ограничиться одной-единственной фразой: все, что пишет Фазиль Искандер, мне очень и очень нравится. Но «нравится» — это еще не оценка, хотя, по сути дела, мы не обходимся без этого пресловутого «нравится», когда думаем или говорим о талантливой книге, кинофильме, архитектурном сооружении...

Я считаю самым ярким проявлением талантливости автора, когда он своими произведениями влияет на собрата по письму, когда этот читающий собрат открывает вдруг в своей жизни, в своем опыте какие-то еще не использованные возможности. Когда эстетическая память его начинает вдруг разматывать клубочки забытых каких-то явлений, событий, лиц, жестов, слов — и все эти разрозненные звенья начинают образовывать еще не совсем крепкую, но уже явственно ощутимую цепочку.

Наша критика зачастую забывает о том огромном влиянии, какое оказывает на писателя сама литература, — я имею в виду «высокую литературу», которая обладает чуть ли не физическими свойствами действительности. Эта литература наряду с самой действительностью способна подвигнуть писателя на создание своего оригинального произведения, ничего общего не имеющего с рассказом, повестью или романом, разбудившим в нем творца.

Это, конечно, только подтверждает мысль о том, что искусство — не средство, а сама действительность. Что оно способно даже подняться над действительностью, стать выше ее, обрести в своей законченности бессмертие, в то время как действительность, исторгнувшая то или иное произведение искусства, давно уже умерла, истлела и забылась.

Как-то мы с Фазилем Искандером разговорились о литературе, и он, между прочим, сказал: есть характер, значит, есть художественное произведение...

Его характер... Он не железный, не твердокаменный, его нельзя ковать, нельзя с помощью какого-то сверхсильного давления расплющить, раздолбить, сломать... А почему? А потому, что он имеет мягкий характер. Но именно характер. Есть мягкий, на все согласный человек. Фазиль не такой. Я его воспринимаю упругим и очень жизнерадостным, насмешливым. Это очень важно. Его надавил, например, кто-то, а он спружинил и отпрыгнул в сторону из-под руки, и так же смеется, так же упруг и мягок.

В детстве, я помню, читал, и мне рассказывали про гуттаперчевого мальчика, — вот Фазиль такой же. Восторженное удивление, его полновесное, округлое какое-то, вопросительное: «Да-а?» — сразу словно бы вонзается в тебя высочайшим требованием, чтобы ты, рассказывающий что-то, напрягся и не говорил глупостей, а сказал что-то достойное его внимания. В этом смысле с ним трудно говорить, надо быть все время умным. Вот такое у меня впечатление.

Фазиль Искандер в своих произведениях создает образ целого народа. Он каким-то странным и непостижимым образом заселяет горную и равнинную Абхазию людьми. Эти люди смеются, пьют вино, веселятся, печалятся, стареют, умирают и вновь рождаются. Но у Фазиля Искандера своя Абхазия, как свой Париж у Бальзака или своя Малороссия у Гоголя, Петербург у Достоевского. Я не боюсь этих высоких сравнений, потому что в лучших своих произведениях, в частности, в романе «Сандро из Чегема», он достигает таких вершин жизнеописания, что дух захватывает от восторга. Это позволяет говорить о его необыкновенном и редком таланте.

Он умеет смеяться. Господи, как славно и как весело он смеется!

Юмор в его произведениях — это народный юмор, а под этим понятием я подразумеваю врачующую силу юмора, его целебные какие-то свойства. У нас достаточно писателей процветает на юмористической ниве. И ни один из них не идет ни в какое сравнение с Фазилем Искандером, который словно бы обладает мудростью старого и хорошо прожившего свой век крестьянина, способного и к владыке мира обратиться на «ты», не возмутив при этом властителя. Удивительный и редкий дар!

Важно отметить неколебимость нравственной позиции писателя. В любых ситуациях, порой очень щекотливых с точки зрения уголовного кодекса, его герои остаются рыцарями духа — добрыми и честными, мужественными и отважными людьми. А сам автор, который придумывает те или иные нравственные испытания своим героям и который словно бы и не всегда уверен, что они справятся с честью с ними, радуется в конце концов за них и смеется чуть ли не со слезами от радости, что они, эти люди, не подвели своего создателя. Но порок — есть порок, и он всегда наказывается в произведениях Фазиля Искандера.

Я даже не знаю, с кем из современных писателей можно было бы сравнить Фазиля Искандера. Он несравненен.

7 ноября 1987 года

Алексей ГОРОБЕЦ

ОСЕННИЙ ВЕТЕР СЧАСТЬЯ

* * *

Умой слова,
Повычеркни красивости
И удержи — хотя бы до утра! —
Любовь к печали,
Верность справедливости
И тайнопись гусиного пера.

Оставь свою избыточную мудрость
Дождям — и не таи, тем паче, зла
На скаредность и сумрачную скудность
Осеннего усталого тепла.

И наших рук разомкнутые тени,
И память губ, что я не превозмог,
Калиткой скрипнут, ступят на порог...
И сны твои читая между строк,
Рассудит нас усталый и осенний

Наш бог любви,
Любви печальный бог.

* * *

Твой прошлый день
Дождит, темнее ночи став,
Уходит в дым, в пожухлость листьев,
В скрип
Орешника, в простудный лепет лип...
А тихий снег
Уже припал, прилип
К ветвям твоим, прокручивая клип
О безысходном счастье одиночества,
Где, равнодушно листья полистав,
Зима всему навяжет свой устав.

Алексей ГОРОБЕЦ — родился в 1936 г. в Краснодаре. Окончил Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова. Автор девяти поэтических сборников. Живет в станице Полтавской Краснодарского края.

* * *

Отсуетилось лето. Волчьи броды
Заилились. Покой большой реки
Объемлет душу. Призраки свободы —
Обрывки туч — чужим ветрам в угоду
Плывут вверху, легки и далеки.

Плывут,
И след дождя на снежном насте
Все явственней напомнит волчий след,
И передыху не было и нет
В чреде тебе назначенных ненастий
И липких зол, и неотвязных бед.

И что теперь пенять и обижаться
На хлад и сумрак, иней на ветвях,
Когда в околках, в колких кучерях
Терновников,
Чья участь — безучастье,
Все явственней осенний ветер счастья
И зимний ужас,
И весенний страх.

* * *

Усталая мгла
Поспешает навстречу рассвету.
Вспотели витрины, остыли ночные огни.

Просящему дай.
И забудь, и не будем об этом:
Поверим, что звезды —
Кометы, планеты, ракеты —
Не то чтоб угасли,
Но просто остались одни.

Просящему — дай.
Не рядись крохобором и жмотом.
И замыслов сложных
И ложных надежд не таи.
Слонов — отпусти!
Раздари их поштучно и оптом.
И все, что осталось, — оставь.
И люби, и терпи.

Осталось чуть-чуть?
Ну, так пусть себе и остается
Вот этой вот моросью
Мелких осенних тревог,
Пожухлой листвой,
Уплатившей свой желтый оброк,

И ближе к зиме — той поземкой,
Что тихо займется
Печалью и мороком
Наших небесных дорог.

* * *

Не любят их — худых и сирых,
Героев свар и мелких драк.
Пасет несытая Россия
Бездомных брошенных собак.

Они юлят с улыбкой жалкой
У остановки, где «чипок»,
И кто-то тянется за палкой,
И кто-то бросит им кусок...

И не расслышать,
Не подслушать
Счастливый всхлип собачьих снов,
Где дым и дом, очаг и кров,
И безоглядная любовь,

И в небе — страждущие души
Бездомных белых облаков.

* * *

Поговорим немного о себе:
Чуть-чуть о счастье,
Может — о судьбе,
О стойкости травы,
О состраданье
Снегов,
О домовом в печной трубе,
О суете и вечном ожиданье, —

И несказанном, сказочном желанье
Упасть в траву и утонуть в траве...

* * *

Снится июнь станице.
Лошади на мосту.
Лики тумана, лица
Сонных коров. Пастух
Звонким бичом гордится.
Мокрый асфальт дымится.
Утро.
Поет петух.
Конский каштан в цвету.

* * *

А по ночам,
Когда объятый сном,
Уже совсем угомонился дом,
Акация роняет сор на крышу.
Скрипит орех —
И мы друг друга слышим,
И лунная исходит благодать
На заросли терновника и вишен.

И тишина,
И озаренье свыше,
Которое ни вспомнить,
Ни понять.

* * *

Не надо правды...
Нам любви и веры
Вполне достанет, и всего нужней
Озябший ветер, сбивчивость дождей
И облачная свежесть атмосферы.

Не надо большего —
А ну как отберут!
А к малому — глядишь, так и прибавят,
И тишину молчанием подправят,
И потеряют нас,
И не найдут

В лугах грибных,
В садах среди дерев,
В болотинах,
В лесах по хвойным чащам —

В холодном и ненастном настоящем,
Где мы дыханье истины обрящем,
В глаза взглянуть ей
Так и не успев...

Слава СЕРГЕЕВ

МОСКВА НАС БОЛЬШЕ НЕ ЛЮБИТ

Повесть «нулевых» лет[1]

Этот воздух — пусть будет свидетелем.
Мандельштам

Вступление

Случайный штурмовик над Китай-Городом

Это было незадолго перед Пасхой, погода была хорошая, и моя знакомая позвала меня погулять и выпить вина в ее компанию.

— Будет мой муж, ты его знаешь, потом рыжий Лева, ты его тоже знаешь, его невеста и еще два-три человека. Так что компания небольшая. Мы собираемся у метро Китай-город, я тебя жду у церкви перед площадью, в восемь вечера, придешь?

Я подумал и сказал:

— Приду.

На следующий день я приехал, и знаете, очень здорово сделал, что приехал, смотрю издали — а она идет по Солянке, красивая, в длинном платье с цветами и белым пластмассовым стаканчиком вина в руке. Симпатично это было, и давно я этого не видел, уже лет пять-шесть точно. К тому же эти места, я их люблю, там недалеко, у Яузы, в юности жила моя первая возлюбленная, чуть вверх к Покровке — хорошие друзья, они потом в Америку уехали, в располагающемся в Котельнической высотке кинотеатре «Иллюзион» раньше показывали замечательные фильмы, которые не показывали больше нигде.

И вообще, этот треугольник, Китай-город — Покровские ворота — Чистопрудный бульвар, почти нетронутая, старая Москва; там много чего есть и было, и когда-то давно, в начале 1990-х, в подвале под церковью на улице Забелина был первый частный книжный магазин — «Интербук» назывался, помните? Купишь книжку, Фрейда или Юнга (у них

[1] Журнальный вариант.

Слава СЕРГЕЕВ — родился в Москве. По первому образованию — геолог. Учился в Литературном институте им. А. М. Горького. Печатался в журналах «Дружба народов», «Новое время», «Новое литературное обозрение», «Огонек» и др. Автор книг прозы «Места пребывания истинной интеллигенции» (лонг-лист премии «Национальный бестселлер — 2007») и «Капо Юрий, море и фея Калипсо». Постоянный автор «Континента». Живет в Москве.

еще был тогда очень симпатичный логотипчик: сова и змея, то есть два символа мудрости), и идешь с ней этими переулками, тоже себя каким-то *таким* чувствуя. Не *кем-то* (не путайте), а *каким-то*. Важная вещь для так называемой самоидентификации. Ну вот, и представляете, компания моей знакомой облюбовала для своего праздника садик недалеко от этой самой церкви на Забелина. То есть маленький натуральный садик — площадка, клумба, стол, лавочки; на столе у них красное вино, газетка, закуска кое-какая, пластмассовые стаканчики. Идиллия...

А я, кстати, еще по телефону ей сказал:

— Пост вроде, нельзя пить?

Так мне ее муж и говорит:

— Главное, дорогой С., в эту неделю людей не есть, а все остальное ладно.

И я подумал: вот и хорошо. Ведь смешно, ну что он такого сказал, сам это прекрасно понимаешь, элементарные вещи, но видно такой я человек — несамостоятельный, и мне надо, чтобы кто-то мою мысль подтвердил. Потом, редко сейчас услышишь какие-то вменяемые речи, и поэтому каждый раз они воспринимаются почти как откровение.

А еще я немного унывал в эту неделю, вообще какое-то настроение было неровное, весна, авитаминоз, «общая обстановка», видимо, а ведь уныние — это грех. Тем более под праздник. Так что, увидев их стол со стаканчиками, я очень обрадовался. Будто помолодел лет на 10, а то и больше. Давно такого не было, вообще-то, сто лет в садиках не пил. Или даже сто двадцать.

И о чем-то таком мы заговорили — о чем-то важном, под красное вино-то.

С ее мужем мы заговорили о России, о чем же еще, — и он сказал, что, находясь в Москве, он всегда чувствует над собой как будто защитный купол, — он еще показал руками, обвел полукруг над головой:

— Вот так.

Я говорю:

— *В Москве?*

— Именно.

И я ему позавидовал.

И вот не помню, то ли тут же, то ли через какое-то время, вдруг слышим свист и гул в воздухе, как от снаряда, ё-мое, все еще перестали гомонить и головы задрали. И, смотрим — в небе низко-низко, прямо над Кремлем и административным кварталом около него летит, — но не дракон, не волнуйтесь, а... военный самолет. Нет, честное слово, я не вру. Про защитный-то купол поговорили, и вот вам, пожалуйста, нате «купол». Как будто специально. И прямо видно, что самолет пятнисто-зеленый и красные звезды на крыльях. И он так еще быстро, со страшным, не городским, *не мирным грохотом* промчался над домами и забрал резко вверх — и его за крышами не стало видно.

Ничего себе. Все так: оба-на... Что это? Но наш народ пустяками вроде военной авиации ведь не проймешь — все ровно на полминуты замол-

чали, а потом продолжили, как ни в чем не бывало, трещать. Типа подумаешь, ерунда. Кто-то, правда, сказал, что это СУ-27, штурмовая авиация, но как-то это не получило развития: 27 и 27, неважно. Будем!.. Хоть 37!.. Чокнулись пластмассовыми стаканчиками. Я было пошутил, что, мол, *началось*, но это тоже поддержки не получило, все улыбнулись и дальше поехали. И как-то я про это странное происшествие тоже быстро забыл, мы с моей знакомой в момент пролета штурмовика говорили о чувстве ее подруги к одному человеку на их работе, потом ходили за хачапури в ближайшую шашлычную, потом про новые книги, что хорошего вышло за то время, пока мы не виделись, потом про то, жениться Рыжему на своей невесте или нет, — и как-то я этот самолет держал на краю сознания, но речь о нем не заходила. Я, правда, машинально подумал, что вижу военный самолет над Москвой в первый раз и что даже в 1991-м и в 1993 годах их не было, но подумал и подумал, и все.

С того случая прошло дней 10 и, видимо, «музыка навеяла», по ТВ началась вся эта квазивоенная истерия, после Пасхи 9 мая приближалось, как вдруг я вспомнил этот самолет однажды вечером и подумал: так вот как это выглядит в Грозном, и вот как выглядело в Белграде. Страшный драконий шум и свист, и эта пятнистая машина, с необыкновенной быстротой низко-низко проносящаяся над домами. А ты только голову в плечи втягиваешь и понять ничего не можешь.

Смешно, но про это потом нигде не было, я и газеты покупаю, и «Эхо Москвы» иногда включаю, но никто нигде ничего не говорил. И я подумал: может, к параду готовились? А я уж и разволновался...

Но нет, увы, у приятеля дочка-студентка участвовала в театрализованном представлении 9 мая на Красной площади, перед Путиным и тогдашним премьером Фрадковым танцевала.

Они, начиная со 2 мая, репетировали, и я ее спросил: а что, авиация в репетициях не участвовала?

Она даже удивилась:

— Нет, что ты, ни разу...

Но не привиделось же мне!..

Еще я вспоминал слова мужа своей знакомый про защитный купол и все думал: так есть купол или его нет?

Часть первая

Нужна ли миру доброта Иры

(размышления над классикой)

У моего приятеля, художника В. есть подруга. Она, как говорится, немного любит выпить. Наверное, ей чего-то не хватает по жизни, мой приятель человек симпатичный, но как все творцы — эгоист. Или эгоцентрик, как минимум. И, когда она выпьет, она становится не то, чтобы буйной, но беспокойной: то уедет куда-нибудь с друзьями и вернется только на следующий день, то кокетничает напропалую с его ближай-

шим товарищем, а однажды летом, когда они поссорились, она ушла и заснула прямо на лавочке возле Чистых прудов. Вот картина-то была, когда художник вышел утром в магазин и обнаружил ее!.. Он потом долго думал, гуляла соседка по площадке со своей таксой или еще нет? В. злится, ревнует ее, говорит, что хочет покоя, семьи, но сам тоже изменяет ей довольно часто.

И вот однажды, в один из таких загулов, у метро Чистые пруды к этой Ире подошел бомж и попросил денег — «на хлеб». И Ира, вместо того, чтобы дать человеку 10 рублей и не совать нос не в свои дела, пошла с ним к ближайшему продовольственному ларьку и купила ему хлеб. *Чтобы он подаяние не пропил,* – знаете, есть такая модная тема.

Но пока она покупала бомжу хлеб, он ушел. Потому что на хер ему Ирин хлеб и добродетель, ему нужны либо деньги на водку, либо сама водка, а не то, чтобы кто-то за 10 рублей ему мозги пудрил. Смешная ситуация, несмотря на то, что Ира была пьяная, она ее оценила. То есть старая российская история XVIII–XIX века — «интеллиенція и народъ» вновь обрела свою актуальность, прямо зазвенела, будто серебряной ложкой задели о стеклянный стакан. Дзин-нь!..

И тогда, — видимо, не до конца насладившись несостоявшимся облагодетельствованием бомжа (ну и пьяная), — тогда Ира встала у магазина и стала предлагать хлеб прохожим. Те, естественно шарахались, а она все предлагала и предлагала: возьмите, это же хлеб, он чистый и свежий, вот пакет, я только что его купила одному человеку, но он ушел.

Сколько она так стояла — неизвестно. По счастью, кто-то из наших в это время проходил мимо и забрал ее вместе с хлебом. Говорит, еще идти не хотела, упиралась — почему они не хотят брать мой хлеб?

Забавная история. Чего в ней больше — мазохизма или пусть пьяной, но искренности, я не знаю.

Только не говорите В.: он будет расстраиваться, и они опять поругаются.

Московские знакомые

Вечером в Зурбагане почти всегда можно пройтись вдоль моря.

Почти — если нет сильного ветра. Собственно говоря, кроме прогулок здесь и делать-то нечего. Мест, где можно тихо посидеть — без музыки, пьяных завсегдатаев и облаков сигаретного дыма — либо раз, два, и обчелся, либо очень дорого (что не исключает провинциальности и некого сопутствующего тому уголовного налета), столики на улице только в двух-трех местах, мы, правда, нашли одну очень симпатичную маленькую кофейню в районе Пушкинской аллеи, но она закрывалась в семь вечера. Хозяйка после наших просьб продлила рабочий день до восьми (сказала: не сезон! приходите в мае, будем работать до десяти), а так вообще — тетка-официантка сначала пальцем ткнула в какую-то бумажку на двери:

— Расписание видели?!

В общем, союз нерушимый, спаяла навеки — когда же это кончится?

Но через неделю мы привыкли. Да и собственно, какое *кафе* еще нужно — возьми пузырек местного неплохого коньяку, подстели свитер и сядь где-нибудь на берегу, смотри на волны, на огни вечернего города, на темнеющие вдали горы, прихлебывай коньяк и опять — представляй себя, кем хочешь – хочешь Бродским или даже Овидием, а хочешь, Буниным или Чеховым.

Однажды днем, возвращаясь с прогулки, увидели на набережной старых московских знакомых. Ничего себе! В Москве мы их года три не видели, это самое меньшее, а тут — здравствуйте, сидят...

Все обрадовались. Причем мы узнали-то не всех, только троих, а оказалось — там целая компания, человек десять. У нового мужа моей старой знакомой — день рождения, вот они и приехали, праздновать. Виза пока не нужна, лететь из Москвы всего час с копейками, а места всем известные.

Мы даже смутились немного, все-таки отвыкли от людей. У нас общения в Зурбагане — хозяйка нашей квартиры, немолодая девушка с собачкой-левреткой, да случайные встречные. И так уже месяц. Одичаешь...

Про эту компанию нужно сказать несколько слов. Эта моя знакомая, Аня, у нее так вышло, что бывший муж и нынешний — они были приятели, а когда... ну, когда все произошло, все приятелями и остались. Это в каком-то смысле хорошо, потому что друзья остаются друзьями, несмотря ни на что, к тому же есть ведь общее дитя, которому ко времени нашей встречи незаметно исполнилось 17 лет, и я даже не понял сначала, а кто эта темненькая симпатичная девушка рядом с ними?

Но в каком-то смысле теснота отношений ощущается немного нервно всеми участниками проекта, а местами просто анекдотично, в духе фильма «Покровские ворота». Но, что самое интересное, новая жена прежнего мужа нашей Ани (жизнь-то идет, и он тоже женился, — вы только не потеряйте нить), так вот, новая жена, у нее день рождения — в тот же день, что и у нового Аниного мужа! Вот так, такие совпадения. Двое из ларца.

Подобные забавные вещи бывают, у меня есть еще примеры. Одни мои друзья расстались и в новых семьях (совершенно независимо друг от друга, им хорошие отношения сохранить не удалось) родили детей с разницей в два или три, точно не помню, года. И не знаю, поверите ли вы мне, но эти дети родились в один день и, более того, знакомые дали этим девочкам одинаковые имена!.. В общем, есть много странного на свете, друг Горацио, и, возможно, нет ничего случайного в этом самом случайном из миров...

Так вот. Все очень мило, они дружат семьями, вместе работают иногда, как выяснилось за столом, даже построили по соседству дачи, но я уже видел раньше и сейчас увидел снова, что то первый муж, то уже нынешний начинают временами сильно нервничать и как-то не понимать — а что, собственно, происходит? Это, кстати, немного забегу впе-

ред, неожиданно проявилось во время этой, нашей случайной Зурбаганской встречи.

Но сначала все, как я уже говорил, бурно обрадовались, стали смеяться, спрашивать, что мы здесь делаем, как давно, а, узнав, что мы сидим здесь уже полтора месяца, завистливо завздыхали и спрашивали, а как же моя работа, дела, дела жены, неужели мы на все это наплевали и так далее.

Я рассказал, что мы сюда попали случайно, потому что, будучи пару лет назад в Киеве во время их Оранжевой революции, я, подняв голову на вокзале, увидел на расписании несколько строк с симферопольскими поездами и узнал, что купейный билет из Киева в Крым стоит 12 долларов, а ехать всего ночь; потом посмотрел погоду в Интернете и увидел, что там (в Крыму) плюс 14. В Киеве в тот день шел густой снег.

Ну вот и все, цифра «плюс 14» решила дело, а приехав в конце января 2005 года в Симферополь, мы действительно увидели солнце и людей в пиджаках и кофтах, будто на улице был московский конец апреля, пальмы, траву и маргаритки на клумбах, и на нас все это произвело довольно большое впечатление, так как мы, как люди не очень имущие, на тот момент зимой в теплых местах не бывали.

— А что ты делал в Киеве? — спросил первый Анин муж, Андрей.

— Был на Майдане, — сказал я. Причем я сказал это специально кратко, не добавляя, что ездил туда в командировку от одного журнала. Причем командировка эта состояла в том, чтобы беседовать не с политиками, что делали в то время все кому не лень, и к которым было не пробиться, а с обычными людьми на улицах, что я и сделал с нараставшим удивлением и удовольствием, потому что те человек 10-15, которых я «опросил», говорили удивительно здравые вещи.

Никто ничего не нес, как это очень часто бывает на улицах Москвы, не было никакой агрессии во все стороны, обиженной на весь мир позы или там антироссийского национализма, как говорили по нашему ТВ, — ничего этого не было и в помине, миллионная толпа просто радовалась произошедшему, и все сильно напоминало наш 1991 год, но про это уже много писали.

Но я ничего из этого не сказал, а только кратко заметил, что сделал в Киеве несколько интервью, а этот Андрей, он всегда был склонен к небольшому идиотизму, он сказал с нажимом:

— *Понятно,*— и добавил:

— А с Тимошенко можешь меня познакомить? Мне она очень нравится как женщина.

Я сказал, что попытаюсь, но она, мол, очень занята, и я давно ее не видел, — и засмеялся. Но он даже не улыбнулся, а сказал, что на Майдане в тот год собрались «все околпаченные врагами России», а я со своим «опросом ВЦИОМ» просто предатель Родины, но тут Анька ему сказала, чтоб он заткнулся, и мы сменили тему.

Знаете, он вообще очень странный, этот Андрей. Он относительно молодой человек, — в описываемое время ему не было сорока, — довольно успешный в социальном плане (он талантливый книжный и жур-

нальный дизайнер), всегда при деньгах, бабам своим дарит малолитражки, но при этом очень любит вспоминать советские времена, и как там ему было хорошо, как он пил портвейн в подъездах и писал картинки, и водка была 3 рубля, и все были хорошие и не злые, и у милиционера на улице якобы было можно спросить, который час... И т. д. и т. п., обычный в таких случаях набор.

Но когда я ему говорю, что ему и сейчас никто не мешает пить портвейн в подъездах, только портвейн будет получше, и что он легко может уйти со своего поста арт-директора большого рекламного агентства, залезть в мастерскую и там писать картинки и сильно пить вечерами с друзьями, которые всегда будут рады к нему зайти, — он говорит «сам дурак» и что, мол, зачем я ему это предлагаю, такую ерунду?!

Кто-то, кстати, мне говорил, что их агентство обслуживало прошлые выборы. Адрес обслуживания не указывался, но это даже неважно...

Тем временем в кафе на набережной все стали собираться, обед подошел к концу, они расплатились, причем, как всегда с этим Андреем, как только возник разговор о деньгах, возникла небольшая заминка: второй Анин муж, Саша, чей день рождения начинался завтра, положил 100 долларов, и остальные стали давать кто по 15, кто по 10, ну и Андрей дал 20, но тут его новая жена сердито сказала ему, чтобы он добавил еще хотя бы 10, так как их же двое!.. И, простите, дочка-то чья?

Он вообще немного жмот, этот Андрей, вот что я вам скажу по секрету, современный человек, немного жмот и патриот — вот как, такой коктейль, даже в рифму получилось.

Мы пригласили их домой. Соскучились по общению и вообще, сколько времени я не видел Аньку — сто лет, как время-то летит! Хотя когда-то, в прошлой жизни и при прошлой жене, она с этим Сашей-2 приходила ко мне домой, весьма меня при этом удивив. Я тогда не сразу врубился, что в их triangle произошли некоторые изменения, и на поле вышел новый талантливый игрок. Тем более, они зачем-то вешали мне тогда лапшу, что, мол, Андрей вот-вот должен подойти и к нам присоединится, просто он задерживается. Так и не присоединился...

Ну с этими размышлениями мы прошли Зурбаганскую набережную, свернули на нашу улицу Василенко и взяли в магазине коньяку и две бутылки сухого вина; часть народа, который я не знал, от нас откололась и пошла в их санаторий дальше по шоссе, а мы компанией человек пять поднялись немного наверх к Массандре и свернули в наш двор.

Боже мой, старые Зурбаганские дворики зимой, где я их только не вспоминал, от Москвы до экватора — этот неповторимый запах сырости и моря, старая сосна в центре двора, одна-две скамейки, лестницы на второй этаж, увитые сухим виноградом веранды, висящее на веревках белье, вечнозеленые кусты у неработающего колодца... Как сказал один писатель — этот ласковый Юг.

При этом мы болтали про всякие московские дела, и это было немного странно, идти здесь, в Зурбагане, с людьми, которых я встречал и помню в московских интерьерах и координатах. Например, Анька со

своим Сашей теперь живет на Белорусской, Андрей у Китай-города, и когда мы шли и разговаривали, я вспоминал эти московские места и пейзажи и спросил: а как там Москва?

Они стали смеяться и снова спросили: да давно ли мы здесь?

Я перестал выпендриваться и рассказал, что все получилось случайно, а не потому, что я такой смелый и супер-свободный человек. Приехали-то всего на две недели, в зимний отпуск, а потом в журнал, в котором я работал, пригласили нового главного редактора, совсем молодого мальчика с очень большими амбициями, но недостатком образования или вкуса, или уж я не знаю, чего еще, и эта «новая метла» со значением сказала мне по телефону, что теперь все в журнале будет *по-другому*, и писать про книги Александра Грина или фильмы Георгия Данелии мы больше не будем даже иногда, — они, мол, никому здесь и теперь не интересны.

— Устарели! — энергичным дискантом и нажимая на «а», сказал мне новый редактор.

Особенно мне понравилось его «здесь и теперь», и я, после некоторых колебаний, решил, что все очень удачно складывается и хорошо, что я заранее позвонил и мне не стоит менять весенний Зурбаган с зацветающими деревьями на слякотную серую Москву с этим молодым придурком в придачу...

Тем временем пришли, и мы с женой были очень горды квартирой, в которой мы жили, — большой светлой комнатой в дореволюционном доме с большими окнами и видом на маленькую площадь и цветочный базарчик, и все пошли на наш огромный балкон, на котором, наверное, когда-то сидели дамы в длинных платьях и смотрели вниз, на гуляющую публику, и все тогда было совсем-совсем другим, как на старых черно-белых открытках, но и сейчас вечером отсюда сквозь деревья был виден мигающий глаз маяка, а во время штормов доносился шум моря.

И мы, возможно, подражая дамам в длинных платьях, вынесли на балкон стол, а пластмассовые кресла там были, их притащила из какого-то закрывшегося летнего кафе наша хозяйка, откупорили вино и коньяк и шумно подняли тост: за встречу московских друзей в Зурбагане!

Дальше все было довольно сумбурно, после первых тостов мы с Анютой разговаривали о том, как они здесь устроились (оказалось, что в их доме отдыха за совершенно советский двухместный номер пятнадцать метров с них берут по 40–50 долларов в день), и об общих московских знакомых; ее Саша задумчиво смотрел с балкона на улицу, ее Андрей кокетничал со своей новой женой, их дочка смотрела наши книжки, а их коллега — финансовый директор Аниной и Сашиной фирмы, почему-то пошедший с нами, флегматичный, даже немного неестественно спокойный блондин, — помогал моей жене делать чай.

Где-то часа через полтора они собрались уходить. По видимому, все немного опьянели, потому что Саша (он вообще-то по первому диплому филолог) вдруг стал читать Бродского, естественно, «Письма римскому другу», причем немного перевирая слова, а Андрей, совершенно

не обращая внимания на присутствие жены и дочки, вдруг сел на колени финансовому директору, изрядно того сконфузив.

Вообще, конечно, не могу удержаться — милый коктейль в голове у этого Андрея, причем, как мне почему-то кажется, довольно типичный. «Славное советское прошлое», которого он, естественно, не помнит, куча денег в кармане, «враги России, митингующие на Майдане», жена, вышедшая замуж за близкого друга, и теперь вот еще финансовый директор... Может, он, конечно, и случайно сел к нему на колени, не имея ничего в виду, но выглядело это как-то... как-то довольно грустно, я бы так сказал. Дочка его, во всяком случае, сильно напряглась и сказала: пап, пошли домой! Но он все не слезал с колен финдиректора, а тот пытался шутить и делать вид, что ничего не произошло, ничего особенного в смысле. Аня выразительно на меня посмотрела, а ее Александр очень развеселился и снова стал читать Бродского, кажется, «Пилигримы». Причем он читал их с балкона, и проходящие мимо редкие прохожие задирали головы. Единственный человек, который мне однозначно понравился в этой ситуации, это была вторая жена Андрея. Она вообще не реагировала ни на что. Как сидела невозмутимо с чашкой цейлонского чая и знаменитым зурбаганским эклером в руках, так и продолжала сидеть.

И тут я, наверное, от раздражения, — все же мы немного отвыкли от всех этих московских штучек, от всего этого позднего Рима и неуловимо присутствовавшего во всем какого-то духа, душка даже, какого такого душка насилия и разложения, — я вдруг сказал Анюте: «Слушай, Ань, оба твоих мужа ужасно банальны! Где ты их берешь?!.»

И Анька вдруг мне ответила раздраженно (причем, знаете, я сразу, — ведь я ее давно знаю, — как только мы встретились на набережной, почувствовал, что она чем-то недовольна):

— Ну, так найди мне других.

А ведь у Саши-2, хочу напомнить, на следующий, то есть через полчаса, уже в этот день, был happy birthday, и согласитесь, даже имея некоторое чувство юмора, все-таки не очень приятно получать в день рождения такие message от собственной жены.

И плюс сидящий на коленях финансового директора первый муж на переднем плане... Можно как-то немного загрустить, правда?

Но — поскольку на жену он, по-видимому, пока обидеться не решался, а на Андрея ему обижаться вообще было бы грешно: кто знает, почему тот оказался на коленях финансового директора, не в результате ли развода?! — он решил обидеться на меня. Он замолчал и, подняв голову, гордо встал.

— Я ухожу, — гордо сказал он Ане. — Ты остаешься? — И добавил, обращаясь ко мне: — *Спасибо.*

Я немного растерялся, так как, повторюсь, немного отвык от людей вообще и московского способа отдыха и общения, в частности, а московский способ отдыха последние несколько лет обязательно подразумевает небольшой скандал во втором акте, но самих москвичей за это винить не стоит: что-то, по-видимому, витает в московском воздухе, — и

плюс к тому замечу, что, возможно, это *что-то* витает не только в Москве, просто я в других местах не был. Мне кажется, это просто нервность и страх москвичей что-то потерять, и подозрительность, и неуверенность, и у большинства незащищенность, и отсюда комплексы, потому что некоторым есть что терять и от чего комплексовать: ведь все их добытое трудом и талантом благополучие подвешено на тоненькой веревочке, а что будет дальше, совершенно непонятно, и история последних лет это показала во всей красе... Такие ощущения кого хочешь сделают нервным и готовым скандалить по любому, даже мелкому поводу.

Впрочем, повторюсь, это все мои домыслы, а точно я не знаю.

Пока же я сказал Саше:

— Саня, ты что, с ума сошел? Это же шутка!

Но он все равно, уже гордо подняв голову, уходил, а за ним испуганно поднялась их дочка, и перед ней мне действительно стало неудобно: хоть и шутка, а это все же мамины мужья.

Но кто обрадовался возникшей неловкости, это Андрей. Он вскочил с колен финансового директора и, подбежав ко мне, сказал, что мне «спасибо» и что он тоже — не ожидал от меня *такого* — и радостно помчался за Сашей-2.

Какого, блин? Я было хотел за ними пойти и, может, как-то даже извиниться перед Сашей, — все-таки давно знакомы, — хотя и не очень понятно, за что, но Аня меня остановила и сказала, чтоб я не обращал на них внимания и что они оба совершенно пьяные, и ее неожиданно поддержала вторая жена Андрея, и моя жена тоже пожала плечами, и я остался. Может, зря, все-таки давно знакомы, повторяю.

А Аня, дочка и вторая жена Андрея медленно собрались, и пошли вслед за своими обиженными и нервными мужчинами. А я вдруг совершенно отчетливо подумал, что совсем-совсем не хочу возвращаться в Москву, где такие истории за столом происходят совершенно запросто и довольно часто (и за этими историями встает весь, что называется, *контекст*), и от этой мысли мне стало неуютно и грустно.

Разные реальности

Вечером следующего дня мы с женой, как обычно, пошли пройтись по набережной. Ветра уже не было, но похолодало, высыпали звезды, и море было тихим, с небольшим волнением. Людей на набережной почти не было и мы, немного постояв напротив маяка, в той части, где швартуются спортивные яхты, медленно пошли в сторону Ореанды, и в единственном работающем в этот поздний час кафе у самого берега увидели наших московских друзей. Они тоже нас увидели, и я подумал, что смешно, встретившись за полторы тысячи километров от Москвы, как дети дуться друг на друга, тем более из-за какой-то пьяной ерунды, и помахал им. Они ответили, но крикнули при этом что-то типа «вот идут местные жители!», и жена спросила меня, а точно ли мы должны к ним подходить? Я сказал, что если мы не подойдем, это будет глупо и

невежливо и очень по-московски, в современном понимании этого слова это будет значить, что мы тоже злимся, а этого же нет?

Мы подошли и сели, и я сразу почувствовал, что жена была права. Саша хоть и улыбался, но смотрел нехорошо, и хотя я сказал ему, чтобы он этого не делал, и даже извинился за вчерашнюю шутку и сказал, что мы ведь все очень давно знакомы, он это помнит? — он все равно сердился, и Аня была тоже напряжена, хотя и посадила нас рядом с собой. И хотя она и налила нам вина, никто даже не пошевелился поставить рядом с рюмками какую-то тарелку, хотя стол был еще полон, и я почувствовал, что начинаю медленно раздражаться.

Даже не от того, что кто-то косо на меня смотрел, просто повторюсь, это все было очень смешно — не видеться столько лет, встретиться на этой набережной, где плещется южное море, и сидеть, дуясь друг на друга из-за какой-то фигни! Сердишься, скажи «сам банален!» и поехали дальше. При этом я, конечно, понимал, что случайно наступил на какую-то больную мозоль и что, наверное, у них что-то не так в отношениях (помните, как она сказала «найди мне других»?), — но, согласитесь, этот Саша-2, он же совсем не дурак и очень милый человек, он же должен понимать, что я-то тут ну совсем-совсем не причем?

Мы с женой подняли рюмки за его happy birthday, а потом они стали собираться в свой дом отдыха, продолжать праздновать, ну, а мы с женой откланялись, тем более что нас с собой никто особенно не звал. И несмотря на то, что я, естественно, не пошел бы с ними: зачем? пить дальше, участвовать в этих идиотских ссорах? — я почувствовал, что опять злюсь. С Аней и с еще одной девочкой, которую я тоже давно знаю, мы, впрочем, попрощались довольно тепло, и эта девочка мне даже сказала тихо, чтобы я не обижался, потому что этот Саша, он сейчас ревнует Аню к каждому столбу и вообще неадекватен немного.

Впрочем, отойдя от них метров на двести, мы оглянулись, и, глядя, как они идут всей гурьбой по набережной в свете фонарей, на затихшие портовые краны и вытащенные на мол на зиму прогулочные катера, я вдруг расслабился и улыбнулся и сказал жене, что, мол, это все ерунда, и было смешно встретить здесь москвичей, — я сказал «москвичей» и обратил внимание, что сказал это так, будто сам не москвич, и при этом у меня почему-то крутилась в голове старая песня, которую сейчас с большим юмором иногда исполняют по ТВ Кикабидзе и Вайкуле. Знаете, эта:

Что сказать вам, москвичи,
на прощанье?..
Так до свиданья,
так до свиданья...
Дорогие москвичи,
доброй ночи...

И мы с женой медленно пошли по набережной, разговаривая об этой забавной любовной троице и всяких других пустяках, а у нового памятника «Даме с собачкой» (говорят, его сделал тот самый скульп-

тор, автор столь же нелепого памятника в Камергерском переулке, в Москве) стоял пожилой дядька с подзорной трубой и всем желающим предлагал полюбоваться на звезды и планеты за сумму, примерно равную десяти рублям. Особенно он нажимал на Сатурн, говоря в виде рекламного слогана, что обычным взглядом его кольца не разглядишь, а через трубу — пожалуйста.

Этот дядька часто там стоит. Как правило, возле его трубы толпится народ, — в основном это гогочущие подростки и отдыхающие из ближайших санаториев, украинские тетеньки и дяденьки бальзаковского возраста, и молодежь хватает даму с собачкой за такие места, что становится неудобно. Но в тот день, наверное, из-за холода, никого не было, и жена предложила: а, что, давай посмотрим? Я согласился нехотя: что ты там разглядишь, с таким крошечным увеличением, это же не телескоп, — но жена теребила: давай-давай, — и уже прильнула к окуляру. Причем я ворчал, чтобы она не прислонялась глазом, мало ли кто там смотрел до нее, осторожнее, а дяденька-хозяин трубы что-то прилаживал и настраивал, потому что «все же вертится и движется, — сказал он, — ничто во Вселенной не стоит на месте», и я даже не понял сначала, о чем он, что вертится и движется? И решил, что это он о своем «телескопе», а жена сначала говорила, что ничего не видит, одна чернота, а потом сказала: ой! Вот! И некоторое время смотрела, не отрываясь, а потом сказала мне: посмотри, — и отодвинулась.

— Что, правда, что-то видно? — спросил я недоверчиво.

Но тут дед потребовал предоплату, труба работает по принципу один человек — один билет, — сказал он, — если ваш муж или кто он вам, хочет посмотреть, надо еще раз заплатить, без этого выхода в космос не получится.

И я непонятно почему сказал: да ладно, не надо, пойдем, — но жена к счастью настояла, и дед снова стал что-то настраивать в своей трубе, снова приговаривая свое «все же движется, как мы знаем, все ни секунды не стоит на месте», а я спросил его, с обсерватории ли он, с той, что видна на горе по дороге из Зурбагана на юг, к Форосу, но он сказал, что нет, он любитель и всю жизнь смотрит на звезды только со своего балкона, или в отпуске — с гор, или вот, подрабатывая, — с набережной.

— А что именно движется? — спросил я. — Это вы в переносном смысле, так сказать, общественное развитие, выборы?.. (В тот год в той стране должны были пройти какие-то очередные выборы, и я подумал, что дед говорит об этом).

— Согласно Копернику, движется Вселенная и все во Вселенной, от звезды до последнего атома, — высокопарно сказал, или даже не сказал, а отчеканил дяденька, — я имею в виду именно это! — И я прислонив глаз к окуляру, сначала не видел ничего, но потом в углу черного поля появилось ярко-голубое пятно с кольцом типа веретена вокруг и довольно быстро стало перемещаться, причем кольцо тоже вращалось, или мне так показалось.

— Видишь? — спросила жена.

Я кивнул. Пятно было ослепительно голубым и двигалось в полной черноте.

— Это Сатурн, — сказал дяденька, — более миллиарда километров от нас.

— А почему он так быстро перемещается? — удивилась жена.

— Так вы представляете, сколь бесконечно мала дуга, которую выхватывает наша труба из небесной сферы, и сколь велика скорость, с которой наблюдаемая нами планета движется по этой микроскопической дуге? — Дед сделал эффектную паузу. — Вы школьный курс геометрии помните? Мы находимся в вершине равнобедренного треугольника с бесконечно малым основанием и сторонами, в земном понимании, равными бесконечности!..

Похоже, хозяин трубы заводился от собственных высказываний, так как на слове «бесконечность» он даже немного взвизгнул.

Минут через двадцать мы сидели с женой на скамейке у самой воды и смотрели на еле колышущееся море.

— Трудно себе представить, что где-то, в полной тишине и пустоте несется эта махина, — сказала жена.

— Собственно говоря, мы тоже несемся, — сказал я.

— Не надо, — попросила жена, — крышу сносит.

Мы еще помолчали.

— Разные реальности, — сказала вдруг жена.

— Что?

— Разные реальности. Наша здесь. Московская, откуда приехали твои друзья. Тверская, метро, машины... И та, что мы видели в телескоп. Ледяные пространства, и там летит что-то огромное. Это как-то сочетается?

— Конечно, — сказал я. — В твоем сознании, как сказал бы один философ... А мы вот сейчас пойдем в Мак-Дональдс и съедим по пирожку с вишней. И это будет тоже божественной симфонией. — Я засмеялся. Жена улыбнулась.

Почему-то мне не хотелось говорить об увиденном в телескопе: возможно, ощущение было слишком сильным. Мы подняли головы и посмотрели в сторону, где по идее должен был быть Сатурн. Не очень яркая звезда висела над морем. Чуть ниже, в миллиарде земных километров, около дядьки с трубой уже толпился народ.

— А почему она двигалась как-то... не плавно? — спросил я. — Без торжественности?

— Это показалось, наверное. А может, это ты трясся. Или из-за огромного расстояния и беззвучности. Попробуй плавно запустить такую махину. Я не знаю, — сказала жена.

Судия — народ

Жена принимала участие в социологическом опросе «За кого вы проголосовали на недавних выборах?». Дело было в новом, спальном районе, и поэтому люди отвечали по-разному, скажем так. Впрочем, что

интересно, ни один их не послал. На языке социологов это называется «отказ от ответа в резкой форме» и в данном случае косвенно указывает на повысившуюся общественную культуру наших граждан. В основном люди из этого района голосовали за «Ед\Ро» — мы ведь сейчас неплохо живем, правда? Один интеллигентный дядечка сказал, что всегда голосует за «Яблоко», но при этом ласково спросил жену, почему она до сих пор не уехала из страны; одна бабка стала орать, что у них перед домом всю зиму не чистят снег, и она два раза уже свалилась, а на вопрос: а голосовала-то ты за кого? — отвечала, что — .... Что, в общем, она всех в одном месте видала и в следующий раз обязательно проголосует за коммунистов, потому что они хотя бы — .... (заполните сами).

Один широкоплечий мужчина аккуратно ответил на все вопросы (он сказал, что всегда голосует за ЛДПР), но потом сказал жене, что она ему должна 200 рублей за ответы и что он сейчас приведет люберецкую братву, если она ему их не отдаст. Пришлось ей полчаса отсиживаться в ближайшем Мак-Дональдсе в страхе перед «братвой». Одна тетенька, садясь в приличную иномарку, сказала, что она-то голосует за СПС, но на вопрос, не даст ли она номер своего сотового телефона (чтобы начальство жену могло проверить, а то вдруг она все анкеты дома на кухне нарисовала?), от души расхохоталась и спросила: ее что, за дуру принимают?

Но был один ответ, за который какой-нибудь писатель, любящий порассуждать о мистическом русском сознании (неважно, порассуждать всерьез или шутя), многое бы отдал. Может быть, даже душу.

Две тетеньки лет пятидесяти с хвостиком (одна — по виду интеллигентная учительница, другая — усталая комсомолка), лучезарно улыбаясь, сказали моей жене:

— А наш депутат — Господь Бог, деточка. Мы его уже давно выбрали!

Но не торопитесь умиляться (и пусть писатели, любящие порассуждать о мистическом русском сознании, оставят свою душу себе): сказав это, тетки протянули жене брошюру по типу Свидетелей Иеговы или что-то в этом роде, попросили внимательно с ней ознакомиться и, бодро улыбаясь, быстро удалились к метро.

Жена даже расстроилась. Неплохой был ответ в первой своей половине, согласитесь. Просто хоть сейчас в газету. Своими «свидетелями Иеговы» тетки все испортили. Никакой мистики из этого уже не сделаешь, жаль.

А вот одной их сотруднице — студентке МГУ — не повезло: ее сильно облаяла какая-то советская бабуся у подъезда. То есть у нее был этот самый «отказ от ответа в резкой форме». Традиционная тема — *«нечего!»*. «Нечего» здесь ходить и спрашивать в смысле, а потом бабка стала что-то кричать про маленькую пенсию и 100 лет тяжелой работы и одиночества, и про молодое поколение, которое занимается всякой херней (типа социологического опроса) вместо того, чтобы работать, как они. Грустная история, конечно. И ведь они действительно работали как волы, что самое печальное. Всю свою жизнь тянули лямку, от Сталина до Горбачева

транзитом через двадцать лет «товарища Л. И. Брежнева». Растили детей, копили на цветной телевизор, год стояли в очереди на диван... И получили за свою работу кожуру от банана по государственным праздникам.

Но студентке МГУ такие мысли, видимо, уже не свойственны, а может быть, ее бабушка не орет на молодых людей, обращающихся к ней с вопросами. В общем, она не выдержала и, несмотря на строжайший запрет инструкции и абсолютно не думая о сложной истории страны в XX веке, послала бабку на три буквы, при этом еще и добавив от себя:

— Сама во всем виновата, старая дура!

И, не слушая ответную реплику, быстро удалилась к соседним подъездам. У нее ведь работа сдельная, долго разговаривать некогда: чем больше сделаешь, тем больше заплатят.

Это молодое поколение, оно вообще жестокое до невозможности.

— Вообще, — говорит жена, — сейчас в Москве первая реакция людей на подходящего, *любого подходящего*, даже женщину, молодую симпатичную девушку — напряженное недоверие, закрытость, страх, почти физический, желание пройти мимо, иногда, от страха — агрессия. Если рядом ребенок, его могут инстинктивно прикрыть рукой, придвинуть к себе. Как животное в лесу. Потом, когда обнаруживается, что это социолог, просто уличный опрос — облегчение: а-а, вот вы что, ну, давайте, давайте поговорим... Хотя недоверие сохраняется, часто ехидно спрашивают: а зачем это вам?

Так что неправда, когда говорят, что у нас люди неотзывчивые и грубые, даже как пройти куда-нибудь не скажут, мимо пробегут, — они просто всего боятся! Я же говорю, как звери в лесу.

Церковь Праскевы-Пятницы

Зимой ездили в Казань, к родственникам жены и заодно проветриться немного, на снег посмотреть. В Москве последнее время с этим плохо. Хорошо съездили, и правда, на снег насмотрелись, на сугробы, на то, как он блестит под фонарями вечером, как пушистым ковром покрывает дворы и по нему поздно вечером цепочки одиноких следов тянутся. Потом, город такой после Москвы тихий, хотя и современный, последние годы сильно похорошевший, много торговых центров, кафе и все сильно дешевле по сравнению со столицей нашей родины. Иногда я бродил там один, особенно в районе исторического центра и казанского Кремля. Тихие улочки, старинные дома, улицы не заполнены автомобилями, как в Москве. В тех местах, кроме огромной новой мечети в черте Кремля, много церквей, часто недавно отреставрированных и покрашенных, рядом храм со знаменитой чудотворной иконой Казанской Божьей матери, которую папа Иоанн Павел II подарил (или вернул, как угодно можно сказать) нашей стране. В одну из таких церквей, всю белую, чистую, с большими синими куполами, я и зашел, честно говоря, в основном, чтобы погреться. Еще название меня привлекло необычное на дорожном указателе — церковь Праскевы-Пятницы.

Зашел и обрадовался — в церкви никого не было. Ни одного человека, несмотря на воскресенье. Все-таки что значит не совсем русский город. Только горели несколько лампад и свечей перед образами и настольная лампа в углу, где киоск со свечками и иконами, где какая-то бабушка читала, шевеля губами, церковную книгу. И так необычно для церкви — в боковом приделе стояло несколько кресел, именно кресел и журнальный столик. Я спросил у бабушки, можно ли присесть, сел и огляделся. Увидел большой, метр на метр, наверное, образ Святителя Игнатия Брянчанинова, и обрадовался: я читал его проповеди в Интернете, и еще у меня есть его книжка. Это святитель пушкинского времени, и у него в проповедях есть одно очень хорошее место, где он говорит о людях, считающих свою веру чуть ли не заслугой. А ведь в Евангелии сказано — «милости хощу, а не жертвы...», пишет Брянчанинов. Я спросил у бабушки, откуда здесь эта икона.

— А это нашему настоятелю подарили в Москве, — сказала она. — Это писатель один.

— Писатель подарил? — не понял я.

— Нет, писатель на иконе. Вы что, интересуетесь? — спросила она немного погодя. — У нас во дворе часовня есть. Недавно построили. Показать вам? Я могу отпереть выход, что туда идет.

Симпатичная была какая-то бабушка, простая, но не сердитая, как иногда (или, увы, часто) это бывает.

Она принесла ключи и сказала:

— Это... на месте репрессий возвели часовню. Сталинских. Не так давно.

Отперла дверь, и я вышел на церковный двор.

— Вы вернетесь? Я не буду запирать тогда, — сказала она.

Во дворе было очень заснежено. Небольшая часовня с мемориальной доской стояла неподалеку. Чтобы подойти, мне пришлось почти протаптывать дорожку в сугробе. «Невинно убиенным в 1930-1940-х годах новомученикам российским» было написано на доске мелко. За часовней был виден церковный двор, стена, и дальше, с пригорка, открывался неплохой вид на город, на ближние Черные пруды подо льдом и недавно отреставрированные, старые, дореволюционные дома с той стороны прудов. Выделялся один из домов со странными, затемненными евро-окнами (позднее мне сказали, что это республиканское ФСБ). Сбоку был виден кусок белой стены местного Кремля. Над домами стояла неполная луна, придававшая всему пейзажу вид картинки из 1001 ночи. Было странное ощущение, что я стою около исторического памятника. Я подумал, что последние недели живу немного по-другому, чем жил в Москве. С другим ощущением и, пожалуй, самоощущением. Что я чувствую себя как бы не совсем в России. Так это и правда, не совсем Россия, подумал я. Точнее, *уже* не совсем Россия, несмотря на университет, где преподавал Лобачевский, дом Льва Толстого и «затемненные окна». Я вспомнил девушек с покрытыми хеджабами головами, виденных мной пару дней назад в супермаркете, мечети в старом горо-

де, стариков в фесках. Это уже немного Восток, наверное. Странный, заснеженный Восток... О надписи на часовне думать не хотелось.

— Посмотрели? — спросила бабуля, когда я вернулся.

— Посмотрел.

— На пожертвования построили, — сказала она. — Люди жертвовали. Разные. Наш батюшка собирал. Тут в тридцать седьмом году, во дворе, братская могила была. Грузовиками хоронили. Тыщи людей. Вон тот дом, — она показала куда-то в сторону, — потом сверху построили.

Думать о том, что говорит бабушка, по-прежнему не хотелось, но я сказал:

— И ведь никого не наказали за это, вот что.

— Тут накажут... — сказала бабушка. И вдруг добавила с виноватой улыбкой: — Еще *нас* накажут за это... *Когда-нибудь.*

И вопросительно на меня посмотрела.

Я немного опешил и чего-то даже испугался. Хотя чего? Чего?! Реально думать о том, что сказала бабуля, по-прежнему не хотелось, но со всей твердостью, на которую я был способен, я сказал:

— Как вас зовут?

— Татьяна.

— А с отчеством?

— Татьяна Петровна.

— Никого уже не накажут, Татьяна Петровна, — сказал я. — Честное слово. Не бойтесь.

Татьяна Петровна опять несмело улыбнулась. Я видел, что она мне не очень верит. Не не верит, а именно *не очень верит.* Уже прогресс, согласитесь.

Я купил у нее образок Святителя Брянчанинова и поставил свечку к его иконе и к иконе Всех Святых. Немного постоял. Сфотографировал церковь изнутри. Посмотрел, что получилось. Вспышка отразилась от стекла на иконе. Получилось, что где-то внутри у иконы горит свечка.

Вышел на улицу.

Дома посмотрел в Интернете, кто эта Праскева Пятница. Оказалась, христианская мученица, жившая когда-то на территории Малой Азии, отказавшаяся даже на словах отречься от христианской веры. В нашей стране довольно много посвященных ей церквей. На Руси она почему-то считается покровительницей женщин и сельскохозяйственных работ.

Несправедливость всего этого

(утешение философией)

Однажды, когда я работал в журнале «N», я брал интервью у одного философа. Философ был довольно известный и уже немолодой, раньше я читал его книги, и если бы тогда, в начале 1990-х, мне кто-то сказал, что я буду сидеть перед ним с диктофоном и задавать вопросы, а рядом будет щелкать фотоаппаратом фотограф, я бы не очень поверил...

Причем я пришел к нему какой-то немного нервный, он назначил встречу на поздний вечер, а днем приезжала в гости младшая коллега жены, молодая девочка двадцати лет, и мы с ней неожиданно поругались из-за какой-то ерунды. Как можно было всерьез воспринимать слова двадцатилетней девочки... Наверное, это все по Фрейду. Хотя, с другой стороны, не такая уж и ерунда.

Речь случайно зашла (наверное, что-то показывали по ТВ) про эти пресловутые карикатуры в датском журнале на... не знаю, как сказать... на ислам? на мусульман? — и она сказала вдруг, что понимает, *из-за чего* разгромили датское посольство в ... — я уже не помню, где разгромили, в какой-то арабской стране.

А теперь представьте: сидит молодая симпатичная девчонка, модно одетая, в джинсах и короткой майке Mango, в плеере поет Мадонна, и, насупив брови, говорит: — Правильно они обиделись. Нечего всякую фигню печатать. Я сказал (зачем-то), что если что-то не нравится, надо судиться, тем более в Европе, с их любовью ко всяческим «меньшим братьям», суд будет выигран почти наверняка, причем тут посольство и большое и сильное государство Дания? Там же свобода слова и принц Гамлет, да за такие картинки газета по суду могла бы схлопотать очень большой штраф — и все, больше никому в голову бы не пришло печатать никакие карикатуры. На что коллега жены отвечала, что, мол, все так, но она, красивая московская девочка из престижного экономического вуза, начинающая делать неплохую карьеру, их — понимает.

Вообще-то, честно говоря, сейчас я уже не помню точно, что она отвечала. Я же говорю, человеку 20 лет, как можно всерьез на него реагировать? Но, по-видимому, в последнее время настолько часто приходится слышать всякую ерунду, что как-то уже нет сил улыбаться, «не обращать внимания» и искать для всех оправдания.

Один еще молодой, другой уже старый, третьему никто ничего не объяснял (никогда), четвертого мама в раннем возрасте оставила у бабушки и уехала с чужим дядей, у пятого сексуальные проблемы, и они все сердиты за это на весь мир... Нет сил, понимаете? Короче, осадок от общения вышел неприятный.

Плюс еще в феврале дело было, все уже устали от зимы, авитаминоз, потом зимой в том году стояли какие-то совершенно аномальные морозы, доходило до минус 30, рано темнело, — короче говоря, когда мы к десяти вечера приехали на Никитскую, где философ жил на съемной квартире (постоянно он жил в Лондоне), настроение у меня было, честно говоря, не очень хорошим.

И, когда после первых приветствий философ попросил не задавать ему общих вопросов, — спрашивайте что-то конкретное, — сказал он, — если у вас лично есть ко мне вопросы, я отвечу, — я почти сразу спросил его: а что делать, если идешь ты по улице, и даже не по улице, а встречаешь где-то вроде бы милого человека, и он вдруг начинает нести всякую дичь? Например о политике? «Плюнули на ботинок» — назвал я свои ощущения, хотя был не очень точен, так как что мне лично с того, что младшая

коллега жены — и еще 1 000 000 ее российских подруг — не понимают, откуда взялись их cd-плейер с Мадонной и модная майка Mango?

— Так это же *не вы* несете чепуху,— сказал философ.— Если бы *вы*— еще можно было расстраиваться.

— Но *они* же не понимают, — сказал я, — куда это может привести!

— Может быть, и не понимают, — сказал философ. — Но, может быть, *это их дело* — нести чепуху и не понимать, куда это их может привести, откуда вы знаете? Вы же понимаете?

— Вроде бы.

— Ну вот, — он засмеялся.

Я хотел сказать философу, что это общее и многочисленное непонимание элементарных вещей меня пугает, причем пугает не содержанием, а именно количественными показателями, так сказать, *числом* непонимающих, и почему-то вспомнил, как один мой очень милый знакомый, актер по профессии, сидя в модном и дорогом кафе неподалеку от места нашего интервью с философом, за чашкой кофе по-венски, как-то сказал мне, что «очень не любит американцев», — я как раз просматривал газету, и там, по-видимому, была какая-то звонкая статья на эту тему, — но я вдруг подумал, что, может быть, философ прав, и надо легче относиться к подобным вещам?

И, к тому же, слова моего знакомого — следствие не только профессиональной (sorry-sorry) актерской глупости, но и дурацкой сегодняшней моды на все антиамериканское — кроме, конечно, их машин и недвижимости.

Ведь была же такая мода в Европе, особенно во Франции в 1960-х годах. Сам лично видел где-то, как мой нежно любимый Годар в одном своем фильме того времени брякнул какую-то ерунду про СССР, типа «при капитализме тоже нет свободы!», позируя перед камерой в «интифаде», а до публикации солженицынского «Архипелага» массовым тиражом быть «другом нашей страны» во Франции считалось просто-таки хорошим тоном. Так что коллега жены, она что — повзрослеет и, может быть, поумнеет.

— Поймите, — сказал философ, — все как-то устроено. Justice of it all, — как говорил Гурджиев. — Справедливость всего этого.

Мне очень нравилась эта фраза, я где-то уже слышал ее, но не знал, что она принадлежит Гурджиеву. Еще я со стыдом вспомнил, что у меня уже несколько лет на полке лежит нечитанная книга этого Гурджиева, «Письма Вельзевула к своему внуку», называется как-то так. (Мою лень извиняет то, что книга очень толстая). Еще я вспомнил, что кто-то мне говорил, что Гурджиев в царские времена брал с желающих у него поучиться 1000 рублей ассигнациями — огромную сумму по тем временам — и что у него был друг и ученик Петр Демьянович Успенский, с которым они вместе путешествовали и который тоже написал книжку — «В поисках чудесного». Успенский с учеников денег не брал, после революции 1917 года они вместе эмигрировали и там, в Европе и эмиграции, сильно рассорились...

— Причем устроено в вашем сознании, — тем временем сказал философ. — Не думаете же вы, что на Западе кто-то что-то понимает? И что там вам будет менее неуютно? Ведь вы говорите не об этом, я так понимаю?

Поскольку журнал, в котором я тогда работал, был скорее политическим, чем культурным, я не стал углубляться в тему Гурджиева и, ухватившись за последние слова философа, сказал:

— Но если люди ни фига не понимают, они же соответствующим образом проголосуют? Как-нибудь, при удобном случае. Пока это происходит как надо властям, но потом — кто знает... «Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков», — пел Высоцкий, вы же помните. Разве не существует ответственности власти в данном случае? — Мне очень понравился мой вопрос, и я даже возвысил голос в тот момент: — Разве не существует ответственности власти?!

При этом я подумал, что философ сам немного похож на Гурджиева своим лысым черепом и торчащими усами. Только взгляд у него был чуть добрее, чем у автора «Писем Вельзевула», чей портрет был помещен в книге на моей полке.

Еще я мельком вспомнил, что у меня был приятель, жена которого сильно увлекалась этим Гурджиевым, и еще мадам Блаватской, книгами Кастанеды и всеми делами. С ней было очень интересно разговаривать, особенно учитывая тот момент, что внешне она была тоже симпатичной... Потом она ударилась в православие, потом они развелись, и эта увлекавшаяся Кастанедой и православием бывшая жена вместе со своей мамой лет пять не давали моему приятелю видеться с ребенком. Вот так. Здорово, правда?.. Но, — подумал я, — подражая философу, — может, это было *ее дело*, не давать приятелю видеться с ребенком и делать ему какие-то мелкие гадости? Приятель-то ничего плохого ей не делал, только изменял немного, когда они были женаты. Так поступают многие мужчины, и ему этим укорять, наверное, нельзя.

— Но о какой ответственности власти можно говорить, когда подвластные традиционно безответственны? — тем временем, как всегда, афористично, высказался философ. — Никто ни о чем не думает и думать не желает. Все плывут по течению и надеются, что все как-то утрясется без них! — Он даже немного возвысил голос.

— И благодарят администрацию президента за предоставленную возможность приобрести новую модель Citroen C4, — вдруг, неожиданно для самого себя ввернул я (C4 — очень симпатичная машинка, я тогда подумывал взять кредит в банке, чтобы ее купить, поэтому, наверное, я вдруг не к месту об этом вспомнил).

Философ удивленно посмотрел на меня и вздохнул: да-да.

По-моему, он даже не очень понял, о чем я. Мы помолчали.

— Мне один московский профессор сказал недавно, — вспомнил философ, — сказал: а мы думали, все уже наладится. — *А мы думали...* — передразнил он профессора и неожиданно опять возвысил голос: — А ты разве думал когда-нибудь вообще, а, рыло грязное?!

Хотя я несколько опешил, мне очень понравилась эта фраза, и я решил ее запомнить, а было задремавшая редакционный фотограф встрепенулась и, испуганно на меня посмотрев, защелкала фотоаппаратом.

Я подмигнул ей, показывая, что все нормально, а сам подумал, что будет неплохо дать эту фразу в виде подписи под большой фотографией философа на развороте ближайшего номера.

Потом, я уже не помню, как, наш разговор вышел на возможность в России отдельного существования. Причем термин «отдельное существование» предложил сам философ. Мы говорили о русском философе Семене Людвиговиче Франке, высланном из СССР в 1922 году на знаменитом «философском пароходе» Львом Троцким (и этой высылкой, как ни смешно, спасшего многих), и я вдруг спросил философа:

— А можно ли в географическом пространстве России перестать быть... объектом? — Мне очень понравился мой вопрос, мне он показался очень философским.

— Объектом для чего, — не понял философ, — для философии?

— Какой для философии, — я махнул рукой. — Для истории!

— Так вы ведь не хотите *не быть* объектом, — вдруг сказал философ. — Ведь никто не хочет перестать быть объектом, потому что тогда надо становиться субъектом, и при этом почти все отношения с окружающим вас миром будут изменены. Из «страдательного» вы перейдете в «действительный» залог, если рассуждать не очень серьезно. Вы перестаете быть ребенком и начинаете быть взрослым — раз, и вместе с этим лишаетесь «материнской» или «отцовской» любви или нелюбви так называемых «окружающих» — два. Вас любят ваши близкие, ваши друзья, знакомые, сослуживцы, но они вас любят *по-другому*, это уже совсем другие, в каком-то смысле, если хотите, партнерские отношения. Они чего-то хотят или ждут от вас, причем совершенно необязательно материального, вы понимаете? Их любовь или нелюбовь не безусловна, как родительская, вот что печально и что совершенно не устраивает очень многих наших сограждан. А всем остальным, им вообще становится на вас начхать!

Философ весело улыбнулся:

— А если у вас нет реально близких, или вы отказываетесь от какой бы то ни было ответственности перед ними, и поэтому вы, увы! — становитесь постепенно никому не интересны и не нужны? Остаются история и... государство. Они, как терпеливая няня Арина Родионовна, ждут нас среди чудесных русских полей и лесов. Они просто есть. Вы не должны их любить или ненавидеть, но вы обязательно будете находиться с ними в каких-то взаимоотношениях. Обязательно. Правда, существует точка зрения, что им вы тоже не нужны, так как они, вместе с лесами и полями, находятся в великом восточном самосозерцательном покое, но об этом почему-то думать никому не хочется...

Тут я немного отвлекся от того, что говорил философ (фотограф вообще давно спала), и, как мне показалось, понял, почему многих так сильно колбасило в 1999–2002 годах, когда было ощущение, что госпо-

дин Путин и муза истории Клио всерьез строят в России капитализм на западный лад. Деньгам ведь плевать, какой ты. Просто надо суметь себя продать, нужны профессионализм, знания и т. д. и т. п., а остальное — твое личное дело. Это вот «личное дело» для многих оказалось совершенно неподъемной штукой.

«Что такое объект? — говорил упомянутый выше Годар. — Это жить в обществе, быть вместе».

Я помню, как, нервничая и ругаясь, мне что-то горячо говорил один мой знакомый, книжник и левак из Санкт-Петербурга, все никак не находящий слов для объяснения своего неприятия происходящего.

— Что же, — говорил знакомый, — каждый теперь будет работать, жить частной жизнью, ходить по вечерам в супермаркете с тележкой, покупать телевизоры и автомобили в кредит — и все? И все?! А как же общественное благо, смысл жизни, наконец?!

И когда я ему сказал, что смысл жизни теперь тоже будет у каждого свой, он сильно рассердился на меня и сказал, что отчасти понимает западноевропейских радикалов 1970-х годов: Мысль о частном смысле жизни и отдельном существовании каждого кажется ему невыносимой.

Но все вскоре вернулось на круги своя, и традиционные российские «субъект — объектные» отношения между гражданином и российским государством были успешно восстановлены.

— Акакий Акакиевич у Гоголя ведь отчего страдал, вы не поняли? — тем временем спросил философ. Поскольку я, сами понимаете, ответил не сразу, он сказал: — Именно оттого, что он не может быть объектом ничьих отношений, ничьих эмоций и ни от чего больше. Даже городовой не обращает на него никакого внимания! С него на ходу сняли шубу и тут же о нем забыли. Он страдает именно от этого.

— Но не все же здесь такие! — сказал я.

— Не все, — согласился философ. — В России некоторые пытались вести и ведут отдельное существование. Пытались. Это ваше личное дело. Хотите — ведите. Не хотите — не ведите.

Когда мы уходили, уже в дверях, когда я одевался, философ, галантно подавший пальто нашей полуспящей фотографу, вдруг спросил у меня:

— Sorry... А вы ведь позитивный человек, да?

Я очень удивился:

— Ну... я стараюсь им быть.

— И вы стараетесь поступать разумно, рационально и верите, что мир устроен разумно? — философ улыбался.

— Ну, в какой-то своей части точно. — Я не мог понять, куда он клонит.

— И вы думаете, — философ почти хохотал, — что и здесь все как-нибудь разумно устроится?!.

Он очень развеселился. Мы расстались по-приятельски.

Потом, заходя в разные кафе, современные московские магазины и торговые центры, встречаясь с женой в нашем любимом интернет-кафе

на Новослободской, садясь в новую редакционную иномарку, которая часто возила меня по делам, я иногда вспоминал эти слова философа, и все время внутренне спорил с ним.

Еще я вспомнил (через несколько дней), что Георгий Гурджиев был одним из любимых философов Адольфа Гитлера, и все не мог понять, надо ли мне обращать на это внимание: ведь Адольф Гитлер, как возразил бы мне философ, наверняка не стал бы любимым политиком Георгия Гурджиева, не так ли?

Часть вторая

Шутка, наверное?

(записки к 50-летию Победы)

Зашел числа 7-го мая в «Гоголь-моголь» в Столешниковом, там тогда столики во двор выносили. Это ж ведь в Москве до сих пор редкость, когда столики на улицу. Кафе полно, а на улицу летом столики — ни-ни. Культура не та-с. Как уследишь за клиентом на улице? Потом, мало ли, прохожие, руководимые классовой ненавистью, набросятся, стулья поломают. Плюс аренда тротуара, наверное, как на Уолл-стрит. Так и стоят столики кое-где, изредка. В Камергерском, на Малой Дмитровке, бывшей Чехова, но там — столпотворение, потом был «Гоголь-моголь» этот, еще было одно место на Маяковке, во дворе за бывшим аргентинским посольством, в Нескучном саду... Кстати, Нескучный не советую, дорого и кофе плохой.

Сел, взял винца, открыл журнальчик с интервью Гайдара (специально припасенный на этот случай), сижу, читаю. Что было сделано, а чего не было. Мемуары Милюкова... А народ постепенно прибывает и столиков свободных все меньше. Раз даже ко мне подошли: вы один? Но я сказал, что, мол, не надо, один, но жду друзей.

А потом смотрю, такие ребята подошли, свои вроде бы — он типа художник и она тоже не пойму кто, тоже вроде художница или что-то около. Какие-то милые люди, с хорошими, мягкими лицами. (И видно, хотя и не сразу, что она постарше). Стоят так растерянно, озираются. Я говорю: садитесь, пока место освободится, только я буду помалкивать, ладно? Засмеялись: ладно. И действительно, первые полчаса мне довольно легко молчалось рядом с ними, они о чем-то там болтали, я даже не помню, не слушал, так как после чтения интервью Гайдара погрузился в некоторую меланхолию, но когда они потихоньку достали фляжку с пятизвездочным азербайджанским коньяком и спросили, буду ли я третьим, тут уже отказываться и продолжать молчать было сложно.

Как говорится, мы разговорились.

То да се, вы кто? а вы? и как-то очень быстро съехали на политику. Лежащий на столе журнал плюс два дня до 50-летия Победы сделали свое дело. Про Путина, про Буша, который должен был приехать вскоре в Москву, про 9 мая, про экстаз весь этот истерично-фальшивый, про то, что хочется от этого куда-нибудь из родного города свалить, про мен-

тов на улице и «лиц кавказской национальности», шутили как-то смешно, что, мол, все теперь себя так чувствуют... — «лицами». Неплохой какой-то разговор вышел, не тяжелый и как-то даже освобождающий от чего-то — типа ты не один, засмейся, все образуется.

И вдруг я вижу, что девочка-официантка неподалеку, беленькая такая, невзрачная, в пиджачке кожаном, — нас слушает. Может, она, конечно, и не слушала вовсе, но мне стало казаться, что слушает, а знаете, когда такое даже кажется — все равно неприятно. И еще охранник — молодой, бритый, с агрессивным лицом, к ней подошел, и — стоят, недалеко от нас, вроде в нашу сторону не смотрят, но молчат и, мне кажется, вместе слушают, о чем мы треплемся.

Я сказал об этом своим новым друзьям. Рома (так парня звали) говорит: вы меня пугаете, не надо, а дама его, какое-то татарское имя... Райсан, кажется, или Райхан, точно не помню, она говорит (что значит женщина): перестаньте, таких разговоров сейчас в Москве каждый второй. Кому мы нужны? Они, наверное, на наш коньяк напрягаются.

— Хорошо, — говорю, — сейчас проверим.

А у нас как раз коньячная фляжка кончилась.

— Закажем еще?

Рома говорит: — А как же. Уходить сейчас, что ли?

Ну, мы эту девочку подзываем, делаем заказ, и я без перехода после заказа говорю: — Ну что, о чем мы говорили, интересно?

И она, без малейшего удивления, ясно смотря на меня своими серыми мышиными глазками, говорит: — Я не слушала, правда.

— *Правда*, — когда она отошла, сказал Рома несколько ох.евши, — *правда не слушала*. Мило.

Я тоже, честно говоря, слегка напрягся. Одно дело — наши отчасти вернувшиеся советские привычки, в духе «телефон подушкой прикрывать», но при этом это же не вполне все всерьез, это же игра отчасти такая, в «СССР» и все сопутствующие прелести, а другое — это ее «правда».

Ну ладно, думаю, может, к слову пришлось, и у них где-нибудь в школе на Алтуфьевском шоссе или Мытищах два года назад так говорили: «Я не списывала, правда». Типа глагола «is» у англичан, грамматическая конструкция, слышится, но не переводится. Сидим дальше. Я (думаю: плевать я на нее хотел) рассказываю, как в Киев в 2004 году ездил, как там было хорошо, какой подъем был в людях, какая энергия светлая в городе, потом Райсан говорит: я замерзла, пошли в помещение *и вообще* (типа от этой «мышки» подальше). А у «Гоголя-моголя» раньше «зимняя база» была в здании. Несколько холодноватый интерьер, правда, я когда в первый раз пришел, вообще подумал бр-р-р, ну и местечко, но потом привык, ничего, и люди в здании работают славные — раньше был бармен Миша, большой такой, он у них работал чуть ли не с основания, я с ним всегда здоровался, ну, и девочки-официантки тоже симпатичные, улыбчивые, и с каким-то в глазах выражением — не только про крупу думают, как эта мышка на улице...

Ну вот, мы там сели, стали продолжать про Киев, бармен Миша только раз взглянул в нашу сторону, услышал что ли, улыбнулся так грустно и со вздохом продолжил что-то там за стойкой делать, стаканы протирать, что ли. Мы посидели, еще по 50 выпили, но чувствуем, уже устали, пора по хазам, как говорится. Рома встал. Он еще, по-моему, девушку свою приревновал немного ко мне, она-то его сильно старше, а меня несильно, ну, и общих тем для разговора у нас с ней соответственно больше, чем у Ромы. Он еще пошутил: все, поехали по домам, каждый по своим. И так взглянул на меня выразительно: мол, понятно? То есть, возможно, теоретически допускалось, что мы с Райхан можем сходу поехать вместе. Смешно... Богема, что вы хотите.

Но это все ладно, это все цветочки, лютики, ромашки интеллигентские, самое-то смешное было, когда мы вышли во двор. Так сказать, ягодки пошли.

Я, когда проходил по двору мимо нашей мышки, вдруг ей говорю:

— Передавайте всем вашим привет.

Не знаю, зачем сказал. А она мне в ответ тоненьким таким голоском и без паузы:

— И вы своим передавайте.

Вот так. Когда в Столешников вышли, я ребятам мышкино пожелание передал, и все опять как-то немного прих.ели. Райсан говорит: все, больше сюда не пойдем, а Рома сказал:

— Ну вас, я теперь неделю буду оглядываться. Напугали вы меня.

Но я-то причем?

Придя домой несколько взволнованным, на следующее утро я рассказал всю историю жене. Она отнеслась к моему рассказу на удивление хладнокровно.

— У вас мания величия, — сказала жена. И повторила мысль Райсан: — Кому вы нужны?! Девочка просто пошутила, отвечая на твою же — шутку. И слушала вас просто из любопытства. Там же в основном сидит молодежь, что интересного они друг другу рассказывают? У кого какой новый «праэкт»? Что пишут в журнале «Гламур» про Леру Массква? А тут вы, взрослые люди, что-то интересное обсуждаете, вот она и прислушивалась, может, даже невольно. И ответила она, тоже ничего в свою фразу не вкладывая. Ты ей сказал «передайте привет», она тебе. Как мячик.

Меня немного отпустило. Может, и правда мышка пошутила, и мы даже были ей интересны? А мы уж и забздели... Смешно. Что, конечно, неудивительно. Такой напряг в городе. Мало кто это помнит, но в тот год на праздник 9 мая даже Джордж Буш приезжал!.. Не говоря о прочих (французы, немцы, бритты, et cetera).

И тогда, внимание: это ведь хорошо, что мышка интересуется чужими разговорами накануне приезда американского президента? Тем более кафе такое, богема, студенты... Самое место разговоры послушать — не мелькнет ли случайно в толпе какой-нибудь Чернышевский or Каляев? И тогда, мышкино внимание, оно ведь может, в том числе, озна-

чать, что мы с американцами и Европой, хотя бы на период 9 мая 2005 года, то есть на празднование 50-летия Победы — союзники?

Что в этом плохого?

И потом, скорее всего жена права — не надо сложных умозаключений, официантке было просто скучно. И все!..

Но потом я вспомнил мышкины глаза: они были как маленькие серые пуговички, гвоздики-кнопочки, — ми подумал, что-что, а интереса в них, пожалуй, не было. Я не увидел, во всяком случае.

Lili Marleen

(Урок истории)

Эту песню пели во время Второй мировой войны немецкие солдаты. У режиссера Фасбиндера есть одноименный антифашистский фильм. Эта песня у немцев, наверное, была когда-то такой, как у нас «Катюша», хотя ее слова были написаны еще на Первой мировой.

Автор отправлялся на русский фронт.

Есть ли что банальней смерти на войне
и сентиментальной встречи при луне,
есть ли что круглей твоих колен,
колен твоих,
Ich liebe dich,
моя Лили Марлен...[2].

В гавань Зурбагана вчера зашел круизный немецкий лайнер с таким названием — «Lili Marleen».

Эта крымская земля, где мы сейчас сидим в кафе под цветущей вишней, для немцев — как ни странно, очень важное место. Я говорю «странно» потому, что, согласитесь, это, в общем, довольно далеко от Германии. Здесь шли очень кровопролитные бои в последнюю войну. Я был удивлен, когда обнаружил в дневниках философа Хайдеггера, бывавшего здесь в составе немецкой оккупационной армии в 1942 году, много рассуждений на эту тему. (Удивительно, но Хайдеггер какое-то время разделял нацистские взгляды). Философ был поражен сказочной красотой здешних мест и степенью увиденных ужасов войны. Чтобы заглушить возникшее чувство вины, Хайдеггер хотел удочерить и увезти с собой 10-летнюю девочку — крымскую татарку, но потом почему-то отказался от этой мысли.

Когда в маленький портовый Зурбаган приходит круизный теплоход, это всегда событие и немного напоминает Феллини. Белые лайнеры возвышаются над маленьким портом Зурбагана, как дома, их видно почти отовсюду, и когда вы поднимаетесь по улице вверх от порта, оглянувшись, вы сразу видите и палубы, и сигнальные флажки, и окна кают, и даже деревянные поручни на бортах. В порту сразу собирается молодежь, и местные девушки, стоя на набережной, подолгу смотрят на корабль.

---

[2] Перевод Иосифа Бродского.

Но конкретно этот немецкий лайнер «Lili Marleen» — он для пенсионеров, студентов и так называемых «бюджетных туристов», его очень большим не назовешь, у пенсионеров и студентов (в основном они пользуются услугами этой компании) — не очень много денег.

Лайнер подходит, старики высаживаются и по двое и по трое гуляют по набережной и ближайшим улицам, впрочем, не удаляясь далеко от порта. По-видимому, им сказали, что это опасно. Корабль стоит часа четыре-пять, потом уходит.

Когда я увидел этих стариков и услышал немецкий язык, я не сразу сообразил, кто они, и сначала, как все русские в таких случаях, умилился и завздыхал: вот, *они* могут это себе позволить, а *наши*?.. А потом, когда сообразил, *кем они могут быть*, меня как толкнуло — так что, этот пароход идет по местам *боевой славы?!* Но потом я присел на лавочку и немного успокоился. На вид немцам было в среднем лет по семьдесят, то есть в годы войны они ходили в школу, а здесь скорее были их отцы. Их матери в большинстве радостно кивали головами под лай г-на Шикельгрубера и Ко в радиорепродукторах в 1930-х годах и испуганно втягивали эти же головы в плечи под вой авиационных бомб союзников спустя десять лет.

— Все так замечательно начиналось... — лепетали они, прижимая к себе моих пожилых соседей с соседней лавочки, — Main Gott, Германия стремительно возрождалась после двадцати лет унижений и Веймарского воровства...

Лени Рифеншталь писала в своих воспоминаниях, что когда задержавший ее американский офицер показал ей снимки детей-заключенных из Освенцима, у нее началась истерика.

Впрочем, — зло думал я, — вот эта бабуля и вот этот дед по соседству еще вполне могли стать членами «гитлерюгенд» в конце войны. Подойти и тихо показать карточку FBI: герр и фрау Шмидт? Вы помните, как вскидывали руки в нацистских приветствиях в школьном дворе этого чудесного города? Здесь, неподалеку? Вы задержаны до выяснения обстоятельств.

В общем, какой-то «Жестяной барабан»[3]. Вы будете смеяться, но я не сразу себя остановил, сидя на знаменитой площади Зурбагана перед почтамтом и памятником Ленину, представляя себе эту чепуху и глядя на фонтаны и море. Хорошие мысли при таком пейзаже.

— А вдруг родители именно этих, сидящих на соседней скамейке румяных стариков, были антифашистами по убеждениям и в 1945 году не смогли даже толком порадоваться победе, в таких ужасающих развалинах находилась Германия? — сказала мне жена. — По закону бутерброда так оно обычно и бывает. Или это были обычные люди, чьи родственники просто погибли здесь в действующей армии. Без всякой идеологии. Если бы они отказались от военной службы, попали бы в лагерь. А ты бы им нахамил.

Я согласился:

---

[3] Знаменитый фильм Фолькера Шлендорфа по книге Гюнтера Грасса.

— Да, ты права, конечно. И мне же не хочется говорить гадости пожилым людям с портретами Сталина, которых я вижу в Москве. Мне их жалко. Во всяком случае на расстоянии.

И мы пошли домой.

А вечером, выйдя в магазин за едой (шел мелкий дождь, море штормило, и немецкий корабль все еще стоял), я смотрел на гуляющих под зонтами доброжелательных румяных старичков и старушек и думал, что все это отчасти наше советское воспитание.

Мне признавались многие люди старшего поколения, что не могут до сих пор спокойно слышать немецкую речь, и мой отец лет 10 назад сказал мне, что у него звуки немецкого языка прочно ассоциируется с немецкой военной формой времен войны, виденной им еще мальчишкой на пленных немцах, когда их провели через Тверскую в конце 1945 года.

Я его понимаю, и, наверное, это невозможно забыть.

Прав был немецкий писатель Кристиан Крахт, весело писавший, что во многих пожилых немцах ему видятся нацисты, но в России, одновременно с шумными и несколько мазохистическими празднествами 9 мая на Поклонной горе, в центре и на окраинах Москвы молодые ребята радостно вскидывают руки в нацистском приветствии, — хотя никто не может поручиться, что прадед или прабабка этого самого коротко стриженного паренька не были убиты совсем неподалеку в Подмосковье, немецкой пулей каких-нибудь 60–70 лет назад.

— Ну, они, наверное, раскаиваются, — сказала мне жена, когда мы присели выпить по чашке кофе на набережной, — у них с денацификацией дело было поставлено крепко. Это тебе не наш «процесс над КПСС» в тысяча девятьсот девяносто первом году. Если ты им скажешь хоть слово об этом, они скорее всего просто испугаются — это даже некорректно... Хотя, — добавила она чуть позже, — если бы, например, я вдруг узнала, что конкретно этот румяный дедушка был членом НСДАП, не знаю — не знаю, возможно, лично я бы не удержалась, чтобы не дать ему пинка. — Она засмеялась: — Ты и меня завел со своей политикой. Нельзя же сердиться друг на друга вечно. Это неправильно!..

И я подумал, что, наверное, она права. Советское воспитание, какие-то первобытные комплексы, мир давно ушел вперед и ничего не помнит — с одной стороны, а с другой тема нацизма в Европе давно закрыта и неонацистские партии запрещены. Пора перестать!

(Хотя, почему-то я сейчас вспоминаю, если вы видели по телевизору огромного геральдического орла на стене залы заседаний сверх-демократического бундестага, боюсь, у вас возникнут вопросы — а так ли далеко ушел наш мир от веселой поры румяных немецких дедушек и бабушек с их «Lili Marleen».)

И я заказал себе еще кофе и закурил свое Marlboro, чтобы напомнить себе о мощи наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции, и стал смотреть за большое окно, а жена достала модный киевский еженедельник и стала вслух читать мне новости западноевропейской науки и техники: это почему-то всегда очень улучшает настрое-

ние. На дворе XXI век, мир находится накануне прорыва в постиндустриальное общество, к чему портить себе настроение и думать о событиях 65-летней давности?

И я, разглядывая журнал и читая о том, что спутник Европейского космического агентства через полгода достигнет орбиты Венеры и начнет передавать оттуда фотоснимки, как-то постепенно развеялся, и домой мы пошли уже в очень хорошем настроении, разговаривая о том, что будем готовить на ужин, и совершенно мельком поглядывая на вечерних прохожих.

И, уже у самого круглосуточного магазина на набережной, где мы всегда покупали на ужин продукты, — у них всегда была очень свежая ставрида и кефаль, а изредка они продавали даже розовую барабульку, лучшую рыбу Черного моря, при жарке которой даже масло на сковороде становится розового цвета, — так вот, предаваясь этим приятным фантазиям, я вдруг столкнулся взглядом с глазами одного очень пожилого немца.

Ему было лет под или даже за 80, и он шел как-то очень прямо, и смотрел по сторонам не так, как обычно смотрят туристы, а с каким-то не то узнаванием, не то воспоминанием, и когда он мельком посмотрел на меня, я даже как-то вздрогнул, настолько этот взгляд был... хм, неполиткорректен, скажем так. И не один я почувствовал этот взгляд, потому что проходившая рядом местная тетенька с беспокойством посмотрела сначала на этого деда, потом на меня, потом усмехнулась: видали?..

И они уже прошли — все «свидание» длилось десять секунд, не больше. С дедом была спутница, немного моложе его.

— Ты видела? — спросил я у жены. Оказалось, что она тоже видела.

— Противный тип, — сказала жена.

— Наверное, он ходил по этой набережной году в тысяча девятьсот сорок третьем, — сказал я. — Дома-то остались прежние, они здесь стоят с конца XIX века, а он был молодым и стройным красавцем в серой форме со свастикой.

— Может, его догнать? — спросила жена.

Я поколебался немного.

— Не стоит. Во-первых, я могу ошибаться, моя склонность к преувеличениям всем известна, и этот взгляд мог означать просто плохое самочувствие и элементарное высокое давление, может быть, он сам просто испугался нас (ведь такое тоже вполне возможно, и они могут смотреть так от испуга и напряжения перед уличной преступностью), и даже если наши ощущения верны, сделать что-то (хотя бы, догнав, гаркнуть «хенде хох!», не говоря уже о более серьезных делах) вряд ли удастся — вон впереди патруль местной полиции, которая натренирована именно на защиту иностранных туристов.

Патрульным лет по двадцать, страна готовится вступать в объединенную Европу, и им не объяснишь, что именно тебя подтолкнуло на проведение твоего перформанса. А идти за этим «Гансом» и ждать своего часа, как партизан, значит, раздуть все дело на целый вечер. Нам это надо? Через две недели уезжать. Пошел он в задницу, он того не стоит.

Еще я подумал, что такие вещи надо делать спонтанно, и походя, но у меня плохо с реакцией на неполиткорректные взгляды, в частности (они ведь часто встречаются на московских улицах), и на хамство вообще: как многие нормальные люди, я сначала теряюсь.

— Тогда пошли в магазин, — сказала жена. — Действительно, почему ты решил, что это бывший нацист? Придумал, как он ходил тут в форме... Бред какой-то. Ты бы лучше свои фантазии пустил в правильное русло и больше работал над телесценарием, который тебе скоро сдавать.

Но, видимо, мы не были уверены в стопроцентной правильности нашего решения о мирном сосуществовании, потому что, выйдя из магазина, довольно напряженно пошли по набережной с нашими покупками, невольно ища взглядом давешнего старика, а когда снова услышали сзади немецкую речь, внутренне собрались.

Впрочем, когда я оглянулся, я увидел компанию совсем молодых ребят и девчонок, лет по 14-16, наверное, это были еще школьники, все в ярких куртках, джинсах и вязаных шапочках, с очень хорошими, открытыми лицами, и с ними был мужик, примерно мой ровесник, тоже в джинсах и цветной ветровке, с бородой и тоже каким-то очень хорошим лицом, было видно, что если бы я получше знал английский, у нас нашлись бы общие темы для разговора, и о минувшей войне в том числе.

Но все это я думаю сейчас, сидя за столом и, как говорится, сочиняя эти строки, и стал думать где-то через час, вернувшись домой, а тогда, услышав немецкие слова, я снова сильно завелся и, уже не понимая, что передо мной, в общем-то, дети, когда компания поравнялась с нами, сказал довольно отчетливо:

— Гитлер капут!.. Ахтунг!.. Партизанен!..

Должен вам сказать, что мне до сих пор стыдно. Ребята сильно напряглись, у них даже походка изменилась, а учитель, неловко обернувшись в мою сторону, как-то неловко-криво усмехнулся, а потом ускорил шаги. Через минуту он что-то сказал своим подопечным по-английски, и они почти бегом свернули в ближайший темный переулок, хотя по туристической инструкции им этого делать, наверное, не следовало.

— Бл.дство, — сказал я жене дома. — Историческое бл.дство! Почему всегда так получается?! Почему этот дуремар в отставке спокойно сделал свой променад, возможно, вспоминая, как лихо подъезжал в «хорьхе» к зданию местной комендатуры, а нормальные, симпатичные люди услышали от меня гадость. Почему всегда отвечают не те и не там?

— Да ладно, расслабься, — сказала жена. — Ребята, может, и не поняли, что ты имел в виду. Или не расслышали. Или решили, что ты родственник пострадавших от нацистов... А этому старому козлу, будем надеяться, в местном обмене сунули фальшивые двадцать евро, он обнаружит это только дома, в Фатерлянд, и не будет спать три дня... Расслабься.

Она включила музыку, «Океан Эльзі», классную группу, они пели на Майдане в 2004 году, и пошла на кухню готовить, но я видел, что ей тоже не по себе.

У меня есть знакомая, она политическая журналистка. Причем такая, в, что называется, *оппозиционном издании*. Их выгоняли из помещения, похоже, прослушивают телефоны, следят иногда, все подобные дела.

И я всегда удивлялся, как может молодая, симпатичная женщина постоянно думать о такой гадости? Я имею в виду политику. Еще я часто думаю: то, что она рассказывает, оно как соприкасается с действительностью? Соприкасается как-то или существует вообще отдельно? Потому что, если соприкасается, то я не знаю... Надо или уезжать или что-то делать, да? А может, в монастырь уходить опять же, молиться за всех нас. Потому что если соприкасается, продолжать просто так, как ни в чем не бывало, заказывать кофе латте на открытой веранде — это же глупо, наверное, да? Именно глупо в первую очередь.

Так вот. Пошли мы тут с ней кофе выпить, в клуб «Приглашу». Было пару лет назад симпатичное такое местечко у Новокузнецкой, сидела молодежь с нормальными лицами, да и взрослых людей много, все так культурно было сделано, мягкий дизайн, цены невысокие, приятная музыка...

Сели у стойки бара, сначала кофе, потом заказали по пятьдесят, потом еще, то да се, что-то про их журнал, про главного редактора, купившего себе «Лексус», про то, как демократические спонсоры им денег не дают, или дают, да жмотятся, да между собой ругаются, и, среди прочего, журналистка мне вдруг рассказала одну примечательную историю.

У нее есть подруга, еще по факультету журналистики. Она работала пресс-секретарем у депутата Сергея Ю. И была, по видимому, немного влюблена в него. Это бывает, молодые впечатлительные девушки часто влюбляются во взрослых интересных мужчин. И вот, после того, как Ю. застрелили, у подруги немного поехала крыша — она стала говорить, что она общается с Ю. почти каждый вечер, слышит его голос, видит его во сне и т. д. Последствия травмы, как говорится.

А еще после всего ее стали таскать в ГБ. Задавали там всякие вопросы типа «спали ли вы с ним?», «а кто с ним спал?» и вообще полный бред в их духе — «вот вы используете восточные ароматические палочки, наверное, и наркотики тоже употребляете?» и т. д.

Один раз у нее дома даже был обыск не обыск, а так, приходили и просили показать кое-какие бумаги, — она после этого два дня была в истерике: почему пришли именно к ней, причем тут вообще она?!

— А потом, — сказала журналистка, — нам кто-то сказал, что она живет с этим своим «следователем». Представляете?

Я сказал, что представляю, что такие вещи довольно часто описывались, есть, например, знаменитый фильм на эту тему с Шарлоттой Ремплинг в главной роли, «Ночной портье» называется.

— Ну, а потом, — сказала журналистка, — мы с мужем пришли в одни гости и их встретили. Причем этот следователь — жуткий тип, там назревал скандал, потому что, выпив, он стал всем говорить, что *Путин — их президент*, но что очень скоро он станет *и нашим* президентом,

его все будут любить, потому что поймут, что он всем желает только добра, и журналистка своего мужа быстро увела, потому что он обожает ввязываться во всякие истории, и ему не хватает только сцепиться с гебешником.

— И, — сказала моя знакомая, — она, конечно, не знает подробностей, но больше всего ее поразило, как эта девочка, симпатичная, неглупая, образованная, бывшая пресс-секретарь депутата Ю., ходила перед этим своим капитаном, или кто он там, — старший лейтенант? — совершенно на пуантах, заглядывала ему в глаза, а в кулуарах, на кухне всем рассказывала, что он — *не такой* и что все предвзято относятся. И еще она говорила, что он замечательный мужчина. Ну, ты понимаешь...

Мы еще немного посидели, глядя на пьющих и веселящихся людей вокруг, и потом я спросил:

— Да... Ну, а Ю.-то кто убил? Выяснили?

— Как, — удивилась журналистка, — ты не знаешь? Б-ский.

— Но почему?! — я даже повысил голос, напугав соседей по стойке.

Журналистка помолчала, а потом сказала, удивленно на меня поглядывая:

— Из-за денег. Вы что, не знали?

— Нет, мы не знали... Но они же свои, демократы!

— Ну и что?

Я впечатлился (то есть совершенно ох.ел) и переменил тему. До сих пор не верю ей, кстати.

Три богатыря русской демократии, или Попусту не волнуйтесь

Поздняя осень, будний день после работы, десять вечера, один из московских клубов, место у окна. Люблю заходить в это время. Народу мало, а тот, что есть, — в основном, более-менее серьезная публика. Завсегдатаи, свободные художники, средний бизнес, путаны со стажем... Студенты театрального института и мелкий служивый люд подтягиваются ближе к уикенду. Если ни с кем не знакомиться и с девушками не заговаривать, все будет отлично — можно хорошо посидеть, поболтать с барменом Маратом, просто тихо отдохнуть.

И вот сижу я, значит, как-то вечерком, перевожу дух после работы, наблюдаю нравы и при этом параллельно листаю журнал «Огонек», какую-то статью с гражданственным пафосом, и вдруг бармен Марат смотрит на вход и говорит:

— О-о, какие люди...

А этот клуб, он еще довольно известен в Москве тем, что туда всякие приметные художественные люди ходят. Актеры, киношники, журналисты-писатели всякие... И я сразу не узнал, кто это — мужчина небольшого роста в кепке-бейсболке, низко надвинутой на лоб. Потом узнал — это был главный редактор известной газеты «К.», г-н В. Я его по телевизору пару раз видел, поэтому и узнал. Хорошая газета, кстати, я люблю ее читать, особенно политические полосы. Четкая такая. Без

истерики и даже с юмором, насколько это возможно. Только про культуру там часто немного неадекватно, — не понимают, видимо, что это *не совсем товар*. То есть, тоже, конечно, товар, можно и так сказать, — но все же не совсем. Но лучше пусть не понимают, чем писать истерично, что, мол, всему п..дец (и культуре в том числе), — как регулярно пишут нервные женщины из газеты «Н.».

А в тот год еще такая коллизия была, я по ходу вспомнил, — опальный олигарх Б. газету «К.» тогда продал, а г-н В. в ней остался. Или не остался, а вернулся откуда-то, чуть ли не из эмиграции... И стал служить новым хозяевам, вроде бы близким к властям. Но это — не помню, не буду врать и путать читателя, к кому близки новые хозяева «К.», ибо я не знаю этого точно и лишь перескажу сейчас статьи в других газетах. Тем более по сюжету конкретности и не важны.

Вообще он смешной, этот В. Ходит так, немного ссутулившись, и из-под козырька бейсболки настороженно посматривает по сторонам. Смешно... Хотя, конечно, при его жизни поневоле начнешь сутулиться. Я бы после таких статей, как они раньше иногда публиковали, вообще оглядывался бы по сторонам.

В. поздоровался с барменом Маратом, они что-то пошутили, В. взял напиток и пошел с рюмкой в руках за столик в центре зала, откуда ему помахали.

А там такие ребята сидели...

В общем, знаете, можно о чем-то безотчетно задуматься, глядя на них.

Один, — видимо, с Северного Кавказа, — большой, бритый, тренированный, в спортивном костюме, будто с вещевого рынка, и весь какой-то напряженный, как зажатая железная пружина; другой — толстый москвич в расстегнутой белой рубашке, с неприятным, пресыщенным лицом римского патриция времен упадка. Какой-то немаленький бизнес, скорее всего. Вот с ними он и сел.

И я, глядя на эту троицу, поневоле задумался о судьбах России. Ведь хоть сейчас с них картину пиши — «Три богатыря», Виктор Михайлович Васнецов.

Бывший известный оппозиционный журналист, «мирный» чеченец и коммерсант-москвич, на лице которого можно прочитать все гадости, которые ему пришлось проглотить и, возможно, сделать в течение его непростой и уже немаленькой бизнес-биографии. Ну, или почти все.

Неплохая тройка, хоть и не птица...

Но вот, как сейчас говорится, в более-менее *эффективной оппозиции*, — думал я, заказав себе еще пятьдесят собачки «колли», — наверное, в ней можно быть только таким?..

Я посмотрел на наших героев — они чему-то громко смеялись.

...Иначе будешь горд, честен и бесполезен, как политик Григорий Я. В лучшем случае бесполезен, а в худшем — сильно вреден. Вреден, как ни смешно, именно своей принципиальностью, впрочем, сильно смахивающей на нарциссизм, манию величия и просто плохой характер. При этом, знаете, как-то сразу было видно, что этот В. — большой циник. Причем

мне показалось, циник не природный, а вынужденный. Так сказать, *ставший* циником — по мере продвижения по жизненному пути. Земную жизнь, пройдя до половины, он очутился в сумрачном лесу.

Можно немного развлечься, подумал я (ведь был вечер), и предположить, как это произошло.

Наверное, В. в какой-то момент понял, что русская политика — это очень серьезное дело для очень серьезных людей. Простите мне эту банальность. Для людей, не боящихся грязи, как танки, — помните такую рекламу? Тем более русская политика с ее традицией Преображенских полков и другими радостями и гадостями. Что здесь не Лондон, и он редактирует совсем не «Daily telegraph», как это может иногда и вдруг кому-то показаться с перепоя или в тренажерном зале «Планета Фитнесс».

И, эти люди, не боящиеся грязи, — наверное, подумал В., — они еще любят деньги, да, не надо бояться этого слова, *они любят деньги*, а кто их не любит?! Может быть, прежняя власть их не любила, а? В. многое мог бы рассказать про прежнюю власть, да он не будет, так как где они все сегодня? Иных уж нет, а те далече. Он не бьет упавших. Его компания сегодня — это серьезные люди, живущие *в реальном мире*, а те, *прежние*... Он вспоминает их иногда с симпатией, иногда с грустью, но чаще с раздражением.

Когда-нибудь, конечно, он это понимает, и мы все это понимаем, им, этим *прежним*, поставят памятник в одном из больших московских скверов, скульптурная группа будет не хуже, чем героям Плевны, когда-нибудь, лет через двадцать — тридцать, но не раньше, не сейчас.

Через двадцать лет В. будет около семидесяти, и он, приехав в Москву повидаться с детьми откуда-нибудь из Северной Франции, даст Бог, с удовольствием почитает газету на скамеечке у этого памятника, посмотрит на влюбленных на соседней лавочке, погреется на солнышке, с улыбкой вспоминая минувшие дни.

Как славно когда-то сражались они!..

Но жить-то ему надо сегодня! Как можно сохранять сейчас романтизм? — сердито думает В., вспоминая недавний телефонный разговор с одним из известных изгнанников последних лет. Как можно настолько заиграться в Александра Ивановича Герцена? Какой Герцен?! И — один из этих *прежних* уже и за- и до- игрался, повторил путь декабристов и теперь предел его мечтаний — так называемое *УДО*, то есть «условно-досрочное освобождение». А ведь был очень известный и довольно интеллигентный человек. Зачем ему повторять путь декабристов? Зачем ему это ужасное и нелепое *УДО*, похожее на удава?

В. и его друзья опять смеются, теперь их смех адресован компании симпатичных женщин за соседним столиком.

Но, с другой стороны, разве можно что-то позитивное сделать, будучи циником и, как говорится, «прагматиком»? Даже в России, и особенно в России, — думаю я, задумчиво, как и положено наблюдателю и философу, глядя — то на него, то в окно московского позднего осен-

него вечера. — Последние годы показали, что (как ни странно!) нет. Потому что как аукнешь — так и откликнутся, что попросишь, то и подадут...

Присевшая неподалеку красивая девушка в милой полосатой матросочке отвлекает меня и компанию В. от наших философических размышлений и веселых разговоров. Эта матросочка выглядит на ней так мило, делает ее такой трогательной и незащищенной, одновременно подчеркивая очаровательную фигуру юной женщины, что невозможно не улыбнуться. Девушка бросает взгляд сначала на компанию В., потом на меня и тоже одаривает всех нас мимолетной улыбкой, этим объединяя...

После этой улыбки думать о судьбах России уже не хочется, и я начинаю вспоминать, как был в газете В. года два-три назад, заезжал к одному знакомому в гости. У них там симпатично все устроено — красивая дверь с медными фигурками — персонажами сказок, хороший недорогой буфет и вежливая охрана.

При этом, конечно, это «фабрика», газета-то ежедневная и в ней 18 полос — попробуй, заполни такой объем каждый день. Ряды компьютеров, народ что-то печатает, галдеж, дым сигаретный, я немного обалдел, пока дошел к знакомому, в его кабинетик на четвертом этаже. Он там был года три назад небольшим начальником. Подумал: нет, здесь невозможно работать, хотя они и славятся на всю журналистскую Москву своими зарплатами. Хотя, с другой стороны, эту газету, конечно, не сравнить с глянцевыми журналами. Тут жизнь, а там — тоска зеленая. Или, пардон, голубая. (Я ездил в подобный журнал незадолго до того.) Все ё-мое, какие-то пластмассовые...

И вот, сижу я, значит, с этими мыслями, то о России, то о высоких зарплатах в газете «К.», заказываю третью стопку «собачки колли» и копченый чай, что-то записываю в блокнотик, потом в «Огонек» свой заглянул в раздел «Искусство», и вдруг... стало мне не то чтобы хорошо, но знаете, неплохо как-то, неплохо, тихо.

Можно жить, — думаю. — У В-В-П все-таки голова есть, все гайки не закручивает, несколько газет и журналов, два радио, один телеканал остаются... Книжки выходят... Деньги какие-то появились... Х.ли еще надо? Ведь мог бы все закрутить и заморозить (причем под аплодисменты), но не закручивает и не замораживает почему-то. Во всяком случае, пока. И хорошо, спасибо? Вот сидит В., спокойно выпивает в компании сепаратистов. А ты помнишь, *какие* статьи он печатал?..

И только я это подумал, знаете, как на заказ — в зал входят двое мужчин с какими-то стертыми лицами... не из этих мест, в общем, лица (это всегда сразу видно), и садятся на столик в уголке. Как-то я на них быстро внимание обратил. Плечистые такие, с казенными физиономиями, и видно, что люди не выпить-поговорить зашли после работы, а «по делу». Сидят, вроде между собой разговаривают немного, но я вижу, что при этом изредка внимательно так оглядывают зал. На меня разок посмотрели, на компанию В. пару раз взглянули...

И, знаете, я постепенно завелся. Вспомнил, конечно, рассказ Юрия Домбровского, как он в советские времена по телефону (ему казалось, что его подслушивают) вызывал спец-агентов на уголок, поговорить. (Никто, естественно, не пришел.) Вспомнил книги Солженицына...

Причем одновременно думаю: вот, бл.дь, такое настроение было хорошее. Нет бы, чуть раньше уйти. Они же за В. ходят, это ясно. Ушел бы я на полчаса раньше и ничего бы не увидел. Спал бы крепче и в хорошем настроении домой пришел. Фильм сегодня поздно вечером будет неплохой по «ТВ-культуре»... Еще вспомнил, как одни друзья надо мной смеялись, когда я говорил, что в их редакции прослушивают телефон. Вот, думаю, их бы сюда.

Потом принялся сам с собой разговаривать. Утешать себя. Проводить психотренинг. Вспоминать мышку-официантку и слова жены пару глав назад. Про то, что «кому мы нужны» и прочее.

Что мол:

а) — я же не знаю, *за кем* они пришли, да? — Да.

б) — В. работал с олигархом Б., а Б. — это все же не совсем академик Сахаров, правда? — Правда.

в) — степень его, Б., участия в построении нынешней жизни, ее, так сказать, основ — очень велика? — Очень.

г) — В. сидит с каким-то «чеченом» — так? Что за «чечен», я не знаю, правильно? — Правильно. — Про «сепаратистов» это, конечно, шутка, но может быть — и нет.

Потом подумал:

д) — что, возможно, *там просто существует такая работа* — обход клубов вроде этого и составление отчета: кто был, что ел-пил, с кем говорил и кому что в рот не попало. *Мониторинг*, так сказать.

От последней мысли мне снова стало не очень хорошо, и мой психотренинг на расслабление не удался. Тогда я сделал над собой усилие, тихо выполнил пять дыхательных упражнений по системе йоги и, сердито подумав, что не вижу перед собой абсолютно ничего нового (ведь да?!), — углубился в свой «Огонек». Но надо сказать, сами понимаете, читалось мне не ахти, и минут через десять я стал собираться. Думаю: ну его на хер. Пойду. Вообще, надо уезжать из страны, вот что. Надоело это все до невозможности.

Собравшись, я подошел к бармену Марату, болтавшему с какой-то симпатичной девушкой у выхода, и, пожимая ему на прощание руку, тихо спросил:

— Слушай, это кто у тебя там, вон за тем столиком? Сюда что, топтуны ходят?

Бармен сильно напрягся, посмотрел, куда я показываю, и я увидел, что он сначала удивился, а потом посмотрел на меня с сочувствием и каким-то смешанным чувством, которое я не берусь определить. Он даже заботливо поддержал меня под локоть.

— Старик, — тихо сказал мне бармен Марат. — Старик, ты что? Это же охрана!.. Час-то поздний. Вот они и пришли... Ты что, старик?!

Дом без мезонина

Моя знакомая с телевидения изменяет мужу. Это началось вроде бы случайно, на обычной редакционной пьянке, но продолжается уже полгода, и она говорит, что, наверное, влюблена... Я, может быть, еще расскажу о ее романе, но сначала вот что.

Лет пять назад она, только поступив на ТВ и еще не будучи даже знакома со своим нынешним мужем, ездила в Вологду с одним теледеятелем с первого канала. У них не было романа, он только намечался, просто молодая девчонка и заслуженный артист поехали на пару дней посмотреть на знаменитые вологодские купола XVI века, а в кассе Ярославского вокзала не было билетов СВ, в общем, они приехали в Вологду и после ночи в поезде все еще не были любовниками.

А днем, в местном краеведческом музее, куда забрели скорее даже от скуки, чем из любопытства, они познакомились с местной девушкой-библиотекарем, двадцати двух или двадцати трех лет от роду. Кстати, если кто не знает, Вологда славится своими девушками среди отечественных Дон-Жуанов, они необыкновенно красивы.

Так вот, к вечеру местная библиотекарь была сильно влюблена в заезжего теледеятеля, чему моя знакомая была даже рада, так как в ее планы не очень входило совмещать работу и личную жизнь. Короче, деятель взял в местной гостинице два номера, один побольше, на себя с библиотекарем (по странному совпадению ее звали Женя Волчанинова, как героиню у Чехова, это моя знакомая сразу вспомнила), и другой, поменьше, — на мою знакомую. Три дня они проколбасились в Вологде, знакомились с какими-то местными художниками и поэтами, пили на квартирах и в гостиничном ресторане, а через три дня, вечером, провожая их на московский поезд, Женя Волчанинова неожиданно разрыдалась. Никто сначала не понял, почему, но потом разобрали «возьмите меня с собой». Это было тем более неожиданно, потому что девушка попалась неглупая, с чувством юмора, ну и вообще, кто же устраивает такие сцены на вокзале — ими можно только напугать и немного растрогать, но переехать в Москву — навряд ли.

Разумеется, теледеятель испугался, а моя знакомая ее пожалела и даже дала свой телефон, чтоб приезжала сама, без Первого канала, просто осмотреться, куда-то устроиться, — но как это часто бывает в таких случаях, никто никому не позвонил и тем более не приехал.

— А он женат был тогда? — спросил я, вспоминая какие-то читанные в прессе сплетни.

— Да нет, — сказала знакомая. — И сейчас, кстати, тоже нет.

— А что ж он ее не позвал, ведь мог бы пристроить в телевизор, каким-нибудь младшим редактором элементарно, ну пожила бы она у него месяц-полтора, помыла бы ему посуду, что такого, — искренне огорчился я.

— Ну вот, как-то не получилось, — пожала плечами знакомая, — почему-то он не стал. У него есть посудомоечная машина, — пошутила она.

Я вспомнил этого деятеля. Уже начинающий полнеть, лысый, с капризным лицом тридцативосьмилетнего мальчика.

Моя знакомая посмотрела на меня с ироническим интересом: ты что, переживаешь за провинциалок? В Москву, в Москву? Она сама разберется, чего ты? Я ведь ей даже телефон оставляла.

Я вспомнил, как я был в Вологде в 1990-х — две недели жил относительно неподалеку (70 км), на Сиверском озере, у города Кириллов. Помню леса, стоявшие по сторонам шоссе, рассказ водителя автобуса о том, как в полутора часах езды от города как-то осенью через шоссе медленно перешел медведь, и огромные городские церкви XVI-XVII века, о которых знаю еще с института — студентов художественных вузов возили туда на практику... От провинциальных городов у меня лично остается странное, двойственное ощущение чего-то медленного, как будто сонного, но, одновременно, и прислушивающегося к чему-то в себе и вокруг.

Впрочем, возможно, мне все это только кажется, и вологодская девочка, которая плакала на вокзале, провожая теленачальника и мою знакомую, просто посмеялась бы надо мной и моими впечатлениями, да еще и добавила, как это иногда делают провинциалы в разговоре с «любящими провинцию» москвичами: а ты попробуй, поживи здесь! Кроме исторического центра, там есть кварталы новостроек, брежневских и даже хрущевских блочных 5-ти и 9-этажек, вот где идет настоящая провинциальная жизнь. Там не «тишина», а вакуум, отсутствие кислорода, агрессия, пьянство, зассанные подъезды, безумные подростки и бультерьеры на вечерних прогулках.

Мы помолчали. Я вспомнил ее нынешнего мужа, он носил длинные волосы, перевязанные на лбу цветной тесьмой на индейский манер, и увлекался боевыми искусствами. Знакомая говорила, что не перестает его любить, несмотря на любовника, но уже по-товарищески. Любовник тоже был женат...

Я, кстати, даже не понял, почему ее вологодская история произвела на меня такое впечатление, может быть, из-за случайного совпадения с Чеховым? Сам я не очень люблю провинциалок, во всяком случае московских и особенно последних десять лет. С одной стороны, во многих из них есть, конечно, какая-то пассионарность (надо обладать некоторой смелостью для переезда в незнакомый город), иногда чистота или, скорее, неискушенность, столь милая сердцу москвичей, но с другой — временами что-то хищное и одновременно жалкое.

Но когда тележурналистка рассказала мне об этой Жене Волчаниновой из Вологды, я ужасно разозлился и на деятеля с ТВ-1 и на нее тоже. Очень.

Но за что? Они-то причем? Ведь никто же не восклицает на далекой веранде: «Мисюсь, где ты?!.» Это было бы просто смешно.

«Полчаса — поезда под откос, полчаса — не твоя полоса, полчаса — полчаса не вопрос, полчаса не ответ — полчаса-а...» — гремит музыка в клубе. Это «Тату».

«...Не моя карусель, и мечта не моя»...

Люблю этих девочек — в них есть какая-то сила. Новая Россия — вот она. Молодые — другие. Не их карусель. Те, кому сейчас двадцать, — они выросли в свободное время, этим они обязаны нам — кому после тридцати пяти, кто в свои двадцать пять и тридцать вышел в 1991-м к Белому дому! Но им плевать на наши «подвиги», «мысли» и «опыт». Они могут с нами переспать, это в лучшем случае. Они относятся к нам с уважением, пока мы разговариваем с ними иронически или шутим. С ними почти нельзя быть серьезным — тогда они смеются, пугаются или испытывают неловкость.

Иногда я из-за этого злюсь и даже комплексую, иногда думаю, что это все ерунда, и колесо сансары, повернувшись, просто подцепило цветные бумажки другим боком. Ну-ка, где моя бамбуковая флейта? Вот она. Сейчас я вам сыграю и спою. «Звенела музыка в саду таким невыразимым горем, свежо и остро пахли морем на блюде устрицы во льду»[4]. Я уже немного пьян, они сидят за соседним столиком — две девчухи, черненькая с кудряшками и беленькая с распущенными волосами. Сколько им? — думаю я, заказывая еще сто красного сухого. — Черненькая, она наверняка закончила какую-то школу в центре, у нее такой вид, что она... она могла быть моей одноклассницей, — вдруг спьяну думаю я. В школе я не обратил бы на нее внимания — меня тогда интересовали другие типажи, а сейчас, наверное, от выпитого, я смотрю на нее и умиляюсь. Привет, «одноклассница»! Это твой клон или твоя дочь сидит напротив меня в начале XXI века? Они студентки? Склонившись над столом, что-то увлеченно набирают на мобильном. У брюнетки в ухе наушник, и она периодически передает его блондинке. Слушают, хохочут. Наверное, музыка. Это сейчас модно. Блондинка — или не москвичка, или откуда-то с окраин. У нее неплохое декольте, но какое-то странное, злое, взрослое лицо. 25 лет назад она была бы комсомольской активисткой.

С этими телефонами, кстати, смешно. Однажды мы с женой возвращались из Крыма, и с нами в купе оказалась молоденькая девочка-хохлушка. Лет ей было не больше 20. Ехала в Белгород, к бабушке. Первые часа три она спала, потом проснулась и среди прочего рассказала, что служит в... украинской морской разведке. У нее отец бывший советский моряк, теперь вот офицер украинского флота. Устроил и ее. Через 5 лет обещали дать квартиру и неплохо платят. У них женщинам можно служить — они же хотят в НАТО. Впрочем, про американцев она говорила плохо. Говорила, что они часто посылают разведывательные самолеты — для облета Крыма. А локаторы все это фиксируют и передают им.

---

[4] Герой вспоминает стихотворение Анны Ахматовой.

Я было не поверил в ее рассказ, обычная такая девочка, в джинсовой курточке и спортивных штанах, но потом меня смутили глаза. У этих людей, которые из «органов» (неважно, из каких), у них всегда очень специфические глаза. Стеклянные какие-то... Неважно. Я к чему это рассказываю-то: когда мы разговорились, она принялась меняться с другой нашей соседкой, средних лет строительной бизнес-вумен, мелодиями из мобильников. Через какой-то блю-тус и инфракрасный порт. Я в технике ничего не понимаю. Помню, что меня удивило: сотрудник украинской морской разведки увлеченно меняется мелодиями для мобильного телефона. Хотя что, они не люди? Или времена (для них) тоже изменились?

Но я отвлекся... Смотрел, я смотрел на девочек за соседним столиком, дождался, пока длинноволосая отойдет в туалет, и говорю черненькой: знаете, а вы могли быть моей одноклассницей.

В общем, чтобы не тратить много времени, скажу вам, что в результате я пересел за их столик, хотя мне было неудобно, взрослый дядечка пристает к детям. Но слишком интересно было: какая она, «одноклассница»? — Подруга ваша, — говорю, — красивая. — Да, — говорит, — это моя лучшая подруга. — Понятно. — Я, — говорит «одноклассница», — сейчас развожусь. — Вот как. Долго ли были женаты? — Два года. — А почему же разошлись? — Он изменил мне. — Извините. — Уже ничего. (Пауза). Вот с ней. — С кем?.. — С лучшей подругой. — Хм. Но она осталась лучшей? — Ну да. — Интересно. — Я ей даже благодарна. За что? Она помогла ему в трудную минуту.

Высокие отношения, — думаю. «Покровские ворота — 2». Сейчас пишу — смешно, а тогда был немного пьян, устал — разозлился. — Что за х..ня, — говорю, — Лена? (Ее так звали). — Кому она помогла? Чем? Это же нехорошо, вы что, не понимаете? — Нет-нет, — говорит, — не сердитесь, она помогла мне, правда. Тогда я говорю, подумав: — А может быть, эта ваша толстуха в вас... влюблена? Ну, не явно (надеюсь), а подсознательно? Пауза. Улыбнулась. — Ну, подсознательно и я в нее влюблена... немного. Подсознательно-то.

Так, — думаю. — Зачем я подсел? Так хорошо сидел за своим столиком, на публику смотрел, зачем я подсел только? Нет, я к меньшинствам хорошо отношусь, но такие фигуры в 20 лет, согласитесь, это лихо. «Одноклассница», будто услышав мои мысли, говорит: — Нет, вы не подумайте, мне женщины вообще-то не нравятся. Я еще раз замуж хочу выйти. Потом. — Ладно, — говорю, — Лена. Только знаете, — говорю, — дам совет. Недавно вычитал его в одной умной книжке. Когда будете искать себе мужа, спросите его, была ли его семья полной и счастливой. Говорят, это важно. Напряглась. — Что вы? — Ничего. — У вас семья неполная? — Нет... все нормально. Только они не живут друг с другом. — Как это? — Так я об этом недавно узнала. От меня скрывали все детство. Просто живут в одной квартире, и все. У каждого своя жизнь. Уже очень давно.

Я взял еще два по сто сухого красного. Разлил себе и ей. — За счастливое детство! Выпили. Помогло, но не очень. Опять подумал: — зачем

я пересел?.. На фиг мне это надо? И подруга пропала. Какой-то выездной сеанс психологии. — А чем занимаетесь? — Я историк моды. Пишу в журнале. В каком? В «Афише и отдыхе на неделю». — О, я читаю ее иногда. Но там же была... кажется, ее звали как-то на Л.? — Она ушла. Уже полгода. Вы, видно, давно нас не читали. Я вместо нее.

— Ясно, — говорю.

— А вы чем занимаетесь? — спрашивает «одноклассница».

— Тоже пописываю слегка.

Пришла подруга. Села. Сердито на меня посмотрела. Точно, думаю, латентная лесбияночка. А декольте отменное... Познакомились. — А вы тоже в журнале «Афиша на неделю»? — Да. — Тоже мода? — Нет. Я про музыку пишу. — Ясно. Я не очень в музыке. — Ну еще бы. — Ха-ха, почему? — я удивился. — Ваше поколение не очень в музыке разбирается. — Почему? Это вы зря. У меня есть приятель, он был музобозревателем на «Голосе Америки». С самим Севой Новгородцевым знаком. Слышали о таком? — Слышали. Но это исключение. А вообще все люди вашего возраста не очень в этом понимают... Вам под сорок или уже больше? — Под. — Ну вот, я и говорю. Вы только не обижайтесь. — Ладно, — сказал я, — все понятно. Я совсем не обижаюсь. Вообще у меня дома «Дым над водой» лежит. Еще на виниле. Но это не важно, скорее всего, вы не знаете, что это. Приятно было познакомится. Пойду, пожалуй. Поздно уже. Надо домой. Семья ждет.

«Одноклассница», может, увидела, что я как-то расстроился, а может, я ей немного понравился, сейчас это модно, чтобы мужчина был старше, и говорит: — Погодите. Давайте еще минут десять посидим и пойдем все. Нам тоже пора. Это у вас что за книжка? (А у меня на столе Войнович лежал, «2042»). Я говорю: — Это Войнович. Не знают. — Интересно? — Да. Это про... Рассказал. Лена напряглась. — Не люблю, — говорит, — *этого*. Очень. Это к нам отношения не имеет. У нас будет совершенно другая судьба и другая жизнь.

— Да, — говорю. — Наверное. И даже знать не хотите? На всякий случай, чтоб не спутать. Судьбу, так сказать. — Нет, — говорит. — Зачем?

Помолчали. И тут меня стала злость разбирать. Потихоньку так. Другая жизнь, значит. При этом подруга спит с ее мужем, а она гипотетически с подругой. Ладно. Но сдержался. Какие-то, думаю, две писюхи в богемном клубе. Чего ты хотел-то. Ясное дело, что здесь можно встретить и не такое. В литературе, опять же, такие случаи описаны.

Что-то пошутил, выпили, но смотрю, подруга все сердится. Ну, ясное дело, ревнует.

И тут она говорит:

— Знаете, а вы, наверное, Путина не любите?

Честное слово, товарищи, так и спросила. Тут же ничего не придумано, вы знаете. Я как-то даже растерялся.

— А надо? — спрашиваю. — Именно любить? Это же выборный персонаж. Кто-то его выбирает. Кто-то нет. Я к нему персонально, кстати, неплохо отношусь. Он здесь такое мог бы устроить... При всеобщем

одобрении. Не устроил же пока. За это большое спасибо... И потом, я не уверен, что ему нужна эта всенародная любовь.

— Нет, — говорит подруга. — Нужна... А вы, наверное, не русский, да?

Нормально, а?! Повторяю, эта глава полностью документальна.

— Ну так, — говорю после паузы, — частями. Няня у меня зато чисто русская. Вологодская область. Как у Пушкина, ха-ха.

— Сразу видно, — не обращая внимания на няню, говорит подруга. — Потому что если бы вы были русский, вы бы именно любили Путина. У русских не бывает чиновников-президентов. У русских президент — Царь. И его все любят. Должны любить!

Я искоса поглядел на Лену-«одноклассницу»: интересно стало, как она на такие тексты реагирует? Ну, слава Богу, не кивала. Сделала мне большие глаза и пожала плечами потихоньку. Мол, не стоит с ней об этом.

— Должны, — говорю. — Да.

И тут я наконец-то разозлился. Причем сильно. Глупо, конечно. Две маленькие девочки, а я взрослый человек. Какого хрена на них реагировать. Но, с другой стороны, — в 1991 году им было по 4-5 лет. Откуда они набрались этой х..ни?! Кто им ее рассказал на ухо? Не живущие вместе родители? Соседи? Учителя с крошечной зарплатой? Взрослые дяди и тети по телевизору?

И я довольно жестко сказал:

— Знаете, я знаю много очень достойных русских людей, которые не думают так, как вы.

Сказал и думаю: вот зачем я это? Две маленькие девочки, зачем? Кому и что я доказываю?

И вдруг вижу, ребята, «комсомолка»-то растерялась!.. Реально растерялась. Сидит, не знает, что сказать. Даже рот открыла, как рыба. И я обрадовался. То есть не застыло в ней это еще, да? Не стало железобетонным. Может, ей просто никто ничего не объяснил? Не объяснял никто ничего никогда?

Тут «одноклассница» достает журнал. — Я здесь, — говорит, — печатаюсь, посмотрите. Может, ей надоел наш разговор, а может, чтобы разрядить обстановку. И показала мне свой раздел, «моду». И знаете, неплохая съемка. Называется «Городские окраины». Свежо как-то. Даже с юмором. Конечно, не так, как было у Л., но тоже неплохо. Девочки с окраин в спортивной и молодежной одежде во дворах, на детских площадках, у пивных киосков, вечером, после работы, в пустынные выходные. Со злыми и сексуальными лицами. Неплохо... Поймала что-то. Пульс времени.

И мы стали прощаться. До свидания, мол. Пока. И я подумал: наверное, у этой «комсомолки» жизнь — не позавидуешь. Злится на всех, «любит» царя-президента, жить негде (сказала еще раньше, что она не из Москвы), хочет-ненавидит свою лучшую подругу... И все это, подчеркиваю, — в двадцать лет! Хороший компот для литературной героини, но по жизни... даже не по себе становится. Новая русская пассионария. Впору опять фильм снимать — «Мне двадцать лет».

Да, у них, конечно, будет «другая судьба, другая жизнь», это верно, это уже видно... «Одноклассница» права. Еще я подумал, что поколение их родителей — это люди старше меня от силы лет на пять, ну десять. То есть в принципе, это без чего-то я. Тат ва мази, — как говорили в Древней Индии. — Ты — это я. И я (спьяну, конечно) вдруг попросил у девочек прощения. Что мы не научили их почти ничему из того, что знаем и понимаем сами. Не нашли времени, слов, смысла.

— Простите, девочки.

Они удивились. Решили, что я напился с трехсот грамм вина. Проводили меня удивленными взглядами. Переглянулись.

И вы, читатель, меня, конечно, тоже простите, за высокопарность.

Мальчик-снайпер

Начав просить прощения, трудно остановиться. Впрочем, не вижу в этом ничего страшного.

Сидели как-то зимой в одном художественном подвале на Чистых прудах, и то ли из-за морозов, то ли еще из-за чего, но народу в тот день было мало. Кажется, готовился, репетировался какой-то концерт, но мы пришли в самом конце — музыканты собирали свой багаж, гитары, разноцветные, раскрашенные, как деревянные ложки, барабаны, большие концертные колонки hi-fi, двое пьяниц о чем-то горячо толковали в углу, мужчина обнимал девушку на переднем плане, какие-то девчонки в коротких юбочках тусовались у барной стойки — вот, в общем, и все посетители, весь задний план нескольких следующих кадров...

Мне нравится иногда бывать в этом подвале. Это место кажется мне почти правильным, временами я даже думаю, что какая-нибудь «Бродячая собака» — она в свое время, в каком-нибудь 1910–1912 году, была примерно такой же, как этот подвал.

Ну вот, мы с женой сели, сделали заказ, я открыл книгу, а минут через пятнадцать за соседний столик сели двое каких-то мальчишек, беленький и черненький, сели так тихо, что я даже не сразу их заметил. Потом беленький зажигалку, что ли, попросил, не помню уже, и слово за слово мы разговорились.

Беленький, оказывается, только что демобилизовался, он сразу об этом с гордостью так и сказал: я — дембель.

— О, — говорю, — круто. В каком чине демобилизовался?

— Прапорщика. Ротой командовал.

Я, честно говоря, не поверил, прапорщик — это ведь складская должность, завхозная, в наше время на этих должностях усатые дяденьки сидели, и говорю:

— Да ладно.

— Что «ладно», правда.

— А сам откуда? — спросила жена.

— Друг вот сейчас в Москве живет, а я из Волгограда.

— Один в семье?

— Нет, брат есть, старший.

— Он тоже служил?

— Да. Но давно, десять лет назад.

— А маму как зовут?

— Татьяна. А зачем вам?

— Так просто. Если не хочешь, мы не будем спрашивать.

— Да нет, спрашивайте. Вы кто?

— Журналисты.

— А, понятно. Напишете обо мне? — он засмеялся и добавил: — А папы нет.

— Они развелись что ли?

— Неважно. Нет, и все. Мама работает. У нас свой дом в Волгограде, все есть, телевизор, холодильник, огород, даже СВЧ-печка. А вот отца нет.

— В Москву в гости приехал?

— Ну да, к другу. После армии. Мама денег дала.

— А друг чем занимается? Он тоже дембель?

— Нет, он не служил. Он на «Мультфильме» работает. Тоже волгоградский.

— О, художник?

— Ну да.

— Я мультипликатор, — с гордостью сказал черненький. — Компьютерная графика. Мультфильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», слыхали про такой?

— Конечно.

— Я участвовал. Там мой персонаж есть.

— Выпьем за искусство, — сказал беленький.

Выпили.

— А ты где служил-то? — спросил я у беленького.

— Под Калугой, потом в Чечне был в командировке, я же снайпер, потом...

Да... А я смотрю, они же совсем дети. Просто совсем. То ли я постарел, то ли они какие-то сделались маленькие, думаю — даже если врет, и ни в какой Чечне он не был, как можно такого младенца куда-то «призывать» — это же мальчишка, ему в футбол надо гонять, за девочками бегать, с книжкой за партой сидеть. И потом, что он может, если дать ему в руки автомат?

— А чем, — спрашиваю, — собираешься заняться в столице? Или просто погостить приехал?

— Пока не знаю, я только приехал, а вообще я пою. Ну, под гитару. Хотите вам что-нибудь спою? У нас гитара с собой, — он показал на чехол у стола.

— Ну, спой. Что сейчас в армии поют. Спой что-нибудь армейское.

— Тут нельзя, наверное.

— Ничего, сейчас народу мало. Ты спой, а если скажут перестать, перестанешь.

Он достал гитару и запел что-то, ну, знаете, что подростки у подъездов поют — смесь какой-то полууголовной романтики, пошлятины и

юношеского томления. И голосом таким запел, под группу «Ласковый май», или кто там их сейчас замещает. Минут через пять подошел охранник, сказал, что петь нельзя, и бывший прапорщик перестал.

— Ну, как?

— Это в армии пели?

— Это.

— Группа «Танцы минус», — сказала жена, — «оставил девушке половинку себя». Ее по радио часто крутят. Ты слышал, но забыл.

И я представил себе, как такие вот мальчишки, вечером, в казарме хором пели эту песню группы «Танцы минус» (минус что? или кто?), а потом, если он не врет и действительно был в Чечне, сидели с автоматом в блиндаже, вглядываясь в чужую, душную темноту, откуда вполне могла прилететь пуля или граната, и почему-то мне захотелось... попросить прощения у его мамы.

За что?

Простите меня, Татьяна, что ваш сын сидел вот так, в казарме, на солдатской железной кровати и пел идиотскую песню. Хотя почему «простите меня», я-то тут причем?! Я ведь всегда голосую за СПС, а СПС был против обязательной армейской службы, пока не развалился. А вот вы, Татьяна из Волгограда, вы, скорее всего, вообще не ходите на выборы, а если ходите, голосуете за «Единую Россию». Потому что вам нравится Путин. Он хороший, положительный и немного похож на вашего начальника цеха. И вообще, сейчас ведь, простите за повтор, много лучше жить стали, чем раньше.

Я спросил:

— Слушай, а твоя мама на выборы ходит, ты не знаешь?

— Не, не ходит. Один раз ходила, я не помню, когда. К ним на завод разнарядка пришла, столько-то человек должно пойти и проголосовать. Она пошла. А так нет, не ходит. А вам зачем?

И все равно, как говорится, «несмотря на» — простите, Татьяна, что так получилось. Что вы голосуете так, как голосуете. И живете так, как живете. Что мы за 10 лет 1990-х годов не смогли вам ничего объяснить и, в общем, даже не пытались, и в результате ваш сын был снайпером в Чечне и стрелял в своих же сограждан, которым тоже никто ничего толком не объяснял. Что единственное, чему смогли научиться наши дети в минувшее десятилетие, это принципу «каждый за себя, и все против всех».

Тогда я сказал: давай, что ли, познакомимся. И назвал себя.

Он протянул руку:

— Остап.

Все засмеялись.

— Прикалываешься? — спросил я.

— Почему? Меня, правда, так зовут. Могу паспорт показать.

— Ну, покажи, — сказал я, и он достал из сумки паспорт с двуглавым орлом, и рядом с фотографией, где он был еще более маленьким и еще более испуганным, чем сейчас, в этом кафе, и я прочитал: Остап Петрович Пушкарис.

Мальчишки засмеялись: а вы не верили.

— Ты что, прибалт?

— Да нет, наша бабка была из немцев.

— Из кого?

— Из немцев. Ну, она была из Сибири. Мамка говорила.

— Поволжские немцы, — сказал я. — Выселенные Сталиным в Сибирь. Потом вернувшиеся.

— Что? — он не понял.

— Тебе что, про это не рассказывали?.. Ладно, Остап Петрович, давай выпьем. За тебя. За нашу армию. Ты что, и правда, был снайпером?

Мальчишка с торжеством достал из сумки военный билет — все-тот же двуглавый орел на обложке, развернул:

— Вот.

Как паспорт, только поменьше. Герб, мелкие надписи, графы: рядовой, сержант, сержант-снайпер, прапорщик.

— Тебе что же, и стрелять приходилось?

Он отвел глаза, и я тоже испытал странное стеснение, а ну как скажет «да»?

Что я буду говорить: и попадать?.. Ха-ха-ха! Ха... Я вспомнил недавнюю передачу по ТВ, там рассуждали — всерьез мы сейчас живем, или все это — пародия. Один телевизионный персонаж, большой прикольщик, говорил, что пародия, не всерьез. Вот этот парнишка, с анекдотичным именем Остап, которого научили стрелять и который, возможно, скорее всего, применял свои знания на практике, — он отчего пострадал, от «серьеза» или «пародии», которые даже в его имени сплетены? Про тех, в кого он стрелял, я даже не говорю.

Распрощавшись с ребятами, мы с женой потом долго шли по улице, было холодно, по Покровке из Кремля в сторону Садового пронеслась кавалькада черных иномарок с мигалками, вспоминали весь разговор, и почему-то мне опять вспомнилась его мать.

Пушкарис Татьяна, в девичестве Честнёва (бывший прапорщик назвал фамилию), работница, мать двоих детей, город Волгоград, бывший Сталинград, от их дома полчаса на автобусе до Мамаева кургана, сказал Остап Петрович.

Пушкарис Остап Петрович, двадцать лет, демобилизовавшийся прапорщик российской армии, бывший школьник, бывший снайпер, бывший командир взвода на Кавказской войне, сейчас гостящий у друга-художника в Москве, и его мать, и старший брат, и я, и жена, и редкие прохожие, и даже те, кто промчался мимо в «членовозах» с голубыми маячками, мы все — граждане Российской Федерации, чей герб как будто между прочим красовался у Остапа Петровича на паспорте и военном билете.

Фабрика бутербродов

Меня иногда ругают — где вы это все берете? Придумываете, наверное. Из пальца высасываете. Наверное. Вот тут недавно «высосал». Дополнение к предыдущим главам. Как говорится, тема — и вариации.

Были на выставке Филонова в Пушкинском музее. Юбилейная, сто лет — из Питера привезли, с, так сказать, места жительства. Это было почти сразу после Нового года, числа третьего, — я наткнулся на афишу в журнале, — давно собирались, плюс делать было нечего, в посещении друзей надо было сделать перерыв, и мы пошли.

Как ни странно, народу было много и было много хороших лиц, видно, у многих людей в посещении друзей был перерыв, мы долго ходили по залам, рассматривая все периоды: 1910-е, 20-е, 30-е годы. Ну, в 30-е я заглянул мельком, уж очень тяжелое ощущение исходило от картин, а в 1920-х ходил долго. Филонов, конечно, молодец, гениально все подметил — как от предметов и отдельных образов, от тонкой индивидуальности и аристократической отдельности эпоха перешла к количеству, снежному кому винтиков и гаечек, огромной горе несамостоятельных деталей, как раньше говорили, «масс», — теперь картинка складывалась из них, из их течения, их грандиозных муравьиных построек и битв. Поднявшись на второй этаж, посмотрели на большой стенд с датами жизни и творчества — после 1929 года все как положено — в 1930-х не выставлялся, в 1942-м умер в блокадном Ленинграде, но обошлось без лагеря.

Постоянно писал, писал как сумасшедший, ничего другого практически не делал, его заставляли хотя бы поесть, детей не было, работы не было, друзей и знакомых почти не было, жена была старше на двадцать лет — она кормила и работала, все картины завещал Русскому музею, честь и хвала сотрудникам — не выставляли, но и не выкинули и не распродали по частям, хотя могли бы. Минуя сорок послевоенных лет, когда был полузапрещен и замолчан, все сохранилось в запасниках до новых времен — Советский Ван-Гог. Более того, Союз художников СССР, оценив завещание умершего от голода мастера, сумел не дать похоронить его в общей могиле, как было принято в блокаду, и теперь мы (в отличие от Мандельштама, например) даже знаем, куда положить цветы. О том, чтобы добыть художнику лишние сто грамм хлеба в день, пока он был жив, никто не заикается, ясно, что об этом не могло быть и речи.

Во время выставки я периодически выскакивал в соседние залы — чтобы «проветриться», «сбить» слишком сильное впечатление, не пугаться — слишком точно все это резонировало с общим настроением, с чем-то, висящим последнее время в московском воздухе. А поскольку выставка проходила в залах XX века, в соседних помещениях выставлялись «Мир искусники»: Ларионов и Гончарова, Кустодиев, Добужинский, Сомов, Бенуа... Конечно, сравнивать невозможно и ненужно, но я невольно подумал, что насколько все-таки это разные вещи, Филонов — и «Мир искусства». Я понимаю, что говорю сейчас банальности с точки зрения искусствоведа, но поймите чувства и эмоции «простого зрителя» — в одном зале победа тысячи над единицей, разноцветный железный поток, винтики и гаечки безумной машины, сошедшей с горы лавины, селевого потока, хвоста кометы...

Плюс человеческая судьба Филонова, плюс бес времени года — московская зима, январь, полупустой город, все, кто хотел и мог, — уеха-

ли на праздники, ощущалась какая-то странная, непривычная для Москвы пустота и брошенность — здорово все это было, в смысле как-то очень пронзительно.

И, всего лишь в соседнем зале, — тихая ирония, юмор, камерность, барочная театральность, легкое одиночество, женский смех, лето, зелень и чайные сервизы на дачных столах.

Мог ли Филонов уехать? Нет, конечно. Мог ли уехать в 1920-х годах Андрей Платонов, гидроинженер по профессии (легко бы *там* устроился, почти наверняка продолжил бы писать), с которым Филонов, оказывается, дружил? Тоже нет.

Выйдя на улицу, за музейную ограду, молча пошли по бульвару в сторону Арбатской. Серый снег лежал по сторонам, старые дома, видевшие и мир-искусников, и Филонова и многих, многих других, молча стояли по сторонам, городская картинка выглядела гравюрой, черно-белым рисунком углем.

Вдруг, уже у самого метро, сбоку увидели цветную неоновую вывеску кафе, уютный современный интерьер, желтый, кремовый, темно-синий, название тоже показалось смешным — «Фабрика бутербродов». Жена сказала:

— Я когда-то была тут днем, здесь неплохо кормят. Зайдем?

Народу внутри совсем не было. Только какой-то очень напряженный мужчина с короткой стрижкой, по виду госслужащий, что-то заказывал у стойки, обращаясь к бармену и девушке-официантке почему-то на «ты», те немного смущенно, впрочем, с юмором отвечали, — вот и все посетители.

Сели у окна. Мужчина в конце-концов ушел, завернув бутерброды в пакет и подарив нам неприязненный взгляд, и девочка подошла к нам. Симпатичная, с голым загорелым животом и круглой серьгой на пупке, улыбаясь, приняла заказ. Мальчик-бармен предложил из-за стойки:

— Апельсиновый сок кончился тридцать первого декабря, нового еще не завезли, будете ананасовый? За счет заведения, с Новым годом! — он улыбался.

Ребята зажгли лампочки в витрине, чувствовалось, что они нам рады, особенно после того, стриженного.

— Из гостей или в гости? — спросила официантка.

— Нет, мы из музея, — сказала жена.

— *Музея?*— девушка удивилась. Даже перестала готовить что-то там за стойкой.

— Из Пушкинского, здесь недалеко.

Она кивнула:

— Знаю.

Пояснила мальчику:

— Это около большого храма.

Он все улыбался.

— Были на выставке? Художника?

— Да.

— Какого?

— Филонов, не слыхали?

— Как? Нет... Современный? Ваш знакомый?

— Нет, что вы. Это еще довоенный. Почти классик. Советуем, очень здорово.

Девушка улыбнулась:

— Если время будет, сходим, спасибо. Работы много. Но я в живописи не очень. Обернулась к бармену:

— А ты?

Они засмеялись. Я подумал, что им, наверное, лет по 20, не больше, совсем молоденькие. У мальчика в ухе тоже была серьга.

Принесли бутерброды, чай в белом симпатичном чайничке, мы заказали фруктовый. Я приоткрыл крышку, пахло хорошо. Посмотрел за окно, на памятник Гоголю, на здания военного министерства с той стороны бульвара, на новую, с иголочки часовню у метро. Впечатление от выставки все не выветривалось, картины стояли перед глазами.

— Чай хороший, не сомневайтесь, — сказал мальчик. — Наш байер заказывает только настоящие. Он зажег на нашем столе маленькую ароматическую свечку:

— Для уюта. Отдыхайте.

Жена достала мобильный, написала эсэмску подруге, поздравила с Новым годом, потом мы написали эсэмэску моему редактору, предупредили его, что где-то числа десятого, после Рождества, на пару недель уедем.

Девушка-бармен периодически поглядывала из-за стойки, все улыбалась. Потом спросила:

— А вы сами тоже художники?

Я покачал головой:

— Нет. Похожи?

— Похожи.

Мне хотелось поговорить.

— А этот мужчина, что брал с собой бутерброды, он кто, как вы думаете?

Она пожала плечами:

— Военный, наверное. Их много тут, какая-то их контора напротив. Или милиционер.

— Не люблю их, — вдруг сказал я. — Ментов, я имею в виду. Впрочем, я в этом смысле не оригинален.

Девушка промолчала. Потом сказала:

— Сейчас каждый зарабатывает свой хлеб как может.

— То есть? — говорю.

— Ну, как «то есть»... — Она мне показалось, даже удивилась. — *Как может*. Что тут непонятного. — Добавила: Мне год назад предлагали устроиться в милицию.

— Ну и что же вы, не пошли?

— Как видите, не пошла.

— Почему?

Она неопределенно улыбнулась, пожала красивыми плечами.

— Не знаю. Работа нервная. Я не думала, почему, просто не пошла, и все.

Мальчик засмеялся.

Она посмотрела на него:

— Правда, ... ?

Я не расслышал имя, переспросил.

— Йорик. Это его кличка, ник. На самом деле его зовут Валентин.

Она прибавила музыку, стала пританцовывать. Йорик-Валентин у стойки подпевал.

Картинка за окном из этого кафе казалась очень симпатичной. Вот мы сидим тут, зимние ранние сумерки, свечки на столах, красивые ребята танцуют за стойкой, бульвар, даже казенное здание военного министерства выглядело отсюда не таким страшным. Были на замечательной выставке, то, что изображено на картинах, надо думать, уже стало историей. Вот только этот противный стриженый мужик был вначале, но мало ли неприятных людей, если на всех обращать внимание, знаете...

Я сказал:

— Все-таки хотел бы уточнить... — Пояснил: — Я журналист, мне интересно. Вы не пошли туда работать, но их не осуждаете. Правильно я понял?

Жена толкнула меня под столом коленом:

— Что пристал к детям?

Девушка опять засмеялась:

— Да, правильно. Я так и подумала, что вы кто-то такой. Журналист или художник... Я вообще стараюсь не думать о всякой ерунде. И так жизнь сложная. От нас мало что зависит. Вот и Йорик со мной согласен.

Я посмотрел на мальчика. Он возился с тостером, потом достал мобильный. Машинка была новая, светло-синего цвета, совсем плоская по последней моде. Было невозможно понять, что он думает, да и слушает ли нас вообще. Телефон мальчика запищал, потом стало слышно мелодию. Я узнал — это были Brainstorm, симпатичные русские ребята из Латвии, поющие по-английски.

— Это будильник, — засмеялась официантка. — Сейчас тосты привезут. Чтобы мы не проспали.

Я подумал, что парень совсем молодой, просто пацан, лет 17-18, только после школы. Еще подумал, что у этих ребят, кому нет 20, совершенно особая пластика. У некоторых. Какая-то... несоветская. Я бы написал «свободная», но, помня о некоторых встречах, описанных чуть выше, не решаюсь. Посмотрел на военные здания за окном. Интересно, в армию пойдет?

Я не стал спрашивать, перевел разговор на другое: вечер был слишком хорошим.

Переживший красный террор Лев Толстой

В одном знакомом издательстве появился новый редактор. Симпатичный парень лет тридцати с небольшим. Одевался как-то так забавно, мило здоровался (без угрюмости), запустил любопытный проект, — и кто-то мне про него еще сказал, что он несколько лет прожил в Лондоне и чему-то там стажировался. А, — подумал я, — вот где его улыбаться научили, в нашей стране это ведь не очень принято... Сам он как-то сказал, что в Лондоне работает его бывшая жена, в самом конце 1990-х он уехал домой, думал, что теперь уже можно, а вот она с сыном осталась — позже вышла замуж за аборигена.

— Грустная история, — говорю.

— Да нет, — отвечает, — обычная.

И вдруг я встречаю его и его подругу в том самом баре, где встретил главреда «К.», г-на В. Помните, глава «Три богатыря»? Я же говорю, популярное место среди творческих людей.

В тот вечер зашел, а они сидят у самой стойки. Они с подругой-коллегой. Я так и не понял, кто она, подруга или коллега или и то и другое, но это в данном случае неважно, не наше дело, как говорится. К тому же девушка симпатичная — грустные глаза, длинные каштановые волосы, — не имея практического применения, эти детали меня несколько тонизировали, так как вечером после работы я, естественно, немного устал. Еще время было позднее, погода плохая... В общем, вы сами все понимаете.

И знаете, мы очень неплохо поговорили в тот вечер, пошутили както, выпили, посмеялись, даже настроение поднялось. Поговорили о книжках, об издательских делах, об общих знакомых. С кем еще поговоришь о литературе сейчас? Только с редактором или ведущим книжной колонки. Все прочие часто обнаруживают такие провалы, что становится даже неудобно. Причем неудобно непонятно за кого — за них, что элементарно необразованны, или за себя, что книжки читаешь — ерундой занимаешься. Спросишь: помните у Чехова?.. А в ответ неловкость — sorry, я почти не читаю. Как-то нет времени...

Правда, редактор (допустим, его звали Максим) тоже среди прочего сказал, что он:

а) весьма высокооплачиваемый редактор, вы не думайте

б) вообще-то дворянин

в) у поэта Иосифа Бродского... — дутая репутация. Это очень средний *советский* поэт и вообще, у него хороших стихов очень и очень мало. Вся русская литература XX века состоит из дутых репутаций, — сказал редактор Максим.

Пункт в) прозвучал очень неожиданно, даже немного ошарашивающе, но я последнее время, как говорится, слышал и не такое, поэтому лишь сложил под столом пальцы крестиком и, проговорив про себя три раза «ом мани, падме хум», продолжил беседу.

Потому что, повторяю, очень неплохо сидели. Можно добавить — как ни странно. Я подумал: ну не любит человек Бродского, ну и что с того?

Бывает! О вкусах ведь не спорят! Правда, Максим добавил (уже на выходе), что у него, у Максима Н., стихи в журналах стали печататься раньше, чем у Бродского, что у него первая публикация произошла в 12 лет, причем не где-нибудь, а в Новом журнале!.. Но я уже немного пьяный был, следовательно, добрый и не среагировал. И подруга у него, повторяю, была симпатичная. С милыми карими глазами не то садового цветка, не то тихого омута (в котором черти водятся), я такие глаза люблю. Она тоже профессиональный редактор, после филфака МГУ, кстати.

Распрощались дружески.

Скоро, как говорится, сказка сказывается, да не скоро дело делается. Прошло месяца три. Захожу я одним дождливым майским днем в это издательство (дела какие-то были, мелкие) и смотрю, они с подругой на кухне сидят, в издательской чайной комнате то есть, и пьют чай и вино. А другого редактора, к которому я собственно зашел, его не было. Вышел куда-то. Секретарь говорит: подождите полчаса, — ну, и я тоже подсел чаю попить.

— Не помешаю?

— Да нет, наоборот, — отвечают, — садитесь.

Поговорили немного о том, о сем, и я обратил внимание, что у его коллеги-цветка в тот день были грустные глаза, мне показалось даже, заплаканные, но я, естественно, промолчал. Мало ли почему у симпатичной женщины могут быть грустные глаза? Причин много.

И, не помню уже, как мы на это вышли, кажется, он сказал, что к тому старому писателю — почти классику, книги которого он готовит сейчас к изданию, — он ездит на встречи на дачу, в Переделкино. Писатель там круглый год живет, и зимой и летом, и выбираться в Москву ему трудно. Я ведь знаю, что такое Переделкино?

Я кивнул, немного удивившись вопросу.

— Эту дачу ему Ельцин дал, — сказал редактор. — В тысяча девятьсот девяностых годах, после возвращения из эмиграции. Отчасти в качестве компенсации за старое.

— А раньше там кто жил?

— Кажется, какой-то советский поэт-орденоносец, впрочем, точно не знаю. А причем тут это ваше «раньше»?

— Да нет, — сказал я, — неважно... Просто странно немного. Я там бывал, брал недавно интервью у одного старого диссидента, последователя Солженицына. Тоже проведшего в эмиграции около десяти лет, тоже высланного в свое время из СССР... Он живет на даче старого большевика, чуть ли не Каменева. Говорит, что два года боролся там с «прежним духом». Я не понял, зачем он с ним боролся столько времени: ведь можно было поселиться другом месте?

— Я не пойму, чем вы недовольны, — сказал знакомый редактор. — Ну живет и живет. Что с того-то?

— Неудобно как-то, — говорю. — Как вы не понимаете? Нехорошо. Старая история с формой и содержанием. Конечно, содержание первично, но все-таки. *Все-таки*, понимаете? В этом поселке надо бы сде-

лать музей, или мемориальный комплекс. Нельзя там селиться. Даже если больше негде. Тем более, если есть.

— Но послушайте, — сказал редактор. — Послушайте... Кроме старых большевиков в Переделкино жили, например, Пастернак и Чуковский... И вас ведь не возмущает и не удивляет, что Лев Толстой пережил в Ясной Поляне красный террор и начало коллективизации. Ведь вы это воспринимаете нормально?

В этот момент в кухню зашла симпатичная сотрудница Вика, и пока я сначала здоровался, а потом следил, как она наливает себе чай, смысл сказанного не вполне дошел до моего сознания. Когда же этот смысл до моего сознания дошел, я решил, что редактор Максим прикалывается или предлагает мне сюжет для неплохого фэнтези. Ведь была же, кажется, книга, где избежавший расстрела поэт Гумилев превращается в Бэтмена и мстит большевикам. Книга, насколько я помню, имела успех.

Но потом, когда Вика ушла, я понял, что редактор не шутит.

— Что вы, Максим, — сказал я после небольшой паузы и взял нотой выше. — Какую коллективизацию пережил Лев Толстой?

— А что, — сказал редактор, — он ведь умер, насколько я помню, году в тысяча девятьсот двадцать шестом. Разве нет?..

Дорогие друзья! Уже неважно, что было дальше, но это был момент некоторого озарения, вот что я вам скажу. По-английски это называется inside. Как говорится, я многое понял. Понял, как говорится, откуда ноги-то растут.

Дальнейшее можно не говорить, но я все же проговорю.

Потому что если Лев Толстой в сознании симпатичного редактора уважаемого издательства пережил коллективизацию, причем, в своем поместье «Ясная Поляна» (представим себе, например, картину маслом «Лев Толстой беседует с В. И. Лениным в Ясной Поляне» — продаю этот сюжет будущим живописцам), то нет ничего страшного и странного, что диссидент со стажем, не морщась, живет на даче старого большевика, поэт Николай Гумилев превращается в Бэтмена, а маленькая симпатичная девочка-лесбияночка двадцати годков из предыдущих глав этой повести считает, что у нас должен быть не президент, а Царь.

Как писал Лев Толстой в 1991 году — все смешалось в доме Облонских.

Здесь мне слышится даже некий «хрустальный», как писал когда-то Гессе, смех, — но, возможно, это мне только слышится, или смех этот вовсе не хрустальный.

Причем подруга-коллега Максима, закончившая, как я уже вам говорил, филфак МГУ и любящая, по ее словам, современную и классическую русскую литературу, при всем-том не проронила ни слова. Впрочем, возможно, она ничего не слышала, а думала о чем-то своем, далеком, глядя за большое окно издательской чайной комнаты. Я же говорю, в тот день у нее были довольно грустные глаза.

Потом пришел мой знакомый редактор, человек, как говорится, старшего поколения, шестидесятник, — над ними теперь все смеются, впро-

чем, они и правда часто бывают забавными, — мы немного поговорили о делах, выкурили по сигарете, пошутили, но состояние, прямо скажем, ох.ения, которое я испытал в чайной комнате, не проходило. Редактор даже спросил меня: чего ты, не выспался? Я не стал говорить.

Только спросил, не помнит ли он дату смерти Льва Толстого? (Стыжусь этого вопроса). Он сказал и удивился: а что, зачем тебе?

Теперь не поймите меня неправильно, но, выйдя из уютного особняка, где происходил описываемый мной разговор, на улицу, под начавшийся мелкий майский дождь, я испытал чувство некоторого... Вы удивитесь — чувство некоторого одиночества и... и печали. Пожалуй, это будет довольно точное определение в данном случае. Причем чувство это временами становилось почти паническим. Шок от реплики редактора Максима прошел, а вот оно осталось. Я читал, что верующие турки и арабы называют такое ощущение «хюзн» — печаль — и говорят, что оно возникает от подсознательно ощущаемой невозможности быть ближе к Богу, к Аллаху... Очень хорошее и точное определение. В Азии хорошо знают, что означает слово «невозможно».

Понимаете, мне вдруг показалось, что грубо отреставрированные и от того сильно изменившиеся старые особняки по обеим сторонам любимой мной с юности и хорошо знакомой улицы в районе Арбата — это какая-то декорация, картон, остатки чего-то бывшего, большего, большого, из которого куда-то ушла (или почти ушла) суть, прежнее содержание, чувства, немаленькие мысли, какое-то серьезное, длинное, наполненное событиями (и некоторыми знаниями, кстати, тоже) прошлое. Но ведь это прошлое было в значительной степени советским, я бы ни минуты не задумывался, спроси меня о том, испытываю ли я по нему ностальгию, — нет, конечно, — о чем же я тогда жалею?.. — спрашивал я себя.

Добавлю: странное дело, почему-то мне думалось, что в этом советском, серпасто-молоткастом прошлом, несмотря на все репрессии, еще оставались большие куски той, дореволюционной жизни, грубо говоря, оно было ближе ко Льву Толстому, чем нынешние времена. Несмотря на развевающийся над Кремлем трехцветный флаг. Поразительно, грустно это сознавать, но за эти восемнадцать лет несоветской жизни мы ушли от старой России дальше, чем за семьдесят лет жизни советской.

Но почему?..

Впрочем, это слишком мощное утверждение, с ним надо разбираться детально, а сейчас это уведет нас в сторону.

В общем, пока я шел к стоянке такси, мне все думалось, что во всех окружающих меня домах находятся подобные той, где я только что был, симпатичные конторы с евроремонтом и компьютерами, где работают, в общем, милые и иногда даже очень милые люди, в головах которых, увы, — находится либо пустота, либо, в лучшем случае, нешуточный компот.

Ассорти, как говорили раньше.

Помните? Вишенки, груши, сливы, сироп. Между прочим, во времена советских дефицитов все радовались этому компоту. Как-то даже симпатично это выглядело, если я не ошибаюсь.

В тот вечер по дороге домой в переходе под Садовым кольцом я случайно встретил знакомую, она дизайнер в одной из известных риэлтерских фирм Москвы. По горячим следам пожаловался ей на Льва Толстого и редактора Максима. Дизайнер долго смеялась, а потом сказала, что она уже привыкла к подобным нелепостям, и ее эти анекдоты даже забавляют. Не надо относиться к ним так серьезно.

Часть четвертая

Зачем ему это нужно?

В модном кафе раздавали листовочки — «антифашистский марш».

На хорошей бумаге: «вставайте-вставайте». Будут участвовать известные люди, политики, актеры, рок-музыканты (чуть ли не сам Макаревич обещал), и пройдем от Чистых прудов до Лубянской площади. Там будет митинг. С намеком — *Лубянская площадь*, мол... Я листовочки взял и даже расклеил две-три в своем подъезде, у лифта, по пути в магазин, — правда, они провисели около часа, потом кто-то из жильцов сорвал (может, кстати, не сорвали, а взяли на сувениры), — но сам я не пошел. Там сбор был в 12.00, а я же «сова», ложусь поздно, сплю до этого времени, да и жена сердилась: зачем ты пойдешь, хочешь по физиономии получить?

— У нас эти дела управляются сверху: если там решат, что нужен фашистский марш, будет фашистский марш, потом решат, что нужен антифашистский, — будет антифашистский. А тебя просто на эмоции разводят, как всю интеллигенцию, статисты же нужны, массовка покричать, вот и все. Все фашисты и антифашисты заведены в один компьютер, понял?

Мне, конечно, стыдно, но, знаете, я не пошел. Дал себя убедить. Посчитал, что моего участия в виде расклеивания листовок в подъезде будет достаточно. Потом про это немного показывали по телевизору, и объявленных деятелей культуры было мало, почти никто не пришел. Наверное, тоже спали или не смогли. И Макаревича не было. Я еще немного удивился, как-то даже кольнуло: а он почему не пошел? Я-то ладно, но *он-то может*. Он — известный, что ему сделают? Неужели тоже, как и я, — испугался и проспал? Плохо дело тогда.

Прошло недели две, и как-то вечером я крутил приемник и наткнулся на станцию, где у Макаревича брали интервью, и, представляете, именно на том месте подключился, где у него спросили, почему он не был на том марше. Надо же, совпадение. Значит, надо было, чтобы я это услышал. А он сказал, что он уже говорил, мол, его, правда, не было в Москве в этот день, *просто не было в городе, вот и все*. И это «правда», оно както звякнуло, будто ложку уронили, я сразу вспомнил летнюю мышкуофициантку из «Гоголь-моголя», и он, видно, это почувствовал, потому что заметно рассердился и сказал еще что-то типа, что он ходит, куда хочет и когда хочет и никому отчитываться ни в чем не должен, ясно? И вообще, он музыкант и в политике не участвует!..

Грустно это было слышать, конечно, и как-то страшновато немного, я еще подумал: и чего я включил радио, такой вечер был хороший, тихий такой, январский, снежный, приятно было в окно смотреть, к тому же мы люди образованные и понимаем (или помним), что раз начинаются такие разговоры — ну, дела плохи. Я боюсь. Он боится. Она боится. Мы боимся. So, они — не боятся.

А потом, прошло какое-то время, и почему-то я опять вспомнил про эту передачу. Сейчас уже не помню, почему, газету, что ли, как обычно прочитал, телевизор ли посмотрел, но я вдруг подумал, что Макаревич не то что прав, но ход его размышлений можно понять.

Возможно (утверждать я, естественно, не могу, в чужие мозги не влезешь), он (я, она, мы — но, не они) рассуждал примерно так:

«...Предположим, я пойду. Даже: *мне надо туда пойти.* Но — вдруг случится какая-нибудь фигня? Может такое быть? Запросто. Например, какая-то сволочь что-нибудь бросит в толпу. Идея, как говорится, лежит на поверхности. И что? Кому от этого будет плохо, даже если меня просто слегка заденет? Демократы будут говорить о разгуле ксенофобии и бессилии милиции, десяток газет напечатают возмущенные статьи, по ТВ дадут комментарий, что возбуждено уголовное дело, и через три недели максимум все это забудется. После чего у меня надолго останутся отвратительный осадок (а ведь и так настроение не самое бодрое), царапины (это в лучшем случае), и я опять буду думать о том, что надо уезжать. А мне ведь на минуточку положено работать, музыку писать — я все-таки художник. И в этой музыке я должен выразить то, что волнует всех... Кроме того, как отреагируют так называемые *простые люди*, — лучше не представлять. "Пошло оно все на", — с большой долей вероятности подумают они. Вот, например, Остап Петрович из предыдущей главы, он ведь может сказать, что "черные вообще-то обнаглели"? Может. И будет в бытовом смысле в чем-то даже прав, что самое смешное. Даже если не брать в расчет его военный опыт, вам что, кавказцы или выходцы из Средней Азии на улице никогда не хамили? Хамили. А тогда — для кого я это все делаю, иду на марш, рискую собой? Кто что-то понимает, понимает и без антифашистского марша. А кто не понимает, не поймет и с десятью маршами. С двадцатью.

Все равно, все решится не сейчас. Не так. Похоже, что "нецивилизованным путем". Или позже, это в лучшем случае. Мы все надеемся, и будем надеяться на лучшее — если не думать об исторических привычках our country. Еще, возможно, современные технологии сделают свое дело и победят бюрократию. Цена на нефть упадет... И так далее, и тому подобное.

Так какой смысл туда идти?»

У нас такое пока невозможно

Мой приятель-актер уезжал, и я поехал его проводить на Казанский вокзал. Приятель участвовал в съемках фильма о Гражданской войне в Сибири. Адмирал Колчак, крестьянские бунты, все такое. Сейчас это модно.

В дороге мы разговаривали о кино, смотрели на ярко освещенные улицы, и даже шум, пыль и бесприютность огромного ангара вокзала не смогли сбить наше хорошее настроение. В дорогу приятель купил ярко-оранжевый номер свежего мужского журнала, и, оставив его вещи в купе, где хорошо пахло кожей и, уютно гудя, горел желтым светильник на потолке, мы вышли покурить на перрон совсем довольными. Было какое-то хорошее настроение, которое иногда дают комфорт, деньги и хорошее общение. Когда поезд тронулся, я медленно пошел обратно, тоже купил номер красивого мужского журнала и на ходу стал снимать с него блестящую целлофановую обертку.

Выходил я не через здание вокзала, а коротким путем — налево, в арку, в тихий Рязанский проезд, что тянется вдоль вокзала, а потом, петляя, выведет вас почти к Елоховской церкви и метро Бауманская. Выйдя под открытое небо и торопясь покинуть привокзальную площадь, у самого окончания тротуара я вдруг увидел лежащих вповалку людей. Их было много, человек двадцать, какие-то, как сейчас говорят, *черные*, в основном женщины и дети, хотя с ними было и несколько мужчин. Приятель уезжал поздно, и люди на тротуаре почти все спали, лежа на голом асфальте, они накрылись сверху большой полиэтиленовой пленкой, которой в деревнях иногда прикрывают теплицы. Они лежали так тихо, что я едва не наступил на них. Вообще, пока я не увидел, что кто-то с дальнего края шевелится, я даже подумал нехорошее.

Знаете, не могу сказать, что я вообще не видел в Москве, чтобы люди спали на улице, или на вокзале, это было, но один-два человека, *бомжи*, а чтобы в таком количестве — нет. И вокруг ни милиции, ни скорой, никого.

Мимо проходил водитель из междугороднего автобуса, — знаете, они там сбоку, у железнодорожного моста всегда тусуются, — и по глупости я спросил у него, кто это.

— Какие-то беженцы, — он пожал плечами. — Азиаты... Или на работу приехали, а ночевать не на что. Не знаю. Тебе-то какая разница? Не покупай у них ничего, обманут. Х.й с ними!

И пошел дальше со своей пиццей в коробке. Он в пиццерию соседнюю ходил — там недалеко. А я, несколько раз оглянувшись, тоже пошел дальше и, дойдя до сталинской высотки на Красных воротах, уже почти забыл про вокзал и этих людей под пленкой, а глядя на огни и рекламу, думал, в какой клуб или кафе мне пойти: не хотелось заканчивать вечер.

Остановился на одном ночном кафе на Мясницкой, там бывает смешная публика, крутят этно-музыку и в целом довольно недорого.

Решил и пошел, тем более это от Комсомольской недалеко — за сто рублей можно доехать.

Взял машину, доехал, вхожу, а там — дым коромыслом. Девушки разгоряченные, на щеках румянец, руки-ноги голые, музыка гремит, к стойке не протолкнешься. А ведь будний день... Взял пива и сто грамм украинской горилки, потом удачно освободился столик у стены, — присел,

смотрю, как народ колбасится. Одна блондиночка кустодиевских форм — особенно выделялась. Так скакала — просто было трудно усидеть на месте, захотелось присоединиться. Но я не стал. Не танцевальное в целом было настроение, тем более через час-полтора домой. Ограничился наблюдением. Но вижу, она меня и мой интерес заметила. Улыбнулась весело. Девушки любят, если на них смотреть с улыбкой, а не просто тупо пялиться. Увы, мы не всегда помним об этом. Заколебался, но вспомнил изречение Кобо Абе: «Неразделенная любовь не вызывает раскаяния», — и остался на месте.

Вообще смешно — там, в этом заведении, народ довольно забавный, студенты в основном и молодые менеджеры, офисный люд, в целом ощущение от них вполне себе оптимистичное, и лица хорошие, еще есть ларек со всякой прикольной музыкой, и я в тот раз купил диск такой кудрявой темненькой девушки — Ayo. Может, знаете? Она поет песенки под гитару мелодичным, чуть хрипловатым голоском — мне нравится. Папа из Африки, мама из Германии — современная европейка. Еще я удивился, диск недорогой, но лицензионный и по этикетке выходило, что записан был в русском отделении знаменитой компании UNIVERSAL, которая когда-то выпускала пластинки «Биттлз» и Элвиса Пресли.

Может, я велосипед сейчас открываю, но для меня было неожиданно, что эта компания имеет у нас отделение. Будто это не Россия, а какая-то Велико-британия или Япония. В смысле, будто мы — *нормальная страна*, мол, что такого-то? Хотя повторюсь, что я в этом отношении человек неграмотный, и кто-нибудь, разбирающийся в музыке, сейчас поднимет меня на смех: стосорокамиллионная страна, огромный потенциальный рынок, бизнесу плевать на политическое устройство — лишь бы их товар покупали, у них и в Китае есть отделение, несмотря ни на какой Тибет и посадки диссидентов, why not?

Life is real, я живу свою жизнь и не очень волнуюсь о том, что думают окружающие, жить своей жизнью, вот все, чего я хочу, — пела девушка с копной черных волос, судьба которой отчасти похожа на судьбу нового президента Америки. Может, она права?

В общем, ушел я довольный, в час ночи, а то и позже, и картинку с лежащими на земле людьми у Казанского вокзала больше не вспоминал. Жена потом ругалась: где шляешься, сказал, уйду на час-полтора, товарища проводить, это что такое?

В следующие несколько дней было много работы, и впечатление от вокзала вдруг всплыло в пятницу, в конце недели, когда мы пошли на фильм «Тайная жизнь слов», про который хорошо писали в одном журнале про кино, — он снят ученицей Альмодовара, — и еще мне очень понравилось название, — согласитесь, оно довольно удачное.

Содержание фильма было очень простым. Девушка-работница со странностями выгоняется администрацией некоего скандинавского предприятия в отпуск. «Выгоняется» потому, что сама она идти в отпуск не хочет. Почему — пока не ясно, но не хочет, и все. Очутившись в отпуске, она не понимает, что делать с собой и неожиданной свобо-

дой. Сцена немотивированной ярости в аккуратно прибранной комнате приморского отеля закрепляет впечатление.

Пойдя вечером поужинать в кафе, она случайно слышит телефонный разговор за соседним столиком, что на морскую нефтедобывающую платформу, где произошел несчастный случай, срочно требуется сиделка для ухода за пострадавшим рабочим. Она предлагает себя и тут же отправляется на платформу на вертолете. (Следуют красивые кадры морского заката и застывшего волнения моря, вид сверху.) Далее героиня оказывается наедине с обожженным, но очень симпатичным мужчиной много старше ее, к которому постепенно привязывается, и, слушая его историю (что-то о любовном треугольнике его развалившегося брака), не сразу, но рассказывает свою.

Выясняется, что она — беженка из бывшей Югославии и на своей родине в течение месяца подвергалась пыткам и регулярным изнасилованиям от каких-то солдат. (Сторона не называется, и это правильно.) Забавная деталь: она говорит, что прибывшие в их город войска ООН (европейцы) ничего не изменили в положении жителей — издевательства продолжались в километре от их поста, пока не пришли американцы.

Все, впрочем, заканчивается хорошо, ее пациент, выписавшись из больницы (следуют кадры его эвакуации с платформы на вертолете не то датских, не то голландских BBC — к собственным гражданам европейцы относятся очень бережно), разыскивает девушку через организацию помощи беженцам, и она выходит за него замуж.

Финальный кадр — большое окно загородного дома, чудесный лесной пейзаж, голоса детей и слова девушки, которая не понимает, действительно ли был в ее жизни пережитый на родине ужас. Не знаю, что вы поняли от моего пересказа, но фильм, хочу вам сказать еще раз, неплохой.

А рассказываю я о нем так подробно потому, что как только на экране пошли разговоры о бывшей Югославии, я сразу вспомнил картинку с лежащими вповалку темнокожими людьми у Казанского вокзала... Выйдя из темного кинозала вместе с другими зрителями, мы с женой взяли кофе и присели за столик в современном и очень хорошо оформленном вестибюле нового кинотеатра, где крутили фильм. Вокруг сидели модно одетые молодые люди, на большом плазменном экране танцевала какая-то грудастая певица с MTV, и только что увиденная история настойчиво желала представиться *фильмом*, *искусством*, не более того.

Чтобы немного снизить градус впечатления, я даже немного поговорил с какими-то ребятами с соседнего столика, на которых фильм (это было видно) тоже произвел большое впечатление.

— Хороший фильм, — сказала темненькая девушка с короткой стрижкой и тяжело вздохнула.

Было видно, что она находится под воздействием увиденного. Но мне особенно понравилось, что ответил на мой вопрос «как вы думаете, может ли что-то подобное показанному в этом фильме произойти у нас?» молодой человек темненькой девушки.

Он подумал немного и ответил:

— Пока нет, я думаю... Пока нет.

О, это «пока», мой читатель!.. Впрочем, чтобы не быть слишком серьезным, я хочу напомнить себе и вам сцену из на этот раз очень забавного французского фильма «Распутницы», где играли мои любимые Натали Бей и Жозиан Баласко.

(Эта глава у нас получается прямо целиком киношной, особенно если вспомнить, что она началась с моего приятеля, уезжавшего на съемки фильма о Гражданской войне.)

Итак, дело по сюжету происходит во время телевизионного ток-шоу, где Бей и Баласко, играющие вышедших в тираж модных тусовщиц, изображают «классиков» мира моды.

— В чем суть нашего времени, мадам? — тоненьким голоском спрашивает гей-ведущий, которого отлично играет какой-то неизвестный мне французский молодой актер.

Бей несколько секунд думает, неподражаемым жестом медленно поднося свою длинную руку к крашеным химией белым волосам, потом говорит:

— Тенденции, мой милый, *тенденции*... Понимаете?

Массовка аплодирует, занавес.

— Тенденции, мои милые... Понимаете?

Впрочем, возможно, я, как всегда, сгущаю краски.

Магазин «Хлеб» на Майдане Незалежности

Как это вышло? Да просто-тоскливо стало, январь 2004 года был каким-то совсем уж серым и безрадостным, помните? Сели в киевский поезд и поехали. И как это я сообразил сказать: а давай поедем? Как, куда? Да так просто, посмотрим. Хотя бы посмотрим. У них там инаугурация будет. Что? И-на-у-гурация. Ну, президента к присяге приведут. «Оранжевого».

— А не страшно? Говорят, они русских теперь не любят...

— Фигня это все, поехали. Ты в Киеве была? Нет. И я, считай, нет. Поехали.

Шли к Киевскому вокзалу по слякоти, в Москве была сырость и серость уже вторую, если не третью неделю. Сели в поезд, вроде вагон плацкартный, а спинки велюровые, народ какой-то обыкновенный, а ощущение (может, показалось?) от него какое-то... другое. Когда ходил за чаем, между делом спросил у проводника: ну, как там у вас? Парень-проводник посмотрел на меня внимательно и ответил неопределенно, опустив глаза: сами видите.

Я покивал: да-да, вижу.

А собственно, что я вижу? И что видит он?

Какая-то тетка с соседней полки ехала к дочери в Киев.

— Она у меня в украинском МИДе работает. Занимается Центральной Азией. Внучке четыре годика, вот еду понянчить. Каждый год там бываю.

На вопрос о политике несмело усмехнулась: думаю, что большой разницы между ними нет, но лично мне больше нравится Ющенко. Он интеллигентнее.

Мужчина лет 35 с военной, короткой стрижкой и каким-то неопределенным лицом (непонятно, чем занимается) свесился с верхней полки, молча посмотрел на тетку, но ничего не сказал. Он вообще был какой-то странный, этот пассажир — багажа никакого, только небольшой рюкзачок, и сам весь сосредоточенный и жесткий. По своей привычке сочинять я решил, что это *агент* — едет на инаугурацию, по заданию. А может, террорист. И тоже — по заданию. Ха-ха-ха.

Жена достала бутерброды, я пригласил его: присоединяйтесь? Он опять свесился с верхней полки, удивленно посмотрел на нас, на еду и, чему-то неуверенно усмехнувшись, покачал головой — нет, спасибо. Потом еще раз чему-то усмехнулся и лег там наверху.

Я тихо сказал о своих подозрениях жене, но она только отругала меня: ты бы лучше детективы писал, чем людей пугать и самому пугаться.

На следующий день проснулся поздно (ночью под утро два раза будили, бухали сапогами — «граница!»), за окном солнце бежало по веткам невысоких деревьев, первый раз за эти недели.

Что значит юг, даже юго-запад, а отъехали — всего-то километров 400.

Впрочем, утром, когда сошли на вокзале, звонили из автомата по гостиницам, подыскивая место, поменяли первые деньги и медленно пошли в город, было еще холодно, хотя солнце и светило.

Прошли несколько кварталов, и поразила тишина. Может быть, потому, что было субботнее утро? Никого народу, только обрывки плакатов на столбах, оранжевые транспаранты и флаги с надписью *«Так!»* и подковой кое-где свешивались с балконов.

Собственно говоря, все кончилось, мы приехали к финалу, самые драматические и напряженные дни были уже позади. Мы видели это по телевизору — падающий снег, темноту, тысячи людей на Крещатике, ряды ОМОНа со щитами, слова политиков, телекамеры... Если вы выключали звук телевизора и смотрели только картинку, ощущение начинало чем-то очень напоминать наш не то 1991-й, не то 1993 год.

Гостиницу нашли быстро и относительно недалеко от центра, если на такси, минут десять. После Москвы в Киеве все вообще недалеко. Тихий такой дворик, тихая безлюдная улица, район не старый и не новый, одиннадцатиэтажки 1970-х-1980-х годов. Когда я спросил у тетки на ресепшене, есть ли в гостинице охрана, она неожиданно нас обругала: охрана есть, но что вы, русские, все такие запуганные? Кто вас так в Москве напугал?

Я понял о чем она, но рассердился. Было неприятно. Хорошо ей рассуждать. «Запуганные»... А сама-то, еще года три-четыре назад, какой была? Не вспоминала ли через слово «благословенный СССР», как часто до сих пор делают это ее соотечественники в Крыму или восточных областях?..

Вечером гуляли. Я когда-то был здесь, но давно, году в 1990-м, и очень мало. Было странное ощущение, повторяю, тишины, обычной жизни, но какой-то странной тишины — штиль после бури. Только оранжевые флаги и плакаты в витринах магазинов и на крыльях машин указывали на то, что мы видели по телевизору. Впрочем, ближе к знаменитому палаточному городку на Крещатике картинка стала более знакомой, — хотя не скажу, что в «натуральном виде» она нам понравилось. Банки, бутылки, многие обитатели оранжевых палаток были пьяны. Звучали гитары, на палатках виднелись транспаранты: Луцк, Полоцк, Ивано-Франковск, Одесса... С востока не было никого, или почти никого. На одной палатке было написано «Харьков». Какой-то не очень адекватный парень размахивал российским флагом. Подходить к нему не хотелось.

Мне стало немного грустно. Мы некоторое время постояли у деревянного заборчика, огораживающего лагерь, послушали песни.

— Ну, это же понятно, — сказал я жене не очень уверенно, — такое напряжение было. Ведь реально могли побить, это в лучшем случае. Что же, теперь людям хочется расслабиться...

Но сказал это я без уверенности. Может быть, я забыл, но что-то я не припомню, чтобы в Москве в 1991 году было много пьяных.

Потом пошли в большое турецкое кафе, которое увидели неподалеку. Уж очень вкусно выглядели пирожки там, в витрине. Немного посидели, посмотрели на посетителей, сквозь большие окна на прохожих на улице. Уже темнело, народу в кафе было много, очередь за печеньем и сладостями была большой. Я смотрел на людей. Было, конечно, понятно, что по телевизору говорят что-то не то, но не ожидал, что до такой степени. Все были абсолютно расслабленные, напряжения или релаксации после напряжения не чувствовалось совершенно. Было такое ощущение, что как получилось, вот так и надо, — а иначе просто и быть не могло! Мы немного поговорили о политике, было замечательное, забытое за последние годы чувство: я совершенно не чувствовал желания понизить голос, говоря о последних событиях, никто не обращал на нас никакого внимания, ни свои, ни чужие, не было плечистых дяденек или юношей с бесцветными глазами, которые почему-то почти обязательно оказываются неподалеку в московских кафе, едва вы начинаете обсуждать политику. Потом я достал купленный утром местный журнал, и мы немного почитали. Общий тон был приподнятым, но при этом было много иронических материалов об оранжевых лидерах. Я заметил, что посетители много не берут и вообще считают деньги — местная бумажка, эквивалент ста рублям, вытаскивалась из кошелька с таким чувством, с каким у нас достают пятьсот или тысячу... Когда мы вышли из кафе, какие-то ребята пили пиво неподалеку и, кажется, рассказывали анекдот про Тимошенко. Во всяком случае, звучала ее фамилия, и они ржали.

Вообще в гостинице, ложась спать, я подумал, что от вечера осталось какое-то странное ощущение «дежа вю» — будто мы побывали в Мос-

кве 1990-х. Вы будете смеяться, но в воздухе была какая-то свобода. Даже не могу объяснить, в чем это выражалось.

На следующий день проснулись поздно. Пока позавтракали, пока вышли, было уже часа два, и я заторопился: ведь у меня было маленькое дело — взять несколько блиц-интервью у случайных прохожих на Майдане. Что думаете, как относитесь к происходящему и т. д. Я уже говорил об этом раньше — это была моя работа. Можно было, конечно, похерить все это, настроение было очень нетрудовое, но тогда за дорогу и гостиницу пришлось бы платить самим.

Приехав на Крещатик и войдя в толпу, я достал диктофон. Люди общались охотно, говорили взволнованно и радостно, хотя со стороны и «высоты» нашего опыта-то, что они говорили, покажется стопроцентными общими местами и потрясающей наивностью.

— Лучшего будущего детям, — сказала одна интеллигентная женщина лет пятидесяти пяти.

— Надоело быть быдлом, — отчеканил 40-летний мужчина с военной выправкой, впоследствии оказавшийся офицером украинской армии, впрочем, когда-то закончившим военное гвардейское училище в Саратове.

— Хотим в Европу, хотим жить и учиться, как они, — смеялись три симпатичные киевские школьницы, которых я посчитал студентками. (Акселерация, что вы хотите.) Подарили мне значок и флажок.

Только двое коротко стриженых мужчин в одинаковых кожаных куртках и с одинаковыми лицами сказали, что не видят ничего хорошего в революции и, отказавшись назвать даже свои имена, не говоря уже о месте работы, быстро отошли.

Вообще я, наверное, никогда не забуду этот день — огромную, миллионную толпу на Майдане, падающий мокрый снег, оранжевые флаги, звуки рок-музыки, несущиеся от трибуны, где попеременно выступали политики и музыканты, люди, очень много людей, улыбки, и какую-то удивительную легкость и подъем, витавшие в воздухе. Понимаете, было какое-то необыкновенное ощущение общей радости, абсолютно отсутствовала всякая агрессия и зимняя хандра, столь характерные для этих серых дней в середине долгой, слишком долгой зимы... Я уже говорил, что помню такое же ощущение почти физической легкости, — это было в Москве несколько недель после августа 1991 года, — я не был в городе в дни Революции и, вернувшись, сразу его почувствовал. Такое ощущение в столице нашей родины, увы, бывает очень редко.

Походив по площади, мы поднялись в гору и, пройдя мимо Лавры, прошлись по булгаковским местам на Подоле. Здесь революции почти не чувствовалось, только по обилию среди обычных для таких мест товаров оранжевых флажков и других сувениров, матрешек с портретами Ющенко и Тимошенко, косынок, кружек и даже ручек оранжевого цвета можно было понять, что произошло. Общая атмосфера была не очень и напоминала наш Арбат... Мы постояли у дома (то есть домика, очень маленького) Михаила Афанасьевича, все же купили оранжевую кружку «Так!» на память, а потом переулками вернулись опять к Майдану и

зашли в ближайшую кофейню, согреться, посидеть, как-то осмыслить впечатление.

Народу в кофейне было много, некоторые с детьми, несмотря на довольно высокие для Киева цены. Мы что-то заказали, сели за столик у окна и стали смотреть на площадь и на народ на ней. Все-таки человек удивительно быстро ко всему привыкает, а может, атмосфера в этой кофейне была такая, потом мы назвали ее «московской», — через минут двадцать мы уже отвлеклись и обсуждали какую-то ерунду, я даже не помню, что: то ли московских друзей, то ли отношения на работе жены, то ли цены на жилье в Москве и в Киеве.

Вышли, когда было уже темно. Народа чуть поубавилось, но все равно было многолюдно. Повторюсь, несмотря на вечер и прибавившееся количество пьяных, в воздухе, в отличие от столицы нашей родины, не чувствовалось ни малейшей агрессии. Надо было купить что-то поесть с собой в гостиницу, и я предложил зайти в магазин «Хлеб», большая витрина и вывеска которого выходили на площадь. Даже не пойму, что меня привлекло в этом магазине, — может быть, размеры: в Москве, после закрытия и «переформатирования» филипповской булочной на Тверской, я что-то не припоминаю специализированных хлебных магазинов такой величины.

Когда мы вошли, я понял, что меня привлекло. Что-то было в этом магазине давнее, вы удивитесь, — «советское», в немногочисленных хороших смыслах этого слова. Какое-то вечернее спокойствие, устойчивость и спокойная не то, что бедность, скажу, небогатость, причем без всякой злости или уныния. Такая атмосфера в России иногда бывает в небольших деревенских магазинах или в оставшихся кварталах исторического центра.

Большие стеклянные прилавки и деревянные поддоны с хлебом, стеллажами, один над другим стоявшие на железных тележках, горячий кофе с молоком в стеклянных граненых стаканах у стойки с полузабытой надписью «Кафетерий», спокойные и приветливые от природы, а не деланной корпоративной приветливостью, немолодые женщины-продавщицы в белых фартуках и белых старорежимных поварских колпаках... В зале находился даже ранее непременный городской сумасшедший, что-то бормотавший о текущих событиях, но он был абсолютно безобиден, и на него почти не обращали внимания.

Где в Москве вы сейчас увидите такое? Я даже немного поговорил с одной из продавщиц на темы политики. Но она общалась со мной неохотно: то ли псих ей уже надоел, то ли вообще к вечеру уже не было желания обсуждать что бы то ни было.

— Поддерживаем вроде, — сказала она, но с какой-то даже иронией добавила: — Не знаю... Все они обещать горазды. Посмотрим... Наше дело здесь. Чтобы вот вам хлеб продавать.

Вы не подумайте, что я сейчас выдвину такую кондово-совковую мысль, что вот, мол, не надо никаких цветных революций, главное, «чтобы хлеб был на столах». Помните, была такая феня в нерушимом союзе —

работать надо, честная работа каждого — это главное. Мол, возделывай свой сад. То-то наверху, наверное, потешались, получая сводки об этих «настроениях» в советском обществе.

Вообще, не подумайте, ведь я понимаю, как это хорошо — приехать с российскими сотенными и пятисотенными на революционную Украину, покупать свежий, хрустящий хлеб в центре «оранжевого» Киева по наших десять-пятнадцать рублей за булку и при этом ностальгировать по временам СССР и полудиссидентской обстановке «Филипповской» булочной перед закрытием.

Коктейль «Мо...», — но не Молотова пока, — коктейль «Москва 2000-х», — вот как называется все это.

Но что-то было, было в этом хлебном магазине на Майдане Незалежности — какой-то... не знаю, как сказать... национальный характер, что ли? Я даже не уверен, — только ли украинский? Хотелось бы, чтобы не только.

Мне даже интересно сейчас, после того, как все «оранжевые» лидеры перессорились между собой, и иногда ведут себя так, что становится неловко, интересно съездить в Киев и зайти в эту булочную, немного постоять у прилавка, посмотреть и послушать людей — что изменилось за эти четыре года...

Сложная вещь — демократия

Жена работала на ExitPool прошлых выборов в Думу. Если кто не знает, экзит\пул — это когда опрашивают только что вышедших с избирательных участков людей: а вы за кого проголосовали? А вы? Человек по десять каждый час по специальной схеме. Считается, что это очень точно прогнозирует конечный результат выборов. Жена работала в северном, пролетарском округе Москвы, и там люди, как везде, голосовали за «Ед-Ро», коммунистов и Жирика, но и «Яблоко» часам к 6 вечера показало около пяти процентов.

Жена позвонила мне и сказала, чтобы я немедленно шел голосовать — *они еще могут пройти!..* И вообще, властям нужен демократический фасад, им еще и помогут!

А должен вам сказать, я идти не хотел и в предшествующие дни три-четыре раза даже сильно поспорил с некоторыми знакомыми и родственниками, особенно старшего поколения, которые собирались идти «несмотря ни на что» и стыдили меня, молодого человека, за аполитичность. «Ваш бюллетень, если вы не пойдете, обязательно используют!» — был тогда такой слоган и аргумент, если кто вдруг помнит.

— Но ведь его могут просто выкинуть, если произойдет чудо и демократические партии покажут минимально серьезный результат, — возражал я. — Потом, они никогда не покажут серьезного результата, надо было объединяться, а сейчас мы практически голосуем дважды почти за одно и то же, я не хочу чувствовать себя идиотом и проигравшим из-за них...

— Нет, — говорили мне, — не выкинут! Всех не выкинешь!

А некоторые говорили:

— Пусть выкинут, но зато моя совесть будет спокойна! Я хоть что-то сделал для страны!..

— А что касается объединения — ну что же, такие у нас демократы. Других демократов у меня для вас нет, — пошутил со мной один очень уважаемый артист, когда-то работавший с самим Товстоноговым.

А некоторые мои знакомые, в основном, почему-то это были замужние женщины лет 40, говорили:

— Им нельзя объединяться, я никогда не проголосую за правых, никогда! Это партия крупного капитала! (Далее следовал длинный объяснительный список — почему «крупного».)

А часть московской интеллигенции (особенно творческая и научная молодежь) вообще собиралась проголосовать за... коммунистов, потому что, говорили они:

— Это единственная реальная оппозиция, которая точно будет в Думе! Точно!

А когда я говорил, что они, мол, ох.ели, это же коммунисты! вы что, не слышите, вы что, не помните?! вы почитайте в Интернете, что они говорят, — мне отвечали, что такова политика, коммунисты теперь не те, что были при совке, и даже Черчилль когда-то, мол, объединялся со Сталиным.

В общем, старинная русская пословица: однажды лебедь, рак да щука... Наверное, вы ее еще не совсем забыли.

Разговоров накануне выборов было много, все нервничали, обсуждали, ссорились и до, и еще некоторое время после выборов. А потом перестали, кстати, довольно быстро, потому что все очень быстро стало ясно. Так ясно, что осталось только руками развести. И кстати, знаете, где-то дня через два после всего я подумал: а может, это... и хорошо? Спокойнее как-то, а? Все равно ведь демократы никогда не победят, ибо никогда не объединятся, потому что, говорят, основатель Russian демократии политик Я терпеть не может со-основателей Russian демократии политиков Г., Н. и Ч. А «не может терпеть» — это у нас надолго. Что-что, а это мы умеем! Они уже 15 лет не здороваются, а 15 лет для русских демократов и интеллигентов не срок: я где-то читал, что Александр Федорович Керенский уже Америке 1950-х годов морщился и махал руками при одном упоминании имени члена Временного правительства, конституционного демократа Павла Николаевича Милюкова.

И это при том, — не могу удержаться от краткого исторического экскурса, — что политическая разница между ними тогда, а тем более сейчас, почти не видна. Впрочем, я читал, что самые острые разногласия у них были в 1917 году по поводу так называемого *мятежа* генерала Корнилова. Был тогда такой бравый генерал, увлекавшийся Наполеоном и предлагавший поначалу сущую ерунду — повесить Ленина, установить военное положение на железных дорогах, запретить кое-где забастовки... Милюков был скорее «за», Керенский — скорее «против»,

сам же генерал повел себя довольно странно, «по-декабристски»: начав кампанию, он так и не выехал из своей ставки, мятеж провалился, через полгода победили большевики.

Но — вернемся к моей жене. Это веселее.

Отработав и, как я уже говорил, заставив меня — наивного дурачка, побежать на избирательный участок, на следующий день, вечером, жена пошла к ближайшему ларьку — купить в офис пива и сигарет, немного расслабиться. Все-таки работы накануне было очень много — надо было не только опросить людей, но и срочно обработать данные, чтобы отправить их в городской избирком и далее по инстанции.

Знакомая продавщица-дагестанка, подавая ей привычный набор, «Стелла Артуа», соленое печенье, сушеные анчоусы и сигареты «Данхилл» для шефа, — вдруг сказала:

— А у меня сегодня праздник!

Жена удивилась, — все-таки приезжие с Кавказа в основном довольно аполитичные люди, равнодушные к московским делам, — и решила что у нее какой-то свой, личный праздник, случайно совпавший с выборами.

Оказалось, что нет.

— Мой брат прошел в Думу! — сказала ларечница.

Жена помнила, что ее звали Эльза. Она довольно часто что-то покупала у нее. Полная такая кавказская тетенька лет 50, в темном закрытом платье и теплом платке на плечах. Сидит себе в ларьке с рефлектором-обогревателем на пару, никогда не подумаешь, что у нее могут быть такие, как сказать... связи?

— Вот как? — сказала жена. Она еще больше удивилась. — От какой же партии?

Она сказала, что, задавая этот вопрос, уже почему-то предполагала ответ.

— От «Объединенной Руси», конечно, — сказала Эльза. Она тоже будто немного удивилась вопросу. От какой, мол, еще? — От «Объединенной Руси» там, у нас, на Кавказе. Я так радовалась, когда узнала. Плакала, даже лезгинку здесь танцевала. — И она показала на улицу перед ларьком.

— Ну что же, поздравляю, — тепло сказала жена. Она подумала, что эта Эльза симпатичный человек и совершенно не обязана в чем-то разбираться. И потом, почему все должны думать одинаково? Если у нее брат — депутат, то она, возможно, должна быть всем довольна, правда? Чего ей быть недовольной?

— Если бы он не прошел, — сказала ларечница, будто поняв, о чем думает жена, — а прошли бы его враги, его бы убили. У нас же не так, как в Москве... Мне уже наши звонили, поздравляли. Тоже плачут... В девяностых, — негромко добавила Эльза, — когда были *эти,* — она неопределенно показала рукой, можно было подумать, что угодно, но жена почему-то поняла, что она говорит о демократах, — у меня убили мужа. Он тоже занимался политикой, как брат. Полез туда... — Эльза добавила какое-то кавказское слово, неразборчиво.

Жена немного обалдела и не стала спрашивать про подробности — кто, зачем, за что... и от какой партии баллотировались враги ее мужа и брата. Она подумала, что это, наверное, и неважно. Она только поздравила Эльзу с победой и пошла потихоньку назад, в офис, прижимая к груди свой пакет с продуктами.

Пивом «Стелла Артуа», соленым печеньем «Динкел», колой и сигаретами.

Игровой и не игровой театр

(Случай на Арбате)

У автора есть знакомые — молодой, но уже известный в узких кругах актер Николай Н. и любящая все прекрасное и высокое, специалист по бизнес-консультированию, психолог Мария М. Мария М. также молода и привлекательна, и мне кажется, она даже несколько моложе Николая Н., хотя в данном случае это никакого значения не имеет. Добавлю, что деловые качества, живой ум, открытость и коммуникабельность Марии М. снискали ей популярность как в среде коллег, так и в среде близко знающей ее творческой интеллигенции. Чего не скажешь о Николае Н., чей трагикомический талант и неуравновешенный нрав снискали ему несколько двусмысленную популярность среди знающих его знакомых и театральной общественности города.

Исчерпав список основных действующих лиц, опишем мизансцену.

Николай Н. и Мария М. прохладным майским днем в районе 6 часов вечера прогуливаются под руку недалеко от известного кинотеатра «Декабрь», что на Новом Арбате. Они встретились там потому, что неподалеку, в переулках, находится недавно снятая и заново отремонтированная двухкомнатная квартира молодого специалиста по бизнес-консалтингу Марии М. Она, как я уже говорил, на хорошем счету у начальства и so, ее труд неплохо оплачивается. Прогуливаясь, они обсуждают не что-нибудь, а разницу между так называемыми «игровым» и «академическим» театром, то есть в каком-то смысле разницу между театром русским, театром Станиславского и Немировича-Данченко, и театром американским, авангардным, как известно, многим обязанным опять же русскому человеку, известному актеру и белому эмигранту Михаилу Чехову, родному племяннику Антона Павловича.

Не только ему, конечно, но и ему в значительной степени.

Я предполагаю, что они обсуждают эту разницу увлеченно, потому что молодому и кипучему уму Марии М. скучно с сослуживцами по бизнес-консультированию, и она любит творческих людей, в ее биографии уже было два бурных романа на эту тему — с музыкантом А. и живописцем Б., оба эти романа оставили, как выражается Мария М., «глубокий след в ее биографии».

Так вот, Н. и М., они прогуливаются под руку недалеко от кинотеатра Д., то есть «Декабрь», обсуждая театр Михаила Чехова и чем он, например, отличался в послевоенной Америке от довоенной Риги, где

некоторое время, ошибочно надеясь, что власть большевиков — это ненадолго, жил Михаил Чехов.

Солнце выглядывает и снова прячется за весенние облака, ласково освещая улицу и отражаясь в окнах высотных домов Нового Арбата, разнообразные хорошо одетые люди проходят мимо, торопясь по своим современным делам (на часах всего около 5 р. m.), автомобили медленно катятся по Новому Арбату в обе стороны, мигает большая реклама модного магазина «Весна — Bosco di Ciledgi», полощется на ветру свежая майская зелень... — в общем, жизнь хороша, и жить — хорошо.

«...Как вдруг, — рассказывал мне позднее актер Николай Н., сопровождая свой рассказ грустной и полуиронической улыбкой, — как вдруг, друг мой, возле нас, не обращая внимания на такие мелочи, как тротуар и пешеходов, останавливается, шелестнув тормозами, ярко красная полуспортивная машина, очень дорогая на вид, возможно, это была Maseratti или Ferrari, а возможно, я путаю, и оттуда выходят два прекрасных молодых брюнета спортивного вида. Помните у Пушкина: в чешуе, как жар горя?..

Выходят, можно сказать, если не в двух, то в трех шагах от нас, разговаривающих о театре Станиславского и Михаила Чехова, и, не обращая на это никакого внимания, начинают одеваться в светлые, довольно дорогие на вид плащи, при этом гортанно переговариваясь между собой на каком-то из языков народов бывшего СССР».

— Впрочем, — говорит мне Николай Н., как известно, совершенно свободный от всякого национализма и шовинизма, — впрочем, возможно, это был какой-то из живых или древних восточных языков, турецкий или арабский, я ведь не знаю восточные языки, возможно, это был персидский или даже иврит, хотя насчет последнего я сильно не уверен. Правда, краем глаза, я машинально обратил внимание, что номера у спортивной машины были из региона 177, то есть московские и ни в коем случае не дипломатические.

— Ну конечно, — скажете вы, — произвести впечатление на бедного артиста не мудрено, ему даже спортивный вариант бюджетного автомобиля Kia покажется золотой каретой, ха-ха-ха...

— Но ведь, — возражу я, — но ведь снимающая квартиру в арбатских переулках специалист по бизнес-консультированию Мария М. также была впечатлена легко выехавшим на тротуар полуспортивным автомобилем, впечатлена настолько, что на мгновение-другое потеряла нить разговора. И дело даже не в марке автомобиля и его гипотетической цене, что-что, а дорогие автомобили и аксессуары к ним Мария М. видывала на своей работе, в той, другой, серьезной, не соприкасавшейся с актером Николаем Н. жизни, но было что-то вызывающее в этом наборе — красный автомобиль, плюс пешеходная часть Нового Арбата, плюс шелестение шин, плюс немного испуганные автомобилем прохожие, плюс белые плащи и, кстати, странные, а ля 1990-е годы прически молодых людей. Этакие, изволите видеть, проборы и черные челки на глаза. Настоящие джедаи.

— И, — почти перебивая меня, продолжает свой рассказ Николай Н., — и, вы знаете, С., вы удивитесь, но мы с Машей М. потеряли нить нашего разговора о театре Михаила Чехова! Просто мгновенно! Будто ее и не было!.. Резюмируя наши ощущения, скажу, что мы стояли, чувствуя себя немного испуганными и, я бы даже сказал, неуверенными в себе и в уместности своего нахождения с нашими разговорами в этой точке Нового Арбата, известной улицы древней столицы нашей родины города Москвы. И, почувствовав это, я недовольно вспоминаю, что я на минуточку — выпускник РАТИ, Российской академии театрального искусства, поклонник Антонена Арто, книжник, известный московским любителям театра молодой талантливый исполнитель, а моя спутница — серьезный специалист в области инновационных технологий, do you understand it?!

Вспомнив это, я начинаю сердиться еще больше и заставляю себя вспомнить еще ни больше, ни меньше, как об *иерархии истинных ценностей*, о *приоритете вечного над временным*, о том, что именно я и Мария М., а не эти нувориши в нелепых ретро-плащах, являемся коренными жителями и хозяевами нашего города — и этого, известного мне с детства, места.

И вдруг я вижу, и то, что я вижу, во второй раз сбивает меня с мысли и тем «Михаил Чехов и русский игровой театр» и «мы москвичи, и это звучит гордо». И то, что меня второй раз сбивают с моей мысли, вместе с раздражением рождает какую-то, я бы даже сказал, растерянность.

— Но что же вы увидели, дорогой Н.? — спрашивает автор.

— Терпение и еще раз терпение, — усмехнувшись, отвечает автору Николай Н. и продолжает: — ...Я не вижу, как говорится, ничего особенного, дорогой С., но вижу, как одевшие свои элегантные плащи брюнеты, не прерывая беседы на гортанном, возможно, живом восточном языке, наклоняются к автомобилю и плавным, почти не обращающим на себя внимания движением, таким движением обыкновенные люди достают из автомобиля пакеты с покупками, деловые сумки или портфели, — так вот, брюнеты наклоняются и достают из автомобиля... — угадайте, что?

Автор растерянно разводит руками:

— Не знаю. Огромный букет дорогих роз?

— Вы отстали от жизни... Цветы, как пел когда-то поэт и актер Владимир Высоцкий, растут теперь только на нейтральной полосе. Не буду вас томить — это были два весело блеснувших под весенним солнцем вороненых ствола! — заканчивает свою историю Николай Н. — И элегантно, очень элегантно, друг мой, бросив, правда, ничего не выражающий скользящий взгляд на нас (вы ничего не видели, да?), прячут их за пазуху, под одежду.

— Я не являюсь специалистом по стрелковому оружию, — добавляет Николай Н., — но я так понял, что это было что-то вроде коротких стволов карабинов.

Удивленный и немного опешивший автор качает головой:

— Странно, а вы уверены, что вам не показалось?..

— Мне ничего, к сожалению, не показалось, дорогой С., — говорит Николай Н., — увы и ах, а если и показалось, то это было коллективной галлюцинацией, так как вы забываете о Марии М., которая в не меньшем ох.ении, чем ваш покорный слуга, стояла рядом.

И — он заканчивает свой короткий и эмоциональный рассказ:

— Забрав из авто стволы и перекинув через руку что-то вроде портпледов, брюнеты элегантно удаляются в сторону кинотеатра «Декабрь» и близлежащих кафе, сами понимаете, мы не стали интересоваться, куда-куда именно они удалились; вместо этого мы с Марией, пережив что-то вроде небольшого эмоционального стресса, в растерянности побрели в сторону арбатских переулков и ее (вы не забыли?) только что отремонтированной двухкомнатной квартиры молодой московской красавицы Марии М.

И все пытались возобновить наш разговор об игровом театре, но разговор этот никак не клеился.

Было, знаете ли, странное ощущение, что все те привычные ценности — вроде занятий искусством и разговоров о нем, профессиональной карьеры и вытекающей из нее хорошей зарплаты, хорошей квартиры, поездок в отпуск за границу, хорошего автомобиля и т. д. и т. п. — все это потеряло на время смысл и стало каким-то зыбким, неопределенным, требующим не то, чтобы защиты, — но, наверное, переосмысления... В общем, в наш город прибыл чиновник из Петербурга и срочно требует всех к себе! — ни к селу, ни к городу почему-то шутит артист Николай Н., мы невесело смеемся и на некоторое время замолкаем, думая каждый о своем.

Ведь согласитесь, у всех нас, у всех нас в памяти хранятся похожие истории, причем присутствие в них оружия совсем необязательно, наоборот, оружие в каком-то смысле даже облегчило положение моих знакомых, как говорится, четко расставив все точки над «i».

Кстати автор, как человек дотошный, выяснил позднее у Н. примерную дату его маленького приключения и потом посмотрел в Интернете хронику происшествий в эти дни. Знаете, странно, но ничего не было. Интернет молчал. В Багдаде, что называется, в тот день было все спокойно. Так что, может быть, зря я тут утрирую, — ну, пошли люди выпить кофе или посмотреть кино на Новый Арбат и на всякий случай взяли с собой легкое стрелковое оружие.

И что?

Мы же не знаем, кто это был!

Может быть, это были члены небольшого царствующего дома, путешествующие в Москве инкогнито, например, принц Флоризель и его друг и телохранитель, может быть, опять же друзья руководства одной из наших кавказских республик, — ведь у них столько врагов! — может быть, крупные торговцы наркотиками, а может быть, даже борцы за свободу своих небольших, но гордых народов.

Повторяю: мы же не знаем, кто это был!..

Москва нас больше не любит

Такая стройка идет по Москве — обалдеть. Я был в Театре Фоменко, в новом здании на набережной Шевченко, нас женой пригласил приятель, на пьесу «Носороги» Ионеско, и вот, по пути к театру мы просто приостановились, взглянуть на вечернюю Москву в районе третьего кольца, стряхнуть с себя заботы дня, сосредоточиться перед спектаклем. И вы знаете, так все супер, классно, все блестит — и новые небоскребы, как огромные военные корабли, возвышаются с той стороны набережной, и новая эстакада, и потоки машин, и огни, много огней, и подъемные краны в неоновых стрелах над будущим Москва-Сити, и огромный триколор над домом миллиардера Дерипаски... А я вдруг поймал себя на чувстве какого-то смущения или смущенного испуга. Это как будто не Москва, — подумал я вдруг. — *Не моя* Москва, если точнее.

Ничего себе, мысли, а? Ведь хорошо, что все так перестраивается, несется вверх, изменяется — эти здания делового центра, это синее стекло, зеркала и бетон, это ведь не то, что унылые, серые сталинские и брежневские дома, которых много в этом районе, или этот нелепый псевдоимперский стоэтажный жилой дом «Россия» на Соколе — который никак не могли сдать в эксплуатацию. Говорят, что он все время трескался, трещала по швам воссоздаваемая империя, не держали железобетонные скрепы, не хватало песка в бетоне, плохо была рассчитана конструкция, смухлевали не то подрядчики, не то строители, не то архитекторы, не то сам Господь был недоволен и подавал знак — не туда идете, господа-товарищи...

Но какой-то испуг у меня был. Испуг — довольно точное слово в данном случае. Не то, что, мол, «я не узнаю родной город» — это сейчас часто приходится слышать, а что, знаете, все время хотелось спросить:

— Это ко мне, писателю, москвичу в третьем поколении, мужчине прожившему в этом городе около сорока лет, и к моей жене, приехавшей в Москву двенадцать лет назад из большого волжского города Казани (где жили Лев Толстой и Лобачевский и другие известные люди), закончившей здесь университет и вышедшей за меня замуж, *это все к нам — как относится?* — думал я со смутным беспокойством, причем думал уже не в первый раз.

Хорошо, дружески (привет, как дела, заходите, если что, звоните, поможем), или — безразлично, холодно, не замечая, даже почти враждебно? (Если вздумаем мешать).

Только вот кому адресовать мой вопрос?

Жена сказала, что у нее бурное московское строительство вызывает разные ощущения. Иногда ей все это нравится: мощно, красиво, современно, «Россия вспряла ото сна», — а иногда кажется, что эти сверкающие корабли-небоскребы относятся к ней с неприязнью или, как я говорю, — в лучшем случае, не замечая. И ей становится отчего-то неуютно.

В общем, ничего нового, впечатления маленького человека в Нью-Йорке, Бангкоке, Лос-Анджелесе, Шанхае, et cetera.

А иногда она вообще почему-то думает о своей казанской бабушке — ветеране Великой Отечественной войны (как сейчас говорят —

«ВОВ»), живущей на 100 евро в месяц и считающей, что это очень-очень хорошо (жена слышала, как она сказала своей сестре по телефону: я сейчас живу, как в Кремле!), и считающей так потому, что она 70 из своих 80 лет жила на 5–15 евро в месяц и даже не думала, что это когда-нибудь изменится. И еще, что она, молодая, успешная 30-летняя женщина, социолог со стажем, гуманитарий, любитель и знаток театра, иногда немного комплексует и волнуется, глядя на эти громады. Особенно, если у нее проблемы на работе. То есть, выражаясь современным языком, «если она не вполне успешна». Жена даже сказала, что иногда ей хочется нарисовать какой-нибудь плакатик, типа «первомайского»: «Сначала отдайте моей бабушке ее деньги!» — и встать с ним где-нибудь на набережной, через речку от этих громад. При этом она понимает, что это нелепо и даже глупо: причем тут ее бабушка, какие деньги?! Свои деньги ее бабушка может искать только в передаче «Поле чудес».

— Но ведь твой плакат даже не будет виден с двадцать пятого этажа небоскреба, где, например, заседает их начальство, а если вдруг его и разглядят в бинокль, то что, кроме снисходительной улыбки, может вызвать эта надпись? — сказал я. — И, ты же сама говоришь, причем тут вообще пенсионеры? Что за левацкая фразеология? Да, у бабушки была и пропала ее советская сберкнижка, накопления всей жизни. И что? Зато у нее есть мобильный телефон. И ей исполнилось восемьдесят лет, скоро ей начнут возвращать ее деньги, — я, читал, в Думе недавно приняли такой закон. Впрочем, если ты хочешь встать с плакатом, вставай. Я встану с тобой. Побить не побьют, уже достижение. Имеем право выразить личное мнение, если не мешаем уличному движению.

Жена сказала, что она понимает, что пенсионеры ни при чем и что это у нее, наверное, так сублимируется социальное беспокойство плюс беспокойство маленького человека в очень большом городе, они когда-то даже проводили соцопрос на эту тему, — много народу в Москве испытывает так называемый мегаполисный стресс.

И мы еще немного поговорили о маленьком человеке — «Башмачкин» это или «Не-Башмачкин», а может, это «Хлестаков»? И пошли в располагающийся неподалеку театр, смотреть пьесу Эжена Ионеско «Носороги», а то уже время поджимало.

Про пьесу я уже говорил раньше, в начале. Если кто пропустил, то ее сюжет состоит том, что люди незаметно превращаются в носорогов, — незаметно для самих себя, я имею в виду...

И вот мы посмотрели пьесу, которая нам очень понравилась своими красивыми цветными декорациями и бодрой, энергетичной игрой молодых актеров Театра Фоменко, вышли из театра и тихо пошли по набережной Шевченко к центру, разговаривая об увиденном, об Эжене Ионеско, авторе пьесы (о том, что в США в свое время критика упрекала Ионеско, что, разоблачая зло, он совершенно не указал, что такое добро), о нашем приятеле, когда-то молодом, а ныне уже 37-летнем режиссере, который нас пригласил в этот театр, и как-то незаметно-незаметно вернулись к странному разговору, который у нас возник до спектакля.

— Откуда берется это ощущение? — спросил я себя и жену. — Этот дискомфорт в родном городе? Ведь это здорово, что все так меняется! Что сломали, например, эти страшные пятиэтажки за рекой и теперь строят там современный бизнес-центр, Сити, и один из этих домов, башня «Федерация», будет самой высокой в Европе, что к зданию унылого советского почтового ящика у метро пристраивают новый большой жилой дом, где в квартирах, говорят, будут даже бассейны.

— А ты представляешь, сколько будут стоить эти квартиры? — сказала жена. — И кто там будет жить?

— Ну, знаешь, — сказал я, — ты опять, так тоже нельзя. Это же не важно и, в общем, не наше дело. Если цены на жилье в Москве растут, значит, на него есть спрос. Люди берут ипотеку, а кто-то очень хорошо зарабатывает. Не нужно социальной демагогии. Мы же не коммунисты.

— Говорят, — сказала жена, — то есть я читала, что в начале 2008 года, перед выборами цены на недвижимость подпрыгнули еще, так как служащие так называемых силовых министерств вкладывали туда свободные деньги... А с этой «ипотекой», как ты говоришь, это вообще смешно. Там такой процент, что за ее время я должна буду выплатить две квартиры, если не три. В какой нормальной стране такое возможно?! Это грабеж и обман! И неужели ты думаешь, что в этом супердоме будут жить люди, *берущие ипотеку?* Не смеши!.. Знаешь, — немного погодя добавила жена, — может быть, я не патриотична, но мне почти безразлично, что в Москве будет самый высокий дом в Европе. Если бы в Москве был самый высокий уровень жизни в Европе, тут я бы гордилась. Или самое высокое детское пособие, самое лучшее медицинское обслуживание... Самый высокий дом в мире находится в Малайзии, а это одна из не самых богатых стран мира. По-моему, там правит султан. Нам только султана не хватает!..

Мы некоторое время молчали. Я хотел ей что-то возразить, но искать аргументы не было сил. За мостом «Багратион» аллея уперлась в глухой забор, и мы свернули через дворы на Кутузовский проспект. Несмотря на март, на улице было холодно. Вообще, честно говоря, я не люблю разговоров по типу «в нормальной стране это было бы...» Последнее время, особенно после нескольких путешествий в Азию, я как-то укрепился во мнении, что атмосферы Бенилюкса у нас не будет никогда и попытки ожидания этого — лишь напрасное раздражение нервов. «Нормальные страны» — это все же не самая большая часть земного шара. Правильнее было бы назвать эти страны «не-нормальными». Экономическая и общественная ситуация в Голландии, Швеции или Канаде и на сопредельных им территориях, увы, не является нормой для всего человеческого сообщества. Как раз наоборот! А раз так, то не является ли эта терминологическая путаница — «нормальная — не нормальная» (страна) — причиной путаницы более важной, в мироощущении?

— Давай поедем сегодня ночевать к маме, но по пути зайдем в какую-нибудь кофейню и выпьем чего-нибудь согревающего, — предложил я. — Может быть, это инфантильно, но мне почему-то хочется се-

годня вечером побыть среди родственников, в доброжелательной атмосфере. «Носороги» эти, что ли, навеяли.

— Может, здесь куда-нибудь зайдем? — сказала жена. — Поздно уже к маме... У бывшей Пиццы-хат вроде бы было круглосуточное кафе.

— Не надо, — сказал я. — Будний день, пустое кафе, за окном пространства Кутузовского проспекта... Темнота, восемь рядов машин... Както это все, — я замолчал, подыскивая нужное слово.

— Бесчеловечно? — спросила жена

— Ну, зачем ты так?! — сказал я. — Просто немного холодно. В прямом и переносном смысле. Такое ощущение, наверное, присутствует у любой большой автомагистрали, она же предназначена для машин, а не для людей... В Петербурге, например, в городе совершенно другой архитектурной атмосферы, у широченного Лиговского проспекта я тоже чувствую себя очень неуютно.

И мы поймали машину и поехали на Динамо, где живет моя мама. Некоторое время мы проехали молча.

— Но Москва — это наш родной город, и мы его должны любить!.. — завершая разговор, сказал я.

Жена промолчала.

Шофер-кавказец посмотрел на меня в зеркало.

— А он вас любит? — вдруг спросил шофер.

Я сначала не понял:

— Кто?

— Ну, вы сказали, что вы *должны* любить Москву.

— Да, и что?

— А она *вас* любит?

Причем он подчеркнул это свое *вас*, добавив:

— Я не про себя говорю.

И засмеялся.

На Ленинградке мы проехали мимо маминого дома и остановились неподалеку, в очень симпатичном павильоне с большими окнами почти напротив Аэровокзала, — я давно его знаю и люблю туда изредка заходить, когда бываю в тех местах. Там недорого и какой-то на редкость приветливый персонал — милые девочки, наверное, студентки из соседнего автодорожного института, подрабатывают вечерами. Забавно, что это место поздним московским вечером было очень тихим — редкие парочки, одинокие дамы, праздношатающиеся мечтатели вроде меня.

Пришли, сели и — вот что значит редко выезжать за пределы привычного маршрута. Напротив кафе, метрах максимум в ста от его тихих окон, шла огромная стройка. Нет, ничего особенного, просто строительство многорядного туннеля под Ленинградским проспектом, теперь он уже построен и производит такое же сильное впечатление на старых москвичей, как упомянутые башни московского Сити, но тогда стройка еще велась, и этот огромный котлован, строительная техника, огни прожекторов, громкие лязгающие звуки...

Знаете, это сейчас очень смешно прозвучит, но они меня почти напугали. Опять. Мы с женой выпили пива, обсудили спектакль, пошутили по поводу невозможности или большой трудности найти в Москве тихое место, которое к тому же продержалось бы на уровне, да и элементарно экономически больше двух-трех лет; но параллельно я все время смотрел на этот огромный котлован, на строительство и думал о своих ощущениях в новой Москве.

Конечно, я вспоминал о людях из окрестных домов, которые слышат этот лязг строительства днем и ночью, но не это было главное — я подумал вдруг, что этот город, он уже не совсем мой, вот какая штука...

Причем я гнал эту мысль, смеялся над ней, но она опять приходила. Вы можете сейчас сказать, что эти чувства нормальны для человека среднего возраста, сформировавшегося в целом в прежнем, советском московском ландшафте и пейзаже, что город не может в XXI веке оставаться таким же, как он был в 1970-х — 1990-х годах века прошлого, XX-го, что такие же грандиозные перестройки претерпели в свое время Париж и Мадрид (это-то, что я знаю, наверняка, где-то еще тоже, а про Америку и говорить нечего), но — это все рациональные доводы, а я говорю о своих ощущениях, своих, так сказать, impressions. (И где те новые Писсаро и Мане, что напишут и опоэтизируют новую Москву?) Впрочем, наверное, нынешнему городу более подходят экспрессионизм или соц-арт, в любом случае новые художники скоро появятся, наверное, они уже есть, и то, что я сейчас говорю, для двадцати-двадцатипятилетнего человека просто пустой звук, для него это строительство, эта перестройка, безвкусный и мощно-беспомощный азиатский мегаполис, контуры которого уже сейчас, в общем, просматриваются, это странное ощущение «котлована», «духоты», «стесненности», при том, что все вроде бы тянется вверх и вширь, — это нормально, почему нет?

Они же не видели ничего другого.

Короче, в тот вечер я немного напился — как-то само собой, сначала пиво, потом еще пиво, потом взяли немного бренди, и готово, мама ругалась, когда мы заявились к ней в полвторого ночи, а еще я говорил жене и еще каким-то случившимся в том времени и месте милым одиноким девушкам, что шофер, который нас вез сюда, прав, что Москва — уже не моя, и нас больше не любит. Девушки немного испуганно смеялись (по-моему, они были не москвички), а мама сказала, что не надо пить во время рабочей недели, и пить надо вообще меньше, что Москва должна разгружаться от автотранспорта, — она смотрела телепередачу с мэром Лужковым, посвященную этому вопросу, и ничего страшного в строительстве новых автострад и тоннелей нет, — а вот появляться у старой мамы в полвторого ночи в пьяном виде — это невежливо даже для интересного молодого писателя.

И жена была с ней согласна и потихоньку пилила меня утром и еще вечером следующего дня, но я отмахивался от нее и только повторял свою мысль:

— Вы как хотите, а этот абрек-водитель — прав, Москва нас больше не любит.

Кофе на Красной площади

Выпили тут кофе, никогда не догадаетесь, где, — на Красной площади.

Ура, наконец-то! Дожили! Лед тронулся!.. Ну, не на самой площади выпили (до этого пока не дошло), но совсем рядом, в бывшем здании ГУМа, на первом этаже. С большими окнами и видом из окна на эту самую черную брусчатку, мавзолей, елки и красную кремлевскую стену с зубчиками.

Попали туда очень просто. Иногда же ходим пешком с метро Площадь Революции в наше любимое Замоскворечье, а самый короткий путь туда — через Красную площадь. Можно, конечно, в обход, переулками, через Гостиный двор, но с какой стати, собственно? В советские годы сроду Red square не обходили, а тут — с чего это вдруг по стенке прятаться? Удовольствие там идти, конечно, небольшое, последние годы в этом месте какой-то нехороший напряг висит, а одно время площадь вообще была почему-то закрыта, и мы-таки перлись в обход, но потом ее снова открыли, и мы стали ходить, как короче.

Ну вот, шли-шли они, ветром палимы, и однажды смотрим — ба, у ГУМа столики стоят, и народ какой-то пафосный заседает. Ну, хоть так, пусть так — хотя бы!.. Пусть сначала начальство там кофейку попьет, тусовка модная и путанки ихние, только бы не одни маршалы на ЗИЛах «ура» кричали и межконтинентальные ракеты медленно ползли. Что угодно, только не это.

Как-то поинтересовались ценами, — ну, конечно, цены еще те, как на набережной Круазет, но у советских собственная гордость — Красная площадь все же. Земля-то где всего круглей? Здеся.

Ценами поинтересовались еще летом, в понедельник, а зашли зимой, в субботу. Еще зимняя олимпиада была, в Италии, кажется. Точно, увы, не помню. Но это и неважно. И то ли день выдался такой неудачный, то ли суббота, вечер, — кому охота проводить ее на Красной площади? — но народу в кафе почти не было. А мы все равно зашли. Хорошо, что пустынно, даже кстати — не помешает никто. Почему-то я решил, что это будет неплохо и мило, посидеть у больших ГУМовских окон во всю стену, попредаваться воспоминаниям юности и посмотреть, как крутятся снежные вихри на знаменитых черных камнях.

Типа «чувство истории» и все такое. Ключевский — девять томов, Карамзин — шесть томов, с большой остановкой в одном томе — «История ВКП(б) — КПСС».

Ошиблись. Было не мило (горячий ностальгический чай), а почему-то тяжело и немного даже страшновато (все остыло). Даже непонятно, от чего. Погода, что ли, действовала. Чувство общности с историей рождало не гордый и полный доверия покой или буддийскую нирвану, как я ожидал (мол, все прошло, все пройдет), а неясное беспокойство и даже страх. Хотя еще раз спрашиваю: чего бояться-то? Ведь *они* из своего Кремля прямо на остров Майорка летают — и не боятся!.. А мы-то что?

Или они тоже боятся?

Потом, обстановка в кафе как-то знаете... не ободряла. Почему мне летом показалось, что она какая-то даже веселая, непонятно. Может чей-то белый костюм или короткая юбка повлияли.

Если кто из посетителей этих страниц помнит советские «бары» начала 1980-х годов, то вот это было очень похоже. Эдакие воплощенные мечты «освобожденных» комсомольских секретарей, еще Чебурашка везде красовался, российская олимпийская эмблема, я имею в виду, — и все это вместе давало полное ощущение дежа вю. Того и гляди, из телевизора донесется характерное покашливание «Здраствуйте, дорогие товарищши» и виа «Самоцветы» запоют про Байкало-Амурскую магистраль.

Нет, я понимаю, что все это, может быть, было сделано специально, кафе-то модное, и, так сказать, дизайнер и хозяева придумали, чтобы было смешно, прикольно, a la Sovietico, но было не смешно и не прикольно. Нам, во всяком случае. Стойка бара из красной пластмассы, небогатый выбор напитков, креслица в зале круглые, грязно-желтого цвета гобеленом оббитые, с тонкими железными паучьими ножками (помните?), большой телевизор с какими-то спортивными соревнованиями без звука и, главное, неповторимый вид на площадь — елки, стенка с зубцами и звезды красные.

Причем я, прогулявшись по залу, потихоньку спросил у официанта:

— Ребята, из каких запасников стулья взяли, сколько ж они лежали, с каких времен?

Так он обиделся:

— Почему? Кресла новые, итальянские, специально из Милана выписанные.

Мы посмотрели — правда итальянские, внизу ярлычок торчит — made in Italy.

«Спец-заказ», или там это тоже популярно? Ретро-стиль.

Глядя на площадь, я перелистал «КоммерсантЪ», — рядом с Чебурашкой лежал бесплатный, — ознакомился с новостями. «Коммерсанту» удивился, машина времени дала сбой, «Российская газета» были бы здесь уместнее. Но, видимо, ретро-стиль — ретро-стилем, а бизнес превыше всего — в таком кафе нужна информация, а не пропаганда. Впрочем, и в прежние времена за красной стеной, говорят, читали не «Правду» и «Известия», а «New York Times». «Правду» оставляли для нас.

Заголовки передовиц, впрочем, были все привычно-успокаивающие, хотя тон статей иронический: поставки оружия дружественному Уго-Чавесу, уголовное дело в отношении компании «N», агрессивная политика США на Ближнем Востоке, убедительные победы нашей сборной по биатлону... И так далее. Дежа вю, 1982-й год!

И, я уже говорил, что народу в кафе почти не было — только мы, какие-то пожилые иностранцы-туристы как рыбы в окна таращились, и еще одна странная парочка сидела у окна. Мужик был специфической наружности — не поймешь, кто он, бизнесмен, чекист или бандит, сейчас это модно, чтобы было не разобрать, седой такой дядечка, стри-

женный ежиком и с очень жестким лицом, а рядом девка молодая, крашенная блондинка в мини-юбке. Они ужинали что-то, и дядечка одновременно общался по мобильному телефону, причем общался исключительно матом. Вы, конечно, недоверчиво улыбаетесь, но вспомните, я ведь ничего не придумываю, ну, почти ничего.

«Коктейль» был, конечно, супер — кремлевская стена в перспективе, ретро-дизайн с красным Чебурашкой, спорт по ТВ и этот матерящийся седовласый господин со своей блондой на переднем плане.

В общем, сладость и печаль воспоминаний юности испытать не удалось, ностальгия не возникала, было привычно смешно и слегка страшновато одновременно, мы быстренько допили свой кофе, поблагодарили официанта, который, глядя на нас прозрачными глазами, посоветовал «заходить еще», и, как зайцы, побежали мимо Спасской башни и Василия Блаженного через мост в родное Замоскворечье.

Где, дрожа, уселись в своей любимой французской кофейне на Пятницкой, и те самые белые воротнички и высокомерные офис-барышни, которые нас так раздражали раньше, теперь показались совершенно родными и безобидными.

Мы даже знакомой девочке-официантке немного пожаловались:

— Знаете, где мы были сейчас?

А она говорит:

— Вы еще когда вошли, я почему-то сразу подумала, что вы где-то были. В смысле, *где-то далеко*, не в Москве. Я еще спросить хотела, где, — но постеснялась.

Неплохо, да? Я же говорю, не кафе, а машина времени какая-то.

Мы рассказали. Она, мне кажется, что-то поняла и говорит:

— Схожу тоже, где это? Интересно, мне про все это только родители рассказывали. Почувствую, так сказать.

Может, и почувствует... В виде музея восковых фигур.

У нас же какое-то странное ощущение осталось. Мы потом долго сидели там, на Пятницкой, и все хотелось как будто от чего-то освободиться, сбросить, мы даже когда вышли на улицу, руками размахивали — чтобы это ощущение стряхнуть.

Я ВЫШИВАЛ КРЕСТОМ НА ПЕРЕКРЕСТНОЙ РИФМЕ

* * *

Настал июль. Дожди косые.
Живу вдали от беготни.
И ноги трогают босые
Щетину колкую стерни.

На клумбе — обморок цветенья,
Безумье красок, звон стрекоз.
То слышу музыку, то пенье,
То блеянье хозяйских коз.

Собаки бродят без надзора,
Зевают, нежатся в пыли.
И мужиков тоскливы взоры, —
Видать, сегодня на мели.

Дымок струится над рекою —
Сжигают мусор, сорняки.
И внемлет вечному покою
Часовня у реки Оки.

Немое тело самолета
Ныряет в толщу облаков.
А выше кротко смотрит Кто-то
На нас с небесных берегов.

Вот воробей, а вот синица
Летают, прячутся в тени.
И мне б забиться и забыться.
Но лучше — в небо. Как они.

Владимир ТОЦКИЙ — родился в 1952 г. в Челябинске. Окончил Всесоюзный заочный институт торговли. Стихи, рассказы и статьи публиковал в газетах, журналах и литературных альманахах. Автор книг «У церковных врат», «Бесконечные веки», «Посвящения», «Век начался». Живет в Москве.

* * *

Голый лес на косогоре,
Небо в низких облаках,
Иней пишет на заборе
О грядущих холодах.
Сад уснул, а пруд и речку
Обметало тонким льдом.
Растоплю щепою печку,
Вспомню о былом.
То ли дым глаза туманит,
Не дает смотреть,
То ли прошлое так ранит,
Стоит лишь задеть.
Память горше наказаний
Обжигает льдом.
Я без тех воспоминаний —
Выстуженный дом.

* * *

Настали наши времена,
А нас почти и не осталось.
Усталость или просто старость
Тому причина и вина.
Настали наши времена —
Звучат стихи и наши песни,
Но лишь во сне мы снова вместе
И не разрушена страна.
Мы утопали в долгих снах,
И нас на миг натужный ветер
Поднял из бездн на стык столетий,
Чтоб убаюкать вновь в веках.
И в этот краткий миг судьбы
Успеем ли посеять семя,
Чтоб с ним не совладало время
До долгожданной молотьбы?

Июльский ливень

Град незрелым виноградом
Грохотал по автострадам,
Тротуарам, скверам, кортам
До-минорным нонаккордом.
Плыли фуры по дороге,
Как груженые пироги.
И Москва-река вскипала,
Виноградины купала.

Кружевные колокольни —
Мачты флота на приколе —
Утопали в облаках,
В поднебесных родниках.
Но в угоду пешеходу
Луч блеснул по небосводу,
И концы потоков — в воду.

* * *

Как хорошо неправильно питаться,
Не бегать по утрам, не умываться.
И на себя смотреть со стороны
Лишь как на тело, погруженное в штаны.

* * *

Живу под спудом мелочей,
Глаза не поднимая к небу.
Но так ли много мне вещей
Необходимо на потребу?

Для здешней жизни свой предел.
Меня не станет тоже вскоре...
Не переделаешь всех дел,
Рукой не вычерпаешь море.

Не восходил на Эверест,
Не отыскал развалин Трои.
Мне б только донести свой крест
Туда, где мертвое — живое.

* * *

Как жизнь прекрасна,
Если вспомнишь, что умрешь!
Стареешь с домом дедовским и садом,
Взрослеешь с внуком
И мудреешь с листопадом —
Лишь крохи малые из вечности берешь.

* * *

Юрию Казакову

Прочитана книга «Поедем в Лапшеньгу».
Давно мы не ездим почти никуда,
А лишь вспоминаем свою деревеньку,
Где вместо *пойдем* говорили *айда*,

Где хвойного леса сыпучие звуки,
Неслышный, но видимый шелест дубрав,
И волглых осин возопившие руки,
И *долгие крики* глухих переправ.

* * *

Я вышивал крестом на перекрестной рифме
И ткал без шва коан на полотне листа.
А время, странный сон: в нем сотни лет, как в вихре,
Проносятся за день, а день ползет века,—
Дало мне просто шанс, единственный из ста:
Пиши все набело, не порть черновика.
Билет не выбирал, я просто был билетом
В момент зачатия, а может, до него.
И жизнь теперь не сходится с ответом.
А если все же нет ответа одного?
Языки замолчат, и холст с погасшим небом
Скатают в трубочку и в Лету уберут.
Пожалуют одних вином и хлебом,
Другим же ничего не подадут.

ПОДНЕБЕСНЫХ

Поднебо — прозвище Юрия Поднебесных.

Но иногда я сокращала его фамилию иначе: Под-бесных (несмотря на его длинные мохнатые брови, как у китайского святого). Это когда шутки его далеко заходили.

Вот приносит участковый милиционер повестку. Юрий уже и рот открыл — матерное слово почти вылетело, но он зубами его успел зацепить — и обратно. Взял на руки милиционера, как маленького ребенка, и понес, хотя тот и ногами дрыгал, и словами тоже. Поднебо отнес его в участок и сразу ушел, оставив после себя медленно остывающую лаву восклицаний, гримас, вздрагиваний...

Это было еще в восьмидесятых — участковый пришел, потому что донесли про нетрудовые доходы. Якобы он продает много картин и скульптур без оформления должного...

— До смерти мне их жалко — доносчиков, — вздыхал Поднебо. — Какой у них ад в душе все время, черти да черви, — и хмурил свои брови, как у китайского святого. — Подозреваю я одного человека — ну, напишу его портрет с куриной пленкой на глазах!

Познакомил нас в Москве мой друг Королев. Он нес к Поднебесных икону на реставрацию, мне стало интересно — зашли вместе. В глаза бросились прялки, сундуки, ветряк в виде парохода (вырезан из железа), цыганская маленькая гитара, как миниатюрная женщина... Наконец я — горловой Урал — стала громко удивляться на точеные черные фигуры в искусственном снегу:

— Пушкин с флюсом из снега — так по-человечески! Даже до слез...

— Это не сам Пушкин, а — его скульптура в снегу — масскульт победил, и никто не ухаживает за памятниками, снег на них сам скульптуры лепит уже...

В пейзажах у Поднебесных тоже снег, но не сугробами, а отдельные падающие снежинки, очень крупные.

Нина ГОРЛАНОВА — родилась в Пермской области. Закончила Филологический факультет Пермского государственного университета. Автор (в соавторстве с Вячеславом Букуром) «Романа воспитания», повестей «Учитель иврита», «Тургенев — сын Ахматовой», «Лидия и другие» и др. Печаталась в журналах «Звезда», «Знамя», «Новый мир», «Октябрь». В 1996 г. вошла в shortlist претендентов на Букеровскую премию. Постоянный автор «Континента». Живет в Перми.

Дома у него кажутся такими легкими на картине, словно они даже время от времени подрыгивают, а всё — из-за падающего крупного снега такое волшебное впечатление.

И мясо он запекал огромными кусками!

— Ешьте, Нина — у вас зеленые подглазники! Тут ко мне из посольств приходили, купили две работы. Послицы любят мои картины. Поэтому я едва живой сегодня...

Словно он даже любил эти слова: «до смерти», «умираю», «едва живой», «ад» и т. п. Чаще всего я слышала это про дела скульптурные:

— Если чувствую, что умираю, — значит, хорошо поработал. А если не умираю, — плохо поработал.

Кстати, один раз я сама видела, как он продавал картину: сказал ей «Прощай!», поцеловал и отдает послице. А она говорит с акцентом:

— Замая хорошая...

Как всегда, спрашивала я о детстве: велика ли была семья, боялся ли родителей.

Боялся он... руки деда!

Да, именно так — боялся руки деда. Мама его — удмуртка, и, когда ее отцу отрезали руку в больнице (после аварии), то по обычаю эту отрезанную руку засолили и повесили на чердаке, чтобы потом похоронить вместе с телом. Поднебо боялся ходить на чердак до самого окончания школы.

Мне хотелось узнать побольше, но он расческой делал волны по слою сырого гипса, соскальзывал и ругался:

— Осы в бороду! Куда? Но нужно пещрить. Борьба не на жизнь, а на смерть...

Топорообразным ручищам нелегко давались мелкие движения. Но он рвался из животной стадии, снова и снова пещрил тут и там... На картинах часами выписывал отдельные снежинки. До тех пор, пока не спросит:

— Ударяет в грудную кость?

— Ударяет.

Что говорить: каждая его картина — толчок в сердце.

Когда он приехал в Пермь в гости, у нас как раз свет отключили за неуплату. Не печатали же меня — время советское. Вечером мы зажгли свечи. Поднебо повторял:

— Ну и что — свечи. Пушкин всю дорогу при свечах писал.

Но утром рано он взял с пианино нашу долговую платежку и быстро сбегал — заплатил.

— Видел сосну, похожую на крыло птицы.

И сел рисовать сосну. Гениальный рисовальщик, но... мог сделать две левых руки. Каждая жилка бьется, но обе левые. «Левитан тоже не умел руки рисовать», — говорил печальным голосом. Но тут же снова взбодрился:

— Какие у вас деревья! Одно кричит: меня на выставку, я идеальное! Другое дерево — пьяница, почти упало...

В Пермской галерее, возле наших деревянных Спасов, только крестился: мол, грешно относить сие к искусству.

Потом мы заглянули в книгу отзывов и прочли последнюю запись: «Все клево, только жаль, что нет мумии и самурайских мечей».

С тех пор, когда бывал доволен своей работой, Поднебо повторял:

— Только жаль, что нет мумии и самурайских мечей! — затем челюсть его отпадала, как люк транспортного самолета, и раздавалось громоподобное «ха-ха-ха».

Мне тогда приснилось, что он приехал в наш Белогорский монастырь и написал две так называемых наивных иконы. В украинском народном стиле. Вокруг Николая-Чудотворца все цветочки алые, листочки зеленые. Якобы мне эти работы показывают, а я удивляюсь: «Почему вы не попросили его сделать больше — хотя бы пять-шесть?!» — «Так он у нас пробыл всего несколько часов»...

Да, в свой приезд он велел мне выбросить альбом Модильяни с черно-белыми репродукциями:

— Обнаженная женщина, а кажется, что она в грязи валяется. Я тебе подарю цветной альбом — новый, муха не сидела. Ненюханый.

И тут же он в подарок нам написал нашего кота — на черном подносе, ну и там, конечно, падают крупные снежинки, как бы мультяшные, но все же не мультяшные... Кто-то стащил этот поднос, конечно, — нет его давно уж.

Однажды он захотел описать мне лицо своей бывшей жены и выдал портрет... Софи Лорен.

Но в то же время рассказывал много такого, что придумать нельзя:

— Жена сына родила, он лежит, и я вижу, как в него входит душа моего деда. Прямо с бородой. И вот вырос — вылитый дед. Тот, когда ел и было вкусно, все приговаривал: ммм, ммм. И вот мой сын, слышу: ммм. Я ему: «Ты чего?» — «Так вкусно!»

Влюбившись, он переходил в состояние улыбчивого киселя на пару часов. Понравилась ему в Перми моя подруга Марина, которая шила себе из льна платья в народном духе. Но ей не понравилось, когда улыбчивый кисель заговорил:

— Каждый уважающий себя человек должен полежать в психушке!

Поднебо бухнул это прямо в автобусе — своим тонким, но очень далеко слышным голосом. Марина вышла на ближайшей остановке. А он... только еще больше взлохматил правую бровь и сильнее стал похож на китайского святого.

В 92-м мой муж жил у него в столице две недели (ездил на курсы иврита). И они много общего обнаружили. Например, оба в юности — после Уэллса — так поверили в марсиан, что прочитали всю историю Англии и удивились, ничего не найдя про вторжение инопланетян.

В те годы Поднебесных приятельствовал с соседом Будилиным. И вдруг Будилин стал Мудилиным: с восторгом рассказывал, как САМ ДЕПУТАТ такой-то позвал его быть крестным новорожденного сына.

— Сам Самыч? Депутат Депутатыч? — посмеивался Поднебо.

Но когда на другой день он начал картину «Крещение», Будилин там благоговейно смотрел на шелковую воду, нежный, хотя и важный. Ломкие складки одежд превратили его в монумент, но:

— Посмотрите, какое у него по-хорошему лошадиное лицо...

— А красные ягоды вишни — символ рая?

— Да, символ рая — потерянного и того, который будет.

Один раз Поднебо пришел домой и увидел воров. Он спросил:

— Вы здесь воруете или что?

Воры подумали: дурак. И убежали. А он боялся, что они из КГБ... Запивая коньяком суровую действительность, он долго сокрушался:

— Почему я им бороды не поджег!

Кажется, в 99-м была персоналка (персональная выставка). Но все было омрачено тем, что с утра его сын позвонил и спросил:

— Вы берете на реализацию жеваную рыбу?

А ведь еще совсем недавно пацан прочитал «Крутой маршрут», прибежал: надо стихов много знать — в карцере ими спасались!

— Погоди, — пытался остановить его отец, — зачем так резво к карцеру готовиться?

Но юношу было уже не остановить:

— Я вот Микеланджело выучил, — и начал читать: — Отрадней камней быть...

Хотя Поднебо еще не понял, сходит его сын с ума или наркоманит, он быстро подхватился и уехал в Америку. Оставил златое отечество ради бриллиантового Запада, как он сам невесело произносил.

Связи с посольством у него сохранились, поэтому переезд удался почти без потерь.

Но в США он оказался так одинок, что сам себе писал по электронной почте — сам и отвечал. У нас еще не было Интернета. Всего одно письмо получили мы на обыкновенной бумаге: мол, казалось бы, жить можно, хотя нет мумии и самурайских мечей...

Там была и фотография его: плиты лица треснули и появились не морщины — трещины.

«Я достиг апогея своей неизвестности. Зачем поздно уехал — Шемякин и Неизвестный стали популярными в том числе и из-за того, что были диссидентами. А меня вон как преследовали за то, что я изображал несчастных одиноких старух в парке на скамеечке — это когда говорили, что советские старики живут лучше всех в мире! Это когда Вы, Нина, мне твердили:

— Ты счастлив, тебе выпало страдать за всех!..

Истории с органами были, про гонения мы слышали. Например, после одной ресторанной истории его третировали целый год. Поднебо тогда набросил на свое лицо салфетку, часть ее вобрал в рот, а вверху все защемил очками.

— Угадайте, что такое? — раздавалось глухо из-под салфетки.

Все вопрошали:

— Привидение?

— Ку-клукс-клан?

— Нет! — провыла безротость. — Это социализм с человеческим лицом!

И слышали это человек десять, включая официантов. А еще — с соседних столов тоже могли слышать... Кто-то донес. Тогда и жена от него ушла.

— Патриотесса, блин!.. Но я прощаю — они ее чем-то там запугали. Или она испугалась, когда они пришли некстати! Я одну ногу уже в ванну опустил, другая сухая — так и увезли с мокрой ногой...

Как-то раз Юрий упомянул: друзья из посольств помогли тогда. В другой раз он уверял, что его выручила игра в полусумасшедшего. Перед своей подписью на любой бумаге в органах он, например, ставил слова: «Прошу слезно удовлетворить, склоняюсь в низком пардоне»...

С тех самых пор у Поднебо в квартире окна разрисованы черными полосками, сами стекла. Я как-то спросила: вместо черных полос на стеклах — почему не написать картину на тему допроса или задержания?

— Когда волнуешься, все лица кажутся блинами...

В психобольнице, кстати, лежал иногда его кузен (художник, мечтавший написать тысячу закатов). Он уверял нас, что по кисточкам... узнает начало приступа: кисточки испуганно топорщятся, как усы у кошки...

Поднебо часто-часто навещал его, иногда я с ним ходила. Много записала потом. Там всем мужчинам больным нравилась одна женщина, которая считала себя рыбкой в аквариуме, а всех других — другими рыбками... А один раз кузен лежал в палате с неким Кисунько. Так вот этот Кисунько думал, что он — древний римлянин. «Успокойся, успокойся, — говорили ему, — мы уже отбили варваров». — «Вперед, сыны Рима!» — кричал «легионер».

— В этом треугольнике: скульптор, модель и произведение — что главное? Главное: отношение модели к скульптору. В деревне, где теща жила, старушка отказалась позировать, я сказал председателю колхоза. А он:

— Она у меня проходит по делу самогоноварения. Мы ее задержим и будем держать, а ты лепи. Но оказывается: когда модель не хочет, то ничего не выходит (из рассказов Юрия Поднебесных).

Так вот, единственное письмо из США Поднебо закончил словами: умру я — все картины и скульптуры выбросят к такой-то матери, никому они не нужны, как выбросили работы Ситникова!

А я ему отвечала: у Ван Гога не выбросили — не выбросят и у тебя.

Но — выбросили.

Об этом мы узнали от Королева, который ездил в США в командировку и пытался найти работы Поднебесных после его смерти.

— Ну да, у Ван Гога брат спас его работы, — пыталась что-то понять я. — Но брат тоже вскоре умер...

— Тогда масскульт делал только первые робкие шаги к мировому господству. А сейчас масскульт победил — сквозь него не пробиться, — сказал мой муж.

И мы вдруг стали вспоминать, как поехали с Юрой на этюды. Он намазал хлеб маслом, а лось к реке шел ряску есть, бутерброд мимоходом прихватил. И это сразу вошло в картину. А небо в тот день было кроличье, как шкурка серая...

ОТ ГУЛАГА ДО АРБАТА

* * *

Отпевают старого еврея,
Что ходил в парторгах четверть века,
И от православного елея
Корчится моя душа-калека.
Он лежит в благообразной позе,
Хворями пробитый, словно чек,
Отразив в поэзии и прозе
Свой коварством начиненный век.
Он теперь уже в дороге млечной,
Враз освобожденный от всего.
И стою я с поминальной свечкой
И молюсь за упокой его.

* * *

Еще врага за друга принимаю,
Еще обидам счета не веду,
Еще я счастлив все-таки бываю
И триста раз на дню и раз в году.
Еще я полдень жизни не отметил,
Но на миру и в тишине ночей
Уже я чаще думаю о смерти,
Чем в самом деле говорю о ней.

* * *

Ближневосточная наружность
И далеко не херувим,
Но ведь кому-то было нужно,
Чтоб уродился я таким.

Валентин РЕЗНИК — родился в 1938 г. на станции Няндома (система Карлага) в Архангельской области, в 1943 г. в Карлаге умерла его мать. Окончил школу рабочей молодежи, с 14 лет и до выхода на пенсию работал слесарем. Долгое время занимался в литобъединении при автозаводе им. И. А. Лихачева. Автор трех поэтических сборников и множества публикаций в газетах, журналах и альманахах. Живет в Москве.

Чтоб от ГУЛага до Арбата
Все отразилось на судьбе
И чтоб портрет рябого ката
Служил иконою тебе.
Какое время пролетело,
Какие годы протекли,
Но ведь кому-то было дело
До этой горестной земли.
До этой маятной отчизны
С ее преступной простотой,
Где жизнь от смерти, смерть от жизни
Не отличаемы порой.

* * *

Пропадает пропадом
Родина моя
С колоссальным опытом
В области вранья.
С жаждою к восстаниям,
С тягою к вождям,
С точкой в Магадане
Весом в девять грамм.
Душу заколодило,
Быт, как на войне.
Пропадает Родина
По моей вине.

* * *

Не ерничай, не изгаляйся
Над тем, что постигло страну,
И задним числом не пытайся
Свою преуменьшить вину.
Ты многое слышал и видел,
О многом доподлинно знал,
Но лишь про себя ненавидел,
Но лишь про себя проклинал.
И так же, как многие, проще
На вещи смотреть норовил,
А кто-то ведь вышел на площадь,
Которую ты обходил.

* * *

Нет у меня семи пядей во лбу
И не предвидится,
Все же на данную Богом судьбу
Трудно обидеться.
Всякое было: и ведро, и дождь,
Глад и бескормица,
Редкий по лжи и жестокости вождь —
Здесь уж, как водится.
Гнет без предела и страх без границ,
Злое усердие.
И среди тысяч неведомых лиц —
Культ милосердия.

* * *

Ужо тебе смотреть героем,
Высокомерно щуря глаз.
Тебя же не водили строем,
Не муштровали так, как нас.
Мозги не полоскали ложью,
Припудрив правдою слегка,
И не именовали вошью
В помпезных зданиях ЧК.
Так что, голубчик, рано судишь,
Нравоучения долбя,
Не ведая, как сам ты будешь
Вести в том здании себя,
Когда тебя возьмут за хобот
И с ходу пустят в оборот.
Ну а пока смотрел бы в оба
И открывал пореже рот.

* * *

Где проходит граница
Между злом и добром?
Как тобою гордиться,
Мой приемный дурдом?
Делать вид, что не знаю
Подноготной твоей,
Мол, моя хата с краю,
Я не здешних кровей.
И сюда ненароком
По веленью попал
Сухорукого бога,
Что тогда правил бал,

Насаждал идеалы
Большевистской рукой
И страну сквозь каналы
Прогонял, как сквозь строй.
Но какой бы там масти
Ни был этот режим,
Ты и сам ведь отчасти
Заворожен был им
И служил ему честно,
Не щадя живота...
Хоть потом, как известно,
Чуть не с пеной у рта
Умножал укоризны,
Коим нету числа,
В адрес бедной отчизны,
Что богатой была
На правеж и на ласки,
На крещенье свинцом,
На красивые сказки
С незавидным концом.

* * *

В конце концов все это что-то значит:
Ампирный въезд, скамейки у пруда.
Ты не свободен от своих чудачеств
И от чужих не скрыться никуда.
А у тебя — ни имени, ни чина
И быт не переходит в бытие.
В тартарары летит твоя отчизна,
Стоящая на крови и вранье.
И ни один ориентир не ясен,
И здравый смысл не пущен в оборот...
Но этот мир по-прежнему прекрасен,
И все еще на жизнь ему везет.

* * *

Лежит на каждом времени печать.
Тела и души, как известно, хрупки,
Но ведь когда-то надо отвечать
За все свои деянья и поступки.
От собственного не уйти суда,
Куда б ты ни запропастился срочно,
И если не сгорал ты от стыда,
То жизнь твоя не слишком правомочна.

Любую можно исковеркать суть
И прохиндея выдать за героя,
Весь мир вполне возможно обмануть,
А вот себя, возможно ли такое?
Возможно ль самому себе очки
Втереть и делать вид, что все нормально,
И с удивленьем подымать зрачки,
Когда тебя застанут персонально
За подлостью, за ложью и за тем,
В чем и себе бы не всегда признался...
О сколько в жизни благодарных тем, —
Какого черта я за эту взялся!

* * *

Шестидесятники, погодки,
Моей судьбы девятый вал,
Я в те же был забит колодки,
Хотя и позже начинал.
И так же с вами был на марше,
Пускай немного позади.
Но вы сошли гораздо раньше
Со старта, с финиша, с пути.
И оттого печаль не тает,
И все сильней день ото дня
Мне вас — вот так вот! — не хватает,
Шагавших впереди меня.

* * *

А ты по большей части
Все пишешь о себе:
О горе и о счастье,
О путанной судьбе —
Той, что тебе досталась
Не из последних рук,
Что даровала старость
И отняла подруг.
Той, что тебя кроила
И вдоль, и поперек
И как могла хранила,
А для чего? Весть Бог.

ПЛОТЬ СЛОВА

Рассказы

1. Песня

Все детство я читала музыку глазами. У нас было очень много пластинок «Вокруг света», некоторые из них без конвертов, пыльные, слегка поцарапанные, но все равно матово блестящие, таинственные, как мир. Я осторожно надевала их на штырек проигрывателя, протирала пунцовой бархатной тряпкой, сделанной из старой шторы и, едва касаясь, сверху накладывала ерзающую иголку. Еле слышный, как шепот неведомых времен, шип и шелест принимались сочиться из-под иглы, будто неизвестный тропический плод надрéзали, и легкий сок заструился по губам, по скатерти, по комнате.

Эти пластинки и были загадочным плодом, в них была спрятана музыка, разноголосица невнятных наречий, то исчезающие, то набегающие звуки бытия. Одни пели, будто их укачало в вагоне, — кукольными, вкрадчивыми, разморенными голосками, другие неожиданно вскрикивали на лету, и этот горловой взвизг был похож на залихватское коленце хитрого танцора. Но сначала — до всякой музыки, до пищанья и пыланья певцов и певиц с яркими, непривычными именами — я читала названия. Они были похожи на стихи.

Я до сих пор помню, с каким полувздохом, вздохом, задержанным на середине от предвкушения тайны, я брала черные, приправленные пылью диски пластинок и читала середину каждой из них. Середины эти были красные и желтые, иногда голубые, тускло-лазоревые. Я сидела на комоде, опасно балансируя в вышине с грудой пластинок в руках, и перебирала бусины названий: «Ночной сторож», «Только ты», «Огни города», «Анжелика», «Я один», «Под шум дождя», «История любви», «На закате», «Однажды вечером», «Руки девушки». Иногда мне хватало одних этих слов, чтобы довообразить музыку, допеть изнутри влекущую, зачарованную неясность иной реальности, — я никогда не представляла себе дождь или вечер, просто в самой недосказанности было что-то далекое и дивное, намек на иное пространство по ту сторону видимой жизни.

Надежда МУРАВЬЕВА — родилась в 1970 г. в Москве. Закончила МГПУ им. Ленина, по образованию лингвист. Работала в «Независимой газете» (НГ Ex-libris). Некоторое время жила и работала переводчиком в Латинской Америке, в Колумбии. Автор романа «Майя» (2005), поэтического сборника «Càrmenes», ряда рассказов и переводов, публиковавшихся в отечественных и зарубежных журналах. Журналист, преподаватель испанского языка. Живет в Москве.

Это чувство, сродни стихотворной причастности к тому, что видится и вспыхивает за контуром слов, часто совершенно покидало меня, когда песня уже была на середине, — мы с братом начинали крутиться под нее волчком, все быстрее и быстрее, притормаживая руками в воздухе, чтобы не улететь раньше времени. А потом голова уже еле держалась на плечах, она вращалась, и ушей становилось очень много, и все эти выросшие в полете уши впивали музыку, точнее, она затекала в раковину уха, как речная вода, и ее становилось больше и больше. В последний момент она уже выплескивалась обратно, потому что голова была переполнена мелодией. Тогда мы валились на тахту в сладком обмороке, который длился две или три секунды, а потом рассеивался, заканчивался, как очередная мелодия. Оставалось только шипение и потрескиванье. Мы лежали счастливые.

Была только одна заповедная песня, под которую я никогда не кружилась волчком и вообще предпочитала слушать в одиночестве. Онато и называлась «Руки девушки». Я сидела возле проигрывателя, пластинка крутилась, она была маленькая, единственная маленькая пластинка «Вокруг света» на сто больших и тяжелых. Далекая женщина влажным и замедленным голосом выпевала странные слова, размытые, как те самые огни города, про которые была оркестровая мелодия на другой пластинке. Я слушала ее по вечерам, когда в большом балконном окне сквозь искажающее мир зеркало стекла вздрагивали и мерцали чужие окна.

Эти окна томили меня едва ли не сильнее, чем песня. Я видела — или мне хотелось видеть — над крышами домов белый приморский парапет набережной; и какая могла быть там набережная, если я смотрела на московский двор и дальше — на улицы за Садовым Кольцом? Но она там была. Я уже знала, что море окружено такими вот белоснежными заборчиками, знала по Анапе, куда мы с бабушкой ездили несколько лет назад. Вместе со мной набережная Черного моря переехала в Москву. Бабушка мне говорила тогда, в Анапе, что в ясные безветренные ночи на другом берегу можно было увидеть огни Турции. Я понятия не имела, что такое Турция, но это было неважно, потому что Турция и была этой далекой, недостижимой страной, где по ночам через все огромное море мерцают прекрасные огни.

Так, я привезла с собой с побережья в темную московскую ночь белые кувшины ограды, за которыми плескалась морская дорога до самой Турции. Когда я слушала «Руки девушки», я слушала море, дальние огни и невнятную повесть о чем-то просторном, вольном и просящемся наружу — из пластинки в мое переполненное сердце. Мягкое раскачивание звуков неизвестного языка соседствовало с очень тихой поначалу, набирающей силу мелодией; женщина рассказывала о чем-то, и я думала, что она стоит в поле (или в море, неважно) и поет так свободно и негромко, как ей хочется. А потом словно ныряет в припев, где вообще нет слов, только голос и окрепшая музыка. Песня была на португальском, но я тогда этого не знала.

Лет через восемь пластинки эти отнесли на помойку, потому что они занимали много места и проигрыватель уже никто не слушал. Иногда я внутри себя пропевала сохранившуюся мелодию этой песни и вслушивалась в далекий и задумчивый голос моей неведомой женщины. Я помнила название про руки, хотя оно у меня никак не связывалась со всем остальным. Про девушку я знала точно, что она и та женщина — одно: ведь женщина пела про себя, про свою жизнь где-то в ином пространстве. Память описала круг: через десять лет, в Колумбии, в портовом городе Картахена, в кабачке, продуваемом насквозь мягким ветром, мне непонятным, теневым каким-то голосом спели эту самую песню из детства. Красные свечи под колпачками прерывисто дышали на столах, мулат с гитарой выдувал из губ стеклянные звуки, что-то то ли морское, то ли степное. Она! Какое счастье, что я ее не выдумала...

Еще была музыка под названием «Осенний сон», но, при всей поэтичности такого названия, она не беспокоила меня и не говорила на особом наречии: было просто красиво, ну, похоже на поезд, который едет среди желтых листьев, и только. Она была какая-то слишком популярная, вся на поверхности, вся впустую. Когда мы с братом устраивали игру в понамарянскую эстраду, мы копировали такую музыку голосами, прижимая к груди толстые длинные подушки вместо гитар.

Подушки, служившие по ночам продолжением тахты, были музыкальными инструментами, конями, санками, полками купейного вагона — того самого, осеннего, в котором надо спать под музыку, и много чем еще. В стране Понаморянии и в ее столице Понаморяне всегда происходило что-то значительное и нестрашное, — даже война со злыми агечами, похожими на оскаленные, улыбчивые черепа, была нужной и забавной. Нужной она представлялась нам потому, что жители страны — понаморяны — были очень героическими, и мы просто не знали, что делать с их неумеренной тягой к подвигам в мирное время. Впрочем, они и без нас находили себе занятие: выручали красавиц из плена, пиратствовали на море и ставили спортивные рекорды. Но войны и мятежи все-таки были необходимы, чтобы бешеная энергия понаморянов не застаивалась, — и особенно приятен был гром победы, который раздавался в самый неурочный час, и какой-нибудь Лагеч (у них имена были немного с сербским привкусом и, кроме того, подозрительно похожи на племенное имя их злейших врагов — злых агечей) падал на тахту, картинно зажимая простреленную грудь. Потом он, конечно, оживал, но красота предсмертного жеста от этого не страдала.

Когда враги были повержены, шустрые понаморяны устраивали новую бучу — гражданскую войну. Появлялись, как грибы в июле, разные политические партии, среди которых выделялись анархисты. Они все отрицали. Они плевали на короля с королевой, — потому что в Понаморянии изначально была монархия, — и презирали простых граждан. Они ходили по улицам с черными флагами и пели на мотив «Эль пуэбло унидо»: «Народ, народ, народ, народ, народ, Паршивый гад и мерзкий идиот...» Народ отвечал им тем же и бил их в темных закоулках.

Так как нас с братом было всего двое, нам приходилось работать не за страх, а за совесть, чтобы воплотить в жизнь всех этих многочисленных, бурлящих жизнью понаморянов. Кроме того, нужно было отдуваться за злых агечей, воблобаров, «смешных» с глазами на палках, которые вращались и искрились, как шутихи, бердядей и прочие племена, в изобилии населявшие просторные земли наших сердец. Не все они враждовали с довольно-таки добродушными, хотя и бойкими понаморянами, но дел всегда хватало. Через несколько лет, когда мама съездила в Англию и вернулась с рассказом про Лоли-Попа — симпатичного, пестро одетого мужичка, который переводит младенцев через дорогу и славится своей конфетностью, — у жителей нашей страны появился новый враг. Это было искусственное чудище, сооруженное мечтательным понаморяном-ученым. Чудище жило в специальной комнате, на задворках мироздания, но иногда, из-за рассеянности создателя, забывавшего как следует запереть дверь, оно выбиралось наружу и крушило все в радиусе ста километров. Звали его, разумеется, Лоли-Поп. Дав ему как следует покуролесить и выплеснув все свои накипевшие страсти, героические понаморяны водворяли его на место.

Время от времени народ и правители уставали от собственных подвигов, и тогда устраивались эстрадные конкурсы. Пели в невидимый микрофон. Песни выдумывались на ходу. Телевизора в доме не было, поэтому то немногое, что удавалось посмотреть у бабушки, — передача «Утренняя почта» или «Голубой огонек», — шло в ход, хотя, конечно, переиначивалось изрядно: от родителей мы знали, что все советское, в том числе и эстрада, — это мерзость запустения, но надо же было хоть что-то брать за образец.

Жюри, — которое представлял один из нас, пока другой ходил по комнате и пел, — отличалось добродушной строгостью. Мы все же слегка увлеклись «советским», не отдавая себе в этом отчета, и патриотическая песня «Понаморян, над городом заря» получила первое место на одном из конкурсов. Только один раз я позволила себе записать песню, с которой мой герой, юный и прекрасный Ююч (все понаморяны были юными и прекрасными пятнадцатилетними талантами, потому что пятнадцать лет нам казались расцветом и пределом жизни — дальше наступала глубокая старость) должен был выступать на эстраде, пленяя сердца многочисленных незримых дам.

Я записала песню в старый блокнот с твердыми картонными страницами и украсила текст россыпями звезд. Собственно, песня и была про звезду, причем не обычную, а падучую: «Падучую звезду Поймаю на лету. Падучую звезду в руке своей согрею. Звезда моя звезда, Бывает иногда, Что счастье потерять Нам нужно, не жалея. А в небесах огни, Огни далеких звезд, Огни далеких звезд И небо в светлых пятнах. Заброшу я звезду, Падучую звезду В серебряную тьму На небеса обратно»...

Первый куплет мне не нравился, он был немного попсовым, как все то, чему нас научил телевизор, а вот второй... Второй, — где юный Ююч забрасывает свою звезду обратно на небо, отказываясь от счастья, — конечно, от самого что ни на есть взаправдашнего, от которого сжима-

ется сердце и руки становятся горячими, — пришелся мне по душе. Чем-то это жест напоминал мне ту, мою любимую песню «Руки девушки». Она, конечно, не в пример таинственнее, она дивная и завораживающая, но и там кто-то говорит о счастье — о счастье, от которого приходится отказываться мне самой, когда я вечером ставлю пластинку и почти уже слышу трепет этого счастья, почти уже понимаю, о чем оно говорит со мной таким мерцающим голосом.

Оно похоже на звездную даль в небе и странную рекламу, горящую на горизонте, — я ее очень люблю. Это лазоревый квадрат на крыше какого-то дома, в темноте на нем зажигаются буквы и слова. Там написано об этой песне, обо мне и о брате, об окнах, понаморянах и яблоках на ночь, о нашей деревне и о зачарованной стране Турция, но я не могу прочесть этих слов, потому что они очень далеко. Я стою, я держусь обеими руками за шторы и слышу, как посапывает брат на своей тахте.

Завтра вечером я снова буду слушать про руки девушки и смотреть на эту далекую рекламу. Я знаю, что она светится по ночам, и ни у кого не спрашиваю, что на ней написано. Я сама когда-нибудь прочту на ней много всяких тайн про все, что есть в мире, и про то, что только может быть, когда мы любим, любим все это и тоскуем по счастью ускользающей, невероятной, неизреченной и шепчущей нашей жизни.

2. В начале жизни школу помню я

В детстве я очень не любила школу. Это было больше, чем нелюбовь. Это мое домашнее одиночество как-то удваивалось, распухало, приобретало строгие и ледяные черты: зеленые казенные коридоры, высокие, смотрящие непонятно куда окна, чужие, неприступные дети и въедливое бормотание озлобленных на жизнь учителей. Я не знала, как мне научиться существовать в этом мире, и, простаивая под дверью класса, старалась думать о книгах, составляющих мой домашний мир, о чем-то смутном, что теперь я уже не назову, но это «что-то» помогало мне продержаться до конца четвертого урока, преодолевая мучительное отвращение, иголками и ознобом бегающее по всему телу.

Моя отделенность от мира простых и нежных вещей еще холоднее делалась оттого, что на мне колом стояла черная, колючая форма, с которой то и дело отпарывались жесткие манжеты и воротнички, — их нужно было, каждый раз как загрязнятся, отпарывать, стирать и пришивать намертво, чтобы через несколько дней снова отдирать маникюрными ножницами. На мне жалко топорщился черный с оборочками передник, под платьем я никак не могла согреться, и возникала странная уверенность, что ты ходишь голый и неприкаянный: школьная форма была иллюзией одежды — картонкой, которую на тебя налепили и которая вот-вот треснет, развалится и упадет на бездарный, покрытый песочным линолеумом пол.

Я старалась не высовываться, потому что всем сердцем, зажатым в тиски, ощущала рассеянную в воздухе казенную угрозу, да и, кроме того,

кто стал бы так уж высовываться, если меня почти и не было? Я теряла себя где-то в полдевятого утра, когда выходила из высокого, скрипучего и опасного подъезда моего детского дома. По дороге в школу я и совсем превращалась в одинокое, тяжелое и довольно-таки неуклюжее тело, с остывающей, как чайник, душой, бредущее по пронизанной ветром и лозунгами улице.

Человек в железной маске добирался до помпезного здания школы номер тридцать один с углубленным изучением английского языка и, под доспехами и маской постепенно превращаясь в дым, поднимался по омерзительно-мраморной лестнице на второй этаж. Оставалось одно желание — из серии «оставьте меня, зачем вы меня обижаете!», хотя никто меня не обижал и даже, в общем-то, особенно и не замечал, потому что я старательно избегала общения с тридцатью девятью визгливыми, похожими на жестяные громыхающие волчки, детьми.

Иногда мое вынужденное уединение все-таки нарушалось: так, на уроке русского языка учитель, бывший танкист и вояка, человек не очень приспособленный для работы с восьмилетними детьми, поставил меня у окна с лейкой и приказал поливать цветы. Речь шла об именах существительных, предметах, к которым можно поставить вопрос «кто? что?», и пока я добросовестно лила из синей тупой пластмассовой лейки воду в горшок со школьной геранью, он, тыча в меня указкой, с нажимом повторял: «Этот предмет поливает цветы». Я чувствовала, что учитель неправ, но как-то смешно неправ, потому что я, конечно, уже почти предмет, засунутый в твердую обертку формы, но все же я — не совсем уж «что?»: ведь когда я через два часа пойду домой, мои руки согреются, и железная маска потихоньку станет рассасываться. А потом, дома, я возьму фломастеры и большую тетрадь и сяду писать новую главу про жеребенка Лучика — с иллюстрациями собственного изготовления, и в этом я уж точно буду «кто».

Единственное, что просачивалось сквозь мои злосчастные доспехи, был довольно-таки звонкий голос. Он-то и втравил меня в постыдную историю, о которой я никак не могла заговорить дома, — не могла потому, что все, что было связано со школьной псевдожизнью, дома принималось, как рассказ о потустороннем, неуместном и призрачном существовании. О таких вещах в семье заговаривать было неловко, тем более что всякие Алексеи Ивановичи, отметки и подготовка к приему в октябрята там теряли свою плотность и делались химерическими дымами, — зато за стенами дома мне каждый раз предстояло почувствовать на собственной коже, что у химер весьма острые зубы. Правда, я тогда еще не читала рассказов Теофиля Готье, но позже все-таки смогла оценить его сладкозвучную и немного жеманную манеру, в сиропе которой то там, то здесь всплывали островки истины. Истина про призраков была одним из таких вот жизненных посланий. Но в мои почти что девять лет речь шла о совсем уж жалкой прозе — о стихах, которые учитель велел выучить некоторым избранным, чтобы громко и отчетливо оттарабанить их в торжественный день, когда к левой стороне детской груди нако-

нец-то пришпилят блестящие звездочки, не менее колючие, чем вся остальная моя сбруя.

Эти стихи стали для меня чем-то запретным, стыдным, но тем не менее очень важным, потому что в замкнутом круге школы церемония посвящения в октябрята обставлялась как нечто сакральное, дикое и прекрасное, вроде первого причастия. Четверостишие же, которое мне было велено усвоить с голоса Алексея Ивановича, переварить и выбросить в мир, было такое: Нам трубы протрубили Под шелест кумача, Нам звездочки вручили С портретом Ильича.

Все это было мне понятно, даже портрет Ильича при всем его бодром непотребстве не внушал мне никакого беспокойства — это был просто театр, и нужно было соответствовать. Но мука притаилась где-то рядом и в итоге воплотилась, как водится, в слове: дело в том, что я, к своему ужасу, никак не могла расслышать рифму на «Ильича», — слово «кумач» я не знала, а из-за своей горестной застенчивости, в придачу ко всему закованной насмерть в ледяные латы казенного дома и черный панцирь формы, я никак не решалась спросить у учителя, что там за слово такое.

Ритм был для меня стройным и ясным поводырем с младенчества, поэтому я ощущала, что мне придется просто дополнить недостающий, провальный слог «ку» чем-то своим, из головы выдуманным, так как ударное «моча» было мне хорошо знакомо. Но здравый смысл подсказывал мне, что никакой «мочи» там быть просто не может, а значит, придется изобретать на ходу. На репетиции я мужественно комкала странное и позорное слово «моча», пришлепывая к нему самые разные звуки — «ум», «пум», «гум», и мне все как-то сходило с рук, точнее с губ, в своей замороженности выговаривающих что-то отдельно от меня.

В торжественный день, приплетясь в школу завернутая в белый флаг капитулянтов, — на мне сиял своими наглыми рюшечками белоснежный передник, — я ходила из угла в угол, честно пытаясь нутром вызвать из небытия правильное слово, соответствовавшее, с точки зрения школьного пафоса, горделивому «Ильичу», но проклятая «моча» не давала мне сосредоточиться.

Прогремели трубы, и в затихшем коридоре под надзором учителей, дергаясь и пританцовывая от волнения, начала вытягиваться бело-черная удавка: это будущие октябрята выстраивались в шеренги, сглатывая слюну от необременительного своего волнения.

Я забралась в самый хвост, в паническом надежде, что про меня забудут и мне не придется дополнять «Ильича» каким-то наспех выдуманным кошмаром. Пионервожатая агрессивно выкликнула поздравительные слова, слипшиеся у меня в голове в разноцветные кусочки казенного винегрета, следом за ней, из шеренги застывших оглашенных, стоящих на пороге великой тайны, звонко и пискляво заверещали вдохновенные голоски.

Я посмотрела на Алексея Ивановича и, застывая всей нижней своей частью, поняла, что он делает мне знаки; вот сейчас... Что-то там

про флаги, и... Я набрала воздуху в грудь, причем мне почудилось, что этим стылым воздухом наполнилось мое платье и в руках колотящееся сердце. Я выступила вперед и, плотно закрыв глаза, заорала стишок, оглушая саму себя. Дойдя до чудовищного слова, я громко выкрикнула какой-то жалкий в своей негодности звук «блум» и, на волне великого усилия притиснув к нему звонкое «моча», понеслась дальше, благополучно добравшись под конец до спасительного и примиряющего вся и всех «Ильича».

Про звездочку я сказала дома только бабушке, заталкивая в огромный потрескивающий шкаф свою измятую от волнения форму. Бабушка моя, приехавшая с визитом, держась прямо и немного чопорно и чувствуя себя слегка не на своем месте в полном крамолы доме, поздравила меня, как показалось, с облегчением. Ей как старой партийке было приятно, что дети живут по правилам и не отвергают краснознаменную действительность. Но это было не так. Сказав в воздух возбужденно и празднично: «Бабушка, меня сегодня приняли в октябрята!», — я ощутила слабое, но внятное колебание пространства, как будто оно слегка смутилось от фальшивых моих слов.

Впрочем, радость моя была отчасти искренней, так как под рев труб и шелест этого самого пресловутого кумача никто не заметил словесного комка, для меня прогремевшего пушечным залпом на весь коридор. Кроме того, мне хотелось доставить невинное удовольствие бабушке. Я подозревала, что у нас в доме она одинока со своими представлениями о жизни, как я со своими — в школе.

Я так никому и не сказала о тех страданиях, которые мне пришлось проглотить, но зато позже, в четвертом классе, когда участь моя была решена и надо мной сгустились тучи в виде необратимой и непреложной пионерской клятвы, вырывающейся вместе с паром из моего рта на апрельском ветру, я сумела верно осмыслить свой мученический опыт двухлетней давности и утешиться его плодами в полной мере. Стоя на скользкой брусчатке Красной площади и стараясь не глядеть на приземистый бурый Мавзолей, я громко завопила: «Я фамилия — имя вступая в ряды всесоюзной пионерской организации...» Дальше я произнесла все полагающиеся слова клятвы без особых приключений, рассудив, что в шуме ветра и хоре срывающихся, буйных голосов моих сверстников отсутствие самого главного — имени — будет смыто и стерто волнами всеобщего воодушевления. Так оно и вышло.

Мое тайное противостояние школе выливалось порой в явные, хотя и не менее мучительные для меня поступки, когда приходилось отдирать от лица железную маску и бросаться в бой с поднятым забралом, совершенно не представляя себе исхода последующего кровопролития. Истории, в которые я влипала, впоследствии представлялись мне верхом идиотизма, — это потому, что я совсем не собиралась геройствовать и, почувствовав неслышный щелчок капкана, делала слабый и уже обреченный заранее рывок; но делать было нечего и приходилось противостоять — теперь уже вслух, без оглядки на прошлое, еще

недавно казавшееся мне таким пустым, неприветливым и скорбным, а ныне расцветающее всеми красками защищенного и благополучного пространства.

Я не могла заставить себя вступить в беседу с одноклассницами, потому что их беседы ощущались мной как смесь пошлости с коварством. Уже в так называемой взрослой жизни мне пришлось удостовериться, что мои школьные впечатления нисколько меня не обманывали и там, где другая проскочит на трех ногах, у меня недостанет и одной. Я была чужой, и как бы я ни подделывалась под общий тон, мне просто не могли не показать, что я влезла туда, куда не просят, и результат такого нарушения границ будет совершенно непредсказуем — в первую очередь для меня, но и для самих членов круга тоже.

В тот день девочки обсуждали наряды. Эта вполне нейтральная тема вызвала у меня желание включиться в разговор, тем более что мне в кои-то веки было что предъявить непонятному миру матерьяльных достижений: мне подарили итальянские штаны. Я мялась поодаль, слушая, как подрастающие шахерезады в ожидании своих кровожадных султанов изощрялись в немыслимом словотворчестве, — растительное воображение кипело, и мне стало казаться, что я со своими штанами вполне могу вписаться в эту бурю страстей и даже выйти из нее нетронутой.

Я осторожно подошла к кругу и, подгоняемая очень резким порывом одиночества пополам с каким-то дурацким тщеславием, произнесла: «У меня тоже есть штаны». Все уставились на меня с некоторым изумлением, но без насмешки: ко мне относились с отстраненным равнодушным уважением — вроде как к теленку о двух головах, но при этом покрытом позолотой. Кто-то спросил: «Штаны?» «Итальянские, — сказала я торопливо, ощущая, что делаю что-то не так, не на уровне, — мне крестная мать их подарила...»

Сразу возникло сокрушенное молчание. Я больше не могла говорить и провалилась в эту зловещую паузу, как в лужу. «Крестная мать?» — сказал кто-то с долей привиденческого интереса к миру живых. Мне стало очень не по себе. Дело в том, что крестная мать у меня была и в самом деле подарила мне эти проклятые штаны, но видела ее я крайне редко и никаких чувств к ней не испытывала. Все глубже уходя в трясину своего нелепого болота, я смятенно прислушалась к какому-то шестому или двадцать пятому чувству и поняла, что сейчас мне придется оттдуваться за эту самую крестную мать, но как-то ужасно отдуваться, как-то вымороченно.

«Значит, у тебя крестная мать есть?» — спросил кто-то голосом следователя, говорящего: «Так-так» потопившему себя туповатому преступнику. Я подняла глаза. «Да, — сказала я придушенно, — есть». Допрос внезапно начал разрастаться, как грозовое облако. Сначала оно невинно-серое, а смотришь — через минуту уже распухло и набрякло до неузнаваемости. И вдобавок еще и почернело как-то. «Значит, ты в церковь ходишь?» — продолжил другой, тоже следовательский, даже

уже прокурорский голос. В церковь я не ходила. «Да, — сказала я, — хожу».

Под ногами у меня пузырилось болото, а над головой кипело что-то буревидное, так что отступать все равно было некуда. Молчание сделалось каким-то коллективным и потому особенно страшным. «Значит, — наступая на меня железными сапогами логики, заговорил все тот же голос, — ты еще и в Бога веришь?» Мне просто ничего уже не оставалось. Я обернулась и посмотрела на слезящееся в отдалении окно, призывая его в свидетели моей гибели. «Да, — сказала я, — я верю в Бога». После этого прозвенел звонок. Надо было идти на русский язык. Тут только я увидела, что стою я в круге: мои ошарашенные одноклассники обступили меня со всех сторон и, не говоря ни слова, созерцали мое признание. Они его именно созерцали, а не слушали ушами. В этот миг я всей кожей ощутила, что позолота с меня слезла, а две головы остались и даже сделались намного больше, чем раньше.

Из круга начали выходить по одному. Все шаг за шагом отступали от меня, сохраняя на лицах мгновенную радость узнавания. Эта радость проступает обычно, когда люди каким-то сложным путем открывают несвоего и в тишине сердца гордятся своей проницательностью. Круг медленно распался, и я пошла на русский.

Я сидела за желтой, исчерканной партой и ждала возмездия. Думаю, мне по наитию было тогда уже понятно, что гнев толпы и отвержение толпы — две вещи почти невыносимые. В голове моей мутно болталась мысль, что штаны завели меня довольно-таки далеко — куда-то на вершины человеческого духа. Я сидела одна, и меня не спрашивали. Это было кстати, потому что после моего незапланированного свидетельства я, наверное, вряд ли могла общаться на русском языке и уж тем более раскладывать его на суффиксы, приставки и окончания. Когда урок все-таки закончился, ко мне никто не подошел, хотя издали приходили легкие разряды тока — это были настороженные взгляды одноклассников, помноженные на мой одинокий ужас. Я стояла у окна и разглядывала неизвестно что, — потому что я не понимала, на что я там смотрю и что со мной теперь будет.

Еще два урока прошли в тоске. Никто со мной не разговаривал, но никто и не проклинал, и не плевал мне в лицо. Впрочем, с меня было достаточно и бойкота.

Когда я шла домой, мне хотелось понять, что именно произошло, и почему-то неоформившаяся, лезущая откуда-то сверху или снизу, из живота, мысль, что в жизни так всегда: от штанов — к Богу, — странным образом подкрепляла меня, хотя никакой радости или воодушевления я не чувствовала. Скорее, это было просто новое знание. Воодушевление я испытываю сейчас, когда вспоминаю про свои школьные годы. Мне смешно и немного печально. Наверное, это была очень нужная школа. Я имею в виду школу жизни. Хотя я в этом и не уверена. Обучение в ней у меня растянулось на годы. А вот школа радости мне еще предстоит. Ее, по-моему, важнее всего пройти.

3. Рыбы

Татя как-то рассказала мне, что в три года она написала стихотворение: «Рыбы на лодках катаются, Лапами весла гребут». Образ очень ясный, если представить, что эти самые рыбы едут в лодках, сидя на хвостах, и загребают воду плавниками, похожими на большие, влажные лапы. В лодке, наверное, умещается очень много рыбин, и все они заняты главным делом своей жизни — они катаются. Что может быть важнее?

В мои три года я тоже написала стих. И тоже про рыб. «И в зеленой тишине Рыбы выпиты на дне». Здесь уже ничего ясного нет. Я до сих пор вижу пустые подводные, втянутые в себя воронки, оставшиеся после рыб. С другой стороны, эти рыбы все еще стоят на чистом, зеленом дне, потому что их «выпитость» — просто прикровенная метафора тишины. С третьей стороны это все тем и хорошо, что понимания никакого не требует.

Рыбы притягивали меня всегда. В подвижном, остром блеске этих и в самом деле безмолвных существ ко мне приходила свобода. Это была вымечтанная мной свобода дальних странствий, излучин блестящих рек в обрамленье осоки и тонких, жидких осиновых стволов, сбегающих с холмистого берега. Рыба в своей простоте равнялась коню, потому что образ всадника — охотника и рыболова, — не изменяясь ни на йоту, преследовал меня с самого детства, а когда он скрадывался туманом взрослых метаний и передвижений, я начинала преследовать его.

Вот так: уже смеркается, я неспешно еду вдоль реки, и я — это «он». От дальних холмов идет скрытое, за день набранное тепло солнечного дня, время близится к началу осени, и из среды сосен, стоящих поодаль, вверх, к полумесяцу чистого неба тянется горьковатый дым хвойного настоя, и вкус его — вкус вольницы, когда никто ничем никому не обязан, не связан памятью, не помнит обещаний. Скоро я спешусь и разведу костер. Тогда на углях, в струистой сладкой и взблескивающей полутьме, которую рождает дым, зашипит влажная рыба — плод реки и огромного, не вмещающегося в рассказ дня.

Я сижу у костра и вижу, как внизу течет река, и слышу пофыркивание моего коня, большими губами забирающего мягкую траву вокруг. Я — это рыба, и конь, и берег, и все мили и вехи пройденного пути. Мне никогда не хотелось сочинять, что было дальше и что прежде само упоение миром и внутренней, бессловесной силой этого пространства и меня в нем было так велико, что придумывать историю было просто не нужно. История вся уже была здесь и сейчас. У меня хватало ума никогда не обвинять себя в романтизме и бесплодном фантазировании — за этими словами мы большей частью скрываем самые важные и живые озера и острова души, потому что безумно стыдимся самого ее существования, а значит, и ее лесов, и пустынь, и всех этих детских стран, которые мы носим в себе в тайне от неприглядной действительности.

Всадник и рыболов жил во мне даже, когда мне самой жить уже совсем было нельзя. Он сидел у костра и ни о чем не думал, слушая, как

шипит рыба и потрескивает на огне рассыпавшаяся чешуя: у него были свои представления о том, что такое жизнь, и я, при всем желании, не могла ему помешать. Он никому не мог причинить вреда, потому что был заодно с миром, и даже просто был самим миром во всей его текучести и безмятежности. И когда он был занят слушанием, не эту ли тишину выпитых рыб он слушал на берегу реки? Ведь она совсем не пугающая, эта тишина, она — знак того, что рыбы ходят под водой, просто их нелегко увидеть: ведь они — живые и стремительные. Вместо них мы почти всегда видим впалую воронку и рябь.

Так было с моим желанием свободы. Я чувствовала его во сне, когда добиралась до самого дна, но оно было слишком вертким для моих замедленных движений, так что я даже при всем желании не могла его увидеть: прольется вода, вскинутся вдруг пышные, мгновенно распустившиеся ветви прежде зимних деревьев — и снова пустота. Мне никогда не снился всадник. Он был от меня слишком далеко, но наяву: чистя рыбу возле палатки на озере Селигер или вспоминая деревню моего детства, я думала о нем, и у меня было такое чувство, как будто я помню о нем каждую минуту, — просто слишком часто забываю себя, а не его.

В детстве мы по-своему искали рыбу. Она водилась в прудах, возле разрушенных изб. Когда-то почти у каждого дома был свой пруд, но после войны дома обветшали, хозяева умерли или уехали, а зеленоватые, с запекшейся мягкой ряской по краям пруды остались. Они были неглубоки, и брать воду для питья из них не стоило, но вот караси там водились в изобилии, и мы с братом охотились на них по вечерам. Я до сих пор помню, как в ячейках садка натягивалась тонкая пленка воды, готовая лопнуть, едва встряхнешь сетку. Искусство ловить карасей было непростым, и надо было заранее запасаться трехлитровой банкой для пленных рыб, длинной палкой, к которой прикреплялся садок, и резиновыми сапогами.

Брат мой был из тех, кто, единожды воспылав какой-то страстью, просто не может уняться до тех пор, пока не исчерпает желание до дна, поэтому набеги на карасей он обставлял со всей торжественностью неофита. Его мучил и до изнеможения вдохновлял сам процесс ловли, а к трофеям в виде мелких, с красноватыми плавниками карасей он относился как-то сумрачно, рассаживая их по банкам и выставляя на холод — в сени. Иногда эти караси у него протухали, и под вопли взрослого населения дома, уставшего в поисках молока или вчерашних макарон с тушенкой натыкаться на банки с тухлыми, всплывшими рыбами, они выбрасывались вон, в помойную яму на заднем дворе. Если же караси по непонятной причине плодились и размножались в очередной банке, то мы, ликуя. тащили их на другой пруд, на окраине деревни, и там выпускали. Видимо, мы считали, что таким образом увеличим наш будущий улов и спасем окружающую среду от вымирания.

Когда в деревне Власово караси почему-то начали сходить на нет, мы вознамерились продолжить охоту в соседней деревне. Деревней ее, как и нашу, называли почти условно: всего там уцелела пара домов, да

и то в одном никто не жил; зато в другом обитали баба Дуся, пес Путя и племянник бабы Дуси, человек непростой судьбы по имени дядя Саша Голубев. К бабе Дусе мы ходили за молоком, — у нее была корова, которую она очень любила и иначе как матерно к ней не обращалась. Дядя Саша был электриком и по совместительству работал пастухом в главной деревне района, Турилове. По сравнению с бабой Дусей он казался аристократическим и даже почему-то эрудированным. У него были острые светлые глаза на очень темном от непогоды лице, и давным-давно, до нашего рождения, он читал древнеримскую поэзию и Есенина. Мы его побаивались.

К тете Дусе мы ходить любили, — наверное, потому что два с лишним километра до ее деревни Крутицы мы проходили легко, погромыхивая бидоном, перепрыгивая через мелкие, полные древних сморщенных листьев овраги, веселя друг друга наспех придуманными стихами-переделками советских песен и разговорами о том, сколько карасей нам удастся выловить из пруда на этот раз. Мое отношение к карасям было, скорее, нежного и безобидного свойства: я брала в руки сложенный, истекающий водой садок и старалась нащупать верткие, толстые тела, пахнувшие тиной и волей заповедной, молчаливой жизни. Мне нравилось перекладывать их в банку, хотя тут же становилось жалко бедняг, лишившихся своего дома по нашей прихоти.

Вскоре брату надоело тратить время на эти ежедневные походы: лампочка внутри у него как-то враз перегорела, и рыболовный запал прошел. Последних карасей мы отнесли к реке и вылили в воду. Они, похоже, сначала не поняли, что обречены на свободу, но через секунду, виляя всей мелкой, трепетной плотью, начали вбуравливаться в глубь, пробуя новую, неизвестную жизнь. Мне было жалко с ними прощаться. Не то чтобы мне хотелось созерцать их в банке, просто наши путешествия к тете Дусе, к ее тинистому, темному пруду, в котором отражались редкие березы, были для меня сладким довеском бытия, не нуждавшегося в осмыслении. Оно было здесь и сейчас, и его многоразличные формы творились тут же, сию секунду, и не требовали с моей стороны никаких усилий.

Отчасти такое происходит во сне, когда тебе не приходит в голову, что его события можно лепить и изменять: они есть, и эта единственная реальность возлюбляется по ходу дела. Я любила то, что происходило там, в деревне, как я теперь понимаю, очень сильной и нерассуждавшей любовью. Эта отметина любви перекочевала позже в сновиденную жизнь, и деревня стала тем местом, из которого черпаются силы или печаль, — со временем она стала сердцем мира, потому что во сне она стала мной. Мое собственное сердце рыбой ушло под воду реки Шача, мимо которой под вечер проезжает всадник. Следом за ним бежит собака. Она с радостью внюхивается в сырой, богатый зеленью воздух. Я знаю, что всадник скоро спешится, и лов будет удачным. Всю жизнь я надеюсь, что тихое дно, где рыбы выпиты и молчание полновесно, все-таки подарит ему одну-единственную рыбу — тайную свободу, которая зреет внутри человека, как мальки в глухой воде.

4. Иван

Это была большая каштановая бабочка. Она застыла, распластавшись по темному дереву двери. Ее крылья не двигались, они, все будто обсыпанные коричневой, тонкой мукой, лежали ровно и осмысленно. Она казалась узором, вырезанным умелым мастером, решившим позабавиться, — в самом деле, в переполненном шумами высокогорном городе, прохладном и неуютном, никаких бабочек я не видела. Дремотная тропическая прелесть ее не вязалась с голосом портеро внизу, с одинаковой безликостью дверей. Мне оставалось только дотронуться до замка; ключ звякнул, и страшное в своей неподвижности диво дрогнуло и медленно отлепилось от двери. Прянув мне в лицо, она, словно выполнив неясное, но неотложное дело, еще раз взмахнула крыльями и влетела в щель уже раскрытой двери. Я не успела еще войти, но уловила ее теневое перемещение вдоль стены, и потом по стеклу распахнутого узкого окна она пробежала и пропала в сером воздухе Боготы.

Мне больше ничего не оставалось, как снять куртку, бросить ее на стул и самой усесться, и зажечь сигарету, и смотреть на окно, куда она бросилась, как в пропасть, и куда бы во сне за ней спрыгнула и я, но все произошло наяву... Можно было, конечно, подождать до ночи, чтобы проверить, куда она полетела, но сны меня часто подводили. Так что все мне на секунду представилось бессмысленным и бездарным, — как будто рисуешь гору и один ее склон сбегает криво и неумело, и оттого вся картина становится пародией на детский, яркий рисунок, попыткой превратиться в фонтан, но вода уже лет сто не желает бить из каменной раковины: все впустую.

Я как раз и не могла закончить этот рисунок. Картина, где дальние горы извергали разноцветное сияние, небо алело и переливалось всеми красками вплоть до черной, а в пещерах гнездились длинные, похожие на высохших ящериц драконы, мне не нравилась. В ней не было той жизни, которая застыла в этой бабочке, явившейся так некстати, в жестком и тяжелом ветре, перед дождем налетавшем на желтые, скучные дома и угол церкви Санта-Моника — кирпичной, с выщерблинами, с украшенным железными решетками порталом. В жизни Санта-фе-де-Боготы не было ничего радостного, но она просто существовала, а моя картина расслаивалась на фрагменты, и можно было до бесконечности рисовать эти горы на заднем плане и камни на земле, где нет источников и рек.

Иногда одиночество здесь, в городе, лишенном смысла, делалось таким же долгим, как моя картина. Занятия в Университете Ла Хаверьяна уже кончились, ливни по ночам не давали спокойно уснуть: воздух так быстро отсыревал, что простыни и одеяло вместо блаженного тепла окутывали тело зябким, влажным коконом. Не было ни батарей, ни камина, чтобы согреться, приходилось вставать, греть кофе на кухне, где кафельный пол, такой же щербатый, как стены Санта-Моники, холодил ноги, пахло стираным бельем и было слышно, как внизу, в подвале, какой-то

поздний жилец неловко управляется со стиральной машиной: она то взвизгивала, то утробно фырчала, и этот звук был жалобным, сиротским, запуганным.

Мой кот Глен, названный в честь Глена Гульда одним из моих хаверьяновских приятелей-музыкантов, умудрялся за ночь превратить кухню в подобие зверинца — того таинственного места в закулисной жизни цирка, куда допускаются только избранные. Из своей коробки с песком он неаккуратно выгребал мокрый песок, перемешанный с кусочками испражнений, и гонял по кухне эти малоаппетитные шарики.

Когда в сырую ночь пахнет котами и под ногами похрустывает песок, забываются все трогательные мелочи боготинского быта — кофейня на 47-й улице, где по стенам висят древние плакаты годов этак пятидесятых, стойка, поблескивающая в полумраке, вся в подтеках и пятнах... Так они похожи на вязкий, желеобразный туман, который виснет по вечерам в городе, когда наступает эпоха дождей и ветров. Бездомные дети жмутся возле завешанных витрин магазинов, изредка, деловито поигрывая лапами, протрусит тощая собака, — все темно и неприютно, котов в городе нет. Только Глен. Его мне притащили в жестком, пропыленном мешке. Притащил бывалый собачник, подторговывающий на углу авениды Каракас. Он так долго удивлялся, что я не хочу щенка... «Кот?» — переспрашивал он, щурясь на меня не по-доброму, — Котов у нас в Боготе нету». Назавтра он сыскал одного. Это и был Глен. Он был похож на маленькую, вялую грушу, лапы болтались вдоль конусообразного живота. Глен невнимательно посмотрел на меня и отвернулся. Видимо, он знал, что в Боготе коты на вес золота.

Ночью в самый разгар дождя в городе сыро и знобит каждого третьего, — жители колумбийской столицы кутаются в руаны, наваливают поверх одеял шерстяные шали: простыни мокрые, подушки липнут к щекам. В тучах ходит низкая, тоже отсыревшая луна, прижимается лицом к стеклам. Тоска собачья... Или кошачья: ведь Глен снова возится на кухне, подбрасывает вверх свои шарики, роется в песке. В Кайседонии луна не такая: она похожа на белое блюдо с недоеденным фасолевым соусом. Она важно молчит над террасой, на крыше дома доньи Элены, матери Ивана. Когда мы впервые поднялись наверх полюбоваться небом, то есть я — полюбоваться, а Иван за компанию, он долго молчал, никак не реагируя на мои восторги, а потом произнес:

Какая большая луна...
Огромная, как в кино...

Я поглядела на Ивана сверху вниз, потому что он мне не доставал до плеча, — ростом он не вышел, — и приготовилась мило улыбнуться, но тут Иван сделал глубокий вдох и сказал:

Вот если она сейчас упадет —
Весь мир превратится в г...

Потом он засмеялся. Я тоже. Эта незамысловатая шутка меня умилила, — Ивану было на тот момент сорок два года, он был одиноким и

неспокойным. Я подумала, что он решил развлечь иностранку подростковой присказкой — это было как-то симпатично, хотя и глуповато.

Так вот мы с Иваном обрели почву под ногами — зыбкую почву, потому что, стараниями доньи Элены и ее старших сыновей, я знала, что он болен. Его болезнь мне представлялась довольно-таки загадочной: она выражалась в том, что Иван не работал. Он не мог работать даже дома. Он ничего поэтому не делал. Точнее, не совсем так: он все время что-то замышлял. В этом, как говорили, тоже была повинна его странная болезнь. На моей памяти Иван с экстазом обсуждал производство мочалок: он собирался открыть мочальную фабрику, — но не успела я в это поверить, он переключился на шитье льняных рубашек. Затем последовало суматошное изготовление мебели из бамбука — правда, была сконструирована только одна нога (от стула или стола, установить было нельзя, — сам Иван забыл, для чего она), и Эулалия, домработница доньи Элены, мешала ею булькающее белье в чане, когда кипятила простыни.

Иван мне казался страдальцем, но страдальцем яростным и неукротимым. В нем, как в чане с бельем, булькало что-то огненное, убегало через край что-то живое, как молоко или опара. Его комната в конце коридора сильно смахивала на гостиничный номер: там стояла узкая кровать и тумбочка, на письменном столе лежали пыльные журналы: это Иван собирался разводить шампиньоны и покупал материалы по грибоводству... Прошло уже пять лет, идея эта пришла в негодность, как и все прочие идеи Ивана, а журналы все копили пыль и влагу, так что сами уже незаметно поросли пушком, похожим по форме на грибы.

Я часто думала, что сюжет — вещь неуловимая и дикая, он сыплется сквозь пальцы и не дается слишком ретивому искателю дивных историй. Сюжет лезет из изнутри сам, он бродит и бормочет, похожий на проснувшуюся хризалиду, которой пришло время вылупляться: она мокрая, лезет куда-то, ее крылья напоминают смятую промокашку, покрытую кляксами... Она лезет и знает, что лезть нужно. В этом смысле Иван был похож на сюжет.

Я думала об этом, когда мы вместе подсчитывали, сколько яиц могут снести сорок несушек за месяц: Иван загорелся идеей открыть в Кайседонии прямо на дому небольшое куриное хозяйство. Потом он сказал, что инкубатор лучше, потому что его не нужно кормить и грязи не так много. Он склонился над листом бумаги, вычерчивая схему будущего инкубатора, и я подумала, что воля к жизни — вещь не менее непонятная, чем сюжет: кто может подсчитать, сколько у нее путей и какие формы она принимает по дороге? Но тут Иван сказал, что куриные яйца напоминают ему тупоголовых, туго спеленутых младенцев, и что возни с ними не меньше, чем с грудными. Он перечеркнул схему и скомкал лист. Когда-то Иван был женат и жил в Эквадоре с семьей, но не желал вспоминать об этом.

Донья Элена, похоже, не любила Ивана. Точнее, она его жалела, но у колумбийских женщин, в отличие от русских баб, это не одно то же. К

тому же она приходилась ему матерью. Ко всему прочему, у нее было еще семеро детей. Иван был средним. А значит, самым глупым. Или самым несчастным.

Я набрасывала гору на заднем плане и размышляла о доме доньи Элены. У нее всегда были поджаты губы. И намазаны розовой помадой. Ее глаза нежно улыбались, но эти губы меня смущали. Над ее постелью висело огромное распятие. Она принимала визиты каждый день и щедро их отдавала. Иван жил на ее деньги, потому что его воздушные проекты никогда не окупались, даже если, как в случае с бонсаями, он продвигался настолько, чтобы продать пару своих изделий: он полгода назад накупил горшков, натыкал в них растений и долгими вечерами творил в каждом горшке изысканные царства гор, водопадов и садов. Он был весь перепачкан землей, и гости доньи Элены (как правило, это были чада и домочадцы ее сыновей и старшей дочери Аны) обходили его стороной и шушукались в гостиной.

У себя на втором этаже Иван устроил мастерскую,, — он даже съездил за город и накопал в Андах пестрых камней и папоротников; он купил длинный кожаный фартук. Дон Карлос, толстый муж Аны, весельчак-адвокат, убеждал народ, что Иван записался в масоны. Самое удивительное было то, что бонсаи Ивана были красивыми. Они были очень японскими и как будто плавали в воздухе. Они были похожи на крошечные сады духа, и хотелось уменьшиться, чтобы посидеть у подножья горы, напоминавшей глиняную чашку с росписью, и послушать, как легко всхлипывает вода в обрамленьи красной глины и сердцевидных камней. Один из них донья Элена поставила на стол в гостиной. Гора Ивана вызывала недоуменное восхищение гостей. Когда они восторгались, было почти слышно, как они думают: «Надо же, такой никчемный, а тоже может хоть что-то. Надо его похвалить». И они хвалили Ивана, правда, потом, когда он уходил, они между собой смеялись и говорили, что братец занялся бабьим делом — украшательством. «Ну, — вздыхала донья Элена, поджимая губы, — по крайней мере, он не бездельничает. А какая красота, вы поглядите!» Все скорбно кивали, и кто-то, забывшись, стряхивал в бонсай пепел, плавно поводя сигаретой.

Рисуя гору, я представляла себе этот бонсай Ивана в гостиной и пыталась припомнить очертания его горы. В окне ощущалось Рождество: тусклые огни Боготы вдруг затмевались взблеском далекой иллюминации, изумрудных и оранжевых яблок, опутывавших деревья и торговые центры грузными сетями. «Нет снега, — подумала я, — а в тумане эти огоньки приводят на мысль штормовое море и брезжущий берег, — все потому, что нет белого сопровождения». Мне захотелось позвонить Ивану и сказать ему, что я хочу приехать на несколько дней в Кайседонию — побродить с ним по кофеюшникам, посидеть на террасе, на крыше: там он устроил домашнюю обсерваторию. Брат Хайме подарил ему старый телескоп, у которого была одна особенность — он не показывал луну, зато очень ловко умудрялся приближать окна соседей и их не слишком-то завлекательную жизнь. Мы с Иваном изучили окна

аптекаря и грузной старушки Ноэми, большой приятельницы доньи Элены, с помпой навещавшей ее по четвергам.

Оставалось еще одно, очень важное окно — даже не окно, а целый застекленный этаж невысокого белого дома: там иногда ходила светлая тень какой-то женщины, сквозь редкие, сквозные занавеси мы углядели край стола и ее быстрые руки; они что-то лепили или месили: может быть, тесто или замазку для рамы. Иван наводил телескоп на ее обиталище, потом, чтобы я не подумала чего, быстро перескакивал на пальмовые кроны на площади, — они мотались под ночным ветром и шуршали так, что было слышно даже на нашей крыше.

В этом году, в январе, Ивану исполнялось сорок три. Когда-то, когда он еще учился в Барселоне на физика, он любил конструировать всякие безумные приборы, вроде утюга на колесиках, который гладил сам (все время одно и то же место), или водяной пепельницы, гасящей окурки тонкой нитяной струей, вибрирующей, стоило только нажать скрытую кнопку. Теперь Иван не придумывал никаких таких замысловатых штук, но телескоп его радовал. Я думаю, глядя в стеклышко, он видел уже не окна соседей и не пальмы, а что-нибудь третье: балкон в Барселоне или влажную землю в горах после дождя, я не знаю.

Зато я знала, что он не спит до двух, но боялась побеспокоить звонком донью Элену: она вставала к ранней мессе и ее не стоило будить. Тем более что Иван сам пригласить меня не мог: он, как известно, не имел права голоса в доме. И все-таки я позвонила. Иван действительно не спал. Он, наверно, курил в гостиной, он всегда там сидел по ночам — пил остывший кофе, читал, — все тихо-тихо, чтобы не тревожить донью Элену и Эулалию. Это было бесполезно: донья Элена по утрам жаловалась на него своей домработнице, днем она жаловалась дочери Ане, а вечером кому-нибудь из гостей. «Опять прокурил все насквозь, — говорила она громким шепотом, кивая в сторону Ивановой комнаты, — завел привычку по ночам дымить, от безделья, делать-то нечего».

«С бонсаями покончено, — сказал Иван, как только я подала голос, — я выкинул все камни, никто не хочет покупать». «Я хочу приехать к вам, — сказала я, — не одна. Мне не с кем оставить Глена». «Мама будет рада, — дипломатично сказал он, — я завтра ей скажу. Уже сегодня». «Ты уверен, что можно с Гленом?» — спросила я осторожно. «Можно, — сказал он, — она как раз говорила на днях, что скучно в доме без зверей». «Жаль, что ты бросил бонсаи, — сказала я, — у тебя здорово получалось». «Хайме женится, знаешь? — сказал Иван, — Мама очень волнуется». «Почему?» — спросила я. «Она плохо знакома с Патрисией, — сказал Иван, — боится за Хайме». Я не стала уточнять, чего именно боится донья Элена. «Я приеду послезавтра», — сказала я. «Доброй ночи, Надия», — сказал Иван.

Так я впервые увидела Ивана за весьма необычным занятием. Вечером, как только Глен был выпущен из коробки, в которой прибыл в Кайседонию, и донья Элена подробно расспросила меня об университете святого Ксаверия, Иван сел в кресло напротив мокрого балкона и

под звон и шорох дождя невыразительным голосом сказал: «Христос, приходи скорее, скорей приходи, не медли».

Я не успела удивиться, потому что в это время донья Элена со своего места возле телевизора негромко произнесла первые строки девяностого псалма. Она дочитала его до конца, так, как будто молола кофе или вышивала мелкими стежками, и сын ее Иван снова ответил ей из кресла: «Христос, приходи скорее...» Его лицо было очень серьезно, но я заметила, что глаза у него подернулись туманом — как улицы Боготы, которые поневоле готовятся к Рождеству, но в закоулках никакого Рождества нет и быть не может. На журнальном столе, на железной подставке плавились три маленьких свечи. Эулалия вышла из кухни послушать. Целых полчаса Иван повторял свой призыв, а донья Элена отвечала ему настойчивым бормотанием. Я села в сторонке и погладила одного из картонных верблюдов цвета пустыни, глядя, как сквозь розовые ясли мерцает и дергается отблеск свечей: младенец Христос, пластмассовый, белый и важный, лежал в колыбели, и плоская, пестро раскрашенная фигурка Марии от ветра, долетавшего с балкона, то клонилась над ним, то откидывалась назад.

Когда мы поднялись на террасу, Иван сразу принялся подкручивать телескоп. В зеркальном доме через крыши напротив двигалась прекрасная и неизвестная тень. «Это новенас, — сказал Иван, глядя в трубу, — девять дней читают перед Рождеством». «Значит, сегодня предпоследний», — сказала я, закуривая. «Да», — сказал он очень серьезно, и по его тону я поняла, что он не знает, что еще сказать.

Он все крутил какой-то расшатавшийся винт, потом принялся устанавливать трубу вровень с зазеркальем второго этажа облюбованного дома. «Она приехала полгода назад, — сказал он, обращаясь к трубе, — а мы до сих пор не знаем, как ее зовут». Я поняла, о ком речь. «Ну и узнал бы, — сказала я, — небось, всем в городе это уже известно, кроме тебя». «А зачем?» — сказал Иван, в первый раз за все время поглядев на меня настороженно. «Ну, я не знаю, — сказала я смущенно, — ты же хочешь узнать». «Нет, — сказал он, — мне просто интересно, чем она занимается по вечерам, как будто что-то готовит... размешивает... мнет...» Он задумался и примолк. В нем была странная, почти неуловимая важность, не допускавшая никакой фамильярности, никаких задушевных излияний.

Я еще раз посмотрела на его круглое, немного одутловатое лицо. У него были карие глаза, но их цвет мне казался притушенным; его лицо мне очень напоминало гостиную внизу: горят только свечи, комнату в полутьме и не разглядишь. Может, там, в углу, стоит старинное кресло или ломберный стол, или ваза с цветами... Ничего не видно.

«Дон Иван, — громко крикнула Эулалия снизу, — спускайтесь, Хайме приехал!» Дон Иван оторвался от телескопа и медленно пошел вниз.

Иван действительно был Иваном, а не Хуаном, как я вначале думала. Я почему-то решила, что Иваном его зовут в шутку: его младший брат Фернандо когда-то учился в Москве, вот и привез оттуда имя. Но оказалось, что донья Элена назвала его так, потому что это было модно

в то время: собак в Латинской Америке называли Лайками, девочек Ольгами, а младенцев мужеского пола — Иванами. «Дон Иван» звучало диковато, но мне нравилось: в отличие от пакостного дона Хуана Тенорио де Мараньи в этом имени крылось что-то глупое и трогательное.

Я спустилась следом за Иваном в гостиную. Хайме приветствовал нас церемонно и звучно, Патрисия из кресел подала мне руку. Она выглядела хорошо воспитанной полненькой девочкой, которую впервые привезли к незнакомым людям, и она осматривается, выбирает кого-нибудь наименее страшного, чтобы оттаять и поболтать. Наименее страшным из всех был Иван, но он был не очень разговорчив. Он уселся возле стола и зажег сигарету. Хайме сел рядом.

Когда я смотрела на них обоих вот так, с близкого расстояния, а они сидели вместе, как шампиньоны, о которых когда-то мечтал Иван, мне становилось жалко Ивана. Хайме был красавцем. Он был тоже небольшого роста, но его зеленые глаза завлекательно сияли, а тонкие руки все время плавно двигались туда-сюда, демонстрируя окружающим хрупкие смуглые запястья и точеные пальцы. Он был музыкантом и работал в городе Армения неподалеку от Кайседонии, какие-то два часа езды. Бабы крутились вокруг него, как мальки вокруг накрошенного в воду хлеба. Он знал себе цену. Я не сомневалась, что Патрисия не выйдет за него замуж. Его невесты надолго не задерживались. Я была знакома с двумя предыдущими, а они были не хуже Патрисии. Одна была просто красотка записная, другая тоже ничего.

Бедный Иван на его фоне казался неудачной фотографией полноватого, неуверенного в себе подростка. У него был слишком серьезный взгляд, слишком короткие руки и отекшие щеки. Наверное, он много спал. Не знаю, правда, как это ему удавалось: ведь ночи он проводил в гостиной. Бог его знает.

Пришел Фернандо, потом Ана с детьми; началась неразбериха и суета. Старший сын Аны, разбойник Сантьяго, с воем пытался выковырять Глена из-под плиты, куда тот предусмотрительно залез на всякий случай. Донья Элена шипела на Эвлалию, которая не удосужилась вынести Глена в патио, чтобы дети не хулиганили: кот был новостью, и имя у него было странное — Глет, потому что никто из домашних не мог выговорить его истинное прозвище, кроме Хайме, которому не было никакого дела до этого кота и всех котов мира вместе взятых. Патрисия рассматривала семейный альбом. Я разговаривала с Хайме о музыке: надо же было о чем-то разговаривать. «Пойдем на террасу, очень жарко, — сказал Хайме, потягиваясь. — просто нечем дышать». Он произнес эту простую фразу так, как будто приглашал меня в постель сию же минуту. В этом был повинен его медленный звучный голос с оттяжкой. Я знала, он его специально тренировал, даже занимался вокалом, чтобы звук был гуще. Патрисия теперь беседовала с доньей Эленой, она кивнула нам и улыбнулась Хайме.

На террасе заброшенный в суматохе телескоп Ивана клевал носом: Иван все-таки не успел подкрутить что-то там, и труба смотрела в ка-

менный пол. Иван расставил стулья. Вообще-то это его поведение меня удивило, — он не любил ничего делать сам, он был немного барственным, хотя непонятно, с чего. «Ты все еще поешь?» — спросила я Хайме. «Нет, — сказал он, — уже хватит. Голос и так красивый. Послушай». Он протяжно произнес две строки Леона де Грейфа. Там было про какую-то бабу, разумеется. Про любовь. «Здорово, — сказала я, — и глаза и голос — все при тебе». «Ну да, — сказал он, — остались только руки». «Что руки?» — не поняла я. «Руки мне обещает вылепить одна девица», — сказал он.

Я решила, что неправильно поняла глагол. «Что она тебе обещала?» — спросила я, нагибаясь к нему. «Вылепить», — спокойно сказал он. Иван искоса поглядел на брата. Возможно, он подумал, что брат хочет составить ему компанию, — а то Иван был единственным больным на всю семью. Хайме засмеялся. «Ну, ее зовут Марта Лусия, она сама из Армении, занимается керамикой. Делает фигурки из глины, статуи там, чашки...» — стал он объяснять. «Она живет вон там», — неожиданно сказал Иван, указывая на зеркальный, скромно освещенный дом.

Хайме улыбнулся, глядя на него. «Она сирота, но зато у нее есть богатый дядя, — сказал он задумчиво, — он ей купил этот дом». «А почему руку?» — спросила я его. «Ей нравятся мои руки, — сказал он, — это очень мило с ее стороны. Вот только она сама не нравится мне. Не знаю, почему...» Иван отошел от нас и достал сигареты. «А зачем ей все-таки твоя рука?» — не унималась я. «Наверное, ей хочется, чтобы я предложил ей руку и сердце, — сказал Хайме весело, — пусть хоть гипсовые или глиняные...» «Скоро она захочет отлить твое сердце из бронзы, — сказала я насмешливо, — потому что глина явно слишком уж мягкая для этого». Хайме мелодично засмеялся. Иван сказал, раскуривая сигарету: «Ты хочешь к ней пойти?» Его голос мелодичностью не отличался. «Да, завтра, — сказал Хайме, — завтра сжигают старый год, вечером мы с Патрисией идем смотреть, а днем...» «А куда ты денешь Патрисию?» — поинтересовалась я. «Мама найдет ей применение в хозяйстве, — ответил он, созерцая усталый телескоп, — хочешь, пойдем со мной. Марта Люсия очень симпатичная, только некрасивая». «Я тоже хотел бы... — сказал Иван издали. — То есть не то, что хотел бы... Но завтра у меня свободный день...» Хайме снова засмеялся. «А остальные, значит, заняты», — сказал он. Я укоризненно посмотрела на него. «Зачем она понадобилась Ивану?» — спросил он шепотом. «Ты же сам сказал только что, — сказала я, — ему надо чем-то заняться». «Я это не имел в виду, — сказал он. — Ладно, пусть идет».

Утром начались приготовления к празднику. Запахло зелеными помидорами и луком. Эулалия мыла чан, в котором должна была готовиться натилья — сладкое. Глен, поняв, что злой Сантьяго ушел еще вчера, путался под ногами и просил свинины. Фернандо облил его агвардьенте, он весь слипся и отправился мыться на террасу. Иван сидел в гостиной и ничего не делал. Точнее, он ждал. Я тоже. Мне было любопытно, что это за Марта Люсия такая: живет одна, почти ни с кем не общается... Керамика... Как-то нетипично. Очень подходит Ивану.

Патрисия с доньей Эленой отправились за пирожными и специями. Хайме был прав. В два часа мы все трое пересекли пальмовую площадь и вступили в зазеркалье.

В доме было очень тихо. Так тихо, что я не сразу разглядела хозяйку. Она открыла нам дверь и стояла на пороге. Она не была некрасивая, она была просто нездешняя. Не из Колумбии, не из Армении, не из Латинской Америки. Ее можно было просто не заметить, потому что она неслышно двигалась и неслышно смотрела. Волосы у нее тоже были очень светлые и легкие, глаза серые или серо-голубые. Она напомнила мне кого-то из России, кого-то из моей ранней юности, но этот кто-то был исподтишка стерт хитроватой памятью. А может, его просто никогда и не было. Через много лет, подумала я, я встречу кого-то, кто напомнит мне Марту Лусию, но я ее не смогу вспомнить и скажу себе: «Эта женщина напоминает мне кого-то, вроде в Колумбии жил кто-то похожий...» И не вспомню. Такой была Марта Люсия. Она мне сразу показалась очень близкой. Руки у нее были в глине.

Мы прошли в дом. Мое предчувствие сбылось наполовину: я не могу вспомнить, о чем мы говорили. Помню, она показывала нам круглую коричневую печь для обжига глины, на полках стояли темные кувшины с блестящими, лаковыми боками, стол, узкий и непокрытый, был завален брусками глины, и лежали краски в ячейках, невымытые кисти. Пахло вкусным несъедобным тестом. К Рождеству она никак не готовилась. Я посмотрела на Ивана, он уселся на низкий соломенный стул в углу и молчал. Хайме пытался пригасить свой обворожительный голос, но безуспешно, и теплые его модуляции плавали над столом, пока хозяйка укладывала его руку поудобнее, чтобы сделать форму. В этой девушке не было никакого заискиванья, если бы Хайме не сказал, что она хочет за него замуж, мне бы и в голову не пришло такое, — она была такая свежая, как облако, и у нее на рубашке лежала маленькая глиняная бабочка, вся в узорах и лазоревых глазках. Бабочка меня пленила: она была сделана из ничего, из глины и праха, но ее коричневые крылья вздрагивали, она мне напомнила наш разговор о сердце из бронзы. Только это сердце было другим — оно высунулось наружу и дрожало, потому что было живым. Глиняным.

Форма застывала, Хайме сдержанно благодарил хозяйку, Иван молчал. Чтобы скрасить это безмолвие, я спросила, продает ли Марта Люсия бабочек. Вот таких. «Их очень много, — сказала она, — я их делала на заказ, для магазина в Кали, но что-то они опять молчат... Похоже, с бабочками я перестаралась. Они возле печи, на полке». Мы все вышли из мастерской и направились в первую комнату. Там на широкой полке едва умещались крылья и усики. Полка напоминала деревянный цветок. Все эти бабочки дрожали, потому что мимо дома, по площади, проезжали мотоциклы и машины, но звук скрадывали белые плотные шторы, а стены чуть-чуть вздрагивали, и с этим ничего нельзя было поделать. Я выбрала себе голубоватую с черным ночницу. С испода к ней была приклеена крошечная английская булавка. Хайме купил какого-

то божка, — я подозреваю, в подарок Патрисии. Но об этом он распространяться не стал.

Иван не купил ничего, просто потому, что у него явно не было денег. Пора было возвращаться домой: Патрисия могла заподозрить измену. Я наспех прихватила еще одну бабочку, покрытую бархатистой, каштановой краской. Мне пришло в голову презентовать ее Ивану, но я не была уверена, что это хорошая идея. Он мог решить, что я его пожалела. Да и потом — куда он ее денет, будет ее надевать по торжественным дням вместо галстука?

Как мы прощались, я снова не помню. Я почти не замечала легкой хозяйки, которая провожала нас. От нее веяло свежим, нежным одиночеством, даже не одиночеством, а одинокостью, как будто она и не рассчитывала на чужую доброту или симпатию и жила по ту сторону. Ну да, по ту сторону зеркала. Все-таки я до сих пор ее помню, она не растворилась во времени, а осталась, где и пребывала до того, — в молчаливом доме, за шторами, сквозь щель можно было увидеть руки, месящие нагревшуюся глину, и все. Она была подходящей луной для телескопа — такая же нетребовательная и отрешенная, как все эти хваленые светила. Только вот бабочки у нее получались не лунные, а солнечные, сдобные и покрытые словно шоколадной глазурью.

Весь этот день мне было очень жалко Ивана. Он сделался еще молчаливее, чем обычно, видимо, заразился от Марты Люсии. Подумав, я спрятала вторую бабочку в рюкзак: подарить кому-нибудь из боготинских приятелей.

Когда мы все пошли смотреть, как сжигают старый год, Иван отказался идти, — он сообщил мне, что устал, и заперся у себя.

Старый год сидел под деревом, под окнами каждого дома на окраине Кайседонии, — он, как правило, был сшит из дерюги, набит соломой и размалеван в зависимости от фантазии палачей, на голове у него лежало продавленное сомбреро или просто ничего не было. Он казался неуклюжим и одышливым перестарком, и глаза у него были грустными, собачьими. У одного из них вместо глаз были пришиты коричневые пуговицы. Он был маленького роста.

Костры горели в горах и по всей Кайседонии. Народ веселился.

А через неделю, накануне моего отъезда, произошло безумное, идиотское событие. Мы с Хайме и Патрисией возвращались с прогулки и уже подходили к дому, когда оттуда вылетел Фернандо с перекошенным лицом. От волнения он даже попытался поговорить со мной по-русски, чтобы на улице никто не понял, о чем это он, но, осознав, что его брат Хайме и растерянная Патрисия смотрят на него в ужасе, он перешел на испанский. «Ивана забрали в сумасшедший дом, — сказал он, сбиваясь, — он бросил в Ану фруктами».

Мы замерли. Ни у кого из нас не нашлось, что сказать. Я опомнилась первая, потому что горестная весть звучала на редкость бредово. «Какими фруктами?» — спросила я. «Почему в Ану?» — спросил Хайме. «Ана навещала маму, — сказал Фернандо. — Мама просила ее поговорить с

Иваном... Ну, чтобы он не курил по ночам, не спал днем... Мама очень устает от него... Он вышел из комнаты и стал кричать на Ану, чтобы она оставила его в покое... А потом схватил блюдо... Ну с апельсинами... И бросил в нее... Мама вызвала врачей...» Все это было так нелепо, что мы все как-то смутились. Хайме было неудобно перед Патрисией, он отошел с ней в сторонку и стал ей что-то тихо втолковывать. Я еще поговорила с Фернандо, но он сам больше ничего не знал. В больницу к Ивану не пускали. На следующий день мне пришлось уехать.

Я звонила в Кайседонию и общалась с доньей Эленой. Иногда подходила Ана. Иногда Мануэль, старший. Ивану лучше, говорили они, он пока в Кайседонии, но скоро его переведут в другое место — в горную больницу Гриландия. «Гренландия?» — я не могла понять, зачем, если ему лучше, переводить его куда-то. «Гриландия, — сказала Ана. — Там уход, питание... Только курить там нельзя». «Бедный Иван, — сказала я, — почему нельзя?» «Такие правила, — сказала Ана, — ему там будет спокойнее, и нам тоже».

Я никак не могла понять, что подвигло Ивана совершить такой дикий поступок. Мне трудно было представить, как он с пеной у рта кидается на Ану и запускает в нее блюдом. Мне просто невозможно было это представить. Ведь не сумасшедший же Иван в самом деле? А может, это в порядке вещей. Они все его замучили. Или он их?

Я навестила его через полгода. В этой Гриландии. Хайме ехал к нему, и мы договорились, что я составлю ему компанию. Мне хотелось видеть Ивана. Мы взбирались по горе под тропическим ливнем. Он был не теплый, а очень холодный. Я приметила скрившиеся сосны, темную глину. Машина Хайме лезла вверх по колеса в ледяной грязи. Было очень похоже на Гренландию. Через месяц я должна была возвращаться в Россию.

Гриландия была просто место. Деревня с белыми домами. Под дождем с них текла известка. На склоне мокла скорбная, неуютная церковь. Местные жители в резиновых плащах нудно показывали нам дорогу. Я не захватила сапоги и вся измазалась чем-то рыжим, вроде липкого песка. Нам отворили дырку в белой стене. Провели по асфальтовому двору.

Передо мной был зал свиданий. Его окружали красные каменные стены. Пол был выложен красной плиткой. Она блестела, потому что ливень ударялся об нее и подпрыгивал. Крыши не было. Она была дальше, если смотреть вглубь, она как-то проступала сквозь воду. А под дождем стояли столы. Видимо, водяные струи не мешали больным. Они прохаживались вдоль стен, их лица мелко тряслись, у кого-то язык свешивался изо рта, — или дождь искажал видимость? Хайме эта картина не испугала и не удивила. Возможно, он бывал здесь раньше. Обходя больных (нет, все-таки их лица чем-то настораживали, дождь был не виноват), мы прошли под крышу. Наш стол, обыкновенный, пластмассовый, как на террасе у доньи Элены, спасался от ливня под навесом, но и он был мокрым. Я села на край стула. От красной плитки отскакивали капли, и всюду текли ручьи.

Иван вышел к нам, он был самым обыкновенным Иваном. Почему-то он был в белой рубашке. «Сигареты у вас есть? — спросил он, садясь. — Вы мне одолжите? А то здесь почему-то запрещают». У него не вываливался язык, и лицо не дергалось. Было похоже, что мы в Кайседонии. Иван сказал, что он всем доволен. Он сказал, что кормят неплохо и музыку разрешают слушать. Хайме отдал ему две заготовленные кассеты Азнавура. Иван очень вежливо поблагодарил. Говорить ему, как всегда, не особенно хотелось. Хайме рассказывал ему, что донья Элена передает привет, что Фернандо уехал в США на стажировку, что сам он расстался с Патрисией. Иван кивал. Я сказала ему, что скоро уезжаю, и сунула в руку пачку сигарет. Он не то чтобы оживился, но произнес слово «спасибо» несколько раз. Хайме немного выдохся и замолчал. Иван не пытался поддерживать беседу. Хайме посмотрел на часы. Темнело здесь как в театре — быстро и в одно мгновение. «По такой размытой дороге трудно будет спускаться», — сказал Хайме. Иван ничего не сказал. Рождество прошло, и свечки у него в глазах не отражались. Комната, казалось, ушла в полумрак.

Мы уже совсем собирались уходить. Дождь накрапывал едва-едва, больные сидели за столами. К кому-то, наверное, тоже приехали родственники. Над столами люди склонялись друг к другу и неестественно бодро беседовали. В окнах под навесом загорелся свет. «Скоро ужин, — сказал Иван, — маме передавайте привет». «Подожди, — сказала я, — мне хочется прочесть тебе одно стихотворение. Вернее, его конец». Иван посмотрел на меня с вежливым нетерпением. Он спешил. «Только самый конец, — сказала я. — Я его прочту по-русски». Иван не удивился. Я прочла:

Нам в Кайседонию не попасть,
Город Армению не спасти,
Котов не слышать и снов не прясть,
Балкона не удержать в горсти.
Но в утешение будет нам
Лиловый запах, лимонный ствол,
Память, равная тканым снам,
В тот вечер, когда Сочельник расцвел
И пелись песни волхвам.

«Я понял два слова, — сказал Иван, — Кайседония и Армения». «Это здесь самое важное», — сказала я.

Бабочку Марты Люсии я обнаружила на дне рюкзака уже накануне отъезда. У нее отломился усик. Дарить ее было неловко, да и некому, так что пришлось выбросить. Иногда я думаю, что было бы хорошо, если бы я и впрямь прочла тогда конец своего стихотворения о том, как сжигают Старый год, и о том, как на Рождество нет снега. Ведь тогда Иван и в самом деле мог бы мне сказать, что он различил эти два имени — Кайседония и Армения, — а теперь я уже, наверно, никогда не узнаю, что он мог бы мне ответить.

5. Святая Роза Медведей, или Безумное странствие по колумбийской земле

— Ну, вот, — сказал Хорхе, — замечательно. Поедете на автобусе, билеты — без проблем, быстро, удобно, с телевизором...

— Ага, — кивнула я. Телевизор меня прельщал меньше всего: в автобусе всегда крутят дичайшую муть, и качество копий оставляет желать лучшего. Лучшего — то есть вообще без фильмов. Но колумбийский народ, хотя на словах и презирает gringos, почему-то обожает ихние кровожадные ленты.

Было семь часов вечера, медельинский terminal гудел и перекрикивался. Мы с Габриэлем, подхватив чемоданы, отправились садиться в обещанный автобус с телевизором. Разочарование ожидало нас, и какое! Места нам дали разные, — скажем так, не самые комфортабельные, одно у туалета (без окна, разумеется), а другое в глубине автобуса, рядом с какой-то шустрой молодящейся бабенкой. Мы предложили ей поменяться, но, — чего было ожидать, — она радостно сообщила нам, что едет в компании. И действительно, через проход на нас уставились такие же шустрые, как она, крепкие колумбийские бабы, нагруженные печеньем и лимонадом. Автобус тронулся. Соседка моя отдернула штору и на какое-то замечание своих сопутешественниц, что, дескать, хорошо бы поспать, громко объявила, что она «ночная орлица». Эта орлица меня несказанно позабавила, но компания отнеслась к этому заявлению довольно вяло, и я задремала. Но тут включили музыку. Песни эти, по временам напоминавшие неразборчивый крик истерзанных ослов, почему-то являются для путешествующих в автобусе неотъемлемой частью развлечения.

Перекрывая радостный гомон у меня за спиной, — это мужики, с карманами, набитыми бутылками агвардьенте, выражали свой восторг по поводу музыки, — хрипловатый голос оповестил, что фирма автобусов, которая рада приветствовать нас в утробе ее детища, чуть ли не лучшая в мире, что комфортный туалет (я вспомнила беднягу Габа) и мусорные корзинки, болтающиеся на веревочке у каждого сидения, — верх роскоши, что к услугам пассажиров — сказочный пейзаж за окном: «наслаждайтесь пейзажем» (это меня окончательно добило — за окном была сущая темень), — и, кроме того, если будет холодно, всем выдадут одеяла — руаны. Эти одеяла, уж не знаю отчего, несказанно развеселили народ. Все начали хохотать. К слову сказать, руаны и в самом деле были необходимы: включили кондиционер, и в автобусе стало холодно, как в Гренландии. Но тут, под оживший гомон пассажиров, из кабины водителя вынырнул мужик, прижимающий к груди ворох красных потертых руан, и началась раздача слонов. Моя «ночная орлица» тоже взяла себе руану и, укутав ею ноги, откинулась в кресле... В сон мой врывались всякие красивые любовные слова и жалобы на то, что кто-то кого-то бросил и разбил ему сердце. Это орала музыка. Водитель боялся заснуть и врубил ее на полную мощь.

Тут автобус остановился, и все, подбирая падающие руаны, бросились к выходу. Добравшись до Габа, я таки выяснила, что это большая остановка, минут сорок, и все обязаны немедленно выйти.

Холод стоял адский, пар валил изо рта. Протолкавшись сквозь массы, мы вошли в огромный неотапливаемый зал, набитый до отказа публикой, скамейками и мусором. У высоких прилавков бегали пассажиры и вопили: «Мне кофе, мне кока-колу!» Кто кого перекричит, тот и получит желаемое. Выбившиеся из сил продавцы совали в жадные окоченевшие руки пластиковые стаканчики с кофе и швыряли не глядя денежные бумажки в огромную коробку. Воздух был пропитан дымом и чадом: в зале полным-полно было маленьких жаровен, на которых изнывали жирные колбасы, куски мяса, масленые лепешки и Бог знает, что еще. Продавцы этих сокровищ голосили, как резаные, зазывая покупателей, — пар столбиком выходил у них изо рта. Над всем этим базаром, как сирена, заглушая вой колбасных продавцов, слышались пронзительные вопли: «Pan de queso, pan de queso (сырный хлеб, сырный хлеб)!»

Я, стараясь не выронить стаканчик с кофе, трясясь от лютого холода, вместе с Габом прокурсировала к одинокой, ледяной, как могила, скамейке. Сырных продавцов здесь было такое количество, что они не умещались в битком набитый зал и обосновывались на улице, вопя как оглашенные. «Они перевыполнили план», — сказал Габриэль. Тут за моей спиной, набирая силу, вновь раздался пронзительный призыв. Он повторился раз пятьдесят, пока чей-то голос, не выдержав сырного энтузиазма, не заорал в свою очередь: «Cállate tu maldita boca!» («Заткни хлебало!») Но крики продолжались, крепчая на холоде, и я, щурясь от смрадного дыма, принялась изучать местную публику. Больше всего меня поразила ее одежда. Скорее, нет, — больше всего меня потрясло то, как они были раздеты. Прямо передо мной на табуретке восседал мужичок в пляжных шортах и желтой маечке-расстегаечке. На голове у него находился козырек от солнца, изо рта клубами выходил пар, в дрожащих пальцах он сжимал, как мачете, свой стаканчик с горячим кофе и при этом весело болтал ногой.

«Бедный, не успел до пляжа доехать», — пожалела я его, но тут же спохватилась: мужичок это был отнюдь не единственным экземпляром пестрой коллекции колумбийских отдыхающих и тружеников, наводнявших помещение. Внимание мое привлек негр в теплой куртке с поднятым воротником. «Вот это молодец! — сказала я Габу, — одет по погоде». «А ты на ноги его посмотри», — посоветовал Габ. Из-под куртки у негра торчали две тонкие голые черные спички, наспех прикрытые красными шортами. Шлепанцы на ногах довершали его экзотический облик. «Слушай, как называется это место?» — в ужасе спросила я у Габриэля. «Это Святая Роза Медведей, — сказал Габ, передергиваясь. — Очень, очень высоко в горах». «Каких еще медведей?» — спросила я. «Медведей, — сказал Габриэль. — Так называется, а почему медведей, — я не знаю». «На медведей похоже, — ответила я, созерцая группу веселых негров в

трико и сапогах. — Они что, больные, — на таком холоде в таком отвлеченном виде?» «Я сам в первый раз такое вижу, — сказал Габриэль задумчиво — но вообще у нас такое бывает». Мы пошли погреться у сетки в конце зала. За этой сеткой пылал в железной печи чудовищный огонь. Я стояла и грелась. Подняв глаза, я обнаружила прямо перед собой нечто маленькое и темноголовое, с поблескивающими глазами, укутанное в некое отдаленное подобие руаны. Неожиданно нечто обратилось к Габриэлю: «Я, друг, хоть и сама самка, но такую белую самку, как эта, впервые вижу», — кивнуло на меня и пропало в толпе. «Слушай, Габ, почему она сказала "самка"?» — спросила я ошеломленно. «Поймешь их, — сказал Габриэль, пожимая плечами. — Медведи». Наконец Габ отправился на разведку, разузнать, что творится с автобусом. Вокруг меня, теряясь в едком дыму, то и дело обозначались чудные лица, более похожие на небритые морды, прикрытые соломенными сомбреро.

Тут затылком я ощутила чей-то пристальный взгляд. Я обернулась и — до чего колоритная фигура! — встретилась глазами с самым настоящим зверем. Может быть, оно было животным, но, слава Богу, я не успела узнать его покороче. Это был могучий и ... нет, вот тут и понадобится испанское слово «robusto», одновременно похожий на увесистый кочан капусты и испанский «roble», т. е. дуб. Даю словарный набор значений: 1) сильный, мощный, могучий; 2) прочный, крепкий; 3) твердый, стойкий, непоколебимый; 4) здоровый, крепкого сложения.

Так вот, это мужичина обладал всеми этими качествами сразу: он был мощный, могучий, крепкий, непоколебимый и здоровый, как бык. Причем на три головы выше окружающей его разношерстной среды. Обряжен он был со свойственным латиноамериканскому народу чудовищным кокетством мачо.

Огромное пестрое сомбреро, по форме напоминавшее блин, царило, — какой еще другой глагол я отыщу для этого дуба? — на его горделивой макушке. Кожаные сапоги доходили ему почти до бедер, немыслимой длины руана, наброшенная ему на плечи наподобие романтического плаща, чуть ли не стелилась по земле, а на поясе, широченном, как море, которого я еще не видела, раскачивалось гигантское мачете в чехле. Мне уже не помогала джинсовая куртка: где ей укрыть тебя от взоров голодных мачо и не менее зверского холода?

Мачо донимает сексуальный голод: ведь порнографии здесь нету, потому что Колумбия — католическая страна, и это из всех сил доказывает Дом Инквизиции в Картахене. Там тебе и виселица на заднем дворике, и дыба, и пыточные колеса, и весы для ведьм, и все, чего хочешь и не хочешь. А вот порнографии нет и не было. Зато вот ведьм взвешивали, и если ведьма весила больше, чем положено ей по закону (как у нынешних манекенщиц, у ведьм были свои стандарты, и им должно было соответствовать — для казни), ее тащили на кровать в соседнем отделении, и там, как деликатно выразился наш гид, она должна была «вступить в сексуальную связь со священником», — считалось, что это избавляет ведьму от излишнего веса, — а потом, как водится, убивали. Зато в облег-

ченном виде. Так что все здесь пуританское — в кинотеатрах крутят все американские фильмы и вырезают из них соблазнительные куски.

Из пара вынырнул промерзший Габриэль, и звук его растерянного голоса вернул меня к действительности. «Эти козлы, — сказал Габриэль, усаживаясь на скамеечку рядом со мной («Давай без выражений», — сказала я), — сняли шину, она у них лопнула или перегорела или не знаю, что. Они сняли шину с колеса, а когда поставят новую, дьявол его знает». Следующие полчаса мы болтались то в зале, то на улице (хотя зал — та же улица, ветер дует и гарью несет), а шину никак не прилаживали на подобающее ей место. Возле голого колеса толпился заинтересованный народ, подавая советы толстому водителю с бутылкой воды в красных волосатых лапах. Он дал подержать бутылку Габриэлю, видимо, в качестве демонстрации, что это не агвардьенте, а вода — «видели, да?» — и объяснил, что спиртное ему запрещено и категорически. Народ ходил кругами вокруг хромого автобуса и, вконец отчаявшись, покупал вездесущий сырный хлеб у неугомонных торговцев. Водитель, почему-то подозрительно побагровевший от воды в бутылке, раскачиваясь, объяснял что-то своему помощнику, а тот как заведенный пожимал плечами в ответ на заплетающиеся речи шефа.

Я оглянулась — Габриэля нету. Куда делся — непонятно. Зато вместо Габа стоит передо мной мужичок — качается, и до того похож на глюк... Впрочем, все это место очень напоминало один большой холодный глюк. Но мужичок этот не растворялся, а покачивался передо мной и говорил ласковые слова, дескать, сердце мое, скушай яблочко. Это не сказка о мертвой царевне и семи богатырях, а обкусанное яблочко Святой Розы Медведей, потому что яблоко это было со всех сторон изжевано и жадно обкусано. «Это что?» — спросила я брезгливо. Мужичок не унимался. «Только откуси», — умолял он, деловито подсовывая мне этот запретный плод под нос. Змей хоть был поделикатнее — Еву соблазнял целым плодом, а не обкусанным. Тут автобус внезапно зафырчал и тронулся: они починили шину и теперь пробовали, едет — не едет. Возникший из темноты Габ подхватил меня под руки и впихнул в автобус. Все, теперь можно поспать. Прощай, Святая Роза Медведей! Два часа мы топтали твою ледяную землю и теперь с несказанной радостью покидаем тебя.

6. В поисках дома

Район был один из лучших, так мне сказали. Вдоль домов стояли складчатые, широкостволые, светло-коричневые деревья (меня с детства учили, что дерево не бывает вообще, это должна быть сосна или бук, или ясень, а не просто «дерево», но я, к стыду своему, так и не узнала, как называются они, растущие на улице города Кали). После ледяной, каменной Боготы эти улочки, пропитанные растительными запахами, с красной, блестящей мостовой и яркими, постанывающими горлицами, показались мне наконец-то похожими на Латинскую Аме-

рику. Мне предложил пожить у него в доме человек, которого я почти совсем не знала, директор калийской консерватории по имени Хайме. Он жил здесь в двухэтажном доме под цвет деревьев, у него было свое место в жизни, темная окладистая борода и блестящие карие глаза.

Я только что приехала, мне предстояло найти себе жилье, найти хоть что-то, отдаленно напоминающее дом. А пока я вошла в светлую комнату с белыми стенами и одиноким столом под ситцевой скатертью. На полках косыми рядами поблескивали суперобложки книг по хиромантии и гармонии. Здесь было не то чтобы неуютно, а как-то голо, слишком много незадействованного пространства, слишком много равнодушия. Вот уже три года Хайме и его друг и бывший однокурсник Маурисио на двоих снимали это двухэтажное тихое жилище, не успевшее за все это время обрасти уютной плотью. Внутри было все — и картины, и кресла, и кухонная утварь, но это «все» не было подчинено общей цели и расползалось в разные стороны, как летающие тараканы, которых, слава Богу, в доме не водилось.

Меня поместили на втором этаже, в комнате, где вообще не было никакой мебели, — в углу простирался белый с желтым тонкий матрац, наводивший на мысли о лихорадке, беспомощности и высокой температуре. Окно давно не протиралось: сквозь подтеки давних дождей и пыль я разглядела вдали застроенный неказистыми хибарами склон горы, — там был Юг, а значит, бедные кварталы города. Я видела, как на веревках мотается белье и ходят хмурые женщины в подоткнутых передниках. Дело было к вечеру, но эпоха дождей и ветров еще не начиналась, и воздух поэтому казался прозрачным и струился, как дым от костра. Маурисио показал мне, где ванная, и сказал, что его комната располагается рядом с моей, — я не слишком обрадовалась этому соседству, не знаю, почему. Уже потом, когда Мауро вышел, а я прилегла на свой матрац и закурила, мне стало понятно, что так насторожило меня. Приземистый, с выпученными глазами Мауро мог смотреть только прямо — шея у него не ворочалась, и это создавало впечатление... очень странное впечатление. Я устыдилась своих мыслей: ведь это явно было результатом аварии или еще чего, о чем неприлично спрашивать. Впрочем, латиноамериканцы почему-то очень охотно повествуют о своих самых сокровенных болезнях и довольно-таки сомнительных происшествиях своей многотрудной жизни. Так что, возможно, меня еще ожидал рассказ о жизни флейтиста Мауро со всеми подробностями. Но все-таки было немного неловко, я понадеялась, что привыкну к лицу Мауро и его непривычной для меня манере в упор молча смотреть на собеседника.

Идти на поиски квартиры надо было уже завтра: Хайме и Маурисио при всем своем неожиданном гостеприимстве, совсем не излучали то щедрое южное радушие, о котором мне твердили мои боготинские знакомые, — город Кали представлялся им заповедным оазисом в пустыне привычного делового равнодушия столицы, которое они невольно умудрялись растянуть от берега Карибского моря до Тихого океана. Как оказалось, они были правы. «Каленьос», жители города Кали, как раз и

построенного недалеко от тихоокеанского побережья, были под стать боготинцам: никто не выходил из ворот, нагруженный вареной сгущенкой и кукурузным хлебом и не привечал малознакомых гостей, — спасибо еще, что Хайме оказался таким сговорчивым.

Я достала газету и еще раз просмотрела объявления о сдаче квартир. Меня интересовали только самые недорогие, так скажем. Я пересчитала деньги и принялась за вторую порцию курева, — спускаться вниз мне не хотелось. Забавно, что когда впоследствии описываешь свою жизнь и набор всех действий одного дня, ты невольно выходишь независимым, чуть загадочным и ироничным: вот ты закурил, вот задумался о чем-то, вот перелистнул хрустящую газету... На деле все оказывается гораздо более немощным, одиноким и мятущимся: все твои поступки — просто обыкновенные, суматошные удары мотылька о нагретое стекло лампы. Я всегда немного завидовала героям книг, особенно женщинам: они все делают очень значительно и пребывают в легком самоупоении каждую описываемую минуту. Но, может, это просто издержки прозы. Одним словом, у меня было тяжело на сердце, мне было очень одиноко, и вид из окна на грязные, скудные кварталы совсем меня не вдохновлял. Я подумала, что потом сумею описать город Кали и смогу увидеть себя сверху, встроенной в целостную мозаику улиц, дома и человеческих отношений — пусть даже таких половинчатых, как мои с Хайме и Мауро.

Матрас был мне немного короток, — но это оказалось неважным, потому что среди ночи я проснулась от того, что комната накрыла меня, как пыльная, темная мешковина, жар шел откуда-то снизу и сбоку, лоб плавился, как стеарин той самой свечи, на которую тоже может лететь неумный мотылек, если очень захочет. У меня уже не оставалось сомнений, что матрас выполнил свое негромкое обещание и втравил меня в историю под названием «лихорадка». Это был приступ самой настоящей малярии или чего-то похожего. Меня трясло, как на мотоцикле. Я добралась до окна и попыталась его распахнуть. Распахнуть — громко сказано: рама не поддавалась, я перепачкалась в пыли и со злости чуть было и вовсе не разбила мутное стекло. Звать на помощь Мауро я не могла. Мне снова пришлось водрузить себя на опостылевший матрас. Дальше мне отказывает память.

Я очнулась часов в десять утра, на голове у меня лежал поспешно тающий лазоревый пакет с немецким льдом. Маурисио как раз вошел в комнату, так что у меня появилась неожиданная возможность спросить его, что происходит. «Это денге», — сказал он, ставя на пол у моего изголовья чашку кофе с молоком. «Что?» — спросила я, смутно сопоставляя это слово с родным тюркским словом «деньги». Мне казалось, что я и вправду вполне могла заболеть от всех моих финансовых трудностей последнего времени, но речь, конечно, шла не об этом. Мауро, как выяснилось через секунду, имел в виду укус комара денге, вызывающего лихорадку, наподобие малярийной. «Дней пять придется полежать, — сказал Мауро задумчиво, — это так, за здорово живешь, не проходит». Здорово жить у меня не получалось уже давно: все последние полгода

меня потрясывало на вулкане вымышленных и подлинных страстей. Последний день Помпеи наступил неделю назад, когда возлюбленный моего сердца и сын моей души вместо того, чтобы ехать со мною в Кали, развернулся и отбыл в неизвестном направлении, устроив мне предварительно небольшой скандал. Нет, видно, это не издержки эпистолярного жанра, это просто защита — отсюда и этот легковесный тон. В общем, ничего особо веселого в этом происшествии, убей бог, найти было нельзя.

«А как же квартира?» — спросила я, когда Мауро возник в дверях с новым пакетом льда, напоминавшим белое рыбное филе. «Займешься потом, — сказал он, — когда сможешь. Когда лихорадка, не стоит думать о делах».

Я и не думала, оно думалось само. Но жар и в самом деле не отпускал ни на минуту, приходили какие-то женщины, садились возле меня, разжигали на полу костер. Я уговаривала их не пакостить в комнате, они же мне отвечали, что в среде бедуинов принято согреваться на ночь глядя живым огнем. Я смотрела — их лица были наполовину закрыты темной тканью. Я приподнималась и пила холодный кофе. Женщины на время рассеивались. И все в таком же духе.

У меня впервые в жизни был самый настоящий бред. Я не помню, что происходило вне меня, — должно быть, Мауро как-то ухаживал за мной, приносил кофе, хлеб, менял лед, когда он начинал совсем уж бессовестно таять, — а происходило это быстро, как говорят испанцы, и один раз «аминь» сказать не успеешь. Я встала на ноги через неделю. Пожалуй, я даже гордилась немного моей романтической болезнью: по молодости лет мне представлялось, что болезнь как таковая может быть «романтической».

Когда я в следующий раз вышла на улицу зеленого района Випаса, было восемь часов утра, стенали бежевые горлицы, и мокрые тротуары предвещали погожий, жаркий день с вкраплениями ливня. Мое одиночество стало мне не то чтобы привычно, а как-то незаметно — так, когда постоянно болит, скажем, запястье, иногда перестаешь понимать, сильнее оно болит или слабее, и болит ли вообще. С газетой наперевес я шла по красному камню мостовой, потом на автобусе доехала до центра города, где вся неявная мистерия этого дня уже осторожно расставила декорации: пальмовую площадь с зелеными скамейками и каштановым готическим собором, молодых людей, томно прохаживающихся по аллеям с нотами в руках, — недалеко располагалась консерватория, — и потрепанные жизнью автобусы, с визгом приседавшие на остановках и отрыгивавшие каждый раз слипшуюся массу из людей и сумок.

Первый же дом, который был в моем списке (улица 15, квадра 10, надо ехать на автобусе), оказался пятиэтажкой, наподобие далеких, российских хрущевок. Правда, он был попригляднее: в нем недавно отремонтировали серые стены, и под ногами похрустывала пыль. Людей, сдававших квартиру на последнем этаже, уже не было, — они ушли по своим делам, так мне сказал портье, и я с облегчением вышла. Вокруг

блекло блестело серое пространство: должен был начаться мелкий, ни к чему не обязывающий дождь. Я пошла пешком. Всю дорогу до района Санта-Марта, — у черта даже не на рогах, а в более непотребном месте, — я глядела себе под ноги, в надежде найти старый лотерейный билет. Я загадала, что, если таковой отыщется на пути, это будет нечто вроде знака свыше: я попробую сыграть в моментальную лотерею, благо они попадались на каждом углу города. Понятно, что замысел этот был продиктован отнюдь не сытой и благополучной жизнью. Но билетов не встречалось — встречались в изобилии опавшие, трубочкой свернутые листья, огрызки газет, даже женская туфелька, изъеденная сыростью, — все, только не билеты. Тоска по пристанищу во мне поднималась, как поднимается жар. Постылое житье в неприветливой, просквоженной ветрами Боготе, загадочный и не всегда теплый дом доньи Элены в Кайседонии, квартира Фернандо в городе Медельине, из окон которой был виден какой-то разрушенный взрывом административный дворец... Все чужие, чужие дома, где висят чужие гамаки, стоят на полке чужие фотографии или и вовсе ничего не висит, кроме скороспелой паутины по углам.

Дойдя до угла 49-й улицы, я прикинула, что вот этот дом, напоминающий спичечный коробок у самого края шоссе, это и есть вожделенное жилье за сто двадцать песо в месяц. Подъезд был ободранным и темным. По лестнице спускался отстраненный молодой человек в мятой рубашке. «Простите, сеньор, — сказала я, — здесь сдается квартира?» Он глядел на меня, как ленивый зритель на титры фильма, которые неохота разбирать, — они так быстро мелькают, что за ними не угнаться. «Вам показать?» — наконец проговорил он, не отводя взгляда. Я кивнула. Мы вошли в узкий, темный коридор и поднялись по лестнице на второй этаж. «В районе Випаса по крайней мере деревья, — думала я, поднимаясь, — а здесь — ни одного. Дом, как шиш, торчит среди шоссе. Правда, невдалеке растут какие-то чахлые кусты...» Впрочем, отсутствие деревьев оказалось не самым большим неудобством. Заскрипела дверь, и мы вошли в пустую, черную комнату, — мне так показалось, что она черная. Просто окно было под самым потолком. Мне сказать было нечего. «Наверху спальня», — сказал мой провожатый. «Где?» — сказала я, с ужасом взирая на дощатый, бурый потолок. «Там», — сказал юноша, пальцем ткнув в некое подобие деревянной лестницы в углу. Она скрипела, пела и постанывала, напоминая воркующих горлиц, обезумевших от любовного желания. Я поднялась наверх.

Спальня эта как раз и могла отбить любые желания у несчастных жильцов этой квартиры, — включая желание просто поспать: под низким потолком на деревянной платформе стояла когда-то двуспальная кровать, а ныне — остов, испытавший на своем веку немало житейских бурь, остов корабля, прибитого волнами под самую крышу. Доски ныли под ногами. «А свалиться отсюда можно?» — поинтересовалась я, уныло созерцая кровать. «Никто еще не падал, — снизу раздраженно сказал юноша. — Туалет в коридоре». «Не может быть», — сказала я. «Там, — сказал он, — и раковина тоже». Это сообщение дало мне силы уйти.

Я попрощалась наскоро, потому что дом этот меня даже как-то напугал. В Боготе за эти деньги можно было все-таки снять обыкновенную квартиру, с ванной внутри, а не снаружи.

От дождя я спряталась в кофейне. Я курила и смотрела на облитое острым ливневым сиянием шоссе, пытаясь выбросить из головы серый дом и кровать под потолком. И туалет в коридоре, который меня просто добил. Следующим в моем списке был дом под номером 67 в районе Лос-Пинос. Так по-испански называются сосны, но когда я вылезла из автобуса и пошла вниз по громыхающей грузовиками дороге, я поняла всю беспримерную лживость этого названия. Сосны не было ни одной. Да что говорить, здесь вообще не было никакой растительности. Здесь не было ничего. Дома (хочется сказать «унылой чередой тянулись» — потому что в штампах есть прелесть подлинности, но я, пожалуй, скажу по-другому), низкие, пропыленные квадраты, выстроились вдоль этого нового шоссе (было похоже, что все Кали состоит из одних шоссе). Но что значит вдоль? Это ничего не объясняет. Здесь попросту не было тротуаров. Дома стояли, а в полуметре от них, подскакивая, проносились грузовики. Увертываясь от них, я пересекла широкое шоссе и постучалась в дверь крайнего дома справа. В ту же минуту мне стало понятно, что жить здесь я не смогу.

Мне открыла маленькая женщина в линялом платье. Она смотрела на меня с порога, и в ее взгляде я прочитала что-то очень похожее на сострадание. «Квартира», — сказала я. «Вы здесь жить не будете, — сказала она мягко. — Проходите, сеньора». Я переступила порог. Комната была печальной и тусклой. У стены стоял низкий комод, покрытый вязаной скатертью. Она падала почти до полу. «Как они вещи оттуда вынимают?» — подумала я. Женщина придвинула стул. «Вы иностранка?» — спросила она. Вздохнула. Я еще ничего не успела ответить. Она вздохнула снова. «Грузовики, — сказала она задумчиво, — вы же слышите». «Да, — сказала я, поднимаясь, — я понимаю».

Моя следующая кафетерия тоже располагалась у дороги, но там, по-моему, была какая-то зелень. Хозяйка принесла мне кофе. Я отвернулась, чтобы она не видела моего лица. От усталости у меня свело щеки — получилась хмурая маска с набрякшими слезой глазами. Неожиданно она похлопала меня по плечу. «Ты не огорчайся, дочка, — сказала она, подстилая под чашку резную бумажную салфетку, — не огорчайся». Я до сих пор помню этих двух женщин. Собственно, они ничего мне не сделали, — ни доброго, ни злого, — но я почему-то их помню. Они были очень похожи на людей.

День перевалил за половину. Жара уже не так мучила. У меня оставался на сегодня еще один адрес, недалеко от центра. У лихорадки есть одно пренеприятное свойство: когда думаешь, что она уже прошла совсем, она с барабанным боем начинается сызнова. Руки трясутся и прыгают, как колотящиеся в полое пространство палочки. В висках повторяется этот ритм. Мир не звучит, — он отстукивает по тебе свои минуты, секунды и терции. Так что еще час я сидела на скамейке под пальмами. Меня бес-

покоили какие-то симпатичные молодые люди: они узнавали, как я себя чувствую и не нужно ли меня проводить куда-нибудь, например, к ним домой, а когда я из последних сил их посылала, они смиренно уползали в пальмовую тень, и через мгновение появлялись другие желающие со мной пообщаться. Наверное, меня снова одолел бред, потому что ведь не могло их быть так много... Ну, один, ну два...

К пяти я была готова пуститься на поиски дома. Я еще раз обвела красной ручкой заветный адрес и решила пройтись пешком. Ветер пах бензином и хлебом. Я заверила себя, что этот последний на сегодня адрес будет вообще последним в моей жизни здесь. Я там поселюсь и буду жить. Должна же я где-то жить. На матрасе у Хайме как-то это не очень получается. Там получается болеть. А вот жить, работать и любить — не выходит.

Я свернула в благословенную тень шарообразных деревьев (опять я не знаю, как они называются). Дом был очень белым, он просвечивал сквозь листву, как утреннее облако. Он был двухэтажным. Хозяйка, пестрая и юркая колибри с морщинками, бантиками и складками на длинной, до полу юбке, повела меня по коридору. Она совсем не удивилась, узнав, что я из Португалии. Это я придумала на ходу, нужно же было как-то поддерживать светскую беседу. Коридор расширился, и мы вступили в немалых размеров внутренний двор, весь в горшках с геранями и араукариями. Он был опоясан невысокой белой стеной. В стене темнели двери. Их было штук двадцать. «Это двор для жильцов», — сказала хозяйка, сощурившись. Она щурилась на телефон. Он стоял на круглой тумбочке посреди двора. «Телефон на всех один», — сказала она, проследив мой ошарашенный взгляд. «А если дождь?» — сказала я. «Тогда его убирают, — сладко улыбнулась она. — Так что, посмотрите комнату?» «Я... — сказала я. — Да, да, разумеется, посмотрим».

Она повозилась с замком и отомкнула одну из дверей, под номером десять. В глубине пустой комнаты, в стене напротив взблеснула другая стеклянная двустворчатая дверь. Обе ее створки были кокетливо связаны друг с другом обрывком железной цепочки. Я подошла и толкнула ее. Цепочка была иллюзией: створки подались, и открылся вид на замшелую каменную стену забитого бутылочными осколками скромного пустыря. «А... если кто-нибудь влезет?» — спросила я, обернувшись к хозяйке. Та пожала плечами. «Никто еще не жаловался, — сказала она, — в других квартирах у меня тоже такие внутренние двери». «А зачем они?» — спросила я. Она усмехнулась как-то отрешенно. «Понятия не имею, — сказала она, — просто для украшения». «Но... — сказала я, — это же опасно». «Про пустырь мало кто знает, — сказала она. — Да и потом это дело вкуса...» Тут только я обнаружила, что в комнате нет окна. Видимо, стеклянная дверь, ведущая на пустырь, была призвана его заменять. Но в комнате было довольно темно. «А окна...» — сказала я. «Наверху», — сказала хозяйка.

В углу опять была деревянная лестница, как во втором доме, том, без туалета. Я обреченно поднялась по ней. Она тоже скрипела. Окно там и

в самом деле было. Величиной с конфетную коробку. Правда, в нем можно было рассмотреть кроны деревьев, похожие на заросли бамбука. Хозяйка подниматься не стала. «Вы берете?» — спросила она. Я начала медленно спускаться. «Я подумаю», — ответила я. Но думать мне не хотелось. Думать было, в общем-то, не о чем.

Я шла по району Випаса. Он был самым красивым из тех, с которыми я познакомилась сегодня. Здесь росли деревья. Неважно, как они назывались. Я смотрела на них и знала, что завтра мне предстоит еще одно путешествие по закоулкам города Кали. Ведь должна же я найти дом! Ну, хибару, ну, гараж, ну, блочную развалюху... Но пусть она будет! Моя хибара. Мой дом.

Я не нашла дом на следующий день и через неделю тоже. И лотерейного билета не нашла. Потом мне пришлось уехать из Кали и вернуться в Боготу. А потом — в Россию. А потом я искала дом еще десять лет. Всего на поиски дома я потратила двадцать семь лет. Я нашла его совсем недавно. И в каком-то смысле, — который важнее всего для меня, — я все еще его ищу.

7. Плоть слова

Памяти Тати Трауберг

В мире есть дивные и странные слова, пришедшие в наш обыденный язык из другого мира — ставшего пылью, песком и десятком глиняных табличек. Они задержались на наших губах, переживая поколения непредставимых и далеких народов, и не утратили ни вкуса своего, ни запаха. Мы сжились с ними, они уже не представляются нам загадочными осколками древних наречий, — это просто обычные слова «кипарис», «лабиринт». Эти слова, ставшие плотью греческого языка, пришли в него из языка пеласгов: ведь когда-то Эллада была их страной — Пеласгией. Странствуя из языка в язык, из уст в уста, звуки перешли в новые земли. Мы произносим «кипарис» и не думаем, сколько истаявших во времени людей произносили это слово. Еще страннее будет мысль, что со всеми этими людьми мы связаны непонятными нитями: ткань языков покрывает мир, и даже прорехи в ней повествуют о неразрывном единении одного с другим.

Слово говорит нам о чем-то большем, чем слово, — о тайне и предании, о динамичности жизни, ее перетекании из одного сосуда в другой; эта система сообщающихся сосудов никогда не может исчезнуть, застыть, окаменеть. Мы слышим звуки других языков, облекшиеся хрупкой плотью нашего собственного, но, видя лишь фрагменты, лоскутки, не видим цельной пелены, не знаем, как прочесть текст, плывущий к нам по воде тысячелетий. Мысль о том, что все в мире едино, остается просто мыслью, не достигая наших чувств.

В жизни есть странные слова, пришедшие к нам из дальней дали. Что в этой дали? Древние царства, плотная глина мифа или воздух сна? Мы

можем услышать слово и наделить его бездной значений, чувствуя, что в нем заключены смыслы, перетекающие один в другой. Это могут быть совсем приевшиеся слова, утратившие вкус тайны, связь с океаном прежних, загадочных языков. Этим словом может быть «хлеб», или «дом», или «снег», слова, в которых их хрупкая экзотичность уступила место обыденной, прозаической ясности.

Для меня таким словом стал «мед». В четыре года со мною произошло банальнейшее событие. Я увидела сон.

На этом, собственно, банальность и кончалась, почти не начавшись, — в самой ткани сна было что-то, что даже и тогда показалось мне исполненным скрытого и очень важного смысла. Я стояла под вывеской. Вывеска была живая — ее образовывали танцующие и раскачивающиеся буквы, — и они были слеплены из какой-то душистой пряничной плоти. Я стояла в низкой, очень зеленой траве и слушала, как все эти буквы смеялись и звенели. Они издавали мягкий, говорящий звон, который тоже пахнул, он пахнул золотистым и благодатным звуком. Я не могу разделить теперь звон и запах — они были одно. Возможно, со мной говорили капли, они падали в траву и были медовые, радостные и звучные. Они равнялись словам. Я помню ощущение меда, голос меда, запах меда и смысл меда. Мед, в своем несказанном веселии, говорил со мной, хотя я не помню ни одного слова. Их было не нужно. Я радовалась вместе с медом, и этого было достаточно.

Потом одно уже слово «мед» сразу приводило мне на память мою радость и этот говорящий, золотой аромат. Я знала, что это было больше, чем просто овальная, стеклянная банка меда, который редко появлялся в холодильнике: на дворе стояли семидесятые, и сладкого в доме было немного. Я чувствовала, что буквы, с которыми я разговаривала, были, конечно, медом, но они были и радостью, и надеждой, и упоением — чем-то таким, что запоминаешь и помнишь с ощущением причастности загадке жизни. Или просто самой жизни.

Когда в детстве мне случалось очутиться на лугу, полном больших, похожих на чайные розы купав, мне сразу хотелось вдохнуть их, вобрать в себя, потому что я надеялась, что где-то в глубине чашечки укрылся этот запомнившийся мне аромат. Я думала: «мед», — и ожидала, что запах нежного и зовущего в даль покоя выберется наконец из желтой середины и дастся мне в руки. Ничего подобного. Купава оставалась купавой; ее запах, немного приторный, немного слишком уж материальный, отодвигал меня на довольно-таки большое расстояние от душистой сновиденной яви.

Позже, в ранней юности, мне не раз приходилось искать это слово, — потому что искала я именно слово, во всем сиянии его золотых смыслов — в стихах, в повседневности, во сне. Я настораживалась, когда кто-то произносил «мед», потому что говорящий не знал, какую дверь он открывает этим для него пустым звуком. Я поняла, что в поэзии это слово с давних пор пытается сказать пусть не о том, что слышала я, но о чем-то похожем, как будто оно источает свой звон, независимо от того, хо-

чет ли пишущий услышать его. Долгое «о» в середине протяжно выливалось из мягкого «м», напоминающего спокойный выдох, приглашение к уюту разостланных простынь, полей, морей и небес, к странствию по всему этому миру, где путь и легок и высок. Зовущее, как звук поющей тибетской чаши «о», выраставшее из моря, мха и муравы, потом покойно длилось и катилось до самого последнего рубежа: до гаснущего, как закатная полоса, «д».

«Золотистого меда струя из бутылки текла/ Так тягуче и долго...» И сразу становилось понятно, почему она так текла, подчиняя ухо автора своему многослойному смыслу.

Слова, которые попадались мне в русской прозе начала века, такие как «медвяный», «медуница», примиряли меня с повествованием, даже если все остальное не представлялось достойным восхищения, — тягучее слово уводило меня за собой и помогало воскреснуть сладостному чувству, — это было что-то, напоминавшее тоску по полноте радости, которая живет не в прошлом, а в будущем. Испанское слово «miel», которое я узнала незадолго до своего путешествия в Латинскую Америку, меня не разочаровало: в нем тоже слышался этот голос поющей чаши, зовущей пройти весь путь от «м» до тоже затихающего «л».

Иногда мне попадались аляповатые воплощения этого слова — это могли быть коричневые, блестящие пряники или желтоватые, рассыпчатые склоны гор, но все это было только молчаливым утверждением, что «мед» где-то поблизости, и по отдельности можно увидеть его цвет или вдохнуть похожий запах — больше ничего.

В Боготе, в Кайседонии, в Медельине не было ничего, даже отдаленно напоминавшего тайну меда. Небо и земля, казалось, изощрялись в многообразии теплых и ледяных красок, оттенков и звуков, но слова, равного странствию, я никак не могла найти. Иногда что-то, — например, светлая грива стоящей под дождем лошади, смиренно ожидающей загулявшего хозяина, — вызывало в памяти это мягкое звучание, но только на секунду, а потом снова начинались почти бессознательные поиски. Я почти уже примирилась с невозможностью отыскать в Колумбии хоть что-нибудь, похожее на мед. Кстати, обычного, пахучего меда в банках я тоже там почему-то не встречала: должно быть, он там был, но отсутствие слова ненавязчиво сопровождалось отсутствием вязкой, прозрачной или крупичатой субстанции, — не было вообще никакого признака чего-либо медового.

Мне оставалось всего несколько месяцев до отъезда (но я этого не знала), когда я решилась навестить донью Элену в городе Кайседония (как потом выяснилось, в последний раз). Был месяц апрель, в воздухе творилось оживленное трепетание, шелест, писк и разговоры. Птицы весело и со знанием дела работали от зари до зари, в отличие от людей, которые, пережив ливневую пору, без особой радости глядели на мир и на свой тихий, в общем-то, пальмовый город.

Когда донья Элена предложила мне навестить могилу ее мужа, дона Мануэля, я не особенно изумилась: донья Элена была объята той же

маловыразительной тоской, что и все ее соседи, и на могилу, куда она не ездила уже года два (я знала это от Фернандо), ее повлекло заразное, но преходящее чувство одиночества и уныния. Обычно очень деятельная и шумная, донья Элена скорбно собиралась в путь, в молчании укладывая в сумку маленькие складные грабли и дюжину носовых платков. Мы поехали в машине Хайме, джипе с открытым верхом, который немилосердно пылил, скрежетал и стрекотал, с натугой ползя вверх по горной дороге, потому что кладбище располагалось высоко, в окружении ярких вершин, зарослей лаковых, бликующих на повороте кустов и несущихся вниз с огромной скоростью мелких, ледяных речушек. Когда мы вплотную подъехали к двум извилистым стволам, обозначавшим заповедную территорию, потому что ни ограды, ни ворот здесь не было, я подумала, что это первое радостное кладбище, которое я вижу в своей жизни.

Листья деревьев масляно сияли под солнцем, и сверху открывался какой-то умиротворенный и кротко-самодовольный вид: вдали белели стены финок, небольших поместий и ферм, без всякой натуги жарко зеленели горы, пунцовели острова мелких цветов по прозвищу «поцелуйчики», и откуда-то снизу доносилось лошадиное ржание и говор людей. Все это переплеталось со звоном двух тонких и быстрых рек, рассекавших долину подо мной, и согласным говором птиц на кладбищенских деревьях и кустах.

Мы вошли, и я увидела могилы. Это были небольшие квадратные плиты, глубоко ушедшие в землю. Все пространство было ровным и чистым; насыпей здесь никто никогда не делает, поэтому все гладкое устройство кладбища кажется спокойным и безопасным. Донья Элена, окруженная сыновьями, поспешила к одному из каменных квадратов; она поджала губы и двигалась расторопно и бойко, как человек, который знает, зачем приехал и чего от этих мест ждать.

Я решила подойти чуть позже, чтобы ей не мешать: все-таки я была чужая и могла помешать ее чувствам (если таковые были) свободно излиться. Я не знаю, что там происходило с доньей Эленой, она громко говорила что-то одному из сыновей, то ли укоряла, то ли жаловалась. Я не знаю, потому что прямо на меня смотрело дерево. Оно стояло, немного отъединившись от всех прочих, но дело было даже не в том, что оно росло в одиночестве. Оно пылало таким живым и горячим золотом, что все остальные деревья отступали в некую тень, порожденную самой сгущенностью его теплого и ясного цвета. Гроздья шафрановых цветов ниспадали с его ветвей, которые едва угадывались под ливнем бутонов и раскрывшихся чашечек. Вся земля под ним желтела и переливалась, потому что все эти цветы сыпались в траву и укладывались слой за слоем вокруг ствола, но от этого их меньше не становилось. Золотые корзины, наполненные светом и душистым ветром, грузно оттягивали вниз стройные, почти невидимые ветви, и все дерево стояло в круглой ароматной дымке. Это был знакомый мне с детства запах. Запах меда.

Я стояла перед ним в траве, как в моем сне двадцатилетней давности, и дышала этим странным, влекущим в дальние странствия, мягким, ра-

достным свечением. Мне почему-то пришло в голову, что само появление этого медового дерева на кладбище говорит о том, что смерти нет. Мне было трудно потом вновь пробиться к этой мысли, она была схожа с озарением, но дерево и само по себе было воплощенным озарением, золотым смыслом моего слова, пришедшего из мифов, древних царств и снов. Я постояла под ним и направилась вслед за доньей Эленой.

Только у могилы я обнаружила, что все в сборе, кроме Хайме. Он довольно долго не возвращался. Донья Элена подметала плиту. Фернандо делал вид, что выпалывает пушистую траву у кромки. Я нагнулась, чтобы прочесть надпись. «Хайме», — сказал Фернандо. Я обернулась. Хайме шел к нам, обеими руками прижимая к груди ворох желтых цветов. «А, золотой ливень», — сказал Фернандо. «Это?» — сказала я, принимая у Хайме всю эту трепещущую, душистую груду. «Это, — сказал он. — Так дерево называется». Донья Элена принялась раскладывать цветы на плите. Я помогала ей. Она осторожно выложила их ковром, покрыв весь камень. В земле засиял золотой квадрат. Когда я подняла голову, я увидела, что несколько дальних могил тоже выложены теплыми чашечками «золотого ливня». Они были похожи на небольшие молитвенные коврики. «Это традиция, — сказала донья Элена. — Очень красиво».

Уходя, я еще раз посмотрела на дерево. Оно все звенело, потому что колибри со скоростью света обцеловывали его со всех сторон. Оно просто не могло исчезнуть или потускнеть, потому что в нем было очень много жизни. Много меда.

Есть слова, которые мы знаем и помним. И они могут стать плотью и обитать с нами. Быть запахом, звуком и цветом. И еще чем-то, что почти невыразимо радовать нас, звать в дальние странствия и никогда не предавать, пусть даже мы сами на время и перестанем слышать в них скрытое послание дали.

Григорий ПОМЕРАНЦ

ЧЕРНАЯ ХАРИЗМА

Мысль о черной харизме подсказал мне Проханов. Это было 3 декабря 2008 года — в сорок третий юбилей моего выступления с речью против решения «признать заслуги Сталина». На конференции, организованной фондом Наумана, собраны были «каждой твари по паре». Куняев, как всегда, передергивал, фальшивил. Но Проханов не фальшивил. Его вдохновенное шаманство вызвало в памяти интонации, которые я слышал по радио в 1940 году (заклятого друга не глушили). Правда мифа творилась на ходу. Она не всегда совпадала с правдой факта. Но Проханов поразил меня именно щепотью правды: ему все равно, 1/7 или 1/3 русского народа сидели при Сталине в лагерях. Иван Грозный и Петр Великий тоже были деспотами. Но это были, — переводя мысль Проханова на язык Шварца, — *свои* драконы. И Сталин завершил линию *своих* драконов, *любимых* драконов.

Теперь перейдем на язык фактов. История России разворачивалась на равнине, открытой нападениям с Востока, Юга и Запада. И свои драконы охраняли Древнюю Русь, как Гималаи — Тибет. Это одна из причин размытости границ между добром и злом в фольклоре восточных славян (факт, о котором писал Г. П. Федотов и недавно — еще раз — подчеркнул игумен Вениамин Новик). Грозные владыки, хранители России, загнали духовную культуру в угол, где Малюта Скуратов всегда мог задушить Федора Колычева.

На память о драконах-спасителях легла и память ветеранов о победах 43–45-го годов, оставив в тени разгром, которого хватило бы на всю Западную Европу, дважды повторенный разгром: летом 1941-го и летом 1942 года.

Григорий ПОМЕРАНЦ — родился в 1918 г. в Вильно (ныне Вильнюс). Окончил ИФЛИ. Участник Великой Отечественной войны. В 1946 исключен из ВКП(б) за «антипартийные заявления». В 1949 г. арестован по обвинению в антисоветской деятельности, осужден; освобожден (1953) и реабилитирован (1958). Философ, культуролог, публицист. Автор книг «Сны Земли» (Париж, 1958), «Неопубликованное» (Мюнхен, 1972), «Открытость бездне. Встречи с Достоевским» (М.,1990), «Собирание себя» (М., 1993), «Выход из транса» (М., 1995), «Опыты философии и культурологии» (М., 1995), «Страстная односторонность и бесстрастие духа» (М.–СПб., 1998), «Записки гадкого утенка» (М., 1998) и др.; вместе с З. Миркиной «Огонь и пепел» (М., 1993), «Великие религии мира» (М., 1995). Член Русского ПЕН-Центра. Живет в Москве.

Армия, созданная Сталиным и подчиненная его раболепным слугам (Буденному, Ворошилову, Тимошенко), была почти уничтожена. Но Россия велика, и сами победы Гитлера создали неслыханно растянувшийся фронт, с ахиллесовыми пятками, ждавшими удара меча. На этом материале мы, ополченцы, научились побеждать, а потом Сталин присвоил себе наши победы.

Была еще одна забытая страница, но ее твердо помнили только бабушки. В книги она попадала скупо, на телевидение — почти не попадала. Между тем потери в деревнях и селах при надругательстве над крестьянством, названном коллективизацией, сравнимы с военными потерями: это десятки миллионов жертв. Но их не помнят, или приписывают геноцид евреям.

В 1956 году, сразу после речи Хрущева на XX съезде, раскрылись уста моих учеников и учениц в станице Шкуринской, где я работал учителем, и каждая девочка, с которой я неловко кружился на выпускном балу, рассказывала мне, сколько теней носится над крышами их домов. Но в той же станице, перебивая тему урока, Гриша Ерешко, волнуясь, спросил меня: присвоят ли Жукову звание генералиссимуса? Память о войне требовала имени победителя. И на пустое место потихоньку вползала старая тень.

Сорок три года спустя после моей речи в институте философии вопрос о драконе-спасителе снова вызвал бурные прения. Для гостей из Германии ответ был ясен. Но не для русских. Великий народ нуждается в великом прошлом. Но почему не вспомнить Пушкина?

Я памятник себе воздвиг нерукотворный.
К нему не зарастет народная тропа.
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа...

Александрийский столп был воздвигнут в память победы над Наполеоном. Пушкин был прав: память о стихах долговечнее памяти о победах. Расцвет русской литературы XIX века многие на Западе ставят в один ряд с искусством Древней Греции и Ренессансом. Петр был деспотом, но он вывел Россию из духовного прозябания и заставил выйти на одну из больших дорог мировой истории. И после довольно скучного ученического XVIII века Россия заблистала именами: Пушкин, Гоголь, Тургенев, Толстой, Достоевский, Чехов... А вслед за литературой, вслед за музыкой сложилась и русская философия. И сквозь все потери, принесенные большевиками, эта линия не прервалась. Она стала пунктиром, не всегда заметным, но длится.

Петр — спорная фигура. Бывая в Питере, я почти всегда приходил поздороваться с Медным Всадником. «Утро стрелецкой казни» тоже держится в памяти. И у Ахматовой есть строки:

Буду я, как стрелецкие женки,
Под кремлевскими стенами выть...

А наперекор этим строкам — другие:

В Кремле не можно жить. Преображенец прав.
Там древней ярости еще кишат микробы:
Бориса дикий страх, всех Иоаннов злобы
И самозванца спесь взамен народных прав.

В петровских реформах страшнее оказалась не отталкивающая их жестокость, а разрыв между верхним слоем и народом. Бердяев описал Октябрьскую революцию как выход на подмостки фигур из подворотни великой литературы: Хлестаковых, Ноздревых, Смердяковых. Эта волна смывала подлинную образованность. И окончательная оценка Петра зависит от того, найдут ли русские люди опору в славе русской литературы, а о войнах будут говорить правду. Как мы платили кровью за сталинские расстрелы испытанных полководцев и за безграмотные решения в 41-м и 42-м году, и только Гитлер, разбивая сталинских холуев, помог выдвинуться будущим маршалам.

Впрочем, нельзя объяснить все наши несчастья подлостью местного начальства. Есть еще глобальные причины. Мир становится все сложнее и меняется все быстрее. Прогресс — не совсем точное слово. Развитие несет неизвестно куда и разрушает не меньше, чем созидает. Даже в самых благополучных западных странах никто еще не нашел пути в обход экологического кризиса, духовного кризиса, разрыва между поколениями и т. п. Завтрашний день всюду в тумане. А в России народ вырвали из неподвижного быта и бросили в историю, как в кипяток. Сегодня нужно очень глубоко жить, чтобы не чувствовать себя щепкой в порогах.

Взгляд сквозь бренное в вечность даже во времена Конфуция давался нелегко. А сегодняшняя образованность — призрак, знание нескольких поверхностных схем. И глобальная цивилизация — это глобальная пошлость. Это парик, надетый на лысую голову, а под ним — темная пустота, и в темноте — бесы подсознания. Пока дорога не тряская, парик держится. А начнет покрепче трясти — того гляди свалится. Благодушная пошлость очень легко переходит в агрессивное хамство, и хам Смердяков, хам Калибан предлагают свою программу: запихнуть всю сложность в прокрустово ложе и лишнее отрубить. Обещав потом светлое будущее коммунизма или тысячелетнее царство белой расы. Эту программу пытались выполнить Сталин, Гитлер, Мао Цзэдун, Пол Пот. Ни у кого в XX веке не вышло. Но мы не гарантированы от новых попыток. Если не хватит нефти, а потом воды для питья, а потом и воздуха для дыхания.

Обернемся назад на сотню лет, взглянем на мир до 1914 года. В один миг приличный, цивилизованный национализм стал зверским. Обе коалиции трещали от напряжения. Россия, управляемая ничтожествами, выходит из игры, но ее заменяет Америка. И Германия побеждена, пять лет, с 1918 по 1923, она мечется от кризиса к кризису, от коммунистического к фашистскому путчу. Но кризис не затронул Америку, и на американские деньги марка встала на ноги, и парик снова утвердился на голове, — но ненадолго. Начался мировой кризис. Некому было помогать Германии, все оказались в беде. И Гитлер, впавший в ничтожество после пивного путча 23-го года, стал набирать очки, стал расти на дрожжах безработицы и голода. Отчаявшиеся люди массами сбрасывали парики и давали волю хамству, и агрессивный хам нашел виноватых: это наследственный враг на Западе и евреи, воткнувшие нож в спину победоносной германской армии.

По улицам, еще помнившим шаги Гете, зашагали штурмовики, распевая людоедские песни. Число немцев, голосовавших за Гитлера, перевалило за 40%. Это было больше, чем у большевиков в учредительном собрании даже

вместе с левыми эсерами. Поджог рейхстага, запрет оппозиции... Вырвалось наружу черное подполье. Два дракона приготовились к схватке. Заклятые друзья, косясь друг на друга, поделили Польшу — и через два года сцепились между собой. Каждый хотел всего, всей Европы, власти над всем миром. Германия, объявив войну Соединенным Штатам, сама себя изолировала и рухнула. Сталин дал приказ готовить войска к «освобождению Европы». Психологической подготовкой была волна ненависти к американцам, засылавшим каких-то особых ядовитых жуков, и к «убийцам в белых халатах».

В этот миг Сталин в одночасье умер, убийц реабилитировали, про жуков забыли — и началось коллективное руководство (на языке Черчилля — собачья грызня под ковром, откуда время от времени выбрасывали мертвую собаку). Первая попытка вышвырнуть Хрущева провалилась, выбросили «антипартийную группировку». Но попытка Хрущева опубликовать дело в шестидесяти четырех томах, подготовленное комиссией Шверника, была приговором, который он сам себе подписал. Морально подгнившая партия не могла решиться сказать правду о сталинских репрессиях: 19 870 000 арестованных и 7 000 000 расстрелянных только за период с 1 января 1935-го по 1 июля 1941 года. Прошлое надо было утопить во мгле. Система, отказавшаяся от хирургии крутых реформ, продолжала по инерции двигаться в направлении, потерявшем смысл, к войне, ставшей невозможной, мастерила бомбы, которые никто не решился бы сбросить, и оставалась искренней только в словах Брежнева: «Не надо раскачивать лодку». Избегая раскачки, лодка медленно гнила и вдруг — рассыпалась. Так вдруг падает старый гриб, насквозь проеденный червями.

Между тем западным немцам стали промывать мозги. Сперва, в 1946 году, подавляющее большинство опрошенных называли Гитлера величайшим политиком в истории Германии. Но каждую неделю журнал «Шпигель» выходил со статьей о гитлеровских зверствах. И конечно, не только «Шпигель». Я называю иллюстрированный еженедельник, который просматривал, когда меня допускали к спецхрану. Таких журналов, газет, телевизионных и радиопередач было много. И в 1990 году — через 45 лет — я увидел другую страну, разговаривал с другими школьниками. Два года спустя я был гостем академии информации и коммуникации бундесвера и как-то сразу нашел общий язык с молодыми офицерами. Только одно я не мог им объяснить, — почему у нас сохранилась такая заваль, как общество «Память», из какой почвы выросли допотопные уроды. Задним числом приходит образ Авгиевых конюшен, которые мы так и не вычистили. И образ старого одеяла, которое невозможно залатать. Зашиваешь одну дыру — расползаются две другие. Все гниет... Власть не могла перейти к новым силам: они еще не сложились. Наверх вышли циники, поменявшие свои привилегии на частную собственность. Тогда, в 1992 году, еще не видно было (мне, по крайней мере) общее гниение, захватившее и остатки крестьянства, и то, что называется привычным словом «интеллигенция». Помнится только, что я дважды высказывал мысль, казавшуюся странной, что школа для нас важнее экономики; что состояние полуобразованности неустойчиво, взрывоопасно и грозит новым культом новых вождей...

Но даже в Германии прочно ли «социальное рыночное хозяйство»? Или снова зашевелится Смердяков со своими планами упростить неустойчивую сложность? И с очередным кризисом, захватившим Запад, снова не удастся справиться, и мировой порядок наведут китайцы? Во всяком случае, торжество Запада не кажется мне окончательным и бесповоротным. Бухаринский вариант коммунизма с китайским акцентом вполне возможен. Хайдеггер говорил Гадамеру, что в конце XXI века мы будем изучать китайский язык. Во всяком случае нам, в России, Китай становится все ближе, Запад — все дальше. И лжепророки нас убеждают: ты сам — дерьмо, но ты часть славной традиции Александра Невского и Иосифа Сталина. И придет день, когда православная церковь причислит Сталина к лику святых. Так Проханов кончил свое выступление на международной конференции в Москве, 3 декабря 2008 года, и я своими ушами это слышал.

Мне хочется думать, что призрак дракона-спасителя — только призрак и вчерашняя трагедия не повторится. Однако невозможно предсказать, какие судороги даст растерянность масс, выбитых из деревенского быта и не нашедших себя в пятиэтажках. Массы не подготовлены к поискам внутреннего противовеса хаосу. Массы не понимают, в какую почву можно пустить свои корни. Массы не понимают, что победы Ассаргадонов стали прахом истории, что корни христианской цивилизации уходят в Иерусалим и Афины, а не в Вавилон, в жизнь малых народов, знавших только редкие победы в борьбе за независимость, но и побежденных оставшимися победителями в царстве духа; и мы живем наследством распятого Иисуса и отравленного Сократа.

Что же делать горстке людей, дошедших до глубокого сердца, где нашел убежище Бог, изгнанный с неба? В XIX веке пастор Грундтвиг учредил в Дании Народные университеты и поднял уровень крестьян до некоторого минимума внутренней формы, без которого немыслима цивилизация. В Англии это шло иначе, ее собственным долгим путем. В каждом месте это совершается по-разному, но направление развития одно: понять, что стиль полемики важнее предметов полемики; что предметы споров неизбежно меняются, но стиль разговоров — основа национальной традиции; что чем сложнее развитие, тем больше дискуссионных вопросов, и избежать этого нельзя, но можно избежать отчуждения, вражды, ненависти и перейти от дискуссии к диалогу, где дух целого витает над различием реплик, и тогда противостояние идей становится созидательной, а не разрушительной силой. И нам надо каплей за каплей выдавливать из себя раба ленинской традиции, где оружие критики переходит в «критику оружием».

В необозримо сложном обществе единство достигается глубиной молчания, в котором родится новое слово и родится право менять старые слова, когда глубина этого требует. Невозможно надолго удержать прокрустово ложе. Поток событий его всегда сломает и возродит хаос. Выход из тупиков, в которые заводит развитие, — диалог, в котором никто не ищет личной победы.

Андрей ПИОНТКОВСКИЙ

В ПОИСКАХ ПОТЕРЯННОГО ВРЕМЕНИ

I. Русский пациент

1

В пушкинском «Каменном госте» есть поразительная строчка. Кто-то из персонажей, кажется, Лаура, говорит: «А далеко на Севере — в Париже...» Эта строчка часто приходит мне в голову в минуту грусти или радости, как моцартовская мелодия. Мало того, что она удивительно музыкальна в русском звучании. Я всегда был убежден, что поэт не просто обозначал в ней место действия своей трагедии. В ней был свой тайный смысл и удивительный воздух свободы. Она должна была показаться жандармам из Третьего отделения гораздо более опасной, чем открыто тираноборческие стихи поэта: «Тебя, твой трон я ненавижу». Тираны любят, когда их ненавидят. Это наполняет их чувством собственной значимости и позволяет расширять штаты обожаемых ими спецслужб и спецпредставителей. Тираны терпеть не могут, когда их не замечают. Написать в ледяном николаевском Петербурге — «А далеко на севере — в Париже...» — означало абсолютную свободу европейского гения, его побег из стен имперской тюрьмы.

Александр Сергеевич Пушкин был невыездной, как много поколений русских людей до него и после него, как то поколение, к которому и я принадлежал. Изоляция от Запада была настолько полной и беспросветно вечной, что иногда нам казалось, что Европа — это виртуальная реальность, существующая только в книгах, а волны Атлантического океана разбиваются о берега Белоруссии. Безнадежно отрезанные от другого мира, мы знали и любили его марсианскую цивилизацию, может быть, больше, чем его аборигены.

Прошло несколько десятилетий, я пережил не помню сколько генеральных секретарей и президентов и неожиданно оказался на улицах Барселоны, где молодой английский идеалист-интербригадовец Эрик Блэр стал Джорджем Оруэллом, нанесшим смертельный удар коммунизму своими великими книгами. Меня всегда поражало, как этот англичанин, никогда не

Андрей ПИОНТКОВСКИЙ — родился в Москве в 1940 г. Окончил Механико-математический факультет МГУ. Кандидат физико-математических наук. Член Американского Математического Общества. Автор более 100 статей и нескольких монографий по теории управления, глобальному моделированию, ядерной стратегии. Ведущий научный сотрудник Института системного анализа РАН. С 1998 г. — в политической журналистике, опубликовал несколько сотен статей в российских и зарубежных СМИ. Член международного ПЭН-клуба. Живет в Москве.

бывавший в СССР и всего лишь наблюдавший, как местные коммунисты с помощью старших советских товарищей расправлялись со своими политическими противниками в Барселоне, сумел так удивительно верно и в таких узнаваемых деталях передать и дух нашей эпохи, и ее быт.

Но сейчас меня больше интересовал в Барселоне не Дж. Оруэлл, а Антонио Гауди, человек, дерзнувший не замечать гравитации. Он опрокидывал ее своими знаменитыми зеркальными макетами, и его дома-цветы падали вверх навстречу солнцу. На залитой солнцем площади Гауди я запрокинул голову, чтобы лучше разглядеть церковь Саграда Фамилия и подумал:

А далеко, на севере — в Париже
Быть может, небо тучами покрыто,
Холодный дождь идет и ветер дует.
А нам какое дело?..

Но только зачем они стали достраивать собор? В незаконченности, оставленной Мастером, — дыхание его Времени, его бессмертие, его муки творчества и его героическое поражение. Разве жизнь каждого из нас — не незаконченный и оборванный на полуслове набросок текста...

2

Смена тысячелетия дала повод к многочисленным и все продолжающимся дискуссиям на тему «Россия на перекрестке истории». Впрочем, тема эта, как ни в какой другой стране, актуальна почти в любой момент отечественной истории, по крайней мере, последних трех столетий. По существу, речь идет о затянувшемся постоянно действующем «перекрестке». Именно на нем вечный подросток Россия мучительно определяется с географической, исторической и метафизической самоидентификацией: часть ли она Европы или нет?

Этот подростковый комплекс притяжения и обиды, архетип русского политического сознания, вновь проявил себя в последние годы в сотнях публикаций отечественного внешнеполитического сообщества по проблемам: Россия и Европа, Россия и Запад. «Мы часть Европы, а нас вытесняют из Европы»; «Мы хотели бы стратегического партнерства с Западом, а нас отталкивают»; «Нашему порыву к миру и дружбе не поверили, нашу добрую волю восприняли как слабость» и т. д. — подобные пассажи в различных вариантах унылой прозы представляют собой лишь пересказы основных мотивов классической поэмы А. Блока, написанной более 80 лет назад:

Придите к нам! От ужасов войны
Придите в мирные объятия...
А если нет, — нам нечего терять,
И нам доступно вероломство...
Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернемся к вам
Своею азиатской рожей!

Практических рекомендаций «обернуться к Европе своею азиатской рожей» или чем-нибудь еще похуже было больше чем достаточно, и «стратегическое партнерство с КНР» всегда оставалось самым популярным лозунгом наших евразийцев.

Вспомним хотя бы сверхэмоциональную реакцию российского политического класса на перспективу расширения НАТО. Громкое, единодушное и бессмысленное «нет», раздававшееся из Москвы, объяснялось отнюдь не степенью тех или иных угроз безопасности России, действительных или мнимых.

Расширение НАТО на Восток, а точнее, бегство стран Восточной и Центральной Европы на Запад, затронуло глубинные пласты нашего политического сознания. Актуализировался издавна не прекращавшийся у нас внутрикультурный спор о том, является ли Россия частью Европы, напомнив нам, что во многих аспектах нет, не является. И не потому, что нас кто-то выталкивает из Европы. А потому, что мы в силу определенных особенностей своей истории, географии, национальной психологии сами еще не решили для себя эту мучительную дилемму.

Центральноевропейские чаадаевы, соловьевы, ильины никогда не задавались вопросом, принадлежат ли их государства и этносы Европе. Ответ был для них самоочевиден. Неудивительно, что эти страны так стремились воспользоваться предоставившейся им наконец возможностью закрепить свой геополитический выбор и зафиксировать членство в элитных европейских структурах, если не сразу в ЕС, то в НАТО.

Это бегство не стало бы центральным событием политической жизни Европы, но движимая комплексом оставленного любовника российская политическая «элита» развернула героическую борьбу с расширением НАТО. Разумеется, как всякий невротик, она прикрывала свои иррациональные комплексы псевдорациональным бредом о «сокращении подлетного времени натовских самолетов с ядерными зарядами на борту, взлетающих с польских аэродромов».

Польша, Чехия и Венгрия, разумеется, вступили в НАТО. Прошло два года. Польский президент приехал в Москву. Почему-то никто не говорил о подлетном времени. Напротив, хозяин Кремля с удовлетворением отметил, что российско-польские отношения, в которых были и взлеты, и падения, последние два года неуклонно развиваются по нарастающей. Между прочим, как раз после вступления Польши в НАТО. Это и неудивительно. Окончательно закрепив в собственных глазах европейский выбор, Польша смогла наконец избавиться от исторического российского комплекса.

Правда, история нас ничему не учит. Нам обязательно надо было снова наступать на все старые грабли и раздирать на себе публично вновь и вновь все свои психологические язвы. Еще более неукротимо российская «элита» боролась со вступлением в НАТО стран Прибалтики. Эта борьба, как всякий последний и решительный бой, приняла совершенно абсурдный характер. Мы уже сами готовы были вступить в НАТО только для того, чтобы своим могучим телом перекрыть путь туда дерзким балтийским лилипутам.

Сегодня мы идем уже по третьему кругу нашего невроза, пытаясь остановить европейский выбор Украины и Грузии, а заодно снова испортить отношения с Польшей и Прибалтикой.

Явно затянувшийся спор о принадлежности России к Европе, к Западу продолжается с прежней остротой. Вопросы внутренней и внешней политики в нем неразделимы. Осуждается ли судьба демократических институтов внутри страны или отношения России с внешним миром и прежде всего с Западом, речь идет в обоих случаях об одном и том же — о фундаментальных ценностях российского общества. «Обернувшись своею азиатской рожей» к Западу. власть неизбежно делает то же самое и по отношению к собственному народу.

Вековая борьба «западников» и «евразийцев», отягощенная на этот раз болезненным комплексом поражения в глобальной «холодной войне» с Западом, продолжается в самой русской культуре.

Травма поражения в «холодной войне» и утрата статуса сверхдержавы породили глубокий и неизжитый психологический комплекс в коллективном подсознании российского политического класса. Для него Запад остался смыслообразующим фантомным противником, в героическом противопоставлении которому выстраивались и еще долго будут выстраиваться все мифы российской внешней политики.

Как и триста лет назад, и двести, и двадцать, мы понимаем, что нам не обойтись без западных технологий, инвестиций, что автаркия и железный занавес будут означать экономическую и геополитическую катастрофу России. Мы знаем, что русская культура является органичной частью европейской. Но тем не менее похоже, что Запад раздражает нас самим фактом своего существования. Мы воспринимаем его как психологический, информационный, духовный вызов. Мы постоянно убеждаем себя в имманентной враждебности и злонамеренности Запада по отношению к России, потому что это льстит нашему самолюбию и легче объясняет наши неудачи и провалы.

Возьмите любое респектабельное издание и прочтите последние сто статей на внешнеполитические темы. Девяносто восемь из них будут полны обид, претензий, раздражения, яда, враждебности, адресованных Западу. При этом, однако, большинство их авторов предпочитают проводить как можно больше времени в западных столицах и на западных курортах, хранить деньги в западных банках и посылать детей учиться в западные школы и университеты.

Вообще все российское евразийство исторически вторично, является функцией обиды на Запад и выполняет для российской «элиты» роль не более чем психологической прокладки в критические дни ее отношений с Западом. Объяснение в любви к Европе при малейшем сомнении во взаимности сменяется угрожающим — «а если нет, нам нечего терять, и нам доступно вероломство».

Почему-то большим державно-патриотическим стилем считается перечисление с надутыми губками в различных западных аудиториях одного и того же стандартного обидничка — однополярный мир, договор ПРО, расширение НАТО, подползание НАТО, окружение НАТО. Очнитесь, уважаемые властители российских дум. В каком мире, в каком веке вы живете?

Где сейчас тысячекратно воспетая вами гигантская агрессивная военная машина НАТО? Она действительно подползла к священным рубежам

бывшего Советского Союза, но совсем с другой стороны. И боюсь, что для того, чтобы там и скончаться, защищая эти рубежи от продвижения исламских радикалов. Когда под улюлюканье борцов с «однополярным миром» НАТО уйдет из Афганистана и из истории, фронты исламской революции будут проходить уже через страны Средней Азии. А если взглянуть немного восточнее, там тоже происходят интересные события (см. ниже).

Но кому это интересно в нашей палате номер шесть? Гораздо приятнее предаваться привычным глюкам — штыки в Болгарии, русофобы в Прибалтике, клеветники России в Скотленд-Ярде. Ну что ж. В не столь отдаленной перспективе многовековые мучительно сложные психологические отношения ее пациентов с Западом могут наконец существенно упроститься. Не надо уже будет ездить на психоаналитические конференции в Мюнхен и оборачиваться там какой-то специальной «азиатской рожей». С ней и так все будет ясно.

3

Литва занимает особое место в русской Истории. После падения Орды центральной внешнеполитической и, более того, мировоззренческой проблемой для Московского Царства стали и все последние 500 лет остаются его отношения с вечно притягательным и вечно ненавидимым Западом.

Великое Княжество Литовское было и для русских государей, и тогдашних дьячков леонтьевых и пушковых чем-то вроде сегодняшних Соединенных Штатов. В противостоянии с ним вырабатывались все будущие мифологемы русского политического сознания. Его ядовитыми идеологическими плодами соблазнялись первые русские западники-реформаторы.

Оттуда, из Литвы, самый блестящий из них бывший сподвижник государя, герой Казанского похода князь Андрей Курбский вел свой знаменитый диалог с Иваном Грозным. Я вспомнил об этом, когда на одном из интеллектуальных форумов оттуда же, из Литвы, другой Андрей, другой бывший советник государя, продолжил через 500 с лишним лет все тот же спор уже с другим царем, с нашим (по выражению одного лизоблюдствующего космонавта) дважды Владимиром Красным Солнышком. Слова, может, были, другие, а суть спора та же.

Россия — это составная часть европейского пространства, на котором медленно, мучительно, с отступлениями, но веками от Magna Carta до Европейской Конституции вырабатывалась культура уважения к личности, к достоинству человека, культура свободы и терпимости?

Или она должна оставаться особой Ойкуменой, несущей в себе генетическую матрицу разрушенной ею Орды, пространством, где царствуют рабство и покорное терпение, разряжаемое время от времени бессмысленными и беспощадными бунтами, приводящими только к построению еще более жестокой и еще более бессмысленной фаллической вертикали?

Метафизически был прав А. Курбский, а исторически победил Иван Грозный, заложивший через несколько лет после падения Казани свою собственную Орду и на века наградивший сифилисом животного страха «российскую политическую элиту».

С тех пор его наследники — русские цари, генеральные секретари, президенты — десятки раз объявляли «модернизационные» проекты, обещали «догнать» вечно ускользавшую Европу или хотя бы отдельно взятую Португалию через 15—20 лет. Все эти проекты проваливались или тихо сходили на нет по одной простой причине.

Вот уже несколько столетий в русской истории, как в дурной бесконечности, повторяется один и тот же сюжет. Вновь и вновь появляется царь-модернизатор, который заявляет urbi et orbi: «Мы отстали от передовых стран Запада на 50 лет, если мы не пройдем этот путь лет за 10—15, нас сомнут». Неважно, кому принадлежат именно эти слова, — может быть, Петру Алексеевичу, а может быть, Иосифу Виссарионовичу.

Поднимая всю страну на дыбы, а всех сомневающихся в его мудрости на дыбу, модернизатор бросается в мобилизационный прорыв и, как правило, решает поставленную тактическую задачу. Ценой огромных жертв он догоняет Запад то по количеству пушек и фрегатов, то по чугуну и стали на душу населения в стране. И это вовсе не бессмысленные вещи. Они позволяют нам победить шведов под Полтавой, немцев в Сталинграде, войти в Париж и несколько раз в Берлин и первыми выйти в космос.

Но почему-то каждый раз после очередного мобилизационного триумфа очередного модернизатора Россия снова оказывается у разбитого корыта. Появляется новый правитель, который вынужден снова повторять ту же жвачку: «Мы отстали, мы должны, Португалия, удвоить, иначе нас... и т. д.»

Видимо, какая-то системная ошибка закралась в дерзкие проекты наших модернизационных рывков. Что-то в природе Запада, ускользающее от понимания наших модернизаторов, позволяет ему снова оставлять нас позади с горами чугуна, стали, гниющих ракет и подлодок и грезами о Третьем Риме и особом пути, секретный план которого хранится в особом отделе.

Когда молодой император Петр Алексеевич оказался в Амстердаме, он был покорен и очарован Европой. Ему нравилось все — великолепные верфи, чистые мостовые, восхитительные шоколадницы. Естественно, императору-реформатору захотелось все это немедленно перенести в Россию. Но так, чтобы и головы стрельцам продолжать лично рубить и, отвлекаясь от государственных дел, спускаться в подвал немножко размяться, попытав на той же дыбе наследника на предмет несанкционированных связей с иностранцами.

Прошло еще триста лет, и в Дрезден приехал молодой советский офицер КГБ, преданный и убежденный солдат партии и ее вооруженного отряда. Дрезден, правда, к тому времени благодаря успехам российских модернизаторов был уже не совсем Западом, но все еще достаточно Западом, чтобы стать футурошоком для шпиона, который пришел с Востока.

Если Петра, с детства увлекавшегося флотом, более всего поразили верфи, то Владимира перепахало немецкое пиво, которому посвящены единственные яркие и эмоционально насыщенные страницы довольно скучного повествования «Разговоры с Владимиром Путиным». Видимо, потягивая этот искусительный неистребимо буржуазный напиток, молодой офицер пришел к важным мировоззренческим выводам об экономической обреченности советской коммунистической системы.

Поэтому ставший президентом В. Путин совершенно искренне хотел построить в России процветающее рыночное общество, «как у них на Западе». Но так, чтобы были и управляемая В. Сурковым «демократия», и заточенная И. Сечиным «административная вертикаль», и «диктатура закона» с человеческими лицами В. Устинова и В. Колесникова. И чтобы несогласных олигархов в подвалы сажать, откуда они покаянные письма будут писать — «Коба, зачем тебе нужна моя смерть?» — а согласные будут яйца Фаберже десятками носить, а либеральные министры вставать на вытяжку и изображать шутов гороховых на потеху телевизионной публике. Это уже не back in USSR. Это уже back in 1580. «Пес я твой смердящий, государь», — такова новомодная политическая философия всей современной российской «элиты», включая назначенного наследника.

Вот в этом, видимо, и заключается системная ошибка наших августейших модернизаторов, которая повторяется из столетия в столетие. Очарованные материальными плодами Запада и жадно желающие ими овладеть, наши скифские правители с высокомерным презрением отвергают корни западной цивилизации, ее воздух, ненавистный им воздух Свободы и Человеческого Достоинства — все эти тысячи раз оплеванные ими европейские ценности, которые давно бы уже стали русскими ценностями в России Андрея Курбского.

Царь Владимир тоже недолго увлекался модернизационными мечтаниями своего советника Андрея. Слишком многих соратников по питерской бригаде пришлось бы отдирать от корыта властесобственности. Слишком от многих вековых традиций пришлось бы отказываться.

И наконец, слишком ничтожной стала ему казаться цель — догнать за 15 лет какую-то Португалию по уровню жизни населения.

Но он не просто заменил ее более сексапильной целью, а пошел на радикальный, по-настоящему еще не оцененный и даже многими не замеченный мировоззренческий шаг. Наш отечественный Путин-Фукуяма, остановивший Время, первым из русских царей порвал с телеологическим прочтением Русской Истории и объявил о ее конце.

Мы уже не строим ни Царство Божие, ни Коммунизм, ни Рыночную Экономику. Мы даже не удваиваем ВВП. Мы — Великая Энергетическая Держава. Мы уже приехали.

4

После падения Франции Англия оказалась один на один с нацистской Германией. «Я могу обещать вам только лишения, кровь, пот и слезы», — с этими словами только что назначенный премьер-министром Великобритании Уинстон Черчилль обратился к английскому народу.

Возможно именно эти слова из знаменитой речи Черчилля и всплыли в сознании анонимного путинского спичрайтера, когда он лудил следующий пассаж президентского послания: «На всем протяжении нашей истории Россия и ее граждане совершали и совершают поистине исторический подвиг. Удержание государства на обширном пространстве, сохранение уникального сообщества народов при сильных позициях страны в мире —

это не только огромный труд. Это еще и огромные жертвы, лишения нашего народа. Именно таков тысячелетний исторический путь России. Таков способ воспроизводства ее как сильной страны. И мы не имеем права забывать об этом».

Очень многих наших профессиональных «державников» этот действительно очень важный абзац послания настолько воодушевил, что они услышали в нем судьбоносный глас державнической трубы, некий тайный знак загадочного Путина-Штирлица своим сторонникам, которых он поведет во главе «нашей революции, Консервативной революции, Национальной революции» к «возрождению имперского мирового величия Отечества».

Если У. Черчилль обещал своему народу в тяжелейший час его истории кровь, пот и слезы на годы войны с Германией, то В. Путин или его спичрайтер обещают русскому народу «огромные жертвы и лишения» на все времена — тысячелетие назад и тысячелетие вперед. Более того, согласно этой абсурдной философии исторического мазохизма, вся русская история погружается в некий вечный замкнутый порочный круг. Народ совершает подвиги, несет огромные жертвы и лишения для того, чтобы сохранить пространство, поддержание которого требует новых подвигов, жертв и лишений. Пространство, пожирающее историческое время. Новая концепция четырехмерного пространства-времени. Путин как Эйнштейн сегодня.

Впрочем, эта сказочка о народе-богоносце, единственное предназначение которого совершать подвиги и нести огромные жертвы и лишения, вовсе не оригинальна. Это вечная песня российской элиты, обращенная к русскому народу, — вы там совершайте подвиги, приносите огромные жертвы и терпите лишения, а мы здесь будем руководить великой державой и «обширным пространством».

Так сладко было рассуждать об особом русском пути с огромными жертвами и лишениями, а еще о соборности и духовности и в уютных дворянских усадьбах, и в цековских санаториях, и в сегодняшних дворцах на Рублевском и Успенском.

Это отношение к своему народу как к богоносному быдлу, как к колониальному народу, как к сырью для державных экзерсисов элиты привело и к катастрофе 1917-го, и к катастрофе 1991-го. Приведет и к третьей, если как никогда сытая и безответственная элита не откажется от своей многовековой установки на жертвы и лишения призванного совершать подвиги народа.

Слишком долго в рамках этой модели Русское Пространство пожирало Русское Время, сохраняя себя. Но, видимо, исчерпались какие-то отпущенные ресурсы, и наступает стадия исторического коллапса: пространство начинает пожирать самое себя, схлопываясь в черную дыру. Русские правители, порхающие из одной отстроенной резиденции с джакузи в другую и продолжающие призывать к жертвам и лишениям, похоже, не заметили этого фазового перехода.

Восемнадцать лет назад мы потеряли половину пространства во многом именно из-за семидесятилетней установки на подвиги, жертвы и лишения, которая уже никого не привлекала и никого больше не обманывала. Скорее всего, мы в ближайшие 10–15 лет потеряем Дальний Восток и Сибирь в результате ползучей китайской демографической экспансии, и никакие

жертвы, лишения и подвиги этого не остановят. Как раз наоборот. Именно благодаря этим навязанным им жертвам и лишениям люди оттуда уезжают, оставляя эти территории, или просто умирают раньше времени. И новых бабы уже не нарожают. Удержать Русское Пространство в наше время можно только одним способом — позаботившись о человеческих комфортных условиях жизни там как можно большего количества русских людей.

II. Шах или мат Збига?

1

Я заранее извиняюсь перед читателем за то, что здесь мне придется не раз повторить то, о чем я уже писал. Но это моя последняя (и, скорее всего, снова бесполезная) попытка объясниться с нашими «вождями» и нашей «элитой» по вопросу, который я считаю важнейшим для безопасности страны, а скорее, просто для ее выживания..

В июне прошлого года, наблюдая в Вашингтоне за активностью китайских «академиков», зондирующих почву для возможного американско-китайского военного сотрудничества в Афганистане, я, в частности, писал примерно следующее (см. 138-й номер «Континента»).

З. Бжезинский еще десять лет назад в своей знаменитой книге «Великая шахматная доска» предлагал кондоминиум двух сверхдержав — США и «Большого Китая» — как модель мирового устройства в XXI веке. Тогда, на пике американского могущества и влияния, эта точка зрения казалась экзотической и маргинальной. Но китайцы умеют ждать. Они могли бы ждать и 50 лет. События, однако, развивались гораздо быстрее.

Американцы умерили свою гордыню и осознали пределы своих возможностей, столкнувшись с серьезными трудностями в Ираке и Афганистане.

Проблема Тайваня, служившая основным препятствием американо-китайскому сближению, нашла свое концептуальное решение в умах тайваньской элиты. Как гениально предвидел писавший совсем о другом Василий Аксенов, новое поколение гоминьдановцев стало ощущать себя частью «Великого Китая» и необратимый процесс гонконгизации Тайваня уже начался.

И наконец, складывавшийся было в 2001–2002 годах американо-российский стратегический союз, перспектива которого так беспокоила Пекин, был удачно похоронен дружными усилиями российской политической «элиты».

Китайцы блестяще выбрали время и акупунктурную точку (Афганистан) для дебютного хода на «Великой шахматной доске». Каким будет ответный ход американцев?

Барак Обама не очень опытен во внешней политике, но авторитетным наставником для него является все тот же Збигнев Бжезинский. 80-летнему патриарху американской внешней политики может выпасть триумфальный шанс не только увидеть своими глазами, но и, наставляя молодого президента, осуществить реализацию своей излюбленной геополитической концепции.

В сентябре 2008 года, анализируя геополитические последствия маленькой победоносной кавказской войны и прежде всего реакцию Вашингтона и Пекина, мне тоже довелось уже заметить, что Медведев, видимо, так еще и не понял, что же произошло в Душанбе 28 августа и что он там такое подписал. А подписал он там по существу декларацию о гарантиях территориальной целостности Казахстана и стран Средней Азии, данных Китайской Народной Республикой этим членам Шанхайской Организации Сотрудничества. Документ очень актуальный, потому что за два дня до этого, 26 августа, государственные границы всех 12 стран СНГ в одночасье потеряли свою легитимность.

Эти бывшие внутренние административные линии Советского Союза были превращены в государственные границы в декабре 1991 года по взаимному единодушному согласию государств-наследников СССР. 26 августа одна из двенадцати стран в одностороннем порядке это согласие разрушила. И какой же русский «патриот» не заговорил в эти дни о Севастополе и Северном Казахстане! С Севастополем у Лужкова-Батуринского, может, что-нибудь и получится, а вот что касается Северного Казахстана, то, как сказал бы товарищ Сухов, это теперь вряд ли. Восток дело тонкое.

Новая ситуация в полной мере касается, впрочем, и границ самой Российской Федерации и ряда ее национальных образований, о чем не преминули заявить имеющиеся там сепаратистские организации. Если вспомнить еще об изящной концепции Путина-Медведева насчет защиты военными средствами граждан с российскими паспортами, где бы они ни находились, то в целом заложена солидная правовая база для грядущей аннексии российского Дальнего Востока. Китайцам даже паспортов никому раздавать не придется.

И наконец, the last but not the least: китайские «академики» получили предварительный ответ на вопросы, поставленные им в Вашингтоне. Общим местом в американском внешнеполитическом дискурсе стала необходимость «консультаций с нашими союзниками и с Китаем» по вопросам политики в отношении России.

Процесс налаживания стратегического союза США и Китая, первые серьезные признаки которого мы с вами наблюдали в мае этого года, получил резкое ускорение все в том же августе. Римейк «Никсон-Мао-72» развертывается на наших глазах.

2

Железный Збиг приступил к реализации своей триумфальной миссии, даже не дожидаясь вступления нового президента в должность. Видимо, ему до сих пор не дают покоя лавры его вечного соперника — другой стареющей примадонны американской внешней политики — Генри Киссинджера, почти сорок лет назад перевернувшего мировую шахматную доску своей сенсационной поездкой в Пекин, предварившей встречу Ричарда Никсона с Мао Цзэдуном. Падение СССР по большому счету началось именно с этого визита.

«Большая двойка, которая может изменить мир», — так назывался доклад, прочитанный им на прошлой неделе в Пекине на торжествах по слу-

чаю 30-летия установления дипломатических отношений между США и Китаем.

Доклад З. Бжезинского был выстроен блестяще. Сначала он скромно напомнил, как в 1978 году президент Джимми Картер направил его в Китай для тайных переговоров, результатом которых стала нормализация отношений между США и КНР (*вежливый кивок в адрес сидящего в президиуме Дж. Картера*).

«И сразу же изменилась расстановка сил на глобальной шахматной доске холодной войны не в пользу СССР», — продолжил докладчик. — А сколько славных дел можно сделать сегодня, подняв уровень наших взаимоотношений до неформальной, без галстуков, знаете ли, Большой Двойки, управляющей, извините, гармонизирующей мир, — тут и Иран, и Ближний Восток, и индо-пакистанский конфликт, и т. д.»

И наконец замечательный финал: «И для президента Обамы — миротворца по своему призванию, и для президента Ху — автора концепции "гармонического мира" — эта задача окажется созвучной их самым сокровенным устремлениям. Это достойная миссия для наших двух стран, обладающих уникальным потенциалом для формирования нашего общего будущего».

Молодец, Збиг! Не сбился с темы, удержался и ни разу не произнес в этой парадной речи слово «Россия». Представляете, чего ему это стоило!

Читатели «Великой шахматной доски» хорошо помнят рекомендацию ее автора не препятствовать Китаю расширять свою естественную зону влияния в Евразии, включающую Тайвань, Среднюю Азию и потенциальные Дальневосточную и Сибирскую республики.

Если уже говорить о «созвучности самых сокровенных устремлений», то, действительно, эти рекомендации очень даже созвучны доктринальным установкам военных теоретиков КНР о «жизненном пространстве». Жизненное пространство, как они полагают, «используется для обеспечения безопасности, жизнедеятельности и развития страны» и «для сильных держав далеко выходит за рамки их государственных границ».

Кстати, к одиннадцати из своих двадцати четырех соседей Китай имеет территориальные претензии, а в китайских школьных учебниках географии в границы страны внесен ряд российских дальневосточных областей.

Насколько идея G2 с ее очевидными геополитическими последствиями разделяется сегодня американским политическим классом? Все в большей и большей степени. Во всяком случае тайваньский дебют был разыгран «Большой двойкой» строго по учебнику З. Бжезинского.

Если бы США готовились к серьезной геополитической конфронтации с Китаем (как можно было полагать в первые годы президентства Буша), то они рассматривали бы Тайвань как свой гигантский непотопляемый авианосец, холили и лелеяли бы сепаратистское правительство Чэнь Шуйбяня, — и тогда совсем другой была бы его политическая судьба. Но тайваньцы видят, что сегодня США относятся к острову скорее как к чемодану без ручки, который неудобно нести и который мешает увлекательной шахматной игре с КНР.Такая политика американской администрации во многом и предоопределила исход недавних парламентских и президентских

выборов 2008 года, которые привели к власти на Тайване гоминьдановских «героев Аксенова» во главе с президентом Ма.

Решение тайваньского вопроса не только закладывает необходимую базу для движения к Большой Двойке, но и кардинальным образом меняет горизонт китайского военно-стратегического планирования. В этом контексте совершенно иначе воспринимается история с беспрецедентными по масштабу десятидневными учениями двух прилегающих к границам России округов НОАК в сентябре 2006 года, так озадачившими военных экспертов. Напоминаю (см. № 138).

Войска Шэньянского военного округа совершили бросок на 1000 километров на территорию Пекинского округа, где провели учебные сражения. Подобный сценарий учений — это подготовка к наступательной войне с Россией и применительно к Тайваню не имеет никакого смысла. Учения такого масштаба проводятся для проверки уже принятых стратегических концепций и оперативных планов.

Кремль, так любящий принимать угрожающую позу альфа-самца по отношению к Грузии и Эстонии и баловаться полетами стратегических бомбардировщиков к границам США и Великобритании, нашел достойный асимметричный ответ на китайский вызов. Китайские войска были приглашены на Урал в рамках учений стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Эта замечательная ШОС была создана нами для «борьбы с однополярным миром» и оказалась идеальным инструментом для поглощения Китаем в среднесрочной перспективе бывших советских республик Средней Азии.

Такое поведение вполне укладывалось в уже более чем 15-летнюю историю болезни нашей политической элиты, страдающей евразийскими глюками и фантазиями, порожденными сном ее разума — от замшелых примаковских треугольников до свеженькой карагановско-лавровской фенечки о новой эпохе противостояния двух конкурирующих моделей капитализма — демократической и авторитарной.

За этими потугами на концептуальность всегда стояло простенькое желание воскликнуть: «Нас с Великим Китаем 1,5 миллиарда человек», — и погрозить Америке сухоньким кулачком из китайского обоза. Но, похоже, не берут в этот обоз кремлевских газотрейдеров.

3

И еще раз повторюсь.

Все эти годы я в меру своих слабых сил пытался разъяснить пациенту природу его недуга и несовместимость подобного недуга с жизнью руководимого им государства. О том, что все российское евразийство является функцией обиды на Запад.

При чем же тут Китай, Индия, сербские братушки, иракский или северокорейский диктаторы? Все это не более чем сиюминутные поводы, необходимые страдающей маниакально-депрессивным синдромом российской «элите» для выяснения отношений с вечно ненавидимым и вечно любимым Западом. Не к случайному собутыльнику, а к небесам Запада обращен экзистенциальный русский вопрос: «А ты меня уважаешь?»

Китайцы, кстати, все это прекрасно понимают и поэтому относятся к российским спорадическим заигрываниям скептически и с неизбежной дозой снисходительного и высокомерного презрения. Можно, конечно, из тактических соображений некоторое время обозначать фальшивые привязанности, но занятие это довольно утомительное.

Китай — это кошка, которая гуляет сама по себе вот уже несколько тысячелетий, самодостаточная держава, никакими комплексами в отличие от российской политической «элиты» не страдающая и ни в каком стратегическом партнерстве с Россией, тем более на антиамериканской основе, не нуждающаяся. Если эти бледнолицые северные варвары, в свое время навязавшие Срединной империи несправедливые договоры, почему-то придают такое значение бумажонкам о стратегическом партнерстве и многополярности, то ради бесперебойных поставок российского оружия можно эти бумажки и подписать. Но отношения с США, основным экономическим партнером и политическим соперником для КНР, гораздо важнее, чем отношения с Россией, и, выстраивая их, Пекин будет руководствоваться чем угодно, но только не комплексами российских политиков.

Разные мотивы движут создателями ШОС. С российской стороны — гнойная ненависть к Западу, раздражающему нашу комплексующую «элиту» самим фактом своего существования; социальная близость к обреченным диктаторам Средней Азии и желание путем ставки на них сохранить хоть какую-то видимость «ближнего зарубежья».

А с другой стороны — холодный прагматичный расчет Китая, уже приступившего к решению исторической задачи экономического и демографического поглощения России и Средней Азии в придачу. Шанхайские игры интересуют Китай не сами по себе. Гораздо важнее для него достижение промежуточной стратегической цели, — втянув Россию в евразийский блок, перерезать ее политические связи с Западом и тем самым облегчить задачу ее плавного поглощения.

Конфронтация с Западом и курс на «стратегическое партнерство» и фактическую коалицию с Китаем ведут не только к маргинализации России, но и к подчинению ее стратегическим интересам Китая и к потере контроля над Дальним Востоком и Сибирью — сначала de facto, а затем и de jure.

«Великим шансом для России» назвал это в газете «Ведомости» (13 июля) Александр Дугин, один из наших видных азиопов, влюбленный в эстетику СС и окормляющий советами высших сановников государства. С гордостью за отечественную историю заявил он как-то в своем судьбоносном манифесте «Евразия über Alles»: «В XVI веке Москва приняла эстафету евразийского имперостроительства от татар». Что же, азиопы Московии старательно пронесли эту эстафету через миры и века. Но если они, как и г-н Дугин, честные и последовательные азиопы и действительно полагают, что Евразия über Alles, то они должны понимать, что эстафету имперостроительства не только принимают, но и передают, что пять веков — это вполне приличный срок и что в XXI веке эту эстафету пора сдавать исторически более перспективному имперостроителю — Срединной империи, что, видимо, они и собираются сделать.

Священный Азиопский Союз императоров Пу и Ху — это союз кролика и удава. Он неизбежно и очень быстро приведет к полной хуизации нашего маленького Пу и нас всех вместе с ним. Мы просто не заметили, как, отчаянно пытаясь собрать хоть каких-нибудь вассалов в «нашем ближнем зарубежье», сами уже превращаемся в Ближнее Зарубежье Китая.

Что можно добавить к вышесказанному сегодня в начале 2009 года? Только то, что китайцы все меньше утруждают себя необходимостью притворяться и что-либо изображать. Они относятся к заискивающей перед ними российской клептократии и ее вождям с откровенным презрением и уже не скрывают это публично.

А как еще они могут к ним относиться, если в Китае членов ЦК (и даже, кажется, одного члена Политбюро) публично расстреливают на грузовиках на стадионах за гораздо меньшие прегрешения.

На разных уровнях нарастает откровенная демонстрация жесткости в отношении РФ и ее граждан. Выше говорилось уже о показательных военных учениях 2006 года. Все труднее идут экономические переговоры. Для Дальнего Востока России серьезную проблему уже на протяжении многих лет создает организованная преступность китайцев, контролируемая и координируемая разведывательными службами КНР.

Наконец, в последние месяцы систематический и организованный характер приобрели избиения российских челноков в приграничных китайских городах. Проблема стала настолько острой, что к ней обратилась телепрограмма «Постскриптум», традиционно относившаяся к мифу о «российско-китайской дружбе и стратегическом партнерстве» как к священной идеологической корове.

Китай действует все нахрапистей, и это ясно всем, кроме тех (а это подавляющее большинство российской политической «элиты»), кто сознательно засовывает голову глубже в песок

4

А как обстоит дело в США? Как далеко они готовы пойти по пути реализации концепции Большой Двойки? Объявил ли нам шах или поставил мат наш старый друг З. Бжезинский своей речью в Пекине?

Сдача Тайваня — это, конечно, серьезный и необратимый шаг. Но он еще не означает, что большинство американского истеблишмента готово и далее следовать курсу на «Большую двойку». Его среднесрочные тактические дивиденды очевидны, но в долгосрочном плане этот курс весьма рискован для США. Так полагают многие внешнеполитические эксперты не только в Республиканской партии, но и внутри администрации Обамы.

Обама — абсолютно прагматичный политик, лишенный каких-либо идеологических или догматичных привязанностей, и при всем его пиетете к З. Бжезинскому определять внешнеполитический курс США будет так, как он это видит в интересах США, опираясь на мнения ряда советников.

З. Бжезинскому, который говорил в Пекине уже как бы от имени Обамы, вполне возможно будут противостоять оппоненты, которые так же, как и Том Грехэм десять лет назад, все еще полагают, что «одна вещь совершен-

но очевидна — стабильность в тихоокеанском регионе окажется под угрозой, если присутствие России в Азии будет и далее ослабевать. Долгосрочные стратегические интересы США, да и большинства азиатских государств заключаются в присутствии сильной, экономически процветающей России в Восточной Азии. А если это так, то почему бы нашим двум странам, исходя из наших очевидных общих интересов, не подумать вместе над тем, как России воссоздать свою экономику на Дальнем Востоке таким образом, чтобы укрепить свой суверенитет в этом регионе».

С этими людьми можно и нужно работать, если мы хотим иметь союзников в сдерживании китайской экспансии, которая угрожает сегодня прежде всего нам самим, или если, по крайней мере, мы хотя бы хотим сорвать проект «Большой двойки». Но пока Москва дает сильные аргументы «китайскому лобби» внутри американского истеблишмента. Действительно, зачем помогать укреплять свой суверенитет на Дальнем Востоке тому, кто сам его фатально ослабляет. Да к тому же превращает антиамериканскую и антизападную истерию в основной идеологический инструмент своей внутренней политики.

Для российской клептократии антиамериканизм — это не только инструмент для оболванивания и мобилизации масс. Она сама крепко подсела на этот наркотик, заглушающий ее острый комплекс неполноценности. Это бывшая советская номенклатура, ее второй и третий эшелоны, сегодня в значительной степени гэбистские. Она слила СССР, государство, которому служила, ради личного обогащения; создала уродливую экономику-мутанта, позволяющую ей становиться еще богаче. Для чего? Для того, чтобы собирать и в угаре тратить свои сокровища на том же Западе, который она всегда ненавидела и который ненавидит сегодня еще гораздо больше за свое историческое и метафизическое поражение, за уязвимость своих авуаров, за свое ничтожество.

Подобная диалектика души требует все больших и больших доз наркотика, все более решительного «вставания с колен». Такая «элита» не нужна в качестве союзника никому — ни Западу, ни Востоку.

Она не способна вывести Россию из глубокого кризиса ее цивилизационной идентичности, так же как не способна преодолеть нарастающий не просто экономический, а экзистенциональный кризис порожденной ею уродливой системы. Потому что для этого ей прежде всего пришлось бы признать свой интеллектуальный и нравственный крах и уйти с политической сцены. Она — не решение. Она — суть проблемы.

Она вынуждена будет уйти рано или поздно, если страна не утратила еще инстинкт самосохранения. И от этого рано или поздно зависит ответ на поставленный нами вопрос: шах или мат объявлен России в Пекине.

P. S.

Двадцатого января в день инаугурации нового президента США Генри Киссинджер опубликовал статью в лондонской «Independent» — «The World must forge a new order or retreat to chaos» («Мир должен сформировать новый порядок или погрузиться в хаос»).

Цитирую основные принципы «нового мирового порядка» теперь уже по Г. Киссинджеру — З. Бжезинскому:

«Роль Китая в новом мировом порядке ключевая. Наши отношения начинались как стратегический проект, направленный на сдерживание общего противника. За десятилетия они превратились в центральную конструкцию системы международных отношений...

Китайско-американские отношения необходимо поднять на новый, более высокий уровень. У нового поколения наших лидеров уникальная возможность превратить их в проект нашей общей судьбы так же, как это произошло в послевоенный период с трансатлантическими отношениями».

Так все-таки это мат. И не только от Збига. И не просто мат. Это полный позорный аб-зац всей нашей внешней политики.

P. S. P. S.

Двадцатого января Генеральный штаб НОАК призвал к более тесному военному сотрудничеству между Китаем и США. Единственным условием поставлено окончательное прекращение военных поставок Тайваню.

III. Оттепель снизу

1

Многие наблюдатели как в России, так и за рубежом задают вопрос: можно ли надеяться в 2009 году или чуть позже на медведевскую либерализацию, депутинизацию, оттепель, перестройку (свободная критика властей на телевидении, освобождение политзаключенных, расследование убийств, в которых замешаны спецслужбы)?

Чтобы понять природу современной российской власти и попытаться определить вектор ее дальнейшего развития, рассмотрим ее в контексте эволюции советской номенклатуры. Нас каждодневно так поражают или, наоборот, уже не удивляют возрожденные черты советского прошлого (от выступления ткачихи до писем деятелей культуры), потому что правит нами сегодня та же бессмертная советская номенклатура.

За последние двадцать лет она помолодела, основательно перетряхнула свой персональный состав (прежде всего за счет громадного чекистского призыва) и обросла колоссальной собственностью. Сегодняшние члены ЦК, секретари обкомов и генералы КГБ, как бы они все по-новому ни назывались, стали долларовыми мультимиллионерами, а члены современного политбюро — мультимиллиардерами.

Так вот, пойдет ли этот «новый класс» на либерализацию своего режима? За свою почти вековую историю советско-российская номенклатура дважды объявляла оттепель сверху. Один раз — в 1953 году, после смерти Сталина, другой — в 1985-м, после коллективной смерти предыдущего политбюро.

Оба раза оттепель означала реальный шаг к свободе для миллионов людей в стране. А в первом случае для сотен тысяч людей — буквальный выход на свободу из лагерей. Но все это было побочным, вторичным эффектом номенклатурной оттепели-перестройки.

Каждый раз верхушка решала прежде всего свои собственные задачи. Оттепель 1953—1956 годов провозгласила своего рода первую Хартию вольно-

стей номенклатурных баронов. Заклеймив, а возможно, и предварительно убив Сталина, освободив политзаключенных, чуть-чуть приоткрыв страну и введя минимальные свободы, номенклатура закрепила свое право на жизнь, гарантии не быть превращенной в любой момент в лагерную пыль очередным диктатором. Как отмечала тогда с чувством глубокого удовлетворения газета «Правда», «в партии воцарилась атмосфера бережного отношения к кадрам».

«Бережное отношение» включало и скромное обаяние таких буржуазных ценностей, как цековский (обкомовский) распределитель, пыжиковая шапка, казенная дача, один раз в год — путевка в цековский (обкомовский) санаторий в Сочи и т. д. Самые дерзкие разрешали себе еще немножечко подворовывать.

Эти тихие радости продолжались лет тридцать, пока не подросли молодые комсомольско-гэбэшные волки, уже чисто конкретно представлявшие себе стандарты западного элитарного потребления, и потребовали для себя гораздо более «бережного отношения». Они и стали движущей силой перестройки, триумфального термидора коммунистической номенклатуры.

Каковы бы ни были личные устремления отца перестройки (вряд ли он даже сегодня сможет их внятно артикулировать), объективно она стала стартом гигантской операции по конвертации абсолютной коллективной политической власти номенклатуры в громадную личную финансовую власть ее отдельных представителей. Заключительным этапом операции (уже в наши дни) стало возвращение ими и абсолютной политической власти.

У сегодняшнего заматеревшего и обросшего громадной собственностью поколения правящей номенклатуры нет и не может быть ни малейших стимулов к либерализации. Наоборот, у них гораздо больше, чем у их исторических предшественников, оснований опасаться малейшего расширения пространства информационной свободы. Потому что в этом случае вопросы о происхождении, масштабе и структуре их состояний немедленно станут предметом сначала журналистского, а затем парламентского и, наконец, судебного расследований.

У Дмитрия Медведева могут быть самые либеральные политические и экономические взгляды, впитанные им с молоком легендарной волчицы на лекциях по римскому праву. Но ни хрущевская оттепель, ни горбачевская перестройка не были делом одного человека. Они опирались на сознательную волю правящего класса, решавшего свои жизненные проблемы.

Сегодняшние хозяева жизни — встающие с колен патрушевские дворняжки — никогда не позволят смердам замахнуться на их святыни и общаки-сокровища: Millhouse Абрамовича, Gunvor Тимченко. И, наконец, очень трудно представить себе Н. С. Хрущева, произносившего свой знаменитый доклад на XX съезде с товарищем Сталиным, не упакованным надежно в мавзолее, а меланхолически попыхивающим трубкой сзади в президиуме.

2

В конце 2008 года произошло, однако, несколько событий, позволяющих надеяться на другую модель позитивных изменений в стране. К одному из них волей судьбы автор имел непосредственное отношение. Около двух лет

в Басманном суде г. Москвы продолжался процесс по обвинению в экстремизме моих книг «За Родину! За Абрамовича! Огонь!» и «Нелюбимая страна». Замечательным перлом обвинительного заключения была фраза — «*возбуждал ненависть к русскому, еврейскому и американскому народам*».

Значение решения Басманного суда от 5 декабря 2008 года, а точнее, предопределившего его заключения Российского федерального центра судебной экспертизы, выходит далеко за рамки моего дела.

ФСБ и прокуратура, вооруженные новым законом об экстремизме, пытались провести показательный процесс, создав прецедент уголовного преследования за критику власти.

Высокопрофессиональное и научно аргументированное заключение Андрея Смирнова, Ольги Кукушкиной и Юлии Сафоновой, не нашедших никаких признаков экстремизма в моей резкой критике президента страны, выбило — и надолго, я надеюсь, — этот «карающий меч» из рук репрессивных органов.

34-страничный текст заключения — это наша маленькая Magna Carta, хартия вольностей российских журналистов, первый шаг к восстановлению в России свободы слова, предательски украденной у общества чекистским подполковником, вообразившим себя «отцом нации»*.

Таким же важным первым шагом к восстановлению независимого правосудия был бунт присяжных против попытки судьи сделать закрытым процесс по делу лиц, обвиняемых в убийстве Анны Политковской.

Слишком опасна для властей та правда, которая может прозвучать на открытом процессе.

«Национальный лидер» прославился двумя заявлениями, прозвучавшими на следующий день после убийства Анны. Сначала, с трудом сдерживая душившую его ненависть к убитой, он сказал, что она «была слишком незначительной журналисткой, и ее смерть принесла НАМ намного больше вреда, чем все ее публикации». Затем намеренно попытался направить следствие по ложному следу, утверждая: «НАМ достоверно известно, что убийство было организовано врагами России за рубежом».

Следствие, однако, эту версию не подтвердило и установило, напротив, что убийцам оказывали поддержку две бригады российских «силовиков» — одна из МВД и одна из ФСБ. На открытом процессе должно было выясниться, к каким вершинам власти ведут следы убийц Анны Политковской.

Не являются ли эти две победы — на процессе убийц Политковской и на процессе над книгами Пионтковского — свидетельством или предвестником наступающей в России оттепели?

Да, являются, — но не той оттепели сверху, о которой уже почти год говорят поклонники теории «либерального наследника».

Это оттепель снизу, инициированная не «наследником» Медведевым, а рабочим-кровельщиком Колесовым и учеными-филологами Смирновым, Кукушкиной, Савеловой, людьми, честно выполнившими свой долг.

---

* Мы полностью согласны с оценкой А. Пионтковским этого замечательного документа и считаем, что он заслуживает того, чтобы все желающие могли познакомиться с ним и в нашем журнале. Мы печатаем текст Экспертизы отдельным Приложением — в конце номера. — *Ред.*

А «наследнику» не разрешили, и он не посмел помиловать Светлану Бахмину, хотя его об этом публично почтительно просили его же пиарщики из Общественной палаты.

Вообще степень патологического садизма, проявляемого высшей властью в отношении Василия Алексаняна и Светланы Бахминой, такова, что заставляет с тревогой задуматься о психическом здоровье людей, стоящих во главе ядерной супердержавы.

Предложение отпустить за 50 миллионов умирающего Алексаняна, которого уже два года подвергают пыткам, — вот пример «оттепели» сверху, на которую способны наши власти.

Кому-то из высочайших гуманистов, наверное, пришла в голову мысль, что «смерть этого незначительного юриста в заключении принесет НАМ больше вреда» и поэтому стоит, пожалуй, отказаться от удовольствия продолжения его пытки.

2009-й станет годом оттепели снизу. Все больше людей будет отказываться от набоковского «приглашения на казнь», от игры по правилам, навязанным обществу чекистской клептократией. И тогда режим окажется перед дилеммой — переходить к массовым репрессиям или, наконец, решиться на как всегда запоздалую оттепель сверху.

У нас в гостях
«Новая газета» и журнал «The New Times»

Приглашаем вновь наших читателей на страницы рубрики, о характере и назначении которой мы подробно рассказали в предыдущем номере. Продолжая в ее рамках наше сотрудничество с дружественными нам «Новой газетой» и «The New Times», мы на этот раз выбрали для воспроизведения два материала, которые могут быть, как нам кажется, особо интересны нашим читателям тем, что остро и с разных сторон обращены едва ли не к самой животрепещущей теме современной российской жизни — к обстоятельствам и характеру экономического кризиса, все более охватывающего нашу страну. Это опубликованные в «Новой газете» (№ 18) выдержки из независимого экспертного доклада наших известных общественных деятелей Бориса Немцова (первого вице-премьера правительства России в 1997—1998 гг.) и Владимира Милова (замминистра энергетики в 2002 г.) и статья экономиста Евгения Гонтмахера (члена правления Института современного развития) из журнала «The New Times» (№ 8).

Борис НЕМЦОВ, Владимир МИЛОВ

ПУТИН И КРИЗИС

Борис Немцов и Владимир Милов выпустили свой третий совместный доклад — «Путин и кризис». Это анализ причин и особенностей нынешнего кризиса в России. Авторы доклада утверждают, что все заявления власти, касающиеся кризиса, — ложь, а правительство Путина не способно в складывающейся ситуации спасти страну.

Введение

Официальная пропаганда утверждает, что кризис — продукт, сделанный в США, и именно просчеты экономической политики американских властей — причина всех наших российских бед. Действительно, родина кризиса — США, однако развитие кризиса в России носит гораздо более серьезный и болезненный характер, чем на Западе. Глубокая девальвация рубля — более 50%, крушение фондовых индексов более чем на 75% (в США — 40%), дефицит бюджета — 20% в декабре 2008-го (такого не было даже в момент распада СССР), крушение объемов железнодорожных перевозок в начале 2009 г. — на 36%, спад производства более чем наполовину в металлургической промышленности, более миллиона новых безработных, резкое сокращение реальных зарплат, рост уровня бедности и разрушение среднего класса.

Развитие кризиса в России

Наиболее болезненно и тяжело по сравнению с другими странами кризис протекает в России. Выяснилось, что благополучие нашей страны в предыдущие годы строилось в основном на притоке дешевых денег из-за рубежа. Падение цен на нефть и бегство инвесторов (рекордный отток капитала) привели к колоссальному дефициту денег в российской экономике, вызвавшему обесценение рубля, обвальное падение промпроизводства, инвестиций, доходов населения.

Начнем с девальвации рубля. За период с лета 2008 года по начало февраля рубль рухнул на 50% — с 23,5 до 36 рублей. Причины падения рубля хорошо известны: Россия — нефтяная страна, и национальная валюта прочно привязана к цене нефти. Чем дешевле нефть, тем дешевле рубль. При этом сырьевая зависимость российской экономики за годы правления Путина резко усилилась. Если в 2000 году доля нефтегазового сырья в российском экспорте составляла 30%, то в 2007-м — 65%. Доля нефтегазовых доходов в бюджете страны составляла в 2000 году около 25%, в 2008-м — 50%.

Рубль оказался абсолютно незащищенным от падения в условиях резкого снижения цен на сырье, а всякие попытки его удержать стали дорогостоящей авантюрой. Даже неспециалисту ясно, что при сокращении поступления валюты в страну вследствие крушения цен на нефть твердая валюта в дефиците, а это значит, что за нее приходится платить больше рублей.

Однако российские власти во главе с Путиным решили во что бы то ни стало удержать курс рубля. На эти цели были израсходованы астрономические суммы из золотовалютных резервов страны — более $200 млрд. И что мы получили в итоге? Деньги выброшены, рубль падает, экономика идет под откос. Кто ответит за баснословный ущерб, который нанесли Путин и Ко России?

Курс доллара на 5 февраля 2009 году составил 36 рублей 31 копейку. **Падение рубля к доллару по сравнению с уровнем 1 августа 2008 года составило 55%**. Все это время высшие лица страны нагло врали россиянам, что «девальвации не будет».

Крушение рубля и банковский кризис связаны не только с падением цены на нефть. В течение 2008 года бегство капиталов из страны достигло $130 млрд. Это почти в два раза больше, чем приток капитала в 2007 году.

Как Путин помогает олигархам

Наиболее сильно пострадали строительство, металлургия, машиностроение, торговля. Т. е. те сферы, где без банковского кредитования невозможно делать бизнес.

Более 5 трлн рублей, выделенных Путиным на поддержку экономики с начала кризиса, в основном пошло на помощь банкам. Реальному сектору, производственным предприятиям эти деньги не достались — банки предпочли придерживать их или закупать на них валюту, вместо того чтобы выдавать кредиты предприятиям.

Поскольку кредитование закрыто, останавливаются стройки, встают домны, резко сокращаются железнодорожные перевозки, останавливаются предприятия. Спад промышленного производства в декабре 2008-го составил 10,3%. Особенно драматическая ситуация в металлургии. Остановлены домны в Магнитогорске, Липецке, Череповце, Нижнем Тагиле. Спад перевозок на железнодорожном транспорте составил 30% в декабре 2008 года и 36% в январе 2009-го. В строительстве рост объемов работ в декабре 2008 г. упал до нуля, темпы роста вводов жилья в 2008 году упали в 4,5 раза по сравнению с 2007-м.

Естественно, сокращение производства приводит к росту безработицы. С момента начала кризиса в России потеряли работу более миллиона человек. По оценке Евгения Гонтмахера, известного российского специалиста по вопросам социальной политики, к концу 2009 года в России будет 10 млн безработных (сейчас 5,8 млн).

Что предлагает Путин? Установить пособие по безработице в 4900 рублей. Форменное издевательство, не нуждающееся в комментариях.

Но вот кому он серьезно помогает — так это приближенным олигархам. Судите сами: одно из первых решений Путина после кризиса — резкое снижение налогов на нефтяные компании. Снижение налогов на нефтяников составит в 2009 году около $6,5 млрд. Одновременно Путин предложил увеличить ЕСН с 26 до 34%. Это налог на зарплаты россиян. Они и так сокращаются, а правительство решило увеличить на них налог. Что это, как не действия, направленные против большинства жителей страны.

Между тем, тихо и без объяснений, Путин выделяет лояльному олигарху Дерипаске $4,5 млрд, для того чтобы взять под личный контроль компанию «Норильский никель». Ни копейки из этих денег до рабочих «Норильского никеля» не дошло.

Далее он выделяет своим друзьям из «Роснефти» Сечину и Богданчикову через госбанки финансовую помощь в размере $4,6 млрд, хотя «Роснефть» по итогам года имеет прибыль $13 млрд. Затем Путин помогает своему приятелю Роману Абрамовичу, выделяя для поддержки его компании «Евраз» сумму $1,8 млрд. На очереди выдача помощи другу национального лидера С. Чемезову («Ростехнологии»), он просил более $7 млрд.

В целом Путин через ВЭБ выделил 1,3 трлн рублей на погашение внешнего долга корпораций и банков в 2008—2009 годах. Эти баснословные деньги выделяются из Фонда национального благосостояния. **Напоминаем, фонд создан не для поддержки олигархов-банкротов, а для выплаты пенсий.**

Одной из самых скандальных и вредных мер, принятых Путиным, было повышение пошлин на иномарки и введение запретительных пошлин на подержанные машины.

Эти меры направлены на поддержание бизнесов друзей Путина (Чемезова — АвтоВАЗ и Дерипаски — ГАЗ). И направлены против подавляющего большинства граждан страны. Во-первых, потому что это уже привело к росту цен на автомобили; во-вторых, качество российских машин никогда не улучшится без конкуренции; в-третьих, это потеря рабочих мест на Дальнем Востоке (100—150 тысяч человек потеряют работу); в-четвертых, это резкое сокращение таможенных платежей. Количество ввозимых через

дальневосточную таможню машин сократилось только в январе в 20 (!!!) раз, с 1000 до 50 штук в день. При этом ОАО «КамАЗ» объявило о сокращении 3 тыс. рабочих мест, 400 человек сократил «GM-АвтоВАЗ», а «Группа ГАЗ» допустила технический дефолт по облигациям.

Потери для федерального бюджета, согласно расчетам Владивостокской таможни, составят до $1 млрд, а **сборы от таможенных пошлин в 2009 году сократятся минимум на 40%, при дефицитном бюджете.**

Отчетливо видна стратегическая линия власти — помощь приближенным олигархам в ущерб подавляющему большинству населения и предпринимателей. <...> Результат — сокращение доходов граждан и рост числа бедных и безработных. Число безработных выросло с 4,74 млн человек в сентябре 2008 года до 5,8 млн в декабре 2008-го. Реальные располагаемые доходы граждан в декабре 2008 года упали почти на 12%, реальная зарплата — почти на 5%. Просроченная задолженность по зарплате в целом по стране выросла с 1 августа 2008 года по 1 января 2009 года — на 80%.

Зато олигархи-банкроты-друзья Путина в шоколаде. Он за наши с вами деньги спасает их бизнесы. И в этом истинный смысл антикризисных действий правительства.

Бюджет

Апофеозом некомпетентности правительства стало принятие бюджета-2009. Бюджет был принят осенью, когда кризис уже бушевал, исходя из совершенно нереальных параметров:

— инфляция в 2009 году — 8,5% (в 2008 году она составила 13,3%, на 2009-й прогнозируется примерно на таком же уровне — 13%);

— курс рубля — 24,7 руб. за доллар!

— рост ВВП — 6% (уже сейчас власти признают, что в 2009 году будет падение ВВП);

— цена на нефть — $95 за баррель (!!!), профицит бюджета — 3,7% ВВП (сегодня речь идет о дефиците бюджета как минимум в 7—10% ВВП).

Послушная Дума без особых дискуссий такой бюджет приняла. Когда 12 ноября Совет Федерации одобрил бюджет, нефть стоила $50/баррель. Уже сразу стало очевидно, что бюджет насквозь лживый, его надо принимать заново: принятый Закон о бюджете выполнять никто не собирается, и Россия впервые с 1991 года вошла в новый 2009 год без бюджета. Новый проект исходит из более реалистичных цифр, однако, как бы то ни было, в 2009 году ожидается дефицит бюджета в размере 2,5—3,5 трлн рублей и дефицит Пенсионного фонда в 500 млрд рублей. Таким образом, все запасы (в начале февраля 2009 года бюджетные резервы составили около $200 млрд), накопленные за последние годы от дорогой нефти, будут израсходованы уже в 2009 году. **Запас прочности режима — 1 год, и если кризис продолжится дольше, то финансовых ресурсов для выплат пенсий и зарплат у России больше нет.**

20.02.2009

Россия снова стоит на исторической развилке, которая по своему значению нисколько не уступает 1917 или 1991 году. Что делать и кто способен на поступки, столь необходимые сегодня стране, — снова задавался вопросом The New Times.

Евгений ГОНТМАХЕР

НА ОБЛОМКАХ САМОВЛАСТЬЯ

Глупый пингвин робко прячет
тело жирное в утесах...
Только гордый Буревестник
реет смело и свободно над седым от пены морем!..
— Буря! Скоро грянет буря!

М. Горький. Песня о Буревестнике

«В целом обеспечена макроэкономическая стабильность. Экономика защищена от внешних шоковых воздействий международными резервными активами Российской Федерации. Экономический рост приобрел устойчивый характер, заложены основы масштабных структурных и институциональных изменений». Председатель правительства Владимир Путин подписался под этими словами 17 ноября 2008 года, утверждая Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

Прошло всего лишь три месяца — и даже Министерство экономического развития, последний бастион оптимизма, снизило прогноз роста ВВП на 2009 год до падения на 2,2%. Так что же произошло за такой короткий срок?

Диагноз

Ответ прост: рухнул карточный домик не просто российской экономики, но и всей системы управления страной, столь старательно выстраиваемой все последние годы.

Читал или нет Владимир Путин весь текст упомянутой выше концепции — неизвестно.

А стоило бы. Потому что в самом ее начале основные авторы документа — министр Эльвира Набиуллина и ее зам Андрей Клепач — зафиксировали следующее: «Действие структурных ограничений усиливается нерешенностью ряда социальных и институциональных проблем, важнейшими из которых являются следующие: — высокий уровень социального неравенства и региональной дифференциации; — высокие риски ведения предпринимательской деятельности в России, в том числе в связи с наличием коррупции, излишними административными барьерами, недостаточным уровнем защиты прав собственности, непрозрачностью системы земельных отноше-

ний, низкой корпоративной культурой; — слабое развитие форм самоорганизации и саморегулирования бизнеса и общества, низкий уровень доверия в сочетании с низким уровнем эффективности государственного управления; — низкий уровень конкуренции на ряде рынков, не создающий для предприятий стимулов к повышению производительности труда; — недостаточный уровень развития национальной инновационной системы, координации образования, науки и бизнеса».

Это и есть итог развития экономики и общества за весь предшествующий нынешнему кризису период. Хотя, казалось бы, всё благоприятствовало другим результатам: и высокие цены на нефть и другое экспортное сырье, и тефлоновое поведение населения, у которого шаг за шагом отбирали право даже на минимальный политический выбор, и ласковый Запад, загипнотизированный флюидами, исходящими от «энергетической сверхдержавы». Но оказалось, что, несмотря на восковой глянец «стабильности», яблочко потихоньку гнило изнутри. И уже первые удары кризиса от этого глянца ничего не оставили...

Бегство от реальности

Но, может быть, правы те, кто пишет о зловредных «паникерах»? Может быть, действительно, давайте чуть-чуть потерпим — и американская зараза, сначала чуть не развалившая нашу банковскую систему, а потом погубившая российский фондовый рынок, запустившая маховик скукоживания ВВП, быстрого роста безработицы и падения реальных доходов населения, скоро выветрится, и мы вернемся в благословенную стабильность образца 2005–2006 годов?

К сожалению, нет, не вернемся. И не стоит себя тешить иллюзиями. А из этого следует простой, но очень важный вывод: все антикризисные меры должны быть направлены не на консервацию системы, которой уже нет, а на расчистку образовавшихся руин и формирование основ нового экономического устройства.

Что делать?

Не надо пытаться лихорадочно сколачивать список «стратегически важных предприятий», которым обещана либо уже дана бюджетная помощь. Государство никогда не сможет угадать, какие элементы экономики действительно перспективны и смогут обеспечить России конкурентоспособное будущее. Совершенно бесполезны и дискуссии о том, в чем наши потенциальные преимущества, без выполнения важнейшего условия — освобождения предпринимательской инициативы. При этом важно не поддаваться на эрзац-решения, столь распространенные в последние годы. Речь идет не просто о консультациях с бизнесом, которые носят во многом декоративный характер, а об изменении среды, в которой ему приходится существовать.

— Необходимо уже в ближайшее время предоставить двух-трехлетние налоговые каникулы и освобождение от всех проверок для малого бизнеса.

— Надо прекратить «кошмарить» средний и крупный бизнес, навязывая ему, — как формальными мерами, так и неформальными, — куда и во что инвестировать капитал.

— Следует избавить от назойливой «опеки» государства судебную систему, которая сейчас зачастую принимает очевидно предвзятые вердикты в хозяйственных вопросах.

— Взять за правило: ни одно экономическое решение государства не должно приниматься без публичной дискуссии и поиска согласия с представителями предпринимательских кругов.

— Те сотни миллиардов рублей, которые предназначены для «адресной» помощи по неизвестно каким критериям, нужно предоставить в распоряжение бюджетной системы для компенсации выпадающих налоговых сборов.

Снявши голову...

Хватит охать и ахать по поводу растущей безработицы. То, что миллионы людей лишаются работы и (или) заработка из-за сокращенного рабочего времени, административных отпусков и т. п. неприятных вещей, — прямой и неизбежный результат нашей экономической политики последних лет. Крепнущая экспортно-сырьевая примитивизация российской экономики вкупе с ее сверхмонополизацией создала два флюса на рынке труда.

Первый — это раздутые штаты в компаниях, получающих легкие деньги. При 100% рентабельности можно позволить себе содержать многочисленный, хорошо зарабатывающий, но, по сути, бесполезный «офисный планктон». Но когда рентабельность быстро снижается, судьба этих ни в чем не повинных людей очевидна — они оказываются на улице. Причем это в своей массе молодые и малоквалифицированные (несмотря на дипломы о высшем образовании) люди, которым придется довольно круто менять свою жизнь.

Второй флюс — миллионы безнадежно морально и технически устаревших рабочих мест (реликтов советской экономики), на которых невозможно получать сколько-нибудь приличную зарплату, сосредоточенных главным образом в российской провинции и в моногородах. Если до кризиса они держались только благодаря крошкам с экспортно-сырьевого стола, то сейчас у них нет шансов на выживание. И тут ничего не поделаешь: этот балласт давно надо было сбросить.

Но если еще пару лет назад ликвидация двух этих флюсов могла пройти относительно безболезненно с социальной точки зрения, то сейчас, — хотим мы того или не хотим, — это уже стало происходить, что называется, по факту. Поэтому оказание административного давления на работодателей, с тем чтобы они не увольняли персонал, лишь загоняет проблему вглубь: платить нечем и не из чего, деньги дешевеют, люди в любом случае будут недовольны, а кормя их пустыми обещаниями, мы просто лишаем их выбора, возможности найти выход из тяжелой ситуации, которая неизбежно будет только усугубляться. Результатом будут еще бóльшая озлобленность и стихийное развитие событий.

А вот что надо сделать, так это предложить уволенным массированные государственные программы поддержки, которые должны быть несопоставимы по размеру с тем, что выделяется на данный момент. Задача очевидна: развязав предпринимательскую инициативу, надо обеспечить бизнесу необходимый человеческий капитал.

В этом смысле крайне важно, наконец, сформировать программу государственных гарантий в области здравоохранения, которое у нас чудовищное. Для этого из бюджета надо выделить не 3,5% (как сейчас), а не менее 6% ВВП.

Что касается образования, то пора от слов перейти к делу, радикально повысив общественные (а значит, и государственные) требования к качеству образования.

Надо безжалостно закрывать те учебные заведения, которые дают (в том числе и за бюджетные деньги) ничего не стоящие дипломы, и, наоборот, всячески поддерживать тех, кто выпускает действительно образованных школьников и полноценных специалистов-профессионалов.

Кто?

Закономерен вопрос: а кто возьмет на себя риски и ответственность за те болезненные шаги, без которых кризис не пройти и без которых все заявленные на 2020 год благостные ориентиры обречены стать всеобщим посмешищем?

Одной политической воли (на нее уповали и в начале 2000-х) явно недостаточно.

Чтобы получить реальные шансы на успех, необходимо в максимально короткие сроки заменить нынешнюю правящую элиту, доказавшую свою неспособность противостоять реальным угрозам для России. Кто придет ей на замену? Люди из бизнеса. Если угодно — это и есть настоящий кадровый резерв. Плюс эксперты, не пожелавшие обменять свою принципиальность на легкие деньги. Речь идет прежде всего о замене кадров в исполнительной власти всех уровней, включая губернаторов.

Впереди у России нелегкое время. Чтобы сделать выбор, ответственной политической элите осталось очень мало времени. Экономика круто пикирует вниз. Счет пошел на месяцы.

2.03.2009

Александр МИШУЛОВИЧ

ПРОГНОЗ И ДИАГНОЗ

Еще раз о науке и религии

Давайте же не становиться в позу апостолов новой религии, даже если это религия логики, религия разума.

П.-Ж. Прудон. Письмо к К. Марксу

Я пламенно люблю астрономов, поэтов, метафизиков, приват-доцентов, химиков и других жрецов науки, к которым Вы себя причисляете чрез свои умные факты и отрасли наук.

А. П. Чехов, Письмо к ученому соседу

Когда в 1815 году два императора, четыре короля, два наследных принца, три великих герцогини и весь цвет европейской дипломатии завершили Венский конгресс, Европа вступила в полосу мира и процветания, ранее не виданную. Целое столетие карта континента оставалась почти без перемен. Разве что Германия под эгидой Пруссии объединилась в Германскую империю и Италия отвоевала у Австрии право на самоопределение. Но военные конфликты были просто мелкими стычками, — по крайней мере, по сравнению с тем, что видела Европа в прошлые века: Семилетняя война, Тридцатилетняя война, Столетняя война. Не говоря уж о совсем недавних наполеоновских походах. Только к Оттоманской империи пришлось применить более энергичные меры убеждения, и в конце концов турки бросили европейские владения и убрались в свою Малую Азию, оставив себе только Константинополь в виде утешительного приза.

Мирное столетие стало эпохой необычайного технического и научного прогресса. Вначале паровая машина была главным источником энергии для растущих, как грибы, заводов и фабрик, для железных дорог и морских судов. Позже, почти одновременно, пришли электромотор и двигатель внутреннего сгорания. Телеграф и телефон связали дальние города и материки — сначала по трансатлантическому кабелю, а потом через новейшее беспроволочное устройство. Электричество осветило улицы городов. А на третьем году

Александр МИШУЛОВИЧ — родился в 1937 г. в Харькове. Окончил Харьковский политехнический институт и аспирантуру НИИЦемента (Москва). Печатался под псевдонимом М. Александер в «Новом русском слове» и журнале «Вестник», а также под собственным именем — в специализированных технических изданиях. В «Континенте» печатается с 2007 г. С 1978 г. живет в США.

нового, двадцатого века взлетел первый летательный аппарат тяжелее воздуха — древняя мечта человека стала явью.

Развитие техники подталкивало научные исследования, а открытия ученых открывали дорогу новым техническим разработкам. Основы того, что мы знаем о термодинамике, прикладной механике, химии, электричестве и магнетизме, — все это было заложено в это удивительное столетие. Наверное, школьный учебник физики 1900 года издания мало чем отличался от того, по которому я начинал учиться полвека спустя.

Удивительно ли, что европеец XIX века чувствовал себя всемогущим? Казалось, не было таких высот, которых не мог бы достичь цивилизованный мир. Пожалуй, ни один писатель так полно не выразил оптимизм той эпохи, как Жюль Верн. Его герои высаживались на неведомых островах, спускались к центру Земли и отправлялись из пушки на Луну. Благородный капитан Немо на своем «Наутилусе» проплывал 20 тысяч лье под водой. Задолго до Сикорского и Миля парил над землей вертолет жюль-верновского Робура-Завоевателя. Это была новая утопия: вера в то, что человек, вооруженный силой науки, станет сильнее самой природы и построит новую жизнь, свободную от нужды и страха.

Но лучшие умы Запада размышляли не только над загадками науки и техническими чудесами. Все большему числу мыслящих людей не давала покоя очевидная несправедливость существующего социального порядка. Неравенство различных слоев общества существовало всегда. В докапиталистическом строе разделение на имущих и неимущих зависело от общественного статуса, от наследственной принадлежности к той или иной касте. При капитализме граница между классами стала определяться местом отдельной личности в производственных отношениях. Еще Адам Смит отмечал конфликт интересов хозяев и наемных рабочих. О том же конфликте писали и классики политической экономии, и ранние социалисты. Но Маркс и Энгельс впервые провозгласили в «Манифесте», что вся мировая история была борьбой классов. Так теория классов стала основой политической философии.

Марксова модель капитализма работает следующим образом. Буржуа, или капиталисты, владеют орудиями и средствами производства, т. е. капиталом. Пролетарии, капиталом не обладая, вынуждены наниматься на работу к капиталистам. Рабочие производят товары, а капиталист их продает, получая от этого прибыль — прибавочную стоимость, главное мерило эксплуатации. Таким образом, эксплуатация пролетариата буржуазией коренится в частной собственности. Поэтому «коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: уничтожение частной собственности». Тогда возникнет общество, где «свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех».

К этому времени почва для такого рода идей уже созрела. С одной стороны, эксплуатация рабочих была вполне реальной и действительно беспощадной. С другой стороны, учение Маркса привлекло последователей среди так называемых образованных классов. Этот слой общества тоже в каком-то смысле был продуктом промышленной революции. В своей черно-белой схеме Маркс с Энгельсом не заметили, что капитал — это не только земля

и машины. Нужен еще человеческий капитал, люди со специальными навыками и знаниями: ученые, инженеры, наконец, «менеджеры» (Энгельс именно в такой роли провел бóльшую часть своей трудовой карьеры, называя это «принудительным трудом»). Интеллигентов привлекало в новом учении сочетание морального осуждения системы эксплуатации с научной, почти академической формой. И Маркс, до недавнего времени мало кому известный эмигрант, философ-надомник, в 1864 году становится вождем Международной Ассоциации Рабочих и самой влиятельной фигурой европейской революционной мысли.

В это время в рабочей среде уже формировалось сознание принадлежности к отдельному классу, враждебному классу эксплуататоров. Еще в начале века стали возникать первые рабочие организации, вначале нелегальные. В Международной Ассоциации (Интернационале) были представители зарождавшихся профсоюзов, но тон в ней задавали левые эмигранты самых разнообразных толков: социалисты-утописты, анархисты, итальянские республиканцы, сторонники Бланки и Кропоткина. Однако за несколько лет Марксу удалось путем хитроумных интриг изгнать из Совета всех инакомыслящих, и Интернационал стал первой международной правоверно марксистской революционной организацией. А это в свою очередь добавляло марксизму неоспоримый авторитет в глазах интеллигенции. И когда под прямым влиянием Интернационала в разных странах Европы стали образовываться рабочие партии, их марксистская социалистическая ориентация была уже почти автоматической.

Что привлекало в марксизме множество мыслящих людей, стремящихся к социальной справедливости?

Прежде всего, эта революционная доктрина не только объясняла, что́ было не в порядке с капиталистическим строем, но и учила, как его изменить.

Но была и еще одна причина, — я бы сказал, психологическая. По Марксу, человеческий результат буржуазной эксплуатации — это «отчуждение»: сама деятельность рабочего теперь ему уже не принадлежит, и он становится рабом своего предмета. «*В результате*, — пишет Маркс, — *получается такое положение, что человек (рабочий) чувствует себя свободно действующим только при выполнении своих животных функций... а в своих человеческих функциях он чувствует себя только лишь животным*». Отсюда, очевидно, следует, что более сложные функции выпадают на долю «части буржуа-идеологов, которые возвысились до теоретического понимания всего хода исторического движения». Таким «буржуа-идеологам» было лестно ощущать себя ясновидцами, вожаками в борьбе за благородное дело — освобождение трудящихся.

В этом был элемент интеллектуального снобизма, который всегда был присущ Марксу (вспомните «*идиотизм сельской жизни*») вместе со снобизмом бытовым: как только он не поносил Энгельса за длительную связь с малообразованной женщиной! Из этого зародыша выросли не только ленинский план «*привнесения классового сознания в рабочий класс*» и тоталитарные «марксистские» режимы, но и искренняя вера левой интеллигенции в право и обязанность вести общество по пути прогресса и справедливости.

Тем временем парламенты Западной Европы один за другим принимали законы, регулирующие отношения между трудом и капиталом. Даже Энгельсу пришлось признать, что его «Положение рабочего класса в Англии в 1844 году» безнадежно устарело. В ответ на исторические перемены из монолитного марксистского движения выделялись течения, ведущие в сторону от воинственной риторики «Манифеста». Марксизм все больше получал признание как вполне респектабельная часть политической философии. Парадоксально, успех Маркса оказался в явном противоречии с его теорией — о том, что не идеи, а материальные условия определяют ход истории. И само понятие социализма стало немного размытым, особенно когда германский канцлер Бисмарк провозгласил курс на «государственный» или даже «монархический» социализм. Пророчества Маркса об абсолютном обнищании пролетариата и грядущем глобальном кризисе капитализма стали забываться.

Тем не менее до классовой гармонии было еще далеко. Да и новые технологии уже не казались универсальным средством лечения общественных недугов. Вслед за «отцом научной фантастики» Жюлем Верном пришел Герберт Дж. Уэллс. Он не вдавался в технические детали. Его интересовало другое: что случится, если научные открытия попадут в руки дуракам? И вот тучный мистер Пайкрафт, мечтавший сбросить лишний вес, выпивает некий чудодейственный эликсир, отчего теряет весь вес и всплывает к потолку, как воздушный шар. У поезда, работающего без притока внешней энергии (*«построенного превосходной фирмой Шульца и Брауна в Пекине... производство было перенесено туда в 1920 году ввиду дешевизны рабочей силы»*), не оказывается тормозов, и, разогнавшись до невиданной скорости, он взрывается в тоннеле под Лондоном. И мистер Фодерингей, *«человек, который мог творить чудеса»*, приказывает Земле внезапно остановиться, отчего все окружающее его: деревья, дома, люди, — все исчезает в вихре молний и грома разразившейся космической бури.

* * *

Первая мировая война действительно была глобальным кризисом. Она же нанесла тяжелый удар по мифу о благодетельной роли научного знания. Самолеты, танки, скорострельное оружие были плодами все того же научно-технического бума. Фриц Габер, получивший Нобелевскую премию за одно из величайших изобретений в истории химии — производство аммиака из атмосферного азота, изобретения, открывшего дорогу промышленности удобрений, анилиновых красителей и, кстати, взрывчатых веществ, — этот самый Фриц Габер разрабатывал первые немецкие отравляющие газы и лично руководил их применением на фронте.

Окончание войны не принесло разрешения мировых проблем. Да, техника развивалась все быстрее. Новые науки, ровестницы XX века, — радиоэлектроника, атомная физика — обещали изменить повседневную жизнь. Но это само по себе не вело человечество к миру и процветанию. Когда Гитлер пришел к власти, Германия была мировым лидером в науке: из 103 Нобелевских премий по физике, химии и медицине у немцев была 31 — больше, чем у США и Англии вместе взятых. И в 1930 году Илья Ильф грустно заметил в одной из записных книжек: *«В фантастических романах*

главное это было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, а счастья нет».

Всемирная депрессия 30-х годов заставила многих обратиться к теориям Маркса: разве не было очевидным, что капиталистическая система стояла на грани предсказаного им краха? А тем, кто продолжал сомневаться, нужно было только взглянуть на одну шестую земного шара: большевики, придя к власти совершенно немарксистским способом — путем военного переворота, — создали первое и пока единственное марксистское государство. Кто только ни поддался искушению коммунистического миража: Анатоль Франс и Теодор Драйзер, Анри Барбюс и Бертольт Брехт, Фредерик Жолио-Кюри и Джон Бернал...

Но влияние Маркса выходило далеко за пределы повседневной политики. Марксистская модель классового общества и классовой борьбы стала аксиомой не только для РАППа и ВАППа (*«бытиё, а по-ихнему еда и питьё определяют сознание»*, — издевался Маяковский), но и для общественных и гуманитарных наук на Западе.

Ужасы Второй мировой войны заставили многих взглянуть на саму натуру человека с глубоким пессимизмом. Но капитализм не рухнул. Прошло совсем немного лет, и Западная Европа встала на ноги. Больше того, недавно еще полуколониальные страны Дальнего Востока вслед за Японией влились в число индустриальных «тигров».

Да и отношения между трудом и капиталом изменились. В США в 1952 году было 470 забастовок, в которых участвовали 2,7 млн рабочих. В 90-е годы число крупных забастовок сократилось в среднем до 11 в год, с 217 тыс. участников. Сразу после войны в профсоюзах состояло 36% американской рабочей силы. Сегодня эта цифра — 12%. И состав профсоюзов изменился: более трети их составляют государственные служащие, включая учителей. А в частном секторе преобладают не рабочие «от станка», а работники сферы обслуживания.

Семена марксизма, посеянные поколения назад, все еще давали ростки. Идеи классовой борьбы стали терять свое очарование: и уровень жизни пролетариата вырос неизмеримо, и классовые барьеры стали сглаживаться, в первую очередь благодаря широкому доступу к образованию. Но лозунги социализма сохраняли свою привлекательность. Присущий интеллектуалам «романтический антикапитализм», как назвал его венгерский философ Д. Лукач, искал себе новые мишени.

* * *

Такой мишенью стала охрана природы. То, что безудержный экономический рост вредит окружающей среде, было ясно давно. Еше в 1872 году американское правительство начало создавать заповедники, или национальные парки, чтобы сохранить территории с нетронутой дикой природой. К чисто сентиментальным соображениям добавилась реальная проблема: загрязнение воздуха и воды начинало грозить здоровью населения. Но только к середине XX века защита окружающей среды стала предметом законодательства в США и других странах. Тогда уже существовало множество организаций, добивавшихся усиления контроля над охраной природы.

Их поддерживало все более массовое общественное мнение, особенно после того, как несколько серьезных экологических катастроф получили широкое освещение в печати.

Условия для реформ созрели и благодаря новой экономике. К этому времени развитие стран Запада достигло уже такого уровня, что промышленность могла себе позволить существенные затраты для очистки воды и воздуха (ведь для некоторых отраслей требовались дополнительные капиталовложения до одной трети стоимости основного оборудования).

Но несомненные — и заслуженные — успехи только раздразнили аппетит сторонников защиты природы. Возникло движение, которое уже направляли не конкретные, практические цели, а определенная философия. На Западе оно получило название «энвайронментализм», что и по-английски звучит довольно неуклюже.

Это движение считает датой своего рождения 1962 год — год выхода в свет книги Рэйчел Карсон «Немая весна» (Rachel Carson, «Silent Spring»), главной темой которой были опасности, связанные с применением ядохимикатов для борьбы с насекомыми. Но намерения автора шли дальше. Карсон хотела противопоставить свою философию той, которая «*родилась в неандертальский век биологии, когда считалось, что природа существует для удобства человека*».

В той или иной степени из этого тезиса исходят все движения защитников природы. Согласно их точке зрения, взаимодействие человека и природы — это война, в которой одна сторона выигрывает, а другая неизбежно проигрывает. В этой войне на одной стороне человечество, а на другой — все остальное: реки и горы, леса и полярные льды, белые медведи, уссурийские тигры и неведомые пташки из списка вымирающих видов. И среди множества программ вполне мирных организаций нет-нет да всплывет платформа группы, которая провозглашает, что, поскольку «*любая жизнь ценна сама по себе*», то «*человеческий род может выжить при существенном уменьшении населения, что необходимо для выживания других форм жизни*».

Почему так много людей поверили в то, что человеческой натуре искони присуще лишь зло, которое она и несет окружающему миру? Почему общество так глубокого разочаровалось в духовных ценностях Запада? Наверное, корни этой социальной болезни кроются в трагических событиях предыдущих пятидесяти лет. Но так или иначе все больше умов обращались к источникам мудрости вне иудео-христианской традиции — к восточным религиям, верованиям американских индейцев, к дохристианским языческим культам и свежеизобретенной философии «Нового Века». Все казалось лучше, чем грубо материалистическая бездуховная культура современного потребительского общества. И «энвайронментализм» с его полумистическим отношением к природе, с подменой научной дискуссии непогрешимыми моральными догмами стал все отчетливее приобретать черты новой религии. Недаром Джозеф Сакс, адвокат, представлявший «зеленые» организации в нескольких судебных процессах, назвал защитников природы «*пророками, несущими послание спасения*». И в номерах отеля «Гайя» в Калифорнии гостям вместе с обязательной библией предлагается книга Альберта Гора о грядущем глобальном потеплении.

А как же исторический материализм Карла Маркса? В его время охрана природы не была такой уж важной темой. Но, описав трудовой процесс как «*метаболическое взаимодействие между человеком и природой*», Маркс высказал мысль вполне в русле своей центральной доктрины: «*Частная собственность отдельных индивидуумов на землю так же абсурдна, как частная собственность одного человека на других людей*». Современные марксисты (например, Джон Б. Фостер, профессор университета штата Орегон) разыскали в «Капитале» указания о том, что человечество должно «завещать будущим поколениям землю в улучшенном состоянии». Оказалось, что это прекрасно сочетается с антикапиталистической направленностью «энвайронментализма», несмотря на его идеалистический дух. В самом деле, в глазах защитников природы воплощение зла — это безликие корпорации. Забудьте Жюля Верна: наука и техника давно перестали служить на благо людей, обратив свое могущество в орудие для обогащения этих самых корпораций.

Так движение защитников природы стало все больше приобретать политическую окраску. А где политика — там и стремление к власти. Поэтому следующим естественным шагом стало их формальное объединение в партии, именующие себя «зелеными». Простые идеи охраны окружающей среды выстроились в идеологию. И какую идеологию!

«Всемирная хартия зеленых», принятая в Канберре в 2001 году, так определяет, «что значит быть зеленым в новом тысячелетии»:

«*Здоровье, счастье и осуществление прав возможны только, когда мы чувствуем, признаем и действуем в соответствии с нашим духовным единением со всеми формами жизни*».

Это могло бы звучать, как безобидная болтовня. Но дальше Хартия обращается к конкретным целям, и тут уже ее направленность становится вполне определенной: «*Мы утверждаем, что ключом к социальной справедливости является равное распределение социальных и природных ресурсов. Мы провозглашаем, что нет социальной справедливости без экологической справедливости, и нет экологической справедливости без социальной справедливости*». И далее следует набор лозунгов, знакомых со времен Сен-Симона и Шарля Фурье: «*...справедливая организация мира и мировой экономики, которая закроет разрыв между богатыми и бедными... искоренение бедности как этическая, социальная, экономическая и экологическая необходимость... уничтожение неграмотности... феминизм*». И конечно же, обвинение развитых стран в том, что образ их жизни приводит к деградации окружающей среды и человеческого достоинства.

Неудивительно, что при такой платформе «зеленые» партии занимают в парламентах западных стран позиции слева от самых радикальных социалистов. И это легальные, мирные партии. А ведь есть еще Greenpeace («Зеленый мир») и американский Фронт освобождения Земли (Earth Liberation Front, ELF), — эти не останавливаются перед диверсиями против неугодных им предприятий и даже научных лабораторий.

На таком фоне русские «зеленые» выглядят почти консервативными. Программа Российской экологической партии «Зеленые» ищет «*экологически ориентированный, конструктивный и системный подход к политическим, экономическим, социальным и другим общественным отношениям*». Среди

ее стратегических целей — «*укрепление и развитие России как демократического правового государства, становление духовно, нравственно и физически здорового общества, в котором... все усилия и мощь государства направлены на обеспечение достойного существования и благоприятной окружающей среды каждому гражданину*». С такими целями спорить трудно, принимая во внимание политические реалии сегодняшней России и экологические проблемы, унаследованные от Советского Союза.

...Как бы то ни было, вскоре «зеленые» уже могли похвалиться множеством правил и запретов, принятых под их нажимом на государственном и даже международном уровне. Но при этом они редко задумывались над ценой своих побед. Вот характерный пример. В течение многих лет ядохимикат ДДТ успешно использовался для опыления болот — рассадников малярийных комаров. Хотя клинические исследования подтвердили его безвредность для человека, после публикации книги Р. Карсон ДДТ был запрещен во всем мире. И вот результат: малярия, которая была практически искоренена, вновь стала серьезной угрозой во многих тропических странах. В Шри-Ланке (Цейлон) за 15 лет применения ДДТ заболеваемость малярией упала с сотен тысяч в год до 17 тыс. (1962 год). После запрета ДДТ годовое число заболеваний подскочило до 480 тыс.

Иногда стремление защитить природу от человека доходит до смешного. В штатах на севере США на улицах и дорогах после снегопадов рассыпают соль, чтобы облегчить их очистку от снега. Но в городе Сиэттл, на берегу Тихого океана, это запрещено. Почему? Чтобы защитить соленую океанскую воду от стекающей в нее соли. А тем временем пешеходы и автомобили с трудом передвигаются по обледенелым улицам.

Что, если люди не послушают «зеленых» и будут продолжать свое наступление на природу? На это у «энвайронменталистов» ответ готов, и их предсказания звучат, как новый Апокалипсис. Насколько они сбываются — это другой вопрос.

Сорок лет назад международная группа специалистов в области дипломатии, промышленности, науки и общественной деятельности собралась на римской вилле промышленника Аурелио Печчеи, чтобы обсудить проблемы неограниченного роста мировой экономики. Результатом работы «Римского Клуба» стал изданный в 1972 году отчет «Пределы роста». Отчет утверждал, что запасов золота на Земле хватит до 1981 года, ртути и серебра — до 1985, олова — до 1987. Нефть, медь, свинец и природный газ кончатся к 1992 году.

Другая организация, «Environmental Fund», в 1975 году поместила в крупнейших газетах объявление с предупреждением: «*Мир, каким мы его знаем, будет полностью разрушен к 2000 году*». Еще в 1970 году такую же дату назвал Гордон Тэйлор, английский журналист и специалист в области парапсихологии: в 2000 году Америка истратит все природные ресурсы мира.

Пожалуй, всех прорицателей превзошел Пол Р. Эрлих. Он оставил свою область специализации — энтомология бабочек, — чтобы посвятить 30 лет популяризации своего ви́дения будущего. Начал он с такой параллели: «*Рак — это неконтролируемое размножение клеток; рост населения — это неконтролируемое размножение людей*».

За этим последовала серия пророчеств: «*Битва за то, чтобы прокормить человечество, закончена. В 70-е годы... сотни миллионов людей, включая американцев, будут умирать голодной смертью*» (1968). «*К 1980 году продолжительность жизни в Соединенных Штатах упадет до 42 лет... к 1999 году население упадет до 22,6 млн.*» (1969). «*Через десять лет вся морская животная жизнь вымрет. Целые прибрежные область придется эвакуировать из-за вони дохлой рыбы*» (1970). Тогда же он писал: «*Я могу держать пари, что к 2000 году Англия перестанет существовать*». И с Америкой все было ясно: через 25 лет прочие страны уничтожат ее с помощью атомных бомб, чтобы не дать ей загрязнять атмосферу И в этом ключе, вплоть до сегодняшнего дня, профессор Эрлих публикует книгу за книгой и собирает призы и премии.

По сравнению с таким взглядом на вещи Мальтус с его «Принципами народонаселения» выглядит оптимистом. Но не зря мудрый человек предостерегал: никогда не делайте прогнозы, особенно на будущее. Ведь даже американская правительственная организация U. S. Geological Survey в 1974 году предупреждала, что запасов природного газа в США хватит на десять лет. С тех пор разведаны резервы газа, которых по разным оценкам должно хватить на сроки от 1000 до 2500 лет. Что касается прочих прогнозов... Мировое население после 1970 года увеличилось в полтора раза, но новые методы в сельском хозяйстве обеспечили рост производства продовольствия, опережающий прирост населения. Во всем мире, включая развивающиеся страны, урожайность зерновых выросла за эти годы на 80% (в странах бывшего СССР — на 40%). В развивающихся странах в 1960 году голодал каждый третий. По оценке ООН, к 2010 году это число упадет до 12% и будет снижаться и дальше. А на Западе врачи обеспокоены не массовым голодом, а эпидемией ожирения. Незаметна и нехватка минеральных ресурсов: с 1975 по 2000 годы производство металлов удвоилось (а алюминия — увеличилось в шесть раз), а цены на минеральное сырье за это время, по данным Всемирного Банка, упали почти вдвое. И Англия все еще находится на своем месте на карте мира. И население США уже превзошло 300 миллионов, с продолжительностью жизни более 78 лет. Неудивительно — благодаря новейшей технике, вода и воздух в развитых странах сегодня чище, чем 25 лет назад. Но и это не останавливает потоки сомнительных пророчеств.

* * *

В 1969 году, в годовщину выхода книги Р. Карсон, впервые отмечался День Земли. Активист движения Найджел Колдер выступил с предостережением: «*Угроза нового ледникового периода должна сейчас рассматриваться наряду с ядерной войной как вероятная причина массовой смертности и страданий человечества*». Ему вторил С. С. Уоллен из Всемирной Метеорологической Организации: «*С 1940 года охлаждение Земли было настолько значительным и постоянным, что оно будет необратимым на долгое время*».

Вскоре о глобальном похолодании заговорили и другие ученые: Рид Брайсон, один из ведущих метеорологов в мире; сэр Мартин Райл, Королевский Астроном — директор Гриничской обсерватории. Потом включилась массовая печать: в 1974 году в журнале «Тайм» появилась статья «Но-

вый ледниковый период». В следующем году «Ньюсуик» писал об «замерзающем мире». Паника становилась всеобщей. Если ученые говорили о неизвестных пока геофизических и астрономических процессах, то для «энвайронменталистов» все было ясно: промышленные выбросы загрязняют воздух, поглощают солнечные лучи, и Земля неотвратимо остывает.

Постепенно паника стихла. Новый ледниковый период не наступил. А потом, в 1987 году, был издан на разных языках доклад Международной комиссии ООН. Доклад был опубликован под заглавием «Наше общее будущее», и в нем утверждалось, что в течение последних десятилетий температура Земли непрерывно *повышается*. Вскоре Джим Хансен, ведущий ученый НАСА (Национального Управления Авиации и Космоса) заявил на заседании одного из комитетов Конгресса, что «*с 99-процентной достоверностью*» причиной этого является накопление в атмосфере углекислого газа — продукта сжигания топлива.

Напомним, каким образом происходит теплообмен между Землей и космическим пространством. Наша планета получает тепло от Солнца в виде облучения в широком диапазоне длин волн, от ультрафиолетовых до инфракрасных. Земля, нагретая солнечными лучами, в свою очередь излучает тепло, но только в невидимой, инфракрасной части спектра. Кислород и азот, составляющие основную массу атмосферы, свободно пропускают тепловые лучи в окружающее пространство. Но газы с более сложными молекулами эти лучи задерживают. Это похоже на то, что мы давным-давно используем в застекленных парниках: стекло пропускает солнечные лучи внутрь, но не выпускает инфракрасные лучи наружу. Это и есть парниковый эффект, гипотетически вызывающий глобальное потепление. А к «парниковым газам» относятся водяные пары, углекислый газ и некоторые газы, такие как метан, следы которых всегда есть в воздухе.

Как же представляли себе наше общее будущее авторы этого доклада? В течение XX столетия температура Земли повысилась, и бóльшая часть этого потепления приходится на вторую половину века. В наступившем столетии потепление будет продолжаться. Правда, оценки подъема средней температуры колеблются в разных сценариях от 0,9 до 4,5 градуса. Но сам факт потепления объявлен вне всяких сомнений. Так что климат станет жарче во всех странах, пустыни станут больше, засухи — чаще, лед Арктики и Антарктиды растает, уровень океанов повысится, и прибрежные земли будут затоплены. Все это произойдет вследствие «*опасного антропогенного воздействия на климатическую систему*». Поэтому, говорилось в докладе, «*трудно представить себе проблему с более глубокими глобальными последствиями для человеческого общества и естественной окружающей среды, чем парниковый эффект*».

Тут бы и остановиться и представить этот прогноз для серьезной научной дискуссии. Но у доклада был и философский аспект. Парниковый эффект вызван сжиганием топлива. А топливо — это олицетворение всех пороков индустриальной цивилизации, с ее хищнической эксплуатацией природных ресурсов и потребительской культурой. Так злая воля человека, помноженная на его техническую мощь, способна вызвать явления космического масштаба.

И кто же может остановить грядущую катастрофу? Конечно, просвещенное прогрессивное правительство. Отсюда — социалистическая по духу идея: во имя спасения планеты дать государству новые рычаги для управления экономикой. Так проблема климата стала проблемой борьбы за власть. Идеи «зеленых» завоевывали популярность, а традиционным партиям нужны были голоса избирателей. Даже обещания уничтожить бедность ушли на второй план. Теперь украшением партийных платформ левых и правых стали термины «глобальное потепление», «парниковые газы», «экологический кризис».

Неудивительно, что задачу спасения планеты взяла на себя ООН. Эта организация с самого начала олицетворяла мечту левых интеллектуалов о мировом правительстве. В дальнейшее обсуждение включились уже не столько ученые, сколько политики. Вскоре гипотеза о катастрофическом изменении климата стала азбучной истиной. Ведь средства массовой информации — не место для обсуждения научных гипотез. Для них мрачные пророчества — это прежде всего пища для сенсации. А предсказания о скором конце света были популярны с глубокой древности. И в результате широкие массы приняли как нечто само собой разумеющееся: температура Земли поднимается, причиной этому — углекислый газ, а результат — грядущий глобальный крах.

Самый знаменитый из глашатаев «глобального потепления», бывший вице-президент США Альберт Гор объявил, что проблема эта в научном обсуждении больше не нуждается: по этому вопросу достигнут консенсус. «*Климатический кризис*, — говорит Гор, — *это не политический вопрос. Это моральный и духовный вызов всему человечеству*». Но научные вопросы большинством голосов не решаются, и консенсус — это еще не доказательство: существовал же консенсус в астрономии до Коперника и Галилея.

Как известно, Карл Маркс провозгласил своим лозунгом изречение Декарта *De omnibus dibutandum* («Подвергай все сомнению»). Давайте же по примеру основоположника попробуем оценить то, что мы слышим и читаем о проблеме изменения климата.

* * *

Прежде всего давайте скажем со всей ясностью: независимо от социальных и политических последствий, проблема эта прежде всего научная. Климат планеты — это комплексная система высочайшей степени сложности. Климатология — это фокус целого созвездия различных физических дисциплин. В рамках этой статьи невозможно даже попытаться учесть все стороны проблемы глобального климата. Да это и не под силу одному человеку, тем более автору этих строк. Но каждый человек вправе задавать вопросы, прежде чем принимать на веру какие угодно готовые выводы.

Первый вопрос: действительно ли температура Земли повышается? Мы стали систематически измерять температуры во всем мире примерно полтораста лет назад. Чтобы оценить климат в прошлые века, ученые пользуются многими косвенными данными. Например, путем бурения можно получить образцы полярного льда на различной глубине. Это дает возможность проследить толщину слоев льда в различные периоды, содержание

в нем солей, частичек пыльцы и состав пузырьков воздуха. Можно судить о погоде прошлого по годовым кольцам деревьев, по отложениям осадочных пород на дне озер и морей и т. д. И конечно, по историческим документам.

Однако инструментальные измерения остаются единственно надежной базой для любой физической теории. Но что и как измерять? Термометры, на метеорологических станциях во всем мире измеряют температуру воздуха в приземном слое воздуха. По этим данным, начиная с 70-х годов температура постоянно росла — примерно на 0,17 градуса в десять лет. Но измерения шарами-зондами не показывают такой тенденции, так же, как и измерения температуры земной поверхности с метеорологических спутников. Эти методы измеряют, по сути дела, разные величины. И ни один из них не безгрешен. Метеостанции большей частью находятся вблизи городов, — известно, что температуры там всегда немного выше, чем в открытой местности. В бедных странах по понятным причинам за такими станциями ухаживают менее тщательно. Поэтому их стандартная белая окраска вскоре темнеет, и показания термометров идут вверх. Недостаточный уход отражается и на точности шаров-зондов. Канадский исследователь Мак-Китрик даже установил корреляцию между точностью измерений и... национальным доходом на душу населения. Орбиты метеорологических спутников не остаются стабильными, датчики теряют чувствительность, что тоже ухудшает надежность результатов. Поэтому Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC), созданная ООН, уже шесть раз подвергала ревизии оценки, на базе которых строится ее деятельность, зачастую отвергая целые блоки данных из стран Третьего мира.

Высказав эти сомнения, можно ли после этого сказать с уверенностью, что глобального потепления не существует? Конечно, нет. Но и не следует говорить об этом явлении как о неопровержимом и количественно определимом факте.

* * *

А если глобальное потепление — это реальность, то уместно задать второй вопрос: чем это потепление вызвано? Конечно, парниковые газы играют свою роль. Подсчитано, что если бы не углекислый газ, температура Земли была бы на 33 градуса ниже. Но это — не единственный фактор. Эксперты IPCC изучают воздействие на климат и других газов, как связанных, так и не связанных с человеческой деятельностью, — например, двуокиси серы. А также аэрозолей — микроскопических частичек пыли, взвешенных в воздухе. И водяных паров, которых в воздухе в 20—30 раз больше, чем углекислоты. А их влияние на климат особенно сложно. Ведь, поглощая инфракрасные лучи, пары воды усиливают парниковый эффект. Но при этом увеличивается испарение воды и образуется больше облаков, которые блокируют приток солнечного тепла.

Или другой пример. Исследования глубинных слоев арктического льда показывают, что периодам повышенных температур соответствовала повышенная концентрация углекислого газа в пузырьках воздуха. Значит ли это, что температура повышалась вследствие парникового эффекта? Или на-

оборот, воды мирового океана при повышении температуры выделяли в атмосферу растворенный в них углекислый газ, как бутылка нарзана, помещенная в теплое место?

И это только самые простые примеры взаимосвязи различных процессов в формировании климата. Вышеупомянутая Межправительственная группа экспертов, включающая десятки, если не сотни авторитетных ученых из многих стран мира, уже много лет изучает все имеющиеся климатологические цифры и факты. Их цель — предсказать, как изменится климат в ближайшие 100 лет. Для этого используются самые совершенные супер-компьютеры. Но для предсказаний нужно не просто знать все физические параметры, влияющие на климат, и как они связаны между собой. Нужно еще уметь описать эти связи количественно. Ученые строят математические модели согласно различным сценариям и соответственно получают не совпадающие результаты. Например, С. Шварц из авторитетной Брукхэйвенской лаборатории (Нью-Йорк) предсказывает повышение температуры втрое меньше, чем IPCC.

Даже с парниковым эффектом не все так просто. Так, О. Сорохтин и С. Ушаков из Института океанологии РАН утверждают, что *«насыщение атмосферы углекислым газом, несмотря на поглощение им инфракрасного излучения, при прочих равных условиях всегда приводит не к повышению, а только к понижению и парникового эффекта, и средней поверхностной температуры планеты»*. Так что уж говорить о прогнозах на сто лет. Прогноз температуры нижней тропосферы (приземного воздуха) предсказал повышение температуры за 1990–1999 годы на 0,224 градуса. Фактически же эта величина составила 0,034 градуса.

Впрочем, сто́ит ли удивляться? Сегодня местный прогноз погоды тоже составляется компьютерами (вставьте здесь вашу любимую шутку на эту тему). А ведь система, ограниченная во времени и пространстве, неизмеримо проще, чем глобальный климат.

Но когда человек имеет дело со сложной проблемой, трудно устоять перед искушением свести все к самой простой схеме. История? Значит, классовая борьба. Климат? Всё от углекислого газа. Но, как выясняется, эту проблему нелегко свести к последствиям сжигания топлива. Ученые IPCC сейчас уже признают, что парниковый эффект «отвечает» только за некоторую долю общего изменения земной температуры. Потому что климат менялся всегда, меняется и будет меняться.

За последние миллион лет Земля прошла через восемь циклов оледенения и оттаивания. Последний послеледниковый период (голоцен) начался, когда температура стала расти около 10–12 тыс. лет назад, и продолжается в наше время. Хотя в начале и в середине голоцена было два резких похолодания, в целом этот период был самым теплым и стабильным в геологической истории, что оказало решающее влияние на развитие цивилизации. Полагают, что такие циклические изменения климата связаны с изменениями орбиты Земли. И глобальные температурные перемены отмечены в сравнительно недавних исторических источниках..

Известно, что с 200 по 600 годы нашей эры климат в Европе был необычно теплым. С 600 по 900 годы наблюдалось похолодание, сменившееся

потеплением в конце X века: в 1000 году на юге Англии выращивали виноград. Викинги, поселившиеся в Гренландии, разводили овец на естественных пастбищах, — недаром название острова означает «зеленая страна». Потом наступило резкое похолодание. Зимы стали длиннее, летние месяцы — холоднее. Снегопады были более тяжелыми, чем раньше, и снежный покров держался месяцами дольше. Это было начало «малого ледникового периода». Годы 1315 по 1322 вошли в историю Европы как годы Великого голода: на континенте свирепствовали голод и болезни, вызванные катастрофой в сельском хозяйстве. В середине XVI века температуры продолжали падать: швейцарские Альпы покрылись ледниками; зимой замерзали Темза и голландские каналы, Босфор и Дарданеллы; гренландские поселения вымерли. Острую нехватку продовольствия испытывали и североамериканские индейцы. В то же время в Южном полушарии, по-видимому, похолодание было сравнительно мягким. Только в 1800-е годы началось общее потепление. Но и этот процесс не был однородным: температуры падали в 1900–1910 годах и (при повышении содержания углекислоты в атмосфере!) с 1940 до конца 1970 годов.

Ясно, что парниковым эффектом все это не объяснишь. Очевидно, что меняется количество тепла, получаемое Землей от Солнца. Флюктуации земной орбиты — это только один из факторов. Меняется и интенсивность солнечного излучения. Исследования европейских астрономов показали, что солнечная активность достигла самого высокого уровня за последние 1000 лет. Ученые НАСА, измеряющие излучение Солнца, утверждают, что оно постоянно повышается в течение последних двадцати лет. Не случайно в последние годы было замечено уменьшение площади полярных снеговых шапок на Марсе.

* * *

Но что, если все-таки математические модели не врут и климат Земли в самом деле будет неуклонно становиться все теплее? Значит ли это, что мы стоим на пороге экологической катастрофы?

Пока что наблюдения однозначного ответа не дали. Так, нередко можно читать о таянии льдов Арктики и Антарктики — начале того процесса, который приведет к затоплению низменностей во всем мире. Но и здесь нет единогласия. Альберт Гор в своем пропагандистском фильме «Неудобная правда» предвещал поднятие уровня океанов на 6 метров. Прогноз IPCC был скромнее — сначала 90 сантиметров, а потом, по здравом размышлении, — 42 сантиметра. Но одно из исследований показало, что «средние летние температуры ледникового покрова Гренландии с конца 80-х годах снизились на два градуса Цельсия». Английский ученый К. Монктон утверждает, что с 1993 по 2003 годы лед в Гренландии становился толще в среднем на 5 сантиметров в год. То же наблюдается и в Южном полушарии: за последние 15 лет средняя температура Центральной Антарктиды снизилась на 0,7 градуса Цельсия.. Начиная с 1979 года, увеличилась площадь прибрежных ледяных полей в западной части Антарктики. Одновременно сокращалась в размере пустыня Сахара.

Предсказывали, что потепление должно было вызвать резкое увеличение ураганной активности. Что же произошло на самом деле? В 1940-е годы

юго-восточное побережье США испытывало в среднем 23 урагана в год. С 2000 по 2004 год — семь. Да и отчеты IPCC уже не связывают с потеплением ни ураганы, ни малопонятное пока явление Эль-Ниньо — периодическое смещение масс теплой воды в тропических областях Тихого океана.

В свете всего этого не пора ли признать, что есть еще множество вопросов, на которые современная наука не готова дать однозначный ответ?

И уже появились более оптимистические прогнозы. Во-первых, углекислый газ не только «загрязняет воздух». Любой школьник знает, что он является сырьем в процессе фотосинтеза — основе роста в растительном мире. Американская Брукхэйвенская лаборатория проводила долговременный эксперимент: на ограниченном участке живой природы концентрация углекислого газа в воздухе искусственно удваивалась. И в разных климатических зонах при разных типах растительности формирование биомассы ускорялось. А таяние льдов? Если арктический лед растает хотя бы частично, то расширятся возможности для судоходства в Северном Ледовитом океане (о его переименовании пока речь не идет). Или: возникнет доступ к ископаемым сокровищам, в т. ч. нефти, которые, возможно, находятся под океанским дном. Ведь недаром уже идут потихоньку разговоры о пересмотре океанских границ между прибрежными странами — Россией, Норвегией, Канадой, США. И не говоря уж о том, что в Красноярском крае или на Аляске пара лишних градусов никого особенно не напугают.

* * *

Тем не менее большинство ученых, признавая сложность этой проблемы, все-таки полагают, что отрицательные последствия изменения климата намного перевесят последствия положительные. Но политикам не нужны нюансы. Им нужны простые решения, которые легко превратить в лозунги и платформы. Так борьба с глобальным потеплением стала предметом обсуждения специальной конференции ООН. Результатом явился протокол, подписанный в декабре 1997 году в японском городе Киото. Это было соглашение, обязавшее индустриальные страны к 2010 году снизить выбросы парниковых газов до уровня, который был на 5,2% ниже уровня 1990 года. Россия подписала этот протокол в конце 2004 года.

Но чтобы ограничить, тем более уменьшить выделение парниковых газов, есть только один путь — уменьшить количество сжигаемого топлива. Конечно, это можно сделать, повысив эффективность тепловых установок в промышленности, энергетике и на транспорте. Но этого недостаточно. Для существенного уменьшения выбросов потребуется затормозить потребление *всех* видов энергии. А это неизбежно приведет к тому, что весь рост мировой экономики будет заморожен или даже повёрнут вспять. Цена спасения планеты может оказаться больше, чем мы в состоянии платить.

Спору нет, если глобальное потепление станет реальностью, ущерб для человечества может составить, по разным оценкам, от 12 до 22 триллионов долларов. Сколько же будет стоить уменьшение концентрации углекислого газа в атмосфере? Большинство расчетов дают цифры от 27 до 34 триллионов. Одной России Киото может обойтись в несколько процентов ВВП (то есть в десятки миллиардов долларов). Это включает капиталовложения

в новую технологию, научные разработки и налоги, которыми правительство, следуя соглашениям, должно будет облагать предприятия, потребляющие любые виды топлива. Поэтому правительства, подписав этот протокол, не спешат принимать предписанные драконовские ограничения экономического роста и личной свободы (такие как лимиты на пользование электричеством, автомобилем и т.д.). Выбросы углекислого газа в промышленных странах не уменьшились, а увеличились по сравнению с 1990 годом. Ожидается, что Европа и Япония на 15–25% перерасходуют нормы, установленные на 2008–2012 годы.

Больше всего Киото ударит по развивающимся странам, которые меньше всего могут себе позволить эти расходы. Недаром освобождены от ограничений Индия и Китай. А ведь Китай уже сейчас вводит в действие одну тепловую электростанцию в неделю и планирует к 2015 году добавить к нынешнему уровню добычи больше угля, чем производят Европа, Азия, Латинская Америка и Африка.

(Вспоминаю эпизод из моего собственного опыта. Не так давно, лет 8 — 10 назад, я обсуждал большой проект с группой инженеров в Индии. Я заметил, что в проекте недостаточно средств уделено охране окружающей среды. Индийский коллега почти снисходительно объяснил мне, что в настоящее время для правительства штата важнее создать больше рабочих мест, чем думать об очистке дымовых газов от пыли.)

Даже если все цели протокола Киото будут достигнуты, значит ли это, что глобальное потепление будет предотвращено? Ведь углекислый газ, уже существующий в атмосфере, будет поглощаться очень медленно. Многие ученые, даже разделяющие теорию глобального потепления, признают сейчас, что эффект от уменьшения выбросов углекислого газа будет ничтожным на протяжении долгих лет.

А что если попробовать иной подход? Ведь если климат Земли менялся столько раз даже на нашей исторической памяти, значит, человечество всегда находило пути приспособиться к этим переменам. Неужели при нынешнем уровне техники люди не смогут найти способы противостоять каким угодно переменам климата?

Такой подход был предложен, например, американскими учеными Д. Заревитцем и Р. Пилке. Они считают, что новые и новые факты вместо окончательного ответа на вопрос о глобальных переменах климата ведут к дальнейшим спорам, порой лишенным практического смысла. По их мнению, пора сделать реальные шаги, которые уменьшат нашу зависимость от климатических условий. Возьмите, к примеру, Голландию — страну, которая научилась столетиями жить под угрозой наводнений. Строительство дамб и каналов в странах, которые могут быть затоплены, окажется более эффективным, чем следование паническим предсказаниям о всемирном потеплении.

Конечно, для правоверных энвайронменталистов такие разговоры — это чистая ересь. Для них проблема климата давно вышла за рамки науки. Иво Де Бур, ответственный секретарь ООН'овской Конференции по изменениям климата, говорит, что игнорировать проблему потепления — это «преступная безответственность». Ему вторит коллега по ООН д-р Гро Харлем Брундтланд: «Это совершенно аморально даже подвергать сомнению науч-

ный консенсус». А что бывает, когда политика смешивается с наукой, хорошо известно. Здесь уже недалеко до памятного «Генетика — продажная девка буржуазии».

А факты? Тем хуже для фактов. И вот уже агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает в декабре 2008 года:

«*Как ни странно, этот год будет более прохладным на фоне постоянно поднимающихся температур. Хотя скептики уже пытаются использовать этот факт как доказательство тенденции к похолоданию, на самом деле это только показывает,* ***как быстро мир становится теплее***» (подчеркнуто мною. — *А. М.*).

Стоит ли после такой аргументации удивляться, что шотландская газета недавно возложила на глобальное потепление вину за смерть чудовища в озере Лох-Несс. То, что это чудовище никогда не существовало, газету не смутило. Вера в то, что человек в состоянии влиять на климат — повышать температуру сжиганием топлива или понижать ее выбросами пыли, — остается непоколебимой.

Недавно скончавшийся Майкл Крайтон, автор «Парка юрского периода», иронизировал: «*Энвайронментализм — это замечательное переложение традиционных иудео-христианских верований и мифов применительно к XXI веку. Тут есть и изначальный рай, состояние благодати и единства с природой; есть даже изгнание из рая в загрязненную среду как результат того, что мы вкусили от Древа Познания, и все наши поступки ведут к Судному дню. Мы все — энергетические грешники, обреченные на смерть, если не взалкаем спасения*».

* * *

Вместо эпилога. Двадцать лет назад польский режиссер Кшиштоф Кесьлёвски создал серию из десяти коротких фильмов — вариаций на тему библейских заповедей. В одном из них молодой математик твердо верит в силу компьютера, тогдашней технической новинки. Он вычисляет прочность льда на замерзшем пруду и приходит к выводу, что его сын может безопасно кататься по нему на коньках. Но лед проламывается, и мальчик тонет.

Фильм этот назывался «Не сотвори себе кумира».

КОММЕНТАРИЙ К СОБЫТИЯМ РОССИЙСКОЙ ЖИЗНИ*

(декабрь 2008 г. — февраль 2009 г.)

— Мы второй раз предлагаем читателям Ваш «Комментарий» в совершенно новой для нас форме — в жанре беседы. И сразу же сталкиваемся с вот какой проблемой. В прошлый раз Вы говорили, почему прекратила существование последняя по времени Ваша сатирическая радиопередача «Плавленый сырок»: закончились метафоры, желчи стало больше, чем смеха, да и в самом деле немыслимо в сороковой-пятидесятый раз что-то свежее говорить по поводу тех нескольких пунктов, в которых Ваши герои неизменны — лгут, убивают, воруют и изрекают патриотические пошлости... А вот мы тем не менее собрались сегодня здесь как раз для того, чтобы говорить обо всем этом снова...

— Все сказанное совершенно справедливо, но если ставить вопрос так, то любой разговор надо прекращать вообще, и не только о россиянах: по поводу остального человечества особо новых диагнозов тоже не предвидится... Как из молодого обаятельного человека получается чудовище, после «Милого друга» и «Обыкновенной истории» вроде бы и писать неловко... Но надо. Надо, потому что, согласно Аристотелю, «известное известно немногим». Все уже было когда-то и кем-то сформулировано — и сформулировано блестяще, но рождаются новые люди, которые и «Милого друга» не читали, и про Мопассана не слышали, но попадают в этот мир... И желательно, чтобы у них в голове появилась та (а не другая) система координат.

— То есть в этой парадигме наиболее интересна упоминавшаяся Вами в прошлый раз девочка, которая уверена, что она за Путина и против западных ценностей, однако хочет жить без оглядки на партком и ездить в отпуск в Анталию...

---

* О формате «Комментария» Виктора Шендеровича см. в № 138.

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ — родился в 1958 г. в Москве. Окончил Институт культуры и аспирантуру Шукинского театрального училища по специальности «педагог по сценическому движению». Работал на ТВ (программы «Куклы», «Итого», «Бесплатный сыр»). Сейчас на радио «Свобода» регулярно выходит его передача «Все свободны», а на «Эхе Москвы» совсем еще недавно выходил еженедельный «Плавленый сырок». Автор книг «Семечки», «Московский пейзаж», «Антология сатиры и юмора», «"Здесь было НТВ" и другие истории», «Шендевры» и др. Постоянный автор «Континента». Живет в Москве.

— Да ладно, если бы только девочка... Мне постоянно приходится убеждаться, что в объяснении базовых вещей нуждаются и люди вполне половозрелые. Мне часто случается говорить с водителями: я «безлошадный», почти каждый день ловлю машину. И часто повторяется одно и то же — узнавание, слова симпатии и потом: «А чего это вас не видно?» И когда начинаешь разматывать ниточку от этого «чего это вас не видно?», довольно быстро доходишь до того, что человек, симпатизирующий мне, любивший «Куклы»... — этот человек голосовал за Путина...

Он за Путина — и за меня! Одновременно. Ну, не связывает явлений.

Вы знаете, со мной на одной из телевизионных программ работала женщина... не буду называть фамилию. Мы с ней бок о бок, четыре года, делали-делали программу, а тут выборы, и вдруг она подошла ко мне и так интимно спрашивает: «Виктор, а вот я не поняла: почему нельзя голосовать за Путина?» Да можно, — говорю, — почему нельзя... Хочется — голосуй!

Самое главное тут, как я понимаю, не поддаться отчаянию, потому что все равно сделанное тобою не бесполезно, потому что результат измеряется отдельными головами. Не этой, так другой. Но не квадратными километрами и не субъектами федерации... Тут нельзя сказать: вот, окучил Красноярскую область. Это иначе измеряется. Это же все — процесс. Точно так же я, оглядываясь назад, понимаю, сколько людей меня сделали тем, что я есть. И сколь точечными были эти воздействия. При том, что многие из этих людей и не собирались на меня воздействовать, они просто оказывались рядом — в застолье, на сцене, в виде книжки, пластинки... Сколько людей меня меняли в лучшую сторону! И какое везение, что в руки попала именно эта книжка, что родители дали мне именно ее и что поставили именно эту пластинку. А где-то тебя свело с человеком. И тебе хватило юного мягкого мозга, чтобы понять, что надо побыть рядом, чтобы радиация эта распространилась на тебя. Причем ты даже не понимал, а зачем это тебе. Просто — вот человек, рядом с которым стоит посидеть за одним столом, повариться в его интонации, в байках, совершенно не политических, как бы ни про что... Это так происходит — постоянное облучение миллионами частиц. Точно так же облучаешься и с другой стороны, разумеется! И пропорция все равно всегда будет, увы, не в нашу пользу. Потому что гравитация работает сама, а наверх надо тащить. Это ведь вещь совершенно очевидная: для того, чтобы деградировать, усилий прилагать не надо, оно само. Запах появляется сам, а чтобы его отбить, надо приложить какие-то усилия — помыться, например...

И это неравенство усилий надо принимать как условие игры, как правило — и не рвать на себе волосы. Если научить себя относиться ко всему этому именно так, то жизнь легчает: ты перестаешь вставать каждое утро как на последний решительный бой, а потом, в конце дня, падать без сил, потому что опять проиграл. У меня, кстати, был такой период времен войны за НТВ...

— Расскажите, пожалуйста. Хотя хронологически история разгона НТВ как будто бы не умещается в формат Комментария к текущим событиям российской жизни.

— Ну, это только хронологически не умещается... А вообще-то вся эта телевизионная история — это было везение для меня. То есть я по крайней мере ощущаю это как везение. То историческое ускорение, тот немыслимый разгон, который не на всякое поколение выпадает... Ведь тогда — с конца 80-х до конца 90-х — нам достались полноценные десять лет сложных, но очевидно исторических, тектонических сдвигов, когда на твоих глазах действительно менялся весь пейзаж и ты мог участвовать в этом.

Конечно, повезло. Я пришел на телевидение и попал на лучшее телевидение в истории России в самое лучшее время — и с лучшим в этот момент «залом». Так попал — иголкой в нерв. Повезло; конечно, повезло... И я сам не заметил, как из человека комментирующего вдруг стал участником этого процесса. И была (по дурости, конечно, хотя мне уже было под сорок) эта энергия заблуждения, это ощущение, что мы можем победить, что еще неясно, кто — кого. И, конечно, проигрыши приносили отчаяние, потому что — ты же надеешься, ты же выходишь, чтобы победить! А перелом наступил 29 января 2001 года, когда мы посетили господина Путина в Кремле. Для меня личные впечатления от этого г-на стали точкой осознания конца текущего демократического сюжета.

Как ни странно, с этого момента мне полегчало: я перестал воспринимать то, что я делаю, в спортивной парадигме. А стал воспринимать ровно по формуле Катона Старшего: «Делай, что дóлжно, и будь что будет». И я подумал, что не мое это дело — рассуждать о результате наших усилий. В какой-то момент тогдашняя моя, извините за идиотизм словосочетания, *всенародная слава* убедила меня в том, что мы — нужны. Оказалось, что я успел накопить некоторый запас человеческой прочности.

— Надо сказать, что на многих людей благотворное воздействие оказывает уже сама по себе эта Ваша прочность. В наше время, когда смена взглядов на диаметрально противоположные не считается позорной, к тому же когда она осуществляется незаметно, мало-помалу и совершенно как бы естественно, люди, упрямо отстаивающие те же ценности, которым поклонялись и десять, и двадцать лет назад, оказываются в меньшинстве. Их так немного, что в современной России они служат своего рода маяками, помогая и всем другим не дать сбить себя с толку и обморочить.

— А у этой прочности есть совершенно реальный источник. Я уже говорил о людях, которые на меня повлияли. Плюс к этому — женщина под Пензой. Я когда-то рассказывал эту историю... В дни первого уголовного преследования (с программой «Куклы», в 1995-м) я получил одно письмо из-под Пензы: женщина, явно немолодая и не привыкшая к писанию, извещала меня о том, как хорошо там, под Пензой: грибной лесок, речка, буренка... Когда я дошел до буренки, я даже посмотрел адрес на конверте: вдруг это письмо в «Сельский час». Но нет: «НТВ, программа “Куклы”, Шендеровичу». И я продолжал читать, пытаясь понять, что хочет этот человек мне сказать. И вот, подробно описав преимущества жизни под Пензой с грибным леском, чистой речкой и буренкой, эта женщина закончила так: «Приезжайте сюда. Здесь Вас никто не найдет».

Знаете, после этого, когда меня спрашивают, почему я до сих пор не в Израиле...

К чему рассказываю эту историю? К тому, что к моменту, когда все «начало заканчиваться», я уже ответил себе на некоторые главные вопросы. Я знал, что мы нужны. Я уже научился различать интересы людей — и начальственных державных негодяев. Те, кто меня смотрят, слушают, читают, могут меня и не любить, — это другой вопрос. Но я точно знал, что с ними можно разговаривать. Потом это подтвердилось, — когда я попробовал сходить в депутаты. С любыми людьми можно разговаривать! Пробиваться к сознанию, к логике. Можно встречаться с избирателями и в ФИАНе, и в ДК «Внуково». Другое дело, что в ФИАНе и пробиваться не надо: они пообразованней меня будут, а тут — надо пробиваться... А в тот момент с НТВ, когда спортивная сторона дела закончилась, меня больше всего стало заботить, как бы не опозориться. Все это может выглядеть как интеллигентское чистоплюйство: «вишь, репутацию свою бережет»... И все-таки.

— И все-таки это очень достойный принцип: делай, что дóлжно, и будь что будет...

— Это я тоже рассказывал. Дело было за три дня до захвата НТВ. Я уже понимал, что мы проиграли. Ну, танком нас задавили! В этом нет ни достоинства, ни бесчестия, что танк тебя задавил, а не ты его, просто разные весовые категории... Комиссаром от Кремля на разрушение НТВ был поставлен Альфред Рейнгольдович Кох. И он меня «кадрил», причем очень обаятельно: не покупал даже, а именно кадрил. Подумайте: свобода, никого, говорил он, Парфенов, вы, я, Миткова, завтра никакого «Газпрома» там не будет... Мы сделаем хорошую компанию! Нормальные люди, либеральные ценности, американские гарантии... А я говорил ему... Ну, что я мог сказать? Я же приучен к презумпции невиновности! И я, идиот, сказал только: «Поймите, для вас это бизнес, один из бизнесов: удастся — не удастся, а у меня репутация одна». И вот на слово «репутация» он сдетонировал со страшной силой, даже перешел на английский язык: «Mother fucker! — закричал, — репутация! Репутация!» Его это страшно разозлило. А у меня ничего другого, собственно говоря, и не было возразить. Ну да — не хочу опозориться.

Этот диалог с Кохом происходил одиннадцатого апреля. И должен сказать, что когда через два дня, ранним пасхальным утром (они умудряются еще и даты подбирать как-то особенно талантливо!), ко мне в дверь позвонили и сказали, что компанию НТВ физически захватили... — я очень хорошо помню, что перед тем, как туда ехать, я успел рассмеяться — *от облегчения.* Понимаете, мы боролись за НТВ с лета, с назначения Путина, восемь или девять месяцев было посвящено круглосуточной борьбе за выживание... И теперь я смеялся от облегчения. Оттого, что закончилась эта мучительная рубка хвоста по кускам, но главное, по поводу своего диалога с Кохом: я ведь был в двух шагах от согласия, от того, чтобы сказать по интеллигентской мягкотелости: «Ну ладно, давайте попробуем...» Хорош бы я был.

Я говорю это все к тому, что этот приоритет — не опозориться — кажется мне очень правильным. Это стратегия, как в бизнесе говорят, «игры

вдлинную» (я иногда общаюсь с бизнесменами и слышу эти термины). Бывает игра «вдлинную» и игра «вкороткую». «Вкороткую» — можно стремительно разбогатеть или стремительно же разориться на сегодняшнем курсе акций. А игра «вдлинную» — дело другое. Рынок, в целом, никуда не денется: он может сегодня обвалиться, но завтра вырастет. Может случиться кризис, но пока человечество живет и бóльшая его часть работает, что-то будет появляться, что-то будет улучшаться, и как-то оно все будет потихонечку ползти наверх. Не с такими, конечно, стремительными цифрами, как если спекулировать по-быстрому, но — наверняка....

Так вот, если говорить о жизненной стратегии, то игра «вдлинную», конечно, выгоднее. И когда мы озираемся вокруг в поисках таких биографий, мы видим примеры... Примеры могут не совпадать поименно (у каждого свои), но алгоритм образования этих нравственных ориентиров один и тот же: человек *не суетится*. Для меня такие люди — художник Борис Жутовский, журналист Юрий Рост, артист Сергей Юрский... Они не суетятся. И через какое-то время, не суетясь, становятся точкой отсчета сами. Вот сейчас — семьдесят лет Юрию Росту. Я захожу на его юбилейную выставку, вижу людей и понимаю, что незнакомый мне человек, находящийся в этом зале, — это, скорее всего, хороший человек, потому что он пришел сюда. Потому что нас собрала здесь и объединила вот эта фигура, эта личность — состоявшаяся, «вдлинную» сыгравшая свою жизнь, — не подличал Рост, не выгадывал что-то на поворотах, не подрезал, не обгонял, а как-то так равномерно делал то, к чему чувствовал призвание, к чему чувствовал зов...

Поэтому вся эта история, которую мы прожили, — для меня, с одной стороны, сплошная череда поражений (если рассматривать все это в спортивной парадигме): тут дали по шапке, туда не пустили и т. д., — с другой стороны, у меня есть ощущение, что я каждый раз поступал так, как мне надо было поступить. И это меня устраивает. И пропади оно пропадом заведомое соображение о результате усилий. Кстати, у Роста есть очень хорошая мысль... не помню дословно, но смысл такой: он просит Господа не давать заранее знать о бессмысленности усилия, потому что это знание тормозит усилие!

— Ну, эта мысль не Росту первому пришла. У Эсхила Прометей ставит себе в заслугу как одно из главных благодеяний человечеству то, что у смертных он отнял дар предвидения, а взамен наделил их слепыми надеждами...

— Ну вот, собственно говоря, по длинной дуге мы пришли к тому, с чего начинали: все уже сформулировано до нас, ничего особенно нового не скажешь. И тем не менее говорить надо. Но тут проблема — о чем и как говорить.

Поясню на примере. Западная корреспондентка просит меня дать комментарий: в «ихней» прессе появилась информация о том, что наш Путин часть своей кандидатской диссертации (а он защищался в 97-м году) спионерил из какой-то работы, написанной в конце 60-х в американском Питсбурге, — без кавычек списал шестнадцать страниц чужого текста. И вот кто-то раскопал это дело, и поднялся некоторый вой: «Плагиатор!»

У нас — тишина. И меня просят все это прокомментировать.

И что тут скажешь? В обществах со сложившимися ценностными системами, там, где давно отличают допустимое от недопустимого, достаточно обнародовать такой факт, чтобы прекратить карьеру чиновника... Но мы-то живем в совершенно другом обществе! Это — как пытаться включить наш электроприбор в их сеть без адаптера: совсем другая конфигурация розетки. И вроде бы ничего не мешает току потечь, но контакта нет! И как объяснить этой корреспондентке, что на фоне всего, что плохо лежало возле Балтийского пароходства в 90-х годах — и что подобрал Владимир Владимирович (чисто чтоб не пропало, из государственных соображений), эти шестнадцать басурманских страниц — сущая мелочь! А вы, значит, хотите дискредитировать нашего премьера и разрушить любовь к нему народа сообщением о том, что он перекатал чужое сочинение?! Да народ только скажет: «Опа! Молодец!»

Классово близкий Вова, ибо кто же из нас не перекатывал чужих сочинений...

В одном обществе достаточно привести просто документированный пример — и политической карьере человека приходит конец, — без всякого Балтийского пароходства, заметьте, без «Байкалфинансгрупп», без Беслана, без всего того, что было после, — просто: он же жулик! И всё. И с ним уже неловко разговаривать.

Но это когда «переходник» работает.

А тут системы-то разные. И бесполезно кричать: «А-а, попался!» Чего попался? Чего ты выскочил, дурак? Это ты попался, что ты не местный, это у тебя мозги с левой резьбой, что ты Локка начитался с Жан-Жаком Руссо... Вот в чем штука. Важная, с моей точки зрения, штука.

И надо — и действительно имеет смысл — заниматься анализом этого, чуть более спокойным анализом, переходить от некоторого демократического «Фитиля», от уязвления отдельных недостатков к картинке в объеме: не только «сцену» показывать, но и зал.

А как только разворачиваешь камеру на зал, много понятнее становится и про то, что «на сцене». А еще надо заглянуть в оркестровую яму и не полениться пройти за кулисы. И снова вернуться в зал. Потому что и в самом деле это все едино — на генетическом уровне.

И это объясняет, если хотите, почти всё — от диссертации этой до Беслана и немоты общества. И даже слово «Путин» не придется произносить, потому что не в нем же дело! Скорее — в Иване III и в Иване IV, чем во Владимире Владимировиче, который во всех смыслах — функция... Надо искать и высвечивать архетипы, делать то, чем (возвращаясь к недостижимым высотам классики) занимался Салтыков-Щедрин... В любой момент русской истории открываешь «Историю одного города» и обнаруживаешь, что один из *них* в настоящий момент — у руля.

— Погодите, вот поставит Россия Европу на колени, и архетипы Щедрина превратятся в общемировые.

— Ну, уж нет, это все-таки невозможно. В этом смысле у нас действительно какой-то особый путь, прости Господи. Кстати, об особом пути. Можно на эту тему пофантазировать?

— Давайте!

— Мы привыкли это повторять: «особый путь России». Но стоит поглядеть снаружи — и мы увидим, что никакого другого пути, кроме *особого,* не может быть ни у какой страны.

Есть Норвегия, пришедшая к капитализму; есть Турция, пришедшая к капитализму; есть Чили, тоже пришедшая к капитализму... И у каждой из этих трех стран — свой путь и своя сегодняшняя точка на этом пути, очень особенная. И мало что там совпадает, кроме самых базовых вещей — разделения властей, механизма контроля за властью.

Так вот я хочу заметить, что у всех стран, пошедших демократическим путем, и сложился особый путь, потому что каким быть этому пути, решают именно народы, — а норвежский народ не может устроить себе такой же способ организации, как турецкий или чилийский: другие традиции, другая история... Именно потому, что в основе лежит народовластие, путь и получается особым!

При этом все страны, которые громко кричат о своем «особом пути», аккуратно приходят на один и тот же, ведущий в концлагерь! Неотвратимо. Советский концлагерь, немецкий концлагерь, корейский или кубинский концлагерь — это уже этнические и культурные подробности. Но все они приходят в концлагерь — все, кто идет «особым» путем! И это поразительно.

*— **Точно так же, как человек, отстаивающий свое право быть самим собою и утверждающий свою индивидуальность вплоть до того, что обнажается совершенно, — и тогда (и именно поэтому) становится неотличим от миллионов других**...*

— Да, это похоже. У Леца сказано: «Хочешь скрыть лицо, — выйди голым». Вот поэтому разговор об особом пути, как и вообще представление, что весь мир делится на «нас» и «не нас», — это представление, выдающее в нас людей с интеллектом старшей группы детского сада. К тому же мания величия, как утверждают психиатры, дружно живет с комплексом неполноценности; собственно говоря, это две стороны одной и той же медали. И ущемленность, раненность российского менталитета прекрасно видна со стороны. Даже в мелочах.

Какое-то время назад случилось, что Сафин подряд обыграл четырех американских теннисистов. И нашими СМИ это было охотно замечено: Сафин — гроза американцев! Одного обыграл, второго, четвертого... Но монетка, которая несколько раз подряд легла на «решку», однажды непременно начнет ложиться на «орла»... И вот только что, на Australian Open, Сирена Уильямс обыграла трех лучших наших теннисисток. Мне стало страшно интересно: что скажут по этому поводу американцы? Хоть как-то русская тема появится в этой связи? Ни-ни. Чисто спортивный анализ. Нам это может быть особенно обидно, но у американцев в подкорке нет симметричной задачи — вставить фитиля России...

*— **В советское время была бы. А сейчас они просто давно вставили.***

— Вставили, конечно. Тем, что — в отличие от нас — организовали свою жизнь более или менее по уму... Но я сейчас не об этом, а о диагностике. Потому что наш антиамериканизм — ведь уже диагноз! Недавно моей знакомой на родительском собрании объявили, что единый государственный экзамен придумали в ЦРУ. И, заметьте, это сказала не бабушка, в уме поврежденная, а завуч московской гимназии!

Первая задача, по мне, — как-то подлечить этот «синдром осажденной крепости». Каждый день начинать с того, что водить руками вокруг скорбной головы пациента и говорить: «Ну посмотри, дорогой, ну где ты — и где Америка? Ну, посмотри: вот дорога немощеная, вот пьяный лежит... Обама ему наливал? Моссад с ЦРУ? А почему дорога такая? Англичане вскопали? А почему ты сам такой?» Медленными психотерапевтическими движениями надо возвращать соотечественников к реальности, немножечко посмеиваясь, немножечко утешая...

Утешать я, наверное, умею хуже. Но что ясно — с обществом надо работать и работать не в направлении «долой Путина!»... То есть, долой, конечно, но желательно вместе с симптоматикой. Иначе вместо Путина будет Шмутин. И никаких оснований для того, чтобы Шмутин был лучше Путина, я не вижу. Потому что в той системе, которая сегодня функционирует, Шмутин не может быть никем другим, кроме как подлецом. Другому просто неоткуда взяться.

— Ну понятно, хуже всегда может быть.

— Хуже может быть, может быть и немножко лучше. Это уже «орел-решка». Вопрос везения... Ну, вот как Сингапур, который является сильнейшим доводом в пользу единовластия против демократии. Как бывают исключения, подтверждающие правило, — бывает на целый земной шар один вот такой Сингапур! Может прийти и приличный человек, случается и такое... Так же, как может прийти и Чикатило... Тогда мы законодательно введем педофилию и будем за нее награждать орденами «За заслуги перед Отечеством»...

Нельзя отдавать жизнь страны на откуп случайности. Баланс властей образует некоторую охранную систему — несовершенную, но все же... «Бушевский период» в США, по большому счету, является агитацией за демократический способ правления. Ибо каков бы ни был Буш, а 20 января 2009 года его там не стало, и влияния его не стало, и никаких преемников. Америка выбрала перемены. И президентом стал человек, которого социальный лифт поднял с таких низов, что я даже не знаю, с чем это можно сравнить... Как если бы у нас президентом стал выходец из Андижана... из гастарбайтеров...

Эта история, если ее целиком посмотреть, показала: при демократии люди могут ошибиться, но могут и исправить ошибку: для этого есть все механизмы. Америка воспользовалась этими механизмами и будет дальше пользоваться. А мы до морковкина заговения будем смеяться над шутками сатирика Михаила Задорнова про тупых американцев. Они тупые — и выбрали перемены. А мы — умные, но почему-то в жопе...

Это когда-то про одного артиста сказал другой артист: «У него комплекс полноценности». Вот именно — комплекс полноценности. Отсутствие критики — тоже медицинский термин. Диагноз — что для страны, что для

человека: не видит себя больной со стороны, не понимает, как выглядит, не рефлексирует... «Критику» надо возвращать, в том числе в медицинском смысле, — как синоним адекватности.

Недаром советская власть боролась с социологией. Недаром и сегодня сначала уничтожили телевидение, потом взялись за ВЦИОМ. Это как градусники отобрать: мы тебе сами скажем, какая у тебя температура, ты не волнуйся! Мы тебе все скажем, не надо, чтоб у тебя был свой градусник, тебе это вредно: ты разобьешь, ртуть разольешь, отравишься...

— Это отработано было еще большевиками: почта, телеграф, телефон...

— Да все это было хорошо известно еще до большевиков! Тут вообще ничего нового нет. Первым делом отобрать возможность возражения. Известно же, что монолог — жанр беспроигрышный...

Было тут у меня такое одноразовое счастье — на «Эхе Москвы» посидел в одном эфире с Максимом Шевченко. И я вспомнил рассказ Шукшина «Срезал» — тот же способ диалога (если это диалог, конечно). Только шукшинский Глеб Капустин — ребенок по сравнению с Шевченко... А способ простой: диалог превращается в монолог, ведется на огромной скорости и с огромной громкостью — и оппоненту просто не дается шансов ответить: пока он набирает в грудь воздух, от его имени уже говорится глупость и немедленно же разоблачается...

Монолог как способ ведения диалога — вещь замечательно беспроигрышная. Но стоит только то, что несет этот господин, напечатать, разрезать на отдельные куски и начать разбирать собственно доводы, как выясняется, что все им произнесенное ровно пополам делится на ложь и провокацию. И больше ничего. Но на скорости и громкости оценить это невозможно.

При этом на «Эхе» г-ну Шевченко еще приходится прибегать к громкости и скорости. А, скажем, на Первом канале телевидения и наращивать скорость не нужно: там есть монтажные ножницы...

Надо возвращаться к нормальному диалогу.

— Значит, как выясняется из нашего разговора, есть зал, который внимает тому, что происходит на сцене, и есть сцена. По залу мы даже уже прошлись немного и выяснили, что тут преобладают представления о том, что ***нас со страшной силой давит Запад. А что происходит на сцене? Ведь там происходит не только масса всяких конкретных вещей, не только масса ярких и актуальных частностей, но и какое-то развитие сюжета. Вы видите какие-то тенденции развития этого сюжета? И что наиболее существенного, как Вам показалось, происходило в рамках этого сюжета в последнее время? На что следует обратить внимание как на симптоматические проявления, наиболее существенные приметы той пьесы, которая перед нами играется?***

— Мне, признаться, в последнее время гораздо больше интересен зал. А что касается сцены... Я неоднократно цитировал знаменитое талейрановское «это больше, чем преступление, это — ошибка»... *Они* все время делают

ошибки. И как в старом анекдоте про Подольскую швейную фабрику, в который раз вместо швейной машинки собирают все тот же самый пулемет. Не знаю, способны ли *они* делать что-нибудь другое. *Они* в изменившихся, абсолютно изменившихся обстоятельствах (я сейчас говорю не о нравственной составляющей, я сейчас говорю о целесообразности) продолжают действовать по инерции...

Вот, например, люди хотят собраться в память об убитом адвокате Маркелове и журналистке Бабуровой, отметить девять дней, — власть запрещает. Некто из мэрии по фамилии Олейник запрещает это собрание. Хочется через ушное отверстие пробраться в голову этого Олейника и посмотреть, что там. Что там, когда он запрещает? Какая там мотивация? А там нет никакой мотивации. Он только знает, что если он разрешит, то его — наверное — не одобрит Юрий Михайлович Лужков... или генерал Пронин... или кто-то еще. Никакой другой мотивации нет. Да ему и не нужно.

Или. Начинаются угрозы в адрес профсоюзного активиста российского завода «Форд» Евгения Иванова (прошу не путать со шмаковским профсоюзом — ну тем, что у нас называется «профсоюзом», частью партийно-хозяйственного механизма). Так вот, этого Иванова что называется «прессуют»: бандиты какие-то ему звонят, требуют, чтобы он прекратил свою деятельность, говорят, что им известно, в какой детсад ходит его дочка... Он подает заявления в милицию, милиция не принимает этих заявлений: не видит оснований. Потом Иванова избивают...

Абсолютно отсутствует понимание, что такого рода вещи выталкивают людей с правового поля. Ибо есть справедливость — и есть правосудие. В идеале они должны совпадать полностью. В не-идеале — совпадать хотя бы по большей части. Когда эти понятия начинают расходиться, то это уже ситуация нестабильности. Когда расходятся полностью — это уже революция, потому что социальная и любая другая справедливость будет восстановлена непременно, и если не в милиции, прокуратуре и суде, то — другим способом... Как говорится, не приведи господи увидеть этот способ.

И я говорю в связи с этим: уважаемые товарищи Лужков, Матвиенко, господа милиционеры, отказавшиеся принять заявления, прокуратура, отказавшаяся возбудить дело по угрозам рабочему,.. — не говорите потом о плохом менталитете русского народа, который склонен к насилию и не склонен к правосудию, о низкой его правовой культуре. Заклейте себе рты скотчем. Потому что это вы сделали все для того, чтобы подорвать веру людей в цивилизованное решение проблем!

Когда подмосковный ОМОН разгоняет во Владивостоке автовладельцев, которые всего лишь вышли со своими требованиями (не важно в данном случае, справедливы эти требования или нет), — они просто вышли со своими требованиями — ничего не поджигать, не взрывать и не громить... И вот вызывается подмосковный ОМОН, и в результате — тысяча человек (это скромные подсчеты: есть съемка «Би-Би-Си», «Си-Эн-Эн», японского телевидения, «Евроньюс» и т. д.) — тысяча человек избитых, задержанных, униженных и так далее. Сколько человек из этой тысячи обратились в милицию? — Один. Что с ним сделали? — Провели профилактическую работу, и он забрал заявление...

Такое представление народа о формах восстановления справедливости — тоже диагноз. Это не может продолжаться вечно: напряжение будет накапливаться и где-то рванет. По какому поводу рванет, где и когда случится этот очередной Благовещенск — ничего это не ясно... Но не может не рвануть.

«На сцене» делают ошибки одну за другой — и ведут себя как ни в чем не бывало. Как будто нет сорока долларов за баррель, как будто количество протестующих вечно будет ограничиваться Каспаровым, Новодворской и еще тридцатью такими же на голову подорванными, вроде меня.

Но когда счет безработных пойдет на миллионы, — как люди будут осуществлять свое право на жизнь? Я не рассчитываю, что вся эта куршевельская братия вдруг очнется ночью и разрыдается от обнаружения в себе совести. Я сейчас говорю только о целесообразности. Им надо понимать, что протестный электорат будет исчисляться цифрами с другим количеством нолей. Будет безработица — массовая. Уже сейчас она массовая, а будет...

Бессмысленно сейчас говорить об *их* мере ответственности, она огромна. Потому что «американский кризис», при котором американский доллар растет по отношению к национальной валюте, — это, конечно, вещь абсолютно рукотворная. Это надо долго подрывать собственную репутацию как страны, чтобы такого добиться. Но мы это смогли.

Я повторяю: я сейчас говорю только о целесообразности. Они слишком долго отсекали обратную связь, слишком усердно отгоняли от себя всех людей, которые могут сказать им правду, которые могут хоть немного подлечить конъюнктивит власти, чтобы у нее не так слипались глазки...

Последнее известное имя — это Михаил Борисович Ходорковский, который в 2003-м году пытался обратить внимание Путина на то, что на одного абитуриента-«нефтяника» приходится четверо желающих попасть в налоговые органы. То есть, попросту говоря, на одного человека, готового повышать благосостояние России, приходится четверо, которые готовы это «крышевать» и «пилить». Реплика была непростительная, и судьбу этого врача-убийцы мы знаем...

Вторая часть мерлезонского балета, которая происходит в настоящее время, — это, конечно, попытка назначить виноватого в рамках очевидно существующих, но не известных мне договоренностей между Путиным и Медведевым (есть куча спекуляций по этому поводу, я не могу в них принимать участие: чего не видел, того не знаю)... Договоренности договоренностями, а кого-то «на вилы народу» выбрасывать по случаю кризиса придется. И кто именно кого именно будет выбрасывать на вилы — этот вопрос и является главным властным сюжетом сегодня.

— Сюжетом подковерной борьбы?

— Если бы мы жили в стране, где существует политика, то эта борьба бы была сегодня яростной, открытой, гласной, стороны бы разбирали ошибки друг друга, предлагали свои меры... Общество могло бы сравнивать, выбирать чью-то сторону или вообще предпочесть кого-то третьего. Общество могло бы принимать какие-то осмысленные решения. Но поскольку все

это носит характер по-прежнему подковерный, мы терпеливо ждем в прихожей, какой труп нам выкинут.

— А почему мы ждем отечественный труп? Чем плохи Саакашвили или там Ющенко? Почему на вилы — обязательно нашего?

— Вы знаете, есть предметы, которые принято использовать только один раз, Саакашвили относится к их числу. Нет, конечно, маленькая победоносная война вещь хорошая, но в какой-то момент ее может не хватить.

— Ну хорошо, но уж США-то — предмет многажды и надежно использованный.

— Ну, воевать с США мы можем только в рамках программы «Время». И в рамках этой программы одерживать победу. Но это все для внутреннего пользования. Американцы на все это пожимают плечами... Они понимают, что у нас пубертатный период — мы, так сказать, всё хотим ходить с голым торсом и хотим показать, что мы уже большие мальчики... Ну, до тех пор пока это — только проблема нашего полового созревания, Америка относится к этому с пониманием. Да и терпеливое поведение Америки связано с тем, что им просто не до нас, у них есть реальные угрозы. Половина земного шара хочет уничтожить США, и не как наша администрация (для пиаровских нужд), а по-настоящему. Это ведь, знаете ли, Владимир Владимирович симулирует, а Бен Ладен-то не симулирует, и Ахмадимеджад не симулирует, и значительная часть глобуса — не симулирует. И США занимаются всерьез — ими, а к нашим пубертатным забавам относятся соответственно. Поэтому когда мы в рамках программы «Время» устраиваем себе торжественное вставание России с колен с пролетанием истребителями над Шестым американским флотом — это не может, конечно, немножечко не раздражать Америку (впрочем, я не психоаналитик), но не может ее тревожить, потому что они прекрасно отличают «настоящих буйных» от симулянтов. И прекрасно понимают, что люди, у которых счета в Европе, недвижимость на Лазурке и дети в Оксфорде, не станут всерьез портить отношения с Западом.

— Ну не скажите, это у нас в национальном характере — за понты и детей не жалеть

— Своих? Нет, Вы знаете, тут очень важно уточнение — чьих именно детей. Это, кажется, Дмитрий Орешкин замечательно сказал про любовь нашего народа к Сталину: Сталина все хотят для других, для себя никто Сталина не хочет...

А в том, что касается взаимоотношений с обществом, власть сегодня делает «автоматические ходы». Они привыкли восемь лет играть так. Но позиция уже другая!

— А все-таки похоже, что и у них есть ощущение, что что-то идет не так. Вы же сами говорите: они отдают себе отчет, что кого-то придется на вилы кидать.

— Ощущение-то есть. Да только они по-другому играть не умеют... Впрочем, по большому счету есть всего два пути. Один называется «триста спартанцев» — запираем ущелье и обороняемся до последнего, потому что кругом враги. Второй путь называется «общественный диалог». Но эта дорожка, если действительно идти по ней последовательно, очень скоро приведет их к полному краху, потому что на многих из них висят такие персональные уголовные гири — из которых «Байкалфинансгрупп» еще не самая тяжелая...

— Ну вот Медведев пригласил на беседу Дмитрия Муратова и Михаила Горбачева А вдруг это и есть поворот к общественному диалогу?

— Да нет, тут... Тут добрые люди (действительно добрые) организовали встречу... Достучались все-таки до Медведева, но — с опозданием! Тут, как в шахматах, порядок ходов важен! Нельзя получить пощечину, подумать недельку, а потом сказать: ах да, я же, в сущности, оскорблен! Тебе уже никто не поверит. И после убийства Маркелова и Бабуровой — после демонстративного расстрела в центре Москвы адвоката и журналистки — либо ты сразу выходишь к народу как президент демократической страны (вот я не знаю, ставить ли в нашем случае запятую перед словом «как»), выходишь и даешь понять, что это убийство — оскорбление лично для тебя и что ты лично гарантируешь, что убийцы будут найдены, а в противном случае уйдут в отставку те, кто не сумеет найти этих убийц. И тогда люди понимают: ага, это он серьезно.

Но в том-то и дело, что привычки к обратной связи нет. И Медведев, боюсь, вообще не понимает, что такое обратная связь. Хотя в рамках демократической системы эта обратная связь обеспечила бы ему рост рейтинга, укрепила позиционирование в качестве президента, а не какой-то надувной фигуры. И это был бы сильный сигнал обществу: при мне не будут безнаказанно убивать адвокатов и журналистов!

Но все это — только если сразу...

А когда проходит неделя и где-то в кулуарах — через того, сего, пятого и десятого (я примерно представляю эту цепочку) — президенту внушают наконец: ну, вы же понимаете, надо... и он встречается с представителями газеты и говорит: я не хотел вмешиваться как юрист, потому что получилось бы, что я настаиваю, что это политическое дело... А мы, значит, думали, что — бытовое...

В итоге ощущение цинизма только возрастает.

— А если бы Медведев не промолчал после убийства?! Вы только себе представьте: выходит он на первый канал и начинает вот это все, что Вы ему сейчас суфлировали, говорить. А что скажет обыватель, за два срока отлично выдрессированный Путиным? «Это что, — скажет он, — президент моей страны?! Он за кого заступается — за продажную адвокатуру? За антинародную газету? Он что — с ума сошел?!» И не будет ли он в таком случае как президент просто обречен?

— Вы напрасно так плохо думаете о нашем народе. И я абсолютно убежден, что как президент Медведев как раз только бы приобрел. У него были возможности стать президентом. Он мог стать президентом 8 августа во время войны Осетии. Не плавать по Волге, как Стенька Разин, а принять политическое решение — и проснуться президентом. Но для него, для его мотиваций, видимо, гораздо важнее соглашение, которое существует между ним и Путиным... Вещи, которые мы обсуждаем, ему в голову, похоже, не приходят. Он никогда не был политиком (как, кстати, и Путин). Политик у нас, увы, только Жириновский. Этот человек понимает, что такое жест, что такое вовремя сказанное слово; он понимает, что такое его электорат — и изо всех сил работает на свою популярность. Жириновский — природный политик, очень талантливый! Мы не обсуждаем сейчас запах и качество этой политики: только по модулю, так сказать. А Дмитрий Медведев — чиновник. Назначенный чиновник, каких тысячи, только очень значительный чиновник. Корпорация заменила *первое лицо*. Нынешнее лицо поблагообразнее предыдущего эстетически — из профессорской семьи, пальцы не кидает, такой вежливый... Но это подробности. Суть же состоит в том, что это по-прежнему не политика. Появление Медведева в Кремле никак не связано с нашим выбором, поэтому он и не ведет себя как политик.

Впрочем, нельзя исключать и превращений. Страна Достоевского... всякое может быть. Вдруг взыграет что-то в человеке... Тварь я дрожащая или право имею, по Конституции РФ? Но пока что мы видим унылые действия чиновника, представителя корпорации.

И все-таки, если говорить о России, а не о желании непременно что-нибудь прищемить дорогому Владимиру Владимировичу, то, конечно, речь идет не о противостоянии Медведев — Путин, а о том, чтобы до общества дошло, что нет другого созидательного пути, кроме восстановления обратной связи. Что должна быть свободная пресса, независимый суд, конкурентная политика, выборы (мне очень понравилась недавняя фраза кого-то из парламентариев: «Губернаторы не помидоры, чтоб их выбирать» — в смысле: выбирать они еще нас будут! Простота замечательная)...

Другого пути нет, все остальное — тот самый «особый» путь, ведущий к полной деградации. Собственно в смысле деградации мы уже довольно далеко продвинулись, и я не вижу необходимости и дальше проверять этот «особый» путь.

Надо возвращаться к правилам. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов — это не то, с чем можно соглашаться или отрицать. Это так и есть. Если ты в своих расчетах пытаешься это отрицать, то у тебя просто через какое-то время все ломается. Или: колесо катит, когда оно не квадратное. Квадратное колесо — это и есть наш «особый путь», и я думаю, что с него надо помаленьку сходить. Квадратное колесо — не катит.

— Не тут-то было! У нас на ВВЦ в павильоне технического творчества есть тележка с квадратными колесами, она ездит по особым рельсам — не гладким, а зубчато изломанным под прямым углом. И эта тележка прекрасно ездит по ним — как шестерня в шестерне...

— Вот я и хочу сказать: не надо путать столбовой путь эволюции с кунсткамерой. В кунсткамере много чего есть. Там есть и Северная Корея, Эритрея там, Куба, Город Солнца, много чего было... Квадратными колесами нас не удивишь. Такие исключения только подчеркивают необходимость правил. Нужно возвращаться к обратной связи. Это надо делать поскорее, иначе будет еще хуже.

Кроме того, как мы уже проходили с СССР (а человечество проходило это множество раз), вся эта политическая стабильность рухнет сама — без каких-либо наших усилий; мы можем даже проспать этот момент. Она рухнет, как рухнула советская власть — не из-за Солженицына и не из-за Сахарова, а потому что система уже не работала: пшеницу для прокорма строителей коммунизма покупали у «наиболее вероятного противника»...

Да, в какой-то момент это все встанет, заскрежещет и развалится. Но когда настанет этот момент, весь вопрос будет в том, найдутся ли вблизи рычагов те, кто будет иметь более или менее точное представление о том, что надо делать? И не только вблизи рычагов... Нужны люди, которые смогут, фигурально выражаясь, пересказать своими словами Библию — помните, как у Брэдбери?..

Если все пойдет, как идет, и дойдет действительно до самого низу, до такого низу, что мы остановимся, просто потому что ударимся — и только после этого начнем всплывать, то кадровый вопрос может оказаться очень серьезной проблемой — боюсь, что более серьезной, чем в случае гибели Советского Союза. Хотя бы потому, что объемы тогда отъезда были меньше (многих, «слава богу», не выпускали — чудовищный парадокс). А сейчас-то границы открыты...

Эту проблему утечки мозгов я вижу без всякой статистики, — мне тут никакого ВЦИОМа не нужно. Я преподавал на Ленинских горах. Моим воспитанникам и воспитанницам сейчас около сорока. Так вот, сканируя их судьбы, я вижу, что каждый примерно четвертый живет не в России. А это московский городской Дворец пионеров, это столичные умницы и умники, — образованные, интеллигентные, продвинутые... Нью-Йорк, Берлин, Копенгаген, Южная Африка... По всей Европе, по всему миру — от Дублина до Кейптауна. И это золотые люди — врачи, программисты, кинематографисты. С одной стороны, можно за них порадоваться... Но это же те люди, которые нужны здесь. А здесь их нет, они отсюда бегом...

И дети моих ровесников... «Пока сыну двадцать семь не исполнится, ноги его здесь не будет». И то сказать: он выпускник какого-нибудь Массачусетса, а здесь его просто забреют... В том-то и штука. Вопрос в том — кто здесь будет и сколько крови отсюда утечет в прямом и переносном смысле.

— Так, может, это — к счастью, что далеко не у всех есть деньги, чтобы выехать на ПМЖ из страны...

— Нет, не к счастью — к сожалению. К сожалению. Когда я ходил на эти Марши несогласных... Ясно же, что никакому нормальному человеку не нравится такое времяпрепровождение: в выходной день специально пойти искать себе на голову полицейскую дубинку... Но ведь под теми

лозунгами, за которые я туда ходил, подписываются все мои знакомые! Все. Но почти никого из них нет на этих маршах — по разным причинам. Нет привычки. Нет понимания.

Вот как бывает: не дано человеку что-то делать руками (так один мой друг говорил, когда его жена просила что-то присверлить к стене: «У меня обе руки — левые», — но зато он мог денег заработать и позвать соседа, чтоб он повесил эту полку). Но самоорганизация — это не то, что может сделать за тебя сосед. Как говорил Райкин, есть вещи, которые надо делать самому даже при наличии здорового коллектива.

Самоорганизоваться — это за нас никто не сделает. Самоорганизоваться, настоять на собственном достоинстве — это вещь, которую надо делать самим, даже если у тебя обе руки левые, обе ноги левые и голова не та. Это надо делать самим... А нам это действительно как народу не дано, любой Лихтенштейн даст нам тут восемьдесят очков вперед.

— Европе этого тоже дано не было, но она пятнадцать веков этому училась. История им дала на это пятнадцать веков, а нам — десять лет.

— Так именно это я и говорю: нам это не дано, но учиться тем не менее — надо. И потом, подождите: что значит «история дала»? История складывается из реализации или нереализации возможностей. Что же на нее пенять-то?.. У нас, между прочим, было Новгородское вече. Просто мы как народ этот шанс не использовали, а использовали шанс Малюты Скуратова...

Беседу вели Игорь Виноградов и Ирина Дугина

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ СОВРЕМЕННОСТИ

в русской сетевой и бумажной периодике
четвертого квартала 2008 г.

Мы продолжаем знакомить читателей с актуальными публицистическими выступлениями, отличающимися либо оригинальностью и глубиной анализа, либо концептуальной четкостью, либо, иногда, просто симптоматичностью.

Приметы времени анализирует **Михаил Эпштейн**, составивший **рейтинг слов и выражений 2008 года** (http://www. novayagazeta.ru/data/2008/color50/03.html; http://www.polit.ru/news/2008/12/26/elect.html; http://mikhail-epstein.livejournal.com/19263.html). Самыми популярными в прошедшем году оказались пять слов, а именно: 1) *Кризис*, 2) *Коллайдер*, 3) *Великодержавность*, 4) *Война*, 5) *Коррупция*. Появились следующие жаргонизмы и неологизмы: 1) *Пазитифф* (реакция неформального сообщества на всякий натужный пафос, наигранное веселье, коммерческий лоск и особенно на спускаемые сверху настроения «позитива», требования героизации и опрекраснивания действительности; слово-дразнилка, пародия); 2) *Обаманна* (амбивалентное сочетание: Обама+осанна+обман); 3) *Стабилизец* (сращение «стабильности» с «концом», точнее, сам «конец», парадоксально вытекающий из стабильности, и передается гротескным, двукоренным словом). В графу «Выражение-2008» Эпштейн заносит следующие словосочетания: 1) *Кошмарить бизнес*, 2) *Пилинг и откатинг*, 3) *Офисный планктон*. В графе «Антиязык-2008» (т. е. язык извращенный, шулерский, пропагандистский, аморальный, передергивающий смысл высказываний, выдающий черное за белое, а белое за черное) обнаруживаются: 1) *Принуждение к миру*, 2) *Подниматься с колен*, 3) и 4) *Замиротворить* и *миротворческие войска*. Комментарии автора остроумны, заканчивает же он так: *Это кризисный год под знаменем пазитиффа и великодержавности, когда чиновники кошмарят бизнес, а власть принуждает к миру другие страны, рывком поднимая с колен своих граждан, обреченных при этом опускаться в разряд новых бедных.*

Кризис. Коллапс системы

Разразившийся экономический кризис сфокусировал вокруг себя многие проблемные темы. Социальные и политические аспекты кризиса, его последствия для сложившейся в России системы были в конце 2008 года в центре внимания аналитиков.

Андрей Колесников критичен по отношению к современности и чуть более оптимистичен по части будущего. Он заключает (**«Возвращение государства»** — Газета.Ru, 30 декабря): *Взимая налоги с граждан, государство охотно тратит деньги на ремонт провалов рынка. Эти деньги <...> проваливаются в никуда, конвертируются в валюту, образуют тромбы в <...> финансовых*

системах, а главное — порождают иждивенческие настроения у предприятий и компаний, олигархов и граждан. За их же счет! При этом государство строит из себя заботливого отца, правда, иной раз позволяющего детям покапризничать. Скоро гламурные поселенцы Одинцовского района перекроют Рублево-Успенское шоссе и потребуют государственных дотаций на оплату счетов в ресторанах Барвихи, Жуковки и окрестностей. А что? Они тоже составляют стратегический, буквально таки золотой запас родины.

Однако работа *в режиме ошпаренной кошки,* замечает Колесников, — это тактика года прошедшего. На вопрос, каким будет год 2009-й, автор статьи дает следующий ответ: *...на всех денег не хватит, и население, которое, может, и с ностальгической симпатией относится к государству-отцу, перейдет на более привычный режим опоры на собственные силы. Русского человека телевизор может убедить в том, что во всем виновата Америка. Но русский человек при этом твердо знает: одна жизнь в телевизоре, другая — в собственном огороде. И им не сойтись никогда.*

Тот же **Андрей Колесников** в статье **«Контракт эпохи низкой нефти»** (Газета.Ru, 18 ноября) предвидит ревизию социального контракта, работавшего в течение нескольких тучных годов и формулировавшегося примерно так: *Мы делаем вид, что обустраиваем вам почти европейских стандартов жизнь, вы делаете вид, что голосуете.* И этот договор о взаимном безразличии и недоверии власть хотела бы пролонгировать. Однако проблема в том, что подобный общественный договор — *это контракт периода высокой нефти, когда конъюнктура настолько благоприятна, что преимуществами и бонусами от нее пользуются все. Сколько ни воруй и ни разгоняй инфляцию — что-нибудь да достанется последней старушке. При этом необязательно проводить реформы. Отличительное свойство такого периода — кажется, что он будет длиться вечно.* Но вот конъюнктура стала низкой, лоск и глянец нефтяной эры на глазах растворяются в воронке очистительного кризиса. Однако создается впечатление, что власть этого не осознала, *начальство, как всегда, готовится к вчерашней войне,*— пишет Колесников. А между тем надо думать о формулировании нового контракта, ведь *жесткость режима не компенсируется его эффективностью* и *придется возвращаться к нормальной схеме общественного договора, многократно описанной классиками <...> Нет ничего проще,* — считает автор статьи. — *Как нет ничего сложнее, потому что новый общественный договор потребует восстановления институтов общественной дискуссии и реальной демократии.* Только вот *на восстановление утраченного, кажется, не хватает уже человеческого ресурса: с элитой, чьи мозги размягчены нефтью, а обоняние отравлено газом, строить демократию обратно — дело почти безнадежное. Так что во время и после кризиса будем жить без контракта — с разрушенным старым и несформулированным новым.*

Никита Кричевский в цикле статей **«Обнуление нулевых»** на сайте АПН (13 октября, 12 и 17 ноября) анализирует развитие кризиса и стратегии выхода из него, используемые в разных странах. Относительно России его вывод таков: *Согласимся с властью: единственное, что может поддержать нас в эти нелегкие времена — слепая вера в то, что где-нибудь через год мировой экономический кризис рассосется, нефть подорожает, а западные*

финансисты снова начнут выдавать российским олигархам дешевые кредиты. Не зря же президент Медведев убеждает нас в том, что сырье в следующем году будет дорожать. А так как всего этого, скорее всего, не случится, определимся с дном российского кризиса. В геополитической сфере — утрата контроля над частью территорий страны. В экономической области — корпоративные и потребительские дефолты, продажа части госпакетов крупнейших российских компаний или их переуступка за долги. В социальном контексте — стихийные народные недовольства, градус напряженности которых может быть любым. В отношениях власти и общества — усиление авторитаризма с активизацией репрессивного аппарата. Достичь дна стране по силам в 2010–2011 годах. Выплывем раньше — значит, повезло.

Там же 6 ноября **Кричевский** анализирует президентское послание и приходит к выводу: *экономические тезисы президента сегодня не годны даже для внутреннего употребления* (**«Кризис, господа! Пять негодных тезисов президентского послания»**). **Тезис первый**: ***во всем виновата Америка***. Но еще недавно мы *радостно сливались с американцами и другими «участниками глобальных рынков» в едином фондовом экстазе, принимая денежные пузыри за реальный экономический рост. Или Путин тогда ошибался? Можно, конечно, всю вину за внутренние российские проблемы свалить на американцев и не слушать доморощенных экономистов, но есть авторитетные международные институты, исследования которых много раз подтверждали: российская финансовая система далека от стандартов не только всех развитых, но и многих развивающихся стран. <...> К тому же капиталоемкость ВВП,.. рассчитанная Всемирным банком, явно указывала на то, что мы следуем в фарватере мирового фондового безумия, надуваясь вместе со всеми, а рвануть могло, что называется, в любое время и в любом месте...* Впрочем, замечает Кричевский, Америку есть за что винить. *За то, что взрыв американской ипотеки и последующий мировой финансовый кризис обрубили доблестным российским олигархам дешевое зарубежное финансирование и обвалили нефтяной рынок.* **Тезис второй**: ***создаем новую финансовую архитектуру***. *Удивительны меры, предлагаемые президентом. Удивительны не новизной и актуальностью, а повсеместным распространением и тривиальностью.* Кричевский напоминает, что, например, *задача конвертируемости рубля была поставлена предыдущим президентом еще в Послании 2003 года.* Слова, слова.... Прошло пять с половиной лет, а воз и ныне там. Что же до слов президента о том, что *глобальные финансовые институты должны получить действенные возможности предупреждать возникновение кризисов, минимизировать их последствия, то здесь*, замечает Кричевский, *спичрайтеры дали маху: если б все было так просто, никаких кризисов не было бы и в помине.* Увы, *кризисы всегда возникают внезапно*, и единственное, что тут можно сделать, — *это создавать «подушки безопасности» на случай аврала.* **Тезис третий**: ***Россия — страна инновационных грез***. Кричевский обращается к статистике и показывает, что с 1992 года число научно-исследовательских организаций сократилось на 20,3% (проектных и проектно-изыскательских организаций — в 8,5 раза), численность исследователей сократилась вдвое, а удельный вес расходов федерального бюджета на науку в соотношении со всеми федеральными расходами в 1992 году был выше, чем в 2006-м. **Тезис четвертый**:

экономика социальной сферы. Эта часть статьи отправляет нас и к посланиям медведевского предшественника, и к недавней деятельности законодателей. Многое из провозглашенного в начале нулевых, пишет Кричевский, так и осталось словами. И сейчас о социально-экономических проблемах, к примеру, о пенсиях, не было сказано ничего принципиально нового. Между тем в Послании, отмечает Кричевский, *были обойдены стороной растущая инфляция, засилье продовольственного импорта, клиническая смерть некогда любимой ипотеки, продолжающаяся убыль российского населения, депрессивность многих российских регионов и другие социально-экономические проблемы. Хотя они-то в первую очередь касаются «и государства, и бизнеса, и каждого конкретного человека». Видимо, сегодня — это неактуальные темы.*

В серии новогодних статей «Ежедневный журнал» подвел итоги 2008 года.

Леонид Радзиховский в статье **«Перезагрузка пустоты»** («Ежедневный журнал», 2 января) резюмирует так: *Яблоко кризиса упало на голову спящей и видящей имперские сны России — и от потрясения все увидели, что король голый. <...> Пальцы все еще веером (хоть и дрожат), морда по-прежнему ящиком (хотя и скосорылилась), но бабки — кончились.* По мнению автора, система будет жить только потому, что некому ее скинуть. *Конечно, «стена — да гнилая, ткни и развалится» — это всегда верно в России. Да только тыкать некому — «тыкальщики» еще более «гнилые».* Уничтожить *Систему может лишь она сама — если РАСКОЛЕТСЯ. Ну так она и НЕ РАСКОЛЕТСЯ. Слишком силен инстинкт самосохранения...* Изменений Радзиховский ожидает в 2011 году.

Дмитрий Орешкин в статье **«2008-й как похмелье»** («Ежедневный журнал», 3 января) полагает, что Путин прожил свой завершающий год и уже в 2009 *клубок запоздалого прозрения, разочарования и ненависти* совьется в умах соотечественников с непредсказуемым результатом. И поделом, считает автор. *Послать бы Гитлереныша и всех-всех-всех его сказочных друзей в Краснокаменск для овладения основами экономической теории и трудовыми навыками швеи-мотористки. Ненадолго — лет этак на 8—10. Но умом понимаю, что это неправильное желание. Правильное желание — спускать на тормозах. Осторожно, чтобы не расплескалось. Слишком там много крови, гноя и дерьма. Сдерживайтесь, господа. Но не бойтесь. Это то немногое, чем мы можем помочь России выбраться из дурной бесконечности.* Возвращаясь к прошлому году, Орешкин утверждает, что в отличие от США, Европы и Японии у нас кризис *не столько финансовый и экономический, сколько кризис жизни на основе вранья. Завезен не из Америки, а из вчерашнего СССР.* Так сказать, *ухватив бога за бороду, В. В. Путин решил впрячь в свою державную повозку коня рыночной экономики и трепетную лань советской брехни. Чтобы еще разок с ветерком прокатить номенклатуру из силовиков, чиновников и примкнувших к ним идеологов. Только разогнались, а тут, как на грех, кончился овес сырьевой ренты.* Используемая модель, пишет Орешкин, *подразумевает, что граждане должны быть идиотами. Им прикажут сдавать валюту — они и понесли. Прикажут покупать ценные бумаги — все вмиг поголовно купили. <...> А теперь вот — не несут. Верят, кивают, врагов в клочки готовы порвать, но баблом, гады, не делятся. Сталина на них нет.*

Омещанилось население, заразилось губительным вирусом потребительства. Ему говорят — бери «Жигули», а оно — хочу, мол, иномарку. Как с такими мерзавцами без спецназа? <...> Без расстрелов и Колымы путинская вертикаль все равно что Андропов, рыскающий по баням за трудовыми резервами. В этой связи 2009 год видится Орешкину как год острых рисков. Путин предчувствует близкую утрату власти и очень не хочет этого. Прогнозов у автора несколько. Один из возможных путей — *прямиком к узурпации, полному отказу даже от кастрированных выборов, к чрезвычайному положению, чему-то вроде ГКЧП-2.* Есть и другой вариант — *аншлюс,* маленькая победоносная война. *Тоже неплохой вариант для сплочения нации и бесконечного пребывания у руля,* — иронизирует Орешкин. — *Но это крайние случаи. Хотя очень даже возможные. После Грузии ничего невозможного вообще не осталось.* Но существует, по мнению автора статьи, и другой набор сценариев: *Как-то они внутри себя договорятся, что-то подрихтуют, где-то гаечки отпустят, где-то подтянут, сальнички и прокладки поменяют. <...> Поползем со скрипом дальше, ремонтируясь на ходу... Пожалуй, так оно и лучше. Потихоньку, с рассолом и аспирином, подниматься с колен. Восстанавливая нормальное восприятие действительности.* Но, пишет Орешкин, готовым надо быть ко всему. *И, в любом случае, осадок от 2008 года останется. Как при позднем пробуждении с тяжелой идеологической похмелюги.*

Психолог **Леонид Кроль** (kl_acc) в своем блоге, в заметке **«Неотвратимые движения медного таза»** (17 октября), обнаруживает у власти два кризисных подхода. Первый — это заклинания. *Все плохое, хотя и сдержанно, но очевидно приписывается Им — Америке как наиболее видной части айсберга*; все хорошее — соответственно, нам. Второе — раздача денег, *от больших к маленьким и так — к мал-мала меньшим, но с соответствующей рентой, как официальной так и коррупционной.* Далее автор замечает: *Нетрудно догадаться, что при минимальных признаках паники так называемый народ, к которому справедливо относят и так называемых предпринимателей, с еще более так называемым средним классом, ломанется к банковским окнам и вообще куда-нибудь. Банки же, разумно предвидя, предполагают вывести что можно, а что можно попросить и тоже вывести. Впрочем, пока народу выдается нечто, что похоже на вчерашние деньги...*

Об отсутствии доверия как определяющем социальном факторе говорит **Сергей Шелин** в статье **«Вокруг России за 80 лет»** (Газета.Ru, 17 декабря). Он сравнивает два кризиса в стране, 1928 года и нынешний. Исполняется 80 лет со старта так называемого великого перелома. А ведь «перелом» этот тоже был своего рода антикризисной политикой. *К концу 1928 года,* — пишет Шелин, — *исчерпала себя политика колебаний, чередования пряника с кнутом, заигрывания с экономическими субъектами и верхушечных споров на экономико-философские темы. Власть месяц за месяцем взвешивала «за» и «против» и, наконец, решилась — железной рукой погнала народ вперед, через коллективизацию к строительству державной мощи. Из сегодняшнего дня это смотрится как смесь зверства с буйным помешательством. А вот те, кто был тогда вовлечен в процесс, не сомневались, что ситуация просто не оставляет им выбора. Да так оно и было. С тем уточнением, что эту ситуацию создали они сами. <...> Много ли тут сходства с сегодняшними нашими*

делами? Общая картина, конечно, другая, зато похожих фрагментов — масса. Тут и утопические цели, несоразмерные наличным средствам. И инстинктивная враждебность к свободному предпринимательству, делающая государственную политику заложницей государственного сектора. И деморализация ответственной части чиновничества. И отношение к подданным как к инструменту для решения поставленных руководством задач. Притом инструменту недоброкачественному. Разница в том, что *у властей 1928 года денег не было. А у властей 2008-го их полно. Это располагает работать пряником, а не кнутом. Продолжать раздавать, даже если толку особого и не видно. По крайней мере пока нефтяные заначки не кончились.* С другой стороны, *80 лет зря не прошли. И народ больше не склонен жертвовать собой. И начальство, можно сказать, подобрело. По меньшей мере, полюбило достаток и комфорт, а это сковывает энергию. Но что осталось прежним, так это паралич доверия <...> к системе, к правилам игры, к обязательствам властей, с которым люди, они же «экономические субъекты», берутся за свои дела. В этом стержень обоих кризисов, что тогдашнего, что сегодняшнего. Эту проблему и предстоит решить. И желательно, не теми методами, что в прошлый раз.*

Отсутствие доверия в отношениях власти и общества — это следствие их взаимного неучастия, по существу предусмотренного общественным договором, пишет **Глеб Черкасов** (**«Последний спокойный год»** — Газета.Ru, 30 декабря). В ситуации кризиса это ведет к осознанию ими отсутствия надежд друг на друга. *...государство, где гражданам и их руководителям взаимно наплевать друг на друга, не слишком устойчиво и в любой момент может сложиться, как карточный домик. Поводом может стать совершенно незначительная мелочь.* Но есть и другой вариант, считает автор. *Власть и общество могут договориться по новой и по-новому. Правда, этого надо по-настоящему захотеть. И, кажется, 2009 год — последний, когда это еще можно сделать в сравнительно спокойной обстановке.*

Эрнст Черный в статье **«Принуждение к социальному миру»** (Грани.Ру, 30 декабря) показывает, к чему приводит отсутствие доверия. *Принуждение к миру становится нашей национальной идеей и традицией. В августе мы принуждали к миру Грузию. А пока принуждали, приключился с нами кризис. Говорят, экономический и финансовый, но это придумки. Просто наружу вылез серьезный кризис власти, которая, как было понятно уже давно, не умеет предвидеть последствий своих действий. Цены на нефть, наше единственное достояние, рухнули, а вместе с ними закончилось и спокойствие в стране. По России прокатилась первая волна протестов. Власти пришлось начинать новую операцию: принуждение к социальному миру. <...> Для этого остановили сокращение внутренних войск, отменили суд присяжных по делам, подследственным ФСБ, включая и дела о массовых беспорядках. Надо полагать, что под массовыми беспорядками подразумеваются протестные пикеты, митинги, шествия. <...> Владивосток уже понял, что «принуждение к социальному миру» будет жестким и бескомпромиссным. Те, кто умеет читать, тоже поняли: всех несогласных с национальным лидером — за решетку. И безо всяких там присяжных. Как и всех общающихся с иностранцами. В соответствии, как сказал национальный лидер еще в 2000 году, с уголовным законом.*

Режим современной России **Михаил Делягин** назвал «сувенирной демократией» для избранных, которые в демократию не верят и держат свои активы на Западе (**«Основы и конец "сувенирной демократии"»** — «Ежедневный журнал», 7 ноября). «Вертикаль» подобной *сувенирной демократии*, пишет автор, — *это власть отнюдь не народа, периодически и частично сгоняемого на нелепый фарс под названием «выборы», но лишь его «лучших представителей», тех самых, чьими устами народ, по известному анекдоту, пьет шампанское.* Причем имущественный ценз для этих лучших представителей неуклонно растет. *В мае 2008 года некто Полонский, глава московской Mirax Group, строящей очень дорогое жилье для очень дорогих россиян,.. обозначил новый имущественный ценз, публично послав в ж[о]пу всех, у кого нет миллиарда долларов*[1]. *То, что никто из присутствующих... особо не смутился, свидетельствует об обоснованности подхода: это государство служит миллиардерам — и только им. Разумеется, не только тем, кто имеет этот миллиард в денежной форме, но и тем (и в первую очередь им), кто располагает административным эквивалентом этого имущественного ценза, то есть занимает соответствующее положение...* <...> Так что *баснописцы со Старой площади* не лгут, когда называют себя самыми большими европейцами «в этой азиатской стране», иронизирует автор: ведь если считать, что главное в европеизме права человека, то *права человека, имеющего миллиард, в путинской системе в целом соблюдаются.* Далее Делягин пишет, что за неимением реальной хотя бы двухпартийной системы (слишком мало людей имеют политические права в рамках «сувенирной демократии») в России существует двухклановая. Место республиканцев и демократов у нас занимают «силовые олигархи» и «либеральные фундаменталисты». К первым относятся *такие же бизнесмены, как и олигархи ельцинской эпохи, только занимающие государственные посты и использующие для личного обогащения право государства на насилие.* Вторые, контролирующие *социально-экономический блок правительства, часть правоохранительных структур и некоторую часть либеральной оппозиции, исходят из абсолютного примата материального потребления над всеми остальными формами жизненной активности человека.* В отличие от них «силовые олигархи» исходят из абсолютного примата *потребления как такового, и в первую очередь его нематериальных, символических форм,* и избыток средств, по их убеждению, должен быть направлен на удовлетворение собственного самолюбия. Именно это обстоятельство автоматически и превращает их *в латентных — а в фазах обострения и в публичных — патриотов.* Два описываемых клана, замечает Делягин, *не только воюют друг с другом, но и обладают высоким потенциалом сотрудничества,* что и позволило им совместно создать *коалиционное государство,* высшей формой развития которого стала *нынешняя «тандемократия»,* где *две головы государства представляют два разных клана, а*

---

[1] Ср.: *...на Международной каннской выставке недвижимости MIPIM, своих гостей президент Mirax Group Сергей Полонский на одной из вечеринок, где рекой лилось вино и шампанское стоимостью от 600 евро за бутылку, так приветствовал: «У кого нет миллиарда, могут идти в жопу».* — http://www.polit.ru/economy/2008/10/08/zastroi6iki.html. См. также дискуссию о высказываниях Полонского: http://tiomkin.livejournal.com/761432.html.

баланс между их интересами достигается в результате сложнейшей и запутанной системы «сдержек и противовесов». Но такая система нежизнеспособна, считает Делягин. Рост благосостояния большинства кончился, так что *нам предстоит пережить быструю консолидацию общественных интересов против интересов правящей клептократии и стихийное возникновение прямой демократии масс — против «сувенирной демократии» миллиардеров.* Эта демократия масс, по убеждению автора, *будет формироваться на левой основе из-за общей бедности и падения уровня жизни и будет интернациональной по духу, потому что тупиковость местечкового национализма осознали почти все, кроме прямых сотрудников соответствующих ведомств.*

Мы создали *мутанта — не социализм, не капитализм, а неведому зверушку,* — пишет **Андрей Пионтковский** (**«Смерть мутанта»** — Грани.Ру, 16 декабря).— *Сложившаяся в России экономическая система... обрекает страну на застой и маргинализацию. В то же время она обладает определенной локальной устойчивостью... что делает ее еще только более опасной.* Мутант заматерел и буквально пожрал страну: *он загнал все живое, что оставалось в российской экономике, в госкорпорации друзей премьера, гигантские карикатуры на южнокорейские чеболи, неэффективность которых привела к краху 1998 года* <...> Кто-то называет эту «воровскую малину» бандитским капитализмом, кто-то — бюрократическим феодализмом. Пионтковский для краткости предлагает называть ее путинизмом. Далее автор пишет: такой *сон в сугробе, рождающий чудовищ,* мог бы длиться и дальше, но разразился кризис, *схлопнувший пузырь путиномики.* Этот *кризис путинизма* Пионтковский считает экзистенциальным. *Без заоблачных цен на энергоносители и без западных кредитов под залог вздутых акций сырьевых компаний эта изначально исторически бесперспективная модель стремительно теряет даже ту свою локальную устойчивость, о которой говорилось выше. Попытки имитировать западные методы лечения дают обратные результаты.* <...> *Это уже не просто кризис путинизма. Это совсем другое слово — из шести букв. Это такая же смерть обанкротившейся общественной формации, как в 1917 или в 1991 годах. Третья в России за последнее столетие.* Утешает здесь только одно: *фарсовая природа путинизма, отсутствие за ним какого-либо идеологического проекта, чрезвычайно узкая его социальная база дают основания полагать, что его демонтаж может пройти в отличие от двух предыдущих случаев сравнительно безболезненно.*

Через две недели в статье **«Развилка-2009»** (Грани.Ру, 30 декабря) **Пионтковский** пытается спрогнозировать развитие событий в политической сфере далее. Путинская клептократия исторически обречена, но уходить с политической сцены может по-разному. По Пионтковскому, в *обстановке старательно выжженной путинизмом политической пустыни и полного отсутствия институтов гражданского общества исход будет определяться соотношением сил внутри правящей бизнес-бюрократии.* К началу 2009 года в ней наметился раскол на две группировки, определяемые автором как *национал-клептократы* и *глобоклептократы.* Соответственно просматриваются два основных сценария-2009.

I. Победа национал-клептократов, т. е. чекистского «бункера» во главе с Путиным и его непосредственным бизнес-окружением (Сечин, В. Иванов,

Чемезов). *Сохранение в неприкосновенности воровской системы «капитализма для друзей». Беспощадное подавление социального протеста. Добровольно-принудительное исчезновение Медведева и возвращение Путина на пост президента (досрочные выборы или введение чрезвычайного положения). Зачистка всех потенциальных оппонентов с использованием новой безразмерной редакции статей УК о шпионаже и измене Родине. Фашизация идеологического поля. Атмосфера осажденной крепости. Дальнейшее «вставание с колен» и попытки «собирания земель русских» на постсоветском пространстве. Историческая перспектива — крах максимум через 1—2 года, сопровождаемый распадом Российской Федерации.*

II. Победа глобоклептократов. Здесь в качестве ключевых теневых фигур угадываются Абрамович, Волошин, Чубайс. *В политической плоскости — добровольно-принудительное подписание президентом Медведевым указа об отставке премьера. Идеологически — осторожное блеяние... об «импульсе сверху» в направлении «увеличения элементов состязательности и конкурентности как в экономике, так и в политике».* Но в обстановке кризиса, пишет Пионтковский, уже и этого будет достаточно для взрыва социальной и политической активности, контролировать которую глобоклептократы окажутся не в силах и попросту исчезнут с политической арены. Далее *в стране де-факто устанавливаются свобода слова и многопартийность... Медведев добровольно-принудительно распускает Думу и объявляет выборы в Учредительное собрание, после которых обещает уйти в отставку. Стремительно растет влияние левых, среди которых выдвигаются новые рабочие лидеры из регионов. В день созыва Учредительного собрания сценарий II расщепляется на две траектории. **II. 1.** Вооруженная группа крайне левых, получивших на выборах около 20 процентов голосов и оказавшихся в меньшинстве, разгоняет Учредительное собрание и провозглашает Великую Декабрьскую Социалистическую Революцию 2009 года. Россия возвращается в ту же петлю своего исторического времени. Новый цикл длится, разумеется, не 92 года, а значительно меньше и завершается распадом Российской Федерации.* Вариант сценария ***II. 2.*** выглядит так: *учредительное собрание формирует коалиционное лево-либеральное правительство, пользующееся доверием значительного большинства населения страны. Начинается медленный и трудный путь демократического возрождения России.*

В статье **«Третий Февраль»** (Грани.Ру, 7 января) **Пионтковский** назначает решающие события на февраль: *Он станет третьим Февралем русской истории после 1917-го и 1991-го. Третий раз подряд за последнее столетие рушится под собственной тяжестью несостоятельная политическая система. И дважды она упрямо восстанавливалась на тех же принципах несвободы, хотя и наряжалась каждый раз в новые идеологические одежды. Значит, дважды Февраль был не понят, и дважды шанс его был упущен.* Каким же видят нынешний Февраль его архитекторы? — риторически спрашивает автор. Да, последует дозированная критика ошибок и злоупотреблений предыдущего режима, некоторые ошибки даже будут исправлены. Однако — никаких новых выборов в ближайшие годы (ведь *этому незрелому народу нельзя доверять избирать начальство на свободных и справедливых выборах. Нельзя было в 96-м. Нельзя было в 99-м. Тем более нельзя сегодня*).

А дальше, пишет Пионтковский, *те же самые телемордоделы, которые шили платье прежнего короля, начнут лепить из питерского юриста Дмитрия Освободителя и Медведева-Цхинвалского в одном флаконе. Приведут к нему попов с иконами. Посадят голенького на лошадку с болтающимся крестиком на шее.* Но, предостерегает Пионтковский, *вся эта декорация рухнет в первые дни... У безработных Сибири и Урала она вызовет рвоту и желание порвать кому-нибудь пасть. Давайте лучше вместе подумаем, как помочь Медведеву сыграть короткую, но выдающуюся роль в русской истории. Совершить то, что не удалось двум другим юристам — Керенскому и Горбачеву: довести страну до Учредительного собрания и выборов президента, сохранив социальный мир, правопорядок и самое главное — саму страну.*

Николай Розов также исходит из убеждения, что надвигающийся системный кризис *грозит катастрофическими последствиями вплоть до государственного распада и массового насилия.* В своей статье **«Кризис и ближайшие развилки российской политики»** (ПОЛИТ.РУ, 22 декабря) Розов рассматривает различные возможности политического будущего страны и для начала прогнозирует ответ российской власти на рост трудностей. *Под привычными лозунгами «сплотиться», «сосредоточиться» и «не дать растащить»*, — пишет он, — *будут предприняты попытки нового витка централизации, огосударствления ресурсов, «укрепления вертикали»* и т. п. По существу же это будет *попытка перейти от слабого авторитаризма к диктатуре*, которая поначалу приведет к некоторым «успехам»: *жесткое подавление уличных протестов, шквал соответствующей телепропаганды на время «подморозят Россию»; уровень конфликтности и социального напряжения снизится на какой-то период, особо кричащие проблемы могут быть решены жесткими и решительными мерами.* Рогов ожидает даже, что политика *«восстановления порядка»* вызовет в стране всплески энтузиазма и массовую поддержку. Только вот социальных руин все это не восстановит, *процессы деградации продолжатся,* и *системный кризис будет надвигаться новыми волнами.*

Однако, замечает Рогов, диктатура редко бывает долговечной и устойчивой — даже на период жизни правителя. В кризисное же время она *оказывается весьма хрупкой политической структурой: слишком мало самостоятельных опор и слишком много недовольных.* Для сохранного существования диктатуре необходим либо постоянный золотой дождь (как в Саудовской Аравии), либо регулярные чистки (как в сталинском СССР), либо практика тотального принуждения (как в Северной Корее). Розов рассматривает шансы для поддержания диктатуры в современной России: *Золотой дождь, если и польется снова, то ненадолго, и наступление кризиса может только отодвинуть, но не отменить. Тотальное принуждение представляется невыполнимым. Даже у Андропова в начале 1980-х попытка «дисциплинировать» страну провалилась, а при новых разбалованных свободой и потреблением поколениях вряд ли за такую авантюру вообще кто-то возьмется.* Остается третье — *устрашение недовольных арестами, репрессиями, экспроприацией.* Такую стратегию автор статьи считает более вероятной и уповает лишь на то, что *соскальзыванию в черную дыру сталинщины* воспрепятствует историческая память народа. Возможно, кто-то еще не забыл, что,

однажды заработав, *мясорубка* начнет перемалывать и собственных инициаторов, не жалея ни начальников, ни рядовых исполнителей. Так что, как ни крути, выходит, что *даже при временном сдвиге в сторону диктатуры продолжающийся системный кризис неизбежно приведет к ее разрушению.* В итоге попытка закрутить гайки обернется тем, что сорвется резьба. Но что же будет потом? На обломках диктатуры, пишет Розов, образуется новый политический ландшафт. В течение какого-то периода за власть будут бороться несколько центров силы и именно здесь, полагает автор статьи, и ожидает нас *главная развилка, которая предопределит политическое будущее России на многие десятилетия.* Розов считает, что в этом случае не так важно будет, кто победит: *главная интрига — каким образом будет вестись борьба,* поскольку тут может быть лишь два варианта — *либо война без правил, направленная на уничтожение противника,.. либо борьба по правилам, сговор, торг, пусть закулисный и закрытый, но предполагающий запрет на неправовое насилие.* Понятно, что первый вариант безнадежен, второй же открывает «*окно возможностей*» для демократии, хотя от самой демократии еще очень далек. Розов пишет: *Вместо расширяющейся пропасти, отделяющей нынешнюю авторитарную и стагнирующую Россию от реальной устойчивой демократии, способной к самоорганизации и модернизации, появляется узкая тропинка к важному промежуточному пункту — формированию автономных центров силы, способных к мирной конкуренции и сотрудничеству.* Главную роль в формировании этих ***автономных центров силы*** Розов отводит не столько интеллигенции, сколько т. н. *элите развития*, к которой относятся успешные бизнесмены, чиновники, политики, офицеры армии и спецслужб, работники сферы медицины, образования и науки, муниципального и регионального управления (интеллигенция же с *элитой развития* не только пересекается, но может и должна служить ее голосом, поскольку именно интеллигенции принадлежит честь формировать общественный дискурс). *Актуальными лозунгами в сегодняшней России*, — пишет Рогов, — *должны стать... неприкосновенность личности и собственности*, а также *независимость судебной системы...*

Так что, согласно Рогову, *первый и главный вопрос повестки дня — достижение широкого общественного согласия относительно недопустимости использования силы (правоохранительных, налоговых, полицейских и прочих органов) в борьбе с идеологическими и политическими противниками и конкурентами.* Кроме того, предупреждает он, *важнейшим принципом по-прежнему остается собственное ненасилие оппозиции, призывы к ненасилию даже среди справедливо разгневанного народа.*

Второй пункт повестки дня, по Розову, — *формирование автономных центров силы, способных к цивилизованному взаимодействию и мирной конкуренции по правилам честной игры.* Автор статьи полагает, что наличие автономных центров силы откроет *беспрецедентную в истории России возможность — выскользнуть из четырехсотлетней череды циклов, когда порядок обеспечивался авторитаризмом,.. а попытки либерализации проваливались, ведя к новым авторитарным откатам.*

Профессор Европейского университета в Петербурге **Владимир Гельман** размышляет о том, что случится с режимом и с обществом по мере

нарастания проблем (**«Режим и граждане в условиях российского кризиса: уход, протест или лояльность?»** — ПОЛИТ.РУ, 24 декабря). Сравнительные исследования авторитарных режимов показывают, пишет Гельман, что сами по себе ни глубина, ни продолжительность экономического спада не сокращают сроки пребывания режимов у власти. *В ходе кризисов граждане могут либо (1) предпочесть сохранять существующий режим и поддерживать статус-кво («лояльность»), либо (2) пассивно приспосабливаться к меняющейся ситуации («уход»), либо (3) активно выступать против проводимого правящим режимом политического курса, а то и против режима как такового («протест»).* Россия встретила начало экономического кризиса на фоне слабого опыта протеста и неблагоприятных условий для его реализации. Высокий уровень поддержки режима и его лидеров сохраняется и по сей день. *Но надо иметь в виду,* — пишет Гельман, — *что поддержка гражданами авторитарных режимов, подобных российскому, носит не диффузный, а специфический характер. Проще говоря, граждане поддерживают этот режим не потому, что он им нравится как таковой, а потому, что он приносит значительной их части материальные дивиденды (или хотя бы надежду на их получение). Такого рода поддержка своих сограждан для этих режимов больше всего похожа на отношения с девушками не слишком тяжелого поведения — пока им платят деньги, они готовы заниматься продажной любовью, а когда деньги у клиента заканчиваются, то заканчивается и продажная любовь. Поэтому если экономический спад в России... будет носить глубокий и длительный характер, то российскому режиму будет довольно тяжело сохранить лояльность граждан.* А это означает, что спрос на альтернативы статус-кво неизбежно будет возрастать. По Гельману, такой спрос, *скорее всего, будет носить по преимуществу антимодернизаторский характер* и ориентироваться предпочтет либо на левые, либо — в худшем варианте — на агрессивно-националистические лозунги. Однако, считает Гельман, пока что перспективы массового общенационального протеста в России выглядят сомнительными: *Для такого развития событий в стране нет ни общенациональных структур мобилизации, ни единой «мишени» протеста, ни... влиятельных лидеров, дезертировавших из правящей группы и способных этот протест возглавить и канализировать.* По мнению автора, предпочтительным вариантом реакции на кризис со стороны российских граждан выглядит стратегия «ухода» (*в разных формах — от ухода в маргинальный образ жизни или в криминал до возможного отъезда за рубеж*); но такая стратегия возможна *только при наличии соответствующих социальных и экономических ниш, предоставляемых режимом.* Однако, отмечает Гельман, *развитие кризиса делает подобные ниши все менее доступными и/или привлекательными,* что, в свою очередь, может вынудить граждан к «протесту». К тому же существуют и другие факторы, провоцирующие протест. Гельман пишет: *Правящая группа, не без оснований рассматривая протест как вызов своему господству, жестко препятствует даже локальным проявлениям протеста...* Однако при этом *своего рода ахиллесовой пятой стратегии сдерживания является довольно низкий уровень репрессивности российского режима в сравнении с другими авторитарными режимами на территории пост-СССР. Российский режим на протяжении 2000-х годов практиковал*

«точечные» репрессии против своих противников, не требующие особых затрат, но весьма эффективные с точки зрения поддержания статус-кво. Но у российского режима нет непосредственного опыта применения массовых репрессий в отношении сограждан. Поэтому... если на улицы выйдет так много протестующих, что их разгон будет невозможен без массовых убийств,.. то сдерживание протеста со стороны режима может оказаться слишком дорогим. Хотя подобное развитие событий нельзя исключить (едва ли у правящей группы имеют место какие-либо моральные ограничения на сей счет), но его риски для руководителей страны весьма велики. Кроме того, следует учитывать, что репрессивные авторитарные режимы наиболее опасны прежде всего для представителей элитных и субэлитных групп — для них риск оказаться жертвами такого рода режима гораздо выше, чем у простых граждан. Автор рассматривает также возможности стратегий умиротворения и наступательного сдерживания.

На низкое качество российского общества как проблему в ситуации кризиса обращает внимание **Михаил Бударагин** (**«Троечники»** — Взгляд, 29 декабря). *Общество, дезорганизованное, слабое и плохо понимающее, как обустраиваться в новых обстоятельствах, пытается найти какие-то механизмы внутренней самоорганизации, натыкаясь попеременно то на глухоту соседа по лестничной клетке, то на дубинки ОМОНа*, — пишет автор, сокрушаясь, что единственной массовой идеологией в сегодняшней России стало потребление: *у отечественного обывателя нет ничего, кроме механического пересчета своих и чужих денег и потребления продуктов масс-культа. <...> «Средний класс» не привязан к своему собственному статусу ничем: церковь, которая выковала западного буржуа, у нас все еще очень слаба и боязлива, семейные ценности — традиционный фетиш любого здорового бюргерства, купечества etc — опоздали лет на сто пятьдесят, образование попрано, преданность долгу, стране, монарху, корпорации — пустой звук, социальных связей почти не существует. Держаться не за что, корней нет.* Автор прикремлевского ресурса и лоялист, Бударагин, похоже, близок к раскаянию: *Надо было 15 лет изо дня в день учить общество, что деньги — единственная ценность, чтобы теперь решить втолковать ему обратное.* Да и в самом деле, как теперь быть, если *уменьшение потребительской активности, кроме экономических проблем, повлечет за собой массу социальных: и вся эта угрюмая и озлобленная масса, которая вчера привыкала снимать стресс шопингом, а позавчера училась водить иномарку, окажется перед лицом вопиющей пустоты. Новых вещей, которыми можно было бы заполнить пустое пространство, в ближайшее время не появится.* И, как справедливо замечает Бударагин, самое-то страшное, что власти действительно *не на кого больше опереться, кроме обывателя, который восемь лет исправно потреблял всевозможные блага, голосовал и смеялся шуткам Евгения Петросяна.*

Общество

Татьяна Щербина (**«Накануне»** — ПОЛИТ.РУ, 25 декабря) полагает, что вместе с Солженицыным и патриархом Алексием XX век ушел парадоксальным образом в тот момент, когда по совокупности выраженных настро-

ений политического официоза и массы *Сталин восстал из ада в качестве успешного лидера, эффективного менеджера, бренда и имени России. И молодежь, совка не хлебнувшая, пошла писать о «стране, которую мы потеряли», свободной и процветающей. Сегодня, мол, все боятся — потерять капиталы, работу, квартиру, быть убитым и выпасть из обоймы потребителей <...> А в СССР жили без денег, клевали зернышки, все было духовное, великое и могучее. Ну, нельзя было ругать власть — сейчас немножко можно, а толку? Закрытые границы — так территории СССР хватало для путешествий. Это пишут интернет-пользователи, родившиеся при Горбачеве и Ельцине, и тысячи их ровесников восторженно соглашаются. А то, что десятки миллионов посадили и расстреляли, а их дети и внуки, как дикари, «утюжили фирму», чтоб «достать» джинсы или жвачку, что самым заветным словом было «импорт» — это навет. Кто ж теперь поверит, что в магазины, где продавались обычные по нынешним временам вещи, книги, продукты, сигареты, допускались только люди высшего и первого сорта — иностранцы?* Щербина фиксирует еще один парадокс: *Сегодня о вегетарианском брежневском совке мечтают только люди бескрылые, которым бы пойти на содержание к государству, ничего не делать и ни о чем не беспокоиться. Активные взыскуют борьбы с врагом вплоть до полного его уничтожения. Потому что враг — это другие, российское «я» привыкло мыслить себя в настоящем жертвой, а в будущем — на том самом месте, которое занимают сегодня его угнетатели. И ужасная судьба верных ленинцев и сталинских соколов ничему мечтателей не научила. <...> Парадокс в том, что один и тот же миф о золотой сталинской поре был, с одной стороны, спущен с высокого чердака через телеканализацию, а с другой — выработан как протест против сквотеров* (что-то типа халявных обитателей. — *Е. Е.*) *того же самого чердака. <...> мейнстрим мысли сегодня — это модель усовершенствованная: чтоб не интернационализм, а нацизм, как у Гитлера, и не атеизм, а атомное православие.*

Плохо начался XXI век, продолжает Щербина. *Почему-то все были уверены, что он станет веком благоденствия, «эрой Водолея», конца света боялись только до наступления миллениума, а раз пронесло — решили, что теперь заживем. И зажили, пока не пришел Кризис с косой, не скосил цены на нефть, и теперь народ боится, что если возникнет массовый голод, то одних перестреляют как собак, а других заберут в рабство: строить беломорканалы и развивать науку в шарашках.* А если посмотреть на ту поспешность, с которой баррикадируются *на чердаке*, невольно задумаешься: «уж не вынашивают ли там план мировой войны?» Той войны, которую задумывал Сталин, но первым осуществил Гитлер. *Теперь опыт есть*, — пишет Щербина, — *гибрид Сталина с Гитлером и Иваном Грозным нежданно-негаданно оказался героем нашего времени.*

Взгляд извне представлен статьей **Марка Нексона** и **Кати Сваровской**, которые делятся впечатлениями от российской атмосферы (**«Россия: империя зовет»** — «Le Point», Франция, 23 ноября). Выходит так: *Остались в прошлом мучительные воспоминания о распаде СССР, Россия-победительница вернулась. Экономический кризис не помеха патриотическому подъему: неприятие Запада, прославление славянской идентичности и православной религии, ностальгия по имперской России.* Как знаки времени описаны ка-

зацкая школа под Ростовом (*После прихода к власти Путина, казацкие образовательные учреждения появились по всей стране — сорок штук на сегодняшний момент. В два раза больше, чем пять лет назад.*); телемочилово Запада в исполнении ренегата демократии Петра Толстого; Борис Соколов, покинувший свой вуз за статью, где он *осудил войну в Грузии*; новая телезвезда, антизападник Александр Дугин (*«Многие представители Церкви, армии и секретных служб разделяют мое мировоззрение», — говорит он строгим голосом. Его мировоззрение? Неприятие Запада. «Хватит нам навязывать Ваши ценности. У Вас индивид — центр мироздания. У нас же коллективное выше личного. Здесь корни нашей культуры»*) и старая политическая лошадь *ультранационалист Владимир Жириновский*... А также лидер ДПНИ Александр Белов, прикремлевские «Наши» и «Мишки». *У власти в ее патриотическом «крестовом походе» есть весомый помощник — Православная Церковь, которая стремительно возвращает былое влияние. И сосуществует в полной гармонии с Владимиром Путиным. «Никогда еще между властью и Церковью не было таких хороших отношений», — говорит священник Владимир Вигилянский, руководитель пресс-службы Московской Патриархии. <...> Церковь целиком и полностью придерживается официальной линии. Она совсем не осуждает молниеносную войну с грузинскими братьями по православной вере. «Когда Вас бьют по голове, приходится реагировать, — говорит священник Дмитрий Симонов, председатель синодального Отдела Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами. — Грузинских военных обучали протестанты американцы и израильские генералы!»* Как пишут авторы статьи, *в идеологической «солянке» Кремля возник нежданный гость — Сталин. Он не очень-то согласуется с царистским культом и православной верой. И, тем не менее, отец народов вновь в чести. Путин, чей дедушка был поваром и стряпал для кровавого диктатора, дал зеленый свет. И вот Сталина уже обелили в школьных учебниках. Теперь его называют «эффективным менеджером» и «рациональным человеком»*. Знакомят Нексон и Сваровская и с показательной статистикой: по данным опроса, проведенного Левада-центром, сегодня 82% россиян считают свою страну великой державой, восемь лет назад таких было только 30%. 77% россиян полагают, что их окружают враги, в 1988 году таких было всего 13%!

Власть

Оуэн Мэттьюс и **Анна Немцова** в статье **«Доктрина Медведева»** («Newsweek», США, 23 ноября) пытаются осознать своеобразие политического курса российского президента. Они приходят к выводу: *Медведев разработал собственную, довольно радикальную программу, на удивление либеральную во внутренней политике, и все более воинственную — во внешней. Доктрина Медведева представляет собой амбициозный план по ремонту «сломавшегося» механизма российского общества и восстановлению позиций Москвы на мировой арене. ...этот план предусматривает перекройку всей международной инфраструктуры в сфере безопасности и финансов на российских условиях. Один из способов добиться этих целей, по мнению Медведева, состоит в замещении — по крайней мере частичном — американского*

влияния в Европе российским, за счет сочетания военных угроз с использованием гигантских газовых запасов страны в качестве рычага влияния. Для начала он стремится покончить с вмешательством США и Европы в дела российского «ближнего зарубежья» и предполагает реструктурировать международную дипломатическую систему за счет преобразования Шанхайской организации сотрудничества... в блок по образцу НАТО. Среди других задач — превращение Москвы в один из мировых финансовых центров и создание газового картеля по примеру ОПЕК, в котором Россия... стала бы одним из ведущих участников. Авторы обращают внимание на то, что Медведев — юрист, чьи молодые годы прошли в либеральном Петербурге в эпоху гласности, и по сравнению с Путиным придерживается стиля более открытого и современного. Медведев, по мнению Мэттьюса и Немцовой, выступает *за либерализацию экономики, демократию на местах и свободу слова,* потому, что уверен: *для нормального функционирования России нужен твердый политический контроль наверху в сочетании с чем-то вроде открытого общества внизу, подотчетностью чиновников и большей свободой для бизнеса.* Медведев, по мнению авторов «Newsweek», *четко осознает суть проблем, с которыми сталкивается Россия — и не боится говорить о них вслух. <...> он резко критикует коррумпированную судебную систему и госаппарат — хотя и старательно избегает любых намеков на то, что при Путине эти проблемы не решались. <...> Во внешней политике Медведев тщательно заботится о том, чтобы не выглядеть «слабее» Путина. Путин часто говорил о «многополярном мире». Но именно при Медведеве Россия дала понять, что международное право для нее — «что дышло», введя танки в Южную Осетию и Абхазию. <...> После войны Медведев сделал следующий шаг, заявив о необходимости изменить основополагающие нормы международной дипломатии и признать «привилегированные интересы» России в странах, где вмешательство НАТО Москвой явно не приветствуется...* Президент России явно утверждает советский тезис о наличии у Москвы своей сферы влияния. Впрочем, замечают Мэттьюс и Немцова, *Медведев произносит все нужные слова, но они не особенно подкрепляются конкретными делами. <...> амбиции, озвученные на старте его президентства, уже не соответствуют реальному, все менее прочному положению России.* К примеру, зависимость Запада от российского газа сегодня ослабла как никогда: российский газ составляет сегодня всего 6,5% от общего объема первичного энергоснабжения стран ЕС, и эта доля постепенно снижается. Так что *Запад начинает осознавать, насколько пустопорожни некоторые из громогласных заявлений Медведева.*

Авторы «Newsweek» резюмируют: *Особых шансов переделать мир по кремлевским лекалам у Медведева нет — и скорее всего, большинство элементов его доктрины не переживет экономического спада в России. Но по крайней мере он, судя по всему, действительно верит, что «свобода лучше, чем несвобода», и, пожалуй, решительнее, чем любой из его предшественников, пытается интегрировать Россию в мировую экономику и положить конец одолевающему страну «правовому нигилизму».*

Специфику взглядов президента Медведева пытается осознать и **Андрей Окара** (**«Дмитрий Медведев и философия права»** — АПН, 17 ноября). Оказывается, в своем первом президентском Послании Медведев демонст-

ративно отказался от поминания всуе и цитирования Ивана Ильина (и это при том, что при президенте Путине Ильин был едва ли не самым востребованным автором цитат как патриотический публицист, чьи идеи как нельзя годились для обоснования «мягкого авторитаризма», придания дополнительной легитимности властной корпорации и выстраивания «вертикали власти»). В первом Послании Медведева появляется новый идеологический набор — Петр Столыпин, Борис Чичерин, Николай Коркунов. Президент России цитирует Столыпина: *Прежде всего, надлежит создать гражданина, и когда задача эта будет осуществлена, — гражданственность сама воцарится на Руси. Сперва гражданин, а потом гражданственность. А у нас обыкновенно проповедуют наоборот.* То есть, делает вывод Окара, по мысли Столыпина — Медведева, «гражданственность» — «гражданское общество» — не относится к первоочередным задачам, эти вещи возникнут сами собой. Тезис Коркунова о том, что *установление законности всегда чувствуется как стеснение произвола властвующих*, работает на теорию правового государства, означающую в российских условиях ограничение прав властной корпорации и борьбу с коррупцией. Однако, замечает автор статьи, это вопрос воистину «гамлетовский»: как построить ограниченное правом (правовое) государство в стране, где только революция может ограничить всемогущество властной корпорации? Ну а тезис Чичерина о праве как *условии истинно человеческого существования* крайне важен для строительства новой правовой доктрины и новых основ правопонимания. Право, разъясняет Окара, не тождественно законодательству и должно апеллировать к высшим ценностям свободы и справедливости, а не к интересам и целесообразности кого бы то ни было. Отсюда вытекает извечный российский вопрос о значении и назначении государства: что такое «сильное» (фактически авторитарное) государство в наших условиях — становой хребет огромной страны, без которого она ослабнет и развалится, — или обуза, которая мешает народу и обществу развиваться? Окара пишет: *Медведев покусился на «святое» — на краеугольный камень российской политической традиции — на абсолютную субъектность властной корпорации. Развитие темы о том, что «сильное государство не тождественно всесильной бюрократии» — это на концептуальном уровне допущение третьей альтернативы: сильного... государства, которое при этом не перемалывает своих граждан и всячески приветствует развитие их субъектности.* Автор статьи согласен: *Для полноценного развития... нужен новый курс, альтернативный и либеральному, и охранительному одновременно. Альтернативный, условно говоря, и Соросу, и Суслову.* Разве не к этому же стремится президент Медведев? А вот это как раз неизвестно, пока же *в первом послании нового президента лишь непрямо сформулирована необходимость такого... «третьего пути». Но в нынешней России,* — завершает свои размышления Окара, — *похоже, приходится довольствоваться малым: остается подтянуть пояса и пристегнуть ремни на взлете. Чтобы не упасть вниз.*

Михаилу Делягину президентское Послание представляется куда более революционным (**«Первая попытка политической революции»** — «Ежедневный Журнал», 11 ноября): *Послание Медведева содержит описание глубокой политической реформы. Точечные и вроде бы локальные изменения в совокуп-*

ности меняют все содержание политической системы России, оставляя ее форму практически без изменения. Главные изменения — предложение президенту кандидатур губернаторов партиями, набравшими большинство на соответствующих региональных выборах, и постановка правительства под парламентский контроль (что является прямым ударом по Путину)... По мнению Делягина, теперь *политические партии приобретают самостоятельный властный ресурс и начинают через Госдуму контролировать правительство.* (Автор статьи особо подчеркивает, что президент употребил именно это слово — «контролировать»). *По сути это весьма серьезный шаг к парламентской республике.* Фиксируя и некоторые другие инициативы, Делягин резюмирует: *Медведев идет путем Горбачева: не видя путей решения экономических проблем, он пытается найти выход из положения политическими преобразованиями, расширением общественных свобод.* Но, предупреждает автор, *данный путь, как показал опыт Советского Союза, является принципиально порочным и весьма опасным.* Впрочем, нельзя не приветствовать самые первые шаги на этом пути, поскольку они способствуют нормализации общественной и политической жизни. С другой стороны, автору кажется, что *демонстрация искренней веры Медведева в то, что поставленные им цели уже достигнуты: демократия построена, заводы строятся, государство доросло до социального,* — это *проявление глубокой оторванности от реальности — причем не отдельно взятого человека, но всей путинской государственности как таковой.*

Павел Святенков («Жалованная грамота единороссам» — АПН, 6 ноября) смысл Послания видит в том, что оно *делает положение избирателей — чуть хуже, положение элит — чуть лучше, но в общем оставляет ситуацию как есть.* Святенко пишет: *Президент Медведев продемонстрировал свою готовность к реформам. С одной стороны. А с другой стороны — сугубую осторожность. Политическая система будет подвергнута незначительным усовершенствованиям, главная цель которых — укрепление установившего в последние годы в стране политического режима. Это и есть главная цель послания — «жалованной грамоты» единороссам.*

Больше ценного находит в Послании **Владислав Иноземцев («Экспертократы против Дмитрия Медведева»** — «Русский журнал», 27 ноября). Главной линией, проводимой президентом, он считает *курс на развитие правовой системы современной России — конституционализма, законности,— упрочение роли судебной власти, повышение ответственности госаппарата.* Президент, по мнению Иноземцева, резко смещает основной акцент: абстрактному и набившему оскомину государственничеству противопоставляя патриотизм — *«веру в Россию, глубокую привязанность к родному краю, к нашей великой культуре»*, дополняемую *«самым трезвым, критическим взглядом на отечественную историю и на наше далеко не идеальное настоящее». Подобные заявления из уст первого лица,* полагает Иноземцев, *звучат почти революционно.* Иноземцев упрекает русских либералов за то, что они *не услышали (или не захотели услышать) изменившейся тональности российского лидера, в то время как сейчас он нуждается <...> в одобрении своих инициатив, прежде всего, с «правого фланга».* Другим направлением, выделенным в Послании, Иноземцеву видятся заявления о необходимости борьбы с чинов-

ничеством и засильем бюрократии. *Эти слова дорогого стоят — и общество сегодня должно самым решительным образом поддержать президента в «крестовом походе» против чиновничества, сковавшего развитие страны.* Из недостатков Послания Иноземцев отмечает невнятность международного раздела: *Куда пойдет Россия в международных делах — на этот вопрос в Послании, увы, не содержится прямого ответа.*

Между тем, в Рунете постоянно обсуждается вопрос о степени независимости Медведева. Проще говоря, о том, кто в стране хозяин. Дискуссия на сей счет показательна. Если **Станислав Белковский**, например, утверждает, что президент вполне суверенен в своей политике (**«Он царь или не царь?»** — Грани.Ру, 19 ноября), то другие публицисты высказывают сомнения или откровенно иронизируют по этому поводу. Так, **Илья Мильштейн** (**«Ждать царева возвращенья»** — Грани.Ру, 11 ноября) пишет: *Никогда в России такого не было: царь здоров, душевно бодр, давно достиг совершеннолетия, ходит на службу, как положено, в Кремль, но не правит. То есть понятно, что он довольно важный чиновник в государстве, повыше Грызлова, Миронова, Жириновского. Но не самый главный. А самый главный, подобно Мировой Закулисе, сидит в Белом доме и руководит страной. Чем Дмитрий Анатольевич занят,— трудно понять. Изысканиями в области сравнительной оценки свободы и несвободы? Для действующего политика это слишком отвлеченная работа. Борьбой с коррупцией? Этот зверь теперь размножается еще обильней, чем при национальном лидере. С правовым нигилизмом? Лучший способ покончить с ним — исполнять в должности президента свои прямые обязанности.* Мильштейн резюмирует: *как-то вчуже жаль Медведева. Не всякому удается стать президентом огромной страны — это как выиграть в лотерею двадцать миллионов американских рублей. И вот на тебе: цифры сходятся, и номер, и серия, а лотерейный билет уже подарен шефу на день рождения. Поневоле проклянешь такую удачу...*

По мнению **Андрея Пионтковского** (**«Споры спичрайтеров»** — Грани.Ру, 17 ноября), политическая конструкция современной России оказалась подвешенной на ниточке путинского мифа: *Путин — это действительно наше все. Это последний русский миф, бессмысленный и беспощадный. Если нашим врагам удастся перерезать эту ниточку в сознании миллионов россиян, страна погрузится в социальный хаос. Воцарится смятение в умах, сопоставимое с временами, когда «оказался наш отец не отцом, а сукою». И, как нас об этом постоянно предупреждают наши самые глубокие политические мыслители, к власти прорвутся ужасные реакционные силы, какие-нибудь закомплексованные параноики, которые начнут всех подряд «мочить в сортирах», «вешать за яйца» и «обрезать так, чтобы потом не выросло».* В связи с принятием первой поправки к Конституции РФ, увеличивающей срок президентства, автор пишет: смысл спецоперации в том, что *Национальный Лидер должен как можно скорее покинуть с каждым днем все более разрушительную для его ауры непогрешимости нишу премьера и достойно и торжественно сменить действующего президента. <...> важно то, что Национальный Лидер сможет... всецело посвятить себя тому, что он больше всего любит, лучше всех умеет и на что крепко подсел многоканальный теленарод России, — на непримиримой и беспощадной борьбе с однополярным миром.*

По **Белковскому** (**«Он царь или не царь?»**), *русским людям был и всегда остается нужен не конкретный именной лидер, а легитимный царь. Который строго соблюдает монархический ритуал. Есть легитимный царь — есть и государственная, то есть уважаемая, власть. Нет царя — разруха и хаос. При этом личность царя — категория глубоко вторичная. Легитимен тот, кто сидит на троне. <...> Личный же миф Владимира Путина нужен вовсе не народу, а элитам. <...> в Путине все начала и концы. Вот уйдет В. В. — тогда совсем другое дело. Но он же никогда не уйдет. Слава Богу. Разным же влиятельным кругам на Западе этот личный миф Путина необходим, чтобы было кем пугать детей. <...> Медведевым же не попугаешь. Он мягкий слишком, интеллигентный почти. Когда миф слишком выгоден многим, он не вправе просто так скоропостижно умереть. Хотя и при своей президентской жизни Владимир Владимирович не то чтобы очень сильно правил страной. <...> Даже арбитром элитным, каковым его называли, Путин на самом деле был с огромным трудом: всем борющимся кланам говорил, как правило, нетвердое «да», уповая, что своими силами победит сильнейший, а президент всероссийский все равно останется при делах... Когда же случались ситуации закритические, — В. В. и вовсе логически исчезал, доверяя решение Его Превосходительству Провидению. Хотя, бесспорно, В. В. умел иногда напрячься, когда речь шла о чистых активах и финансовых потоках. Но в этом смысле любая дерипаска была президентом ничуть не меньшим.*

Что же остается Медведеву? *Похоже, уже только одно: убрать наконец Владимира Владимировича с премьерского поста. Тем паче что состояться в премьерском качестве Путину... не удалось. Его правительство только одну операцию освоило: раздачу в единственно правильные частные руки последних финансовых РФ-резервов. Больше ничего не умеет. И не сумеет...*

Тему развивает **Андрей Пионтковский** (**«Он не царь»** — Грани.Ру, 21 ноября). *В архаичных политических культурах, классическим примером которых является сегодняшняя Российская Федерация,* — пишет он, — *чрезвычайно важная символическая, сакральная по сути роль отводится вождю племени. В глазах соплеменников он должен обладать магической способностью предотвращать засуху, покрывать как можно большее количество самок, помечать фекалиями племени какие-то новые территории. Если племя вовлечено в натуральный обмен, то требовать максимальное количество бус за добываемую племенем огненную воду и производимые им наконечники для стрел. Когда в силу объективных причин тележрецам уже не удается поддерживать в создаваемой ими виртуальной реальности миф об астральных способностях альфа-самца, в «элитах» племени возникает политическая дестабилизация, выражаемая известной формулой «оказался наш отец...» Вот примерно такая ситуация сложилась и в нашем Отечестве на фоне глубокого экономического кризиса. К тому же как раз в этот неприятный момент конкретный вождь очень некстати временно оказался на позиции ответственного прежде всего за провальную на ближайшие годы экономическую повестку дня. А у появившегося в результате всем известной комбинации потешного вождя остались такие выигрышные и тонизирующие племя функции, как ритуальное вставание с колен, брутальная демонстрация кузькиной матери и духоподъемная маркировка территорий. <...>*

Мне... представляется, что Путин — это действительно наш последний миф. Изнасилованное племенное сознание устало от бесконечных фрустраций и вряд ли способно воспринять новую мобилизующую структуру. Лоббируемый коллегой сценарий из параллельной реальности закончится классической мизансценой: С. Белковский: Что же вы молчите? Кричите: «Да здравствует царь Дмитрий Анатольевич!» Народ безмолвствует.

По итогам «прямой линии» премьер-министра с РФ-народом на телеканале «Россия» (4 декабря) высказались многие комментаторы. Тот же **Станислав Белковский** в статье **«Дурной премьер»** (АПН, 15 декабря) в противовес тем, кто усмотрел тут новую победу Путина, пишет: страна *увидела робкого студентика-троечника. Который явился с малолетнего бодуна на неподъемный экзамен по загадочному предмету. С нетвердыми виноватыми интонациями. По-собачьи грустною мордочкой. Горчайшими гефсиманскими вздохами перед неизбежно ошибочным ответом. У этого студентика был единственный шанс — разжалобить экзаменатора. Ничего другого не было ему дано в тот всенародный день. Крылатый металл звенел в путинском голосе лишь несколько раз, например: при рассуждениях об одном-двух заветных местах Михаила Саакашвили; в ответе про украинский газ и неуклонное съезжание с глузду; в разговоре о многопартийности, которая нужна Российской Федерации, как лесному зайцу — новый лазерный автостоп. Ну и, конечно, на тему «люблю все русское, особенно баню»... Во всем остальном — с Владимиром Путиным случилось то, что должно было случиться. Защитный президентский слой, оберегавший его от гамма-лучей истории восемь с лишком лет,— закончился и сошел. А остался лишь голый человек, бюрократ, пусть и высокопоставленный, но уже не Царь и никакой никому не Отец. Гладкие чувствованьица, общие места, невнятное дыхание, мятущиеся глаза. Удалившись с трона в обычный партер, экс-президент утратил магическую силу, какую так долго приписывали (и все еще приписывают) его потаенной личности.*

Содержание общения Путина с народом Белковский видит в следующем: *Общая схема разговора Путина с народом была простой и по-своему цельной. Они ему — вопрос: вот так у нас плохо идут дела, что же делать? Он им — ответ: жить не так плохо, а будет еще лучше; ладно, так и быть, чонить придумаем; а вообще, за все отвечают губернаторы и муниципалитеты, мы им все проблемы уже передали (без денег, разумеется, т. к. с деньгами и дурак сработает). Хотя коронным номером выступления стал, конечно, ответ про цены на бензин. Который у нас, в нефтедобывающей стране, не дешевеет, хотя нефть упала в 3 раза. И потому не дешевеет, что кто-то же должен компенсировать нефтяным компаниям снижение экспортной прибыли. И этот кто-то — вы, дорогие мои сограждане, умудрившиеся от большой стабильности купить зачем-то автомобиль. Стань пешеходом, говорит тебе Путин, и перестань беспокоиться о розничном топливе. <...> Что ж — может, с такими словами и надо входить в предвыборную кампанию, готовясь вернуть себе благодатный трон. Так, должно быть, думают все эксперты и аналитики, верящие в страшную эпическую силу разговора с Владимиром Путиным. <...> Но все-таки главное было не про бензин. Главное — это девочка Даша Варфоломеева. Из далекого бурятского села. Только полная этическая глухо-*

та и эстетическая слепота могли привести путинолюбивых комментаторов к мысли, что перед нами — гениальная политтехнологическая комбинация главы правительства. Давайте вспомним, как прозвучал вопрос. Дядя Володя! Скоро Новый год. Живем на бабушкину пенсию. Работы в деревне нет. Мы с сестрой мечтаем иметь новые платья... Я хочу попросить у вас платье, как у Золушки... Это почти цитата из Чехова, в пределе достигающая Достоевского. Жестяной гвоздь, убийственно вбитый в основание черепа трепещущего «нацлида». И если Путин, вослед своим обожателям, этого тоже не понял,— тем страннее, дамы и господа. Потом, конечно, можно, везти девочку Дашу в Москву и водить на кремлевскую елку. Но гвоздь из головы уже не вынуть, как ни тряси. <...>

Что же из всего этого разговора следует? Первое. Народ утратил священный трепет перед Путиным, позволив себе задать премьеру вполне безжалостные вопросы. С Царем-Отцом так не разговаривают. Второе. Путин перед всеобщим лицом народа обнаружил бурную премьерскую несостоятельность. Третье. Премьер-министр точно показал населению РФ, кто за весь гигантский кризис отвечает: он лично, и никто иной. В общем, пойдя на «прямую линию» — но не президентом в эпоху экономического роста, а главным бюрократом в разгар кризиса — Путин изощренно замочил сам себя. И сортира не потребовалось.

Александр Хоц в статье **«Каждая культура заслуживает своей судьбы»** (Каспаров.Ru, 4 декабря) делится другим впечатлением. *...в мизансцене Послания Федеральному собранию, чуть ли не самым интересным для публики было не оно само, а положение Путина в зале в момент выступления Медведева*, — пишет он. — *Лицо кланового вождя словно говорило телекамере и залу: «Мели, Емеля, строй из себя президента всея Руси, но кто ж не знает, что хозяин здесь я!» Застывший мглистый взгляд и брови насмешливым «домиком», чудовищные облизывания и пережевывания губами в пафосный момент аплодисментов Медведеву... Вид лениво скучающего зрителя на тягомотном профсоюзном собрании... — это мимика, которая красноречивее любого комментария. По сути, Путин разоблачал лицом реальную фальшь ситуации... На экране маячило страдающее тело премьера, которого корежило и передергивало в ситуации формального подчинения. Пускай и временного, бутафорского, но подчинения. И это было лучшим подтверждением прогноза, что Медведев в президентах — не жилец.*

Хоц, подобно Пионтковскому, утверждает, что именно кризис ускорит процесс возвращения Путина к полновластью. *Рокировка жизненно необходима власти именно сейчас, пока кризис еще в начале, страна еще не пошла вразнос, а авторитет Кремля все еще шлейфом волочится и ковыляет за покойными ценами на нефть* <...> *Отсюда — мельтешение и беготня с медведевскими поправками в Конституцию и их блиц-утверждением. Совершенно очевидно для всех, что Медведев — слишком неадекватная кризису и рыхлая фигура, которую и лепили-то совсем не для этих штормов, а для политического штиля.* <...> *после утверждения поправок Медведев неизбежно... будет восприниматься элитой как отработанный шлак, место которого в «отвале».* <...> *Вопрос: «когда?» незримо повиснет над Медведевым,.. отравляя ему жизнь перманентным дефицитом доверия.* <...>

В доказательство своей правоты Хоц приводит следующие «*явные признаки трупных пятен*»: *несменяемость элиты, коррупцию, пропаганду несвободы и мракобесие религиозной идеологии на службе у полицейской «стабильности». Это диагноз, господа,*— пишет он,— *и никакая ваша «Раша Тудей» не отмоет «образ России» в мире ни за какие нефте-газовые «бабки»! Возвращение Путина на двенадцатилетний срок будет означать окончательный приговор европейскому будущему страны; и тогда уже ничто не спасет нас от колеи, ведущей на помойку истории.*

Россия и мир

Две тысячи восьмой стал годом триумфа путинской внешней политики, — пишет в «Ежедневном журнале» **Александр Гольц** (**«Пиррова политика»**, 1 января). — *Вдохновленный тем, что цены на нефть все перли и перли вверх, национальный лидер решил проверить на практике, готовы ли западные* партнеры (а на путинском новоязе это ругательство, — поясняет автор) *защищать ценности, которые сами они объявляли основополагающими.* И выяснилось, что в своем глубоком презрении Путин был прав: на Западе сделали вид, что готовы рассматривать всерьез заявления Кремля о том, что развертывание американской ПРО в Европе и расширение НАТО представляют угрозу безопасности России. Иными словами, *Путин убедился, что до тех пор, пока его действия не будут представлять реальной военной угрозы западным государствам, он может делать все, что хочет: «наводить порядок» на постсоветском пространстве, давить любой намек на политические свободы в России.* Гольц добавляет, что путинская внешняя политика была отнюдь не бессмысленной, она вытекала из единственной и главной задачи Путина: он был *чрезвычайно успешен в том, чтобы и внешнеполитическими средствами поддерживать контроль своей группировки над страной.* Однако поскольку *великодержавные амбиции Владимира Путина* питались лишь высокими ценами на нефть, теперь, похоже, всем внешнеполитическим успехам пришел конец. Но означает ли это, что отныне российская политика станет более рациональной? Вот в этом Гольц не уверен. *Не исключено*, — пишет он, — *что Путин захочет убедить сограждан, что нынешний кризис специально затеян, чтобы не дать России подняться с колен. <...> Окончательное превращение России в осажденную крепость, может быть, и позволит Путину продержаться у власти лишние полгода–год.*

Красноречиво о внешней политике медведевской России отозвалась **Юлия Латынина** (**«О решении непроблем»** — «Ежедневный журнал», 17 декабря): *Обычно Россия оповещает о своих планах по пересмотру мирового порядка только зрителей ОРТ и РТР, так что другие страны оказываются просто не в курсе глобальных инициатив Путина, Медведева или Лаврова. К примеру, зрители ОРТ и РТР могут услышать, что президент Медведев приехал на саммит в Вашингтоне и там предложил переустроить систему мировых финансов. Однако в Вашингтоне об этом не знают: там вспоминают о Медведеве как о «странном парне», который на следующий день после избрания Обамы президентом пригрозил разместить в Калининграде ракеты, а когда его спросили, почему он это сказал именно в этот*

день, он ответил, что не знал, что 4 ноября — такая важная для Америки дата.

Вообще же, по мнению Латыниной, *российская внешняя политика очень проста. Мы решаем не те проблемы, которые есть. А те, которых нет.* У России, пишет автор, реально существуют две крупные проблемы — Китай и Кавказ. Однако их мы не обсуждаем, *зато мы охотно предлагаем помощь в решении проблем безопасности Европы. <...> Что мы будем делать, когда китайское правительство захочет защитить интересы нескольких миллионов китайцев на обезлюдевшем Дальнем Востоке? Иначе говоря, мы не решаем проблемы. Мы их создаем.*

Илья Мильштейн, судя по всему, полагает, что во всех российских бедах виноват один человек — Владимир Путин, именно из-за него в ситуации кризиса Россия оказалась одинокой как никогда (**«Одна в мире»** — Грани.Ру, 31 декабря). *Тут надо было очень постараться, но он справился. Сначала следовало явить миру это лицо с его сортирной лексикой и подлой войной. Потом необходимо было равноудалить свободу слова — так, чтобы при желании удавалось запретить употребление слова «кризис» на всех гостелеканалах. <...> Война, бесконечные шутки юмора и свистопляски на ТВ, пятиминутки ненависти с маньяком, уже узревшим ныне российские танки в Риге, многолетнее унижение богатых, бесстрашных и сильных — все это требовалось для того, чтобы превратить народ, как бы помягче сказать, в телезрителя. Чтобы этот народ послушно голосовал за кого скажут и с гоготом прокатывал всех, кто назван маргиналом и врагом. А в заботах о подрастающем поколении следовало выстроить молодежь в колонны и погнать на всякие митинги... Надо было рассориться практически со всеми соседями <...> следовало с такой силой тосковать по СССР,.. чтобы возненавидеть их всех. <...> следовало дойти до паранойи. Увидеть за спиной организаторов теракта в Беслане руку Америки. Поляков, требующих последней правды о Катыни, обвинить в русофобии. Поглумиться над британцами, пораженными первым в истории случаем локального ядерного терроризма. Весь Запад скопом объявить враждебным окружением и вести себя так, чтобы на Россию действительно взглянули как на неприятеля — правда, без чаемой ответной ненависти, но с презрительной, тревожной усмешкой. Эта кремлевская паранойя питалась нефтью и основывалась на чувстве абсолютной безнаказанности. Он действительно был уверен в том, что мир устроен просто. Из трубы льются деньги, цены на энергоносители растут, купить или запугать можно всех, и так будет всегда. Он знал, что любить его будут исключительно по месту проживания, зато горячо и верно. Большего ему и не требовалось. <...> И напоследок, дабы закруглить сюжет, нужно было спровоцировать новую кавказскую войну. Прямо по чеченскому образцу, только в данном случае выступить покровителями сепаратистов — словно в насмешку над собой, но с той же брутальной лексикой на устах. И гоняться потом по всему миру за своими друзьями с мольбой признать независимость Абхазии и Южной Осетии. И увидеть, чем кончилась эта победоносная война, если даже из мировых изгоев никто не спешит с поздравлениями освобожденным народам. 2009 год обещает стать очень тяжелым для России. <...> бывало похуже, но мы тогда казались другими. Если говорить о перестроечных вре-*

менах, то страна возвращалась в человечество. Если об эпохе Ельцина, то становилась частью мирового порядка. С трудом, со скрипом, но Россия прорывалась к свободе и обретала достоинство европейского государства, стремящегося стать нормальным. Государством, которое десять лет подряд пресловутый западный мир пытался вытащить из исторического болота. Покуда не явилось миру это лицо с сортирной лексикой и подлой войной. Впрочем, и сегодня никто не желает нам гибели и не станет со злорадством наблюдать, как погружается на дно наш «Титаник», когда, не дай бог, волны кризиса начнут перекатываться через борт. Но мир вздохнет с облегчением, если эти волны сметут за борт его — нашего национального лидера. Если хотя бы общая беда раскроет россиянам глаза на то, что с ними делали все эти восемь лет и как народ превращали в стадо. Начинается обратный счет времени, усугубляется одиночество, и судьба страны снова зависит от ее граждан.

Альтернативы

Россия будто бы специально была создана для того, чтобы посрамить все современные идеологии: национализм, социализм и либерализм, пишет **Алексей Мазур** (**«Работа над ошибками»** — Каспаров.Ru, 19 ноября). *У каждой из этих идеологий в России были искренние, честные последователи-идеалисты и у каждой при этом — ужасное воплощение, заставлявшее содрогаться своих сторонников.* Скажем, ***национализм*** никак не может определиться с тем, что же есть русская нация. *Кто знаком с современным русским национализмом,* — замечает Махуо, — *тот знает, на сколько течений и групп он сегодня разбит. Православие или язычество? Русь или Россия? Этнос или империя? Пока что русский национализм чаще объединяет своих сторонников «против», чем «за».* Русские ***социалисты*** не дали обоснованных ответов на вопросы: *Если СССР — это удачная попытка построения социализма, то почему он развалился? А если неудачная, то почему она была неудачной и где гарантии, что «вторая попытка» будет лучше? <...> Как так получилось, что великие идеалы равенства, свободы и братства превратились в подвалы ЧК и сталинские лагеря?* И как вышло, *что движение, начатое искренними и пламенными борцами, закончили зажиревшие в привилегиях и погрязшие во лжи номенклатурщики? Для левых, играющих в «реальную политику», остается два пути: либо отрицать факты, либо утверждать, что в СССР был неправильный социализм, а то и вовсе — не социализм (госкапитализм, например).* Наиболее подробно Мазур разбирает судьбу ***либерализма***. *Построить в России общество, основанное на свободе и конкуренции как в экономике, так и в политике, общество, состоящее из граждан, принимающих ответственные решения, и правительства, отвечающего перед гражданами,* — как будто прекрасная идея. Но что же получилось в результате попытки ее реализовать? *Власть воров, тотальный обман на выборах, разложение всех моральных ценностей. И если в правительстве сегодня есть разделение на «государственников» и «либералов», то оно в том, что одни считают, что больше прав надо дать ворам-чиновникам, а другие — ворам-бизнесменам. Либеральными же,* — замечает автор статьи, — *стало принято называть те меры правительства, которые перекладывают на плечи населения часть обязательств государства.*

Ужасно и самоощущение наших либералов-идеалистов: Россия, по их убеждению, — *это какая-то неисправимая страна, переходящая от ужасов диктатуры к прелестям авторитаризма. Вечно безмолвствующий народ, преданный голубым мундирам, вечно врущая власть. История беспросветна. Вверху — тьма власти, внизу — власть тьмы.*

Пытаясь разобраться в этом парадоксе, Мазур приходит к следующему выводу: *Проявление гражданских добродетелей иррационально с точки зрения отдельного человека (а в наших условиях даже опасно), но без них гражданское (либеральное) общество существовать не будет.* Непонимание этого приводит к тому, что *между идеалом либералов и их политической практикой в России лежит не просто разрыв — бездна.*

Политическая практика современных российских либералов — в центре внимания и **Валерии Новодворской**. В статье **«Искусство быть предателем»** (Грани.Ру, 19 декабря) она пишет: *Либерал в мундире — это явление, свойственное путинской эпохе.* Новодворская рассуждает о сотрудничестве и несотрудничестве с преступной властью, напоминая: *Интеллигенция отвечает за все. И ее предательство губит ее же саму и создает нестерпимые условия для выживания мыслящих людей.* По мнению Новодворской, *преступной власть остается именно в силу того, что с ней не гнушаются сотрудничать специалисты, моралисты, бизнес и иностранные державы. <...> Чекистского режима в России не было бы вообще, если бы на службу к нему не пошли бы Чубайс, Кудрин и Греф, Улюкаев и Шохин, журналисты и нефтяники, бизнес и кинематограф. <...> Коллаборационизм Чубайса посадил в тюрьму и Игоря Сутягина, и Михаила Ходорковского. Его блестящая реформа РАО ЕЭС обеспечила выживание хунты...* И вот одни интеллигенты идут в сообщники власти, другие именно из-за этого становятся ее жертвами. *Теперь,* — пишет Новодворская, — *если Бог пошлет России еще одну перестройку, ни Никита Белых, ни Анатолий Чубайс нам уже не пригодятся. Пусть едут работать в Европу, а мы лучше американских менеджеров пригласим. Нам не нужны способности столь растленных, нравственно погибших людей.* Когда все вокруг превращаются в носорогов, пишет Новодворская, программа-минимум заключается в том, чтобы оставаться людьми.

Гарри Каспаров в статье **«Пространство для солидарности»** («Ежедневный журнал», 26 декабря) рассуждает о платформе и перспективах нового оппозиционного движения либерал-демократов «Солидарность», членом Бюро политсовета которой является. По его мнению, идеология «Солидарности» ближе всего к традиционной позиции «Яблока», общее у них — отторжение олигархического прошлого, отказ от сотрудничества с режимом, социально-экономические аспекты программы. *В «Солидарности»,* — пишет Каспаров, — *остались только те, кто убежден: возможность общения с путинским режимом сводится к обсуждению вопроса о его демонтаже.* Но дебатируется вопрос о возможности совместных действий с левым и националистическим флангом. *Без левых и патриотических сил,* считает автор статьи, *«Солидарность» становится субъектом политического действия, у которого нет контрагента и нет политического поля, в котором он существует.* Не соглашаясь на взаимодействие с левыми и националистами, движение превращается в «либеральное гетто», обрекая себя висеть в без-

воздушном пространстве. *Нам необходимо* — пишет Каспаров, — *отказаться от доставшейся нам в наследство от ельцинско-путинских «либералов» идеологии либерализма без демократии. Какими бы правильными, с точки зрения экономического либерализма, ни казались предпринимаемые авторитарной властью шаги, они неизбежно приводят страну в тупик — не только политический, но и экономический: свободная бизнес-конкуренция невозможна без конкуренции политической, без равенства перед законом, без разделения властей. Как ни парадоксально это звучит, «либеральное» государство 90-х (не говоря уже о путинском режиме) оказалось лишь реинкарнацией советской системы с ее монополией на идеологию, с ее наплевательским отношением к закону, с ее системой подавления инакомыслия. Поэтому отказ от сотрудничества с нынешней «советской властью» имеет своим логическим продолжением принятие взаимодействия с представителями всего спектра инакомыслия. Ведь только так, начиная с себя, можно разрушить традиционную установку на идеологический монополизм. Если реально просчитывать шансы на успех, то нельзя не понять, что нынешние экономические катаклизмы не оставляют правящему режиму надежд на благоприятный исход. И в момент политического краха путинской системы только совместные действия оппозиции могут позволить создать устойчивую конфигурацию правительства переходного периода и не ввергнуть страну в гражданскую войну. Только создав площадку для диалога разных идеологических групп общества, можно избежать перевода споров на язык оружия.*

Трубадур Кремля **Виталий Иванов** усматривает в кризисном ландшафте только одно — близкую смерть либерализма (**«У наших либералов нет будущего»** — «Русский журнал», 18 ноября). Либерализм и вообще-то, полагает официозный мыслитель, — явление русским людям органически чуждое — *не совсем наш метод.* Иванов пишет: *Политическая конкуренция в нашей политической культуре — ценность не природная, не органическая, а привнесенная. А природные ценности — это единство, единство власти, целостность, централизация, лояльность. У нас в истории была пара периодов, когда мы пытались строить свою политическую систему как раз преимущественно на конкурентных началах, «как на Западе». Ни к чему хорошему это не приводило и привести не могло. Все заканчивалось полным безобразием и приходилось долго наводить порядок.* Но теперь порядок, слава те господи, наведен и все стало хорошо. *Главное и основное достижение нашей политической системы,* — продолжает Иванов, — *стабильность. Предсказуемость. Управляемость. Все, что способствует сохранению, охранению этого — суть безусловное благо. Все, что не способствует, — соответственно...* Смотришь на дату появления этой статьи — и думаешь: с какой планеты пишет наш автор, воспевающий достижения как раз тогда, когда от них уже почти ничего не осталось?

Прошлое и настоящее

Среди откликов на итоги телепроекта «Имя Россия» один из самых членораздельных принадлежит **Алексею Рощину («Победа доктора Джекила»** — ПОЛИТКОМ.RU, 30 декабря). Автор статьи напоминает, что долгое

время в рейтинге лидировал Сталин. И вот объявлен победитель: светлейший князь Александр Невский. Вот что пишет Рощин: *Ставший «камнем претковения» Иосиф Сталин в итоговой табели переместился на менее почетное, но тем не менее «призовое» третье место. Телепроект <...> выявил степень глубочайшего РАСКОЛА нашей страны. Выяснилось, что в стране НЕТ ни одной консенсусной фигуры; более того — символ страны служит не объединению, а наоборот — разделению <...> урок «телепроекта» однозначен, как бы ни пытались перепуганные неожиданным отблеском РЕАЛЬНОСТИ «телемэтры» этот урок затушевать и скрыть. Урок таков: символ ЭТОЙ страны — Сталин. То, что для кого-то повод для радости, для другого в той же стране — приговор. Победу Сталина волей-неволей подтвердил и финальный «итог» «голосования» — князь Александр Невский. Естественно, для 95% россиян князь не имеет ничего общего с историческим персонажем, о котором и без того сохранилось крайне мало достоверных сведений. Зато люди знают «киношного» князя из довоенного фильма Эйзенштейна с музыкой Прокофьева. То есть — знают СТАЛИНСКОГО Невского. Собственно, тот «Александр Невский» — это одна из составляющих имиджа Сталина, последовательно создаваемого всей мощью советской пропаганды <...> Теледеятели постеснялись поставить Сталина на первое место,— но их паллиатив не лучше: они водрузили на постамент вместо создателя — порождение его пропагандисткой машины, советский пиар-фантом, «Александра Невского». Невский «от Сталина» — это, так сказать, сталинский «доктор Джекил»: молодой, широкоплечий, абсолютно русопятый (с внешностью красавца Черкасова) блондин с обаятельнейшей улыбкой. Мистер Хайд в данном случае — это, очевидно, сам Сталин: рябое, кривое, хромое, карликоподобное «лицо кавказской национальности», с руками по локоть в крови — причем отнюдь не внешних супостатов. Сталина расщепили, как могли приукрасили — и в таком виде предъявили публике. Это не отменяет главного итога всего Проекта, не отменяет ДИАГНОЗА: Сталин победил.*

Никита Соколов рассказывает о том, какие головокружительные превращения претерпевал в наших школьных учебниках образ отечественной истории (**«Век сурка, или Краткая история коловращения российских учебников истории»** — ПОЛИТ.РУ, 15 октября). *Школьная история*, — пишет он, *— всегда повествование о национальной «судьбе», имеющее целью сообщить юношеству некоторую «правду» о национальных героях и злодеях. Но беда, когда общество пытается усвоить себе образ собственного прошлого, несообразный с его настоящим положением и задачами. В таком случае нацию поражает настоящая душевная болезнь, чреватая опасными осложнениями вплоть до летального исхода.*

В России, пишет Соколов, еще в 30-е годы XIX века в школьном курсе утвердилась схема, изобретенная Николаем Карамзиным. В рамках этой схемы история страны мыслится как история создания и укрепления могучего государства, что прямо связано с авторитарным характером власти, доказательством чего служит особая конструкция российской истории: *Древняя («киевская») Русь представляется единым государством с самодержавной монархической властью, где всем распоряжаются великие киевские*

князья (эта древняя державность, вкупе с «добровольным призванием» варяжских князей составляют уникальную черту нашей истории и указывают, что и далее России уготован особый исторический путь). «Удельный период» (в советской версии — эпоха «феодальной раздробленности») представляется эпохой страшного упадка и ослабления страны, следствием которого стало унизительное ордынское «иго». Великие московские князья — единственные наследники древнерусской державы,— соединив весь русский народ под своим скипетром, положили твердые основания народного процветания, сулящие самые радужные перспективы на будущее, при условии сохранения незыблемой авторитарной власти, каковую российские подданные должны неизменно хранить, несмотря на все творимые этой властью по временам бесчинства и безобразия.

И хотя в науке, пишет Соколов, давно установился более реалистический взгляд на политическую систему Древней Руси, *широкой российской публике остается практически неведомо, что русский народ в своем историческом творчестве создал помимо московского еще несколько государственных образований с совершенно разными политическими системами, развивавшими основы, заложенные в вольной Древней Руси. Галицкая Русь была непохожа на Новгород, а Москва — на Великое княжество Литовское и Русское, которое вообще в общедоступной российской литературе изображается как сугубо враждебное и чужеродное государство. <...> Все политические движения XV–XVIII веков, имевшие целью либерализовать авторитарную политическую систему, представляются прямо как «антигосударственные» или, по меньшей мере, корыстно непатриотические. А великая Смута — гражданская война начала XVII века между сторонниками и противниками утвердившихся на Москве опричных порядков — вообще оказывается борьбой с «иностранной интервенцией».*

Меняются времена, пишет Соколов, а *карамзинская схема* и по сей день служит доказательным фундаментом основных идеологем авторитарных властей*: издревле могущественное государство идет особым путем, отличным от «европейского»; Россия тысячу лет живет в состоянии «осажденной крепости», во враждебном внешнем окружении; в этих обстоятельствах единственным способом сохранить существование нации является концентрация всех ресурсов — как экономически-материальных, так и властно-идейных — в руках единого правящего центра, который один способен ими распорядиться наилучшим образом, избегая гибельных разногласий, неизбежных при любом общественном контроле; права человека второстепенны и ими можно и должно поступиться ради сохранения целого — «государства», «нации» и т. п.; государство — главный защитник «осажденной крепости» — имеет полное право прибегать к насилию над инакомыслящими ради сохранения монолитного единства «народа»...*

Соколов подробно описывает, как карамзинская схема победила в советский период. Однако на начальном этапе горбачевской «перестройки» произошел ее пересмотр, и господствующими сделались совершенно противоположные представления: государственная власть — не субъект истории, а продукт свободного творчества человека, преследующего в каждую эпоху разные цели; Россия — не «осажденная крепость», а полноп-

равный член мирового сообщества; всякий «особый путь» ведет к авторитаризму, бесправию и бедности; наиболее эффективный способ распоряжения национальными ресурсами — частная собственность при полной свободе личной инициативы; права человека неотъемлемы, а борьба различных партий — естественный локомотив развития общества; террор есть абсолютное зло, и насилие недопустимо; победа, одержанная ценой непомерных потерь и вопреки господствующей системе, никак не может служить доказательством эффективности этой системы, и т. п. В 1994 году вышли первые учебники российской истории, методологически основанные на подобном общественном консенсусе, в т. ч. учебник Игоря Долуцкого, при всех своих недостатках бывший действительным шагом к созданию учебника нового типа[2]. Но прошло еще немного времени, и учебники истории вновь стали переписываться и приводиться в соответствие с пожеланием властей и карамзинской традицией. Победителем министерского конкурса 2002 года оказался авторский коллектив под руководством Никиты Загладина. И хотя, по словам автора статьи, учебник Загладина *представляет собой по существу бессмысленный катехизис, набор брежневско-сталинских аксиом, которые надо зазубрить и веровать «ибо нелепо»*, до полного и открытого отрицания «перестроечного консенсуса» ему было еще далеко. Новый учебник не вполне угодил Кремлю, и 27 ноября 2003 года президент сформулировал задачу более отчетливо. На встрече с историками в РГБ Владимир Путин заявил: «*в свое время историки напирали на негатив, так как была задача разрушить прежнюю систему... Сейчас у нас иная — созидательная задача. <...> учебники "должны воспитывать у молодежи чувство гордости за свою историю и свою страну"*». И через пять дней, 2 декабря 2003 года, учебник Долуцкого был изъят из списка рекомендованной школьной литературы. Кремлевская же администрация *изготовила новый продукт, который презентовала публике летом 2007 года. Пособие для учителей Александра Филиппова*[3]*... предложило новую модель прошлого... Его основные черты: история есть борьба «цивилизаций», несходных социальных миров, уподобляемых животным организмам; Россия вновь представлена «осажденной крепостью», находящейся в кольце врагов, главнейший и опаснейший из которых — США; из этого следует абсолютная неизбежность и необходимость «русской модели управления», сопряженной с периодическими «мобилизациями» населения и сосредоточением ресурсов в руках авторитарного государства; террор оправдан как средство формирования эффективной элиты общества — класса людей, «преуспевших в невозможном»; победой во Второй мировой войне СССР обязан сильной государственной системе и лично мудрому Сталину.* Короче говоря,

---

[2] *Долуцкий И.* Отечественная история. XX век: Ч. 1–2: Учеб. для 10 кл. сред. шк. М.: Мнемозина, 1994.

[3] *Филиппов А.* Новейшая история России. 1945–2006: книга для учителя. М.: Просвещение, 2007. Основные идеи этого наставления учителя преобразованы в учебник для детей: История России. 1945-2007: учебник для учащихся общеобразовательных учебных учреждений / под ред. А. А. Данилова, А. И. Уткина и А. В. Филиппова. М., Просвещение, 2008.

это была уже знакомая «карамзинская модель», только доведенная уже до *карикатурной отчетливости*.

Издержки от возвращения подобной конструкции в арсенал школьного воспитания очень велики, подводит итог автор статьи: *Российский гражданин, знакомый только с «карамзинской» версией родной истории, а таковых, безусловно, большинство, не только получает совершенно извращенное представление о существе истории — свободной деятельности человека, — но и лишается причастности к великой и древней традиции российского «народоправства». Не удивительно, что при таком представлении о прошлом либеральные идеи встречаются настороженно, как не соответствующие национальной традиции, поскольку, как выразился один популярный политик, «естественный путь для нас — самодержавие».*

Старовойтова

Прошло десять лет со дня убийства Галины Старовойтовой. Ее памяти посвящает **Илья Мильштейн** свою статью **«Выстоять и погибнуть»** (Грани.Ру, 20 ноября). Человек честолюбивый, пишет он, Старовойтова мечтала объединить демократов вокруг себя. И предпосылки к этому были. Но, с сожалением констатирует Мильштейн, она и сама знала, что дело это безнадежно: *Слишком непреодолимы... были не политические разногласия, но личные счеты между погасшими звездами нашего либерализма. А новая эпоха, всех закатавшая под асфальт, уже не оставляла ей ни малейших шансов.* И получилось, с горечью признает Мильштейн, что политическая смерть Галины Старовойтовой практически совпала с ее физической гибелью. *Откат, контрреволюция, контрреформа больнее всего бьет по тем, кто стоял у истоков государственных преобразований. Они раньше других ощущают гниловатую атмосферу перемен, им слышнее ржавый скрип закручивающихся гаек. Рушится дело жизни, летит псу под хвост целое десятилетие, отданное политической борьбе. Галине Васильевне суждено было испытать это тягостное разочарование, и мучиться от бессилия, и выстаивать из последних сил. <...> Сегодня, в десятую годовщину ее гибели, остро жалеешь и ее, и себя, и всех нас. В путинской России, в атмосфере тотального маразма, так не хватает ее голоса, ее суждения, ее внятной, спокойной, убедительной речи. <...> Ведь будь она жива, чувство одиночества у ее сторонников и друзей было бы не столь горьким. Хотя бы потому, что ее присутствие облагораживало действительность и очеловечивало нашу жизнь, внушало надежду на перемену участи. Эта надежда была расстреляна десять лет назад, и время черного цвета заструилось по нашим жилам, и все, что случилось потом, следует воспринимать как должное.*

Андрей Илларионов в статье **«Человек эпохи освобождения»** (Грани.Ру, 20 ноября) размышляет: *В который раз перебираю в памяти имена и образы знакомых и известных людей — и не могу найти кого-то еще, кто бы мог достойно встать рядом с ними. Только они. Двое. Андрей Сахаров и Галина Старовойтова. <...> Два выдающихся российских интеллигента. Два невероятно цельных человека. Два бесстрашных героя, отдавших — в самом прямом смысле — свои жизни стране, своему народу. Два великих российских гражда-*

нина, своим существованием создавших эпоху. Эпоху, какую нам повезло застать. Увидеть. Вдохнуть. Ощутить. Эпоху свободы. Пройдут годы. Россия будет другой. Люди будут другими. И жизнь будет иной. Но в уголках нашей памяти навсегда сохранится это завораживающее, это захватывающее чувство освобождения. Ощущение растущей, крепнущей, расширяющейся свободы конца 80-х — начала 90-х. Свободы действия. Свободы слова. Свободы мысли. Ощущение новой эпохи, новой страны, новой жизни. Ощущение, которым во многом мы обязаны именно им. <...> У каждого свои воспоминания о Галине Васильевне. Она была и вдумчивым исследователем, и ярким политиком, и блестящим оратором, и заботливой матерью, и крупным государственным деятелем. Но сильнее всех этих картин в моей памяти стоит ее образ — умной, смелой, жизнерадостной и удивительно обаятельной женщины. Несшей и продолжающей — через годы, грязь и темень — нести теплый свет своей несчастной стране.

Ельцин

«Знамя» (№ 11) публикует политический портрет бывшего президента в исполнении **Эргали Гера** (**«Мой Ельцин»**). Сказано немало, местами спорно, часто остроумно. Он был очень живым. Но и рубил топором по живому. Он понимал музыку власти. Он разнуздал Россию по полной. Уберег ее от пожара и едва не потопил ее в мутных водах анархии. Он был нутряно близок к своему народу. *...после Бориса Николаевича Ельцина истинно народных президентов в России не будет долго. Может, оно и к лучшему.* Так завершает Гер.

Обзор подготовил Евгений Ермолин

Виктор ТОПОЛЯНСКИЙ

ФАРТОВОЕ ДЕЛО

Чрезвычайные обстоятельства всегда подталкивали власть имущих к поиску национальной или, как выражались раньше, общенародной идеи. Так, после Второй мировой войны население Советского Союза сплотила директива самых высоких инстанций о борьбе *за* отечественные приоритеты и *против* низкопоклонства перед давно прогнившим Западом. Каждый школьник в то время знал, что паровоз изобрел не какой-то там Джеймс Уатт, а наш самородок Иван Ползунов, тогда как проникающее излучение открыл не Вильгельм Конрад Рентген, а незабвенный Стенька Разин, который перед тем, как утопить персидскую княжну, выпалил историческую фразу: «*Я тебя, стерва, насквозь вижу*!»

К сожалению, внимания советских историков и пропагандистов не привлекло в те годы наше неоспоримое первенство в экспроприациях. Тут надо пояснить, что принудительное отчуждение собственности, именовавшееся когда-то разбоем, в начале XX столетия величали по-марксистски экспроприацией или попросту «эксом». В связи с этим и слово «товарищ» утратило часть прежних значений (союзник, коллега, помощник, заместитель) и превратилось прежде всего в обращение к соучастнику. В отличие от заурядных громил и башибузуков, экспроприаторы не гуляли во зеленом бору с кистенями ради своекорыстных интересов, а пускали в ход ножи и пистолеты из высокоидейных соображений, сдавая потом львиную долю награбленного в партийную кассу.

С 1905 года, когда «эксы» стали делом чести, делом славы, делом доблести и геройства, множество молодых людей, возомнивших себя благородными разбойниками и преисполненных революционного усердия, грабили почтовые отделения и винные лавки, вокзальные кассы и даже поезда. Безоговорочно уверовав в химеру грядущего коммунистического общества, они как будто стремились продемонстрировать возможность сочетания несочетаемого — извечной мечты о социальной справедливости и криминальных методов ее осуществления в отдельно взятой стране. Не дано же им было

Виктор ТОПОЛЯНСКИЙ — родился в 1938 г. в Москве. Окончил 2-й Московский медицинский институт им. Н. И. Пирогова. Доцент Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова. Автор нескольких монографий и ряда статей в области медицины, а также книги «Вожди в законе» (1996). Выступает как публицист в периодических изданиях, постоянный автор «Континента». Живет в Москве.

знать, что в конце всякого социального тупика всегда уготован вход в новый лабиринт с многочисленными потомками Минотавра.

Несколько месяцев экстремисты-утописты набирались агрессивного опыта, пока, наконец, один законный авторитет по кличке Никитич, по паспорту Красин, а по профессии инженер не разработал оригинальные схемы ограбления банков для восполнения партийной казны, а также государственного переворота и построения в будущем светлого царства социализма. И в конце зимы 1906 года большевики реализовали первый такой проект инженера Красина, взяв отделение Государственного банка Российской империи в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки).

Раз пошли на дело

Филиал Государственного банка в главном городе Великого княжества Финляндского размещался в доме №7 по Северной Эспланадной улице. На первом этаже того же строения находились столовая и купеческая лавка, торговавшая яйцами оптом и в розницу, так что появление на столь бойком месте даже значительной группы обывателей выглядело совершенно естественным. В середине тусклого короткого дня ординарного понедельника 13 февраля (26 февраля по нынешнему григорианскому календарю) 1906 года скучавшие в ожидании клиентов извозчики заметили около этого здания прилично одетую молодежь, не пожелавшую воспользоваться их услугами, но никого из той компании не запомнили.

Около двух часов пополудни кассирша частного «Союзного Банка» Эльза Циллиакус принесла в Гельсингфорсское отделение Государственного банка 8500 рублей. Через несколько минут туда же проследовали четверо молодых людей, громко попросивших разменять им крупную купюру. Занятые пересчетом денег, сданных коллегой Циллиакус, сотрудники банка предложили им немного подождать. Между тем в канцелярию банка вошли двое неизвестных. Один из них сказал по служебному телефону несколько слов на немецком языке и перерезал провода. Почти одновременно в операционном зале возникли еще девять незнакомцев, вооруженных пистолетами и ножами. Их главарь выстрелил в потолок и рявкнул: «Именем революционного исполнительного комитета объявляю всех арестованными! Руки вверх! Иначе все будете перебиты!» Оторопевшие чиновники подняли вдруг задрожавшие руки.

Трое злоумышленников тут же вломились в кабинет управляющего и связали его. Сторожа, который бросился к нему на помощь, застрелили. Один из преступников нанес убитому еще несколько ударов длинным кинжалом. Часть налетчиков обшарили прочие помещения и, обнаружив еще нескольких служащих, потребовали от них не трогаться с места; приподнявшемуся чиновнику прострелили руку. Затем всех сотрудников банка и единственную посетительницу завели в приемную управляющего и, заперев там, положили у дверей пустую жестянку из-под консервов, назвав ее бомбой.

Забрав без помех, по предварительным подсчетам кассиров, свыше 170 тысяч рублей, экспроприаторы покинули банк и спокойно, точно на прогулке, разошлись в разные стороны. Окна банка выходили на торговую

площадь, но ни дюжий констебль, ни периодически впадающие в дрему извозчики, ни редкие в небазарный день прохожие выстрелов не слышали. Тревогу подняла жена одного из курьеров, заподозрившая что-то неладное, потому что ее муж не забежал домой к обеду. Прибывшая полиция освободила потрясенных чиновников. Вслед за полицией в банк примчались генерал-губернатор, командир расквартированного в Финляндии армейского корпуса и другие официальные лица[1].

Вечером генерал-губернатор послал председателю Совета министров Российской империи С. Ю. Витте телеграмму: «Сегодня 15 вооруженных человек вошли в отделение Государственного банка и, направив пистолеты на служащих, заставили их удалиться в отдаленную комнату; затем, заметив непослушание со стороны сторожа и одного чиновника, дали несколько выстрелов; сторож убит, чиновник ранен легко. <...> Руководящий грабителями говорил чисто по-русски». Позднее выяснилось, что грабителей прикрывали восемь соумышленников: пятеро стояли на лестничной площадке у дверей банка, двое — на первом, и один — на третьем этаже[2].

Во вторник утром газеты Финляндии, России и Швеции напечатали более или менее подробные репортажи о случившемся. Днем 14 февраля на небольшой железнодорожной станции под Гельсингфорсом кассир, прочитавший утреннюю прессу, обратил внимание на слишком толстый бумажник человека, купившего четыре билета для своих спутников и один — в противоположном направлении — для себя. О своих сомнениях кассир тотчас же уведомил местную полицию и протелеграфировал на соседние станции. За покупателем билетов отправились филеры, а в вагон к четырем неизвестным, оживленно обсуждавшим что-то по-русски, подсел полицейский в штатском.

На следующей станции дежурный жандарм и полицейский в штатском предложили этой четверке выйти из вагона. Неизвестные подчинились, но на платформе извлекли из карманов пистолеты, убили жандарма и ранили полицейского, после чего пустились бежать вдоль линии железной дороги. Через некоторое время один из них вернулся на станцию и попал в руки полиции. Задержанный оказался уроженцем Финляндии, звали его Карл Феррин.

За остальными преступниками по следам на только что выпавшем снегу пустилась конная полиция. Беглецов застигли в заброшенной риге. После предупредительных выстрелов они сдались. Помимо пистолетов и ножей, у них изъяли 22 532 рубля и 30 432 финских марки. Арестованных доставили в губернскую тюрьму Гельсингфорса, где при тщательном обыске обнаружили еще один пистолет, 303 рубля, купленные накануне золотые и серебряные часы и поддельные документы. Как установило вскоре следствие, эти трое были родом из Лифляндской губернии; младшему из них, «Христиану Трейману», исполнилось 19 лет, а его подельникам Густаву Чокке и Карлу Чокке —

---

[1] Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. 102, оп. 203, д. 8, ч. 66, т. 1, лл. 34–36. «Финляндская Газета», 14 (27).02.1906. «Новости Дня», 14.02.1906.

[2] ГАРФ, ф. 102, оп. 203, д. 8, ч. 66, т. 1, лл. 5, 36. «Биржевые Ведомости», вечерний выпуск, 14.02.1906.

20 и 22 года. Ночью в ту же тюрьму доставили человека, покупавшего железнодорожные билеты, — уроженца Финляндии по имени Олави Саволайнен[3].

В четверг 16 февраля полицию Таммерфорса (ныне Тампере) срочно затребовали в редакцию газеты «Kansan Lehti», где двое неизвестных оставили на хранение какой-то странный узелок. Одновременно в полицию поступило сообщение из местной гостиницы: в номере, снятом во вторник двумя приезжими из Гельсингфорса, горничная нашла спрятанный маузер. Полиция устроила засаду в редакции газеты и в гостинице и вскоре арестовала пришедшего за узелком парня 22 лет по имени Петр Салынь.

Его сообщника выследили на вокзале и, не обыскав, привели в участок. Все, что стряслось потом, совершенно обескуражило финскую полицию. Задержанный выхватил нож, убил полицейского комиссара, ранил двух констеблей и, фактически завладев участком, забаррикадировался в небольшом помещении. Рядом с участком мгновенно выросла толпа. Стоя у разбитого окна, экстремист то обстреливал из пистолета полицейских, пытавшихся проникнуть в участок, то кричал, что он социал-демократ и народ обязан ему помогать. Его клич достиг цели: когда полиция попробовала открыть ответный огонь, толпа этому воспрепятствовала.

Тогда кто-то догадался вызвать пожарную команду. Однако стоило только поднять брандспойт, как толпа взволновалась и нахлынула на пожарного; получив удар кастетом по голове, он рухнул без сознания. Другого пожарного застрелил из окна экстремист. Скрутить преступника, убившего трех человек и ранившего девятерых, удалось лишь после того, как у него кончились патроны. Из узелка и карманов арестованных в Таммерфорсе экстремистов полиция извлекла 13 585 рублей и 4994 финских марки[4].

В пятницу 17 февраля полиция задержала вероятных пособников грабителей: редактора выходившей в Гельсингфорсе финской социал-демократической газеты «Arbetaren» Карла Нюмана и сожительницу таммерфорсского душегуба Эмму Гайлис, 23-х лет, раскрывшую полиции имя своего сердечного друга: это был Янис Чокке, 35-ти лет, старший брат двух арестованных во вторник экстремистов. У Карла Нюмана изъяли браунинг, 40 кг динамита и 1153 финских марки. У Эммы Гайлис не было ни денег, ни оружия; ее сдали в полицейский участок члены таммерфорсского рабочего союза, куда она обратилась в поисках Яниса Чокке. В тот же день местные власти ассигновали пять тысяч марок на проведение следствия по поводу феноменальных событий уходящей недели и назначили пособия в размере трехсот и пятисот марок вдовам убитых полицейских. Через шесть дней под Выборгом арестовали петербургского телеграфиста Вячеслава Чучанова, в котором банковские служащие сразу же опознали участника ограбления; при обыске у него нашли 5543 рубля[5].

---

[3] ГАРФ, ф. 102, оп. 203, д. 8, ч. 66, т. 1, лл. 14–15, 36. «Финляндская Газета», 16.02 (1.03). 1906. «Русское Слово», 16.02.1906. «Новости Дня», 16.02, 17.02.1906.

[4] ГАРФ, ф. 102, оп. 203, д. 8, ч. 66, т. 1, лл. 24–30. «Финляндская Газета», 18.02 (3.03). 1906. «Русское Слово», 18.02.1906. «Новости Дня», 18.02, 22.02.1906.

[5] ГАРФ, ф. 102, оп. 203, д. 8, ч. 66, т.1, лл.59, 69. «Финляндская Газета», 19.02 (4.03), 21.02 (6.03). 1906. «Русское Слово», 19.02.1906.

Судебный процесс по делу об ограблении филиала Государственного банка в Гельсингфорсе начался 21 марта 1906 года. Телеграфист Вячеслав Чуванов заявил, что найденные у него деньги он приобрел путем различных мошеннических проделок и в ограблении не замешан. Олави Саволайнен и его зять Карл Феррин свою вину отрицали и от обвинения в грабеже кое-как отмазались. Редактор газеты «Arbetaren» Карл Нюман сообщил, что действительно взял полторы тысячи марок у заезжих революционеров, но только для передачи этих денег эмигрантам в Стокгольме; временно освобожденный между судебными заседаниями под подписку о невыезде, он попытался скрыться в Швеции, но через месяц был арестован и предстал перед судом. Эмма Гайлис присутствовала на процессе в качестве свидетельницы[6].

Пятеро обвиняемых — Петр Салынь, Христиан Трейман и братья Густав, Карл и Янис Чокке — признали себя членами латышской социал-демократической партии и участниками февральского ограбления банка, но на все дополнительные вопросы отвечать отказались, ссылаясь сперва на незнание русского языка, а потом (когда на судебные заседания пригласили латышского переводчика) — на плохую память. Через два с половиной месяца Салыня, Треймана и Густава Чокке приговорили к 10-летнему заключению в смирительном доме с последующим лишением гражданского доверия на 10 лет сверх срока наказания за тяжкое преступление и «учиненное при этом насилие, имевшее последствием смерть другого лица». Карла Чокке, застрелившего жандарма на железнодорожной станции под Гельсингфорсом, обрекли на 15 лет заключения в смирительном доме с последующим лишением гражданского доверия на 15 лет сверх срока наказания. Таммерфорсского убийцу Яниса Чокке осудили на пожизненное заключение.

Для свидетельницы Эммы Гайлис прокурор запросил неожиданно два года тюремного заключения, но 8 июня 1906 года финский суд освободил ее от всякой ответственности «за недоказанностью обвинений». Музыканту Карлу Феррину и технику Олави Саволайнену назначили трехмесячное тюремное заключение «за способствование побегу преступников». Карла Нюмана отправили на два года в гельсингфорсскую каторжную тюрьму «за укрывательство краденого динамита». Вячеслава Чуванова этапировали в Петербург и передали в распоряжение имперских властей[7].

В определении меры наказания финская юстиция в 1906 году все-таки заметно отличалась от российской, считавшей чуть ли не всякий грабеж экспроприацией и предававшей налетчиков военно-полевому суду. Российские профессиональные бандиты нередко упрекали профессиональных революционеров в резком утяжелении криминального промысла, поскольку до 1905 года за грабеж давали всего три года арестантских рот, а в 1906 году — порой казнили без промедления[8].

---

[6] «Финляндская Газета», 23.03(5.04).1906. «Новости Дня», 26.03.1906.

[7] ГАРФ, ф. 102, оп. 203, д. 8, ч. 66, т. 1, лл. 80–81. «Финляндская Газета», 8 (21).06.1906. В кн.: Янис Лутер-Бобис. Страницы жизни революционера-подпольщика. Сборник статей и воспоминаний. Рига, 1962. С. 279–287.

[8] *Сверчков Д.* На заре революции. М.-Л., 1924. С. 325–326.

Девицу Эльзу Циллиакус, привлекшую к себе внимание банковских служащих непосредственно перед ограблением, на судебном процессе допрашивали как свидетельницу преступления. Однако ни сыщики, ни прокурор, ни судья не поинтересовались ее родственными связями с хорошо известным Департаменту полиции профессиональным революционером Конни Циллиакусом, возглавлявшим финляндскую «партию активного сопротивления» и причастным к беспорядкам в Прибалтике и контрабанде оружия в пределы Российской империи[9].

Дорога дальняя, казенный дом

Некоторые подробности нашумевшего ограбления банка в Гельсингфорсе стали известны лишь много лет спустя, когда отдельные профессиональные революционеры, навсегда отравленные подпольем и порядком утомленные монотонной советской службой, принялись вспоминать свою буйную молодость. Часть из них вступили в Общество старых большевиков и в корявых автобиографиях, сохранившихся в фондах этой организации, отразили свои былые подвиги чуть более откровенно, нежели в официальных мемуарных сборниках.

По свидетельству участников тех событий, вооруженным нападением на банк в Гельсингфорсе руководил Янис Лютер. Один из основателей Латышской социал-демократической рабочей партии и руководитель всех ее военизированных формирований, большевик с 1903 года, Лютер был видным экстремистом, получившим необходимую закалку и опыт партизанских действий в отрядах латвийских боевых дружин и «лесных братьев».

Формально лесные кровники отличались от пиратских береговых братьев лишь тем, что первые грабили на суше, а вторые — на море. В XVI–XVII веках неукротимое береговое братство усердно подтачивало экономику и престиж колониальной Испанской империи, а в начале XX столетия суровое лесное товарищество стремилось причинить посильный ущерб финансовой и политической системе каторжной Российской империи. Незначительные различия между морским и сухопутным разбоем заключались в исходной мотивации: если агрессию пиратов возбуждала преимущественно жажда легкой наживы, то лесных соратников вдохновляла прежде всего идея борьбы за социальную справедливость.

Участие в экспроприации (с нередкими убийствами полицейских или случайных прохожих) обеспечивало по сути неизбежное превращение подлинной или мнимой жертвы социальной несправедливости в насильника. Если в детских сказках косматое чудовище преображалось вдруг в прекрасного принца, то в криминальной реальности потенциальный Иван-Царевич навсегда обращался в серого волка. Однако такое перераспределение жизненных ролей ничуть не беспокоило лесных кровников, и библейский вопрос о местонахождении брата Авеля не проникал в их аффективно суженное сознание.

Лютер нашел свое призвание в подпольной деятельности уже в девятнадцать лет, сразу после исключения из учительской семинарии. Отважный

[9] ГАРФ, ф. 102, оп. 233, д. 9, ч. 10, лл. 2, 44.

и находчивый, сдержанный и немногословный, он внушал непререкаемое уважение своим боевым товарищам. Его умение держаться совершенно естественно и просто в любых (в том числе экстремальных) ситуациях вызывало неизменное восхищение всего лесного сообщества. К тому же он обладал незаурядными актерскими способностями и, меняя парики и одежду, мгновенно перевоплощался то в сельского учителя, с простодушной серьезностью взиравшего на прохожих сквозь очки с простыми стеклами, но в золотой оправе, то в утомленного рабочего, неторопливо шагавшего по улице после ночной смены, то в изысканного и высокомерного барона, говорившего на безукоризненном немецком языке[10].

Его влияние особенно возросло в начале сентября 1905 года, когда он вместе со своим другом Екабом Дубелштейном спланировал и возглавил лихой набег полусотни экстремистов на Центральную тюрьму в Риге. Вооруженные пистолетами, ножами и топорами, налетчики вывели из камер двух арестованных соратников, незаменимых в изготовлении самодельных бомб, и, потеряв в перестрелке убитыми двух боевых товарищей, растворились в ночи. При нападении погибли двое надзирателей и получили тяжелые ранения трое. Прибывшая по тревоге полиция схватила двух злоумышленников, застреливших при аресте одного городового[11]. Умиленный столь «блестящей победой» экстремистов, Ленин тут же напечатал в нелегальной большевистской прессе приветствие «героям революционного рижского отряда»: «Пусть послужит успех их ободрением и образчиком для социал-демократических рабочих во всей России. Да здравствуют застрельщики народной революционной армии!»[12]

Ни волчья осторожность, ни сугубая конспирация не давали, однако, ни одному подпольщику достаточных гарантий безопасности. Исключений из этого неписанного правила не было, да и не могло быть, и 13 января 1906 года Лютер и его напарник Теодор Калнин, задержанные при облаве, очутились в камере Центрального управления тайной полиции. Фальшивые паспорта и криминальный опыт помогли им выдержать двое суток истязаний, издевательств и допросов. На третий день им дали передышку, а 17 января в 8 часов утра их боевые подруги умудрились передать им с продуктами два браунинга. Как только женщины покинули управление тайной полиции, туда вломились 12 экстремистов во главе с Екабом Дубелштейном, Гедертом Элиасом и Янисом Чокке, тотчас же зарезавшим подвернувшегося ему под руку солдата. Лютер и Калнин тоже пустили в ход пистолеты и, застрелив нескольких охранников, вырвались из застенка, прихватив с собой четверых арестованных ранее экстремистов. Продолжительность инцидента не превысила трех минут, так что полурота солдат, находившихся на втором этаже того же здания, не успела воспрепятствовать атаке боевиков[13].

---

[10] В кн.: Янис Лутер-Бобис... С. 230–235.

[11] ГАРФ, ф. 124, оп. 44, д. 299, лл. 21–24; д. 1497, лл. 5–9. «Рижский вестник», 9.09.1905.

[12] *Ленин В.* Полн. собр. соч., т. 11. С. 269.

[13] «Рижский вестник», 17.01.1906. «Пролетарская революция». 1926, № 3. С. 173–196. В кн.: Янис Лутер-Бобис... С. 105–124.

На следующий день Лютер, старательно загримировав следы избиений на допросах, сел в спальный вагон и укатил из Риги в Петербург. Вслед за ним, спасаясь от преследований разъяренной полиции, его верные товарищи перебрались по одному в российскую столицу, где поступили в распоряжение ЦК РСДРП, точнее, его Боевой технической (в последующем Военно-технической) группы, возглавляемой Л. Б. Красиным[14].

Многоликий партийный лидер и главный финансист большевистской фракции, Красин был убежденным террористом. Соблазнительная идея произвести государственный переворот с помощью динамита осенила его еще в юности, когда он учился в Петербургском технологическом институте. «Ну, а как же отрицать целесообразность террора, — спрашивал он у своих друзей социал-демократов, — если, скажем, технический прогресс в области взрывчатых веществ позволил бы осуществлять террористические акты не с громоздкими бомбами, а со снарядами величиной в грецкий орех?»[15]

Человек просчитанной цели, которой добивался с упорством прирожденного землепроходца и самолюбием отличника из провинциального реального училища, одаренный авантюрист, лишенный сомнений и сантиментов, он руководил всей легальной, полулегальной и нелегальной деятельностью большевиков в период великой российской смуты 1905–1907 годов. Неутомимый заговорщик и первоклассный конспиратор, он пользовался непререкаемым авторитетом у сподвижников, но для харизмы вождя ему не хватало паблисити, абсолютной непорядочности и того фанатизма, который граничит с паранойей (или трансформируется в нее) и ложится в основу как непоколебимой веры в свое предначертание, так и оправдания любой низости.

Высокий и стройный, элегантный и холеный, ироничный и обаятельный, он производил неизгладимое впечатление на внушаемых женщин и азартных мужчин, подавлял их своим интеллектом и волей, а подчас и принуждая выполнять его распоряжения безропотно, словно под гипнозом. Природная сметливость и неотразимая дерзость помогали ему обкладывать данью все оппозиционные слои российского общества. Актрисы и адвокаты, инженеры и врачи, чиновники и даже отдельные банкиры регулярно выплачивали его агентам определенные денежные суммы для непрерывного пополнения партийной казны. В ту пору либеральная интеллигенция уповала на введение Конституции, предполагая в ней панацею от произвола, домогалась революции, как ребенок модной игрушки, ежемесячные сборы в пользу той или иной радикальной партии рассматривала в качестве признака хорошего тона и была не в состоянии услышать элементарное рассуждение довольно популярного тогда публициста и философа В. В. Розанова: «Свобода нужна содержанию (чтобы ему развиваться), но какая же и зачем свобода бессодержательному? А ведь русское общество бессодержательно...»[16]

В конце 1905 года, когда расходы Боевой технической группы чрезвычайно возросли, а прежние источники партийного финансирования почти иссяк-

---

[14] В кн.: Первая боевая организация большевиков. 1905–1907 г.г. М., 1934. С. 202–203.

[15] «Пролетарская революция», 1923, № 3. С. 3–28.

[16] *Розанов В.* Уединенное. М., 1990. С. 168.

ли, Красин подобрал себе команду из неугомонных искателей приключений, воодушевленных революционной романтикой, и сделал ставку на идеализированный бандитизм. Как писал впоследствии Троцкий, «в качестве химика Красин знал, что такое динамит, в качестве политика он не боялся его употребления»[17]. Именно Красин в роли крестного отца всех большевистских экстремистов разрабатывал планы боевых операций и вооруженных ограблений, совершенных прибалтийскими и закавказскими террористами, но никогда не опускался он при этом до мелочной опеки исполнителей его предписаний. Впрочем, рядовые большевики полагали обычно, что они воплощали в жизнь поручения строго засекреченного ЦК партии.

Сначала Красину показалось заманчивым ограбление Сестрорецкого оружейного завода, но Лютер и Дубелштейн отвергли эту идею из-за отсутствия в Петербурге достаточного числа абсолютно надежных боевиков. «Мы сильны и отважны только в стае, — пояснил позднее один из лесных кровников. — Мы вместе росли, вместе оттачивали свое классовое сознание. Наша жизнь настолько нераздельна, что над личностью товарища никто особенно не задумывается. В коллективе все мы — закаленные звенья одной цепи. Не будь этой тесной взаимосвязи, каждый из нас порознь, возможно бы, колебался»[18].

Тогда от имени ЦК РСДРП конкретную боевую задачу по восполнению оскудевшей партийной казны поставил перед Лютером незаменимый помощник Красина в многочисленных рискованных предприятиях Н. Е. Буренин, курировавший всю подпольную деятельность большевиков в Финляндии. Входившее в состав Российской империи с 1809 года Великое княжество Финляндское пользовалось автономией, но давно стремилось к полной независимости. В то лихолетье значительная часть коренного населения Финляндии считала необходимым оказывать систематическую помощь революционному движению в империи, усматривая в этом наиболее реальный путь к собственному освобождению. Большевики же, в свою очередь, воспринимали Финляндию как свой «красный тыл», где находились превосходные явочные квартиры и где были созданы оптимальные условия для бесперебойного транзита в Российскую империю оружия, взрывчатки и крамольной литературы[19].

Для выполнения ответственного партийного поручения Лютер выбрал тринадцать рижских боевиков, отлично зарекомендовавших себя в схватках с полицией, а также в периодических убийствах городовых, драгун и казаков. К ударному отряду экстремистов по распоряжению Красина присоединилась команда прикрытия из десяти петербургских большевиков (их фамилии и клички остались неизвестны). Детали предстоявшей операции уточнили на месте. Пистолеты получили на одном из оружейных складов Боевой технической группы, размещенном в мастерской финского скульптора Альпо Сайло. Непосредственно перед налетом один из служащих бан-

[17] *Троцкий Л.* Портреты революционеров. Chalidze Publications, 1988. С. 281–282.

[18] *Бейка Д.* Год лесных братьев. Рига, 1970. С. 114.

[19] В кн.: Первая боевая организация большевиков... С. 83–84.

ка (его имя знал только Буренин) испортил сигнализацию, связывавшую банк с расположенной в 200 метрах от него гауптвахтой, где размещалось небольшое армейское подразделение[20].

В тот насыщенный событиями понедельник 13 февраля 1906 года отставной штабс-капитан Иоганн Кок вывел на прилегающие к банку улицы финскую Красную гвардию, дабы заблокировать все подходы к месту намеченной экспроприации при возникновении каких-либо непредвиденных ситуаций. Плотный блондин с длинными запорожскими усами, прослуживший в российской армии более десяти лет и отлично говоривший по-русски, Иоганн Кок учредил свою Красную гвардию из рабочих и бывших солдат во время всеобщей политической стачки 1905 года, когда бастовала даже финская полиция. Вскоре после организации финской Красной гвардии ее командир публично высказался о своей готовности всемерно поддерживать освободительное движение в Российской империи[21]. В пространном интервью, опубликованном петербургской прессой на следующий день после ограбления банка, отставной штабс-капитан заявил, что финская Красная гвардия была создана по образцу Французской национальной гвардии для поддержания общественного порядка. Кроме того, он отметил, что в одном только Гельсингфорсе под его командой находилось уже около 30 рот своеобразного полувоенного контингента[22]. Арестованные во вторник 14 февраля Саволайнен и Феррин входили в состав этого самобытного формирования.

После экспроприации боевики хладнокровно рассыпались по городу и с помощью финских красногвардейцев затаились в заранее приготовленных убежищах. Янис Чокке и Петр Салынь тем же вечером отправились в Таммерфорс на явку к редактору местной социал-демократической газеты, тогда как Лютер (вместе с Дубелштейном и Калниным) укрылся в доме виноторговца Вальтера Шеберга — одного из лучших агентов Боевой технической группы в Гельсингфорсе. Над входом в магазин Шеберга висела на кронштейне огромная зеленая бутылка, служившая не только рекламой его заведения, но и отличным опознавательным знаком для прибывавших в город революционеров[23]. На этом «массовом явочном пункте» Лютера с его друзьями ожидала Е. Д. Стасова.

Внучка знаменитого архитектора, дочь председателя Петербургского совета присяжных поверенных, племянница популярного художественного и музыкального критика, 22-летняя Стасова по кличке Абсолют была к тому времени искусной подпольщицей с приличным партийным стажем. В феврале 1906 года Красин перебросил Стасову в Финляндию взамен Буренина, поручив ей сосредоточиться главным образом на контрабанде оружия и подготовке очередного съезда РСДРП в Стокгольме. Самому же Буренину

---

[20] В кн.: Янис Лутер-Бобис... С. 284—297.

[21] ГАРФ, ф. 499, оп. 2, д. 3, лл. 1—5.

[22] «Биржевые Ведомости», вечерний выпуск, 27.02.1906.

[23] *Смирнов В.* Революционная работа в Финляндии 1900—1907 гг. «Пролетарская революция», 1926, № 1. С. 119 —157. В кн.: Первая боевая организация большевиков... С. 53—54.

предстояло сопровождать (в качестве своеобразного компаньона-телохранителя) двух особо ценных агентов Красина — Максима Горького и его гражданскую жену М. Ф. Андрееву, командированных (разумеется, от имени ЦК партии) в Северную Америку для сбора средств в пользу революции[24].

«Первое, что мне пришлось взять на себя в Гельсингфорсе, когда я туда приехала, — вспоминала Стасова 60 лет спустя, — это была отправка в Питер последних товарищей из группы латышей-партийцев, которые произвели экспроприацию в Государственном банке. Туда же я отвезла и часть денег, добытых при этой экспроприации (что-то около 10 тысяч рублей золотом и на небольшую сумму серебра в монетах рублевого достоинства). Серебро было отправлено, насколько я помню, через машинистов, а золото пришлось мне лично перевезти в Питер, спрятав его под одеждой»[25].

Остальные деньги, по словам Буренина, удалось перебросить в Германию и Швецию для приобретения оружия[26]. Однако и Буренин, и другие члены Боевой технической группы, и сами экспроприаторы ни словом не обмолвились о том, сколько полновесных тогда еще рублей издержали большевики на оружие и боеприпасы в бесноватом 1906 году.

Всюду деньги, деньги, деньги...

По данным ревизии, проведенной вскоре после ограбления банка, налетчики унесли 175 643 рубля. У арестованных боевиков, а также у их пособников полиция изъяла в общей сложности 41 963 рубля и 36 579 финских марок[27]. Поскольку 25 финских марок приравнивались к 10 рублям, 36 579 марок составляли 14 632 рубля. Таким образом, финская полиция вернула государству 56 595 рублей, а в руки большевиков свалился капитал в размере 119 048 рублей.

За вычетом десяти тысяч рублей, доставленных Стасовой финансовому директору партии Красину, и расходов на фальшивые документы, нелегальный переход границы, золотые или серебряные часы и, вероятно, какие-то иные вещи для экстремистов, агенты Боевой технической группы могли истратить на закупки оружия не менее ста тысяч рублей. Так как за 375 рублей по валютному курсу того времени давали одну тысячу франков или 808 германских имперских марок, за сто тысяч рублей большевики получили примерно 267 тысяч франков или 215 тысяч марок.

Заниматься контрабандой оружия (прежде всего на территорию Закавказья) Красин поручил (как обычно, от имени ЦК партии) недюжинному экстремисту М. М. Литвинову по кличке Папаша (будущему наркому иностранных дел СССР). Ближайшим сотрудником Литвинова в этом увле-

---

[24] Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ), ф. 356, оп. 1, д. 1, л. 17; д. 164, л. 179.

[25] *Стасова Е.* Воспоминания. М., 1969. С. 82–83.

[26] *Буренин Н.* Памятные годы. Л., 1961. С. 160–165.

[27] «Финляндская Газета», 14(27).02, 16.02(1.03), 19.02 (4.03), 21.02(6.03), 23.03 (5.04).1906.

кательном промысле стал Лютер, с помощью Буренина и Стасовой ускользнувший за границу вкупе с несколькими рижскими боевиками.

Литвинова манил бельгийский оружейный рынок, где российским революционерам симпатизировали и охотно продавали браунинги калибра 7,65 мм — излюбленное оружие террористов. После ограбления банка в Гельсингфорсе одна из посреднических фирм Льежа предложила большевикам 50 тысяч швейцарских винтовок устаревшего образца по цене 4 франка за ствол и небольшую партию браунингов стоимостью 31—33 франка (вместо стандартных 45 франков) за пистолет. Посетив совместно с кавказскими боевиками ряд оружейных заводов и коммерческих фирм Бельгии и Германии, к осени 1906 года Литвинов остановил свой выбор на магазинных винтовках и автоматических пистолетах различных систем[28].

Тем временем Лютер, выступавший для конспирации под маской военного атташе республики Эквадор и установивший доверительные контакты с оружейными фирмами Гамбурга и Берлина, договорился о приобретении пятисот маузеров, пятисот карабинов, девяти кавалерийских пулеметов, трех миллионов патронов и одной тонны динамита. В тире одного из таких гамбургских предприятий Литвинов, заехавший туда под видом эквадорского офицера, устроился за пулеметом и, прострелив на память свой носовой платок, одобрил всю сделку в целом[29].

Заказанное и полностью оплаченное оружие экстремисты вывозили в запломбированных вагонах из Западной Европы в болгарский порт Варна. В середине сентября 1906 года Литвинов зафрахтовал не то за 36 тысяч франков, не то за 30 тысяч марок яхту «Зора» водоизмещением 47 тонн. Набрать команду из моряков героического броненосца «Потемкин» он сумел только через два месяца. Капитаном судна пришлось назначить беглого матроса из Севастополя.

В середине ноября 1906 года филеры опознали Литвинова на улицах Петербурга и зафиксировали его свидание с Красиным в книжном магазине легального большевистского издательства «Вперед». Заметив за собой слежку, Литвинов ушел от наблюдения, надев пальто и шляпу одного из посетителей магазина и прицепив накладную бороду. Спустя несколько дней агенты российской полиции повстречали его в Берлине, откуда 22 ноября он уехал в Австрию в сопровождении машиниста яхты и семи матросов[30].

В ночь на 29 ноября 1906 года яхту загрузили сперва динамитом и боеприпасами с причалившего парохода австрийского общества Ллойда, а потом многочисленными ящиками с оружием. Для укрепления дисциплины и присмотра за малонадежным экипажем на корабль десантировались десять латышских и грузинских боевиков во главе с легендарным Камо (С. А. Тер-Петросяном), взявшим на себя обязанности кока. Предусмотрительный Камо

---

[28] В кн.: Первая боевая организация большевиков... С. 89—99.

[29] В кн.: Янис Лутер-Бобис... С. 125—127.

[30] ГАРФ, ф.102, оп. 234, д. 1, ч. 1, т. 3, лл. 8 об, 27, 107 об, 108, 146, 147. Материалы по истории общественного и революционного движения в России. Под редакцией С. П. Мельгунова и М. А. Цявловского. М., 1918, т. 1. С. 196—197. В кн.: Первая боевая организация большевиков... С. 92—94.

тут же заминировал судно, дабы взорвать его в случае захвата корабля правительственными войсками или провала операции по каким-либо иным причинам. Провода от так называемой *адской машины* он провел в камбуз.

Утром 29 ноября «Зора» снялась с якоря и, покинув гостеприимный порт Варны, вышла в море, держа курс на кавказское побережье, а в полдень 1 декабря села на мель у берегов Румынии. Команда корабля и боевики во главе с Камо, страдавшим от морской болезни, сбежали немедленно. На опустевшую яхту высадились шустрые румынские рыбаки, утащившие с потерпевшего крушение судна немалую часть оружия. Прибывший с опозданием спасательный пароход снял с яхты всего две тысячи винтовок, свыше полумиллиона патронов и ящик с прокламациями на русском языке, призывавшими к вооруженному восстанию[31].

Вспоминая впоследствии этот эпизод своего достославного криминального прошлого, Литвинов колебался, не зная, чему приписать провал экспедиции — то ли шторму, то ли неопытности и трусости капитана яхты; однако основную ответственность «за срыв предприятия» он возложил на ЦК партии (иными словами, на Красина), не обеспечивший своевременное финансирование контрабанды.

Разукрашенное всяческими фантастическими подробностями, происшествие с яхтой «Зора» попало в европейскую прессу, спровоцировало дипломатический скандал между Россией и Болгарией и послужило основанием для объявления Литвинова в международный розыск. Специальные досье на него завели в ту пору полицейские управления Бельгии, Болгарии и Румынии[32].

Сколько всего винтовок и пистолетов находилось в трюме злосчастной яхты, большевики сохранили в тайне. Осенью 1907 года Литвинов уничтожил все квитанции, все накладные и всю прочую документацию по делу о неудавшейся попытке контрабанды оружия и взрывчатки, предпринятой на средства, похищенные из банка в Гельсингфорсе[33]. Не исключено, что латышские экстремисты предъявляли определенные претензии Литвинову в связи с нелепой утратой награбленных денег и закупленного Лютером оружия. Скорее всего поэтому Литвинов в своем мемуарном очерке о бесславном провале порученной ему контрабанды старательно лгал, будто яхту «Зора» он снарядил на многие сотни тысяч рублей, экспроприированных грузинскими боевиками.

Товарищ, товарищ, за что же мы боролись?

После ограбления банка в Гельсингфорсе банда развалилась. Главарь налетчиков Янис Лютер по кличке Бобис (1883–1939) и пара его верных боевых товарищей — рабочий Янис Зирнитис по кличке Архиварс (1884–1939) и штурман дальнего плавания Карл Янсон по кличке Каптейнс

---

[31] *Бибинейшвили Б.* Камо. М., 1934. С. 113–117. См. также: Камо. Воспоминания, статьи, очерки о Камо. Ереван, 1982. С. 38–40, 145–148.

[32] РГАСПИ, ф. 332, оп. 1, д. 39, лл. 102–107.

[33] В кн.: Первая боевая организация большевиков... С. 99.

(1883–1937) — скрылись за границей. Через год Янсон эмигрировал в США, где сделал карьеру профсоюзного босса, а Зирнитис вернулся в Прибалтику, продолжил свою подпольную деятельность и в 1909 году был осужден на шесть лет каторги с последующей ссылкой в Иркутскую губернию.

Вслед за Лютером (или, быть может, одновременно с ним) бежал Гедерт Элиас (1887–1975), известный боевым товарищам под псевдонимом Страуме-Гедус; через три года он поступил в Брюссельскую Академию художеств и стал впоследствии профессиональным живописцем. Еще один экстремист Ансис Бушевиц (1878–1943) тоже оказался, по всей вероятности, за рубежом, где заразился меньшевистской ересью и временно откололся от былых единоверцев[34].

Четверо экстремистов, оставшихся на российских просторах, получили новые партийные задания. Выполнение наиболее важного поручения, связанного с подготовкой вооруженных восстаний в различных регионах страны, боевая техническая группа доверила Николаю Атабекову по кличке Антон (1881–1937).

Потомок действительного статского советника из Астраханской губернии, единственный среди прибалтийских боевиков человек дворянского происхождения, Атабеков не только окончил гимназию, но еще в 1899 году был принят в Рижский Политехнический институт. Он сумел даже преодолеть два первых курса обучения, прежде чем его отчислили из института за участие в студенческих беспорядках. Не испытывая ни малейшего огорчения по этому поводу, он вступил в ряды большевиков и к последним месяцам 1905 года вырос до вожака боевой дружины. После удачной операции в Гельсингфорсе его направили в Одесскую военную организацию большевиков, а в мае 1906 года перебросили в Кронштадт. Спустя два месяца в Кронштадте вспыхнуло восстание, быстро подавленное правительственными войсками; в сентябре Атабекова, переодетого матросом, арестовали и через год осудили на восемь лет каторги. В 1913 году его амнистировали и выслали в Иркутскую губернию, где он прожил до Февральской революции и нечаянно набрался от ссыльнопоселенцев меньшевистских воззрений[35].

Самый отчаянный и самый, наверное, жестокий боевик, признававший одно только право ножа и пистолета, Екаб Дубелштейн по кличке Епис (1883–1907) в марте 1906 года вернулся в Лифляндскую губернию. За последующие полтора года он всласть покуражился над полицией, пограбил почтовые отделения и принялся даже разрабатывать план убийства П. А. Столыпина, председателя Совета министров Российской империи, но в августе 1907 года был схвачен на рижской улице и через месяц расстрелян[36].

Бывалый подпольщик Теодор Калнин по кличке Мистер (1871–1939) трудился в нелегальной типографии до 2 января 1908 года, когда его взяли под стражу. Свыше пяти лет просидел он в Рижской центральной тюрьме, а в марте 1913 года отправился по этапу в сибирскую ссылку. В Киренском

---

[34] ГАРФ, ф. 533, оп. 2, д. 805, лл. 4–5.

[35] ГАРФ, ф. 102, оп. 203, д. 306, ч. 46, лл. 1–2; ф. 533, оп. 2, д. 77, лл. 5–7, 11, 114. Каторга и ссылка, 1927, кн. 37. С. 76–77.

[36] В кн.: Янис Лутер-Бобис... С. 140–147.

уезде Иркутской губернии он получил место кладовщика и экспедитора небольшого молочного хозяйства[37].

Профессиональный революционер, член ЦК социал-демократии Латышского края Янис Ленцман по кличке Кенцис (1881–1939) оставался на воле дольше всех. Его арестовали и выслали в Иркутскую губернию лишь в 1915 году[38].

Пятерых гангстеров, приговоренных финским судом к различным срокам наказания, поместили в одиночных камерах. Петр Салынь (1886–1937) и Христиан Трейман (1887–после1962) провели в одиночном заключении шесть лет, Густав Чокке (1886–после1935) и Карл Чокке (1884–1929) — около десяти. Карла Чокке продержали, кроме того, в ножных кандалах два с половиной года и в ручных — еще два года; за покушение на жизнь надзирателя в 1913 году срок содержания под стражей ему увеличили на девять лет. Густаву Чокке добавили к прежнему сроку четыре года тюрьмы после безнадежной и чуть ли не демонстративной попытки к бегству. Салыня и Треймана освободили досрочно, по амнистии, объявленной к 300-летию дома Романовых, Густава и Карла Чокке — после Февральской революции. Янис Чокке (1870–1910) погиб при невыясненных обстоятельствах в каторжной тюрьме[39].

Отставной штабс-капитан Иоганн Кок (1863–1909) оказался участником солдатского и матросского бунта в крепости и в порту Свеаборга 17–20 июля 1906 года. Когда правительственные войска подавили мятеж, он бежал в Северную Америку. Как сложилась затем его судьба, неизвестно: по одним сведениям, в 1908 году его арестовали и депортировали в Российскую империю, по другим — он скончался скорее всего в Канаде в 1915 году. Утратив своего командира, финская Красная гвардия распалась[40].

После октябрьского переворота бывшие экстремисты перевоплотились в законопослушных советских граждан. Лютер нашел себе применение в качестве директора крупных хозяйственных учреждений (в том числе Ленинградского отделения Англо-русского акционерного торгового общества «Аркос», учрежденного Красиным в 1920 году, Ленинградской конторы «Экспортлес» и, наконец, треста «Союзлесотара»). Ленцман руководил советской военной разведкой в Турции, служил в Латвийской секции Коминтерна, был начальником общей группы отдела кадров на строительстве Дворца Советов[41]. Салынь находился на подпольной работе в Китае, чистил Наркомат просвещения на посту старшего инструктора Рабоче-Крес-

---

[37] ГАРФ, ф. 533, оп. 2, д. 805, лл. 1–6. РГАСПИ, ф. 17, оп. 100, д. 100960.

[38] РГАСПИ, ф. 124, оп. 1, д. 1107, лл. 1–5.

[39] РГАСПИ, ф. 124, оп. 1, д. 1708, лл. 4–5. ГАРФ, ф. 533, оп. 2, д. 2025, лл. 4–6; д. 2240, лл. 3–6, 10–26; д. 3257, лл. 11–12, 20.

[40] ГАРФ, ф. 499, оп. 1, д. 18, лл. 290–298; оп. 2, д. 43, лл. 3, 14 об. В кн.: Янис Лутер-Бобис... С. 392. *Смирнов В.*, Указ. соч.

[41] РГАСПИ, ф. 17, оп. 100, д. 4550. *Колпакиди А, Прохоров Д.* Империя ГРУ: Очерки истории российской военной разведки. М., 2001, кн.1. С. 175. Расстрельные списки. Москва, 1935–1953. Донское кладбище [Донской крематорий]. Книга памяти жертв политический репрессий. М., 2005. С. 271.

тьянской инспекции, исполнял какие-то секретные обязанности в советском торгпредстве в Берлине и, наконец, стал заместителем заведующего музеем Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП (б)[42]. Янсон служил в Красном интернационале профсоюзов (Профинтерне), тогда как Зирнитиса использовали в качестве мелкого партийного или советского начальника[43].

Атабеков, Калнин и Густав Чокке несколько лет занимали скромные должности в различных советских организациях, все трое получили инвалидность по совокупности множества заболеваний. В своем заявлении, адресованном в комиссию по назначению пенсий, Густав Чокке писал: «Страдаю истерикой, эпилептикой, которая появилась вследствие пролома верхней головной кости после ареста при побеге. Вследствие болезни и усталости я не способен занимать ответственные должности. Лечусь у районного психиатрического врача...»[44] Карл Чокке, девять лет проучившийся сначала на рабочем, потом на физико-математическом факультете МГУ, 11 февраля 1929 года накануне отъезда в санаторий для «нервнобольных» совершил суицидальную попытку и 24 февраля скончался вследствие огнестрельного ранения грудной клетки[45].

Трейман работал то в Особом отделе ВЧК, то в милиции, а с 1930 года возглавлял Московский областной союз кооперации инвалидов[46]. Много лет спустя ему довелось опубликовать воспоминания о бурной своей молодости и верных боевых товарищах. Однако в этом мемуарном очерке, напечатанном в сборнике «Янис Лутер-Бобис», Трейман умолчал о том, как пережил он Большой террор, Вторую мировую войну и послевоенные репрессии. Может быть, с 1937 года он много лет находился в заключении? Известно только, что в 1962 году его труды вознаградили персональной пенсией.

В период Большого террора герои революционного подполья превратились из полноценных советских граждан в подозреваемых и подсудимых. Основанием для такой трансформации стала подписанная Н. И. Ежовым директива НКВД СССР от 30 ноября 1937 года о проведении массовой карательной операции «по линии латвийского шпионажа».

Еще летом 1937 года, заимствовав нацистскую идеологию, советские вожди запланировали, а вслед за ними следователи НКВД приступили к серии «национальных операций» — в сущности этнических чисток всех «подозрительных на шпионаж» лиц немецкого, польского, румынского происхождения и так называемых харбинцев (бывших служащих КВЖД, объявленных японскими шпионами). Затем пришел черед латышей. Согласно приказу Ежова, с 3 декабря 1937 года одновременно во всех республиках, краях и областях подлежали аресту политические эмигранты и перебежчики из Латвии, активисты латышских клубов и обществ (в том числе общества латышских стрел-

[42] ГАРФ, ф. 533, оп. 2, д. 1774, лл. 1–2, 15–17.

[43] В кн.: Янис Лутер-Бобис... С. 388, 413.

[44] ГАРФ, ф. 533, оп. 2, д. 2240, л. 7.

[45] ГАРФ, ф. 533, оп. 2, д. 3257, л. 22.

[46] ГАРФ, ф. 533, оп. 2, д. 2025, лл. 7–11

ков), бывшие руководители и члены правлений ликвидированных акционерных обществ, латышские туристы, осевшие в СССР, и все латвийские подданные, кроме сотрудников дипломатических учреждений[47].

Поскольку органы НКВД не успели выполнить срочный заказ партии и правительства до окончания 1937 года, Сталин разрешил им продолжить «операцию по разгрому шпионско-диверсионных контингентов из поляков, латышей, немцев, эстонцев, финн, греков, иранцев, харбинцев, китайцев и румын, как иностранных подданных, так и советских граждан» до 15 мая 1938 года[48]. Однако еще до завершения года 1937-го сотрудники НКВД отомстили за унижение царской полиции, расстреляв Атабекова, Салыня и Янсона. В 1939 году «пали жертвой злостной клеветы и произвола в период культа личности» Лютер, Зирнитис, Калнин и Ленцман. Не пощадили и семью Лютера, расстреляв его сына Юрия (1914—1938), студента Ленинградского Института инженеров водного транспорта, и младших братьев: Роберта (1895—1938) — председателя юридической консультации — и Эрнеста (1893—1940) — участника Гражданской войны и партийного функционера[49]. Советские правители, надо полагать, всерьез опасались, как бы матерые боевики (вместе с их родственниками) не взялись за оружие снова.

Ансис Бушевиц и Гедерт Элиас избежали репрессий. Бушевиц проживал в независимой Латвийской республике, работал юристом, после избрания членом Народного Сейма в 1940 году голосовал за вхождение Латвии в состав СССР, затем вступил в ряды Коммунистической партии Латвии и умер в Москве. Элиаса возвели в ранг профессора, заслуженного деятеля искусств Латвийской ССР, члена академии художеств и патриарха латышской живописи (ныне его имя носит Елгавский музей истории и искусства). Именами Красина и Стасовой назвали улицы в Москве, подтвердив тем самым старинное правило: исполнителей чаще всего карают, зато вдохновителей превозносят.

Беспрецедентное, казалось бы, ограбление филиала Государственного банка в Гельсингфорсе неожиданно быстро забылось и даже не обросло легендами; как говорится, разнеслась молва, да и была такова. Фамилии и клички большевиков, грезивших о социальной справедливости и совершивших ради нее первую крупномасштабную экспроприацию, не удержались в короткой памяти потомков. И теперь, когда, словно в старой сказке, век прошел, как сон пустой, можно, наверное, высказать лишь одно пожелание: так пусть им общим памятником будет построенный в боях капитализм с нечеловеческим лицом.

---

[47] «30 октября», 2000, № 4. С. 5.

[48] РГАСПИ, ф. 17, оп. 166, д. 585, л. 21.

[49] В кн.: Янис Лутер-Бобис... С. 398.

Александр КЫРЛЕЖЕВ

ПАМЯТИ ОЛИВЬЕ КЛЕМАНА

Оливье Клеман, французский православный богослов, член редколлегии журнала «Континент», скончался в Париже 15 января 2009 года в возрасте 87 лет.

Отпевание состоялось в храме Сергиевского подворья, где находится парижский Богословский институт, профессором которого Клеман был много лет. Кроме главы Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе архиепископа Гавриила, в отпевании, наряду со множеством духовенства и верующих, участвовали еще шесть епископов, представлявших Константинопольский (греческий), Антиохийский (арабский) и Румынский Патриархаты. Было католическое духовенство, представители интерконфессиональной Общины Тэзе, монашествующие из Иерусалима...

В своем надгробном слове архиепископ Гавриил назвал Оливье Клемана «предтечей» и «апостолом». Предтеча указывает на грядущего Христа, апостолы возвещают Благую весть, следуя своему миссионерскому призванию. Оказывается, такого рода деятельность нужна и спустя две тысячи лет — в недрах христианской Европы. Только теперь это скорее следует называть «внутренней миссией» и даже «вторичной миссией» — среди христиан, принадлежащих к разным конфессиональным традициям.

Нет, Клеман никоим образом не относился к тем, кто «обращает в свою веру». Но он был, как утверждают его западноевропейские единоверцы, одним из наиболее значительных свидетелей Православия на Западе во второй половине XX века.

Что же позволило ему выполнять эту миссию?

И как объяснить эту роль российскому читателю?

Я впервые встретился с Клеманом в Париже в июне 1990-го, посетив его дома вместе с Владимиром Порешем, а год спустя встречал его в Москве, когда он приехал в Россию (еще советскую), чтобы прочесть несколько лекций о русском богословии. Тогда это было одновременно и еще «чудесно», и уже вполне естественно: какой-то француз из «парижского русского богословского института» с помощью переводчика рассказывает в случайном помещении небольшой группе людей (человек 50–70) о богословском понимании личности... Единицы знали это имя, — скажем, по переводам отдельных текстов в парижском русском журнальчике Татьяны Горичевой «Беседа». Тогда же Клеман дал интервью, позднее, в 1992-м, опубликованное в «Континенте» (№ 72): «Почему я православный христианин»[1].

[1] См. также интервью О. Клемана в «старом» «Континенте» (№ 41 (1984)).

В Москве же мы обсуждали проект перевода книги Клемана «Истоки: Богословие отцов древней Церкви», которая вышла спустя два года с предисловием Николая Лосского (высокой печатью, на желтой бумаге, но тиражом целых 8 тысяч экз.). Затем была буквально пара публикаций в газете «Русская мысль», а сравнительно недавно вышло несколько брошюр[2]. Кроме того, в 1993 году в Брюсселе был издан русский перевод книги Клемана «Беседы с патриархом Афинагором». Вот, кажется, и всё — по-русски.

Дело, однако, в том, что и этого вполне достаточно, чтобы познакомиться с Оливье Клеманом как автором, но совершенно недостаточно, чтобы понять его роль во Франции и христианской Европе в целом.

Мне пришлось еще несколько раз общаться с Оливье Клеманом в 1990-е: в Париже и, урывками, на съездах Православного братства в Западной Европе. Опыт этих встреч был необычным. Языковой барьер не позволял поговорить «уста к устам» (Клеман не понимал по-русски, а я по-французски — очень приблизительно), но эта ситуация обнаружила вполне удивительную возможность общения с этим человеком — почти без слов, просто посредством взгляда и «присутствия». Это было именно то «присутствие» — *présence*, — о котором немало говорит и сам Клеман. Сначала, с помощью друзей, я задавал ему вопросы, ставил проблемы, высказывал какие-то соображения, но он не был склонен к «дискурсивным» ответам. Клеман сам в каком-то смысле был «ответом»: он был наполнен какой-то тихой, но при этом густой, плотной, глубокой — поистине духовной — *жизнью*. Этот маленький, «круглый», с совершенно французской внешностью человек — без всяких внешних признаков «православной духовности». И достаточно было с ним где-то встретиться, мимоходом, во временном «храме» конгресс-центра или в столовой за обедом, чтобы отпало всякое желание задавать какие-то «вопросы» — о религии, о Церкви и даже «о человеке»...

«Вопросы о человеке» — так называется одна его старая книжка, специально написанная для «энциклопедически-популярной» серии (именно главы из этой книжки и публиковались в журнале «Беседа», и очень жаль, что они не нашли своего русского издателя)[3]. Это текст очень характерный для времени написания, французский по стилю, обращенный прежде всего к широкой публике — и очень клемановский. Он представляет собой попытку выразить, словесно и интеллектуально, некое целостное видение: человека, как он понимается и «переживается» внутри христианства, церковного пространства, в конечном счете, православной традиции. Но увидеть того реального, «современного», человека, который живет в западноевропейской культуре.

Это и было главным делом Клемана. Он был человек весьма ученый, очень эрудированный, одновременно историк (в том числе по образованию), философ и богослов. И он был, судя по всему, хороший «писатель» (опять

---

[2] Тэзе: земля доверия и надежды. Тэзе, 2000; Отблески света: православное богословие красоты. М., 2004; Смысл земли. М., 2005; Рим: взгляд со стороны. М., 2006.

[3] *Clement O.* Questions sur l'homme. Paris, 1972 (Collection «Questions»).

же в характерно французском смысле). На вкус некоторых (мой в том числе) такой *стиль* разговора о духовно-богословских материях не всегда соответствует предмету, «экзистенциальной проблематике». Но в то же время язык не повернется говорить в данном случае об экзальтации — настолько подлинным было его свидетельство, как словесное, так и личное.

И поэтому когда я слышу слова о его апостольской роли проповедника и вдохновителя для множества православных христиан (и не только православных) в Западной Европе, это подтверждает то представление о структуре его личности, которое складывалось в опыте непосредственного общения.

Оливье Клеман как действующая личность (в разных проявлениях: как пишущий, говорящий, беседующий, организующий, просто «присутствующий») — весь на перекрестках, в точках связывания людей и смыслов. И в то же время — развязывания застарелых узлов, в общении и со-общении. Одна из его книг — о его русских учителях-друзьях богословах Владимире Лосском и Павле Евдокимове — называется «Два проводника» (имеется в виду — между Востоком и Западом). Он и сам был таким проводником — уже с западной стороны.

Но он мог выполнять эту роль и эту миссию потому, что, — как и они, — был не только и не столько кабинетным «ученым теологом», сколько христианином, человеком, одновременно и неразделимо переживающим и продумывающим свою веру как содержание своей жизни в реальном мире. Именно эта синтетическая, вертикально-горизонтальная структура его личности и была источником его свидетельства. И источником открытости, которая позволяла быть как связующим звеном, так и провозвестником полноты той христианской, церковной традиции, в которой он жил.

И тут надо сказать несколько слов собственно о духовном пути Оливье Клемана.

Само его обращение имеет много общего с тем, что происходило у нас, в советской России. Как известно, французские секулярные, а также социалистические традиции гораздо старее, чем наши, российские. И Клеман, родившийся в 1921 году на юге Франции, вырос именно в такой среде. Среди его предков были и католики, и протестанты, но уже его дед стал приверженцем другой, третьей, «веры»: социалистов-секуляристов (именно так сам Клеман и описывает то окружение, в котором он рос: «У нас было три “религии”: католики, протестанты и социалисты»). Соответственно, в среде приверженцев той «религии», к которой он принадлежал по рождению, браки совершались в мэрии, и детей не крестили.

Клеман получил историческое образование в провинциальном университете, затем преподавал в парижских лицеях и — одновременно — искал смысл жизни и Веру: через философию и «восточную духовность» (как это происходило со многими и у нас в советское время). И обрел Веру через общение с русскими православными парижанами, что и привело его к крещению в православной церкви (кстати, Московского Патриархата) в возрасте 31 года.

Здесь надо обратить внимание на одно важное обстоятельство. Это произошло в силу его знакомства (через тексты и личного) с Владимиром Николаевичем Лосским — одним из столпов православной неопатристики

и одновременно убежденным сторонником «французского православия» (напомним, что русский по происхождению богослов Вл. Лосский писал по-французски и был одним из основателей существующего поныне франкоязычного православного прихода в Париже в юрисдикции Московского Патриархата). И тот факт, что сам Клеман стал «апостолом» западноевропейского православия, имеет своим основанием и истоком другой факт — что он был «крещен» именно в такой богословско-экклезиологической «купели». Это была жизнь и деятельность в православной церковной «парадигме», которая сегодня с трудом не только принимается, но даже и понимается в России.

Речь идет о переживании вселенскости, наднациональности Православия, которое, в силу этого своего качества, может и должно находить конкретно-исторические культурные выражения в новых ситуациях, в том числе и в ситуации западноевропейской культуры (равно как и североамериканской). Разумеется, эти исторически новые «воплощения» православной традиции будут иметь особые черты, особую социокультурную «физиогномию». Но это не значит, что они не могут быть и не являются истинно православными. Более того, на них лежит особая миссия раскрытия и донесения до религиозно-культурных регионов Запада, исторически оторванных от христианского Востока, богатства восточно-христианской традиции и практики, значимого для всего христианского мира.

Вот слова самого Клемана (1977): «Во Франции культура — одновременно наиболее секуляризованная и наиболее взыскательная — пришла сегодня к осознанию того, что "смерть Бога" неизбежно приводит и к "смерти человека". И появляются признаки новой открытости к трансцендентному, возврата к тому, что было подавлено, выражаясь в терминах психоанализа. А подавлены были смерть, любовь, тревога, удивление перед существованием. Потому-то православное свидетельство и имеет здесь сегодня такое значение — чтобы благословить и усилить те ростки, которые начинают зацветать, чтобы помочь христианам этих стран, которые полны неуверенности, но также и исканий, снова открыть для себя силу Воскресения»[4].

Но вот что важно отметить: такая установка на православное свидетельство в западноевропейском контексте конца XX столетия имеет русские истоки, которые питали и формировали и самого Клемана (продолжаю цитату): «Именно в Европе, особенно в Париже, в первую половину нашего века русское религиозно-философское возрождение принесло свои плоды, которые — через французские переводы — были восприняты арабской, греческой и румынской православной интеллигенцией... Великие русские религиозные мыслители явили обновляющую силу православного Предания. Они обозначили перспективы творческой духовности. Перед лицом

[4] Приведенная цитата — из еще одного текста Клемана по-русски: *Клеман О.* Роль и значение православной диаспоры в Западной Европе (Соборность. Сборник избранных статей из журнала Содружества св. Албания и преп. Сергия Sobornost. М.: 1998. С. 228–242; текст доступен в Интернете по адресу: http://www.religare.ru/article2252.htm). Это сокращенный перевод выступления О. Клемана на III Конгрессе Православного братства в Западной Европе (Амьен, Франция, ноябрь 1977 г.).

западноевропейских культур — прежде всего немецкой и французской, которые они знали, — они не испытывали ни комплекса ущемленности, ни комплекса превосходства, которые так опустошали многих православных. Они невозмутимо различали духов, вскрывали корни неразделенной Церкви, показывали, как великие изыскания атеизма могут быть включены в интегральное видение Богочеловечества».

Клеман был одним из тех, кто способствовал переводам и «продвижению» на Западе восточно-христианского святоотеческого наследия, но при этом — провозвестником в высшей степени творческого православия, не боящегося пресловутой «современности» и вступающего с ней в содержательный диалог. С 1959 года Клеман редактировал православный французский богословский журнал «Contacts», выходящий до сего дня, писал книги и статьи, давал интервью, выступал в разных аудиториях. Но не меньшее внимание уделял консолидации весьма разрозненных «православных сил» так называемой диаспоры. Прежде всего потому, что сам — как и многие другие православные западноевропейцы, а также потомки эмигрантов — не принадлежал ни к какой диаспоре. Важнейшим результатом его деятельности стало образование Православного братства Западной Европы, которое с начала 1970-х регулярно (раз в три года) проводит довольно масштабные съезды; в них принимают участие сотни православных христиан разного этнокультурного происхождения из разных стран Европы.

Выражаясь по-русски, можно сказать, что Оливье Клеман был *широким человеком*. Но его широта — прямая противоположность всеядности и поверхностности. Это именно открытость, источник которой — действительно глубокое основание, на которое он духовно опирался: подлинный христианский опыт, одновременно церковный и личный. Поэтому он и мог быть собеседником и другом очень масштабных и очень разных людей: патриарха Афинагора и папы Иоанна Павла II, архимандрита Софрония (Сахарова) и основателя общины Тэзе брата Роже, крупнейшего румынского богослова о. Думитру Станилоэ и основателя католической общины св. Эгидия Андреа Рикарди...

В заключение приведем его слова, в которых он кратко выразил свое видение православия:

«Я люблю в православной традиции соединение переживания тайны и переживания свободы, отсутствие морализаторства, простое, но глубокое понимание спасения как победы жизни, человека — как созданного по образу Троицы, то особое значение, которое придается Святому Духу и красоте космоса, молитву о всеобщем спасении — и многое другое».

Вечная память!

ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

Записки на полях о патриархальном будущем

Две тысячи восьмой год всеми своими событиями, символическими и не очень (смерть Солженицына, грузинская война, мировой финансовый кризис), объявил об окончании «длинного XX века» и о приходе новой, еще неведомой эпохи. Перед совершенно новой реальностью оказалась в начале 2009 года и Русская Церковь. До сих пор лишь патриарху Алексию II удавалось своей мягкой примирительной политикой удерживать в едином поле движения ее разнонаправленных векторов: апокалипсические страхи фундаменталистов, вожделения бизнесменов и политиков, свободолюбивые порывы либералов. Со смертью патриарха это тонкое равновесие нарушилось. Все пришло в движение, да какое! Энергичная схватка за власть с применением изощренных политтехнологий, использованием административного ресурса, обильным сливом компромата и мочением конкурентов явила настоящую «икону» российских выборов как таковых.

Нижеследующие очерки посвящены прошедшим выборам, их результатам и первым шагам нового Патриарха. Первый очерк написан еще до Архиерейского и Поместного соборов, остальные после. Впервые в сокращенном виде бóльшая часть этих заметок была опубликована в интернете на ресурсах civitas.ru, baznica info, credo ru и АПН.

I. Патриарх эпохи постмодерна

Итак, предвыборная «страстная» подходит к концу. Копья ломаются, главным образом, вокруг имени нынешнего местоблюстителя. Митрополит Кирилл — безусловная медийная звезда, рядом с которой другие иерархи выглядят бледно. Однако словосочетание «патриарх Кирилл» режет слух большинства нормальных церковных людей. А «модернизация православия», о которой говорят в связи с именем местоблюстителя, вызывает ощущение паники. Впрочем, что такое «нормальный церковный человек»? Эта темная трясина, завороженная реминисценциями тысячелетнего византизма, — сама по себе большой и безнадежный вопрос.

Владимир МОЖЕГОВ — родился в 1968 г. в Воркуте, окончил Академию кино и телевидения в Санкт-Петербурге. Публиковал работы на религиозно-философские, культурологические, историософские темы в «Московских новостях», «Литературной газете», «НГ-религиях», в «Русском журнале», журнале «Политический класс», «АПН», обозрении «Радонеж», альманахе «Илья» и др. В «Континенте» публикуется с 2007 г. Живет в Волоколамске.

Есть, однако, нечто, очевидное всем. Прочных ассоциаций митрополита Кирилла с Михаилом Горбачевым и его перестройкой не может избежать даже такой яррстный апологет местоблюстителя, как Андрей Кураев. Ассоциации прочные, отношения двойственные. Вспомнишь безнадежный синедрион переживших свой век и потихоньку сходящих в могилу старцев ЦК и моложавого, амбициозного генсека, обещающего запустить процесс, и задумаешься. На́чать и угл́убить было конечно необходимо, но уж слишком слабо (как типично кухонный интеллигент) наш прошлый «кризисный менеджер» представлял себе — как и куда (*как бы хорошо через пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали различные мелкие товары, нужные для крестьян*)... И главное — на какую глубину все прогнило. Процесс, конечно, пошел, а в какую сторону, — реальность подсказывала Чернобылем...

Туда и обратно

В конце 2005 года на богословской конференции РПЦ, посвященной (что символично) эсхатологии, я тоже был очарован митрополитом Кириллом. На фоне старорежимных старцев моложавый архиерей смотрелся ярко и стильно, говорил осмысленно и убедительно. Говорил, главным образом, о «выходе церкви из гетто» и необходимости защиты традиционных духовных ценностей от «духа глобализма». Вскоре эти идеи оформились в декларацию «О правах и достоинстве человека», в которой действительно много было и о правах, и о достоинстве, и о человеке. Немножко, правда, все это подвисало в какой-то пустоте. И вообще, обертоны «симфонии церкви и государства» в риторике митрополита Кирилла звучали уверенней. Заметна была и тенденция: чем в более официальные рамки облекались эти идеи, тем большим облаком дипломатического тумана они покрывались. Наконец, в принятых на Архиерейском соборе 2008 года «Основах учения РПЦ о достоинстве, свободе и правах человека», в которые они окончательно вылились, в лучах симфонии и торжественном гимне нерушимой смычки церкви и государства утонули и достоинство, и права, и свобода, и сам человек.

Свита играет короля

Со времени той памятной богословской конференции я старался внимательно следить за восхождением митрополита Кирилла: тесные сношения с внешнеполитическим ведомством Сергея Лаврова... Саммит религиозных лидеров в Москве (ставший главной причиной взрыва епископа Диомида)... Благословение «Русской доктрины» и презентация «Православной цивилизации» прот. Всеволода Чаплина... Зачистка медийного пространства и суд над журналистом «МК», доктором исторических наук, агиографом церкви Сергеем Бычковым... Раскол в Сурожской общине, большую роль в котором сыграл еще один выдвиженец митрополита Кирилла — епископ Венский Илларион.

Нельзя обойти вниманием и удивительного Кирилла Фролова, лидера движения «политических православных», ответственного за уличную политику

ОВЦС. (Именно он, приведя «Наших» к Храму Христа Спасителя, вывел ситуацию на Архиерейском соборе, низвергнувшем Диомида, за границы здравого смысла. А во время празднования 1020-летия крещения Руси в Киеве был со скандалом выдворен с территории Украины за то, что в центре Киева срывал плакаты с изображением Вселенского патриарха Варфоломея)[1].

Так, менее чем за четыре года команде митрополита Кирилла удалось перессориться со всеми православными церквями, чуть не потерять Украинскую церковь и поставить на грань внутреннего раскола саму РПЦ. И если бы не действия патриарха Алексия II, успевшего перед своей кончиной съездить в Киев и на Фанар, встретиться с патриархом Варфоломеем и другими православными патриархами, возможно, сегодня для РПЦ была бы потеряна и Украина, и отношения с мировым православием зашли бы в окончательный тупик.

Власть кольца

Фундаменталисты бросают местоблюстителю обвинения в экуменизме и ереси. Думается, что все это более-менее чушь. Думается, что и о. Андрей Кураев, когда он сравнивает митрополита Кирилла с Горбачевым, оттеняя последним интеллект первого, несколько перегибает палку. Способности «кризисного менеджера-2» налицо, но ум этот, легко берущий на вооружение последнюю модную теорию и летящий над водной гладью истории бодрой водомеркой, — ум не философа, но политика. Политика — прежде всего.

И католики, если таковые ведутся на «экуменические симпатии» нынешнего местоблюстителя, будут, думаю, разочарованы. «*Соединение Церквей не создают, но обнаруживают*», заметил как-то Карл Барт. Что же обнаружит «гордый взгляд иноплеменный» при новом вожде «политического православия»? Политику, одну только политику, и ничего кроме политики. Ни любви, ни дружбы, ни боли за разделенных братьев.

Итак, кто же он, митрополит Кирилл? Умелый политик, талантливый софист, владеющий дискурсом всех политических тусовок и партий, способный отстаивать любые взгляды и идеалы, умеющий обаять любую аудиторию, но в решающий момент — полыхнуть черным бриллиантом ярости, сметя с дороги всякого, кто посмеет встать на его пути (что так ярко показала история с епископом Диомидом). Кажется, это качество обнажает и главную его черту.

Желание власти само по себе еще не есть зло. Существует особый талант и особые интуиции власти. Существует и особая харизма лидера, требующая власти как возможности своей реализации. Нравственная дилемма возникает тогда, когда встает вопрос: *ради чего*? И, увы, очень часто на этих весах перевешивает человеческое «я». Искушение власти оказывается слишком сильным для немощной человеческой природы.

Говорят, гении и злодеи лепятся из одного материала. Патриарх Кирилл — не великий гений и не великий злодей. Но, конечно, ему тоже было предложено

[1] Подробнее обо всех этих событиях см. *Можегов В.* Диомидиада. Анатомия раскола. — «Континент», № 137.

это искушение. И, наверное, этот человек, обладающий несомненной харизмой лидера, действительно был призван Провидением для важного церковного дела. Но, как это часто бывает, искушение властью пересилило. (В этом смысле владыка — типичный «падший гений», явление очень характерное для Руси, где самым ярким из примеров такого рода служит Иван Грозный).

И, конечно, митрополит Кирилл не случаен. Нельзя не видеть, что этот зачарованный холодной звездой своего величия, беззаветно влюбленный в свою «роль в истории» церковный вождь совершенно адекватен нашему времени. Нельзя не заметить, как идеально описывает он постмодернистскую парадигму современного нам «общества спектакля», с его тотальной властью масс-медиа. И как, в то же время, закономерно закругляет он эпоху столетней трагической истории Русской Церкви со всеми ее голгофами, отречениями, искушениями, служением антихристам-большевикам и мамоне.

И если попытаться описать его образ (именно образ, ибо сердце человека глубоко и его мы не вправе судить) одним словом, то, наверное, лучшим окажется не «экуменизм» и не «ересь», а очень хорошее православное слово *прелесть*. Да, *прелесть*, как она есть.

Человеческое, где же человеческое?

Что же ждет Церковь при патриархе Кирилле? Один из «молодых технократов», певцов нашей «консервативной революции», заметил недавно, что если нельзя избрать в патриархи архимандрита Тихона Шевкунова, — остается митрополит Кирилл. Это замечание хорошо отражает и настроения нашей церковной среды и ситуацию в целом.

Действительно, архимандрит Тихон и митрополит Кирилл — две самые яркие фигуры нашего церковного постмодерна, но общего между ними не слишком много. Идеал первого — православная сталинократия (духовно близкая радикальному большевизму Диомида), идеал другого — церковь как успешный торговый бренд, политический проект, конкурентоспособный на внешнем рынке. Один яростной проповедью «грядущей Византии» окучивает сегодня силовые ведомства и ФСБ, другой светом амбивалентного умеренно-олигархического консерватизма озаряет генеральную линию партии.

Последние двадцать лет две эти современные церковные ипостаси тихо разлагали друг друга под мягкой властью патриарха Алексия II. Нынешний харизматичный лидер неизбежно станет катализатором всех процессов. Таким же, каким в свое время стал Горбачев в масштабах целой страны.

Конечно, не вовсе буквально. Горби был великой «птицей Говорун», и все же он был идеалист. Он искренне верил в себя и был, при том, мягок и человечен, и тем — симпатичен. Олицетворение социализма с человеческим лицом — таким мы помним лучшего Горби. Его ли вина, что в лице русского социализма (насквозь мечтательно-инфернальном) ничего человеческого в итоге не оказалось? И, конечно, не этому кремлевскому мечтателю было справиться с теми полчищами русских бесов, которых он так легкомысленно вызвал.

Митрополит Кирилл, прежде всего, жесткий прагматик, исполненный волей к власти и не идеалист вовсе. Но хватит ли его воли и обаяния, что-

бы справиться с легионами матерых тысячелетних православных бесов, которых его жажда преобразований неизбежно поднимет из глубокой мутной трясины нашего религиозного сознания?[2]

Владыка Кирилл слишком амбивалентен, и это самое слабое его место. Люди, хоть в чем-то до конца уверенные, всегда будут на поле веры его переигрывать.

Но, пожалуй, единственное, о чем можно говорить наверняка, — скучным это патриаршество точно не будет.

Ангел вострубил

Ну, а все-таки? Каким мог бы быть человек, способный вывести Русскую Церковь из ее сегодняшнего системного кризиса, не допустив раскола? Имена «спасителей Церкви» называют сегодня самые экзотические (вплоть до того же архимандрита Тихона Шевкунова и даже дьякона Андрея Кураева). Лично мне видится на месте патриарха спокойный, уравновешенный, просвещенный консерватор, хорошо (но не скандально) известный, уважаемый и фундаменталистами и либералами, занятый не политикой, а серьезной социальной работой, и, главное, способный повернуть Церковь лицом к народу.

Увы, такого человека сегодня не видно. И выбор, по существу, лежит, условно говоря, между безликим (и многоликим) Черненко (то есть той же агонией, лишь отодвинутой на несколько лет) и катастрофичным Горбачевым. Так что ангел, видимо, все-таки вострубил, и значит, перед нашими глазами открывается сегодня самая интересная, волнительная и поучительная страница истории Русской Церкви (да и русской истории в целом). И, наверное, мы ее заслужили.

II. По следам православного нигилизма

Послесловие к собору или еще раз в защиту этики

Два месяца между кончиной предшествующего и выборами нового патриарха, наполненных кипением страстей, основательно взбаламутили Русскую Церковь. Не утихли страсти и по окончании Собора. Бурное ликование победителей сменилось горячими призывами к «охоте на ведьм» и рассуждениями о «неизбежности репрессий». И сегодня Русская Церковь продолжает пребывать в состоянии неясного томления и предчувствии больших перемен.

Столетний дождь

Рискну сказать, что судьба нашей Церкви в последние 20–30 лет очень напоминает судьбу дореволюционной интеллигенции. Как в 70–80-х годах XIX века жажда нравственных преобразований вела русскую интеллиген-

[2] Вот, пожалуйста, не успели отгрохотать бури Собора, как епископ Пермский и Соликамский Иринарх выступил с открытым письмом против толерантности (и преподавания ее в школах) как страшной западной заразы.

цию в революцию, так же точно в 70–80-е годы XX века из удушающей атмосферы позднего застоя, а позже — из постсоветского хаоса приходили (и в большинстве своем — именно интеллигенты) в Церковь. В то время в трагедии сергианства и бюрократические перипетии имперского «ведомства православного исповедания» вникали мало. В сознании большинства неофитов Церковь представлялась чем-то нездешним, овеянная романтическим ореолом гонений и мученичества. Но уже 90-е были напоены «борьбой за Церковь» — борьбой, порой крайне ожесточенной (вспомнить хотя бы, как казаки Тихона Шевкунова изгоняли общину кочетковцев из Сретенского монастыря). Это было время разгула черносотенных братств, пиратской вольницы и мутных апокалипсических пророчеств. В 2000-е нечесаные фанатики и акулы-бизнесмены уступили место вальяжным бюрократам, а на церковном лике все ярче стали проступать родимые пятна традиционной «симфонии». Наконец, в середине 2000-х новый пассионарный толчок выплеснул наружу юную плеяду «консервативных революционеров», молодую гвардию «политправославных миссионеров», на чьих «штыках» и пришел к власти патриарх Кирилл.

И здесь уместно вспомнить то, что писал о трагедии русской интеллигенции Георгий Федотов: «*1907-8 — годы крушения первой русской революции и исчезновения интеллигенции как духовного образования. В течение столетия, точнее, с 30-х годов, русская интеллигенция жила, как в Вавилонской печи, охраняемая Христом, в накаленной атмосфере нравственного подвижничества. В жертву морали она принесла все: религию, искусство, культуру, государство и, наконец, и самую мораль*»... Как русская литература «(*быть может, единственная христианская литература нового времени*») *кончается с Чеховым и декадентами, так интеллигенция кончается с Лениным. Грех интеллигенции в том, что она поместила весь свой нравственный капитал в политику, поставила все на карту, в азартной игре, и проиграла. Грех не в политике, конечно, а в вампиризме политики, который столь же опасен, как вампиризм эстетики или любой ограниченной сферы ценностей. Политика есть прикладная этика. Когда она потребовала для себя суверенитета и объявила войну самой этике, которая произвела ее на свет, все было кончено. Политика стала практическим делом, а этика умерла, была сброшена, как змеиная шкурка, никому не нужная*»[3].

Кажется, нечто подобное произошло и в сознании нашего новейшего «церковного призыва», что особенно зримо явили события прошедшего Собора.

Религия против этики

Федотов писал свою статью в 1940 году в Париже, в момент современного ему «церковного возрождения» и нравственного кризиса эмигрантской среды, накануне великой войны. Стоит оценить актуальность парадоксальных, на первый взгляд, выводов философа: *в борьбе с обезбоженной моралью русская православная мысль попыталась создать религию без мора-*

[3] *Федотов Г.* В защиту этики.

ли. Или такой: в планах нашего церковного строительства *этике места не предусмотрено.*

В чем же причины этого странного казуса? Федотов видит их в «генетическом коде» православия. Дело в том, что в сердце православной жизни традиционно лежат *молитва и таинство.* На все вопросы: *как жить?* и *что делать?* — церковному человеку отвечают устав и аскетика. Но между аскетикой и этикой имеется кардинальное отличие. В сфере аскетики (где главным является послушание и ежедневное усилие) почти не остается места для выбора и поступка. И при выходе в мир эта система отказывается работать. Вот как об этом пишет Федотов: «*В нравственных конфликтах от личности требуется высшая степень объективности: забыть о себе, даже о своем духовном благе, чтобы выполнить то веление правды, с которым Бог обращается к ней. Аскет не привык к такой "внешней" установке, она кажется ему слишком "мирской". Святой (который уже выше аскетики), конечно, найдет выход во всяком жизненном конфликте. Но средний монах скорее запутается в них. Большинство из нас не монахи, а люди мира. Но* ***привычка смотреть на конфликты мира глазами аскета убивает их нравственное значение*** (подчеркнуто мною. — *В. М.*). *Существует тенденция уклониться от решения, уйти в тот внутренний мир, где все заранее решено. Внешние поступки признаются заранее малоценными. Там, где аскетика оставляет без помощи, там вступает в свои права жизненная рутина, т. е. рабствование законам мира. Как о Пушкинском поэте, о современном христианине можно сказать:*

И средь детей ничтожных мира
Быть может всех ничтожней он.

С той только разницей, что для него нет оправдания, как для поэта в творчестве. В своей религиозной жизни он питается чужими вдохновениями, и единственную доступную для него сферу свободы и творчества — в нравственной жизни — он игнорирует, обходит, предоставляет язычникам.

В этом ключ ко многим слабостям и неудачам нашего церковного возрождения. Здесь объяснение нашей немощи, какой-то бесхребетности, которая поражает при сравнении с активностью злых сил нашей эпохи. Даже христианская молодежь, воспитанная нами, отличается бессилием в исповедничестве, в проповеди, в защите христианства. Что же говорить о старших «умудренных» или утомленных жизнью. Дух компромисса, — оцерковленный, он называется, как известно, «икономией», — надо всем господствует. За отсутствием привычной власти мы ищем опоры в «общественном мнении», в политических силах, если не в партиях, на каждом шагу предавая наше «свидетельство» ради национального, политического и бытового консерватизма. Живя в обстановке безмерной свободы, мы отказываемся ею пользоваться. Вместо того, чтобы вести сильных, будить спящих, звать к покаянию и новой жизни, мы идем с ними, стараясь не отставать,— к общей яме.

Какие перспективы для будущего? Какие надежды на сопротивление еще неведомой, но, наверное, тоталитарно устремленной власти, которая потребует в рабство себе всего человека?»

Опасения Федотова оказались пророческими. Известно, как много, в том числе религиозно убежденных эмигрантов, с началом войны пошли вслед за Гитлером. А к процитированному остается добавить лишь тысячелетнее иждивенчество в железных объятиях «симфонии», выработавшее особый характер нашего духовенства, полный раболепия и сервильности («запуганным сословием» называл послепетровское духовенство Г. Флоровский). Вспомним, как в «Дубровском» у Пушкина деревенские священники бегут от назревающей смуты, прикрывая свое бегство словами: *удались от зла и сотвори благо... Не твоя беда, чем бы дело ни кончилось,..* — яркая сценка, показывающая, откуда растут и лицемерие, царящее в церковной среде, и та пропасть, что лежит между храмом и живой жизнью.

Но стоит лишь, почувствовав за спиной мощь государства, шагнуть за церковную ограду, и... переступить через этику оказывается так же просто. Только честь и достоинство во внешем мире легко заменят спесивая надменность, гордость своей «миссией» и наглый напор (с вечной подозрительностью и поиском врагов там, где надо лишь набраться мужества и посмотреть на мир честно и прямо).

Хорошо помню, как в начале 90-х, находясь в глубоком внутреннем кризисе, подойдя к дверям храма и прочитав вывешенные на входе «вопросы готовящимся к исповеди», я был поражен полным несоответствием той драмы, которую переживала моя душа, и этим нескончаемым реестром: *не курил ли? не пил ли? не оставлял ли молитвенного правила?* Вряд ли можно надежнее угасить дух человека, сердце которого потревожено Христом, чем, прилежно последовав этому указателю.

И вот результат: стоящие в наших храмах — сплошь погасшие светильники с наскоро наброшенными на глубоких сердечных ранах и душевных расколах покрывалами компромиссов, а вокруг — толпы «духовных графоманов», потерпевших фиаско в аскетическом подвиге, но преисполненных амбициями, — те, из кого и рекрутируются армии церковных нигилистов. В зависимости от темперамента и развития, они выбирают сегодня один из двух станов наших церковных лагерей, условно говоря, «фундаменталистский» и «миссионерский». Первый, более брутальный, питающийся больше страхом и подменяющий этику уставом, а живую жизнь апокрифическим «преданием» (вроде жидомасонского заговора, царебожия и проч.), и второй, более рафинированный, находящий себе оправдание в «служении Церкви» и спокойно переступающий через этику, как досадную преграду на пути к «высшей цели» (которая, как известно, оправдывает средства)[4].

---

[4] Достоевский устами своего «подпольного человека» довольно едко высмеял этот «синдром деятельного человека»: «*Все непосредственные люди и деятели потому и деятельны, что они тупы и ограниченны... они вследствие своей ограниченности ближайшие и второстепенные причины за первоначальные принимают, таким образом скорее и легче других убеждаются, что непреложное основание своему делу нашли, ну и успокаиваются. А ведь это главное. Ведь чтобы начать действовать, нужно быть совершенно успокоенным предварительно и чтоб сомнений уже никаких не оставалось. Ну а как я, например, себя успокою? Где у меня первоначальные причины, на которые я упрусь, где основания? Откуда я их возьму? Я упражняюсь в мышлении, а*

Главной же и общей чертой обоих лагерей является отрицание «всего, что не мы». В этой роковой для нас черте сказывается, как замечает Федотов, *«безудержность русской натуры, плохо воспитанной, не привыкшей к сложности жизни и не умеющей зараз держать в уме более одной мысли»*.

Крах на биржах

Беспрецедентной схваткой духа «воинствующего имморализма» с духом «тотального компромисса» и стали прошедшие выборы. Вспомним лишь несколько самых характерных и ярких их эпизодов.

В самый разгар предвыборной кампании бывший шеф налоговой службы А. Починок помянул на «Эхе Москвы» давний «табачно-водочный скандал». Починок высказался в том духе, что водкой и табаком (а также «мерседесами» под видом машин скорой помощи) церковное начальство, конечно, торговало (*«все, кто входит в состав священного синода, так или иначе участвовали в делах 1990-х годов. Это жизнь...»*), но от называния конкретных имен постарался уклониться (*избави Бог вмешиваться в церковные дела*)...

Имя митрополита Климента (бывшего в то время заместителем главы ОВЦС и председателем штаба по гуманитарной помощи) из уст чиновника все-таки прозвучало... И было тут же подхвачено имиджмейкерами митрополита Кирилла как доказательство полной реабилитации последнего. Причем Кирилл Фролов с энтузиазмом размазывал по стенке владыку Климента, а дьякон Андрей Кураев заметил, что, вообще-то говоря, такие вещи без благословения свыше не делаются: «*Его* (митрополита Кирилла. — *В. М.*) *имя постоянно поминают в связи с "табачным скандалом". Но разве его подпись стоит под соответствующими обращениями во властные органы? Думаю, что это была та ситуация, когда митрополит по-монашески взял на себя чужую ответственность, чтобы не подставлять под удар критики того, чье имя в общественном мнении тождественно имени всей Церкви*»[5].

следственно, у меня всякая первоначальная причина тотчас же тащит за собою другую, еще первоначальнее, и так далее в бесконечность А попробуй увлекись своим чувством слепо, без рассуждений, без первоначальной причины, отгоняя сознание хоть на это время; возненавидь или полюби, чтоб только не сидеть сложа руки. Послезавтра, это уж самый поздний срок, самого себя презирать начнешь за то, что самого себя зазнамо надул. В результате: мыльный пузырь и инерция».

[5] *«Я помню обращение патриарха Всея Руси в середине 1996 года... когда он действительно писал, что церковь резко увеличилась <...> у нее не было совершенно средств, и самый простой вариант — попросить квоты на подакцизные товары. И тогда правительство пошло на это... Было сначала официальное обращение патриарха... Председателем штаба по гуманитарной помощи тогда был Климент... Он участвовал в создании АКБ «Пересвет», коммерческого банка. Мы с ним, честно говоря, серьезно воевали. Была тогда веселая история с водой «Святой источник», замечательная безналоговая водичка, и мы с ней два года боролись, пока не победили... Потом была комиссия патриархии по гуманитарной помощи... и ею опять командовал Климент. И он же входил в состав правительственной комиссии по гуманитарной помощи как глава штаба РПЦ по этой гуманитарной помощи. <...> Схемы были*

Так обнаружилась главная тенденция всей кампании: поднимать котировки претендента номер один, не щадя ни конкурентов, ни репутации почившего патриарха, а пусть бы даже и всей Церкви. Что и вылилось, в итоге, в ту тотальную «игру на понижение», которая так изумила и оскорбила все церковное общество. В многочисленных статьях с патриаршего сана срывались одна за другой все мистические ризы. Утверждалось, что патриарх не должен быть ни символом святости, ни гарантом истины (католическая ересь!), ни молитвенником, а если и мистиком, то исключительно *«в придворно-византийском смысле этого слова — "тайным советником" императора, "сокровенным переговорщиком"»*[6]. А в конце концов, — просто чиновником, администратором, одним из двух сотен таких же серых бюрократов, но, в отличие от них, — менеджером *успешным и эффективным*.

Ударную пиар-кампанию (на всех ведущих ТВ-каналах и печатных СМИ звучало только имя митрополита Кирилла) поддерживали недвусмысленные внушения. На предсоборном заседании Святейший Синод пригрозил сторонникам митрополита Климента санкциями (показал «желтую карточку», как изящно выразился о. Андрей Кураев). А съехавшимся на Собор архиереям совершить правильный выбор призвана была помочь когорта хунвейбинов-«нашистов», свезенных на пяти автобусах к храму Христа Спасителя и скандирующих лозунги в поддержку митрополита Кирилла.

Уже после голосования Архиерейского собора, все еще страшась «епископского бунта», заранее объявили *клятвопреступниками* (почему не *мыслепреступниками*?) всех, кто станет на Поместном соборе голосовать не так,

---

простыми. Посылаем под видом гуманитарной помощи то, что бедные люди особо не потребляют... шли и подакцизные товары, и табак, и алкоголь, шли Мерседесы... Посылают, говорят, санитарный автомобиль, — что это такое. 600-й Мерседес, а нем наклеен изолентой такой красный крест. Потом он отрывается, и все в порядке...

...три раза, вдумайтесь, три раза пришлось реформировать правительственную комиссию по гуманитарной помощи, пока не был наведен порядок... Я помню, что зачеты в стране остановились только после издания приказа... по-моему, в январе 1999 года... А до этого момента схемы существовали.

...льгота всегда приводит к страшным последствиям Алексий построил храмов больше, чем любой патриарх за всю нашу историю. Церковь действительно стала мощной... Но, естественно, на содержание такой махины нужны огромные средства. И самый простой вариант, который приходит в голову, — дадим льготы, и пусть сами крутятся. Но вокруг каждой льготы возникает куча прилипал-посредников... кто знает, сколько тогда реально этих подакцизных товаров ввезли. По моим прикидкам, только по каналу, связанному с церковью, в страну в то время приходило процентов 10 табака...

Церковь... получила, допустим, миллионы долларов, а вокруг исчезли десятки... Это всегда идет лавина фирмочек вокруг, которые ввозят, машут одной и той же декларацией, и так далее... никакой электронной системы учета деклараций не было. Компьютеров не было. И по одной и той же декларации товар ввозился по сотню раз».

(*Починок А.* Табачные акцизы: как это было. — «Эхо Москвы», 21 января 2009 г.)

[6] *Кураев А., дьякон.* «Патриарх Кирилл» — пора привыкать?

как было договорено: «*Вопрос в том, сколько клятвопреступников будет на Поместном соборе. Ибо многие делегаты от клира, монахов и мирян, конечно, обещали своим епископам, что будут голосовать по их указке. А вот исполнят ли они свое обещание — баааальшой вопрос*» (о. Андрей Кураев).

Остается добавить, что ведущие оппозиционные сайты на время проведения Собора были во избежание эксцессов профессионально обрушены, всякие дискуссии на самом Соборе (прошедшем, как говорили, «в режиме блиц-криг») задушены в зародыше, а вместе с ними — дух церковной свободы, мира и единства.

Новое платье короля

Результаты Собора оказались одновременно блестящи и сокрушительны. «Миссионерская партия» победила, но какой ценой? Ценой уничтожения последних ростков церковной демократии, дискредитации церковной власти и (что, может быть, самое печальное) патриаршего сана, уважение к которому в церковном народе упало до отметки «менеджер».

При этом церковный мир оказался фактически расколот на два враждующих лагеря. В этой ситуации десакрализация, развенчание, «расколдовывание» патриаршего сана может иметь особенно опасные последствия. Ведь до сих пор лишь его «царское сияние» и положение Алексия «над схваткой» помогало сохранять мир. (Произошедшее было, конечно, неизбежно: ведь и сама пресловутая «святость сана» до сих пор держалась лишь на романтических иллюзиях, которым, как видно, пришло время окончательно развеяться.)

Однако в печальной памяти 1993-м, возможно, лишь символическая роль патриарха как примирителя враждующих лагерей помогла избежать полномасштабной гражданской войны. Никакой политической силы у патриарха, конечно, не было, и прибегли к нему как к последнему средству, ни на что, в общем, особо не надеясь. Да и трагедии избежать все равно не удалось. И все же тем, что все обошлось относительно малой кровью, страна обязана и этому белому клобуку, на миг мелькнувшему меж лагерями готовых броситься друг на друга врагов. Что-то, видимо, сработало на генетическом (мистическом?) уровне: патриарха в глубине души устыдились.

Но... балансирующую на грани раскола страну в силах был сдержать патриарх — символ святости. А может ли насквозь мифическое (я бы даже сказал, метафорическое) самосознание нашего народа дать себя увлечь образу «патриарха-менеджера»? Намекают на способность святейшего Кирилла заговорить «марш пустых кастрюль», если ситуация вдруг начнет выходить из-под контроля. Но если за разговорами о «миссии» и «социальном служении» так ничего, кроме пиара и «технологий», не обнаружится, с популярностью очередного нашего «эффективного менеджера» произойдет то же, что в свое время произошло с популярностью Горбачева и Ельцина. И никакие медиа-технологии уже не помогут.

В свое время Борис Годунов, чтобы дотянуться до царского трона, сделал последней ступенью к нему учреждение патриаршества на Руси, посадив на церковный престол своего ставленника Иова. Спустя четыреста лет

наши искусные политтехнологи путем медийных спекуляций плавно опустили котировку достоинства патриаршего сана до той ступени, чтобы на него смог взойти «патриарх-менеджер». Не так ли замыкается круг? И не эту ли роль — завершителя «константиновской парадигмы» в истории Русской Церкви — суждено сыграть нынешнему патриарху?

Апофеоз беспочвенности

Остановимся еще немного на корнях болезней, изнутри разлагающих нашу Церковь. В своей работе «Православный нигилизм или православная культура?» Федотов пишет:

«*Полезно вдуматься в трагедию древней Руси, ибо в ней заложены отдаленные корни русского нигилизма Православная Русь получила из Греции неповрежденную чистоту веры и сохранила ее. В своей духовной жизни она явила миру высокий образец христианского подвижничествоа, еще не вполне уясненного для нас самих. В своем религиозном искусстве она обнаружила несомненную гениальность. Она сумела создать могучее государство, о которое разбились враждебные волны и с Запада и с Востока. Одного не имела Русь: культуры, мысли. В этой области она не пожелала учиться у греков, не подняла факел, брошенный погибшей Византией, и осталась в младенческой поре сознания. Она забыла слова апостола: "Не будьте младенцами по уму". В результате, когда столкнувшись с "умом" в лице Запада, Русь оказалась перед ним безоружной. Неизбежный для ее существования процесс усвоения западной техники для варварских и простых (не в добром смысле) умов превратился в духовное рабство и отречение от своей традиции*».

Не то же повторилось и в 60-х? — спрашивает Федотов, показывая, как недостаток духовной культуры привел к расцвету нигилизма в России. «*Жалки были враги (не выше коммунистических идеологов), но и перед ними не устояли*». Но ведь то же самое (в поистине катастрофических масштабах) повторилось и в начале XX века, и в его конце, когда пережившие свой век партийные геронтократы были сметены молодым напором жадной и не отягощенной «комплексами» комсы.

Не то ли самое мы видим и в процессах, будоражащих Русскую Церковь сегодня? В том, культивируемом новыми «православными нигилистами» повальном упростительстве, которую Федотов назвал «*злокачественной болезнью, каким-то раком, разъедающим некогда цветущий и богатый организм русской культуры*», которая «в *условиях революционной катастрофы, истребления культурного слоя в России грозит вообще культурным срывом России, превращением ее в безбрежное и серое,— допустим, православное и демократическое, — Пошехонье*».

Бездумно копируя сегодня западную мысль (разговоры о «православной цивилизации» — подражание Хантингтону) и католические идеи (нам нужен наш молодежный «Опус Деи», как говорят сегодня идеологи «кирилловской партии»), вожди нашего очередного «православного возрождения» упускают главное — *этическую составляющую* западной мысли. Ведь католики (на своих путях тоже, конечно, не избежавшие катастрофических срывов) исторически занимались все же *реальной* миссией и *реальным* со-

циальным служением, — вспомним хотя бы историю знаменитого московского доктора Гааза.

Наша же епископская партия еще со времен татарского ига заняла крайне двусмысленную позицию по отношению к своему народу. С укреплением Москвы татарская ориентация сменилась на московскую, отношение же к народу почти не менялось (редкие светлые образы вроде св. Сергия Радонежского и митрополита Филиппа были лишь светом во тьме, который та не могла объять). Наконец, в начале XX века, оправдав расстрел крестного хода рабочих к царю 9 января 1905 года, Святейший Синод подвел итоговую черту как русской империи, так и «ведомству православного исповедания» при ней, засвидетельствовав полное моральное банкротство[7].

Социальной революции оставалось лишь смести пустую оболочку. А в 30-е, отрекшись от мучеников — епископов, священников и мирян, тысячами уничтожаемых ОГПУ, оклеветав лидеров мирового христианства, сергианская верхушка вообще поставила себя вне Церкви.

И сегодня, отвечая на католическую «мистику папства» православной «мистикой государства» (пресловутая «Русская доктрина»), а на западное миссионерство — «атомным православием» («проповедью», подкрепленной ядерными боеголовками), действуя по принципу «цель оправдывает средства», деятели новейшего «политправославия» продолжают все ту же безоглядную игру. К чему это приведет? К строительству под торговым брендом «Православие» империи новой грандиозной духовной подмены? Или к новой социальной революции, сметающей очередную «мерзость запустения» на святом месте?

Пузыри земли

В заключение еще раз вернемся к началу нашей «молодежной революции». На рубеже 80-х именно молодежи удалось создать, возможно, самое яркое и честное явление культуры конца XX века. Явление это, носившее, может быть, не слишком удачное, но весьма символичное название «русский рок», для многих и многих, задыхающихся в системе тотальной лжи и всеобщего фарисейства, стало глотком свежего воздуха, островом спасения, маленькой церковью (*«и больше нет ничего, все находится в нас»*) и дверью в христианство. Судьба «молодежной революции» оказалась традиционно

---

[7] Василий Розанов в своей книге «В темных религиозных лучах» приводит речь казанского епископа, произнесенную всего через две недели после побоища 9 января. Вот один из самых ярких ее отрывков: «*Не довольствуясь оскорблением царского имени путем устного и печатного слова, путем лжи и клеветничества, душегубы-революционеры не убоялись поднять бунт против Царя и правительства мирных тружеников — рабочих людей, сознательно обмануть, подкупить, насильственно оторвать их от честного труда и подставить эти невинные жертвы под выстрелы военной силы, которая призвана, которая должна была рассеять мятежную толпу*».

У Розанова речь эта вызывает следующий горестный вопль: «*Она — незабываемый памятник "Истории русской церкви" и пусть в качестве такового украшает ее могилу,— уже не далекую могилу!*

печальна. Сначала окученный и приручeнный КГБ, потом развращенный признанием и мамоной, русский рок кончился как явление с концом Перестройки.

Осмысление очередного русского крушения вновь заставляет вспомнить (слегка перефразировав) печальный вывод Федотова: в жертву морали (а, вернее, яростной искренности) новые рок-революционеры принесли все: религию, искусство, культуру и, наконец, и самую искренность.

И сегодняшняя суета новых политтехнологов, «православной комсы» вокруг неформальной молодежи и молодой генерации рокеров — того, что от этого явления осталось (ни дать ни взять Голиаф, пытающийся «миссионерствовать» Давида), — кажется лишь ярким символом, замыкающим очередной круг русской трагедии (поистине, *русского рока*!) приручением и «удушением в объятиях» последних ростков правды, чести, любви, выстраданных тем поколением. (В том же ряду — разговоры о введении «православной культуры» и необходимости «нравственного возрождения», исходящие от людей, которых гораздо легче представить себе хватающимися при слове «культура» за пистолет.)

И вновь слова философа кажутся пророческими: «*И теперь — трагедия нашего времени. Поколение, своими исканиями, болью, грехом и покаянием выведшее русскую мысль на дорогу православной культуры, с тревогой смотрит на будущее. Если светильник его после него окажется в руках православных нигилистов, что сулит завтрашний день? Сумеют ли они отстоять это сокровище, все значение которого им самим непонятно, от ударов врага?* ***Снова, в который раз, крепость православной культуры на Руси будет сдана без боя. За семинаристом ханжой идет семинарист-кощунник, не может не прийти, по закону исторического возмездия*** (подчеркнуто мною. — *В. М.*). *Доколе же будет продолжаться эта бессмысленная карусель? Всякому долготерпению есть конец — даже Господа Бога. «Бог волен из камней сих создать детей Аврааму». Индусы и китайцы придут и возлягут с Авраамом и московскими угодниками в то время, как на месте святой Руси будет расстилаться духовное болото*»[8].

Кажется, сегодня это духовное болото бурлит сильнее и причудливее, чем когда бы то ни было. Реалии нашего церковного постмодерна уже являют нам некое «новое христианство» с ликом орденоносного Брежнева и перманентным духом комсомольского активиста (вот, пожалуйста, телеканал «Союз» — «православный» аналог журнала «Корея»). И на что здесь можно надеяться? Что в наших увлеченных «политическим вампиризмом» православных комсомольцах вдруг заговорят сознание и совесть? Что «кончив Лениным», наши церковные вожди вдруг вспомнят о Христе? Или что возникнет сила, способная (пройдя между Сциллой и Харибдой «диамидовщины» и «политправославия») возглавить подлинное христианское возрождение?

Увы, как показывает история, религиозный человек являет наименьшую способность к покаянию и самосознанию. «*Бога любят святые и грешники. Религиозные люди Бога не любят и при случае распинают Его*»,

[8] *Федотов Г.* Православный нигилизм или православная культура?

как точно заметил прот. Александр Шмеман. Но в любом случае, нет у нас и другой надежды, кроме той, о которой он же говорил: *«Не пора ли нам вспомнить этот сердцевинный парадокс христианства — что побеждает в нем только крест, его непобедимая, непостижимая сила, его единственная красота, его дух захватывающая глубина. Не пришел Христос спасти нас ни силой, ни внешней победой, но заповедал нам, чтоб мы знали, какого мы духа, чтоб была в нас сила крестная...* ***Слабость христиан почти всегда в том, что они сами не верят в свое добро и, когда приходит час борьбы со злом, противопоставляют ему такое же зло, такую же ненависть, тот же страх****. Пора оправдать добро, и это значит — снова поверить в его силу, в его внутреннюю Божественную непобедимость. Пора миру, лежащему во зле, противопоставить не чудо, не авторитет, не хлеб, как в легенде о великом инквизиторе Достоевского, а тот ликующий облик добра, любви, надежды и веры, от отсутствия которого задыхается человечество. И только тогда, когда мы в самих себе оправдаем добро и поверим в него, начнем мы снова побеждать».*

III. Первая энциклика патриарха, или Торжество толерантности

Профилактика раскола

Проповедь патриарха Кирилла 8 марта в Неделю Торжества Православия в храме Христа Спасителя привлекла пристальное внимание и вызвала немало шума. Что и понятно. Если предыдущие выступления святейшего были так или иначе детерминированы предвыборной борьбой и официальным церемониалом, то эта речь стала, по сути, первой его живой реакцией на реальность уже в качестве полноправного патриарха РПЦ.

А реальность, что и говорить, не простая. Разница между положением в РПЦ в бытность патриарха Алексия и сегодняшним примерно та же, как между Российской империей накануне февральских событий 1917-го и после октябрьского переворота.

Если положение патриарха Алексия «над схваткой» и «сияние сана» более-менее обеспечивали мир враждующих церковных лагерей, то в лице владыки Кирилла к власти в РПЦ пришел яркий партийный лидер, к тому же «менеджер». Сами выборы (и вправду, больше похожие на византийский дворцовый переворот) подняли градус вражды до еще небывалой отметки. А грязи за время предвыборной гонки из партийных недр вылилось столько, что в ее потоках захлебнулась и без того малохольная «православная этика» (причем тон задавали именно «кирилловцы»).

Как поведут себя, придя к власти, «политправославные миссионеры» (из стана которых громко слышны призывы к расправе с «церковными несогласными»)? Как поведут себя проигравшие фундаменталисты, угрожающие расколом?

Опасности раскола в РПЦ и была, собственно, посвящена речь патриарха Кирилла в неделю Торжества Православия.

Немного об основах тоталитарной демократии

Конечно, сравнение праздничной проповеди новоизбранного патриарха с «папской энцикликой» достаточно условно. Первая энциклика папы Бенедикта (которую он готовил по меньшей мере год) представляет собой серьезный богословский труд. Речь святейшего слишком «на злобу дня», слишком импульсивна. И все же, если не по форме, то — по сути, сравнение оправдано. Поведение и слова двух лидеров христианского мира будут, конечно, сравнивать, — это хорошо понимает предстоятель Русской Церкви. Отсюда — подражание, желание выглядеть не хуже. Да и в целом, ревность патриарха Кирилла к папе Бенедикту (как и его попытки настроить жизнь РПЦ по католическому образцу) слишком заметна. А поскольку собственных традиций социальной активности Русская Церковь не имеет, то и вполне оправданы.

Пока, правда, получается, примерно то же, что с заимствованием европейской демократии. Новые «формы жизни» вводятся тоталитарными методами (да и наполняются все больше тоталитарным содержанием). В результате рождаются «пародии на демократию», вроде того же «политического» или «атомного» православия, «хамовнического богословия»[9] и т. п.) Ничего иного получиться и не может, поскольку, копируя формы, совершенно игнорируют основы, на которых они стоят, и прежде всего — законность.

Но начнем с приятного.

Добрый еретик, милосердный отступник

Первая энциклика папы Бенедикта XVI называлась «Бог есть любовь» и была посвящена любви во всех ее проявлениях. Неожиданное обилие слов «Христос» и «любовь» приятно удивляет и при первом чтении речи патриарха Кирилла (из уст наших иерархов куда привычней слышать о «вреде толерантности», «симфонии с властью» и прочем «экономическом богословии»). Здесь чувствуется несомненное влияние папы Бенедикта, и влияние благотворное.

В одной части речи предстоятеля РПЦ это особенно заметно. Патриарх вспоминает Ария, самого крупного в истории «православного еретика»: «*Он был проповедником, мудрецом, богословом. Его имя было чрезвычайно авторитетно в Константинополе... было много людей, готовых пойти за Ария на смерть.*

И еще нужно помнить, размышляя на тему ереси и разделения, что основные еретические движения древности были связаны с попытками оградить православие, сохранить его чистоту, дать людям более ясное понимание догматов. Арию казалось необходимым приблизить понимание Воплощения к менталитету, знаниям, мироощущениям тогдашних людей... Арий был движим добрыми намерениями защитить веру, как он себе ее представлял».

---

[9] Эвфемизм «Хамовническое богословие» («православный» аналог «Басманного правосудия») обязан своему появлению тем же политправославным активистам, пообещавшим в ходе развернувшейся в ЖЖ дискуссии сдать своих оппонентов в Хамовническое РУВД, где им на доступном языке объяснили бы суть их богословских заблуждений.

Это будто калька с энциклики папы Бенедикта, который говорил, правда, о Юлиане Отступнике, но также поминал того добрым словом: «*Шестилетним ребенком Юлиан был свидетелем убийства своего отца, брата и других родных гвардейцами имперского дворца; он обвинил в этом зверском поступке — правильно или ошибочно — императора Констанция, выдававшего себя за великого христианина. Вследствие этого он раз и навсегда утратил доверие к христианской вере. Став императором, Юлиан решил восстановить язычество, древнюю римскую религию, одновременно реформировав ее так, чтобы она действительно могла стать движущей силой империи.*

Осуществляя эту задачу, он в значительной степени вдохновлялся христианством. Он установил иерархию митрополитов и священников. Священники должны были способствовать любви к Богу и ближнему. В одном из своих писем он признается, что единственным аспектом христианства, поразившим его, была благотворительная деятельность Церкви. <...> Юлиан считал, что «галилеяне», — так он называл христиан, — завоевали свою популярность именно таким образом. А потому им следовало подражать в этом и даже превзойти их. Тем самым император подтверждал, что милосердие было решающей особенностью христианской общины, Церкви».

Желание понтифика усовестить христиан таким мощным аргументом понятно (и то правда: единственный совестливый византийский император, и тот — Отступник).

Но «почувствовать разницу» подходов удобней всего в выводах. Папа Бенедикт из сказанного выводит следующий приоритет: «*Милосердие для Церкви — это не какой-то вид деятельности: оно является неотъемлемым выражением самое ее сущности*».

Патриарха Кирилла же его рассуждения ведут вот куда: «*Что же такое ересь? Как ересь можно отличить от допустимого в Церкви разномыслия? Как отличить еретика от ревностного православного христианина, желающего защищать и хранить чистоту своей веры? Есть только один способ. Всякая ересь порождает раскол, а где раскол, там нет любви*».

Лично я разницу ощущаю уже на уровне физиологии. «*Милосердие — выражение сущности Церкви*» — что может быть яснее и проще?! Пытаясь же вникнуть в смысл второй фразы, чувствуешь, как в районе живота образуется некая неопределенность, и все вдруг куда-то летит, не обретая опоры.

«***Есть только один способ. Всякая ересь порождает раскол, а где раскол, там нет любви***» — это какая-то тонкая словесная эквилибристика, из которой не так-то просто выбраться. И все же попробуем.

Во-первых, не всякая ересь порождает раскол. Ересь может до поры до времени просто разлагать истину изнутри. Но, будучи выявлена и осуждена, она ведет, в конце концов, к... отлучению еретиков.

А что же раскол? Великий раскол между Восточной и Западной церквями довольно долго (практически весь следующий век) воспринимался как обычная ссора, каких и до того было не мало. И потом еще долгое время никаких претензий догматического характера стороны друг другу не предъявляли (лишь грозили да обзывали нехорошими словами). Да и, наконец, явившись (вернее, всплыв из глубины времен), претензии эти оказались, в сущности, смехотворны. Из всего исторического скарба (пение *ал-*

лилуйя на Пасху, использование пресного хлеба в евхаристии и т. д.) до сегодняшнего дня дожили лишь пресловутое «филиокве» и «папский догмат». Но первое — классический теологумен (богословское разночтение), второе же относится к области экклесиологии (то есть церковного устройства, но не вероучения)[10]. Получается, никаких догматических претензий католикам предъявить невозможно, раскол, однако, на лицо. (Католики, будучи догматически скурпулезны, и называют нас *схизматиками*, то есть раскольниками, но не еретиками — чувствуйте разницу.)

Проблема раскола в данном случае не в ереси, а, скорее, в «доброй традиции» тысячелетней ненависти, вошедшей в плоть и кровь христианского мира. Католиков принято ненавидеть, ибо «так завещали отцы». В этом проявляют себя вкус и здоровый консерватизм православной жизни.

То же можно сказать и о нашем родном расколе. Спор Никона и Аввакума шел (несколько, конечно, утрируя) на уровне традиционной «распальцовки» (двое- или троеперстие?). Ни в каких ересях аввакумовцы Никона даже не обвиняли, а прямо называли Антихристом (что и было главной интуицией раскола). Тот же в ответ рубил им правые руки и вырезал язы-

---

[10] О «римском примате» нынешний папа в своей книге «Введение в христианство», написанной в 1968 году, рассуждает так: «*Условие "кафоличности" выражает епископальное устроение Церкви и необходимость единства всех епископов: но Символ* (веры. — *В. М.*) *не содержит указания на то, что это единство сосредоточено в одном центре, в епископской кафедре Рима* <...> *В Риме, где возник наш Символ, эта идея воспринималась как нечто само собой разумеющееся. Однако верно то, что такое свидетельство не принадлежит к числу первоначальных элементов понимания Церкви, фундаментальных принципов ее устройства. Основные элементы Церкви — это прощение, обращение, покаяние, евхаристическое общение и коренящееся в нем единство и множественность: множественность поместных Церквей, которые остаются Церквями лишь благодаря своей принадлежности к организму единой Церкви.* ***Содержанием же единства следует считать, в первую очередь, Слово и Таинство: Церковь едина оттого, что едины Слово и хлеб. Епископальное же устроение выступает на втором плане как средство осуществления этого единства*** (подчеркнуто мною. — *В. М.*) *Оно не является самоцелью, но находится на уровне средств, служащих осуществлению единства поместных Церквей в себе и между собой*».

А вот мнение С. Аверинцева: «*Римский примат как простое первенство римской кафедры перед всеми остальными кафедрами есть само по себе определение Вселенских соборов, признаваемых и католиками и православными... В поздневизантийские времена православные полемисты не отрицали примата Римской кафедры как принципа. Они говорили так: "К несчастью, папа еретик, поскольку он верит в исхождение Духа Святого от Сына. Как только он перестанет быть еретиком, мы сейчас же все поклонимся ему в ноги, признаем его неотменное первенство над всеми нами". Только полемисты XIX века стали отрицать римский примат в принципе*».

В той же книге («Введение в христианство») о. Йозеф Ратцингер признает неразработанность в католичестве учения о Святом Духе, говоря, что это учение «*не могло найти себе настоящего места; оно влачило жалкое существование, погрузившись отчасти в отвлеченные тринитарные спекуляции, отчасти в чисто назидательные рассуждения и не выполняя никакой определенной функции для христианского сознания*».

ки (дабы не повадно было крестиццо двумя перстами и блядословить по чем зря). Любовь, как видим, на лицо, а вот, кто бишь еретик, — разобраться не можем до сих пор.

Итак, *не всякая* ересь порождает раскол. И не всякий раскол есть ересь.

Корректней было бы говорить о разделении. Например, так: *всякая ересь порождает разделения, а где разделения, там нет любви*, — звучит уже гораздо приемлемее. Но святейший патриарх жертвует правдоподобностью ради усиления тезиса в нужном ему направлении. Что ж, понятный ораторский прием. Но вывод папы Бенедикта мне все же более по сердцу: *милосердие — сущность Церкви*. Стало быть, *где нет милосердия, нет и Церкви*.

Но чтобы не кончать эту главу так уж в наглую *лаям бясословнаго латынника*, напомню тезис величайшего православного святого XX века Силуана Афонского: *единственный способ распознать присутствие Духа Божия в человеке — любовь к врагам. Если есть любовь к врагам — есть Дух Божий в человеке,* а если нет, то, как говориться, — и се ля ви...

Никогда и ничего

Обратимся теперь к еще одному тезису патриарха Кирилла. «*Однако следующее, второе тысячелетие по Рождестве Христовом также дало примеры множества попыток разделить Церковь, исказить православное вероучение. Эти попытки не прекращаются даже до сего дня. И потому для нас день Торжества Православия — это не столько подведение некого итога борьбы с ересями в первом тысячелетии, сколько повод еще раз обратиться с горячей молитвой, чтобы никакие разделения и отступления от истинной веры не поколебали единства Церкви Божией*».

Эта фраза содержит весьма выразительную логическую ошибку (или, что вернее, пример тонкого политического лицемерия). *Второе тысячелетие по Рождестве Христовом* открывается, как мы хорошо знаем, грандиозным расколом мирового христианства на Восточную и Западную церкви. «Церковь Божия» в первом тысячелетии — это еще *единая Церковь*, а «Церковь Божия» во втором — это уже две отлучившие друг друга части некогда единой Церкви (ну или одна из этих церквей, кому что нравится). В любом случае, «Церковь» в начале и «Церковь Божия» в конце этой фразы *не тождественны* друг другу. На лицо прямое (вернее, уклончивое) передергивание. О чем вообще речь? Что не было раскола? Что не было Запада?

Патриарх Кирилл сглатывает оглушительную катастрофу, отцеживая ее каким-то невнятным множеством *попыток разделить Церковь, исказить православное вероучение*, и, как ни в чем не бывало, на финишном вираже выходит на *неколебимое единство истинной веры, горячей молитвы и всеобщего единения*.

И если православных от того, чтобы ощутить все богатство благоухающих ароматов этой фразы, спасает традиционная вялость мысли (мы, как говорил поэт, *ленивы и нелюбопытны*), то для католиков (в сознании которых мы все еще остаемся *единой Церковью, находящейся в состоянии раскола*) слова «*не поколебали единства*» должны звучать (в общем контексте фразы) чудовищной фальшью. И хотя она и сдобрена «горячей молитвой»,

квинтэссенции ее желчи и горечи никакая «молитва» заглушить не может. Ибо ложь эта сознательная, «политкорректная» (где-то даже я бы сказал, вполне толерантная). И особливо звучащая для умеющих читать между строк.

Для католиков (чуть заговорщицки, жалостливым, слегка оправдывающимся шепотком): *вот видите, как нам тяжело, как мы не можем говорить правду, как нам приходится бояться этих вот ужасных фундаменталистов, давайте же продолжать, как прежде, горячо молиццо и т. д.*

Затем, поворотясь к фундаменталистам, широко улыбаясь, зычно и громко: *ну, блядины дети, убедились, что мы энтих латынников ваще за людей не признаем, они вааще нихто, их даже, можно сказать, и НЕ БЫЛО НИКОГДА, хе-хе...*

Православие или жизнь?

Обратимся теперь к самому сердцу речи патриарха Кирилла, к тем словам, которые вызвали особенно бурную реакцию.

«*Если мы встречаемся с человеком, который утверждает, что борется за чистоту Православия, но в его глазах опасный огонь гнева, ему везде чудятся еретики, он готов идти на бой и на разделение Церкви, он готов поколебать основы церковного бытия, якобы защищая Православие; когда в человеке, возглавляющем еретическое учение, мы не находим любви, а находим только гнев, то это первый признак того, что это волк в овечьей шкуре — подобно Арию, Несторию и многим другим, которые горячо проповедовали, не имея любви в сердце, и были готовы ради своей правоты идти на разделение церковной жизни <...> Если из уст такого человека мы слышим потоки брани, порой даже грязи, которые обрушиваются на Церковь и ее служителей, если мы слышим горячие призывы к борьбе, к разделению, к спасению Православия даже до смерти, когда мы слышим такой возглас и такой лозунг: «Православие или смерть», — нужно опасаться этих проповедников.*

Никогда Господь не говорил: «Мое учение или смерть». Ни один апостол не говорил: «Православие или смерть». Потому что Православие — это жизнь вечная, это радость во Святом Духе, это радость жизни; смерть же — это тлен, это результат грехопадения и дьявольского действа. И сейчас у нас появляются, время от времени, лжеучители, которые соблазняют народ призывами спасать Православие, спасать его чистоту, которые повторяют этот опасный, греховный и внутренне противоречивый лозунг: "Православие или смерть"».

Лозунг «Православие или смерть» — это лозунг православных зелотов. Черное знамя с этими словами уже много лет реет над находящемся в осаде мятежным монастырем Эсфигмен на Афоне, насельники которого обвиняют верхушку Греческой церкви в экуменизме и предательстве Православия. Адресат обращения святейшего, таким образом, предельно прозрачен: это адепты проигравшей партии фундаменталистов-диамидовцев (духовных диверсий которых он сегодня вполне обоснованно опасается). Этим, однако, ясность и исчерпывается. В остальном слова патриарха полны все тех же двусмысленностей и неожиданных инверсий.

Начнем с того, что хотя Христос действительно не говорит слов «православие или смерть» (что и понятно, Он все же Христос, а не Че Гевара),

само трагическое противостояние *зла и добра* в мире и абсолютная *бескомпромиссность* борьбы между ними подчеркивается в Евангелии постоянно: *Будь верен до смерти... Кто не со Мной, тот против Меня... Кто любит отца или мать больше Меня, не достоин Меня... Оставь мертвым хоронить своих мертвецов,* и т. д.

Людям, которые были свидетелями падения Силоамской башни, раздавившей несколько горожан, Он говорит: *Если не покаетесь, все также погибнете...* То есть если и не «православие или смерть», то ***«покаяние или смерть»*** Спаситель почти выговаривает.

То же говорят и апостолы: *Мы каждый день умираем... Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились...* и проч. И, в конце концов, каждый из них собственной смертью подтверждает свою веру. Вначале Сам Христос, а за Ним — и его ученики.

(Квинтэссенцией этого мироощущения — эта прекрасная ветхозаветная фраза: *сильна, как смерть, любовь.*)

«*По-христиански жить нельзя, по-христиански можно только умирать*», — так афористично и точно выражает это мироощущение арх. Софроний Сахаров, ученик преподобного Силуана Афонского, которому, в свою очередь, Господь сказал следующие, облетевшие сегодня весь христианский мир, слова: «*Держи свой ум во аде и не отчаивайся*». Как видим, и оптимизм этой формулы не столь прямолинеен, как у патриарха Кирилла.

Итак, *трагическое* свойственно христианству изначально. Просто так взять и освободить одно от другого невозможно. Это будет уже не христианство, но либо «православный съезд молодежи в Лужниках» и «православное токшоу» на ТВ, либо, что вернее, прямо по Солженицыну: *бравурные марши днем и черные воронки ночью.*

Конечно, лозунг «православие или смерть» — лозунг отчаяния. И дух, которым дышит он, — лишь экстремистское *искажение* максималистского духа христианства. Но ведь само это искажение является лишь реакцией на видимый теми же фундаменталистами духовный компромисс и гедонистическое разложение церковной верхушки... И вот, пока одни ворочают миллионами в роскошных апартаментах на берегу Москва-реки, другие облекаются во вретище и... И вот вопрос: с кого Христос, когда придет судить этот мир, спросит строже? Так, может, лучше «в консерватории что-то поправить», а не валить с больной головы на совсем уж отчаявшиеся? И проявить *действительную любовь* к этим людям, а не посылать им кукиши и угрозы в перевязанной праздничной ленточкой подарочной упаковке под любимые песни о самом главном?

Правило левой руки

Забавно, что лозунг «православие или смерть» иногда используют и сами «политправославные». Правда, у них он звучит по-постмодернистски бодро (в одной обойме с такими, как «*решения Святого Синода в жизнь!*», «*враг будет разбит, победа будет за нами!*» и проч. в том же духе). И читается скорее, как «*Кирилл или смерть*», то есть как откровенная бутафорская клоунада (чем на самом деле и является). (Недавно, например, Кирилл Фролов, *цепной*

пес патриарха Кирилла, как он сам себя любит называть, в эйфории победы объявил себя и своих соратников *спецназом Святой Троицы*, чем вызвал немалое оживление и бурный взрыв креатива в православном рунете.)

С другой стороны, *потоков брани и грязи* со стороны соратников митрополита Кирилла за время предвыборной кампании *на Церковь и ее служителей* вылилось столько, что, как говориться, чья бы корова мычала... Тот же Кирилл Фролов, левая рука новоизбранного патриарха, уже успел оскорбить, проклясть и «отлучить» (и не по одному разу) добрую половину известных в церкви людей, но согласится ли он примерить на себя слова своего вождя?

Хотя, вот ведь и Спаситель говорил: *пусть левая рука твоя не знает, что делает правая*... Нет, все же глубокая это вещь — православие: глазами не увидеть, мозгами не понять...

Свет мой, зеркальце...

Говорят, в каждом тексте есть некое зеркало (надо только уметь найти), в котором целиком отражается его автор. В исследуемом нами таким «волшебным зеркалом» стала, по-моему, следующая фраза:

«*В глазах этих людей вы не найдете любви, там горит дьявольский огонь гордыни, стремление к власти, к разрушению церковного единства. А внешне все может рядиться в добрые одежды, прикрываться благочестивым обликом, пользоваться почитанием определенного круга людей*».

Не правда ли, ровно то же фундаменталисты могли бы сказать про самого нынешнего патриарха, припомнив ему и историю с Диомидом, и все безобразия, творившиеся на Соборе. И разве не сами эти выборы с откровенным шантажом и запугиванием делегатов и удушением всякой соборности привели к разрушению церковного единства и к этим, в итоге, полурастерянным речам а-ля *достиг-я-высшей-власти*?[11]

Rex complex

И вот в чем мне видится главное различие между двумя лидерами христианского мира. Папа Бенедикт в книге, написанной им в 1968-м, и в сво-

[11] Медиа-технологии, которые помогли митрополиту Кириллу одержать победу, имеют ведь и обратную сторону: будучи всегда на виду, невозможно скрыть главную страсть души. Многое дала возможность увидеть и телетрансляция Собора. У меня, например, до сих пор стоит перед глазами тот момент, когда после изнурительного «как бы на полчаса» молчания был, наконец, объявлен победитель и состоялось облачение новоизбранного патриарха. Каким нескрываемым торжеством озарилось вдруг его лицо! Признаюсь, волосы у меня на голове слегка зашевелились в этот момент, а на ум стали приходить сцены из «Великого инквизитора» и «Краткой повести об антихристе»... А следом вспомнилась интронизация Бенедикта XVI. Как новый папа, беря на себя свой крест, сгорбился чуть не до земли, как будто превратился в точку, единую молитву под чудовищным грузом принимаемой им на себя ответственности...

ей энциклике 2006 года — это все тот же самый человек, разве что помудревший с годами[12].

А сколько совершенно противоположных вещей успел наговорить патриарх Кирилл только за последние два месяца? Так, чтобы заручиться поддержкой на выборах арх. Тихона (Шевкунова), ему, выступая в Сретенском монастыре, пришлось присягать на верность учению арх. Илариона (Троицкого), утверждающего «*в своем замечательном труде "Христианства нет без Церкви"*», что на свете существует только одна-единственная Православная церковь, а католики и протестанты вовсе даже *не являются христианами.*

Конечно, во всем этом являет себя главный порок официального православия, его «царский комплекс» — тотальное безоглядное лицемерие, особенно чудовищный опыт которого явил эксперимент Сталина, известный как Сергианство.

Вынув из мрака горстку иерархов, опутав их сетями роскоши в вымирающей от голода стране, «лучший друг всех верующих» посадил их в один тесный «аквариум», где они были вынуждены, *сослужа* и улыбаясь друг другу, непрерывно доносить друг на друга, петь заздравные гимны антихристу и в лицо тысячам мучеников распинаемой Церкви заявлять об отсутствии гонений... (По сравнению с этим, поистине, адским опытом русских иерархов и иудейские первосвященники, распявшие Христа, покажутся сущими детьми.) Но ведь кто-то должен был взять на себя и эту «миссию» (а ведь за это местечко в аду еще нужно было остервенело драться, угрызая, что есть силы, конкурентов). Люди эти поистине достойны самой острой жалости и самой сердечной молитвы. И есть ли такое сердце и такая молитва, которые могут их отмолить?

Новая генерация русских иерархов выросла в этой среде и из этого опыта. И сегодня мы, возможно, наблюдаем последнюю стадию развития этой смертельной болезни, выражающейся, прежде всего, в той роковой атрофии органа, которым слышится боль народа; болезни, уходящей глубоко в татарское иго, когда купленные привилегиями и избавленные от дани епископы молитвами за хана-царя и удушением всякого народного сопротивления захватчикам ковали то будущее Русской Церкви (да и России в целом), в котором мы сегодня и пребываем.

Конечно, Бог никогда не оставлял нас до конца (были у нас и митрополиты Филиппы и патриархи Тихоны). Не оставит, будем верить, и впредь. Но психологический портрет нынешнего патриарха все ж очевидно ближе

---

[12] Вот, например, что пишет о тех же христианских ересях Й. Ратцингер в своей книге «Введение в христианство»: они — «*не просто надгробные памятники тщетных человеческих усилий, глядя на которые мы можем убедиться, сколь часто человеческая мысль терпит провал. Каждая ересь — это, скорее, шифр некой непреходящей истины, которую мы должны рассматривать в единстве с другими, положительными утверждениями и которая кажется ложной лишь в обособленности от них. Иными словами, все эти утверждения — не столько надгробия, сколько строительные элементы одного Собора, и полезны они, разумеется, не сами по себе, а как детали, встроенные в нечто большее, точно так же, как позитивные формулировки имеют значение лишь в той мере, в какой одновременно осознается их недостаточность*».

портретам узурпатора Годунова и великого гордеца Никона, результатом деятельности которых стали смута и раскол.

Потому и не получается у патриарха Кирилла походить на папу Бенедикта, хотя он и старается изо всех сил. Ведь чтобы что-то дать, нужно это что-то сначала откуда-то взять. А откуда ж это *что-то* взять? Кругом (и сверху и снизу) лишь *человеческое, слишком человеческое...* Разве что занять у нищего монаха Диомида? Ох, просветил бы Ты, наконец, наш разум, Господи...

О чем не сказал?

Понятно это равнение на папу Бенедикта, это желание не ударить лицом в грязь перед заносчивым Западом (*мы, православные, чем мы хуже? Он — о любви, и мы — о любви*) Но, положа руку на сердце, — зачем нам второй папа? Зачем миру еще один клон католичества (к тому же ущербный и не жизнеспособный, ибо не признает ни этики, ни чести)?

Мир нуждается не в католическом двойнике и не в «альтернативном папе», а в одном-единственном православии, таком, каково оно есть: Троицецентричном, в отличие от Христоцентричного католичества; в Восточной вере с ее глубоким мистицизмом, способной «низводить Бога на землю»...

Лишь этой разностью в единстве мы могли бы быть полезны друг другу. Ведь Православие могло бы одарить *живой водой* Духа слишком иссушенный и интеллектуальный Запад. А католики, в свою очередь, могли бы помочь нам обрести те законные этические основания, ту дисциплину мысли, без чего наше родимое Православие — что ведро без дна, сквозь которое пропадает втуне вся низводимая им благодать... Не равнение и соревнование (*догоним и перегоним*) с папой Бенедиктом, а *христианская любовь*, о которой так много и подчас даже убедительно рассуждает наш новый патриарх, могла бы еще спасти мир от тотального кризиса духа...

Кстати, о чем-то в своей первой «энциклике» святейший все же забыл сказать. Ах да, вот о чем: любовь — это *постоянное самопожертвование.* Любовь нужно понимать «*в смысле пути, постоянного исхода из замкнувшегося в себе "я" к его освобождению через самопожертвование и именно так — к обретению себя и открытию Бога: "Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее", говорит неоднократно Иисус в Евангелиях... Он описывает этими словами сущность любви и человеческой жизни в целом*»[13].

IV. Патриарх Кирилл: Все идет по плану...

Часть первая. Pro et Contra

Первые шаги на новом посту, сделанные патриархом Кириллом, показали, что надежды его сторонников и опасения его противников были не напрасны. Патриарх взял резкий старт. Ясно заявил приоритет молодежной политики и миссионерства и стремительно вошел в свет высшей по-

[13] *Папа Римский Бенедикт XVI.* Энциклика «Бог есть любовь».

литики. После встреч и речей в Туле можно констатировать, что процесс перестройки и перезагрузки РПЦ запущен и уже не остановим.

О возможных сценариях этого процесса поговорим ниже. А пока стоит немножко осмотреться, чтобы понять: откуда начинает патриарх Кирилл? Кто сегодня его поддерживает, и кто является его противником?

Pro et Contra — 1

Как мы помним, на Архиерейском соборе митрополита Кирилла поддержала лишь половина епископов (97 — «за» и 101, — если собрать все прочие голоса, — «против»).

Кто был за владыку Кирилла? Во-первых, немногочисленные, близкие ему по духу «модернисты». Во-вторых, те, несколько более многочисленные, умные епископы, которые испугались митрополита Климента (старого партийца, функционера, члена клана Капалиных), а в его лице — всего самого затхлого и позавчерашнего в Русской Церкви. Умные разводили руками и говорили: выбирать не из кого, ну не Капалина же, это вообще кошмар! И из двух зол выбрали меньшее.

За митрополита Кирилла позиционировалось в итоге и то безмолвное большинство, которое испугалось... самого митрополита Кирилла, — человека харизматичного, решительного и чрезвычайно жесткого (чтобы не сказать — жестокого), в руках которого сосредоточены и все церковные связи с властью и прессой.

Против владыки Кирилла выступила, прежде всего, проигравшая ему партия климентийцев-фундаменталистов с окраинных епархий. А также та часть умных епископов, кому действительно дорога Церковь и кто опасается превращения ее в ток-шоу с единственной поп-звездой в зените.

Наконец, надо иметь в виду, что и вышепоименованное *безмолвное большинство*, панически боящееся митрополита Кирилла, латентно несет в себе и вирус противодействия и с радостью метнется под любую другую «сильную руку», лишь только представится удобный случай.

Pro et Contra — 2

Опустимся теперь этажом ниже и посмотрим, как обстоят дела в церковной ограде.

За нового патриарха здесь — прежде всего «птенцы гнезда Кириллова», его «молодая гвардия», миссионерское воинство, явление весьма яркое, пестрое и неоднозначное (в ЖЖ уже появилось сообщество, специально занимающееся изучением этой новой церковной фауны[14]).

За патриарха Кирилла — и та горящая миссионерским задором молодежь (неофиты, пришедшие в церковь в 2000-е), что радостно повизгивает сегодня в ЖЖ. Как правило, это экзальтированные девушки, побежденные обаянием святейшего, но попадаются и юноши — честные Кибальчиши, горячие сердцем и тем глубоко симпатичные, но, увы, младенцы разумом,

[14] См.: http://community.livejournal.com/politpravoslav.

всадники без головы. И тут же, рядом, — ядовитые тучи всевозможных авантюристов, карьеристов и проч., давно почуявших, куда дует ветер.

Неофиты, пришедшие в 90-е, позиционируются, скорее, против патриарха Кирилла. Однозначно против него выступают и всевозможные фундаменталисты, романтики-царебожники всех мастей, приверженцы «старой веры» (аввакумовцы-диамидовцы), певцы Иоанна Грозного и Григория Распутина. С большой опаской относится к новоизбранному патриарху и немногочисленная церковная интеллигенция, имеющая глаза и уши и способная отличить волка от овцы.

Но сердцем антикирилловской оппозиции является плеяда молодых священников и монахов, пришедшая в Церковь в начале 90-х. Эти мушкетеры православия, Павки Корчагины, монастырские подвижники — духовное ядро Церкви (также, увы, сильно зараженное фундаментализмом).

Наконец, здесь же — те пассивные массы «непоминальщиков» из церковного народа (мыслепреступники, сурово, потупив взоры, молчащие при пении «*О Великом господине и Отце нашем святейшем патриархе Кирилле*»), которых, судя по приватным беседам с батюшками на местах, — половина активных прихожан.

Мушкетеры короля против гвардейцев кардинала

Пора сделать промежуточный вывод. Сегодня сторонников и противников Кирилла примерно поровну и среди церковной элиты и среди простого народа. Примерно поровну среди них дураков, умных, честных, хитрых и никаких (последних всегда и везде оказывается подавляющее большинство). Разве что на стороне святейшего больше всевозможных проходимцев, которых всегда больше там, где пахнет деньгами и властью.

Популярность патриарха Кирилла в церковных кругах крайне двусмысленна и неоднозначна.

Одни действительно надеются на (очевидно, необходимое всем) обновление церковной жизни. Другие (клирики и миряне, так или иначе задействованные в структурах РПЦ), вынуждены подчиниться новому патриарху, поскольку им просто есть что терять. Третьим действительно дорого единство Церкви, и они готовы принять любую власть со вздохом смирения (*по грехам нашим*)... Другие ведут себя подобно послениконовскому патриарху Иоакиму, который, будучи еще келарем Новоспасского монастыря, на вопрос царя «како веруеши?» простодушно отвечал: «*Аз-де, государь, не знаю ни старые веры, ни новыя, но что велят начальники, то и готов творити и слушати их во всем*».

Что же до простого церковного народа, как всегда индифферентно-безмолвного, то ему, в сущности, совершенно все равно, что сегодня вливается в его уши. Именно на эту аморфную массу и рассчитывает пришедшая к власти партия как на буфер, в котором задохнется возмущение и ропот оппозиции.

Если же говорить о *настоящих* сторонниках и противниках Кирилла, то главный сюжет нашей церковной драмы будет, скорей всего, разворачиваться в духовном противостоянии между гвардией «политправославных миссионеров» и монастырскими подвижниками-пассионариями, готовыми умереть «*за единый аз*».

Ситуация, как видим, крайне неопределенна сверху донизу. Настолько, что мнение о новом патриархе разделило даже наш дуумвират царей-правителей. Говорят, команда Путина изначально поддержала митрополита Климента. Но, поддавшись уговорам Медведева с супругой (горящей неофитским огнем и находящейся под всецелым обаянием владыки Кирилла), Путин не стал вмешиваться в процесс, оставив все на Божью волю.

Митрополит же Кирилл как человек предусмотрительный сделал все, чтобы от любых неожиданностей этой самой *воли* себя обезопасить. Любая случайность, всякий риск (где и могла проявить себя воля Провидения) с мчащегося «в режиме блиц-крит» Собора были им тщательно устранены.

И сегодня недавний местоблюститель празднует заслуженную победу. Он не только занял патриарший престол, но и обеспечил себе положение несменяемого, пожизненного державного «православного папы». Поместный собор (единственным решением которого, кроме утверждения владыки Кирилла патриархом, стала добровольная отмена своего права выдвигать кандидатуры в патриархи) фактически сам себя отменил[15].

Почувствовав силу нового вождя, оппозиционные епископы (во главе с главным конкурентом митрополитом Климентом) смирились с поражением. Перед патриархом Кириллом склонились и фундаменталисты (такие как арх. Тихон Шевкунов). Власть торжественно подает ему руку. На любую критику нового патриарха в официальных СМИ наложено жесткое вето. А из

---

[15] Вот как об этом, в жанре административного восторга, повествует арх. Петропавловский и Камчатский Игнатий (Пологрудов), отвечая на вопросы радио «Радонеж»: «*Поднимается митрополит Филарет и говорит: "Прошу слова. Мое имя внесено в список кандидатов на Патриарший престол. Во имя нашего единства, дабы не поощрять разделения, разномыслия, я снимаю свою кандидатуру. Я прошу прощения у тех, кто отдал свои голоса за меня. Проголосуйте, пожалуйста, за нашего местоблюстителя". Воцарилась, что называется, мертвая тишина. Собор замер. И тогда возникла ответная волна единения. Пошли предложения о том, что и Собор отказывается от того, чтобы выдвигать свою кандидатуру. Ведь по чину, по последованию, по процедуре Собор мог выдвинуть несколько своих кандидатур. Но Собор отказался от этого. Вот это мне запомнилось, наверное, больше всего*»...

А Эрик Лобах (Патриарх как политик — АПН, 30 января) то же «всеобщее единение» описывает в несколько ином жанре: «*Если шутка одного моего друга о том, что рядом с замироточившей Иконой в Храме Христа Спасителя другая Икона должна была зааплодировать, и является кощунственной, то (если все же не брать в расчет того, что речь идет об Иконе) мысль довольно-таки справедлива. Собственно говоря, на выступлении вновь избранного Патриарха перед участниками Поместного собора аплодисменты от присутствующих и так раздавались после каждого слова. Нет, не после каждого сказанного предложения Святейшего, а буквально после каждого слова*».

...Кстати сказать, многие, писавшие о чудотворной иконе Божией Матери «Умягчение злых сердец», замироточившей после избрания патриарха, вспоминали, что подобное мироточение имело место в 1999 году, накануне взрыва жилых домов в Москве, а также — в день гибели подводной лодки «Курск».

передач РТР мы уже начали узнавать, что именно будущему патриарху Кириллу принадлежит главная роль в примирении Русской и Зарубежной Церквей, освобождении РПЦ из большевистского плена, ее невиданном расцвете последних лет и проч., и проч., и проч. Добрые лучистые глаза патриарха Кирилла испытующе смотрят на нас с рекламных щитов МКАДа, напоминая о вечном: Big Brother is watching you!

Положение патриарха Кирилла кажется прочным, а его будущее — безоблачным. Курс и слова нового православного лидера не встречают сколько-нибудь заметного противодействия ни внутри РПЦ, ни во вне, открывая перед ним самые радужные перспективы преобразований.

Часть вторая. Сценарии

Оптимистичный сценарий. Православный коммунизм

Главный тезис программы новоизбранного патриарха — симфония с властью в рамках единой «православной цивилизации», главные принципы которой излагает протоиерей Всеволод Чаплин: «*У Государства должна быть духовная миссия*»; «*Церковь, народ и власть — одно целое*»; «*Сильная центральная власть, личность и народ — едины*» («Пять принципов православной цивилизации»). В идеале же симфония предстает в виде верховной власти Триумвирата Стратегического, Военного и Церковного Госсоветов («Русская доктрина»).

Нетрудно разглядеть за всеми этими постмодернистскими аллюзиями развитого социализма и насущную цель: *сакрализацию бюрократии*[16].

Для душевного спокойствия бюрократии, уже восстановившей свою полную власть в стране, сегодня жизненно необходимо моральная легитимация, которую в прошлое время ей давала броня советской идеологии. На этот насущный запрос и отвечает предложение (естественно, на взаимовыгодных

[16] Воцерковление партии власти находит новые неожиданные формы. Так, «Независимая Газета» в статье «Партия власти расшифровала Библию» (20 января) сообщает об интересной инициативе государственно-патриотического клуба «Единой России» и фонда «Русский предприниматель», обсудивших на территории Даниловского монастыря документ под названием «Инициатива "ДЕКАЛОГ-XXI" и проблемы нравственного возрождения российского общества». В ходе обсуждения собравшиеся, — как пишет газета, — пришли к выводу, что политика руководства страны полностью соответствует библейским заповедям. Экспертный совет фонда «Русский предприниматель», обратившись к десяти заповедям, выявил полное соответствие внутренней политики России вечным истинам. К примеру, первая заповедь расшифровывается как «уважение к этическим ценностям», которое «*приобретает особую актуальность в контексте становления и укрепления демократической государственности России*». А заповедь «Не пожелай жены искренняго твоего...» истолкована следующим образом: «*Основой новой социальной этики должна стать философия разумного потребления*». К тезисам «ДЕКАЛОГА», замечает газета, была также приложена реклама телефильма о Николае II, в котором анонсировалось участие председателя Государственной Думы РФ Бориса Грызлова.

условиях) патриарха Кирилла. РПЦ дает власти «легитимацию небес», а также державную идеологию в церковно-славянском окладе («Русская доктрина»), получая взамен полное матобеспечение и положение идеологического «великого кормчего» нации в триумвирате (власть — армия — церковь).

Конечно, вся эта бронзовеющая на глазах «православная цивилизация» целиком остается в общемировой парадигме постмодернистского «общества спектакля», но с пикантной экзотикой в виде рушников, утренней молитвой (вместо физзарядки) по ТВ, крестами над кремлевскими башнями и неизменным лобным местом. И с традиционно ведущим идеологическим «мессиджем» — противостоянием Западу.

Похоже, что святейший получил сегодня карт-бланш на строительство православного коммунизма (Царствия Божия) в отдельно взятой стране. И это вполне логично, учитывая, что он, возможно, самый глубокий и последовательный в сегодняшней политической элите марксист. («*Он ведь изучал эти труды до тонкостей, тогда как мы лишь по цитатам учили*», как замечает старый друг новоизбранного патриарха, бывший консул представительства СССР в Женеве Вадим Мельников[17].)

И можно понять легших сегодня под патриарха Кирилла фундаменталистов. Революции и перевороты — это все же хлопотно и рискованно. А радостный грядущий «день опричника» — вот он, не за горами.

Что же до папы и католиков, то святейший ясно дает понять, что никакие католики ему даром не нужны. Он сам хочет быть папой — альтернативным и православным. И в качестве такового согласится даже на подобие Собора, на котором даже будет дозволена полная свобода дискуссий (кроме, конечно, темы личной власти вождя и его генеральной линии).

Однако подобный сценарий вызывает и большой скепсис. Достаточно посмотреть на нашу выросшую в «свободном полете» молодежь, чтобы понять всю безнадежность этой затеи. Ведь и слабым местом остро ностальгируемого ныне брежневского «развитого социализма» (постмодернистским ремейком которого и мыслится «православный коммунизм») было полное отсутствие смысла и веры в него. Даже с помощью всех сегодняшних медиа-технологий слишком долго гнать гомерическую пургу православного брежневизма в условиях глобального мира и интернета вряд ли возможно. И вряд ли наш очередной коммунизм, буде даже построен, простоит дольше, чем войдут в зрелый возраст сегодняшние «готы» и «эмо». Впрочем, на век нынешней бюрократии хватит. А там, как говорится, — хоть потоп...

Уж не хочет быть она царицей...

При том, что власть охотно идет навстречу новому патриарху в его геополитических мечтах, есть у нее виды на него и при менее оптимистичном развитии событий. Власть держит сегодня патриарха Кирилла на скамейке запасных, надеясь опереться на него, если рейтинги Путина с Медведевым начнут резко падать (что, собственно, уже и происходит).

---

[17] *Мельников В.* Для меня он — просто Кирилл. — МК, 30 января.

Но здесь возникают два вопроса: есть ли что-то за душой «*диалогибельного* (что за волшебное слово!) *партнера для власти*» (как позиционируют патриарха его имиджмейкеры), кроме медийной формы, оболочки, облака обаяния? Есть ли у него *настоящая* сила, чтобы призвать народ к повиновению в случае смуты? И второй вопрос: захочет ли он сам играть ту роль, которую для него пишут?

То, что мы знаем, заставляет задуматься.

Официальные СМИ рисуют картину всенародной поддержки нового патриарха. Это, конечно, чушь. Народ курит «план Путина» и думает о святейшем примерно так, как, слегка ерничая, пишет об этом о. Андрей Кураев: «*Бородатый мужик, видно, что свой, русский, говорит что-то непонятное о Боге и на Борю Моисеева не похож*». Этого для популярности сегодня вполне достаточно. Понятен и интерес к патриаршей интронизации (за которой, как сообщали в новостях, по двум главным каналам следило 40% телеаудитории): «*Мужик на золотом троне в шапке в брюликах— такое, может, раз в жизни только и увидишь*». Но это еще вовсе не означает всенародной популярности. Большинству, как всегда, — абсолютно фиолетово, и довольно сомнительно, что патриарху Кириллу удастся отвоевать в народном сердце место Аллы Пугачевой или Филиппа Киркорова. Любовь народа — штука иррациональная и весьма прихотливая, о чем вздыхал еще Борис Годунов.

Но еще меньше вероятность того, что новоизбранный патриарх захочет плясать под чужую дудку. Слишком уж грандиозны его амбиции. И план святейшего будет, пожалуй, позабористей плана Путина.

Желание стать третьим человеком в стране (после Путина и Медведева) и строительство православного коммунизма — только начала этого грандиозного плана. В мечтах нового патриарха — возглавить (на штыках российской власти) мировое православие (этому геополитическому проекту посвящены трепетные сношения с МИДом). Но и это еще не все. Патриарх желает стать лидером «великого кольца цивилизаций» (то есть, конечно, — традиционных цивилизаций), проекта, премьерой которого стал пресловутый «Саммит религиозных лидеров в Москве» (породивший феномен Диомида). А затем возглавить (уже предполагаемый и продвигаемый сегодня) Совет религий при ООН...

Дальше, по-видимому, начинается уже клиника (не самый, на мой взгляд, последний из возможных сценариев). Ибо страсть властолюбия имеет тенденцию пожирать человека до конца, а патриарх Кирилл остается заложником своей «сверхчеловеческой» харизмы (действующей неотразимо, особенно на женщин). Сегодняшние козыри на руках открывают ему головокружительные перспективы (а какие исторические аллюзии воскрешают! Григорий Распутин, Александра Федоровна и Ники).

Но на старого разведчика Путина все эти «комбинации» впечатления, вероятно, не производят. И его опасливое отношение к новоизбранному предстоятелю понятно. Как человек, профессионально разбирающийся в людях, Путин не может, конечно, доверять патриарху Кириллу. Тем более что с публикой, подобной той, которая клубится вокруг нового предстоятеля РПЦ, ему уже приходилось иметь дело в романтических 90-х. Как чело-

век государственный, он не может не понимать, какими опасными последствиями для страны чревато и безоглядное властолюбие патриарха. Наконец, как человек трезвый, он не может не задать себе однажды простой вопрос: если в феврале 1917-го Святейшему Синоду хватило трех дней, чтобы вчистую отречься от царя-помазанника, которому Русская Церковь служила добрые полтысячи лет, то чего *он сам* может ожидать от «патриарха-менеджера» в самый час Икс?

Пессимистичный сценарий

То, что сам патриарх Кирилл испытывает страх перед расколом, показала и его речь в неделю Торжества Православия. В результате чрезмерно жесткого захвата власти трещина прошла сверху донизу церковного мира. И в самом предстоятеле РПЦ ощущается сегодня некоторая растерянность. С одной стороны, призывы к «охоте на ведьм» и «танцы в масках» опричников-миссионеров, с другой, — хороводы «кровавых мальчиков» и тревожные ожидания «самозванца»...

Власть святейшего слишком зависит от того, куда нынче дует ветер (в том числе ветер настоящей власти и настоящих денег). И все здесь может измениться в один момент. А от раскола РПЦ (в условиях ее совершенной встроенности во властную вертикаль) недалеко уже и до раскола элит, способного породить сценарии самые экзотические.

Утопический сценарий

Но предположим невероятное. Патриарх Кирилл смиряет свои амбиции. Церковь в результате реституции становится крупнейшим собственником и, способная сама себя обеспечить, выбирает независимость и свободу: ей больше незачем находиться на содержании у власти.

Гвардия миссионеров-опричников обращается в милых ягнят, а в брутальных фундаменталистах просыпается милосердие. Русская Церковь поворачивается лицом к народу, с изумлением открывая для себя лица — не общее выраженье каждой Божьей твари. Священники и миряне самоотверженно бросаются спасать детей и стариков, отчаявшихся и одиноких, освобождая в окружающее пространство мегатонны благодати. Народ, видя чудесный пример, пробуждается к деятельному христианству. Начинается духовное возрождение, захватывающее все пласты жизни страны. К России и ее духовности с интересом начинают присматриваться Европа и Америка. Мир заворожен красотой православия. Силою вещей исцеляется тысячелетний раскол мирового христианства. Вспомнив о своих духовных корнях, Европа восстанавливает свой Великий христианский кодекс. Ее надменная гордость своим культурным превосходством и постмодернистское уныние сменяются радостным и вдохновенным служением ближнему. Европа объединяется в христианской миссии просвещения и помощи миру. Ее духовное пробуждение начинает благотворно влиять на окружающие страны и народы, умиротворяя даже воинственный ислам. На земле воцаряются мир и благоденствие...

Но — стоп, стоп, стоп. Кажется, мы несколько увлеклись, забыв о главном. Всякий человек — заложник своего окружения. И даже если патриарха Кирилла и посетит Божественное откровение, вряд ли ему удастся вырваться из круга представлений своих сторонников и своих врагов. Потому рассмотрим сценарий более реалистичный.

Реалистичный сценарий

Перестройка РПЦ будет нарастать. А с нею и гласность, без которой невозможна модернизация (зачем что-то модернизировать, если и так все замечательно?). Полу-откровенность святейшего (которую мы уже отчасти слышим) вызовет неизбежное полу-оттаивание церковного официоза. То одна, то другая часть правды начнет всплывать наружу, причем уже не из уст ошельмованных церковных диссидентов, а из официальных источников, подтачивая последние крохи доверия в церковном народе.

При этом нужно понимать, что сегодняшнее наше православие представляет собой скорее своеобразный протестантизм (каждый верит так, как бог ему на душу положит), единство которого заключено лишь стенами храма. Некоторым гарантом стабильности и единства выступают тут исключительно и только лень, мрак и глубина невежества. Стоит все это чуточку осветить, за одну ниточку потянуть, и полезет такое...

Надо учитывать и полный отрыв церковной бюрократии (исключая, может быть, некоторые деревенские приходы) от народа. И полное неведение высшей церковной бюрократией ситуации на местах. Нужно представлять себе, что преобразования пойдут именно так, как они обычно у нас и идут (достаточно вспомнить борьбу со староверами Никона или борьбу с виноградниками Горбачева). Нужно понимать, что первыми жертвами «кампании по чистке рядов» станут самые бескомпромиссные, а наиболее выигрышные позиции займут духовные наследники патриарха Иоакима (*что велят начальники, то и готов творити*).

В итоге преобразования могут вылиться (и остановить это будет уже не в воле патриарха: их необходимость будет диктовать сама реальность) в новые внутрицерковные гонения, почище большевистских. С другой стороны, эти преобразования могут оказаться и единственной надеждой Русской Церкви на грядущее исцеление (подобно тому, как в XX веке, при откровенном предательстве сергианской верхушки, Церковь выжила кровью мучеников).

В целом же все это вновь погружает нас в традиционный русский дуализм чудовищного настоящего и мечтательного упования на светлое будущее.

Притча о неразумном богаче. Заключение

Итак, подведем итог. Сегодня положение патриарха Кирилла кажется прочным, а его будущее — безоблачным. Но человек предполагает, а Бог располагает... И все мы помним слова Господа, обращенные к несчастному богачу, сказавшему в сердце своем: *«Сломаю житницы мои, и построю но-*

вые большие прежних, и соберу туда все добро мое, и скажу душе своей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей и веселись!»

Другими словами, бывает всякое, и может случиться, что эпоха патриарха Кирилла окажется не менее яркой и не более длинной, чем эпоха Михаила Горбачева — прошлого нашего «кризисного менеджера».

Наконец, понимая, что сегодняшняя ситуация в Русской Церкви есть лишь некое духовное зеркало и глубинное отражение ситуации в стране в целом, стоит задать себе и такой вопрос: не станет ли маленькая «оранжевая революция», блестяще проведенная митрополитом Кириллом, тем «лекалом», по которому станут расчерчиваться события уже в масштабах целой страны? И что может ожидать нас в ее результате?

Алексей ЮДИН

ДИАЛЕКТИКА ПОСТСЕКУЛЯРИЗАЦИИ

Хабермас Ю., Ратцингер Й. Диалектика секуляризации. О разуме и религии

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. — 112 с.

«Диалектика секуляризации» — это название книги, и в этом названии — самая суть интриги. Интрига же состоит в том, что пресловутая секуляризация более не воспринимается как непреложная закономерность развития современного общества, результатом действия которой должно стать торжество безрелигиозного, т. е. «секулярного» человека. Подобная постановка проблемы не нова. Уже последнее десятилетие ушедшего XX века, выявило «постсекулярность» и «десекуляризацию» как проявления новой реальности изменчивого мира[1].

Тогда какова эта новая реальность? Какие новые смыслы стоят за этими «пост-» и «де-»?

Уже понятно, что все термины с «пост-» декларативно условны, они не характеризуют содержательно сами явления, а задают некий код. Постсекулярность — это антисекулярность, несекулярность или что-то иное? А может быть, десекуляризация — это возврат к сакрализации? Может быть, да, а, скорее всего, нет, как, впрочем, и все в этом мире «пост». Ясно одно, постсекулярность — новое пространство, в котором уже не играют по правилам, установленным рациональным диктатом европейского модерна, к тому же правила новой игры только формируются. Более того, сама игра, культурой

[1] Подробно дискуссия о «постсекулярности» представлена в следующих наших публикациях: *Кырлежев А.* Постсекулярная эпоха // «Континент», № 120 (2004 г.); *Морозов А.* Наступила ли постсекулярная эпоха? // «Континент», № 131 (2007 г.); *Узланер Д.* В каком смысле современный мир может быть назван постсекулярным // «Континент», № 136 (2008 г.).

Алексей ЮДИН — родился в 1963 году, окончил Университет дружбы народов им. П. Лумумбы, кандидат исторических наук, доцент РГГУ, ответственный секретарь Российской Католической энциклопедии. Автор многих книг и статей — в том числе: «Россия и Вселенская церковь» (1992 г.), «История католической церкви в России: краткий очерк» (совместно с В. Задворным, 1995г.), «Леонид Федоров» (2002), Хрестоматия «Православие и католичество: от конфронтации к диалогу» (2001) и др. Редактор-составитель целого ряда справочных изданий. Живет в Москве.

«пост-» возведенная в канон, хочет разорвать путы дурной бесконечности и перестать быть игрой.

Однако рассматриваемая нами книга — не про игру, она скорее о конце игры. «Диалектика секуляризации» говорит об указанных новых реалиях, она свидетельствует о них, а, может быть, дает прогноз на будущее. Свидетелями — в плане предельной интеллектуальной честности — являются и два автора этой книги, вернее авторы двух текстов, объединенных под одной обложкой: Юрген Хабермас, представитель второго поколения знаменитой Франкфуртской школы, крупнейший политический философ и социолог современности, и кардинал Йозеф Ратцингер (ныне папа Бенедикт XVI), один из самых значительных богословов XX века, а теперь, соответственно, и начала века XXI.

Собственно, их встреча — примечательный символ этой самой «постсекулярности». Причем необходимо уточнить, что в данном случае слово «встреча» — вовсе не условность в традициях литературно-интеллектуального жанра; речь идет о вполне реальной встрече в Баварской католической академии 19 января 2004 года. Причем это был не традиционный диспут в формате «разум против религии», а диалог представителей разных интеллектуальных культур, говорящих о чем-то общем для обоих, о некоем явлении, условно называемом «постсекулярность». С одной стороны, Хабермас — «методический атеист», человек, «*лишенный религиозного слуха*» (по его собственному выражению), с другой, Ратцингер — глава ватиканской Конгрегации вероучения, ведомства, ответственного за настройку и сохранность этого самого *религиозного слуха*, по крайней мере, в католическом мире.

Тема их диалога формулировалась так: «*Дополитические моральные основы либерального государства*». Но если в редакции Хабермаса эта фраза превращается в вопрошание (его половина текста именно таким вопросом и озаглавлена — «*Дополитические основы демократического правового государства?*»), то в редакции Ратцингера она снабжена вполне солженицынским по духу смысловым довеском — «*Чем держится мир*» (его половина книги называется: «*Чем держится мир. Дополитические моральные основы либерального государства*»).

Итак, в чем же состоит вопрошание Хабермаса?

В своем анализе политической реальности он исходит из уверенности, что конституция современного либерального государства «*может самостоятельно удовлетворять потребность в собственной легитимизации, то есть ей достаточно когнитивных возможностей аргументации, не зависящей от религиозных и метафизических традиций*»[2].

Итак, самодостаточность секулярной природы демократического государства Хабермасом под сомнение не ставится. Но, пишет он, остаются сомнения, касающиеся мотивации. Чем, в самом деле, могут быть мотивированы проявления гражданской солидарности, например, в отношении массовых нарушений прав человека? «*У наших граждан*, — заключает Хабермас, — *солидарность, как бы она ни была абстрактна и опосредована правовым пу-*

[2] Все цитаты из книги «Диалектика секуляризации. О разуме и религии» приводятся по вышеуказанному русскому изданию без ссылки на страницы.

тем, возникает только тогда, когда принципы справедливости тесно переплетаются с культурными ценностными ориентирами». Стало быть, для формирования подлинной солидарности недостаточно «*когнитивного процесса*», а также «*нравственных идей и морального согласия*». То есть для самообразования и обновления конституционных принципов необходимо вспомнить о «*дополитических взаимосвязях*».

Сомнения, касающиеся мотивации, возникают у Хабермаса в силу внешних причин. Такой основной причиной становится кризис модернизации, или, как говорит сам философ, «*выходящая из-под контроля модернизация*». Проблема в том, что современная светская культура испытывает все бóльшие и бóльшие трудности с репродукцией гражданского общества. Такое положение вещей Хабермас называет *констелляцией* и как ближайший прогноз описывает в терминах другого немецкого политического философа Эрнста Вольфганга Бёкенфёрде: «*превращение граждан богатых и мирных либеральных обществ в разрозненные, действующие лишь в собственных интересах монады, использующие свои субъективные права в качестве оружия друг против друга*». Иными словами, различные футурологии постиндустриального одичания все более прописываются в реальной жизни. Вот, к примеру, то, что американцы называют «rights talk» (говорильня о правах), на глазах превращается в инструмент правовой войны всех против всех.

Несколько доходчивей сомнения Хабермаса можно выразить словами современной масс-культуры: «*У нашей любви села батарейка*». Видимо, необходима подзарядка. При этом считается, что сама система вполне жизнеспособна, но в процессе ценностной подзарядки необходимо обратиться (вынужденно/добровольно) к тем источникам, которые формировали дополитические мотивации (прежде всего религиозные).

Непосредственно об источнике ценностей и смыслов для подобного рода перезарядки Хабермас высказался чуть ранее в одном из интервью, вошедших в сборник «Религия и рациональность: Очерки о причине, Боге и модернизме»: «*Для нормативного самосознания модерна христианство — больше чем просто предтеча или катализатор. Универсалистский эгалитаризм, из которого происходят идеалы свободы и коллективной жизни в солидарности, автономный образ жизни и эмансипация, индивидуальная нравственность, права человека и демократия, является прямым наследием иудейской этики справедливости и христианской этики любви. Это наследие, без существенных изменений, стало объектом постоянного критического усвоения и новых интерпретаций. Вплоть до сегодняшнего дня ему не существует альтернативы. В свете нынешних вызовов постнациональной констелляции мы должны сейчас, как и прежде, добывать средства к существованию из этой субстанции. Все остальное — пустая постмодернистская болтовня*»[3].

В жизни религиозных сообществ, считает Хабермас, «*может сохраниться нетронутым нечто такое, что утрачено в других областях и что нельзя восстановить с помощью одного только профессионального знания экспертов*». И это *нечто* — интуитивное понимание заблуждения и избавления, «*спо-*

[3] *Habermas J.* Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity / Ed. by E. Mendieta. Cambridge (MA), 2002, p. 149.

собность чувствовать жизненные заблуждения, общественные болезни, неудачу индивидуальных проектов жизни и деформированность искаженных жизненных условий». Все это составляет особенности познавательных притязаний религии, ассиметричных аналогичным притязаниям философии. На этом основании (при соблюдении религией джентльменских правил модерна — избегать догматизма и принуждения) философия, по мысли Хабермаса, изъявляет готовность учиться у религиозных преданий.

Эти, а также и другие когнитивные симптомы современной ситуации задают возможности для построения нового диалога между светской и религиозной реальностью, между пресловутыми оппонентами — разумом/знанием и религией. Общественное сознание постсекулярного общества постепенно признает, что «*«модернизация общественного сознания» охватывает при переходе к новой фазе как религиозный, так и светский менталитет и рефлексивно видоизменяет их*». Следовательно, каждая из сторон диалога сможет, «*если они одинаково понимают секуляризацию общества как взаимодополняющий процесс обучения, теперь уже и на когнитивных основаниях принимать всерьез друг друга и в дискуссии на сложные общественные темы*».

Диалог предполагает новые возможности, новые ожидания и новые обязанности. Открывающиеся возможности, согласно Хабермасу, основаны на совпадении взаимных ожиданий и интересов: «*Нормативное ожидание, с которым либеральное государство подходит к религиозным сообществам, совпадает с их собственными интересами так, что для них таким образом открывается возможность через политическую общественность самим влиять на социум в целом*». А вот обязанности в этом *взаимодополняющем процессе обучения* связаны с известным родом когнитивного самоограничения, а именно — с необходимостью считаться с постоянным существованием расхождений. Это должны принимать в расчет не только верующие в обращении с неверующим и инаковерующими, но «*в рамках либеральной политической культуры такое же понимание должно возникать и у неверующих по отношению к верующим*».

Далее у Хабермаса следует весьма примечательное уточнение: «*Для людей, лишенных религиозного слуха* (к которым немецкий философ по умолчанию причисляет и себя самого. — *А. Ю.*), *это означает вовсе не тривиальный призыв самокритично определить взаимоотношения веры и разума в перспективе мирового знания*». Нетривиальность этого императива для рационалистической традиции, выкованной европейским модерном, хорошо передает некий «умозрительный образ», созданный Хабермасом: «*Разум, рефлексирующий над своими глубинными основами, находит свои корни в ином и вынужден признавать роковую силу этого иного, если не желает потерять разумную ориентацию в тупике гибридного овладения самим собой*».

Для современного либерального государства, избавленного от идеологически окрашенного секуляристского мировоззрения, Хабермас вполне отчетливо определяет стратегии и цели развития подобного диалога: «*Нерелигиозные граждане, поскольку они выступают в роли граждан государства, не должны принципиально отказывать религиозному видению мира в потенциале истинности и не должны отнимать у верующих сограждан права вносить с помощью религиозных понятий свой вклад в общественную дискус-*

сию». В этом расширении пространства «публичной сферы» для носителей религиозного сознания сразу же проявляются и новые задачи: «*либеральная политическая культура вправе ожидать от нерелигиозных граждан, что они будут прилагать усилия к "переводу" важных для общества религиозных понятий с религиозного языка на общедоступный*».

По поводу этого примечательного заявления Хабермаса невольно возникает вопрос: адресованы ли эти *ожидания либеральной культуры* только «нерелигиозным гражданам», иными словами, предполагается ли в данном контексте, что только они станут «переводчиками» с религиозного языка на общедоступный? Если да, то неизбежно возникнут новые и весьма серьезные трудности перевода.

Но сохраним риторическую паузу в условном ожидании ответа и в качестве возможного варианта «перевода» с религиозного на общедоступный послушаем мнение кардинала Йозефа Ратцингера.

Исходной для рассуждений Ратцингера является тема «власть и право». Власть должна быть ограничена правом, и в этом Ратцингер видит конкретную задачу политики: «*Должна действовать сила права, а не право сильнейшего*». Наиболее очевидным и действенным средством для осуществления данной политической задачи в современных условиях представляется механизм демократического волеизъявления. Вот здесь, по сути на ровном месте, как раз и возникает проблема. Конкретные инструменты демократического волеизъявления — это делегирование и решение большинством голосов. Однако само по себе большинство не обеспечивает оптимального решения этических проблем: большинство может быть слепым и несправедливым, оно может подавлять своими законами какое-либо меньшинство и т. д. «*Поэтому*, — заключает Ратцингер, — *принцип большинства оставляет открытым вопрос об этических основах права, вопрос, разве не существует нечто, что никогда не может стать правом, то есть всегда по сути «неправо», и, наоборот, разве нет того, что по своей сути обязательно должно считаться правом, предшествуя тем самым любому решению большинства и требуя уважения к себе от любого большинства*».

Так немецкий кардинал выходит на проблему «дополитических мотиваций», но задает ее (как и свойственно человеку религиозного мировоззрения) более радикально и всеобъемлюще. Не довольствуясь признанием внутренней очевидности тех комплексов нормативных элементов, которые создало Новое время, он ставит вопрос о существовании «*постоянных ценностей, которые обусловлены самой сущностью человеческого бытия, а потому неприкосновенны для всех, кто причастен к этому бытию*».

Но где прописаны и где содержатся эти ценности?

В линейной логике, мотивированной религиозным сознанием, ответ кажется очевидным. Однако если мы говорим о неких универсальных категориях современного мира, то приходится сразу же сделать поправку на «интеркультурность» (не путать с мультикультурализмом!). Именно она представляется Ратцингеру на сегодняшний день тем измерением, которое «*необходимо для дискуссии об основных вопросах человеческого бытия*», при том, что саму эту дискуссию уже «*невозможно ограничить христианским миром или западной традицией, ставящей во главу угла разум*». Ведь хотя и христиан-

ство и Запад представляются сами по себе универсальными понятиями (возможно, *de jure* так оно и есть, оговаривается Ратцингер), но «*de facto обе эти традиции может принять только некоторая часть человечества и только для нее они могут быть понятны*».

После этих слов необходимо сделать небольшое отступление, чтобы прояснить ратцингеровскую концепцию «интеркультурализма» и разграничить ее с более привычным «межрелигиозным диалогом».

Еще будучи префектом ватиканской Конгрегации вероучения кардинал Ратцингер не выказывал особого оптимизма в перспективах богословского (т. е. содержательного) диалога между религиями. Декларация «Dominus Iesus» (*Господь Иисус*) о единственности и спасительной вселенскости Иисуса Христа и Церкви, разработанная ратцингеровской конгрегацией в 2000 году, произвела солидный переполох в экуменических кругах, многие сочли ее сигналом о полном изменении курса Католической церкви в области диалога с другими религиями.

Однако декларация «Dominus Iesus» ни в коей мере не отменяла достижений межрелигиозного диалога, получившего бурное развитие после II Ватиканского собора, она противостояла различным релятивистским течениям в современном христианском богословии, оправдывающим религиозный плюрализм. В этом плане декларация однозначно утверждает окончательный и полный характер Откровения Иисуса Христа: «*Вере Церкви противоречат теории об ограниченном, неполном и несовершенном характере Откровения Иисуса Христа, которое якобы является лишь дополнением к другим религиям*». Говоря об основополагающих для христианства понятиях спасения и благодати, этот документ весьма категоричен: «*Справедливо, что последователи иных религий могут стяжать Божественную благодать, но не менее справедливо и то, что они объективным образом пребывают в неизмеримо более ущербном положении в сравнении с теми, кто обладает полнотой средств спасения в Церкви*». Наконец, касаясь самой природы и содержания межрелигиозного диалога, «Dominus Iesus» подчеркивает, что «*паритет, являющийся условием диалога, относится к равной свободе сторон, ведущих диалог, а не к доктринальному контексту и, тем более, не к их отношению к Иисусу Христу — Богу, ставшему человеком,— при сравнении Его с основателями других религий*».

Уже став 263-м наследником апостола Петра на Римской кафедре, Ратцингер как Бенедикт XVI на некоторое время лишает самостоятельности Папский совет по межрелигиозному диалогу и подчиняет его президенту другого совета — по культуре. И хотя официально это делается с целью «*поощрения более интенсивного диалога между людьми культуры и последователями различных религий*», символика этого административного преобразования достаточно прозрачна: диалог между религиями новым понтификом воспринимается преимущественно в широком контексте диалога между различными культурами, т. е. «интеркультурализма». Наконец, папа Бенедикт XVI конкретизирует свои взгляды на межрелигиозный диалог и интеркультурализм в письме к итальянскому сенатору, философу Марчелло Пера. Это письмо представляет собой одобрительный отзыв на вышедшую в свет в ноябре 2008 года книгу Пера «Perché dobbiamo dirci cristiani.

Il liberalismo, l'Europa, l'etica» («Почему мы должны называть себя христианами. Либерализм, Европа, этика»). Понтифик пишет: «*Особенно значительным также и для меня является Ваш анализ межрелигиозного и межкультурного диалога. Вы совершенно ясно объясняете, что межрелигиозный диалог в строгом смысле слова невозможен, в то же время Вы куда больше настаиваете на межкультурном диалоге, который углубляет культурные последствия основополагающего религиозного решения. Поскольку в отношении этого последнего подлинный диалог невозможен без того, чтобы поставить чью-либо веру в кавычки, необходимо сравнивать в общественной дискуссии культурные последствия основополагающих религиозных решений. Здесь диалог, взаимная коррекция и обогащение возможны и необходимы*»[4].

Итак, по мнению папы Ратцингера, прямой диалог между религиями в содержательной сфере непродуктивен, куда более перспективен опосредованный диалог через выражения религиозного выбора в культуре. Соответственно, «интеркультурализм» — оптимальная форма для межрелигиозного диалога.

Вооружившись этими наблюдениями, вернемся к размышлениям пока еще кардинала Ратцингера о диалектике секуляризации образца 2004 года. По его мнению, секулярная, строго рациональная культура явно преобладает на Западе, хотя при этом христианское понимание действительности по-прежнему остается действенной силой. Диалектика принимает у Ратцингера весьма зримый образ: «*Два полюса то сближаются, то расходятся, то учатся друг у друга, то более или менее решительно отвергают друг друга*». Однако новые вызовы, к которым прежде всего относится многоуровневый вызов ислама, открыто ставят под вопрос и западную рациональность, и притязания на универсальность со стороны христианского откровения.

Какие же выводы из этого следуют? Таким выводом, по мнению Ратцингера, является «*фактическая неуниверсальность обеих великих культур Запада — культуры христианской веры и культуры секулярной рациональности*». В этой связи возникает необходимость в корректировке европейской секуляризации, в том числе с точки зрения культурной компаративистики и социологии религии. Поправка на эти новые вызовы в условиях интеркультурализма приводит Ратцингера к такому знаменательному выводу: «*Фактом остается то, что наша секулярная рациональность, какой бы очевидной она ни представлялась нашему западному разуму, не становится от этого доступной всякому "рацио" Эта ее очевидность фактически связана определенными культурными контекстами, и следует признать, что понятие «секуляризация» не может быть воспринято всем человечеством, а потому оно существует для ограниченной его части. Иными словами, не существует такой рациональной, этической или религиозной формулы, с которой согласился бы весь мир и которая могла бы затем служить для него основой. Во всяком случае, в настоящее время такая формула недостижима*».

И хотя речь идет только о формуле — рациональной, этической или религиозной, подобного рода заявление со стороны богослова и офици-

[4] http://www.corriere.it/cultura/08_novembre_23/lettera_papa_benedetto_f01cee2c-b93f-11dd-bb2c-00144f02aabc.shtml.

ального хранителя католического вероучения представляется очень сильным. Тут уже нет и следа от той претензии на догматический универсализм, который был свойственен Католической церкви в недалеком прошлом, но явственно видны плоды той коррекции, которую произвела диалектика секуляризации.

Однако здесь нельзя спешить с дальнейшими выводами. Католическая церковь не обольщается касательно самой природы секуляризации и постоянно выражает тревогу по поводу ее проникновения внутрь церковной ограды, что негативно отражается на сознании верующих и их религиозных практиках. Для самого Ратцингера секуляризация фактически представляется синонимом кризиса современного мира. В своей знаменитой речи в итальянском Сенате, произнесенной 13 мая 2004 года (т. е. в том же году, что и выступление с Хабермасом в Баварской католической академии), кардинал Ратцингер для описания кризисного состояния современного мира сопоставляет две концепции секуляризации — «биологический» тезис Освальда Шпенглера, формулировавший общий закон развития великих культур: рождение, постепенный рост, расцвет культуры, ее медленное отяжеление, старение и смерть, — и оппонирующий ему тезис Арнольда Тойнби. «Биологический» закон Шпенглера давал, как известно, пессимистический прогноз будущего Европы: «*Запад приближается к финальной эпохе своего существования, неизбежно ведущей к смерти этого культурного континента, несмотря на все попытки предотвратить ее. Конечно, Европа может передать свои достижения новой зарождающейся культуре, как это уже происходило в прежние эпохи заката культуры, но время ее существования как субъекта уже прошло*»[5]. В свою очередь, Тойнби также допускал, что Западный мир пребывает в состоянии кризиса, но причину этого кризиса он видел в переходе от религии к культу техники, нации, милитаризма, т. е. в конечном итоге — в секуляризации. «*Если причина кризиса известна*, — рассуждает вслед за Тойнби кардинал Ратцингер, — *то можно указать и средство его преодоления: нужно вновь ввести религиозный фактор, составляющей которого является религиозное наследие всех культур, но в первую очередь то, "что осталось от западного христианства"*»[6].

Очевидно, что для Ратцингера ближе позиция Тойнби, однако общая оценка требует объективности. «*Спор между Шпенглером и Тойнби все еще остается открытым, так как мы не способны предвидеть будущее*», — заключает Ратцингер. Однако «*независимо от этого мы обязаны задать себе вопрос, на что может опираться будущее и что в состоянии сохранить внутреннюю идентичность Европы при всех исторических переменах. Или еще проще: сегодня и завтра что обещает даровать нам человеческое достоинство и соответствующую ему жизнь*»[7].

Ответ самого Ратцингера следующий: «*Европа должна по-новому, — разумеется, критически и смиренно, — взглянуть на себя, если она действительно*

---

[5] *Ратцингер Й.*, кардинал. Европа. Ее духовные основы вчера, сегодня и завтра // Новая Европа 17, 2004. С. 10.

[6] Там же. С. 10–11.

[7] Там же. С. 11.

хочет выжить. Многообразие культур, для которого постоянно и с воодушевлением создаются благоприятные условия, — порой это прежде всего отказ, отрицание своего, бегство от своего. Но многообразие культур не может существовать без констант в целом, без ориентиров, созданных исходя из собственных ценностей. Оно, конечно, не может существовать без уважения к священному»[8].

Уважение к священному в европейской традиции, безусловно, означает апелляцию к ценностям христианства. Но именно в этом контексте кардинал Ратцингер указывает на парадоксальное явление, которое он описывает как патологию современного Запада, его странную ненависть к себе: «*Заслуживает похвалы стремление Запада в полной мере открыться навстречу пониманию чужих ценностей, но он не любит больше сам себя; в своей собственной истории он видит лишь достойные порицания и разрушительные моменты и уже не в состоянии воспринимать великое и чистое*»[9]. Очевидно, что эта патология является следствием, прямым или косвенным, секуляризации.

Патологии в современной западной культуре, вызванные секуляризацией, по мнению папы Бенедикта XVI, проявляются в самых разных областях. Приведем здесь лишь некоторые его суждения из выступлений последнего времени.

«*В нашем сильно секуляризованном мире происходит "постепенная секуляризация спасения", в результате чего идет борьба за человека, но за человека уменьшенного, сведенного лишь к своему горизонтальному измерению*» (Послание на Великий пост, 26 февраля 2006 года).

«*В нынешней фазе секуляризации, называемой постмодернистской и отмеченной спорными формами толерантности, не только растет отвержение христианской традиции, но и проявляется недоверие к способности разума распознавать истину, что отдаляет от вкуса к размышлению*» (Речь на аудиенции участникам генеральной ассамблеи Папской академии в защиту жизни и международного конгресса «Христианская совесть в поддержку права на жизнь», 24 февраля 2007 года).

Но, пожалуй, самый тревожный диагноз папы Бенедикта XVI относится к проникновению секуляризации в жизнь католических общин: «*Процесс секуляризации, выдвигающийся на передний план в современной культуре, не щадит, к сожалению, даже религиозные общины*» (Речь на аудиенции для членов совета по связям между Конгрегацией по делам Институтов посвященной жизни и Обществ апостольской жизни и международными союзами генеральных настоятелей и настоятельниц, 18 февраля 2008 года).

Примечательно, что, обнаруживая эти аномалии в церковной жизни, папа Ратцингер не форсирует тему осуждений и обличений и уж вовсе не пытается копировать практику борьбы с пресловутым «католическим модернизмом» начала XX века (чего, кстати, ожидали некоторые аналитики после его вступления на Римский престол). Его пастырские стратегии состоят совсем в ином. «Фирменный» стиль его понтификата означает возвращение к первоначальным ценностям христианства через преодоление опасного

[8] Там же, с. 15.

[9] Там же.

смешения языка Церкви и языка мира сего. В лице папы Ратцингера мир видит тихо и вдумчиво учащую Церковь, говорящую просто и богословски мудро о «последних вещах» в Божественной и человеческой жизни. Именно таким предстает он в своих энцикликах «Deus caritas est» («Бог есть любовь») и «Spe salvi» («Ибо мы спасены в надежде»).

Публикация его третьей энциклики «Caritas in Veritate» («Любовь в Истине») временно откладывается по причине тех существенных корректив, которые внесли в трактовку означенных богословских вопросов последствия экономического кризиса. Если энциклика «*не рассматривает экономические реалии, она не может заслуживать доверия*», — заявил сам понтифик 26 февраля этого года на встрече с клириками Римской епархии[10]. Современная социально-экономическая система наглядно продемонстрировала свою несправедливость, и «*мы должны осудить эту систему со всем мужеством, но также и со всей конкретностью, потому что в морализаторстве нет пользы, если оно не подкреплено пониманием реальности, которое необходимо нам, чтобы осознать, что конкретно можно сделать, чтобы изменить ситуацию... Кризис демонстрирует, что первородный грех действительно существует*», — полагает папа Ратцингер[11]. Он также уверен, что глобальная экономика нуждается в реформировании, при этом каждый человек должен понимать, что ему придется чем-то пожертвовать для того, чтобы мир стал более справедливым. «*Справедливости нельзя добиться одними лишь экономическими реформами, для этого нужны справедливые люди*», — этот тезис социального учения Католической церкви в устах папы Бенедикта XVI звучит сегодня как никогда актуально. Со всей очевидностью можно предположить, что в переработанном тексте этой энциклики, который должен появиться в ближайшее время, мы найдем новые оценки последствий секуляризации, связанные теперь уже с нравственными аспектами кризиса глобальной экономики.

Вновь вернемся в контекст 2004 года и обратим внимание на те выводы, которые делает в завершение своего выступления кардинал Ратцингер. Итак, для него на лицо существование патологий как религии, так и разума. Патологии религии «*чрезвычайно опасны и заставляют видеть в божественном свете разума, так сказать, «контролера», который должен снова и снова очищать и упорядочивать религию*». Патология разума, *гордыня разума*, не менее, а по своему потенциалу еще более опасна: ведь это разум сотворил атомную бомбу, это разум научился «производить» человека в пробирке, превратив его из Божьего подобия в собственный продукт.

Очевидно, что существующая диспропорция опасностей, по мнению кардинала Ратцингера, накладывает больше ответственности на разум и требует, чтобы он соблюдал свои пределы и «*учился слушать то, о чем говорят великие религиозные предания человечества*». «*Когда разум полностью эмансипируется и отказывается от готовности учиться, от "коррелятивности" он становится разрушительным*», — таков окончательный диагноз

[10] Сообщение агентства религиозной информации «Благовест-инфо» (http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=26021).

[11] Там же.

Ратцингера. Выход из создавшейся ситуации — в осознанной необходимости как для рациональной сферы, так и для сферы религиозной, в особой «коррелятивности» разума и веры, «*призванных к обоюдному очищению и освящению, нуждающихся друг в друге и обязанных это признать*».

Но какое место отводится этому сотрудничеству — «коррелятивности» (Ратцингер), или «взаимодополняющему процессу обучения» (Хабермас), — религиозного и светского менталитетов в контексте очевидного интеркультурализма?

Примечательно, что Ратцингер называет всемирный этос «абстракцией». Кардинал выразился так по поводу идей своего старого оппонента швейцарского богослова Ханса Кюнга. Именно Кюнгу принадлежит проект «Всемирный этос», в основу которого положено убеждение, что «*все религиозные учения обладают общим набором сердцевинных ценностей*»[12]. Подобного рода микширование различных религиозных ценностей, даже исходя из самых благих побуждений по «спасению мира от агонии», явно противоречит строго христианским воззрениям кардинала Ратцингера.

Но что же тогда делать с другими религиозными культурами, или, выражаясь словами самого Ратцингера, как «*конкретизировать на практике, в интеркультурном контексте нашего времени*», основное правило «коррелятивности» христианской веры и западной секулярной рациональности?

Предложение Ратцингера не означает маргинализацию других культур: «*Это стало бы проявлением западной гордыни, за которую нам пришлось бы дорого платить, а отчасти мы за нее расплачиваемся уже теперь*». При этом «без ложного европоцентризма» Ратцингер утверждает, что главными партнерами и главными акторами этой «коррелятивности» являются западные концепты христианства и секулярной рациональности. Именно им отведена в этом процессе активная роль: «*для обоих важнейших компонентов западной культуры важно научиться слушать эти культуры* (т. е. другие мировые религиозные культуры. — *А. Ю.*)» и «*включить их в опыт полифонической корреляции*». При этом роль других культур имеет все же подчиненный характер: в полифонической корреляции они должны «*сами открыться навстречу западной взаимодополняемости разума и веры*». Именно эта сложноподчиненная включенность различных культур при очевидной ведущей роли двух важнейших компонентов западной культуры сможет дать развитие «*универсальному процессу очищения, в котором в конечном счете обретут новый блеск все известные или интуитивно ощущаемые людьми ценности и нормы, чтобы в человечестве смогла вновь возникнуть действенная сила, которой сможет держаться мир*».

В заключение этого краткого обзора отметим, что при всей дискуссионности роли и места «других религий» в проекте полифонической коррелятивности вся мощь предложения кардинала Ратцингера основывается на его абсолютной убежденности в неисчерпанности для будущего западной модели взаимодополняемости веры и разума, а также в особом приоритете христианства для исторического дела человечества. То есть убежденность в

[12] См. «Декларацию мирового этоса» на интернет-ресурсе Фонда глобальной этики (www.weltethos.org).

том, что христиане, даже будучи меньшинством (количественным и/или качественным) в современном мире, сохраняют особые свойства «соли» в истории человечества. Именно из этой убежденности исходит известный призыв кардинала Ратцингера, прозвучавший в итальянском Сенате в 2004 году: «*Верующие христиане должны воспринимать себя как такое творческое меньшинство и способствовать тому, чтобы Европа вновь овладела лучшим из своего наследия и таким образом смогла бы служить всему человечеству*»[13].

Ну, вот, предположим, что книга прочитана, и вы несколько озадачено держите ее в руках. Что можно сказать напоследок?

— Безусловно, прочитанное оставляет впечатление, что вы побывали в некотором новом интеллектуальном пространстве, условно обозначенном как «постсекулярное». Правда, симптомы этого нового проступают в стабильном контексте секулярности, которую никто отменять не собирается. Однако в тех областях современной европейской культуры, или, лучше сказать, среди тех европейских культур, которые сохраняют навыки трезвой рациональности, заметна неудовлетворенность тем, как искусственно размечены границы между «светским» и «религиозным» в публичном пространстве. Радикальный перенос или стирание этих границ в современной европейской традиции, конечно, осуществить невозможно. Возможно почувствовать недостаточность собственной аргументации в рамках выделенной тебе или избранной тобой традиции и пойти навстречу тем пределам, за которыми находятся «последние вещи». Разговор об этих «последних вещах» неизбежно фокусируется вокруг понятий «человек» и «реальность», именно в таком разговоре прежде всего обнаруживается тяга к «коррелятивности», или «взаимодополняющему процессу обучения» религиозного и светского менталитетов.

— Диалог Ю. Хабермаса и Й. Ратцингера достаточно убедительно свидетельствует о том, что текущий момент в диалектике секуляризации, дающий основания почувствовать присутствие формирующихся вызовов постсекулярного, связан с «перезагрузкой» рационального в европейской культуре. Эта «перезагрузка» означает по сути избавление разума от того эмансипированного беспредела, в который вверг его самонадеянный оптимизм Просвещения и модерна, и восстановление его готовности учиться «коррелятивности». Искомым партнером в этой «коррелятивности» должна выступить некогда отвергнутая разумом вера, что собственно и восстановит в правах главное «ноу-хау» западной цивилизации — взаимодополняемость разума и веры. Однако заметим, что об этом в нашем случае говорят люди, глубоко приверженные западному рационализму, хотя и находящиеся, на первый взгляд, по разные стороны баррикад: ярчайший представитель «критической теории» и американского прагматизма и видный католический богослов, т. е. архитектор и хранитель той религиозно-интеллектуальной традиции, которая неизменно видит в человеческом разуме божественное происхождение и не сомневается в его приоритетах в качестве инструмента познания. Но это лишь отдельные сегменты как современной секулярной, так и религиоз-

[13] *Ратцингер Й.*, кардинал. Европа. Ее духовные основы вчера, сегодня и завтра. С. 15.

ной культуры. За скобками остаются значительные области современного культурного пространства, в том числе и религиозного, в рамках той же христианской традиции, где рационализм либо не столь акцентуирован, либо вовсе находится под подозрением. Например, это огромное пространство современного православия, в котором проявляются совершенно иные тенденции к пониманию «постсекулярного», чем те, которые обозначил диалог Ю. Хабермаса и Й. Ратцингера. Но это уже особая тема для разговора.

— Услышанное нами от Хабермаса и Ратцингера порождает массу вопросов, отчасти уже обозначенных прежде, отчасти еще не проявленных. Остановимся здесь только на одном, который имеет принципиальное значение и относится к следующему утверждению Хабермаса: «*Каждая из сторон* (т. е. религиозный и светский менталитет. — *А. Ю.*) *сможет, если они одинаково понимают секуляризацию общества как взаимодополняющий процесс обучения, теперь уже и на когнитивных основаниях принимать всерьез друг друга в дискуссии на сложные общественные темы*». Вопрос заключается в следующем: выполнимо ли это «если», то есть могут ли обе стороны одинаково понимать секуляризацию в указанном смысле? Сомнения в этом достаточно велики, что в целом подтверждает и позиция кардинала Ратцингера — папы Бенедикта XVI. Разум должен ограничить себя и выразить готовность учиться у религиозной традиции — справедливость этого тезиса, похоже, разделяет и Хабермас. Но чему может учиться религия у светского менталитета? Судя по той отрицательной характеристике, которую папа Ратцингер дает явлениям, вызываемым секуляризацией в собственно религиозной среде, — ничему хорошему. Похоже, что понимание секуляризации в этом аспекте с обеих сторон неоднозначно, а значит, и введенные в дискуссию термины *коррелятивность* и *взаимодополняющий процесс обучения* не эквивалентны. Вопрос во многом остается открытым.

Напоследок для внесения некоторой ясности хочется обратиться не столько к реалиям интеллектуальной дискуссии, сколько к новым событиям в публичной сфере, которые дадут нам почувствовать новый вкус переводов *с религиозного на общедоступный* с поправкой на «постсекулярное». В качестве ориентиров для поиска вспомним утверждение Ю. Хабермаса о тех ожиданиях либерального государства, которые совпадают с собственными интересами религиозных общин и таким образом открывают им *возможность через политическую общественность влиять на социум в целом.* Приведем также другие слова из уже упомянутого нами письма папы Бенедикта XVI итальянскому философу Марчелло Пера: «*Вы демонстрируете, что либерализм, без того, чтобы перестать быть либерализмом, но, напротив, чтобы сохранить верность себе, может соединиться с доктриной блага, в особенности с таковой доктриной христианства, генетически связанной с либерализмом. Таким образом вы действительно содействуете преодолению кризиса*». Безусловно, в этой похвальной оценке слышна и декларация собственных взглядов папы Ратцингера. И, наконец, еще раз приведем недавнее высказывание понтифика о том, что *справедливости нельзя добиться одними лишь экономическими реформами, для этого нужны справедливые люди.*

Наверное, уже стало понятно, что речь идет о появлении таких «справедливых людей», способных стать полноценными акторами в публичной

политике и реанимировать в новых условиях затухающее присутствие христианства в этой сфере. Обратимся к свежему примеру из итальянской реальности.

Религиозная жизнь Италии в прошедшем году была отмечена, среди прочего, одним неординарным событием. На Пасху 2008 года в ватиканской базилике Святого Петра принял крещение из рук папы Бенедикта XVI один из самых известных журналистов Италии, мусульманин по рождению Магди Аллам, ставший с этого дня Магди Кристиано (Христианом) Алламом. Аллам был известен своими резко критическими книгами и статьями о ситуации ислама в современной Европе, весьма нелицеприятными для самих мусульман. После своего обращения в католичество Кристиано Аллам опубликовал открытое письмо в миланскую газету «Corriere della Sera», в которой он пять лет был заместителем главного редактора и крупнейшим колумнистом. Это письмо без преувеличений можно назвать уникальным документом общественно-религиозного звучания последнего времени. В этом послании среди причин, побудивших его к принятию христианства, Аллам называет осознание того, что «*независимо от всемирного всплеска феномена исламского экстремизма и терроризма, корень зла — в самом исламе, физиологически насильственном и исторически конфликтном*». Оставив эти утверждения всецело на совести их автора, только приведем еще одну цитату. Аллам пишет: обращение в католичество стало «*итогом постепенного, глубокого внутреннего осмысления, которое было неизбежно, ведь из-за угроз и смертных приговоров, вынесенных мне исламскими экстремистами и террористами, живущими в Италии и действующими за рубежом, я уже пять лет вынужден жить в укрытии*».

Однако это не конец, а только начало истории. 30 ноября того же 2008 года Кристиано Аллам, оставив журналистскую работу, создает новую партию, которая получает название «Protagonisti per l'Europa Cristiana» («Борцы за христианскую Европу»). Предложения, сформулированные этим политическим актом, действительно, обозначают новые горизонты в условиях кризиса секулярности и отталкиваются от новых вызовов. Во «Временной программе» партии[14] дается резкая критика того «этического дрейфа», жертвой которого стала секулярная Европа. Это этическое искажение мотивировано прежде всего материалистической и консумеристской концепциями жизни. Идеологическая болезнь, одолевающая Европу, получила яркие симптомы в «*нигилизме, релятивизме, откорректированном по-исламски, благодетельстве* (buonismo), *лаицизме, юридическом субъективизме, деятельности вопреки своим интересам, индифферентизме и, в плане более широкого социального действия, в мультикультурализме*».

В политической программе Аллама и его единомышленников говорится о «*неизбежном самоубийстве Европы*» ради господства на глобальном уровне в экономике дикого капитализма, лишенного этических правил и прав человека. При этом парадигмой такого развития видится коммунистический Китай. Не менее угрожающим для европейской ситуации в целом представляется и растущее подчинение «*в плане ценностей и идентичнос-*

[14] http://www.protagonistiec.it/programmatransitorio.

ти» произволу исламского экстремизма, который, «*сделав своими инструментами формальное понятие законов, прав, демократии и диалога, принуждает нас терпеть нарушения основополагающих принципов европейской христианской цивилизации и всего нашего человеческого рода*».

В этой связи с некоторой долей патетики «Временная программа», говорит о том, что «*Партия борцов за христианскую Европу принимает на себя историческую миссию освобождения на персональном и коллективном уровне, провозглашая чрезвычайное положение в этике, которое в качестве национального итальянского и общеевропейского приоритета рассматривает новое открытие, консолидацию и защиту нашей общей европейской цивилизации*».

Что же необходимо спасать и освобождать «Борцам за христианскую Европу»?

Тот исторический контекст, который сформировала европейская христианская цивилизация.

Именно этот контекст в программе новой партии объявляется «*правильным выражением исторической истины об иудейско-христианских корнях общей модели цивилизации, которая, восприняв и усвоив то позитивное и конструктивное, что было присуще греческой, римской, светской и либеральной мысли, позволила Европе появиться как гражданской и процветающей нации, хранительнице правового государства и демократии, а также инициатору экономического развития во всем мире*».

Для нашего разговора о новых реалиях в диалектике секуляризации (и в особенности в драматургии взаимоотношений религиозных и светских ценностей) примечательно и программное заявление «борцов» о том, что «*христианская Европа является по сути контекстом ясности и определенности для нераздельных двуединств веры и разума, свободы и истины, ценностей и правил, которые хранят людей доброй воли, ощущающих в себе необходимость приобрести сегодня этическую концепцию жизни, для того чтобы суметь заново определить в качественном смысле совокупность собственной модели жизни и прогресса, независимо от своей веры, культуры и этнической принадлежности*».

По заявлению самого Кристиано Аллама, его партия является светской и открыта для всех, даже для мусульман (несмотря на изначальную антиисламскую риторику). В основе самоопределения «борцов» лежит осознание «европейской идентичности», которая в этическом плане формулируется следующим образом: «*Именно потому, что мы вдохновлены подлинной любовью к ближнему, кем бы он ни был, сегодня как никогда мы осознаем, что для того, чтобы быть способными щедро давать свою любовь, мы должны прежде всего любить самих себя, примирившись с нами самими и избавив нашу душу из бездны этического дрейфа*».

Практические основания, на которых строится деятельность Партии борцов за христианскую Европу, сочетают в себе элементы традиционной христианской демократии[15], некоторые тезисы социального учения Католической церкви в свете рецепции новых системных вызовов.

---

[15] См.: Христианская демократия. Обзор материалов // «Континент», № 135, 2008.

Такими основаниями являются:

— примат фундаментальных прав человека и необсуждаемых ценностей, которые подтверждают сущность нашей человеческой природы;
— вера в священный характер жизни от зачатия до естественной смерти;
— уважение достоинства личности как основы гражданского общежития;
— уважение свободы выбора начиная с религиозной свободы;
— стремление к общему благу и всеобщему интересу;
— приверженность истине, которая основывается на объективных, абсолютных и универсальных фактах;
— центральное место естественной семьи в общественном строительстве;
— уважение нравственного авторитета;
— право на объективную и ответственную информацию;
— защита демократии и основного закона;
— нерасторжимость прав и обязанностей;
— неприкосновенность этических, общих и приемлемых правил;
— гарантия личной и коллективной безопасности;
— экономический либерализм и социальная солидарность;
— субсидиарность и принцип справедливого распределения благ;
— охрана и использование окружающей среды как наследства человечества.

Партия борцов за христианскую Европу заявляет о себе не больше и не меньше как о «*носителе качественной этической реформы совокупности нашей модели экономического прогресса, социальной организации и самого понятия счастья, которая ставит в центр достоинство человеческой личности*». Конкретные решения в результате этой реформы затрагивают все измерения человеческой жизни: «*от семьи до школы, от здоровья до работы, от религии до коммуникации, от демократии до безопасности, от окружающей среды до энергии, от туризма до транспорта, от иммиграции до интеграции*».

Мы специально привели в нашем обозрении обильные цитаты из программного документа новорожденной партии для того, чтобы не только дать возможность из первых рук почувствовать язык современной политической риторики, апеллирующей к христианским ценностям, но и предоставить живой материал к размышлениям о практических аспектах диалектики секуляризации и о публичной специфике «постсекулярного пространства».

Не будем пытаться ни прогнозировать политическое будущее Партии борцов за христианскую Европу, ни моделировать ее дальнейшую идейную и структурную трансформацию. Отметим только, что в настоящее время наметилась коалиция этой партии с одним из наследников рухнувшей в 1993 году итальянской Христианской демократии — Союзом христианских демократов и демократов Центра (Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro, UDC). А на грядущих в июне этого года выборах в Европарламент кандидатура харизматичного Кристиано Аллама возглавит список Союза, как члена Европейской Народной партии — крупнейшего альянса консерваторов и христианских демократов.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ в зеркале прессы

(декабрь 2008 – февраль 2009)

(Краткий обзор)

Поместный собор Русской православной церкви и избрание нового патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Двадцать седьмого — двадцать восьмого января в Москве состоялся Поместный собор, на котором был избран новый предстоятель Русской православной церкви. Перед этим 25 января состоялся Архиерейский собор, выдвинувший кандидатов на патриарший престол.

О работе Архиерейского собора рассказали многие издания. В частности, **«Российская газета»** (28.01): *Церковный и светский народ, с напряжением ожидавший результата, услышал три имени. За выдвижение кандидатом на Патриарший Престол митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла было подано 97 голосов из 197 голосовавших. За выдвижение митрополита Калужского и Боровского Климента — 32 голоса. Третьим в списке самых достойных кандидатов на Патриарший Престол оказался митрополит Минский и Слуцкий Филарет. Было много других предложений, но количество поданных за них голосов было меньше, колеблясь от 1 до 13.*

Поместный Собор мог дополнить список претендентов, но не стал этого делать, — продолжает тему **«НГ-Религии»** (04.02). — *Архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий (Бильченко) предложил выбрать достойнейшего кандидата жребием, однако его предложение не было принято. В итоге делегаты выбирали из двух кандидатур — Кирилла и Климента.* Третий кандидат — митрополит Филарет — отказался от выдвижения и призвал своих сторонников голосовать за митрополита Кирилла.

Михаил Поздняев в **«Новых известиях»** (29.01) отмечает, что на Соборе «на ура» прошло предложение митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона (Шукало) отказаться от дополнения списка. В одночасье развеялись опасения, что в ход голосования вмешается «украинская партия».

Около 7 вечера во вторник Поместный Собор завершил голосование по избранию 16-го патриарха Московского и всея Руси, — пишет Интернет-издание **«Страна. Ру»** (30.01). — *Члены счетной комиссии забрали урны для обработки бюллетеней и подсчета голосов. Эта процедура заняла около трех часов — только после этого к делегатам вышел председатель мандатной комиссии архиепископ Хустский и Виноградовский Марк*[1] *и объявил результаты: митрополит Кирилл набрал 508 голосов членов Поместного собора, а митрополит Калужский и Боровский Климент — 169. Таким образом, томительное ожидание завершилось, а новый предстоятель был избран.*

---

[1] На самом деле это был другой человек: «*Председатель счетной комиссии Собора архиепископ Екатеринодарский и Кубанский Исидор начал оглашение результатов голосования по кандидатурам на патриарший престол*». — http://www.sobor09.ru/news/406.

По сообщению **«Благовест-инфо»** (28.01), нового патриарха поздравил президент Дмитрий Медведев, который отметил, что *надеется на дальнейший диалог между церковью и государством в деле развития страны и укрепления духовно-нравственных ценностей*, а также премьер-министр Владимир Путин. Издание подчеркивает, что *избранный патриарх — священнослужитель в третьем поколении. Как и ныне покойный Алексий Второй, митрополит Кирилл — ученик митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима — сторонника диалога разных конфессий. Во многом благодаря именно нареченному 16-му патриарху этот диалог продолжается. Митрополит Кирилл почти 20 лет возглавлял Отдел внешних церковных связей и активно участвовал в объединении Русской Православной Церкви и в России, и за рубежом.*

Стоит заметить, что только телевизионные репортажи подробно рассказывали о семье новоизбранного патриарха (и дед, и отец которого были репрессированы за веру и после лагерей избрали путь священнического служения).

Второй день собора, на котором состоялась дискуссия о месте и роли Поместных соборов в жизни церкви (большинство выступавших считали, что клир и мирян необходимо привлекать к общецерковной дискуссии, но на каких-то других площадках, не имеющих «законодательной» функции), а также был утвержден Устав 2000 года, фактически упраздняющий институт Поместных соборов как регулярно собирающегося органа церковного управления, не был замечен светскими СМИ. Отклики появились лишь в Живом журнале. Один из них — мнение известного миссионера **свящ. Димитрия Карпенко** — был перепечатан в газете **«КИФА»** (№ 2). По мнению о. Димитрия, *очевидно, что Поместному Собору нужно приобрести не только де-факто, но и де-юре тот статус, который и так сформировался у него в новейший период истории Русской Церкви. Поместный Собор должен стать красивой процедурой утверждения уже (sic!) избранного епископатом предстоятеля Церкви. Ибо, как нам снова и убедительно доказали, именно епископат может и должен избирать первоиерарха. Поместный Собор — как символ соборности, как часть церемониала по избранию и возведению в патриаршее достоинство избранного патриархом. А дискуссии должны переместиться на другие площадки, которые, Бог даст, действительно в скором времени будут появляться. Предсоборное присутствие — это очень важное словосочетание, которое прозвучало на завершившемся сегодня Поместном Соборе. Клирики и миряне могут и должны принимать активнейшее участие в жизни Церкви. И если идея предсоборных присутствий получит свое продолжение, то это будет уникальная возможность по формированию повестки дня Соборов Архиерейских, которые и должны разрешать накапливающиеся вопросы. Очевидно, что назначенные по большей части делегаты нынешнего Поместного Собора совершенно не были готовы к тому, чтобы говорить о чем-то другом, кроме как избрать предстоятеля. За это никого нельзя винить. Но также очевидно, что необходимо создать такие условия, чтобы народ Божий имел реальную возможность говорить о том, что реально стоит на повестке дня, говорить так, чтобы чувствовалась обратная связь с теми, от кого зависит принятие конкретных решений. А там, Бог даст, вдруг появит-*

ся понимание, что и Собор 1917–18 годов не был канонической аномалией. Но не все сразу...

1 февраля, в воскресенье, состоялась интронизация новоизбранного патриарха. *Церемония началась с того, что 200 архиереев вышли на центр храма, выстроившись вдоль дороги к алтарю. Рядом с ними, на небольшом амвоне, дожидались своего часа зеленая мантия с уже вышитыми на ней инициалами нареченного патриарха и белоснежный патриарший куколь. За золотой стеной из священнослужителей расположились миряне, благоговейно наблюдавшие за церемонией. Среди них были замечены главный прокурор России Юрий Чайка, режиссер Никита Михалков, губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, мэр Москвы Юрий Лужков и глава РЖД Владимир Якунин. Особое место, в непосредственной близости к алтарю, было отведено президенту России Дмитрию Медведеву и главе республики Молдова Владимиру Воронину. Рядом с Медведевым и Ворониным стояли их жены. Премьер-министр Владимир Путин жену с собой брать не стал. Вместо нее возле премьера стояла вдова президента Бориса Ельцина Наина*, — пишет газета **«Газета»** (02.02).

Два старших архиерея из числа постоянных членов Священного Синода — митрополиты Владимир Киевский и Владимир Санкт-Петербургский — берут нареченного Патриарха под руки и возводят на Патриаршее горнее место, берут его под руки и три раза посаждают его на трон. Трижды возглашается «Аксиос», что с греческого переводится как «достоин». Возглашает «Аксиос!» Блаженнейший митрополит Владимир Киевский, затем подхватывают архиереи, потом — и весь народ с хором, — продолжает рассказ об интронизации Интернет-издание **«Православие и мир»** (02.02).

Затем Патриарха Кирилла облачили в патриаршие богослужебные одежды темно-зеленого цвета с золотым шитьем, возложили на него крест и две панагии (панагия — икона Божией Матери). Две панагии имеет право носить только Патриарх[2]. *Справа от Царских врат встал диакон с предносимым патриаршим крестом. Собственно, с этого момента митрополит Кирилл стал Святейшим Патриархом Московским и всея Руси*, — сообщают **«Известия»** (02.02).

По окончании церемонии Кирилл зачитал речь. В ней он, в частности, заметил, что является сторонником единства православия и «доброжелательного диалога между церковью и государством». Нового патриарха лично поздравил президент России. «Ваше служение — действительно исключительно сложный, великий крест», — сказал Медведев, — пишет газета **«Труд»** (02.02).

Многие издания приводят биографию нового патриарха. Вот как, например, это сделала **«Комсомольская правда»** (02.02): *Кирилл (в миру — Гундяев Владимир Михайлович) — 16-й Патриарх Московский и всея Руси. Родился в 1946 году в Ленинграде, в семье священника.*

---

[2] С 2004 года правом ношения второй панагии обладают: Святейший Патриарх Московский и всея Руси, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины и Высокопреосвященнейший Митрополит Токийский и всей Японии. Все архиереи, получившие эту награду до 2004 года, сохранили право носить две панагии только на территории своей епархии — http://ru.wikipedia.org/wiki.

В 1969 году пострижен в монашество. В 1970-м с отличием окончил Ленинградскую духовную академию, кандидат богословия. В 1971 году возведен в сан архимандрита и назначен представителем Московского патриархата в Женеве. В 1974-м назначен ректором Ленинградской духовной академии и семинарии. В 1976-м хиротонисан (рукоположен) в епископа Выборгского. В 1977 году возведен в сан архиепископа. В 1978-м ему поручено окормление Патриарших приходов в Финляндии. По поручению церкви выполнял миссии в Венгрии, Канаде, Франции, Болгарии, США, ФРГ, Перу, Греции...

В 1984 году назначен архиепископом Смоленским и Вяземским (с 1989-го — Смоленский и Калининградский). С 1989 года — постоянный член Священного Синода. В сан митрополита возведен в 1991 году.

6 декабря 2008 года в связи с кончиной Алексия II тайным голосованием избран местоблюстителем Патриаршего престола.

27 февраля Поместным Собором избран новым патриархом Московским и всея Руси.

1 февраля возведен на Патриарший Престол.

Рождественские образовательные чтения

В Москве прошли традиционные, семнадцатые по счету, Международные Рождественские образовательные чтения. На этот раз в связи с выбором нового патриарха они были перенесены и состоялись несколько позже обычных сроков их проведения. На праздник Сретения патриарх Московский и всея Руси Кирилл открыл в храме Христа Спасителя этот представительный форум.

В форуме принимают участие делегаты из большинства епархий Русской Православной Церкви. В президиуме Чтений можно было увидеть митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия (Пояркова), митрополита Калужского и Боровского Климента (Капалина), митрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия (Фомина), представителей высшей государственной власти РФ, а также министра образования и науки РФ Андрея Фурсенко и видных деятелей российского образования, — пишет информационное агентство **«Благовест-инфо»** (16.02).

По сообщению агентства, тему XVII Рождественских чтений «Наука, образование, культура: духовно-нравственные основы и пути развития» патриарх представил в контексте новых вызовов времени. Говоря о духовно-нравственных основах и путях развития науки, образования и культуры, сославшись на мировой опыт, он подчеркнул: *У нашего народа вообще нет будущего, если наука и образование не станут национальными приоритетами,.. если настоящая культура будет влачить жалкое существование на фоне расслабляющей вакханалии масскульта.*

Патриарх разъяснил церковную точку зрения на преподавание основ православной культуры. Во-первых, это добровольность изучения религиозной культуры в сочетании с правом отказаться от этого предмета в пользу уроков светской этики для неверующих школьников. Во-вторых, это качественная подготовка педагогов: они должны пройти обучение в признан-

ных центрах высшего образования или повышения квалификации, при участии соответствующих религиозных общин.

Газета **«КоммерсантЪ»** (16.02) отмечает, что стратегия публичного «ненападения» на Минобрнауки, которую декларировал новый предстоятель РПЦ, как никогда приблизила церковь к легализации православия в светской школе. Выступление главы Минобрнауки Андрея Фурсенко на Рождественских чтениях было весьма дипломатичным. Так, он впервые заговорил о том, что образование должно отвечать «духовным запросам» населения: *Наша общая задача — обеспечить школьников, семьи в образовательных учреждениях свободой выбора, предоставить им возможность самим решать, духовно-нравственный опыт какой религии или нерелигиозной традиции изучать и в какой форме.* В новые образовательные стандарты, по информации «Ъ», уже заложен блок «духовно-нравственного воспитания школьников». И Минобрнауки больше не рассматривает универсальный культурологический курс истории религиоведения как единственный вариант преподавания религиозного знания в светской школе. Издание обращает внимание читателей и на то, что Андрей Фурсенко объявил о начале государственного лицензирования духовных семинарий. Пока право на лицензирование получили лишь три духовных семинарии — Московская, Смоленская и Хабаровская. Однако в РПЦ рассчитывают, что это лишь *первые ласточки интеграции религиозной и светской школ.*

«Газета. Ру» (16.02) крайне негативно восприняла слова министра. *Эксперты уверены, что сертифицированные преподаватели РПЦ нужны, чтобы сделать основы православной культуры обязательным школьным предметом*, — пишет издание. В Русской Православной Церкви заявлению министра Фурсенко обрадовались, продолжает тему газета, но пока предпочитают относиться к нему с осторожностью. Минобрнауки до последнего времени противилось введению ОПК в российских школах. Также ведомство под давлением научного сообщества долго отказывало в госрегистрации богословским вузам.

Как отмечает автор статьи **«Преподавание религии станет стандартом»** в **«Газете-GZT.ru»** (16.02) **Надежда Кеворкова**, до сих пор подходы к преподаванию такой дисциплины, как основы православной культуры, устанавливались на региональном уровне. Однако в прошлом году региональный компонент был отменен, и судьба религиозных дисциплин в школах оказалась неясной.

Наша общая задача — обеспечить школе и семье свободу выбора, опыт какой религии или нерелигиозной традиции изучать и в какой форме, — приводит издание слова из выступления Андрея Фурсенко.

Кеворкова пишет: *Представители Церкви и государства продемонстрировали, что пришли к договоренностям по главным направлениям, а именно: религия в школе будет, но преподаваться она будет на принципах добровольности.*

Газета **«Известия»** (18.02) отмечает, что взгляды министра образования и науки и Святейшего Патриарха в отношении преподавания в школах «Духовно-нравственной культуры» (ДНК) оказались близки. Но несмотря на обнаружившееся единодушие, пока не ясно, когда именно в

школьном расписании появится новый предмет. По сведениям «Известий», в новом учебном году если и появится ДНК, то лишь в нескольких областях, в порядке эксперимента. Стандарт ДНК пока не готов, нет нормативных документов, определяющих порядок выбора школами этого предмета. *Мы должны подготовиться, обеспечить возможность реального добровольного выбора. Вообще введение новых образовательных стандартов — процесс не быстрый*, — сказал «Известиям» Андрей Фурсенко. Означает ли это, что если новый предмет не появится, то в регионах продолжат учить ОПК? *Если новый стандарт не введен, будет работать прежний*, — ответил министр.

Павел Круг в газете **«НГ-Религии» («Патриарх Кирилл делает ставку на молодежь»**, 18.02) резюмирует: *Вопрос об «Основах православной культуры» не случайно вновь возник сейчас, когда миссия среди молодежи стала одним из приоритетов в деятельности РПЦ. Церковь ищет язык, на котором она сможет адекватно общаться с молодым поколением. И вообще всячески стремится показать, что она «не карательная инстанция, а любящая мать» (как заявил патриарх Кирилл, встречаясь с православной молодежью накануне Рождественских чтений). Ради того чтобы привлечь молодежь, Церковь готова даже смириться с таким чуждым ей, но ставшим широко популярным праздником, как День св. Валентина. Ставка делается на появление сотен тысяч новых прихожан, которые изменят лицо РПЦ. Этой цели, безусловно, служат и уроки «Основ православной культуры», которые так упорно отстаивает патриарх Кирилл.*

Полемика вокруг уроков толерантности

Сайт permeparhia.ru опубликовал 10 февраля открытое письмо епископа Пермского и Соликамского Иринарха (Грезина) к *«согражданам, руководителям учреждений образования и культуры, руководителям губернской и областной администрации»*. Письмо было приурочено к конференции «Толерантность как основа для взаимодействия религиозных конфессий в решении социальных проблем» в краевой библиотеке.

Письмо главы епархии после републикации на сайте **«Интерфакс-религия»** (10.02) получило широкую огласку. В частности, **«Ежедневный журнал»** (11.02) привел текст послания.

Как объясняет епископ в своем обращении, сегодня слово «толерантность» на самом деле означает *полную обреченность людей воспринимать без сопротивления во всех сферах общественной жизни все без исключения явления мира сего... включая всякую гадость, которые не соответствуют их нравственным и культурным представлениям и традициям*. Это, по мнению владыки Иринарха, является *прямой экспансией против российской государственности*.

Предпринимается попытка привития нашему народу приемлемости порока. Истинная цель здесь состоит вовсе не в борьбе с экстремизмом, а в стремлении зарабатывать на людских пороках и слабостях через игровые клубы, автоматы и казино, через ночные клубы, порноиндустрию, наркоманию, — считает архиерей.

По мнению владыки Иринарха, русский народ *учить терпению не надо*, но в то же время *неплохо бы другим поучиться великому терпению многонационального русского народа и преклонить колени перед ним.*

Не следует только испытывать терпение народное и эксплуатировать его, что и пытаются предпринять некоторые западные модераторы и различные религиозные эмиссары, — заявляет епископ.

Он призывает всех сограждан сообщать благочинным округов, настоятелям храмов или в Пермское епархиальное управление о нарушениях прав школьников в этой сфере — для *защиты православных граждан и их детей от насильственного внедрения в их сознание идей псевдодуховности и толерантности.*

Комментируя в «Ежедневном журнале» слова Иринарха, публицист **Алексей Муравьев** говорит: *Да, толерантность, понимаемая как «терпимость к греху», для христианина неприемлема, он должен с грехом бороться. Но неплохо бы при этом начать с себя. Понятие «толерантность» произошло, кстати, не от латинского слова «tolerantia», а от немецкого Toleranz и связано с рефлексией в западной философии опыта Второй мировой войны и Шоа (называемого также Холокостом). Этот опыт оказался востребован и в российском обществе, пережившем в XX веке немало тяжелых лет. Употребление слова можно ставить под вопрос вместе со всей прозападной («европейской») парадигмой российской культуры. Иначе не получится.*

Прозаик **Людмила Улицкая** в **«Новых известиях»** (12.02) утверждает: *Если мы не научимся пониманию того, что люди могут по-другому выглядеть и есть другую еду, по-другому устраивать свои семьи и реагировать на множество бытовых вещей, мы все время будем находиться в состоянии самой ужасной войны, которая может быть, — войны у себя дома. А те, кто этого не понимает, рано или поздно станут жертвой своей собственной установки.*

Газета **«Известия»** (12.02) также обратила внимание на выступление Иринарха. В Московском патриархате «Известиям» заявили: *Церковь открыта для общения с иными конфессиями, а причислять владыку Иринарха к диомидовцам нет никаких оснований.*

Религиовед **Роман Силантьев** сообщил изданию, что в Перми у православных с мусульманами хорошие отношения, и архиерей намерен развивать двусторонние связи с разными общинами. По словам ученого, уроки толерантности требуют осторожности: *Если на одном уроке говорить о любви к гомосексуалистам, евреям и неграм, то ничего хорошего ни для православных, ни для негров, ни для евреев не выйдет.*

Станислав Минин в газете **«НГ-Религии»** (18.02) отмечает: *Толерантность не предполагает ни нигилизма, ни релятивизма, ни прочих жупелов, которыми духовенство пугает непросвещенный народ. Толерантный человек всего лишь признает за другим человеком свободу выбора. Это признание никоим образом не противоречит христианству. Выбор другого человека может быть неприемлем для вас лично. Однако этот выбор — факт и повод задаться простыми вопросами: «Почему я решил по-другому? Почему я поступаю так, а не иначе?»*

По мнению автора, *агрессивный тон епископа Иринарха объясняется не только его неспособностью вести цивилизованный диалог со светским обществом. Это тон человека, почувствовавшего личную угрозу. Здесь чутье, по всей видимости, не подвело пермского иерарха. Уроки толерантности, безусловно, носят воспитательный характер. И воспитывать они будут нечто противоположное дремучести, явленной в пермском письме.*

В заключение Минин пишет: *Многие энтузиасты избрания митрополита Кирилла на Патриарший престол связывают с его именем надежду на новый виток в диалоге со светским обществом. Пермская эпистола не поможет Церкви на этом пути. Это тупик. Расстояние между ним и нормальным диалогом — это марафонская дистанция. Расстояние между ним и идеями епископа Диомида, в свою очередь, преодолевается в два-три шага.*

Обзор подготовили Александра и Борис Колымагины

РЕЛИГИОЗНАЯ МЫСЛЬ

в русской сетевой и бумажной периодике
четвертого квартала 2008 г.

О покаянии церкви за исторические грехи

Портал Credo.Ru 18 декабря 2008 публикует большую статью **Н. Барановой «О покаянии в Русской Православной Церкви за грехи, совершенные в истории»**. Эта статья, как замечает в предисловии автор, писалась несколько лет и во многом вдохновлена опытом покаяния послевоенной Германии, показавшим, что позитивные изменения возможны не только в теории, но и на практике. Причины Катастрофы 1917 года сокрыты, прежде всего, в исторических грехах, совершенных в церкви, а *прекратить негативное развитие событий* может только церковное покаяние, — утверждает Баранова, подкрепляя свой вывод многочисленными ссылками на российских новомучеников, исповедников, духовных писателей XX века.

Вот некоторые из цитат, приведенных в статье:

...Мы все больше и больше понимаем суждение людей того времени и времени более позднего,.. которые говорят, что именно церковь была главной виновницей этой Катастрофы. Она... трагическим и роковым образом не успела изменить в себе и вокруг себя — в народе, в стране, в культуре, во власти — все то, что вело к катастрофе... Сейчас многие, восстанавливая церковную жизнь, возрождают ее по нормам XIX века (лишь XIX века!),— это страшно, страшно именно потому, что за XIX веком как раз и последовал семнадцатый год. Не хотим же мы, чтобы на нашу страну катастрофы обрушивались дважды — ведь выдержать это уже не будет никаких сил! (о. Георгий Кочетков).

«Время начаться суду с дома Божия» (1 Петр 4:17) ...Все стороны церковной жизни... предстали перед судом Нового Завета... Этот суд был страшный, потому что почти ничто не могло устоять <...> И суд Божий обрушился на тех, кто своей жизнью осквернил имя Его. И наше дело — не судить, наше дело понять, что и мы с вами повинны в этом церковном разорении, мы — рядовые верующие люди» (арх. Сергий (Савельев)).

В то же время, замечает Баранова, Русская Православная Церковь в целом пока не признала события 17-го года судом Божиим над собою. А канонизация новомучеников — в отсутствии ответа на их призыв к покаянию — ничего не значит сама по себе.

Исследуя тексты таких духовных писателей, как сщмч. прот. Сергий Мечев, свт. Афанасий Ковровский, мч. М. А. Новоселов, архим. Сергий (Савельев), А. К. Горский, Н. А. Сетницкий, архим. Спиридон (Кисляков), прот. Григорий Петров, П. К. Иванов, прот. Павел Адельгейм, автор отмечает, что мысли их созвучны и во многом почти буквально повторяют друг друга.

Какие же грехи, приведшие к Катастрофе, выявляет в церкви соборный голос новомучеников, исповедников и духовных писателей XX века?

Первый и главный — ***забвение Христа***: *Хотя лично Христа христиане устами своими считают Своим Богом,.. но что касается Его учения, то... христиане... своею жизнью стали прямо во враждебное к Нему отношение»* (арх. Спиридон (Кисляков)). Причем, как считает арх. Спиридон, *государство сознательно и целенаправленно на протяжении Константиновского периода русской истории искажало в своекорыстных целях подлинное вероучение церкви.* Забвение Христа привело к размытости границ церкви, и во время революционных испытаний, стихийно, через гонения совершался процесс определения этих границ. Скорби *углубляют ров между верой и неверием; переводят колеблющихся... между Христом и миром на ту или другую сторону,.. размежевывают области Христа и антихриста, приуготовляют настоящих слуг Тому и другому* (мч. Михаил Новоселов).

Второй грех — ***отсутствие просвещения в церкви***, когда в центре служения просветителя оказывается не Христос, а кто-то или что-то иное. *Речь красивая и ловкая, оперирующая христианскими терминами, но смыслом христианским не наполненная, представляет собой серьезную опасность* <...> *Расплатой за подобные «проповеди» становятся искалеченные судьбы. Плод такого «просвещения» — атеистическая страна.*

Третий грех — ***искажение принципов единства и соборности в церкви***. *Церковное единство неминуемо разрушается, если епископ впадает в прелесть относительно своего служения... перестает отличать себя от Христа Спасителя... Богочеловечество подменяется человекобожеством.*

Автор приводит мысли о. Павла Адельгейма:

Устав РПЦ допускает в управлении епархией «соборное содействие клира и мирян». Но в действительности епископ правит единолично... Дисциплинарное право епископа... ничем не ограничено и не предусматривает контроля... Епархиальный архиерей избирается Священным Синодом, получая о том Указ Патриарха... Назначая епископа, Синод не принимает во внимание мнение клириков и мирян его будущей епархии. Они обязаны подчиниться воле Синода и принять чужого, совершенно неизвестного им человека в качестве отца, оказывая ему сыновнее доверие... Избрание патриарха... также осуществляется в закрытом заседании. *Такая практика отменяет принцип всенародного, соборного избрания патриарха, учрежденный Поместным Собором 1917/1918 годов.*

Определение Поместного собора 1917/1918 годов гласит: «В Православной Российской Церкви высшая власть — законодательная, административная, судебная и контролирующая — принадлежит Поместному Собору <...> Однако Устав 2000 года исключает из компетенции Поместного собора «законодательную», «контролирующую», «административную» и «судебную» власть. Компетенция «высшей власти», которая «принадлежит Поместному Собору», в пункте 1-м неконкретна. Устав 2000 передает высшую «законодательную и судебную» власть Архиерейскому собору, а «исполнительную» — Патриарху и Синоду... Новый статус Архиерейского собора делает Поместный собор лишним органом власти». Власть в РПЦ на данный момент... сконцентрирована в руках узкого круга архиереев.

О. Павел обобщает и положение прихожан: *Они непричастны к управлению приходом, лишены участия в обсуждении проблем приходской жизни и*

практики, отстранены от церковной инициативы и творчества (о. Павел Адельгейм. «Догмат о Церкви...»)

Четвертый грех — ***ошибки церковно-государственных отношений***. Арх. Спиридон (Кисляков) говорит о подлинном смысле знаменитых слов IV века «Сим победишь!»: *Эти слова... тождественны и однородны... с третьим искушением Христа в пустыне: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их,.. если Ты поклонишься мне, то все будет Твое» (Лк 4:6-7). Так в лице императора Константина члены церкви столкнулись с искушением властью, выдержали ли они его?* О. Спиридон, пишет Баранова, отвечает на этот вопрос однозначно*: «Увы! Христиане четвертого века не устояли перед соблазном этой дьявольской идеи,.. они слепо обманулись, с открытыми объятиями они приняли ее за откровение неба и вследствие этого подверглись страшному провалу.*

По мнению арх. Спиридона, фактически и исторически слияние церкви и государства совершилось в 314 году в Арле на соборе, когда епископы предали анафеме всех, кто из христианских, религиозных принципов отказывался служить в армии. С момента, когда христиане дали свое согласие на участие в военных действиях, прекратились и гонения. *Прежде мир ненавидел их, гнал, мучил,.. а теперь сами христиане своею исключительною дьявольскою жесткостью... заливают весь мир человеческою кровью.*

Итогом многовековой церковно-государственной «симфонии», как указывает статья, стало забвение Евангелия. Неудивительно, что на момент революции *управление церкви оказалось в руках беспомощных или недостойных людей* (О. Сергий (Савельев)).

Пятый грех — ***нарушение этических норм в церкви***. Современное христианство, пишет Баранова, живет более политикою мира, чем Христом, более язычеством, чем нормами Евангельской жизни. Причины этого — отсутствие практики научения верующих основам христианской этики.

Практика доносов, существовавшая в Русской Церкви на протяжении нескольких сотен лет, достигла своего апогея в XX веке, когда был явлен редчайший в истории пример самоуничтожения нации. Арх. Сергий (Савельев) пишет о том, как он впервые оказался в среде духовенства: *На всех были маски, и что скрывалось за ними, оставалось неизвестным. Все опасались друг друга. Не доносчик ли? Не агент ли? Это опасение неотступно преследовало всех,.. поэтому в общении друг с другом все были предельно осторожны»* (арх. Сергий (Савельев)).

Арх. Сергий разводит понятия Церкви как непорочного Тела Христова и церкви как организации: *Церковь создал Христос своею Пречистою Кровью. Она — совершенное и непорочное Тело Его и находится вне власти человека. А внешнюю церковную организацию создают люди, и она отражает на себе их нравственное достоинство. Чем дальше эти люди отстоят от Христа и чем порочнее их жизнь, тем порочнее организация, которую они создают <...> Такую организацию можно ликвидировать, но ликвидация ее не затронет существа Церкви даже в ничтожной степени.*

Шестой грех — ***профанация*** (т. е. подмена цели и смысла) ***служения***. Святитель Афанасий Ковровский в середине XX века возвращается к мысли свт. Феофана Затворника о необходимости скорейшего перевода бого-

служебных книг: *Исправление церковных книг — неотложное дело. Надо не только то, чтобы православные умилялись хотя бы и непонятным словам молитвословий. Надо, чтобы и ум не оставался без плода <...> в настоящей церковной разрухе в значительной доле повинны мы тем, что не приближали наше дивное богослужение, наши чудные песнопения к уму русского народа.*

Арх. Спиридон говорит о вреде «утаивания» от народа евхаристических молитв (как известно, эти молитвы обычно не читаются на Литургии вслух). А также о профанации канонизации, когда церковь в угоду государственной власти включала в ряды своих святых бесчисленное множество царей, князей, всякого рода вельмож с их женами и детьми. Упоминает он и о широко распространенной практике массового причастия Святыми Тайнами солдат, которые затем шли убивать; о «проповедях», вдохновляющих на зверское истребление врагов; о подтасовках Евангельских текстов и исторических фактов с целью оправдания народной бойни и придания ей религиозно-нравственного характера.

Свящ. Павел Адельгейм говорит о профанации приходской жизни: *Община безучастна к радости брака, рождения и крещения <...> Крещение и венчание совершаются безлюдно, словно украдкой, «за углом». В опустевшем храме, как «частная треба», совершается рождение христианина в Церковь и его воцерковление. В чем смысл воцерковления?*

Находясь в ссылке, о. Сергий Мечев, писал своей общине: *Ныне храмы, воздвигнутые руками человеческими, разрушаются, но в покаянной тоске по ним поднимаются храмы, созданные руками Божиими. Огоньки смиренного мученичества вспыхивают повсеместно <...> В покаяльных храмах отходящих душ их возносятся... молитвы за грехи всей церкви,.. — церкви, не нашедшей в себе, даже в годину исключительных бедствий, целительных слез покаяния.*

Баранова задается вопросом о возможных конкретных путях покаяния в современной России и честно признает, что таких путей пока не видно и нам доступно лишь *усилие на объединение в молитве о даре прощения и покаяния, просвещения и обновления российских церкви и общества.*

В заключение статьи Баранова приводит мнение историка Филиппа Буббайера, метко заметившего: *Часто, когда люди говорят много о том, что нужно покаяться, они хотят, чтобы покаялся кто-то другой.* Однако, считает д-р Буббайер, *изменения всегда начинаются с самого себя, нельзя требовать изменений от другого человека.*

Церковь с большой и маленькой буквы

Книга «Церковь с большой и маленькой буквы», подписанная псевдонимом **Священнослужители N-ской епархии**, появилась в конце прошлого года на сайте «Uusi kotimaa — Новая родина». Тогда же отрывки из нее были опубликованы в «Новой газете» (№ 65) под заголовком **«Марксизм-ленинизм живет и побеждает в церкви»**. Авторы сообщают, что их работа задумана в качестве своего рода дополнения к книге прот. Александра Борисова «Побелевшие нивы», а также к трудам иерея Павла Адельгейма «Догмат о Церкви в канонах и практике» и монахини N «Плач третьей птицы» (последняя книга также опубликована на сайте «Uusi kotimaa — Новая родина»).

Свою работу авторы начинают с определения слова «Церковь», замечая, что *почти все современные богословы сходятся во мнении, что известное определение Церкви как «общества верующих...» (т. е. людей) неприемлемо. Оно не включает в себя ни сонма праведных душ в ином мире, ни ангелов,.. а также не указывает на характерную особенность органичности и единства самого общества.* Определение, данное «священнослужителями N-ской епархии», таково: *Церковь есть органическое единство во Христе всех разумных существ (людей и ангелов), устремленных к Богу свободной волей.* И лишь к этой нерукотворной Церкви (воистину, святой и непорочной) можно прилагать понятие Церкви с большой буквы.

Из всех недостатков церкви с маленькой буквы в первую очередь отмечена проблема разделенности. Церковный раскол авторы считают провиденциальным: *Господь рассеивает строителей Вавилонской башни, определяя множество языков, чтобы возникло затруднение в общении между племенами,.. сохраняя тем самым человечество от гораздо больших бед, чем разобщенность народов...* В разделении церкви *вполне допустимо видеть предотвращение значительно большего зла... К чему же могло бы привести организационное единство Церкви под властью одного папы или патриарха? Думается, что в этом случае кто-либо из людей, облеченных столь великой и ответственной властью, мог бы не выдержать искушения князя мира сего... Земная церковь могла бы превратиться в нечто подобное вавилонской башне... На этот момент указывал когда-то свт. Киприан Карфагенский, объясняя необходимость единой Церкви во множестве епископов: «Епископов для того и много, чтобы в случае уклонения от истины одного принимали другие на себя заботы о стаде Христовом».*

Отсюда следует вывод о бесплодности и даже смехотворности попыток *искусственными, механическими приемами соединить разделенные Богом церкви.... Действительно, по словам протестантского теолога Карла Барта, «единство Церкви не достигается, а обнаруживается». Почти о том же в начале XIX века говорил и русский православный митрополит Платон (Левшин): «Наши перегородки между церквями до неба не доходят». Но все же пока лучше нам оставаться хромыми и разобщенными, нежели во внешнем единстве со всех ног устремиться в геенну. Таким образом, в отношении современного экуменизма... сама собой напрашивается своего рода инверсия слов Спасителя (Мф 10: 9): что Бог разлучил, человек да не сочетает. Однако же парафраз этот отнюдь не исключает взаимного доброжелательного отношения друг к другу церковно разлученных, в том числе и религиозные диалоги.*

Следующий вопрос, который поднимается в книге: кого или что винить в церковно-государственных трагедиях? Авторы с тревогой отмечают, что сегодня крушение двух православных империй — Византийской и Российской — интерпретируется у нас в довольно причудливом ракурсе. *Оказывается,* — пишут они, — *держава Ромеев в XVI веке пала оттого, что просто обратила свой взор не на восток, то бишь на Русь, а на тлетворный капиталистический Запад. Затем благополучно и закономерно следуют националистические подтексты, отдающие душком обыкновенного фашизма в русской «православной» упаковке.*

Обосновывая христианский взгляд на события мировой истории, авторы книги отсылают к двум фрагментам Священного Писания: «торгу» Авраама с Богом о десяти праведниках в Содоме (*Десяти праведников там не нашлось, и города погибли* (Быт 18: 23–32)) и новозаветным пророчествам Спасителя: *Горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида!..* (Мф 11: 21 и далее), — и приходят к выводу, что состояние мира *держится не в силу каких-то договоров и всевозможных конгрессов, а только лишь благодаря молитвам единиц молитвенников за весь мир.<...> Бывает, как только уходит всего один праведник в мир иной, так сразу общий национально-духовный баланс изменяется, и начинаются катаклизмы...*

Таким образом, по мнению «священнослужителей N-ской епархии», крушения Израиля, Византии и России объясняются тем, что их *общегосударственная духовная интенция отклонилась от неба до какой-то особой критической отметки.* Для предреволюционной России — это *«оскудение преподобного»* за помпезной ширмой церковного и державного благолепия, это омертвение догмата, это парализующий консерватизм церкви, воспринятый, унаследованный и ловко спародированный большевиками. Авторы книги напоминают, что прот. Георгий Флоровский прямо указывал *на преступную «гербаризацию» церковных догматов как главную причину революционного низвержения Православия в России.* Связь тут проста: *над тем, что не развивается,.. нависает угроза отмирания.*

Переходя к осмыслению сегодняшней действительности, авторы книги отмечают, что освобождение церкви от семидесятилетнего атеистического плена не означало, увы, освобождения от «большевистского синдрома». Через двадцать лет исхода РПЦ из «советского Египта», пишут они, мы видим *полное отсутствие внутренних изменений... Церковь с маленькой буквы продолжает оставаться... все тем же старым котлом, собранным из осколков после взрыва и тщательно задраиваемого по всем осколочным швам. Создается такое впечатление, что идеалом всех членов современной русской церкви является полная реставрация во всех деталях того, что когда-то разлетелось на куски, подобно, например, восстановленному в Москве храму Христа Спасителя.* И нередко *молодой неофит, обратившись к семинаристу с вопросом о том, стоит ли поступать в семинарию, слышит краткий, но очень содержательный ответ: если хочешь окончательно потерять веру,— поступай.*

...И если на рубеже 90-х годов XX века, узнав о том, каким гонениям подвергалось Православие в советское время, многие, даже далекие от Церкви люди испытывали к ней искреннее уважение, переходящее в пиетет, то сейчас оно сменяется все более и более отрицательным отношением, переходящим в прямое осуждение и неприязнь,— резюмируют авторы.

Какие же пути исправления ситуации? В первую очередь необходима гласность. *Ведь коли мусор... все равно не утаишь, то не лучше ли посветить на него фонариком, чтобы затем ставшее явным сразу вымести вон с Божией помощью...* Ведь авторитету западного христианства вовсе не повредило покаяние папы Иоанна Павла II *в причинении людям страданий такими уродливыми явлениями в недрах церкви, как крестовые походы, ультимативный прозелитизм и инквизиция. Не повредили и опубликованные у нас недавно явные антиклерикальные статьи... папы Бенедикта XVI, написанные им*

еще в статусе о. Йозефа Ратцингера... Не унизило западную церковь и признание многочисленных фактов педофилии в среде высшего духовенства, а также непосредственное участие в реабилитации их жертв. Наоборот, объявление подобных пороков церкви с маленькой буквы, свидетельствующее о правдолюбии объявляющих, повышает ее авторитет в глазах многих христиан, да и не христиан тоже. Думается, гораздо хуже было бы для католиков продолжать шествовать путем утаения того, что всем известно и очевидно. Здесь действуют те же законы, что и в личной религиозной жизни: сугубым грехом является замалчивание греха и упорствование в нем.

Авторы приводят и такой пример. *В книге «Воспоминания тюремного священника», изданной в 1912 году, архимандрит Спиридон рассказывает о своих беседах с множеством баптистов и мусульман из числа заключенных. Как правило, все они начинали с поношения православной церкви и всех ее чад за нечестивый образ жизни. Батюшка все это молча выслушивал и искренне с болью и сокрушением соглашался, потому что возразить было нечего. Но проходило совсем немного времени, и эта правда, молитва и молчание приносили свои плоды: собеседники сначала исповедовались, а затем почему-то некоторые из них становились православными.*

Свою работу «священнослужители N-ской епархии» заключают такими словами: *Зависит от нас, произойдет ли в церкви надлежащее освобождение от большевистского духа и наследия, падение крепостных оков и органические изменения к лучшему, или же ее вместе с государством постигнут бедствия раскола и безумного обновленчества. Однако то, каким образом внешне, реально все это может произойти: пошлет ли нам Промысл Божий некоего патриарха-освободителя или начнется череда реформ, объявляющих и обличающих весь наш церковный сор и копоть с последующим очищением и благим обновлением — сие неведомо. Трудно сейчас представить, как именно оздоровить отношения между пастырями и паствой на многих приходах, как установить контроль за действиями архипастырей в епархиях и требуется ли введение института церковных судов. Ясно только, что главными определяющими здесь являются внутренние, никакими приборами не измеряемые показатели. Речь идет об общем количестве духовного света в сердцах членов церкви и количестве жажды власти в тех же самых сердцах. Без улучшения именно этих параметров и без того, что можно назвать церковной гласностью, всевозможные директивы, циркуляры и указания смогут только лишь слегка видоизменить негативные проявления в церкви, да и то не в позитивную сторону. Нам же остается лишь надеяться все-таки на лучшее и делать все возможное, начиная, прежде всего, с себя самих, т. е. с заповеданных нам дел личной религиозной жизни и пастырского служения.*

Церковь и постмодерн

1. Симуляция религиозности

Сайт «Богослов ру» 24 декабря 2008 публикует интересную статью **Дмитрия Разумовского «Рождество в эпоху постмодерна».** Подзаголовок у этой статьи весьма красноречив: **«Устав бороться с религией, секулярный мир избирает новую тактику: симуляцию религиозности».**

Статья начинается с характеристики эпохи постмодерна: *в постиндустриальном обществе произошла подмена реальности «гиперреальностью», в которой образ реальности полностью поглотил саму реальность. <...> Образ более не отражал окружающую реальность, не извращал ее и не маскировал ее отсутствие, как это происходило на предыдущих этапах истории, а просто вытеснил, встав на ее место... главным производителем реальности становится телевидение,.. завладевшие реальностью телевизионные образы и создают тот мир, в котором живет человек постиндустриальной эпохи.*

Человек, существующий в таком «мире подмен», лишь скользит по культурной поверхности, не углубляясь в смыслы. Рождество Христово — сердце христианского мира Европы, ее литургического календаря. И имитационный модус реальности проявляется здесь особенно ярко. Главным героем праздника Рождества Христова является сегодня Санта-Клаус, рождественский дед, в котором очень трудно узнать и даже упомнить святителя Николая Мирликийского (*протестантизм отказался от идеи почитания святых, в католическом литургическом календаре сегодня святой по имени Николай также не встречается*). Образ Санты закрепился в культурном сознании благодаря рекламному логотипу компании Coca-Cola. Родина Санта-Клауса — Америка, — по Бодрийяру, «*главный симулякр современности*».

Обычай празднования памяти святителя Николая в Америку принесли... новые жители голландских колоний, где Sinterklaas (святитель Николай) почитался как небесный покровитель Нью-Амстердама (будущий Нью-Йорк). *В основу визуального образа было положено изображение Санта-Клауса американским художником-графиком шведского происхождения Хеддоном Сандблумом, разработавшим в 1931 году первый проект образа «рождественского деда» по заказу компании Coca-Cola.* Это и предопределило судьбу образа Санта-Клауса. *Образ святителя Николая стал использоваться для рекламы напитка, ставшего настоящей «иконой» американской экспансии* (фабрики по производству кока-колы, отмечает Разумовский, в обязательном порядке строились в зоне присутствия США, с чем связан факт запрещения напитка в странах соцлагеря, а также некоторых исламских государствах).

В сегодняшнем глобальном мире образ Санты остается ярчайшим продуктом новой символической реальности, призванным обслуживать «рождественскую индустрию». Пользуясь терминами отцов философии постмодерна, можно сказать, что Санта-Клаус выступает как главный образ-симулякр глобального общества спектакля, «работающий» на вере человека в Чудо: *Окруженная рождественскими образами праздничная иллюминация, особая романтическая атмосфера, соединенная с ностальгическими личными воспоминаниями, подарки, семейный очаг создают иллюзию восстановления утраченной целостности, возвращения Золотого века за счет актуализации глубинных архетипов сознания, все еще хранящих память о главном Чуде Истории — Чуде Рождества Христова...*

Однако, как указывает автор статьи, центральным «сюжетом» праздника Рождества остается потребление. И в таком виде он завоевывает мир: Китай, Камбоджа, некоторые арабские страны. В рождественский «Konsumrausch» (потребительское безумие) постепенно впадает Япония. (Впрочем, в культурном пространстве Японии возник и проект альтернативного праздника,

главным героем которого стал «Дзента-Клаус», соединивший в себе мотивы дзен-буддизма с установками экологического сознания, результатом чего стал призыв сделать Рождество «Днем без покупок».)

Проблематичность идентификации сущности праздника Рождества ведет к своеобразному «развенчанию» образа Санты, обнаруживая главную интуицию, согласно которой *под маской может скрываться далеко не безобидное лицо.*

Эпоха постмодерна уже не ищет границ трансформации образа Санта-Клауса, так как поставлена под сомнение сама возможность какой-либо идентичности, — утверждает автор. И в качестве примера приводит инициативу нью-йоркского предпринимателя Рона Гомпертца, предложившего новый праздник Крисмука, объединяющий христианское Рождество и иудейскую Хануку. *Вполне логичный проект для цивилизации, осознающей себя сегодня как «иудео-христианская»,* — замечает Разумовский.

Но нарастает и сопротивление. Наиболее радикальный пример — проект американца Арта Конрада, установившего во дворе дома белый крест высотой 4,5 метра, на котором был распят Санта-Клаус. Конрад разослал своим друзьям открытки с фотографией распятого, которую сопровождала подпись: «*Санта умер за твою MasterCard*».

Автор заключает: *В плюралистическом «хаосмосе» эпохи постмодерна традиция празднования Рождества и связанный с ней образ Санта-Клауса вбирает в себя горизонт потенциальных превращений, возможных в мире совершившейся «деконструкции», в котором любая идентичность понимается как маска... Карнавал под маской поста — один из образов трансформации, претерпеваемой христианской культурой в «постметафизическом» мире, в котором неполиткорректными и подозрительными выступают любые намеки на такие понятия, как Центр, Исток, Истина. <...> В «обществе спектакля» карнавал становится одной из главных стратегий культуры, направленной на демонстрацию «веселой относительности всего»...*

2. «Постмодерн в церковной ограде»

Так называется доклад **Бориса Колымагина** на конференции «Духовное противостояние пустоте в церкви и обществе», опубликованный газетой «КИФА» (№ 14) и порталом Кредо. Автор доклада считает, что Русская Православная Церковь стоит сегодня перед задачей новой модернизации и что эта модернизация будет разворачиваться в постмодернистском контексте.

В России постмодернистский взгляд на реальность нередко подразумевает скандал (своеобразной квинтэссенцией такого подхода стала выставка «Осторожно, религия!»). Но, замечает Колымагин, в постмодернистском ключе охотно работает и сама церковь. *Многие жесты и культурологические ходы постмодернистов были повторены в церковной ограде, хотя исполнители и не всегда понимали, что работают в новой парадигме.* К таким жестам докладчик относит, например, аутодафе из книг Александра Меня и о. Иоанна Мейендорфа, устроенное в 1998 году в Екатеринбургской семинарии, а также схожую московскую акцию 2005 года, когда «Идущие вместе» и Союз православных хоругвеносцев выкидывали книги Владимира Сорокина в бутафор-

ский унитаз. В том же ряду Колымагин упоминает арт-проекты наместника Сретенского монастыря арх. Тихона (Шевкунова), чей фильм «Гибель империи. Византийский урок» — типичный постмодернистский симулякр.

История с вытравливанием из Сретенского монастыря миссионерской общины отца Георгия Кочеткова, по мнению докладчика, также несет черты постмодернистского перформанса. Как и недавняя публичная молитва арх. Тихона на паперти собора в память о том, как он восемнадцать лет назад молился перед закрытыми дверями храма, куда его «не пускали злые кочетковцы».

К объектам постмодерна Колымагин относит и *софринские поделки, штампы иконописи, тиражирование итальянского клиросного пения и многое-многое другое.* Но постмодернизм, замечает он дальше, не сводится лишь к скандалу. Постмодернизм соединяет *совершенно разные культурные конструкции... благодаря комментариям и комментариям на комментарии.* Постмодерн вобрал в себя архаику, легко вписался в новую культурную ситуацию и фундаментализм. *Не только среди «модернистов», но в самых тихих, традиционных приходах можно найти постмодернистский дискурс — в поведении прихожан, в проповеди священника, в храмовом убранстве. Постмодернизм со всеми его плюсами и минусами становится средой обитания,*— делает вывод автор.

...Конечно, радикальный отказ от этики, от духовной вертикали не позволяют Церкви ввести постмодернизм в церковную ограду, как это произошло с модернизмом веком раньше, — замечает Колымагин. Хотя здесь с ним можно было бы и поспорить. Как можно было судить по многочисленным публикациям, именно *радикальным отказом от этики* характеризовалась широкая пиар-кампания по выборам нового предстоятеля РПЦ. Да и сам Поместный собор предстал в зеркале СМИ одним великолепным постмодернистским медиа-перфоменсом, воскрешающим столетние традиции русской реальности от октябрьской революции до последних съездов КПСС и президентских выборов с их буйством предвыборных технологий.

Колымагин все же смотрит в будущее с оптимизмом: *Элементы постмодерна присутствуют в жизни многих церковных общин, и они не всегда несут негативные коннотации... Постмодернизм допускает не только деконструкцию, но и реконструкцию. Иначе говоря, внутри постмодерна можно осуществить проект модернизации.* И здесь с автором доклада можно полностью согласиться. Кажется, именно это и предстоит сегодня Русской Церкви и самой России.

3. «Протестантско-православный синтез в эпоху постмодерна»

В заключение остановимся еще на одном достаточно типичном взгляде на проблему постмодерна. Это опубликованный порталом Credo.Ru доклад профессора Духовной академии Содружества евангельских христиан России, доктора философских наук, пастора **Сергея Мезенцева** на конференции «Кризисные явления в современном российском протестантизме и способы их преодоления».

Постмодернизм, говорит Сергей Мезенцев, — это культурная эпоха, *стремящаяся «ужиться с хаосом»* и отрицающая христианство за его *при-*

тязание на истинность. Если модернисты видели в христианстве своего врага или во всяком случае противника, то *постмодернисты в полифонии (многоголосии) мировоззренческих учений христианство как серьезного оппонента не воспринимают.* Постмодерн безразличен к христианству, ибо вообще отрицает возможность истины как соответствия наших знаний объективной действительности. *Понятия «Бог», «истина», «нравственность», «вера», «грех», «добро» и т. п. перестали быть абсолютными* (как время и пространство в теории относительности Эйнштейна), превратившись в пустые словарные единицы. Учение Христа воспринимается *как нечто архаическое... или как утонченный элемент культурного гедонизма...*

Мезенцев констатирует: *Мы теперь можем свободно говорить об Иисусе Христе, но нас большинство людей не понимает. Из-за отсутствия единого понимания языка современные люди в принципе неспособны понять друг друга.* Истина оказалась расколотой на многие не связанные между собой фрагменты («у каждого своя постоянно изменяющаяся мораль», можно сказать «все истинно», или «все ложно»), а люди разделились на группы по интересам, по извлечению прибыли, выгоды, пользы, удовольствий.

В России ситуация постмодерна, как водится, проявилась в самой грубой, вульгарной форме. Вместе с тем русская культура имеет свои особенности, отличающие ее от западной. Мезенцев заостряет внимание на «славянофильской» и «западнической» парадигмах русской мысли, говорит о самоидеализации и «силе самоосуждения», свойственной русской культуре, вспоминает слова Достоевского: «*Сила самоосуждения... указывает на то, что в обществе есть еще силы. В осуждении зла непременно кроется любовь к добру, негодование на общественные язвы, болезни предполагает страстную тоску о здоровье*».

Итак, с одной стороны, максимализм и расколотость самой русской мысли, с другой, — глобальный хаос постмодерна, размывающий последние устои. Где же решение проблем?

Необходимо *преодоление вавилонского столпотворения*, главной болезни современной цивилизации, суть которой в том, что *смысл слов приписывается исключительно человеческому языку,* — считает Мезенцев. *Богоборчество сегодня облеклось в завуалированную форму имяборчества...* Но он убежден в том, что дело не проиграно: *вода льется и на наше колесо, и чем дальше, тем больше.* Автор приводит известное высказывание немецкого физика Вернера Гейзенберга: «*Первый глоток из сосуда естествознания порождает атеизм, но на дне сосуда нас ожидает Бог*».

Вторая проблема, на которую указывает Мезенцев, — взаимодействие с православием. У нас общий враг — грехи человеческие. Но мы, к сожалению, много сил и энергии расходуем на борьбу друг с другом, замечает он. И евангельским, и православным христианам необходимо объединить усилия. Необходимо сближение православия и протестантизма путем соединения духовного и материального, иррационального и рационального, внутреннего и внешнего, любви к Богу и любви к ближнему, православного богословия и богослужебной практики и протестантской этики, образа жизни. Этот синтез должен быть в достаточной степени «родным и близким» русской культуре, «русскому характеру».

* * *

Заканчивая обзор, отметим нечто общее, характерное, на наш взгляд, для всех представленных материалов. Все авторы обнаруживают понимание проблем, стоящих перед миром, страной, церковью, человеком, все готовы искать общее направление путей выхода из кризиса, но в конкретном воплощении мы оказываемся, увы, лишь перед бесконечным рядом вопросов. И, пожалуй, единственное ясное на этом пути осознание — необходимость начать с себя.

Видимо, специфика нашего времени такова, что к каждому оно обращено конкретно. И если мы действительно живем в мире, мудрость которого потерялась в знании, а знание в информации (Т. Элиот), и оттого слова его потеряли всякий вкус и смысл, все-таки у каждого каждый миг существует возможность развернуться и начать свой путь возвращения.

Что же до невозможности проповеди в «ситуации постмодерна», то и слова Спасителя в Его время не многими были услышаны. Но свою последнюю, полную победу Он совершил *в безмолвии* Воскресения. В мире, как и наш, переживавшем глубокий нравственный кризис, растерявшем всю свою веру и своих богов, в мире, в котором, как и в нашем, обесценились и потускнели все слова и смыслы, самой лучшей проповедью стало даже не слово, а *свет воскресения* на лицах первых христиан. И кажется, именно этого света больше всего не достает христианам нынешним.

Обзор подготовил Владимир Можегов

Владимир БИБИХИН

К ОБНОВЛЕНИЮ ВЕРЫ

От редакции

Людям, интересующимся проблемами религии, искусства и философии, хорошо знакомо имя Владимира Вениаминовича Бибихина (1938—2004). К тому же он был человеком публичным: с 1989 года В. В. Бибихин читал лекционные курсы, которые стали философским событием для его многочисленных слушателей. Многие его работы опубликованы, его переводы философских и богословских текстов получили широкую известность. Благодаря его переводам русский читатель познакомился с трудами таких мыслителей XX века, как М. Хайдеггер, Г.-Г. Гадамер, В. Гейзенберг, Г. Марсель, З. Фрейд, К. Ф. Юнг, Х. Арендт, В. Дильтей, У. Эко, Г. Зедльмайр, П. Тиллих, новейших французских философов (Ж. Деррида, А. Глюксман, Б. А. Леви, Ф. Везен, Ф. Федье и др.), писателей Антонена Арто, Эжена Ионеско, Генриха Белля, Федерико Гарсиа Лорки. Как переводчик и комментатор В. В. Бибихин занимался классической философией (Аристотель), греческой патристикой (Дионисий Ареопагит, Григорий Палама), латинским богословием, мыслителями Возрождения, немецкой мыслью XIX века. В 1998 году его книга «Новый ренессанс» была удостоена Малой Букеровской премии.

Однако настоящего признания Бибихин и его идеи пока еще, пожалуй, не получили. Как христианский религиозный мыслитель-персоналист, связанный с неакадемической школой «русской феноменологии», он оценен не в полной мере. Еще, увы, не до конца поняты оригинальность его мысли и значимость мобилизующего вектора его мышления для нашей эпохи духовной расслабленности и жизненного капитулянтства. Даже сама форма его мысли непривычна, на ее волну нужно настроиться.

В. В. Бибихин родился в Бежецке. С молодости он видел себя философом. После окончания школы попытался поступить на Философский факультет МГУ. В университет, однако, его не зачислили, и он идет рядовым в армию. После службы поступает на переводческое отделение Московского педагогического института имени Тореза. Затем преподает в вузах, а с 1972 года работает научным сотрудником Института философии АН. Бибихин был секретарем у А. Ф. Лосева. Собственные его философские труды, которые он в эти годы пишет в стол, начнут публиковаться только в 90-е.

Можно согласиться с тем, что отношения со «своим временем» составляли нерв мысли Бибихина, ибо свободная мысль о насущном, как он не раз утверждал, создает и спасает свое время. Основной темой Бибихина с начала и до конца остаются, по существу, две вещи: мир и слово.

К настоящему времени опубликованы меньше чем половина его подготовленных к изданию книг. Работа с огромным архивом философа и подготовка изданий ведется Ольгой Евгеньевной Лебедевой, его вдовой и всегдашней его сотрудницей и помощницей в работе. Она и предоставила «Континенту» для публикации печатаемый ниже небольшой текст В. В. Бибихина.

В экспозиции живописи, рисунка и пластики XX века новой Третьяковки после 1917 года почти все беспросветно. Разрозненность, одиночество, нет обещания, движения, будущего. Крик или жалоба, больше глухой ужас. Природа практически отсутствует с 20-х годов. С ее уходом невольно согласились уже тогда? Церковь, светская и духовная, осудит отчаяние художника. Она обойдет тем Христа, чью лямку он в меру сил тянет. На стороне художников захваченность, пусть черным экстазом. Ею богатые, они гнушаются соглашать, улаживать.

Мы смотрим еще один новый фильм о Христе, дорогой. Безумия эроса в картине нет, потому что режиссер и оператор не безумствуют, и как они могут? Одержимый, бесноватый, яростный остаются на экране поэтому иллюстрацией к Евангелию. Если не безумствовать, то жалко своих костей, они так удобны, удобнее авторучки. Подарить их можно только в экстазе, похоронить себя только в безумии. Услышьте в Евангелии нервное, страстное, дикое, влюбленное существо, нетерпеливое. Оно делает неуместным позднее благочестие евнухов. Там теснота, темнота, одиночество.

Что одно среди наводнения совершенно ясно: корабль веры держится чудом, сам собой. Большинство задыхается в себе сразу.

В. А., одаренный композитор, и В. Л., талантливая поэтесса, спутница в творчестве. Их забота — восстановление духовной иерархии на почве признания истинных ценностей. Высокая духовность. Они обращаются к власти с предложением исполнить на праздник грандиозное произведение, подразумевается, что о Христе и духе, изливающемся и расцветающем. Легко видеть, зачем им это было нужно. Труднее понять, как им теперь от этого избавиться.

Почему меньшинство тоже выглядит печально? С самого начала оно не решилось быть в меньшинстве, загляделось на всех, не стояло на своих ногах.

Стоит то, что вынуждено есть и пить, только когда в этом есть предельная необходимость выживания. Не стоит, не может стоять и не будет стоять то, что ест и пьет без крайней необходимости. Оно живет тогда для обеспечения себе возможности есть и пить. Между теми и другими прекращается надежда что-то сказать. Первых не слышно, они могут только показать; среди вторых, которым ясно, что человек должен сначала обеспечить себя, а потом говорить и думать, добывание еды и питья предшествует мысли и никогда не кончится.

Когда в деятельности нет необходимости, ей нет и предела. Сытость не предел, потому что при едении без необходимости цель не сытость, а надежное обеспечение возможности есть. Не коснувшись необходимости, невозможно отличить голод от зависти к едокам.

Талант так же привлекателен, как здоровье, бездарность так же отталкивает, как уродство, болезнь. Но рост жизни имеет целью не поддержание здоровья и преодоление болезни. Если жизнь хочет по-настоящему расти, она должна уметь вобрать в себя болезнь и нищету.

«Ты страдаешь [зачеркнуто: и боишься]. Это от того, что ты заснул и забыл, в чем жизнь твоя. Она только в установлении Ц[арства] Б[ожия] на земле, установлен[ие] же толь[ко] чер[ез рост твоей духовной] сущности. И то, что ты называешь страдан[ием], есть только поощрение росту, как гроза

растению. Соблюди только чистоту в твоей животн[ой], смирен[ие] в мирской и любовь в Божеской жизни при тех условиях, к[оторые] вызвали в тебе страдание, и ты увидишь, как то, что ты называешь страданием, превратится в радость сознания, увеличения жизни.

Радуясь лишеньям
..... униженьям
..... враждебности.

Для соблюдения же чистоты тебе нужны (!) лишения, для смирения нужны худая слава и унижения, для любви нужна враждебность к тебе людей (и если любите любящих вас, какая же вам и т. д.)» (Лев Толстой, записная книжка 16.7 и дневник 17.7.1889).

* * *

Печальные дамы вокруг гладких молодых священников, открывших мазохистскую жилку в пастве, уверенных от знания человеческого несовершенства и всем телом давящих в силу той правды, что люди несовершенны. Подавленные встречают это с пониманием. Давящий начинает чувствовать тоску по улаженному человечеству. Чем дальше оно, тем сильнее любовь к нему, до страсти. Ты собрался было жить, но тебя достанут, уличат, осудят: ты неправильный, не такой, какой должен быть. Поэтому сам ты жить не будешь.

Священник с узко поставленными глазами, хорошим голосом и пением, ровной речью говорит: «Надо направить свои стопы в храм». Скорее покой и согласие, рай. Беззащитный, зависимый, послушный работник, терпеливый, красивый, привязан к красоте верности, но не знает другой захваченности кроме как ею, обычно ради даваемого ею обеспечения. Попытки этого рая поддержать себя изнутри замыкают его тюрьму.

Крещеное священство как новое шаманство заняло все места старых культов, язычества, иудаизма, католичества, со смещением в сторону упрощения и властных санкций, т. е. со снижением уровня и с подстраиванием к государству. И как могло быть иначе? Почвенная стихия, тихое колдовство, льнущее к земле, лесу и к воде, к болоту, не могли измениться. От Христа неосторожное православие, Толстой прав, дальше чем то, что было до него. Но тексты, на которых оно стоит, остаются в нем бомбой замедленного действия и делают свое дело. Закопанные переводом, они проросли через него.

* * *

Один литературовед цитирует из розановских «Опавших листьев», короба второго, запись 292: «*Все-таки я умру в полном, в полном недоумении. В религиозном недоумении. И больше всего в этом Фл. виноват. Его умолчания*». Литературовед толкует: Розанову, называвшему Флоренского святым, нужно было разъяснение загадок религии, священник же не хотел распространяться о сокровенных тайнах, они были ему слишком высоки. Не дождавшись слова истины, Розанов умер.

Для нынешнего ожесточения умов эта кафкианская ситуация — недоумевающий умоляет, святой молчит, чтобы не осквернить истину профа-

нацией, — кажется нормальной. Читая притчу о том, как привратник не пригласил войти просителя, просидевшего весь век перед вратами, а войти, оказывается, было можно, мы чуть не соглашаемся: а как иначе, не всем же входить.

У литературоведа само собой разумеется, что Флоренский наверху в молчаливых прозрениях, Розанов внизу в неразрешенных сомнениях. Контекст записи 292 показывает другое. Умолчания Флоренского, из-за которых «умру в полном религиозном недоумении», — это нежелание говорить о неблагополучии в Церкви, неготовность расслышать трудные вопросы, победоносная уверенность. Розанов не людей понимал через отвлечения, а наоборот. Флоренский был для него современное православие в самом своем чутком, тонком, подвижном элементе. Но почему даже в нем победительная жесткость? Почему нет простой жалости к «незаконнорожденным» (церковь не записывала таких детей за реальными отцами), детям поневоле невенчанных родителей (церковь не утверждала гражданского развода)? Почему Флоренский пишет: «*Церковь бьет кнутом, потому что иначе стало бы хуже*»? Откуда уверенность в кнуте? Розанов в себе такой не знал.

«*Умру в религиозном недоумении*» значит у Розанова: если прислушаться к Флоренскому, выше которого кто же, — если смотреть даже на лучшего во всей Церкви, какой приходит раз в десятилетия, то и в нем пугающий холод.

«*Что же это, в конце концов, за ужасы, среди которых я живу, ужаснее которых не будет и светопреставления. Ибо это — друзья близкие, самые лучшие встреченные люди, и если нет, у которых — тепла, то где же еще-то тепло?.. Семья насколько страшно нужна каждому порознь, настолько же вообще все,— коллективным национальным умом, коллективным христианским умом, собирательным церковным сердцем, — к ней равнодушны и безучастны Флоренский мог бы и смел бы сказать: но он более и более уходит в сухую, высокомерную, жесткую церковность. Засыхают цветочки Франциска Ассизского*».

Значит, Розанов и здесь бездомный. «*Неужели не только судьба, но и Бог мне говорит: Выйди, выйди, тебе и тут места нет? Где же место? Неужели я без места в мире? Между тем, несмотря на слабости и дурное, я чувствую — никакого каинства во мне, никакого демонства, я — самый обыкновенный человек, простой человек, я чувствую — что хороший человек. Умереть без места, жить без места, нет, главное — все это без малейшего желания борьбы*».

От этой печали последнего расставания вдруг и Флоренский снова святой Паскаль, и Церковь вспыхивает золотым светом. «*Как не целовать руку у Церкви, если она и безграмотному дала способ молитвы: зажгла лампаду старуха темная, старая и сказала: Господи помилуй... Легче стало на душе одинокой, старой*». Старуха старая, темная, одинокая — тот же сам Розанов и есть.

* * *

Ситуация позволяет говорить об определенном или, подмывает на такое слово, надежном отношении нас к Богу. Бог оставил нас. Мы оставлены Богом. Это очевидное чудо, и вопрос, оставлены ли мы Им потому, что Он забыл нас, не только не решаем, но и не очень существен: важно, что оставил.

То, что, говоря и думая о богооставленности, мы не слышим дарящего смысла оставленности, — лишний пример странной глухоты современного человечества к тому, что оно само же формулирует. Глухота, конечно, создана информационным шумом. Шум как помеха информации преодолим. Но информация может преодолеть свой шум только еще бóльшим. Сон мог бы очистить, смыть шум. Сонный цветной туман *другой*, он как грязь мифа, как грязь языка, как очистительная грязь бахтинской карнавальной ругани. Но со сном сейчас произошло то же, что со смертью. Он обойден, сознание бессонно функционирует. Мы продолжаем расчетливо проходить пространства, оставлять свои следы земле.

Вровень с тем, что Бог нас оставил, было бы только оставление нами мира. И опять по странной глухоте в оставлении мира мы слышим свое оперативное изъятие, а не оставление его в покое. Загадочная глухота перечеркнула нам все, что мы слышим, отгородив от нас широту слова так же, как от нас отгорожен сон.

Мы оставлены богами. Услышим подарок в этой правде. Это наш ежеминутный опыт, хотя бы тот, что я тут сижу и продолжаю говорить, *оставлен* это делать. Я в себе никакого бытия и Бога не нахожу, но оставлен таким, бытующим в ничто. Я ничто, но от меня зависит выбрать в моей оставленности подарок свободного отношения к бытию или другое, *никакое* ничтожество.

* * *

Когда Василий Васильевич Розанов к своей невыразимой радости и удивлению (его слова из ответного письма) получил из Оптиной пустыни сначала он говорит *посылку*, потом называет *письмо* из Оптиной пустыни с надписью «От К. Н. Леонтьева», датированное 13.4.1891 года (12.11.1891 года Леонтьев скончается от воспаления легких в монастырской гостинице Сергиева Посада), он считал Леонтьева монахом уже давно. На самом деле 18.10.1891 года в Сергиевом Посаде меньше чем за месяц до смерти Леонтьев все еще только готовился к монастырю: «*Я разрушаю теперь свой домашний, семейный строй в ожидании возможности поступить куда-нибудь в ограду в некоторого рода "безмолвии". "Безмолвие" по-монашески не значит "молчание"; это значит более или менее беззаботное, беспопечительное одиночество, разумеется, с постом и молитвой*».

С другой стороны, уже его первое коротенькое письмо говорило о монашестве: «*Усердно молю Бога, чтобы вы поскорее переросли Достоевского с его "гармониями", которых никогда не будет, да и не нужно. Его монашество — сочиненное. И учение ст. Зосимы — ложное; и весь стиль его бесед фальшивый. Помоги вам Господь милосердный поскорее вникнуть в дух реально-существующего монашества и проникнуться им*».

Вялый Христос в легенде о великом инквизиторе, молча целующий инквизитора в «*бескровные уста*», тоже сочинен Достоевским; Леонтьев спрашивал обо всем этом у монахов, и они «*подтвердили мое мнение*».

Примечание Розанова к этому месту: «*Едва ли Леонтьев наивничал, обращаясь к ним (!) «за разъяснением»*». *Они* отдельные, от нас далеко, отошли

в свое, отгородились от наших бед, стряхнули с себя нас, наш крест потерянного, загнанного доброго человека, который в мирском душегубительстве, в перемалывающей фабрике будней хочет сохранить веру, надежду, любовь. Монах наши мирские заботы, нашу кричащую литературу слышать не хочет. Но настоящий крест, неотесанный, не подогнанный к силам, рискованный на нас, и настоящая выделка человека среди всесторонней необеспеченности, на всех сквозняках идет здесь. Из беззащитного бытия мыслящей соломинки, жальче и невесомее которой ничего нет, которая зависла над бездной так окончательно, что добрела до последних вещей, Розанов *сочувствует* духовенству:

«*Бедную и несчастную сторону нашего духовенства составляет то, что они зачастую не только не знают (иначе как формально, школьно, схоластически) литературы и философии, волнующих "внешний (для духовенства) мир", но их решительно невозможно и ввести в дух этих недоумений, в настоящие и кровные его мотивы. Только приходя в соприкосновение с духовенством понимаешь, как много значит школа и история личного образования, личных знакомых, встреч, прочитываемых книг. Духовное лицо прикасается только к духовным же; и они все слежались в ком твердый и непроницаемый. У них есть свои сомнения, но не наши, своя боль — и тоже не наша. Нашей боли и наших сомнений они никогда не почувствуют, и в глубочайшем, в душевном смысле — мы, просто, не существуем для них, как в значительной степени — и они для нас. Печально, но истинно*».

Правда, в которую Розанов падает здесь, как в яму, захватывает его так, что он не успевает правильно назвать вещи. Грань между *ими* и *нами* проходит не только между духовенством и мирянами. Всякий знает по крайней мере одного проповедника, который всегда с нами, знает нашу беду и несет наш крест. И наоборот, якобы наш преподаватель нового курса культуры в Московской духовной академии, когда еще не был духовным лицом, совсем успокоившимся голосом говорил мне: «*Светская литература, понимаете ли, вся затронута соблазнами, и Достоевский тоже ведь в сущности соблазнительный писатель, то ли дело святоотеческое слово*». Я испугался. Когда вы видите человека, может быть, своего ребенка, который кричит, плачет, горюет, зовет о помощи, то даже если причина плача с высоты духовного опыта пуста, все равно ведь слезы и крик настоящие, неужели вы осудите? Литература надрывается, кричит о человеке, хотя бы из сочувствия к боли неужели не подойдете, не вслушаетесь, не попробуете понять? Я немногого достиг своей тирадой. Этот еще не диакон и семейный, не монах, но человек уже устроившийся *там*, среди *них*, снизошел на мои нервы: «*Ну что же, возможно, отношение между христианством и светской культурой в каких-то аспектах еще подлежит осмыслению*».

Достоевский — это соблазнительно, в духовном смысле не вполне выверено — такое я слышал от философов, которые были марксистами и совсем недавно стали богословами, оттого очень правоверными. Стена между нами, оставшимися здесь, и ими, которые уже там, проходит как сказал Розанов: «*Нашей боли и наших сомнений они никогда не почувствуют*». Они уже отделились, по крайней мере заимели себе часть в обеспеченном мире и на нас смотрят пристально.

В своей фразе «*едва ли Леонтьев не наивничал, обращаясь к ним "за разъяснениями"*». Розанов втайне уверен, что Леонтьев, пусть даже и монах, с нами. Вглядимся в то место леонтьевского письма, о котором речь: «*Я спрашивал у монахов, и они подтвердили мое мнение*». Да, *они*. Леонтьев наивен и прям. Розанов тоже прям, хотя не так наивен. Он думает, что Леонтьев *там*, а чувствует, что он с нами и никогда от нас не замкнется. Леонтьев на себя взвалил наш литературный безысходный нераспутываемый процесс и сверх того раскол между *мы*, здешние бедствующие, и *они*, потому что в крепости веры никому не хочет уступать. Если кто строг, то и Леонтьев будет строг; если кто хранит устои, то и Леонтьев будет. Он и в монастыре и в мире вполне, без половинчатости, какая бывает у совместителей. Раз вы православный, говорит ему недавно обращенный, потому весь нарочито правильный иеромонах Климент Зедергольм, так «*надо идти дальше и чувствовать духовное омерзение ко всему, что не православие*». Леонтьев чувствует то, что чувствует, а не то, что надо.

«*Зачем я буду чувствовать это омерзение? — воскликнул я. — Нет! для меня это невозможно. Я Коран читаю с удовольствием. — Коран мерзость! — сказал Климент, отвращаясь. — Что делать! А для меня это прекрасная лирическая поэма. И я на вашу точку зрения не стану никогда. Я не понимаю этой односторонности, и вы напрасно за меня опасаетесь. Я православию подчиняюсь, вы видите сами, вполне. [Но] даже и иезуит мне нравится больше равнодушного попа, которому хоть трава не расти и который не перекрестится, пока гром не грянет*»[1].

Они смотрят на нас подозрительно, требуют церковного мышления. *Мы* — те, кто успеет пожалеть их за такую односторонность и, если будет расстроен, то заговорит с горем, в достоевской истерике, но никогда не с холодным отстранением, никогда не с требованием обустроить свой ум.

* * *

Неверны идущие от церковной историографии представления об исключительной роли христианства в становлении византийской государственности. Священный характер исполнителей вечных предначертаний, способность подарить мир и порядок народам, вселенский размах приписывали себе эллинистические государства и Рим. Старый полис, державшийся личным достоинством, телесным мужеством, умением и предприимчивостью объединенных граждан, уже к III веку до н. э. уступил позиции социальной инженерии, полагавшейся на научную экспертизу и искусное управление социальными страстями. Победа христиан над язычеством была подготовлена именно отрывом наднациональных задач, в решение которых втягивались человеческие массы, от почвенности языческих идеологий. Как ни кажется странно на первый взгляд, обожествление императора стесняло свободу власти, сковывало перспективы государства. Государственное христианство явилось ответом на исторические перемены. Поняв и приняв

[1] *Леонтьев К.* Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной пустыни. М., 1882. С. 98.

факт разрыва с природной органикой, оно пригласило человека к затаенной молчаливой сосредоточенности. Он находил целый мир внутри себя. Личность тут была готова и к монашескому уходу из мира и в такой же мере к отчаянному дерзанию любой смелости, к любому эксперименту, к преодолению законов живой и неживой природы. Охранители язычества проницательно обвиняли ранних христиан в атеизме и тотальном неверии.

Христианин умел дышать, как рыба в воде, в атмосфере кризиса или хранить смиренную собранность среди самых безумных предприятий. Только христианство, не предрасположенное ни к одной системе власти, ни к одной из существовавших идеологий и философий, стояло вровень с небывалыми задачами вселенского государства. По своей сути оно было тотальной мобилизацией и вызывало к действию не некоторые, а все человеческие энергии. Язычество поневоле берегло душевную, социальную, природную данность. У христиан оказалось головокружительно мало мистического уважения к устоям. Почти все социально-этические нормы были передоверены голосу совести. Отрешение от мира давало права над ним, накладывая по существу только «обязанность» любви.

В отрешенности была соль христианства. Поэтому уникальное избирательное сродство между ним и мировой державой могло сохраниться только при условии их четкого разделения. Между тем в Византии церковь по первому приглашению власти вступила в альянс со своей прежней гонительницей. Ни та, ни другая после этого не могли остаться самими собой. Плодом их смешения стал знаменитый византийский эстетизм, который, согласно легенде, решил в X веке выбор князя Владимира в пользу цареградской веры. Страна городов (страна-город), единственная неразоренная наследница античной культуры, удивляла мир своим организационным, техническим, художественным совершенством. Опираясь на сконцентрированную силу знания, изощренной дипломатии, векового военного искусства, Византия противостала смятению народов гармонией чинного строя, мудрой экономией. Все от церемониального придворного балета до чекана на золотом солиде, международной валюте эпохи, должно было навевать ощущение прочности. Ведущим социальным заданием политической, идеологической литературы было завораживание сознаний, настраивание умов на благолепный лад.

На благочинии сошлись интересы державы и конформистской церкви. Симфония церкви с государством дала вечному Риму форму для обрамления своей истории, жанр всемирной хроники. «*Это было стремление привести всю всемирную историю в порядок... Замах был поистине грандиозный*» (В. И. Уколова[2]). История здесь превращалась, по выражению Аверинцева, в задачу с приложенным ответом в образе осуществившейся христианской державы византийских императоров. И когда на Западе непримиримый Августин называл земной град вертепом разбойников и старый Рим свирепой волчицей, в Византии Евсевий Кесарийский кромсал и правил свою «Церковную историю», пока не благословил цезаря Константина и его права на

[2] В. И. Уколова — специалист по истории античной и раннесредневековой культуры, культуролог и философ, переводчик латинских текстов. — *Прим. ред.*

церковь. Махина империи выигрывала от этих гармонизирующих усилий в стабильности, так нужной среди варварской стихии, но неприметно проигрывала в каждой живой клетке общественная ткань. Варварство и разделивший с ним свою судьбу Запад, полные нестроения и максималистских порывов, пока не могли тягаться с компактной организацией великой державы, но оставляли простор для медленно набиравших размах новых сил.

В золотой век Юстиниана, законодательно закрепившего симфонию империи с церковью, обозначилась тревожная амбивалентность византийского сознания, оборотная сторона культивируемого пластически-гармонизирующего подхода к реальности. Сенсационным примером служат сочинения Прокопия Кесарийского, центральной фигуры византийской историографии VI века. «*Как жизнь, так и творчество Прокопия отмечены трагической и бросающей тень на его нравственный облик двойственностью. Поражает абсолютно противоположная оценка историком деятельности Юстиниана. В трактате "О постройках" Юстиниан рисуется как добрый гений империи, творец всех великих дел. Он великодушен, милостив, заботится о благе подданных. Его главная цель — охранять империю от нападений врагов. В "Тайной истории" Юстиниан предстает как неумолимый тиран, злобный демон Византийского государства, разрушитель империи*» (Удальцова[3]). Византийские политики и идеологи, публицисты и полемисты фатально впадали то в неумеренные театральные восхваления, то в захлебывающееся очернительство. Попытки вдуматься в истину социальной и мировой реальности сбивались на нетрезвые восторги или на зловещее нагнетание бедственных картин. Одним уклоном провоцировался другой.

Раздвоенность внешне гармонизированного сознания обнаруживается во всех гранях византийской мысли. В «Таинственном богословии», заключительном трактате Ареопагитического корпуса, первые упоминания о котором относятся к той же юстиниановской эпохе, провозглашается равноправность и равночестность как приписывания божеству всех мыслимых качеств, так и отрицания за ним каких бы то ни было свойств вплоть до высших и догматически закрепленных атрибутов благости, истины, красоты, троичности. Торжественно выставив вечно истинный ряд утверждений и против него ряд столь же истинных отрицаний, последний великий богослов христианского Востока умолкает в экстазе тайнозрений.

Относительно едва ли не преобладающего числа византийских авторов и исторических лиц современному историку хотелось бы в точности знать, были они язычниками или христианами. Дело не в нехватке исторического материала, а в том, что мы от себя навязываем византийцам вопрос, который они сами не спешили ставить, а поставив, решать. В интеллектуальном климате Византии не хватало для этого духа отчетливости. Со времен Юстиниана православное вероисповедание стало официальным требованием. Принудительная, часто инквизиторская христианизация не прекращала душевную раздвоенность, скорее, наоборот. Спустя девять веков после Юстиниана с первым ослаблением вероисповедного контроля Византия дала

[3] З. В. Удальцова — историк-византолог, член-корреспондент РАН, директор Института всеобщей истории АН СССР (1980–1987 гг.). — *Прим. ред.*

целую школу девственного язычества Гемиста Плифона, чьи ученики удивили своей религиозной свободой Запад.

Навязывание сверху идеологического выбора говорило об ослаблении жизненных энергий общества и ускоряло его упадок. Люди уходили в личные и семейные дела. Торговля вытеснялась с агоры в портики улиц, жилища строились менее доступными для посторонних, одежда шилась более закрытой, туники нового покроя доставали до лодыжек, появились длинные рукава, в моду входили варварские брюки. Художественный образ на памятниках VII–VIII веков тронут изысканным искажением. «*Уподобление через неподобие*» начинали предпочитать прямому движению к истине. Искусство слова все меньше полагалось на звонкий намек, все обстоятельнее одевало ускользающий предмет в риторику. Судьба готовила в это время Византии первое из трех великих испытаний ее истории — столкновение с восходящим исламом.

* * *

В России не стои́т, сколько ни суетись, ничего, кроме аскезы, усилия, труда. Без военно-монашеской закваски все на Восточноевропейской равнине обречено на смуту и свалку. Есть праздничные области мира, но у нас трудовая, где монастырь стоит на горе. Потому немец с прусской орденской закалкой всегда мог органично обрусеть; потому уверенно хозяйничал семинарист Сталин, которому было нетрудно угадать то, что за полвека до него ясно видел Константин Леонтьев: неизбежность киновии, общежительного монастыря.

Древний монастырь стоит перед нами как двойная загадка. Ее странность отвечает крайности сегодняшней ситуации. Нам уже некуда раздаваться вширь, разве что в ледяную пустыню. Евангельский Закхей от тесноты народу «*взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его*» (Лк 19:4). Подняться поневоле нужно. Приведение себя в порядок остается не достаточной, но необходимой платой за свободу. Одна из побед современной скандальной публицистики — внедренная ложь, будто между свободой и собранностью, демократией и строгостью надо выбирать. Они принадлежат друг другу как правая и левая рука. Сначала обязательный для всех минимум, без которого совершенно все равно, что́ человек делает и как говорит, добрый он или злой. Человеческое существование без аскезы не идет, вариантов здесь не представлено. Глобальная или экологическая стратегия — только один из способов, каким современному сознанию приоткрывается древний императив. Причем глобальный подход не шире, а наоборот, ограниченнее и бесперспективнее старого священного страха, «*начала благих*». В глобализме сознание пока еще только просыпается к вековой задаче «*превосхождения естества*», блуждая пока в иллюзиях первозданной гармонии, подлежащей восстановлению. Возврата назад нет.

Насущная задача стоит до всякой этики и до выбора вариантов будущего. Работа пока идет на уровне инстинкта удушаемого: надо выпутаться из веревки, сдавившей шею. Не ради добра и красоты, даже не ради выживания: раньше религии надо встать из грязи и постараться не падать снова. Дисциплина необходима, потому что если ее не будет, она будет все равно, только уже злая. Порядок так или иначе установится, но уже не тот, который мы упустили. Дисциплина подъема труднее закономерностей срыва.

Мы навсегда уже сорвались в недолжное состояние, с самого начала нуждаемся в исправлении, — в ремонте, резко говорит Хоружий[4], возвращая древнему «искусству искусств» его мастеровой смысл. Благодать нам дарится, ремонт — нет: здесь каждую операцию надо делать самим и требуется все знание, умение и терпение, какие у нас есть.

* * *

Историки искусства неправомерно прилагают масштаб механического времени к художественной реальности. Его линейка имеет позднее происхождение. Мы имеем тут дело с одним из проблематичных изобретений Запада. Ему не хватает сил держаться настоящего, и он раскидывает себя в прошлое и будущее. Высокое искусство напоминает о времени-бытии, но снять с человечества оковы календаря уже не в силах. Настоящее еще вторгается в механический процесс через миф, культ, праздник, откровение, которых становится все меньше. Вписанные в метрическое время, события остаются едва терпимой в его рамках загадкой.

Неясно, в каком смысле и почему искусство, носитель настоящего, расписано у искусствоведов по календарному времени. Называя время искусства внеисторическим, они отдают механическому процессу всю историю целиком.

В технической цивилизации произведение, едва выйдя из рук художника, падает в метрическое время. Его включают в системные процедуры. Чужое ему линейное время начинает вырывать вещь из рук художника в самом ходе ее создания и еще раньше, на стадии замысла, становления таланта. С инерцией среды художник борется на каждом шагу. Иначе могло быть в гипотетическом сакральном пространстве, предполагающем нераздельность настоящего без противостояния систем и смешения своего с чужим. В сакральном пространстве чужому оставлена только война без перемирий и соглашений.

Истинное произведение искусства распознается по подъему, который оно дарит. Вечность располагает к себе своим касанием. Большинство любителей довольно тем, что умеет принять подарок эстетического наслаждения. Рабочую и проклятую сторону жизни толпа считает себя вправе отдать художникам, оставив себе только сторону удовольствия. Немногим передается та бездна тревоги, в которую брошен настоящий творец. Счастье встречи этим не отменяется, оно только перестает быть наивным. Triste alegria, скорбная радость, была наградой художнику за его упрямство. Ее разделят с ним те, кто не отгородится от его созданий. Важно не забыть, что дьявол, как говорит Бонавентура, изображен художником прекрасно, но страшным оттого быть не перестал.

2000

Владимир Бибихин стал в прошлом году лауреатом премии Института философии РАН в номинации «Книга года» за книгу «Витгенштейн: смена аспекта».

---

[4] С. С. Хоружий — физик-теоретик и математик, философ и исследователь в области восточнохристианской религиозной мысли. — *Прим. ред.*

Дмитрий МАТВЕЕВ

КАК СПАСТИ «РАЗГОВОР О БОГЕ»

1. Русская религиозная мысль перед лицом «антропологического поворота»

Протоиерей Михаил Аксенов-Меерсон.
Созерцанием Троицы Святой...
Парадигма любви в русской философии троичности.
Киев: «Дух и Литера», 2008. — 328 с. Перевод с английского

Об озабоченности прот. Михаила Меерсона-Аксенова проблемой восстановления веры в Троицу и, шире, проблемой апологии «разговора о Боге» в наше время, о его видении русской религиозной философии как переднего края и последнего слова этой апологии мы уже имели совсем малую возможность упомянуть в связи с его интервью, данным газете «КИФА» в 2007 г.[1] Теперь, когда вышла его книга, суммирующая многолетний опыт исследований проблемы богословия Троицы в русской религиозной мысли, о. Михаил дал счастливую возможность для более основательного обсуждения проблемы. Книга является переработкой докторской диссертации, защищенной прот. Михаилом в Фордхэмском Университете (Нью-Йорк), — переработка материала диссертации осуществлена специально с учетом русского адресата. Богословские и философские проблемы, с которыми мы имеем здесь дело, представляются нам весьма важными и актуальными, кроме того, обсуждение их задает тон для разговора и о других книгах 2008 года, имеющих отношение к богословской тематике. Данные заметки не являются научной статьей со всей необходимой системой аргументации. Это лишь попытка поделиться некоторыми размышлениями по поводу прочитанного и обозначить то, что видится в качестве проблем.

Поверх барьеров

Прежде чем перейти к непосредственному обсуждению проблем, поставленных книгой, хочется специально отметить одну важную для российско-

[1] См. обзор «Гнозис» в «Континенте», №134 (2007 г.).

Дмитрий МАТВЕЕВ — родился в 1964 г. в Москве. Окончил Московский институт стали и сплавов. Кандидат технических наук, магистр богословия. Публиковался в журналах «Истина и жизнь», «Континент», в газете «НГ-религии». Живет в Москве.

го читателя черту авторского подхода, а именно — широту и универсализм взгляда. «*Своеобразное богословское переосмысление и даже новое открытие хорошо знакомых церковных учений*» — вот в чем свящ. Владимир Зелинский, автор предисловия к книге, видит достоинство реализуемого в ней подхода. При этом отмеченный им же «*поиск смелых аналогий*» русской христианской мысли с западной мистикой и философией о. Владимир к достоинствам первого плана относить не склонен. Позволим себе, однако, с этим не согласиться и именно этот поиск, выражающий стремление автора смотреть поверх конфессиональных барьеров, отнести к числу главных достоинств книги, обеспечивших глубину и интерес исследования. Впрочем, на Западе, где живут и работают и о. Михаил, и о. Владимир, быть может, настолько привыкли к атмосфере, в которой кому бы то ни было трудно заявлять о собственной исключительности, что отсутствие поползновений к «приватизации» истины уже давно не достоинство, а чаще всего естественная характеристика ландшафта межрелигиозных контактов. Скорее для Запада кое-где порой бывает актуальна противоположная опасность — стремление полностью оградить себя от всяких «опасностей» спора убеждений, выравнять все «потенциалы» и дискутировать в таком стиле, когда, по выражению одного из известных американских богословов, предлагается «чашечка кофе вместо диалога». Иное дело — у нас в России. Здесь мы универсализмом пока совсем не избалованы, и в церковной среде преобладают иные подходы, иной, если угодно, модус собственного отношения к истине. Мы, «Восток», остаемся в собственных глазах единственными ее хранителями, а христианский мир «Запада» для многих из наших верующих соотечественников самого разного церковного статуса — в той или иной степени отпавший, заблуждающийся, и, соответственно, все, что там происходит, имеет к «единой, святой, соборной и апостольской Церкви» в лучшем случае косвенное отношение.

Прот. Михаил Аксенов-Меерсон свидетельствует нам, что можно, и оставаясь православным христианином, мыслить совсем по-другому. Русская религиозная мысль, предмет его давнего интереса и исключительной любви, рассматривается им как часть единого потока христианской мысли. И эта свобода от конфессиональных идеологических шор — вовсе не некий «чуждый подход»: она вполне соответствует характеру любой живой традиции, всегда принципиально несамозамкнутой. Приверженцы жестко конфессионального подхода часто не хотят замечать того обстоятельства, что, как бы ни были омрачены иные исторические времена межхристианскими распрями и разделениями, перегородки, которые наставили между собой христиане, не просто «не доходят до неба», т. е. в плане узнавания мистического опыта друг друга (последнее еще можно было бы отрицать, поскольку мистика — дело неочевидное), — пресловутые перегородки оказываются достаточно «дырявы» и на вполне ощутимом «на земле» уровне форм, идей, концепций. Именно эта несамозамкнутость, взаимодополнительность традиций, объединенных верой во Христа и общими богословскими основами, заложенными в первые века христианства, их способность к взаимодействию и потребность в нем и показаны с ясностью в первой части книги на примере развития троичного богословия. Это раз-

витие, доказывает автор, представляет собой единый, общехристианский процесс.

Главная тема книги прот. Михаила Аксенова-Меерсона — развитие богословия Троицы в XX веке, в первую очередь русскими религиозными философами. Многие связи восточно- и западнохристианского богословия не известны широкому читателю. Автор восполняет этот пробел, его исследование — пожалуй, первая попытка проследить связи русского и западного богословия Троицы в прошедшем столетии. Он выявляет моменты преемственности тринитарной философии в трудах Вл. Соловьева и русских мыслителей XX века не только с богословием греческой святоотеческой традиции и блж. Августина, но и с мистико-богословской традицией средневекового католичества. Соловьев, Сергей Дурылин и последующая русская религиозная мысль апеллируют к мистическому опыту св. Франциска Ассизского, так что исследователи даже говорят о «русском францисканстве». Романские мистики — Гуго и Ришар Сен-Викторские, Бонавентура и др. — «воскресают» в русском Серебряном веке. В свою очередь, Леонардо Бофф, Вальтер Каспер, Юрген Мольтман и другие, предлагая парадигму понимания Святой Троицы как онтологической божественной любви, осуществляют персоналистский синтез западной и восточно-православной традиций, прямо ссылаясь не только на греческих святых отцов, но и на русских богословов — от Болотова до Булгакова. Все это — лишь малая часть той картины «экуменического содружества» богословов разных времен и традиций, которую рисует автор книги.

В чем, собственно, ценность такого подхода в богословии? В том, думается, что именно подобный широкий, универсалистский взгляд позволяет расширить горизонт мысли и увидеть реальные проблемы и реальные вызовы, стоящие перед современной христианской мыслью. Самодостаточный конфессионализм сидит в своем самодостаточном мире, в котором «все написано в Библии» или «отцы все сказали», для него есть только «единственно верное» учение его конфессии, точнее — его собственное представление об этом учении. Однако, выйдя за пределы этого несложного и узкого мирка, мы сталкиваемся с реальным, большим и сложным миром, предъявляющим христианству свои многочисленные вызовы.

Читатель, не слишком знакомый с реалиями современной богословской и философской ситуации, может задать вполне закономерный вопрос: зачем понадобились новые изыскания в области богословия Троицы, — ведь тринитарные споры отшумели уже полторы тысячи лет назад, и уже с тех пор и до наших дней вера в Бога-Троицу вместе с верой в богочеловечество Христа («никейский» и «халкидонский» догматы) давно расценивается всеми традиционными христианскими сообществами как тот необходимый доктринальный минимум, по которому и определяется принадлежность к христианству. Ответ автора состоит в констатации принципиальных изменений в образе мысли современного человечества, в том числе и христианской его части, по сравнению с античностью и Средневековьем. В современном мире, убежден о. Михаил, «*ссылок на каппадокийцев и Аквината недостаточно*», а учение Церкви о Троице невозможно свести к ее учению о Ней ни в четвертом, ни тринадцатом, ни в каком-либо ином веке.

От «картины мира» — к экзистенции

Ключевым термином для обозначения той ситуации, в которой оказалось христианское богословие в Новое время, является для автора термин «*антропологический* (иначе — *персоналистский*) *поворот*» в мыслительной традиции того мира, что оказался объединен исповеданием христианства и обычно обозначается словом «Запад» в его широком значении — как синоним христианского мира. Тема этих «поворотов» чрезвычайно велика и важна, и совершенно невозможно пытаться здесь описать их по всем их признакам и последствиям. Краткое определение дает сам о. Михаил: это «*переход от теоцентрических предпосылок святоотеческих и средневековых авторов к антропоцентрическим предпосылкам Нового времени*», «*от космологического мировоззрения к персоналистскому*».

Более развернуто можно сказать следующее. Для мышления Средних веков была характерна центрированность на Боге и мире как Его творении и сфере всемогущего владычества. В этом мышлении мир земной, «дольний», в соответствии с унаследованной средневековым христианством платоновской схемой, полон образов мира божественного, «горнего». «*Исполненный следов Пресвятой Троицы*» тварный мир, как отмечает автор, и служил для разума лествицей восхождения к «божественной сфере». Эта метафизика восхождения, намеченная Платоном, была в первые века нашей эры развита мыслителями-неоплатониками до детальных схем, также весьма хорошо усвоенных христианством. Обобщая и упрощая, можно сказать, что мир в целом рассматривался как образ божественного Первообраза — Троичного Бога. Космос являл в этом смысле Троицу. Прот. Михаил называет это мировоззрение «*метафизикой экземпляризма*» (от слова «экземпляр» — латинского перевода греческого «парадигма», т. е. «первообраз»).

Последующая за Средними веками эпоха, берущая начало в Реформации и Просвещении, коренным образом меняет образ мышления. Высвобождение критического разума, начавшееся в эпоху Просвещения, влечет за собой свободу исследования во всех сферах. Бурное развитие науки и технологий приводит к совсем иному по сравнению со средневековым взгляду на мир. Он, по выражению М. Вебера, «расколдовывается» в глазах человека, из сакрального и таинственного становясь обыденным объектом для исследования и использования. Космос больше не указывает на нечто запредельное. Вместо него на первый план интереса выходит человек, его внутреннее самоощущение: к этому ведет ощущение индивидуальности западного человека, еще более обостренное высвобождением частного разума из-под всевластия обычаев и доктрин. Так происходит смещение цели познающего разума от «высот» метафизики мироздания к «глубинам» человеческой экзистенции, от космоцентризма — к антропоцентризму.

Это изменение в предпосылках мышления можно ощутить на примере, как раз связанном с тринитарным богословием. В житии святителя Спиридона Тримифунтского имеется следующий сюжет: свт. Спиридон, участвуя в диспуте на Никейском соборе, в качестве наглядного аргумента против ариан за единство Бога во Святой Троице «*взял в руки кирпич и стиснул его: мгновенно вышел из него вверх огонь, вода потекла вниз, а глина осталась*

в руках чудотворца. "Се три стихии, а плинфа (кирпич) одна,— сказал тогда святитель Спиридон,— так и в Пресвятой Троице — Три Лица, а Божество Едино"»[2]. Легко увидеть, сколь бесполезна аргументация такого рода в наши дни, сколь мало способна сегодня она кого-либо убедить, выглядя в глазах современного человека некой странной алхимией, не имеющей отношения к реальной жизни. В то же время можно думать, что в средневековой Византии такая аргументация была вполне работоспособна, — иначе эта история вряд ли вошла бы в житие. Представляется, что причина именно в упомянутой выше разнице мышления. «Плинфа» свт. Спиридона способна воззвать к ощущениям средневекового человека, привыкшего ожидать всемогущего и премудрого действия Бога в мире, современное же сознание, ищущее Бога, жаждет не внешних, но внутренних свидетельств. В новую эпоху перехода от «космологического» мировоззрения к «персоналистскому» куда лучше были бы восприняты доводы «от человека», стимулирующие этот поиск не во внешнем мире, но во внутреннем опыте личности.

В полном соответствии с этим радикальным персоналистским поворотом находится тенденция, которую и помещает в фокус внимания прот. Михаил Аксенов-Меерсон: свидетельство в пользу догмата о троичном божественном «устроении» христиане Нового времени все больше стремятся искать не в мире, но в устроении человеческой личности, а именно — в ее способности к бытию в соучастии с другими в том, что мы называем любовью. Триитарный догмат все больше понимается как в первую очередь развернутое выражения откровения «Бог есть любовь», возвещенного апостолом Иоанном. Троичность Бога в таком понимании означает внутрибожественные отношения любви, изливающейся вовне и составляющей онтологическую основу всего творения. Корни этой интерпретации можно найти у блж. Августина и затем — у прп. Симеона Нового Богослова, а позднее, отмечает прот. Михаил Аксенов-Меерсон, она была заново открыта западными мистиками, сделавшими ее «христоцентричной» и через это «вочеловечившими».

И именно русской религиозной мысли, убежден автор, выпала историческая задача актуализировать этот потенциал христианского богословия, ввести откровение о Троице как откровение об онтологической божественной любви в контекст реалий «антропологического поворота» Нового времени. Эту задачу, стремится показать автор, и выполняют русские религиозные философы, начиная еще с Вл. Соловьева в XIX веке, предвосхитившего положение персоналистского богословия XX века о том, что человек, будучи личностью, может встретить Бога только как Личность. Преемниками Соловьева в следующем столетии становятся свящ. Павел Флоренский, русские символисты (А. Белый, Вяч. Иванов и др.), Д. Мережковский, Л. Карсавин, Н. Бердяев, прот. Сергий Булгаков. Именно эти и другие русские мыслители, каждый со своей творческой спецификой (раскрытию которой и посвящена бóльшая часть книги), выявили структуру личности с ее свой-

[2] См. напр., *Бугаевский А.* Святитель Спиридон, епископ Тримифунтский. Его жизнь, подвиги и чудотворения, изложенные по древним греческим рукописям. — М., 2005.

ствами сообщности и взаимности как основу подобия между Богом и человеком, отсылающую к тайне Троичности. Все эти мыслители, по мнению автора, в один голос заявили, что сущность божественной жизни — любовь между Лицами — отвечает врожденной человеческой потребности в любви. «*Главным отражением Троицы как изначального первообраза является не мир, но человеческая личность*» — в этом для прот. Михаила Аксенова-Меерсона и заключается суть предложенной русскими философами «*парадигмы любви*». Она для него и есть возвращение экземпляризма, теперь уже не в мире вне человека, но внутри самой личности. Вместо познания мира, который уже больше не является образом Бога, русской религиозной мыслью утверждается самопознание как путь к богопознанию. О. Михаил видит здесь новое рождение неоплатонизма, метафизики первообразов, ее обновление, «освежение» антропологическими предпосылками вместо более не действенных космологических. Именно в этом видится ему миссия русской религиозной философии, суть предлагаемой ею программы по спасению возможности «доступа к Богу» в ситуации «антропологического поворота» философской мысли.

«Amicus Plato» и «враг Иммануил»

Примечательно, — и важно для нашего дальнейшего разговора, — что речь у о. Михаила идет именно о спасении платонических и неоплатонических подходов к богословию, вне которых никакой разговор о Боге здесь вообще не мыслится. Христианская традиция и платонизм (метафизика двух миров — «дольнего» как отражения «горнего») для него, похоже, нераздельны. Движение разума к Богу мыслится не иначе, как неоплатоническое движение по «лествице» этих образов к первообразу, и результатом этого созерцания и является догмат. Делается лишь поправка этого платонизма на современность, на новые условия «антропологического поворота», меняется лишь акцентируемое содержание «дольнего» мира: вместо космоса акцент делается на внутреннем мире человека. Но сам по себе платонизм как метод религиозного познания неприкосновенен. Угроза ему равнозначна угрозе христианству как таковому, спасение же его есть залог дальнейшей перспективы христианства.

Это лейтмотив всей русской религиозной философии, усвоившей эллинские предпосылки православного богословия. Есть у целого ряда ее представителей и ответ на вопрос, что же за «демон» посягает на это дающее «*прямой доступ к Богу*» (выражение принадлежит о. Михаилу. — *Д. М.*) платоническое миросозерцание, стремится перекрыть этот доступ и похитить бесценное сокровище богообщения.

Этот ответ, похоже, разделяет и автор книги: сей злокозненный демон — Кант. Вот камень преткновения, болевая точка для русских мыслителей, предмет настоящей идиосинкразии, объект гневной, порой уничтожающей риторики. Достаточно вспомнить хотя бы определение «*столп злобы богопротивныя*», патетически изреченное в адрес кенигсбергского философа Павлом Флоренским, — и это еще не самый язвительный эпитет. На этом «столпе», по убеждению многих видных представителей русского религиоз-

но-философского ренессанса XX века (за серьезным исключением, о котором ниже), и покоится вся антирелигиозная мысль. Оно и понятно: ведь, в соответствии с кантовской гносеологией, подлинная реальность недосягаема для абсолютного познания, являясь «вещью в себе». Она трансцендентна, и мы имеем дело лишь с ее приближением — «явлениями». И если это относится к вещам окружающего мира, то относительно внутренней жизни Божества разум, если следовать логике Канта, тем более не может выносить адекватных суждений. А значит, не приходится говорить и о «*прямом доступе к Богу*». Соответственно, и догмат может быть только догадкой, зыбким суждением, но никак не абсолютным, общеобязательным положением, непреложным фактом откровения. Отсюда уже нетрудно понять, как может отнестись к подобному критическому ходу мысли традиционное христианское сознание — вплоть до объявления его демоническим порождением. Отсюда проистекает и едва ли не главный мотив философских построений русских мыслителей: «*провести богословские предпосылки через посты кантианского и неокантианского критицизма*»[3].

Ситуация и правда выглядит так, что своим агностицизмом Кант разрушает общую религиозную веру в возможность «*прямого доступа к Богу*». Само последнее словосочетание сегодня, когда кантовская гносеология, исключающая абсолютность познания, давно и прочно легла в основу парадигмы мышления, выглядит скорее неким компьютерным термином, чем религиозным понятием. Бог — это скорее Непознаваемое.

Здесь и начинается более всего интересующая нас коллизия.

«Ужасная» свобода

Затронутая прот. Михаилом Аксеновым-Меерсоном тема отношения русской религиозной мысли к Канту заставляет обратиться за пределы тематики книги, к иным проявлениям неослабевающего интереса к горячему спору русской религиозной мысли с «кенигсбергским затворником». И если позиция первой православному читателю хорошо знакома и понятна, то та серьезная аргументация в защиту Канта, что исходит в первую очередь из стана философов, не связанных традиционными богословскими предпосылками, известна ему намного менее. Однако в контексте нашего разговора ради необходимой полноты картины представляется важным, чтобы была выслушана и «прокантовская» сторона.

Теме «антикантианства» русских религиозных философов, их страстного желания «преодолеть Канта» специально посвятил свое эссе современный российский философ Анатолий Ахутин[4]. Там, где Флоренский и другие усмотрели в кантовской гносеологии отрицательный ответ — «метафизика невозможна», на самом деле, считает Ахутин, присутствует лишь вопрос. Вместо «метафизика невозможна» следует читать: «*как возможна метафизика?*» Отрицательный ответ у Канта можно усмотреть лишь в частном

[3] *Прот. Михаил Меерсон-Аксенов.* С. 197.

[4] *Ахутин А.* София и черт (Кант перед лицом русской религиозной метафизики). — «Вопросы философии», 1990, № 1.

смысле: метафизика невозможна как знание **в позитивном духе**. Это значит, что она невозможна как органическое «*встраивание метафизики в физику*» (в книге прот. Михаила Меерсона-Аксенова есть как раз яркий пример попытки такого «встраивания», предпринятой П. Флоренским, утверждавшим, что Троица составляет логический базис человеческого познания, в частности, обосновывая закон тождества). Иными словами, метафизика невозможна как **надежная гарантия** умопостигаемости абсолютного на основе его чувственно воспринимаемых отображений, как установление тождества понятия и вещи **в порядке необходимости**. В то же время эта негарантированность, подчеркивает Ахутин, не отрицает существование абсолютного — хотя бы по той простой причине, что и само его отрицание является столь же негарантированным суждением, как и утверждение. Абсолютное есть в мире именно постольку, поскольку оно не входит в мир в качестве необходимого. Метафизическое есть «*нечто, держащее мир, но не входящее в него*».

Опровергая обвинения Канта в том, что он-де «запрещает метафизику» (заметим, что человеческому сознанию часто чудится запрет там, где на самом деле — попросту альтернатива), Ахутин, напротив, указывает на кантовское подчеркивание огромного значения мышления на «последние» темы. В этом и состоит огромная роль философии и богословия, означающая, что важно быть вовлеченным в метафизические проблемы, находиться в мышлении как в состоянии проблематичности, «выдвинутости» из собственного мира, не дающей замкнуться в «знаемом» мире. На эту незамкнутость, всегда остающуюся проблематичность Ахутин и указывает как на проявление **свободы**. Результат познания ничем не предопределен, и только в горизонте свободы существует и умопостигается все метафизическое: Бог, мир, душа. Это, в своей недосягаемости, именно горизонт — или, употребляя образы самого Ахутина, «*проблематический промежуток*», «*зазор*», «*онтологическая щель*» между достоверностью и верой. Именно об этом же, вновь заметим мы, говорит констатация невозможности доказательства бытия Бога.

Но ровно то же самое в таком случае приходится констатировать и относительно доказательства троичности Бога. И на него распространяется «онтологический зазор». Доказать Троицу **объективно** — нельзя, доказательство противоречило бы принципу свободы. Но это не означает, что ничего нельзя. Можно пытаться понять для самого себя, из какого **моего** внутреннего опыта вытекает, что представление о Боге-Троице **для меня** обоснованнее и глубже, чем представление о Боге-монаде; пытаться понять, универсален ли этот опыт, и на основе результата разговаривать с другими. Это и ничего сверх того и следует из кантовской гносеологии. Никакого запрета на «разговор о Боге» не существует, он остается исключительно необходимым. В эпоху «антропологического поворота» меняется лишь **статус** утверждений в этом разговоре.

По сути, именно в таком статусе, в подобном рефлексивном ключе работает и русская философия троичности, никому не навязывая своих устремлений. Никто из ее представителей не способен каким бы то ни было образом репрессировать кого бы то ни было за инакомыслие. Это они сами, — скажем, о. Сергий Булгаков, — порой подвергались нападкам за неумеренно творческий характер своей мысли.

Но человеческое существо, как известно, не укоренено в бытии и страстно ищет этого укоренения. Выражение этого страстного поиска и есть религия. Этот же поиск гениально выражает платоническая идея умопостигаемости мира первореальностей. И указанную Ахутиным «*онтологическую щель*» религиозное сознание, пытающееся нащупать под ногами твердую основу бытия, изо всех сил желает заделать. Слишком уж дискомфортно из нее «дует», слишком большие из нее исходят «*тревога, беспокойство, навязчивая вопросительность*», которые, констатирует Ахутин, «*смущают ясность чистой совести и воспринимаются в мире так или иначе открытой "софии" как софистические ухищрения философов, а то и вовсе как дьявольские козни*». Вот где в полноте проявляются следствия «антропологического поворота»: человек остается наедине с собственной свободой. «Антропологический поворот», лишив нас ощущения гарантии, лицом к лицу сталкивает нас с ситуацией необходимости подлинного, говоря словами протестантского теолога Пауля Тиллиха, «*мужества быть*».

Эти последние выводы из ситуации «антропологического поворота» и не решается делать русская религиозная философия, в своей верной интуиции почуявшая новизну ситуации и необходимость реагировать на нее, но отталкивая от себя Канта и продолжая стоять на платонической почве. Платоническая схема мышления с ее четким соответствием между первореальностями и их отражением неадекватна как метод: мы не находим ее в самой структуре нашего познающего разума, вместо этой четкости в нем действует свобода. И именно она ужасает религиозное сознание. Так можно резюмировать позицию защитников кантовского подхода.

Однако среди русских религиозных мыслитель есть один, стоящий особняком: о нем нельзя сказать, что он просто реагирует на нагрянувший волею истории «антропологический поворот». Он скорее сам находится в его авангарде, являясь одним из его «локомотивов» в XX веке. Этот мыслитель — Николай Бердяев.

«Одинокий рыцарь» русской философии

Только что упомянутое обстоятельство заставляет сожалеть о том, что тема Бердяева в книге прот. Михаила Аксенова-Меерсона раскрыта недостаточно: в контексте темы книги это фигура ключевая. Бердяев фактически помещается о. Михаилом вместе со всеми рассматриваемыми им русскими философами в ряды христианских неоплатоников. Но Бердяев — явление, даже на фоне этой плеяды ярких личностей совершенно уникальное, ни в какие ряды не встраивается. Скорее всего, то обстоятельство, что Бердяев предстает в книге как очередной неоплатоник, основывается на ограниченности анализа мысли этого философа прежде всего ранними его работами. Однако, будучи всю жизнь верен своим основным интуициям, он, как любой подлинный мыслитель, претерпевал эволюцию: оттачивались формулировки, подбирался понятийный аппарат и компоненты синтеза для выражения идей. Здесь уместно заметить, что Бердяев — мыслитель ярко выраженного синтетического стиля, использовавший для выражения своих идей любой подходящий материал. На раннем этапе он и в самом деле

активно использовал традиционные ходы христианского платонизма. Однако нетрудно заметить, что чем позднее датируется его работа, тем меньше в ней «платонического следа».

Спора нет, и Бердяев, движимый религиозной жаждой подлинности, горел желанием «преодолеть Канта», устранить зазор между субъектом и реальностью, «*оправдать возможность познания первореальности до рационализации, до обработки сознанием*»[5]. Вполне обоснованно будет сказать, что в этом пафосе он един с Флоренским и символистами. Однако этим — пусть и очень важным — моментом, пожалуй, сходство и заканчивается. Всегда оставаясь критиком Канта, Бердяев антикантианцем никогда не был. По его собственному признанию, Кант был ему куда ближе Флоренского[6]. Бердяевская мысль в известной мере противоположна попыткам Флоренского и его единомышленников надежно доказать или показать догматы христианства как символически (исходя из отражения предметами мира божественных первореальностей), так и логически (на манер упомянутой выше процедуры тринитарного обоснования закона тождества). Отношение к Канту в работах Бердяева менялось со временем в сторону все большего признания заслуги великого немецкого философа в раскрытии проблем бытия. Если в наиболее цитируемой в книге о. Михаила ранней работе «Философия свободы» (1911) Бердяев утверждал, что Кант «*прежде всего сформулировал роковой разрыв философского ума с истоками бытия*», что объясняется недостаточностью мистического «питания» философии, то в более поздних книгах («Дух и реальность» (1937), «Я и мир объектов», (1934) и др.), не отрицая предыдущего вывода, философ все же больше акцентирует серьезность онтологических оснований кантовской констатации. Мир для Бердяева действительно именно таков, что первореальность, называемая Кантом «*вещью в себе*», трансцендентна, непроницаема. Это состояние мира, а точнее, состояние субъекта, воспринимающего мир, Бердяев характеризует термином «объективация», что является для него синонимом падшести, отхода от первоначального замысла Бога[7]. Объективация — это отчуждение объекта от субъекта, господство необходимости, детерминации, характерной для доступного нашему восприятию мира «явлений». И именно Кант, разделив «вещь в себе» и «явление», указал на порабощающую власть объектного мира, продуктов мысли, наивно принимаемых за реальность. Однако преодоление пропасти отчуждения, деления на субъект и объект для зре-

---

[5] *Бердяев Н.* Самопознание.

[6] В своей «философской автобиографии» «Самопознание» Бердяев пишет, что от Флоренского его отталкивал «*его магизм, первоощущение заколдованности мира, вызывающее не восстание, а пассивное мление, отсутствие темы о свободе*»...

[7] Понятие объективации, — несомненно, ключевое понятие философии Бердяева, — отсутствует в соответствующем разделе книги прот. Аксенова-Меерсона. Слово «объективация» появляется лишь на с. 211 книги в разделе о Флоренском и явно не несет в себе бердяевской проблематики, выражения тотальной трагедии духа и мироздания, используясь просто как синоним деперсонализации, попытки превратить себя в объект познания, которая легко блокируется нашим всегда действующим «я».

лого Бердяева, в отличие от Флоренского, невозможно путем умозрения в его платоническом понимании, т. е. на основе созерцания образов и символов. Если в ряде утверждений из работ «Философия свободы» или даже более поздней «Философии свободного духа» (1928) еще содержатся признаки символического мышления, на которые указывает о. Михаил, и понятие противопоставляется символу (то, чего не в силах передать понятие, передает символ), то спустя почти десять лет, в книге «Дух и реальность», для Бердяева проблематичны не только «понятие», но и «символ». Относительно последнего философ здесь уже прямо утверждает, что мир символов уже есть мир объективированный, внешний, поскольку символы сами по себе не есть первореальности; символы, иными словами, суть также объекты. Символичны культура, социальная жизнь, религия как совокупность институтов и концепций. Однако все эти символы в них легко могут быть приняты за первореальности, и тогда возврат к реальностям оказывается очень затрудненным. Символизация, таким образом, есть также следствие объективации[8]. Поэтому последняя не может быть преодолена познанием на путях платонической схемы.

Тем не менее, еще раз подчеркнем, Бердяев, как и другие рассматриваемые о. Михаилом русские философы, исходит из религиозной убежденности в возможности преодоления трагического разрыва между познанием и реальностью — из посыла куда более сильного, чем кантовская проблематическая надежда на нетщетность усилий человеческого разума и свободы. Бердяевская философия свободы и творчества — огромная тема, в которую у нас нет возможности сколь-либо углубиться, а потому попытаемся здесь лишь кратко резюмировать ее суть: преодоление отчуждения возможно, но это не созерцательное, а целостное познание, познание «*не в интеллекте, а в целостном духе*»[9], включение мира в свою внутреннюю жизнь и преображение его в творческом акте. Здесь, в зрелом бердяевском синтезе, повторимся, очень мало от платонизма, это не мышление в терминах «дублирования мира», его деления на подлинный мир первообразов и мир их отражений-образов. Соответственно, нет здесь и платоновского «умопостижения», созерцания первообразов в образах. Есть лишь реальность, по-разному предстающая в тисках объективации и при ее преодолении. В этом чаянии преодоления отчужденного отношения к реальности Бердяев схож с Мартином Бубером, говорившим об отношении человека к реальностям мира по «Я — Ты» как о высшем типе отношения и обычной замене его на отношение «Я — Оно». Однако русский философ более Бубера акцентирует моменты свободы и творчества в достижении единения с миром.

Таким образом, Бердяев рассматривает себя как продолжатель дела Канта, призванный пойти дальше него. Если Кант своим критическим осознанием объективации произвел освобождающее действие, но, оставаясь на позициях рационализма, не увидел путей ее преодоления, то сам Бердяев, изначально поставив задачу как задачу рационализации, увидел возможность объективации не в чисто рациональном познании, но на путях свободы и

[8] *Бердяев Н.* Философия свободного духа.

[9] *Бердяев Н. А.* Я и мир объектов. Размышление 1, гл.1.

творчества. Эти личностные моменты для Бердяева крайне важны. Его философия — это персонализм, философия личности. Целью для него является не внеположный личности высший мир первореальностей, а преображение самой экзистенции личности. **Личность для Бердяева первичнее бытия**[10]. Это одна из кульминаций «антропологического» и «персоналистского» поворота философии, здесь и виден огромный вклад Бердяева в эти процессы.

Вот как характеризует ситуацию «антропологического поворота» сам философ: «*В новое время, начиная с Декарта, христианство входит внутрь человеческой мысли и меняет проблематику. В центре становится человек, что есть результат совершенного христианством переворота. Греческая философия по основной своей тенденции направлена на объект, она объективная философия. Новая философия направлена на субъект, что есть результат совершенного христианством освобождения человека от власти природного мира объектов. Раскрывается проблема свободы, которая была закрыта для греческой философии*»[11].

При этом представляется важным отметить, что Бердяев, чувствуя себя призванным возвещать то, что ощущал как откровение, одновременно был бесконечно далек от фанатической уверенности в обладании истиной. Он вполне отдавал себе отчет в парадоксальности ситуации возвещения, в которой находился, в невозможности что-либо «железно» доказать. Не случайно он сам определял свое мышление не как дискурсивное, строго доказательное, а как афористичное. И сама негарантированность его правоты была для него прежде всего не логическим следствием мысли, а внутренним рефлексивным ощущением. «*Иногда*, — признавался он, — *приходила в голову такая кошмарная мысль: а что если права рабья ортодоксия, тогда я погиб. Но я быстро отбрасывал эту мысль*»[12]. Риск как неизбежный спутник свободы, провозглашаемой Бердяевым в качестве основы бытия, переживался им в полной мере.

2. «Трансформация богословия»

Рудольф Отто. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональным

СПб, издательство Санкт-Петербургского университета, 2008. — 272 с.
Перевод с немецкого

«Антропологический поворот» и сопровождающая его кантианская неопределенность в познании будто бы выбивают почву у религии: о Боге, получается, ничего определенного сказать нельзя, все догматы — на самом деле не догматы, а догадки. Все это стало вызовом не только для русской религиозной мысли, но и в целом для христианского богословия, которое

[10] См.: *Бердяев Н.* О рабстве и свободе человека. Глава II. Бытие и свобода.

[11] *Бердяев Н.* Я и мир объектов. Размышление 1, гл.1.

[12] *Бердяев Н.* Самопознание.

веками ощущало и продолжает ощущать свою силу в том, что располагает не только «религиозным чувством», но и понятиями, отмеченными ясностью и полнотой, убежденность посредством которых традиционно и составляет суть веры христиан.

Однако в ряде направлений христианской мысли на Западе, прежде всего в протестантской традиции, из которой вышел и Кант, его констатацию «зазора» между познанием и реальностью восприняли более органично. Сходный строй мысли, не чуждый радикальному сомнению, обусловил здесь иные пути защиты веры от нападок атеизма, иные поиски вневременного содержания христианства, нежели спасение «экземпляристской» метафизики. Это те возникшие с конца XVIII века направления протестантизма, которые принято называть либеральными. Догматы в них начали подвергаться свободному обсуждению, а библейский текст — не менее свободному исследованию, без оглядки на авторитет традиции или «магистериума». Теологические ответы на вызовы времени шли здесь по пути отыскания иных, отличных от догматических, оснований религии. Переведенный, наконец, на русский язык труд Р. Отто создан в рамках как раз этого направления и давно стал классикой религиоведения.

Рудольф Отто (1869–1937) — немецкий теолог школы истории религии, примыкающей к либеральной теологии. «Священное» написано им в 1917-м и переведено на английский в 1923 году. Методологический вклад Отто в исследование сущности религии, сделавший его книгу существенным шагом вперед не только в религиоведении, но и в христианской теологии и апологетике, — это применение феноменологического подхода, возникшего в философии на рубеже XIX и XX веков. При таком подходе теория и концепция уступают место описанию явления и его общих, инвариантных черт, «*априорных данных*», не зависимых от времени и места проявления. Это воздержание от подхода к явлению с меркой готовой теории имеет следствием приниципиальный «антиредукционизм», т. е. отказ от сведения феномена к уже известным (привычным или изученным) сферам. Антиредукционизм Отто в изучении феномена религиозного опыта проявляется в отказе сводить религиозное переживание к каким-либо иным факторам: психологическим, социологическим и т. п. Немецкий теолог отделяет религиозный опыт и от сферы морали, столь, казалось бы, с ним взаимосвязанной (здесь можно проследить полемику с теми из его коллег — либеральных теологов, для которых была характерна тенденция видеть в Иисусе Христе прежде всего великого учителя нравственности). Религиозные переживания Отто рассматривает как совершенно особое, самостоятельное измерение человеческого опыта. Это опыт переживания присутствия чего-то «*совершенно иного*» (ganz Andere), трансцендентного человеку, названного Отто «*нуминозным*». Результат воздействия нуминозного на личность описывается теологом как обостренное чувство тварности, зависимости от «совершенно иного», часто проявляющееся то как чувство благоговения и благодарности, то как ощущение бессилия, скованности условиями окружающего мира. Исходные для этого чувства тварности переживания Отто описывает как сильнейший ужас и отталкивание (mysterium tremendum) или, напротив, притяжение и очарование (mysterium fascinans). Эти проти-

воположные переживания объединены тем, что с несомненностью указывают на «*объект вне меня*». Они и составляют для Отто «*априорные данные*» любого религиозного опыта.

В научной дискуссии не обходилось без обвинений Отто с его «антиредукционистской» феноменологией в том, что он сам производит редукцию, фокусируясь на неких экстремальных, «пиковых» переживаниях и затушевывая тем самым все многообразие религиозного опыта, в том числе рационального. Однако Отто далек от иррационализма. В той уже упомянутой неразрывной связи христианской веры с ясными и отчетливыми понятиями он видел существенную черту превосходства христианства над другими ступенями и формами религии. Глубина для Отто не ведет к замутненности, без рационального и этического нуминозное не было бы для него «святым» христианства. Религиозный опыт, убежден он, нуждается в прояснении, установлении связей, в ценностном определении. Так «святое», входя в жизнь человека и сообщества, становится и «благим». То же, что происходит в случаях, когда нуминозное не умеряется и не проясняется рациональным и этическим, видно для Отто на примере ислама: легкость, с которой на почве этой религии возникает фанатизм, теолог склонен связывать с тем, что ощущение несоизмеримости Творца и человека подавляет в исламе все «слишком человеческие» моменты.

Однако рациональная и этическая составляющие, обогащая и осветляя религию, не являются для Отто ее априорными категориями, непосредственным содержанием священного. Понятия, идеи, концепции и доктрины, возникающие в связи с опытом переживания «священного», не могут быть точным «репортажем» о нем. Они лишь символически указывают на него (Отто использует здесь лингвистический термин «*идеограмма*», близкий к понятию «иероглиф» и означающий письменный знак, выражающий понятие). Соответственно, и понимать все эти словесные выражения религиозного опыта можно лишь символически (понятие «символ» в данном случае тождественно понятию «знак»). Буквальное же их понимание приводит к искажению смысла, что Отто и показывает на ряде примеров. Пожалуй, наиболее ярким из них можно назвать историю церковной интерпретации слов апостола Павла о божественном предопределении. Слова апостола о предопределении, доказывает Отто, лишь сугубо личным образом выражают его собственный опыт нуминозного. Но, будучи восприняты буквально и рационалистически, с попыткой построить всякого рода «*доктрины предопределения*», они приводят лишь к абсурду и фактическому отрицанию самой сути христианства. Так может случиться всякий раз, когда «идеограмму» воспринимают в качестве непосредственного «сообщения свыше».

Нетрудно заметить здесь все тот же кантовский мотив зазора между реальностью и попыткой ее постижения мыслью. Ни одно из вербальных положений не является прямым отражением «совершенно иной» реальности — это всегда лишь человеческое средство указания на реальность — и необходимой рационализации опыта соприкосновения с ней. С другой стороны, Отто защищает необходимость рационализации религиозного опыта; рациональное и иррациональное в этом опыте для него неразрывно связаны. Таким образом, подход немецкого теолога не перечеркивает значение

догматов и не ведет к адогматизму. Лишь по-иному обозначается статус и значение догматов и богословия в целом: из не подлежащих обсуждению «речений Бога» они становятся **языком** выражения первичного, непосредственного религиозного опыта, средством его воплощения в этическую и иные сферы человеческой жизни. Кристаллы понятий и доктрин проясняют иррациональное переживание, в них оно становится транслируемым для других людей — и во времени, и в пространстве. Конечно, в истории христианства это затвердение опыта в догму нередко давало повод сделать последнюю «метафизической дубиной» для битья всех несогласных и подозрительных. Однако в условиях нового статуса богословия, когда оно становится более прозрачным и обсуждаемым, подобное битье делается все более затруднительным. Впрочем, христиане в самых разных конфессиях порой еще дерутся этой «дубиной»...

Взамен «*потерявшей в весе*» догмы, ставшей пусть и важнейшим, но средством, а никак не самим первичным ядром религиозности, таким ядром в подходе Отто объявляется внерациональное религиозное переживание. Но именно оно становится у Отто априорным и вневременным содержанием религиозности, а последняя — неотъемлемым и самостоятельным измерением человеческой жизни. Безусловно, и такой подход сегодня рискует быть подвергнутым редукционизму. Но наличие религиозных скептиков — это ситуация, как видно, неизбывная, все то же следствие свободы, в условиях которой и надо существовать. На эту «ужасную свободу» мы обречены натыкаться везде, и осознание ее вездесущего характера, быть может, является самым важным следствиям «антропологического поворота» для религиозного мышлении.

Сторонникам этих обновленных подходов следует тем не менее понимать, сколь серьезна контраргументация приверженцев традиционного понимания христианства. Христианской ортодоксии будет трудно воспринять вышеуказанную «трансформацию теологии» — и далеко не только потому, что она воспитана на привычных эллинизированных концепциях. Богословие в его традиционном понимании, богословие догмы, ортодоксии продолжает играть в православной, католической и других Церквах весьма важную объединяющую роль. К частному опыту традиционный христианский взгляд относится с характерной подозрительностью: здесь гораздо важнее видимое единство в исповедании догматической веры, веры-убежденности в богословских положениях, понятийно выкристаллизованном опыте Отцов — тех, чьи святость и опыт умопостижения божественной сферы заверены, реципированы церковным Преданием. Единое и охраняемое богословское достояние Церкви служит в практике традиционного христианства ориентиром для всех ее членов. И если «профессорская вера» критического протестантизма, не обремененного многовековой традицией и тысячами прихожан, не будет спрашивать собеседника «како веруеши» («разговор о Боге» для нее связан с экзистенциальным переживанием, а не с единством в доктринальных положениях), то в сознании представителя ортодоксии видимое догматическое единство и конституирует Церковь, в границах которой ему весьма важна определенность. Похоже, что диалог между многообразными проектами спасения «разговора о Боге» еще только начат.

Что же касается русской религиозной философии перед лицом «антропологического поворота», в качестве итога можно выразить то впечатление, что она представляет собой некий мост между старыми и новыми подходами в богословии. Свою интуицию первичности внутреннего человеческого опыта по сравнению с умозрительным космоцентризмом русские мыслители стремятся примирить с традиционной платонической и неоплатонической схемой богопознания. Это фактически иллюстрирует изложенное в книге прот. Михаила Аксенова-Меерсона обновленное троичное богословие как «парадигма любви». Как бы ни относиться к попытке сохранить прежние «экземпляристские» богословские предпосылки в условиях, когда освободившийся разум нащупал свои границы, нельзя не восхищаться этим стремлением дать творческий ответ на вызовы времени. Нельзя не быть признательным, пусть и не везде до конца соглашаясь, и прот. Аксенову-Меерсону за новизну данных и остроту постановки вопросов, содержащиеся в его книге. Она способна много дать для осмысления путей современного богословия.

3. Может ли вера не закрывать проблем?

Глеб Ястребов. Кем был Иисус из Назарета?

М.: «Эксмо», 2008. — 384 с.

От того, какую из рассмотренных нами позиций по отношению к познанию — как к религиозному, так и к научному — мы выбираем, будет зависеть отношение и к следующей книге из новинок прошлого года. Современная библеистика в огромной своей части является порождением того же либерально-критического направления, «родом» из которого и подход Отто со всем присущим ему пафосом свободы исследования и обсуждения. Довольно трудно оспаривать то утверждение, что пересадка такого подхода на российскую почву — задача как минимум экспериментальная и смелая. Однако книга Глеба Ястребова носит именно такой характер.

Цель автора — представить российскому читателю малоизвестный у нас подход в новозаветной науке, носящий название **«поиски исторического Иисуса»**. Это направление, существующее уже более двух с половиной веков, выдержало немало трансформаций. Если при своем возникновении в XVIII веке оно имело антиклерикальную направленность и цель показать, что реальный Иисус был весьма далек от Христа церковной традиции, то с конца XIX века для протестантских ученых, воспринявших этот метод, он стал попыткой обнаружить тот минимум надежных фактов об Иисусе из Назарета, который мог бы, по их представлению, стать прочной основой христианской веры. Например, собрать неоспоримо подлинные речения Иисуса и сделать их основой общих правил человеческого поведения. История, однако, вскрыла необоснованность претензий рассматриваемого метода. Выясненные исторические сведения и интерес к ним породили «бум» очерков в жанре «жизни Иисуса» (вроде небезызвестного ренановского), но оснований для веры не создали. Что и понятно: христианская вера —

это вера в Воскресение, а не в исторические факты биографии. Как заметил уже упоминавшийся Пауль Тиллих, евангелисты, выражавшие веру ранней Церкви, совершенно не интересовались биографией Мессии.

Как на свидетельство церковной веры и церковного осмысления жизни и смерти Иисуса, а не как на точные исторические отчеты смотрит на Евангелия и автор рассматриваемой нами книги, библеист и преподаватель Нового Завета в ряде московских богословских вузов. И, тем не менее, историческая составляющая Евангелий для него очень важна. Ведь и в науке в целом «поиски исторического Иисуса» не заглохли, но, напротив, привлекают все больше ученых (как неверующих, так и верующих разных христианских и даже иных религиозных традиций). Автор видит целый ряд причин интереса к проблеме, среди них есть и важная причина богословского свойства — стремление прояснить суть «*истинного человечества*» Христа, Его «*подобия нам во всем, кроме греха*». Впрочем, методология исследования здесь нейтральна, внеконфессиональна, что и пристало науке, — ведь она в первую очередь устанавливает факты, которые далее уже могут богословски осмысляться с той или иной позиции. В своем исследовании Ястребов руководствуется принципиальным стремлением быть независимым «*как от религиозной, так и от позитивистской догмы*». Труд делать мировоззренческие выводы он оставляет читателю.

Автор опирается на обстоятельные академические разработки, одновременно прикладывая немалые популяризаторские усилия. В итоге ему удается изложить результаты этих разработок простым, даже очень простым языком. Одно из достоинств книги — характеристика большого числа источников знаний о жизни Иисуса и их достоверности. Ведь, кроме четырех канонических Евангелий, существует достаточное число апокрифов, по поводу которых время от времени возникают легенды и слухи (как это было совсем недавно с Евангелием от Иуды), часто подпитываемые обывательскими настроениями: церковники-де обманывают народ, утаивая правду. Лучший ответ на такие умозаключения — трезвый научный анализ, немало результатов которого и приведено в книге. Надо заметить, что традиционно настроенного верующего читателя научная правда порадует: как оказывается, наиболее достоверны, с исторической точки зрения, именно Евангелия от Марка, Матфея и Луки, принятые Церковью, — и это при том уже отмеченном выше обстоятельстве, что они биографиями Иисуса принципиально не являются. Апокрифы же по своей объективной исторической ценности в лучшем случае сильно им уступают, чаще же всего это попросту гностические фантазии.

Зато те разделы книги, в которых автор рассматривает разные аспекты жизни Самого Иисуса, в ряде случаев давая собственную версию наиболее вероятной исторической правды, кое-где могут не понравиться убежденным приверженцам традиционных взглядов. Ведь здесь свободно обсуждаются ряд тем, в традиции ставших фактически неприкосновенными. Несмотря на вышеприведенные резоны относительно разделения ролей науки и богословия, свободная научная дискуссия и по сей день вызывает определенную тревогу, у немалой части верующих остается подозрение: не угрожает ли научно-критический подход христианской вере? Не умаляет-

ся ли божественная сторона Иисуса Христа от того акцентирования стороны человеческой, что характерно для исторического подхода? Нередко можно слышать мнение, что верующий человек вообще не стал бы затрагивать такие «закрытые» темы, как, например, возможное семейное положение Иисуса.

Думается, однако, что допустим и другой взгляд на «закрытие вопросов». В истории последних веков христиане, вставая на позиции отстаивания тех или иных «фактов веры», постоянно попадают в обозначенную Бонхёффером ситуацию непрерывного «отступления Бога». Одно из ее проявлений состоит в том, что, объявив тот или иной традиционно признанный факт неотъемлемой частью веры и получив затем научное опровержение, христианская апологетика хватается за другой подобный факт, который вскоре опять опровергается, — и так до бесконечности. Для примера можно взять хотя бы всем известные истории с воззрениями на космогенез или эволюцию видов. «Последний бастион веры» при такой апологетической тактике постоянно отъезжает куда-то назад. Пора, думается, осознать, что, цепляясь за «неопровержимые факты», мы, по сути, встаем на позиции «доказательств бытия Бога». А все сказанное при обсуждении предыдущих книг о принципиальном «зазоре» между мыслью и реальностью подсказывает вывод о невозможности таких доказательств. Сегодня ясно, что Бог, который зависит от факта, точнее, от некоего нами же сформулированного утверждения о факте, — Бог вполне сомнительный. Лишь обратившись к вневременному и внефактовому пространству нашей экзистенции, найдя в ней место для Бога и Христа, мы имеем шанс избавиться от «бесконечного регресса». Неопровержимым может быть только внутренний факт, событие опыта как часть жизни.

Здесь мы вновь встречаем принципиальный «антропологизм» современности, о котором уже столько говорили. Можно надеяться, что если мы находим внутреннее основание веры вместо внешне-фактического, тогда наука из страшного врага веры способна превратиться в ее друга, в средство, хранящее от идолов. В этом содружестве с наукой появляется шанс того, что исчезнет страх, будто бы честность противоречит глубине. С этой точки зрения, и приобретают важность предельно честные книги, подобные данной. Какие бы новые научные данные ни появлялись, мы твердо знаем, что Христос стал событием «предельной заботы» огромного числа людей на Земле. А этот факт, вроде бы столь ощутимый внешне, — в своей основе внутренний факт.

Ольга СЕДАКОВА

СИМВОЛ И СИЛА

Гетевская мысль в «Докторе Живаго»*.

Denn edlen Seelen vorzufühlen
Ist wunshenschwertesten Beruf.
Goethe. Vermächtnis[1]

Если бы... я задумал теперь писать творческую эстетику, я построил бы ее на двух понятьях, на понятьи силы и символа...
Пастернак. Охранная грамота

1

Пастернак мало говорит о своей связи с Гете. Множество раз, по разным поводам и в разных жанрах благодарно и, как он в конце концов признает, преувеличенно признавая свое ученичество у Р. М. Рильке[2], оглядываясь на прозу Рильке как на образец для задуманного романа[3], о Гете он ничего подобного не сказал[4]. Обширное присутствие Гете не только в романе, но во всем мире Пастернака остается необдуманным. Вместе с ним остается по существу не обдуманной мыслительная, в своем роде доктринальная сторона творчества Пастернака — нефилософствующего философа[5], небогословствующего богослова[6]. Мы сказали: «вместе с ним», то есть с гетевским присутствием. Но это никак не значит, что при всех многочисленных линиях сходств и совпадений, которые мы постараемся отметить, мы хотим свести всю мысль Пастернака к гетеанству. С Гете хорошо начать — хотя бы потому, что мысль Гете (как и Пастернака) принадлежит началу, «месторождению» в куда большей мере, чем мысль кого-либо из философов, в том числе и «религиозных мыслителей». Все они обычно начинают, уже на шаг — на два шага — на несколько шагов отступя от этого начала, от «*бесконечно ускользающей реальности*», от «*вдохновенного зрелища невоплощенного*» (X, 490).

* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ, проект 08-03-00594а.

Ольга СЕДАКОВА — родилась в 1949 г. в Москве. Окончила Филологический факультет МГУ и аспирантуру Института славяноведения. Кандидат филологических наук, поэт, автор многих книг, в том числе собрания сочинений в 2-х тт. и тома избранного «Путешествие волхвов». Постоянный автор «Континента». Живет в Москве.

В последний год жизни Пастернак не нашел другого имени для сравнения своего «*благословенного, неслыханного и бросающего в дрожь образа жизни, деятельного и плодотворного*»[7], нежели Гете. Об образе жизни в первую очередь и пойдет речь.

Нужно отдать должное критической чуткости Михаила Кузмина, заметившего гетевское (и вместе с ним толстовское) начало уже в «Детстве Люверс»[8]. Без комментария, самими абзацами прозы, которые он цитирует и в которых читатель без труда различает голоса Гете и Льва Толстого[9], Кузмин подсказывает нам важную догадку. Когда мы говорим о Пастернаке и Гете (а также о Льве Толстом), речь идет не о сходстве манер, а о другой, более глубокой, более неожиданной близости.

Речь идет об особом *восприятии* всей действительности, и человеческой, и нечеловеческой, об особом *внимании*, которому отвечает особый род творчества, и о необычайной ценности этого восприятия-внимания для художника. Не трюизм ли мы сообщаем? Не так ли обстоит дело с каждым сочинителем? Разве не на личном восприятии реальности в конце концов основана любая творческая попытка? О нет, дело обстоит чаще всего совсем не так: всякий вопрос о восприятии остается далеко за дверьми творческой работы, а сама эта работа представляется как «построение своего мира», «преобразование действительности» и т. п. В обсуждаемом нами случае (случаях) восприятие мира и рождение формы представляют собой единое действие: «*художник... захваченный **действительностью** и увлеченный повседневностью, **горячее и одухотворенное восприятие которой*** (подчеркнуто мною. — *О. С.*) *представляется более фантастическим, чем сказка*» (X, 554).

Вос-приятие, в-нимание — хочется написать эти слова по-хайдеггеровски, чтобы отметить в их поморфемном значении момент «приятия», «вбирания», который в нашем случае очень важен (ср. мысль Пастернака об искусстве, вбирающем мир, о губке, а не фонтане[10]). И восприятие это прежде всего зрительное. Во врожденной оригинальности взгляда (в этимологическом смысле «оригинального», то есть первоначального), в чистоте от стереотипов, уже как будто вошедших в самый состав нашего зрения, и Гете, и Пастернак видят первый дар художника и мыслителя[11]. Самое трудное, не раз повторяет Гете, — это видеть то, что видимо.

> Was ist das Schwerste von allem? Was dir das Leichteste dünket:
> Mit den Augen zu sehn, was vor dem Augen dir liegt[12].

Неспособность видеть видимое, видеть открытую реальность не заменишь умением подглядывать или заглядывать за спину, чтобы обнаружить скрытое, «то, что на самом деле». Часто такой вуайеризм и принимается за «наблюдательность» художника и мыслителя. Ей учат, ее тренируют у «профессионалов». Это не только малопристойно, но, говоря по-гетевски, непродуктивно.

Было бы грубой ошибкой спутать свежесть, первость этого зрения с известным «приемом остранения». Это никак не прием, то есть не вопрос профессиональной техники — это вопрос жизни, вопрос дара и его сбережения. Сберегается эта оптика, по Пастернаку, усилиями совести[13]. То, что такое зрение делает с видимым миром, — никак не «остранение», а наобо-

рот, «признание» мира, приятие, вос-приятие, «*восприимчивость предельного вдохновения*»[14]. Новизна, которую дает такой взгляд, особого рода: это не то эффектное «отклонение от обычного», которого суетливо ищут разные «новейшие течения», а непроизвольная новизна истины[15] и новизна таланта[16]. Эта новизна стара как мир. Ее не ищут, а вдруг и непонятным для себя образом находят. Она не просто нова сама по себе: она обладает обновляющей силой[17]. Время, одержимое ценностью всего «новейшего», всех «новостей», «новинок», актуальностей, о новизне такого рода думает меньше всего. Эта новизна востребована самим предметом изображения как необходимый ей «дар речи»[18] (ср. мысль Гете о том, что новый объект создает в воспринимающем новый орган восприятия).

Можно назвать это особое восприятие-внимание-творчество *художеством мысли*, имея при этом в виду мысль не предметную и не спекулятивную, а гетевскую «созерцающую мысль» или «мыслящее созерцание» (о мысли как зрении и зрении как мысли, о думании как рисовании мы еще скажем в дальнейшем).

Но, пытаясь определить «избирательное сродство» Гете — Льва Толстого — Пастернака, главного мы пока не ухватили. Главное в том, что эта глядящая, рисующая мысль за «людьми и положениями», как за переменными величинами, символами и подобиями —

Alles Vergängliche
ist nur ein Gleichniss[19], —

исследует свой главный и единственный предмет — *Жизнь*[20]. У *Жизни* при этом могут быть и другие имена. *Правда* (Истина, Wahrheit)[21] — первое из них (мы еще уточним значение этой *правды*, довольно неожиданное). Но также *Непреходящесть*[22], *Бессмертие* и др. Прошу терпения: речь и в этот раз идет не совсем о трюизме (чем же, дескать, еще, как не жизнью, занят любой художник?).

Точнее было бы назвать эту силу[23], *Жизнь*, не предметом, а героем мысли и больше — ее собеседником: *Жизнь* обладает безусловной субъектностью и деятельным характером — в описаниях Пастернака даже не художническим, а ремесленническим: она шьет и ладит, стоит у верстака, тешет алебастр... Впрочем, и у Гете речь часто идет о некоей чудесной мастерской *Жизни* (например, о ткацкой мастерской[24]), где она бесперебойно изготовляет свои гениальные и парадоксальные «изделья»[25] — собственные метаморфозы или символы, «живое платье божества»[26]. Относительно этого главного — и мистического, заметим, — героя, *Жизни*, тройная связка: Гете — Лев Толстой — Пастернак, — несомненно, достоверна, в каких бы различных между собой образах эта *Жизнь*, исподволь работающая над разрозненными явлениями, не представала каждому из них[27]. Тема *Жизни*, переживаемой как сплошное чудо, как редкостное счастье, как внезапно раскрывающаяся всеобщая связность и символичность, видение «жизни при прохождении сквозь нее луча силового»[28] — все это неизбежно вызывает в памяти имя еще одного исследователя «того, что есть», Марселя Пруста[29].

Вспомнив о Прусте, мы хотя бы бегло объяснимся, в каком смысле мы называем этот «предмет» Гете, Толстого, Пастернака — *Жизнь* — мистичес-

ким. Дело в том, что все упомянутые авторы имеют в виду не некую «объективную», равномерно и безразлично присутствующую вещь, «данную нам в ощущения», которая всегда на месте, всегда под рукой и не зависит от того, кто и как ее воспринимает. Эта таинственная *Жизнь* ведет мерцающее существование. Она не «дана нам в ощущения» раз и навсегда: она иногда нам *даруется* — вместе с теми *ощущениями*, для которых необходимо появление некоторого нового органа восприятия. Эта *Жизнь* является одновременно с явлением в человеке некоего другого существа. Каждое явление — и ее самой, и воспринимающего ее существа в нас — потрясает. «*Не сам он, а что-то более общее, чем он сам, рыдало и плакало в нем нежными и светлыми, светящимися в темноте, как фосфор, словами. И вместе со своей плакавшей душой плакал он сам*». Так описывает это Пастернак (IV, 391). М. Пруст: «*Что это за существо* (оживающее и умирающее во мне. — *О. С.*), *я совсем не знаю.* <...> (каждый раз, когда является гармония. — *О. С.*) *оно получает свою пищу и вновь начинает существовать и быть счастливым. Ибо для него существовать и быть счастливым — одно. Оно моментально умирает в частном и мгновенно оживает в общем. Оно живет только в общем, общее одушевляет его и питает, и в частном оно моментально умирает. Но в то время, когда оно живет, сама его жизнь есть восхищение и счастье. Оно одно должно было бы писать мои книги*»[30]. Явление ли *Жизни* (иначе: гармонии, общего) воскрешает в нас это «другое существо», это «что-то более общее, чем мы сами», — или же наоборот, оно, незнакомое нам наше «общее» существо, пробудившись в нас, хочет и оказывается способно видеть эту *Жизнь*, не воспринимаемую никаким другим органом? В любом случае, как с первых опытов не перестает повторять Пастернак, бессмертие (а это, как мы слышали от него, не более чем «*слегка усиленное имя жизни*»[31]) существует там, где есть желание бессмертия[32]. Такое отношение бытия и желания бытия совершенно отвечает гетевскому. Что касается воспринимающих способностей того другого существа, «которое только и должно писать книги», о нем замечено в «Студенческих тетрадях»: «*Это уже не та чувственность, которою человек живет. Вероятно, это чувственность, которою он бессмертен*» (V, 289).

Прибегая к различениям, которые произвел греческий язык и описал великий мифолог XX века Карл Кереньи, момент, о котором мы говорим, — это восстановление жизни — *zoe* из жизни — *bios'a*[33].

Вспышки и угасания этой жизни-счастья-бессмертия и этого нашего «другого существа», для которого существовать и быть счастливым — одно и то же, много раз в своих героях и в себе самом описывал нам Лев Толстой[34]. Гете называл эту внеличную субъектность энтелехией, прижизненным бессмертием, той «бессмертной частью» человека, которая спасается в Фаусте. Пастернак называет ее *душой*, и в его употреблении — непривычном на фоне обыденного, машинально индивидуалистского[35], — это слово, *душа*, несет в себе то свое древнейшее значение, о котором говорит К. Кереньи. Они — *жизнь* и *душа*, «другое, общее существо» в нас, *zoe* и *psykhe* — впадают в сон и пробуждаются, умирают и воскресают. Мы теряем с ними связь как будто навсегда — и вдруг вновь и *беспричинно*[36] обнаруживаем ее. Неуправляемая, необладаемая природа этой *Жизни* и *души* сходна с тем,

что художники традиционно называют вдохновением: с опытом Совсем Другого. О власти этой *души* над собой — силы не только не психологической, но в определенном смысле антипсихологической (Гете назвал бы эту силу *демоном* в античном смысле, см. ниже) — говорит Пастернак, не надеясь быть понятым[37].

Вот что важно — и что только у Пастернака выражено с последней окончательностью: бессмертие это — совсем особого рода. Это не бессмертие того, что бессмертно по самой своей природе (здесь мы еще остаемся в классической платоновской интуиции), это воскресение смертного из смертности. Эта *Жизнь*, в своем постоянном сопоставлении со смертью и смертностью, в жестоком испытании смертью и смертностью, переживается как приходящая *после* смерти, как *воскресение из мертвых*. «*Мое другое я*», «*нечто более общее, чем я сам*» — это «*я, воскресающее из мертвых*».

Переживание *живого* как встающего *над* смертью, *живого* как *уже воскресшего, уже победившего смерть, живого* как *пасхального* выражают слова пастернаковского героя, которыми он утешает умирающую: «*Вот вы опасаетесь, воскреснете ли вы, а вы уже воскресли, когда родились, и этого не заметили*» (IV, 69).

В этом смысле следует понимать пастернаковское переживание святости всего сущего и живого (переживание Гете и Швейцера, Льва Толстого и Марселя Пруста и Гельдерлина с его «das heilige Leben») — воскресшего, воскрешенного, пасхального — и святости гения, который «*неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь*»(IV, 91). Творчество — в этой мысли — чудесно не в метафорическом, а во вполне предметном смысле: оно есть чудотворство потому, что занято невозможным: не более не менее как «*усильем воскресенья*»[38], преодолением смерти, задачей, которая, по мысли Пастернака, поставлена перед всей историей человечества. И Пастернак, и Гете не раз говорят, что только невозможное вполне реально и что каждая вещь исполняется только в собственной невозможности. Самым явным образом этой невозможной задачей занят художник, имеющий дело с символами, «*потому что в единстве идеи, в символе находит этот мир свое окончание и завершение*» (V, 282). А окончание или завершение этого мира, как мы много раз читали у Пастернака, есть его бессмертие, его *zoe*[39].

Постоянные упоминания о «*более общем, чем я*», о «*жизни, возможной только в общем*», о приобщенности к некоторому целому, об общении неслучайно связаны у авторов, которых мы здесь вспоминаем, с темой епифании *Жизни*. «*Ожить от обморока*»[40] и, значит, оказаться в общем: оказаться гением. «*Область подсознательного у гения не поддается обмеру. Ее составляет все, что творится с его читателями и чего он не знает*» (III, 158). Эта мысль Пастернака об «общем бессознательном» гения совершенно отлична от юнговского «коллективного бессознательного»: ведь такое бессознательное включает в себя не общие для всех внеличные архетипы, а другие души, другие личности и их будущее! Близкий этому смысл имеют в виду и слова о «*предвосхищенье, видении наперед благородных душ*» из «Завещания» Гете, взятые в эпиграф. Что делать с *таким* бессознательным современной психологии, рассматривающей индивидуальную психику как замкнутую монаду, мир на одного? А ведь Гете и Пастернак говорят сущую

правду! Каждый добросовестный читатель знает это изумление: ну откуда он (она) в своем двенадцатом (пятом, восемнадцатом) веке мог знать это обо мне?! Биографически переживаемый автором опыт бывает поводом, намеком, подсказкой, позволяющей догадаться о таком же опыте, но в его настоящем, сильном и полном переживании, который принадлежит (или будет принадлежать) другому человеку. Это будет точное выражение чувства *кого-то другого*. Мы его не чувствовали, когда писали: только предчувствовали.

В перспективе творчества момент приобщения к целому — это момент, когда в поэтах говорит Поэт, один для всех времен и языков (тема тройной переписки Пастернак — Цветаева — Рильке; этот мотив можно прочитать в духе дурной мистики, дешевой медиумичности, но, имея в виду общие основания мысли всех трех корреспондентов, делать такое нелепо: мы слышим этого Поэта в поэтах, когда в их словах звучит по-настоящему «крылатое» слово, когда «в слово сплочены слова»)[41].

Это и есть предпосылка знания, — точнее, опознавания, — символов, ви́дения в символах (выяснение того, что такое символ у Гете и Пастернака, мы пока оставляем на потом). «*Это мысль, что общение между смертными бессмертно и что жизнь символична, потому что она значительна*» (IV, 558). Помеху такому знанию составляет не интеллектуальная слабость, не отсутствие какой-то особой посвященности, а отчужденное, несчастное существование, не ведающее о целом, не видящее себя в целом, чувствующее себя отвергнутым, проживающее жизнь вне жизни. То, «чем люди не живы», «*скудоумие будней и чертовщина посредственности*», то, что охраняет себя от жалости (см. выше) и изумления, в котором начало всякого смысла. Начало и цель:

Zum Erstaunen bin ich da.

«*Для изумления я здесь*»: то есть «я здесь, чтобы изумиться», — и: «я здесь, чтобы сделать нечто изумительное». Другие цели не слишком реальны. Так думают и Гете, и Пастернак[42].

2

Наблюдение Михаила Кузмина о присутствии Гете в прозе Пастернака не имело продолжения в пастернаковской критике, во всяком случае, насколько это известно нам. Что особенно странно в отношении к «Доктору Живаго».

Две очевидные вещи — многозначительная перекличка имен протагонистов («Доктор Фауст» — «Доктор Живаго») и факт одновременной работы над переводом «Фауста» и романом[43] — даже это, кажется, не привлекло особого внимания исследователей. Эффектное сближение: доктор Фауст — доктор Живаго! Легко вообразить, в какую сторону это может нас повести. Художник и дьявол, искусство и демонизм[44]... Где же он, невидимый невооруженным глазом Мефистофель пастернаковского романа, с которым русский Фауст, Юрий Андреевич Живаго, заключает роковую сделку? Не посмотреть ли в этом луче на фигуру загадочного благодетеля Евграфа, «*тайной неведомой силы, лица почти символического*»?[45] Другой кандидат на роль Мефистофеля — Комаровский, соблазнитель Лары и погубитель отца Юрия Андреевича. Но в этом случае говорить о какой-то сделке Доктора с ним, причем сделке, способствующей «творчеству и чудотворству», совсем нелепо.

Все соображения такого рода придется сразу же оставить. Пастернак просто не верит в реальность духов зла, как их представляет церковная традиция; в гетевском Мефистофеле или в участниках Вальпургиевой ночи он не видит ничего, кроме аллегорий, условных фигур, отвечающих *«критерию достоверности в религиозную эпоху»*[46]. У нас, полагает он, другой, свой критерий. Вероятно, и сам Гете, сын Просвещения, думает об этом не иначе. Да и герой его, Фауст, с высоты просвещенного разума смотрит на «бабьи бредни» про ведьм и прочую нечисть, на низовую — кухонную — магическую практику. С усмешкой нашего современника постмодерниста он отвечает на предложение подписать договор кровью:

Какие-то ходульные условья!

Тут даже инфернальный циник Мефистофель замечает ему:

Кровь, надо знать, совсем особый сок!

Однако сюжет «Фауста», народный средневековый сюжет о сделке книжника с дьяволом (о продаже бессмертной души за всеведение и всемогущество, за превосхождение «человеческого, только человеческого») думает по-другому. Судьба Гретхен, которая оказалась повинна в смерти матери, младенца и брата, да и судьба самого Фауста показывают, что такие «аллегории» не дремлют. Гете, преобразуя народную легенду, сообщил своему Фаусту метафизический объем (еще отчетливее это сделал Томас Манн в своем Леверкюне) и поубавил этого объема у Мефистофеля[47], но ход событий остался по существу тем же.

Вот как Пастернак-переводчик резюмирует содержание гетевского «Фауста»: *«"Фауст" Гете — это чудодейственная драма о чудотворстве. О творческом, о деятельном начале исторического существования. О чуде творения, которое перерастает границы пространства, образует содержание столетий, разрушает его и возрождает вновь, которое погружает природу в поэзию, предсказывает и обеспечивает будущее, будучи его причиной. <...> Драма утверждает святость и бессмертие гениальности и действенность этого порыва и подвига»* (X, 290-291).

Не будем обсуждать это удивительное, ни на что не похожее истолкование «Фауста», с текстом которого Пастернак был знаком, как мало кто[48]. Кажется, весь гетевский сюжет сопротивляется такому чтению: какие собственно чудеса совершает Фауст? Каким творчеством он занимается после того, как связался с Мефистофелем? Фокусы и авантюры — вот что предлагается ему для утоления его бессмертной жажды, одобренной самим Творцом в «Прологе на небесах», «блаженной тоски», святого недовольства собой[49]. Начиная с чудесно возвращенной молодости. Как совсем просто заметил по этому поводу Честертон: *«Став молодым, он сразу же стал подлым и начал с того, что подло соблазнил девицу»*. Если мы вспомним, какое значение «чудесная молодость» имеет в мысли Гете (свойство всего истинного и великого, которое не только само не стареет и не ветшает, но, как молодильные яблоки русской сказки, способно возвращать молодость тому, кто его воспримет), и сравним это со второй молодостью Фауста, мы оценим качество всех чудес, какими Мефистофель услуживает Фаусту. Это не что иное, как пародия на чудеса и на историческую деятельность.

Пастернак удивительным образом не принимает во внимание эту явную трагическую пародийность, этот трагифарс, в который рухнул Фауст. Но дело не в этом. Мы слышим, что слова Пастернака о «Фаусте» с точностью суммируют замысел его собственного создания, «Доктора Живаго». В стихотворном чекане эту идею «драмы чудотворства» дает финальная строфа «Августа»:

Прощай, размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство (IV, 532).

«Святость гениальности» — не соединение двух «сильных» и «высоких» слов с туманным содержанием, о которых с уверенностью можно сказать одно: что обыкновенно их противопоставляют. Вполне конкретный, точный смысл их соединения, ясный для Пастернака как день, мы увидим ближе в связи с нашей темой *символа* и *силы*, темой характерно пастернаковской — и характерно гетевской.

3

Итак, мы будем говорить не столько о сопоставлении двух этих «драм о святости и бессмертии гениальности», но о гетевском присутствии в «Докторе Живаго»[50] и шире — в мире Пастернака. Собственно в романе Гете участвует не только своим «Фаустом»: еще существеннее, как мы увидим, присутствие Гете-натуралиста, Гете-мыслителя и отчасти Гете-прозаика. Немного о последнем.

В повествовании «Доктора Живаго» заметны некоторые характерные черты гетевской романистики, непривычные для русского читателя. В частности, это характер отношений протагониста и автора, при котором герой создается как «заместитель», как «другая версия моей жизни», иначе: как попытка найти для своей жизни — *zoe* — другой *bios*, со всеми его составными: происхождением, профессией, внешностью, характером и т. п. , вплоть до смерти, непременно входящей в любую «биографию» (у Гете таков Вертер и особенно Вильгельм Мейстер[51]). Небиографическая жизнь автора, его *zoe-psykhe* при этом находит себе место в песне (в «Песне арфиста», «Песне Миньоны») и в стихе («Часть семнадцатая» романа), чьему бы авторству эти песни и стихи в ансамбле сочинения ни были приписаны.

Еще важнее другая общая черта: символическая, а не психологическая мотивация действий и событий. Чем отличается символическая мотивация от психологической? Другим качеством причин. Это не «ближайшие причины», которые легче всего предположить и из которых все якобы механически следует, а причины другого, непредвиденного обыденным сознанием яруса. «*Они любили друг друга не из неизбежности, не "опаленные страстью", как это ложно изображают. Они любили друг друга потому, что так хотели все кругом: земля под ними, небо над их головами, облака и деревья. Их любовь нравилась окружающим еще, может быть, больше, чем им самим*» (IV, 427). Приблизительно такова мотивация и философия человеческих связей в «Избирательном сродстве» Гете. Они возникают по тем же законам, что связи минералов, цветов, живых организмов. До того, как возникли, они как бы

предвосхищены самим порядком вещей. Момент явления великого — равно в человеческой действительности или творчестве — Гете описывает как *«совпадение необходимого и невозможного»* или же как *«схождение необходимости и* (личной) *воли»*. В этом же смысле Пастернак говорит о том, что все великие любовные сюжеты мировой поэзии (Тристан и Изольда, Ромео и Джульетта) имеют своей темой не страсть, а силу (см. об этом дальше). Критики с точки зрения психологической тонкости и правдоподобия, по образцам большого русского романа XIX века, перипетии и характеры «Доктора Живаго» часто не выдерживают. Но они и не берут на себя обязательства выдерживать их! Это другая школа письма: это письмо *сказки*[52], то есть жанра, организующий принцип которого Гете выразил в одной из своих «Ксений»:

Два десятка персон принимают участие в сказке.
«Ну, и что они все делают?» Сказку, мой друг.

Этим «персонам» (действующим лицам) некогда иметь характер и психологические изгибы. Все, что от них нужно для сказки, повествователь не обинуясь сообщает нам сам, не предоставляя героям возможности свободно и неожиданно, больше в действиях, чем в словах («что они все делают?»), — а вообще говоря, непонятно в чем, — раскрываться перед глазами читателя, как это делают герои «большого реализма» девятнадцатого века. Этого волшебства «совсем живых», совсем милых людей Толстого или Чехова в прозе Пастернака мы не встретим. Не встретим и в гетевской. Память о «дореалистическом», сказочном и символическом методе (свойственном не только гетевской, но и другой германской прозе: вспомним Новалиса, Гельдерлина) сняла бы многие недоразумения в отношении письма «Доктора Живаго». Но дело, вообще говоря, не в генеалогии (мотивация прошлым — как раз несимволическая мотивация). Это письмо не только «дореалистическое», но — для автора в первую очередь — «послереалистическое». Отвечая своему английскому корреспонденту, поэту и издателю Ст. Спендеру, Пастернак определяет отличие собственного реализма от классического реализма XIX века: в последнем, по его описанию, правит закон детерминизма, «железной цепи причин и следствий», «последствий и возмездия»: *«Я бы представил себе (выражаясь метафорически), что видел природу и вселенную не как картину неподвижно висящую на стене, но как расписанный холщовый тент или занавес в воздухе, непрестанно колышущийся и раздуваемый каким-то невещественным, неведомым и непознаваемым ветром»*[53].

Похожее, но, пожалуй, еще более интенсивное уподобление для своего видения мира Пастернак находит в письме к Ж. де Пруайяр: *«Как если бы живописное полотно, картина, полная беспорядочного волнения (как, например, Ночной дозор Рембрандта), была сорвана и унесена ветром — движением, внешним по отношению к движению, изображенному и видимому на картине. Как будто этот вихрь, вздувая полотно, заставляет его вечно улетать и убегать, постоянно ускользая от сознания в чем-то самом существенном»*[54]. Этот перехлест двух движений — блестящее описание символического или сказочного письма, которое приходит после классического реализма, но несет в себе древнее, дореалистическое восприятие.

Нужно заметить, что этот невещественный, неведомый и непознаваемый ветер веет в повествовании романа с разной силой — и когда этот занавес совсем спокоен (очень предметные, натурально выписанные эпизоды с «характерами», а значит, с причинами и следствиями, с «обстоятельностью», по слову самого Пастернака (X, 80), его можно принять за ту же «картину на стене» действительности реализма XIX века. В других же эпизодах (и особенно, как мне кажется, не в фантастических совпадениях и встречах, вроде появления Евграфа Живаго в самых неожиданных местах сюжета или «случайного» появления Лары на похоронах Живаго, а в таких сценах, как расставание Лары и Доктора) занавес треплется вовсю, и растерянный читатель не знает, как это можно понять и объяснить с точки зрения «стены». «Ну и что они все делают?» Неравномерная сила символичности, неоднородность повествования — вот что затрудняет чтение романа. Если бы этот занавес был расписан совсем условно, как, скажем, у Кафки, вопросов бы не возникало.

4

Но вернемся к «Фаусту». Главное, что связывает два эти сочинения, это их сюжет, их самая общая тема: и «Фауст» Гете, и «Доктор Живаго» имеют в виду рассказ о Человеке — и обо Всем (о Мире, Жизни, Творении), о Человеке в его отношении ко Всему. Человек здесь прежде всего — существо познающее (два «доктора»). То, что этот человек хочет знать, есть целое, *все*, не больше, не меньше. Существенно, что речь при этом идет не о человеке исключительном, но о человеке символическом[55] — то есть о каждом. Об образе человека[56]. «*Каждый родится Фаустом, чтобы все узнать, все испытать, все выразить*»[57]. Форма знания при этом не слишком существенна; обращение к той или другой (к науке или к искусству) происходит по противоположным причинам: по закону отталкивания от наличного положения дел — или по закону притяжения. «*О том, чтобы Фаусту быть ученым, позаботились ошибки предшественников и современников... О том, чтобы Фаусту быть художником, позаботились заразительные примеры учителей*». Эти размышления из дневника Юрия Андреевича по существу описывают творческую судьбу не Фауста, а самого Гете, который говорил, что великое наследство, которое он получил в науке, — это ошибка Ньютона[58], тогда как его великое наследство в искусстве — гений Шекспира.

«О том, чтобы Фаусту быть никем», продолжим мы этот ряд, заботится дух века сего, то зло, которое Пастернак видит не в образе средневековых чертей, а в анонимной силе «*скудоумия будней и чертовщины посредственности*»[59]. Этот дух, несомненно, древнее нового режима, который, как мы видим в романе, с последовательностью одержимого истребляет и изгоняет все достойное, одаренное и просто профессиональное в обществе и человеке. Но никогда прежде этот дух не действовал таким немудреным образом: речь идет уже не о «сделке», как у Фауста с Мефистофелем, а об ультиматуме: сдавай душу — или конец. При предложении ему такого «договора» Пастернак всерьез вспоминает продажу души — и говорит о Дьяволе уже не в условных аллегориях «религиозной эпохи»: «*Все мое существо восстает против такой расписки, этого договора Фауста с Дьяволом о сво-*

ем будущем, о Божественной благодати, которую невозможно предвидеть, против ужасной системы, захватывающей и подчиняющей себе живую душу, делая ее своей собственностью»[60].

Под власть этой чертовщины и скудоумия рано или поздно попадают почти все действующие лица романа (в их числе и нашедший эти замечательные выражения Миша Гордон, ученик Веденяпина и ближайший гимназический друг Живаго). Ларису и Юрия Андреевича соединяет прежде всего незатронутость этим духом. «*Еще больше, чем общность душ, их объединяла пропасть, отделявшая их от остального мира. Им обоим было одинаково немило все фатально типическое*[61] *в современном человеке ... и та смертная бескрылость, которую так старательно распространяют неисчислимые работники наук и искусств для того, чтобы гениальность продолжала оставаться большою редкостью*» (IV, 392). Их общение — «*узнавание все нового и нового о себе и жизни*».

Итак, познание, область действия которого почти безразлична. Успех[62] этого познания совпадает с «исцелением» мироздания, действительности, «попранной сказки»[63] (опять же, два «доктора» — теперь в другом, медицинском смысле; у второго к тому же есть «сестра милосердия» — Лара: при исполнении этих обязанностей, фронтового доктора и сестры милосердия, начинается их сближение), с «усильем воскресенья». По меньшей мере, с правильно поставленным диагнозом болезни (тема диагностического дара Живаго) и точным прогнозом. Это знание диагностическое и прогностическое.

Не безразлично и то, что история этого символического человека, Фауста, Живаго, представлена как зрелище, как театр. Это открыто заявлено у Гете и совсем не так очевидно для нас у Пастернака. Все-таки это роман в семнадцати частях, а не драма в актах и «сценах», как «Фауст» Гете! Однако драматургический замысел с самого начала лежал в основании этой прозы. «*Я думаю, что форма развернутого театра в слове — это не драматургия, а это и есть проза. ...В замысле у меня было дать прозу, в моем понимании реалистическую, понять московскую жизнь, интеллигентскую, символистскую, но воплотить ее не как зарисовки, а как драму или трагедию...*»[64]. Внимательный читатель заметит в романе знаки этого жанра, «театра в слове». Два гетевских Пролога к «Фаусту» (и стоящая за «Прологом на небесах» завязка библейской «Книги Иова») по существу соединяются в стихотворении «Гамлет»: в нем одновременно звучат и тема Промысла, решения на небесах (аллюзия Гефсиманской молитвы), и тема режиссерского замысла. «Гамлет» — прибереженный к концу театральный пролог «Доктора Живаго»: он открывает его стихотворную часть — и второй раз, уже по-настоящему, поднимает занавес над событиями, рассказанными к этому моменту до конца и дальше, до эпилога, — надо всем, что мы прочли. Оказывается, это была драма, действо, зрелище.

Гул затих. Я вышел на подмостки[65].

Герой романа выходит на подмостки на первой его странице, под панихидное пение на похоронах матери. «*...Забросали могилу. На ней вырос холмик. На него взошел десятилетний мальчик. <...> могло показаться, что*

мальчик хочет сказать слово на материнской могиле» (IV, 6). Вот начало драмы. «Могло показаться». Здесь начинает действовать «замысел упрямый», который герою придется исполнить.

Как связать с этой театральностью известный, еще в начале пути заявленный Пастернаком отказ от «"зрелищного понимания биографии" поэта» (III, 226)? Можно сказать так: действие драмы переносится из публичного, социального театра, из заурядной театральщины в театр космический. Зрителями этого зрелища становятся небеса, деревья, горы. Они глядят из партера и с галерки:

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.

Кстати, зрителей из числа собратьев по человечеству в момент «представления» может и не быть — как их нет в первой сцене романа, как их нет в этих стихах:

Я один. Все тонет в фарисействе (IV, 515),

как во всей судьбе героя, которая в своем замысле — судьба, скрытая от публичного внимания, намеренно неприметная (она вплоть до эпилога остается по существу невидимой — невидимой в своем общем сюжете, в своем смысле — даже для его ближайших друзей[66]). Как нет этих зрителей, — последуем смелости Пастернака, — в сцене Гефсиманской молитвы. Но и при отсутствии зрителей-людей (и даже с особенной силой в случае их отсутствия) происходящее «на подмостках» не перестает быть наблюдаемым, быть Зрелищем, а действующее лицо — Героем. «*Жизнь прожить*» — значит удовлетворить *эту* публику,

Привлечь к себе любовь пространства (II, 150),

исполнить замысел *этого* Драматурга:

Я люблю Твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль (IV, 515)[67].

Нужно вспомнить замечательную мысль молодого Пастернака о театре как о том, что превращает *явление* в *заявление*, иначе говоря, в речь обращенную, речь от первого лица, произносимую с полной решительностью и определенностью в ожидании ответа, — «*феномен на уровне бессмертия*» (V, 318). В этом повороте театр есть символ искусства вообще. В этом свете художник, как режиссер, выводит каждую вещь, которой он занят, на подмостки и дает ей слово, — и таким образом любой предмет, включенный в натюрморт, из явления превращается в заявление. Он смотрит на нас, как лицо с фаюмского портрета. Мастер такого нетеатрального театра — несомненно Рембрандт.

Чем меньше расхожей театральности в таком зрелище, чем меньше заметен свет рампы, а больше — «свет повседневности»[68], тем сильнее театр как «феномен на уровне бессмертия», как «заявление». В этом смысле театр, как в девизе шекспировского «Глобуса», есть символ всего «мира» (человеческого) и символ истории (что особенно важно для Пастернака). Символ не

всеобщего притворства, как это часто понимается. Символ человеческой истории как заявленного, объявленного и открытого Зрителю *действия в лицах, лицедейства.*

Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты (IV, 548).

Роль исторического, — то есть символического, — лица исполняет тот, кто выходит на подмостки, иначе — принимает свою видимость (*«Я оглянулся, чтобы увидеть, как я видим»*, — пишет молодой Данте в «Новой Жизни») и действует как видимый. А зрителю этой драмы, вообще говоря, предлагается место «пространства» — или божества. И там, где «кончается искусство», сцена, тем не менее, остается:

Когда строку диктует чувство,
Оно *на сцену* (! — *О. С.*) шлет раба.
И здесь кончается искусство
И дышит почва и судьба (II, 80).

Но подчеркнем, герой (такой герой, как Доктор Живаго) выходит на *эти,* вселенские подмостки, которые никак не совпадают с подмостками публичной жизни, со «славой» и разыгрываемой у всего мира на глазах биографией медийных персон, которых каждый современник, хочет он этого или нет, знает в лицо[69]. *Эти* подмостки не только не совпадают с публичным шоу, где действуют эмблематические фигуры, а *«не живое, поглощенное нравственным познаньем лицо»* (III, 226), но временами просто противоположны ему. В иные времена (в те «темные времена», когда, по словам Хайдеггера, «свет публичности затемняет всё», а такими и представлены времена романа), быть историческим лицом и значит

...укрываться в неизвестность
И прятать в ней свои шаги (II, 150).

Только там и происходит в это время историческое, — в смысле Пастернака, — действие[70]. Герой романа, в отличие от своего автора, с самого начала пути отрясает прах всякой публичности — и уходит совсем незамеченным (и даже не отпетым). Это важная часть общего замысла Пастернака.

Сам же автор романа, избравший уход с официальной публичной сцены в свои поздние годы, оказался в результате этого протагонистом нового романа, «романа вокруг романа[71]», главным действующим лицом «другой драмы[72]», на подмостках публичной мировой истории, в центре всеобщего внимания. На этих подмостках, которые

Не читки требуют с актера,
А полной гибели всерьез (II, 80),

артист становится жертвой. Видимо, единственная пьеса, которая может исполняться на этих подмостках, на самом опасном, а потому и освещенном месте, — это подражание Страстям[73].

А вышел автор романа на эти подмостки с удивительной вестью: о том, что прошлое прошло, о том, что начинается новая эпоха. Эту тему Пастернак многократно обсуждает в письмах времен «романа вокруг романа».

5

Небольшое отступление. В ходе пастернаковской драмы есть несколько сцен, которые, как можно подумать, оглядываются на «Фауста» (конкретнее: на линию Гретхен в его Первой части, причем Комаровский, со своим примечательным бульдогом и спутником по фамилии Сатаниди, «замещает» одновременно и Фауста, и Мефистофеля, — но обоих в удешевленной оперной версии Гуно).

Это, прежде всего, история «падения» юной героини (ср. оставшуюся в черновой версии прямую отсылку — мечты Лары: «*И кто-нибудь будет безумно любить ее, как этот Фауст в опере, весь полный музыки и муки, седеющий и весь в черном*» (IV, 661), — и в окончательном тексте — ее характеристику «чужим словом»: «*Руфина Онисимовна готова была побожиться, что Лара разыгрывает помешанную Маргариту в темнице*» (IV, 94). Однако сюжет соблазнения бедной и неискушенной девушки немолодым и опытным искусителем (приманка роскоши в виде ожерелья для Маргариты, арбуза для Лары) всегда, увы, более или менее тот же и не составляет характерной инвенции «Фауста» Гете. Комбинации «*мать* и *отрава*», «*сестра и брат*» (Лара спасает «честь» Роди) вносят сюда нечто более характерное. Но существеннее два других сближения.

Это, прежде всего, сцена «падшая Лара в храме», которая просто не может не напомнить о параллельной — и полностью противоположной по смыслу — сцене «грешница Маргарита на богослужении». Маргарита в этой сцене уверяется в своем вечном проклятии (Гете изображает это проклятие как внушение злого духа). Лара уходит оправданной[74]. Это сопоставление очень значительно в связи с «новым христианством» Пастернака, мало занятым темой *греха*, — вероятно, главной темой традиционной набожности (вместе со *смертью* и *адом*).

> Но объясни, что значит грех,
> И смерть и ад и пламень серный? (IV, 545)

Все это по существу прошло, потому что «всё новое». Но здесь мы не будем этого обсуждать[75].

И еще одна сцена романа, которая вызывает больше всего сомнений у читателей и критиков, — сцена расставания Лары с Доктором. Поразительной в этой коллизии кажется и готовность Живаго на такой обман (фактически выдача Лары Комаровскому), и готовность Лары следовать за тем, в ком сама она видит порчу всей своей жизни. За этой странной сценой просвечивает (особенно в связи с настойчивым мотивом запряженных лошадей, готовых увести обреченную героиню, и с общей атмосферой крайней спешки, «последней возможности») сцена попытки спасения Маргариты из тюрьмы накануне казни, предпринятой Фаустом с помощью Мефистофеля. Финальная сцена «Первого Фауста», — быть может, самая сильная его сцена — апофеоз Маргариты, символа христианской души, над которой и после всех ее преступлений и после утраты разума дьявол все-таки не властен: перед лицом смерти она отказывается воспользоваться его помощью, принимает суд и гибель и потому «Спасена!», как говорит у Гете «Голос свыше». Ее заступничество поможет и Фаусту.

Лара поступает противоположным Маргарите образом. Она соглашается бежать. В сценах организации побега Комаровский, как нигде, напоминает Мефистофеля и как будто пытается вовлечь Доктора в роль Фауста, спасающего обреченную Гретхен. Это ему отчасти удается. Доктор соглашается с тем, что Лариса (поскольку она женщина и мать) должна быть спасена от смертельной опасности[76]. Сам он, отказываясь от такой помощи, выбирает неизбежную, как им всем представляется в этот момент, гибель — и в каком-то смысле «спасается» сильнейшей волной вдохновения (после отъезда Лары он пишет свои лучшие стихи, входящие в последнюю часть романа)[77]. В этих стихах Юрий Живаго спасает не Лару, но ее образ.

Пастернак многократно, начиная с «Охранной грамоты», замечал, что искусство «*интересуется не человеком, а образом человека*». Его задача — продолжение *образа* рода человеческого: «*...Страсти, достаточной для продолженья рода, для творчества недостаточно... оно нуждается в страсти, требующейся для продолжения* ***образа*** *рода, то есть, в такой страсти, которая внутренне подобна Страстям и новизна которой внутренне подобна новому Обетованию*»[78]. Драматическая (если не трагическая) несовместимость искусства (точнее: творческого задания) и «жизни» — постоянная тема Рильке; он решил ее для себя, уподобив художественное призвание монашескому.

Тема несовместимости искусства и «обычной жизни» была хорошо знакома молодому Пастернаку (ср., в частности, его ранние прозаические опыты, «Апеллесову черту» и особенно «Историю одной контроктавы»). Сам он вспоминает: «*Первая половина моей деятельности была сильно подчинена этому ощущению "инобытия" искусства*» (X, 585). Но во времена работы над романом Пастернак хочет «опрокинуть» противопоставление двух этих «страстей», двух «задач продолжения», вписать искусство в ход вещей, в «свет повседневности» и художника — во всеобщую сумятицу, в которой творится история. Рильковской программе художника-монаха отвечает пастернаковский проект художника-мирянина, живущего «со всеми» и «как все». Для этого, в частности, Доктор изъят из собственно литературной профессиональной среды и наделен другой профессией, практическим и общеполезным делом медика. Мирянскому «новому христианству» Пастернака отвечает его проект «мирянского искусства», точная противоположность интенции высокого модерна с его художником-жрецом, подобием иерея или монаха. «Обмирщенный поэт», своего рода парнасский расстрига (в pendent своему дяде, расстриге священнику), Живаго отлично разбирается в огородных работах, топке печей и других житейских попечениях, обычно чуждых художнику, по-ангельски презирающему «нужды низкой жизни»[79]. Идея Пастернака в том, что и эти заботы могут быть «гениализированы» («*подражая творцу в сотворении вселенной*»), — и тогда на месте «скудоумия будней» засияет «свет обыденности». Но быт — не последняя трудность для участия в общей жизни. В ней есть долг потруднее: быть мужем и отцом. И здесь Пастернак надеется примирить художество с «обыкновенной жизнью». «*С соблазненности, завороженности любовью начинается новая жизнь. Новая жизнь в значении рождающегося ребенка. Это во всяком случае. Но и в других значениях. С проповеди любви начинается новое время в истории.*

Любовь всегда пора нового: нового существа, нового мира, нового периода, зазванность, завербованность в новое» (IV, 694). Однако это желаемое и предпринятое героем примирение двух начал взрывается, и, как показывает сюжет, то новое, в которое завербован художник, начинается там, где «свет повседневности» гаснет. При этом потухшем свете проходит вся жизнь героя после разлуки с Ларой. Он уже не живет в сказке — но пишет сказку.

В трехстопном колыбельном ритме «Сказки» — и только здесь — герой, поэт, Георгий Победоносец поражает Змея и приносит пленнице «счастье освобожденья». Нереалистическое в традиционном, психологическом и «характерном» смысле, повествование о разлуке Доктора и Лары реалистично в другом: оно решительно очерчивает пространство, в котором художественная гениальность свята. Это пространство образов. За его пределами остается «просто человек». «Художник-мирянин» не в силах исполнить роль «святого мирянина»[80]. Все, что он может, — это, в отличие от христианского подвижника-аскета, не самому стать «святым образом», а создать «святой образ». И это, как говорит Пастернак, не мало. Это то «творческое, деятельное начало исторического существования», то *чудо творения*, которое «*перерастает границы пространства, образует содержание столетий, разрушает его и возрождает вновь, которое погружает природу в поэзию, предсказывает и обеспечивает будущее, **как его причина***»(подчеркнуто мною.— *О. С.*— V,96).

Пространство образов и символов — не «эстетическая компенсация» личной житейской неудачи, иначе говоря: не работа с прошлым. Оно «обеспечивает будущее». У него есть своя — *общая*, уже отделившаяся от личной судьбы художника — реальность и сила, воздействующая на будущее. Мы увидим это в «Эпилоге» романа. И тем более — за пределами романа, в «романе вокруг романа», в судьбах его читателей. «Счастье освобождения» оказывается приобретенным для многих. Исполняется дело искусства, которое состоит в том, что

Снимают с ближних бремя их вериг,
Чтоб разбросать их по клавиатуре[81].

О деле искусства, вообще говоря, давно принято думать иначе.

Болящий дух врачует песнопенье. —

Баратынский, говоря это, имеет в виду прежде всего болящий дух самого поэта:

Душа певца, согласно излитая,
Разрешена от всех своих скорбей[82].

Вероятно, со времен романтизма речь идет преимущественно об этом, об искусстве как аутотерапии, «сублимации», возгонке. Но у Пастернака и у Гете речь идет о другом: об искусстве как излечении и освобождении кого-то другого; о Давиде, поющем перед бесноватым Саулом. Это их, «других», бремя и их вериги имеет в виду будущее сочинение (не обязательно его автор! и даже лучше, если не он. Поставив перед собой такие благие задачи, он превратился бы в бессильного моралиста, а его дело — действовать бесцельно, как природа; см. выше о «бессознательном» гения и ниже о бесцельности природы и искусства). Их нищету оно одаривает, их

печаль утешает, с *благородной душой,* которую оно в них «предвосхищает», «видит наперед», входит в общение. Впрочем, так же думали и говорили о своем деле и Бах, и Бетховен. «Все прочее есть дьявольская болтовня» (Бах). «Если бы люди хорошо слушали мою музыку, они были бы счастливы» (Бетховен).

6

Сопоставления отдельных сцен романа и гетевского «Фауста», отмеченные выше, не обязательны, но какой-то смысловой обертон в повествование они вносят. «Фауст» явно присутствует в том ветре, который колышет занавес действительности, изображенной Пастернаком. Но это движение, с которым — и, судя по всему, невольно — спорит весь сюжет «Доктора Живаго», его герои и коллизии.

Лара — не Маргарита Первой части «Фауста» и не Елена Второй. Ее символизм другого порядка. Она — «представительница» Всего, слово и слух творения. «*О, как сладко жить на свете и любить жизнь! О, как всегда тянет сказать спасибо самой жизни, самому существованию, сказать это им самим в лицо. Вот это-то и есть Лара. С ними нельзя разговаривать, а она их представительница, их выражение, дар слуха и слова, дарованный безгласным началам существования*» (IV, 388). Последние слова из этого размышления Доктора, о «*безгласных началах существования*», которым в человеке (здесь — в женщине) даруется слово и слух, удивительным образом перекликаются со святоотеческой мыслью, видящей в творении «бессловесное слово», logos alogos[83], ожидающее словесного выражения.

Сама Лариса угадывает смысл своего существования в том, чтобы «*все назвать по имени*»[84], но ее догадка не совсем точна: раздача имен — дело Адама! Как выясняется из сюжета, ее дело, дело Евы — самой стать словом «безгласных начал существования», их символом, их светом, который узна́ет, определит и назовет герой: «*Часто потом в жизни я пробовал определить и назвать тот свет очарования, который ты заронила в меня тогда, тот постепенно тускнеющий луч и замирающий звук, которые с тех пор растеклись по всему моему существу и стали ключом проникновения во все на свете благодаря тебе*»[85]. Слово мироздания, его звук и свет имеют у Пастернака женскую природу, которой художник вторит[86]. Гетевское *Вечно Женственное*, das Ewig Weibliche, вводящее в тайну, истину и глубину бытия (zieht uns hinan), явно близко, — но в самом сюжете «Фауста» у него нет своей «представительницы». Слово о нем звучит только в финальном «Мистическом хоре», в ином, неевклидовом пространстве. «Другого мира» Пастернак никогда не изображает. В его сочинениях все должно происходить в «этом» мире, при том что его треплет и уносит другой ветер. Без реальной «представительницы» в лице Ларисы Федоровны Гишар-Антиповой Вечная Женственность войти в этот мир не может. Ева — жизнь — один из сквозных символов Лары. Другой — Магдалина, умывающая ноги Христу, исцеленная бесноватая или прощенная грешница. Но и она тоже — жизнь, *zoe*, такая, какой стала жизнь на земле: «попранная сказка». Ее попранность не фатальна. Исцеление или очищение, как это изложено в стихах Живаго, состоит в ее полном приобщении к «отцу и мастеру тоски», в «срощении» с ним:

Но объясни, что значит грех
И смерть и ад и пламень серный,
Когда я на глазах у всех
С тобой, как с деревом побег,
Срослась в твоей тоске безмерной (IV, 545)[87].

Она приходит к своему Спасителю не только со своим грехом и недугом, — но и с драгоценным даром, с погребальными благовониями (благовоние — традиционный символ бессмертия). В сосуде ее жизни —

Я жизнь мою, дойдя до края,
Как алавастровый сосуд,
Перед тобою разбиваю (IV, 545) —

были эти благовония — *жалость* (о чем мы уже говорили, «главный дар Святого Духа») и *щедрость* (о которой еще скажем). Этот образ жертвенно-женского не чужд Гете: мы встречаем его в баядере из баллады «Der Gott und die Bajadere». Но среди действующих лиц «Фауста», среди его «персон» такого образа нет.

Сама по себе идея «проникновения во все на свете» через благодарность и свет очарования прямо противоположна фаустову поиску «ключа познания». Ключ, который дает Фаусту Мефистофель (Часть вторая, сцена «Темная галерея»), нужен ему для прикосновения к горящему алтарю Матерей, к тайне тайн: так он сможет вызвать дух Елены. Чтобы достичь этого пространства, Фауст должен пройти неслыханную пустоту, одиночество, ничто. Он готов. «In deinem Nichts hoff ich das All zu finden» — «*В твоем ничто я надеюсь найти все*».

«Ключ познания» даруется герою Пастернака, как сам он часто говорит, даром и незаслуженно, по видимости случайно, «нечаянно и наугад», прежде всякой просьбы об этом с его стороны, при свете повседневности. Как случается все настоящее. «*Так неуместно и несвоевременно только самое великое*» (IV, 194). Не заклинания и магические формулы, не героический путь в ничто, вверх и одновременно в бездну, через невыносимое для человека одиночество (тема фаустова одиночества стала главной в романе Томаса Манна) связаны с этим ключом, а случайная встреча: замеченная с улицы в заледеневшем окне свеча. Не добыча, а подарок. *Внимание, восприятие.*

Интересен и такой контраст: ключ, который вначале кажется Фаусту «мелочью», в его руках начинает расти, светиться, сверкать, как молния. Юрий Живаго говорит о «постепенно тускнеющем луче и замирающем звуке».

Многие другие черты представляют Доктора Живаго — словосочетание, которое можно прочитать как «досконально знающий (все) живое» и как «врач (всего) живого»[88], — своего рода Контр-Фаустом. Фаустовской воле противостоит «безвольность» Живаго, о которой постоянно говорят все участники сюжета. Фаустовскому преобразующему порыву — его отвращение ко всякому активному преобразованию, нарушающему автономность *Жизни* (о чем мы говорили вначале). Фаустовское начало в этом смысле несут в себе все революционеры романа, от Глухонемого до Стрельникова, и все они в своей волевой активной слепой деятельности — враги Доктора Живаго.

Родные враги, заметим, как он говорит Стрельникову строкой Шекспира: «*Мы в книге рока на одной строке*» (IV, 398).

То, что их роднит, — желание вырваться из «скудоумия будней и чертовщины посредственности». Пока — летом 17-го года — заметно только это вдохновение революции, Юрий Живаго и Николай Николаевич сочувствуют революционному порыву и восхищены им[89]. Это время явления пастернаковского гения, время «Сестры моей жизни»! Именно в эти дни, когда «со всей России сорвало крышу... и некому подглядывать», под открытым небом истории начинается связь Доктора и Лары. Дальнейшая судьба русской революции увидена в романе как срыв творческого начала, как ложно истолкованная и принявшая ложное направление реализация «святой тоски» по новому, по природному закону и по «гениализации жизни»[90]. Судьба Фауста-персонажа — срыв гетевского начала, фантазия о судьбе Гете без его гения. А гений «*в высшем широчайшем понятии есть дар жизни*» (IV, 69), и одаренность равнозначна счастью[91].

Отмечу среди многих черт, противопоставляющих Живаго и Фауста, одну, сюжетообразующую: их отношение с «высшими силами земли и неба». Фауст оказывается готов принять условия Мефистофеля после своего глубочайшего фиаско: он убеждается в том, что его человеческая сила не выдерживает присутствия вызванного им Духа Земли, которого он считает себе самым родным, считает своим прообразом:

О деятельный гений бытия,
Прообраз мой!

Дух отвечает ему презрением. Ты похож на тех, кого можешь помыслить! А это не я. Фауст, уличенный в ничтожестве, не хочет жить. Пасхальное пение воскрешает в нем его «детскую веру» и спасает от самоубийства. Затем является Мефистофель, которому еще прежде на небесах позволено испытать Фауста. Перед окончательным вступлением в договор с Мефистофелем Фауст произносит проклятие всему на свете. С самой большой силой он проклинает «всякую высокую любовь», надежду, веру и — особенно — терпение[92]. Он отказывается от разума, — а, как сообщают злые силы «Фауста», тот, кто отказался от разума, уже их. Все дальнейшее — не драма творческой силы, а жестокая драма «компенсированного» бессилия. Мы скажем в дальнейшем о дифирамбической, гимнической природе лирической стихии у Гете, и Пастернака. Гений благодарит, а не проклинает: это побудительный мотив творчества. Впрочем, об этом мы уже говорили: «О, как всегда тянет сказать спасибо самой жизни, самому существованию, сказать это им самим в лицо».

С Юрием Живаго и «высшими силами неба и земли» все обстоит точно наоборот, чем в «Фаусте». Вот как описано его совершеннолетие, его «взрослая вера», сменившая «детскую», сказочную: «*Он чувствовал себя стоящим на равной ноге со вселенною. <...> и ничего общего с набожностью не было в его чувстве преемственности по отношению к высшим силам неба и земли, которым он поклонялся как своим великим предшественникам*» (IV, 88–89).

Итак: опровержение «Фауста»? В определенном смысле да. Но при этом — утверждение самого Гете *как образа*. Ведь даже те немногие черты, которые

мы упомянули и которые противопоставляют Живаго Фаусту, — это черты самого Гете!

Метод познания Живаго — это гетевский метод: гетевская уверенность в том, что все «открытия» и «мысли» приходят сами, а не добываются каким-то специальным усилием: «Все мне навязывается, я сам об этом не думаю, все само идет мне навстречу», — пишет он при работе над метаморфозами растений[93]. Ср. у Пастернака о создании романа: «*Ни о чем не приходилось думать: камни вопияли, вещи думали за тебя*»[94]. Такой род письма-восприятия называется у Пастернака «*склоняться* (явно имеется в виду «спрягаться». — *О. С.*) *в пассивном*». В неспособности к такому спряжению в пассивном залоге Пастернак видит обреченность другого типа знания: знания «взрослых», марбургских профессоров. Далее, это гетевская «антиципация» (у Живаго она называется интуицией).«*Беда в том — весело продолжал он, — что думаньем думанью не поможешь. Надо, чтобы человек был от природы таким, каким он и должен быть, и добрые мысли сами предстанут нам, словно вольные дети Божьи: "Мы здесь" (или: "А вот и мы!")*»[95]. Есть ли что-нибудь более противоположное завязке «Фауста»?

Это, далее, отвращение Гете к пониманию мира как объекта, как механизма или как грубого материала, с которым можно делать что угодно по собственной воле. В этом же состоит бесконечный спор Живаго с борцами за новую жизнь: «*Когда я слышу о переделке жизни, я теряю власть над собой и впадаю в отчаянье*»[96].

Это известное «безволие» Гете, которое он сам именует «*податливостью при великой воле*» (Nachgiebegkeit bei grosser Wille) или «*свободным падением вверх*» и считает, наряду со свободой от всех предустановленных систем и предвзятостей[97], необходимейшим рабочим навыком, условием успеха для художника и исследователя (очевидно, что та же невидимая окружающим «великая воля» действует в «безвольном» Живаго, — и о ней же, называя ее «душой», говорит Пастернак, описывая собственное существование[98]).

Это, наконец, постоянное самочувствие Гете: он «любимец богов», существо в каком-то смысле одноприродное с высшим миром (ср. о Живаго: «*на равной ноге с мирозданьем*»)[99] и едва ли не бессмертное, во всяком случае, бессмертное в своей «лучшей части», в своей энтелехии, которая в его случае в полную силу действует здесь и сейчас (ср. прозвища «полубога», «олимпийца», «Юпитера», постоянно сопровождавшие зрелого Гете).

Юрий Андреевич Живаго — не «русский Фауст», а фигура гетеанская. В каком-то смысле он проект «русского Гете» — со всеми огромными отличиями от образца, которые вносит сюда эпитет, та «горсть русской земли», которую он имеет в виду[100]. В частности, никому в романе и за его пределами не придет в голову называть Живаго «Юпитером» и «полубогом». Его (как и самого Пастернака[101], как прежде него Льва Толстого) называют юродивым или юродствующим. Такова русская мера связи с иными, «высшими силами земли и неба». Можно ли представить, чтобы кто-нибудь назвал юродивым тайного советника Гете? А кем как не юродивым сочли бы в России человека, воюющего с оптикой *самого* Ньютона, да и со всей современной ему физикой? Для всего, что выходит из границ «*скудоумия будней и чертовщины посредственности*», у нас предусмотрен один жанр:

юродство. Может быть, и слава Богу. Роль «Юпитера» в России зарезервирована только за Властью, за Генералиссимусом, самым монументальным воплощением «скудоумия будней и чертовщины посредственности». И это еще тот Юпитер! Юпитер дантовского Капанея[102]. Своих олимпийцев во всех областях жизни такой Юпитер назначает сам, в том числе, и из числа почивших.

7

Закончив перевод, Пастернак пишет своему корреспонденту: «("Фауст". — *О. С.*) *занимает совсем особое место в поэзии <...> по единственности и необычайности заложенной в него лирической стихии. Ее огнем Гете хотел озарить дальние и недоступные закоулки нашего существования иначе, чем это делает философия. Он заразил меня этой энергией...*»[103] Но ведь «этой энергией» и «необычайностью лирической стихии» Пастернак был заряжен с первых своих опытов! Мы назвали это своеобразие «художеством мысли», которая иначе, чем философия, может осветить и «недоступные закоулки человеческого существования», и, — чего еще меньше ждут от лирической стихии, — законы вселенной. Кроме того, «Фауст» занимает это особое место прежде всего потому, что это место занимает его автор, Гете, создатель учения о цвете, открыватель метаморфозы растения и множества других вещей, которых не касалась прежде «лирическая стихия». Гете, ведущий «бросающий в дрожь образ жизни» (см. выше). В Гете Пастернак просто узнал, как узнают знакомое лицо, эту — свою — стихию.

Пастернак-мыслитель, создатель «лирического учения», «скрытой, невысказанной философии»[104], как мы говорили, еще не обдуман. Можно сказать больше: он даже не выслушан[105]. Эту его другую, не собственно стихотворческую, философскую, — в *этом* смысле философии, которая «более *склонность*, чем убежденность», — сторону также представляет в романе герой. Стихотворения Юрия Живаго — только часть его творчества. Он пишет (и издает!) естественно-научные работы, эстетические опыты, философские и исторические труды[106]. Он, как и его дядя, религиозный философ, пишет свои мысли в дневник, произносит одушевленные монологи перед собеседниками, которые его, как и Николая Николаевича, обычно не слышат («Метафизика, батенька!»)[107]. Размышления Живаго, в отличие от стихов, не собраны в отдельную главу, а рассыпаны по всей книге. Кроме того, это «учение» роздано нескольким близким герою персонажам (вся историко-религиозная тема отдана дяде Николаю Николаевичу, отчасти его ученикам — Гордону и Симе Тунцовой; некоторые важные слова произносит Лара).

И так же, как «Стихотворения Юрия Живаго» — довершение всего стихотворного опуса Пастернака, мыслительный пунктир романа несет в себе и завершает пастернаковские размышления «Охранной грамоты», заметок об искусстве, переписки и других опытов. «*Моя первая и единственная работа, в которой я сказал то, что думаю, без умолчаний и до конца, куда я вложил всю свою философию, смысл существования и возможность выразить его суть по-своему, это мой роман в прозе "Доктор Живаго", который я окончил прошлой зимой*»[108]. Эта мысль, ее склад, ее темы, ее пафос во многом поразительно близки гетевской мудрости.

В центре пастернаковской мысли всегда искусство, но искусство в особом ракурсе. Говоря по-гетевски, Пастернак исследует *прафеномен* искусства (как Гете-натуралист — прафеномен растения, или же «символическое растение»). В такой перспективе искусство берется как смысловое начало, «узкое и сжатое»[109], так что можно говорить о «месторождении искусства», о «присутствии искусства» в конкретных сочинениях. Первый предмет Гете, несомненно, — природа (а искусство, как вторая природа: так, собственное творчество он был склонен рассматривать как явление природное). Но это различие не так существенно. Искусство занимает Пастернака, а природа — Гете в одном и особом повороте: они интересны им как «*факты символические*», как «*область действия силы и истины*», как «*ключ проникновения во все на свете*»: один из ключей. Пастернак не устает повторять: «*Искусство реалистично как деятельность и символично как факт*» (III, 187); «*...Искусство не равно самому себе и себя не исчерпывает, а обязательно значит нечто большее. В этом смысле мы и называем искусство, по существу, символическим*» (X, 379). В этом же духе говорит об искусстве Живаго. «Творческая эстетика», о которой думает Пастернак (см. эпиграф), — это одновременно и «творческая этика», и «творческая космология», и истолкование Нового Завета. Его «поэтология» — это, вообще говоря, общая антропология[110] и в этом смысле богословие.

Для Пастернака чрезвычайно важно, что его герой — не профессиональный поэт. Он изъят из литературного мира именно потому, что этот мир к символической сущности искусства имеет только отрицательное отношение. Как повторяет Пастернак и в самых ранних, и в самых поздних письмах, подавляющая часть того, что по инерции производит «профессиональное искусство», служит только тому, чтобы смысл искусства был совсем забыт и обесценен и чтобы будущему гению было труднее его восстановить[111] (о том, что в профессиональной среде служилого советского искусства это положение было тысячекратно усилено, не стоит и говорить). Потому его герой, с юности чувствуя поэтическое призвание, выбирает практическую «общеполезную» профессию — медицину, общую терапию. Это «нерадивое» отношение к собственному поэтическому дарованию вновь напоминает нам о Гете. На упреки и пени знакомых о том, что он жертвует поэтическим даром ради естественно-научных занятий и ради еще менее понятных и поглощающих время хлопот, вроде организации веймарского театра, Гете отвечал: «*Всю мою деятельность и мои достижения я всегда рассматривал только символически*»[112]. Он признавался, что если бы всю жизнь он должен был пересыпать песок из одной песочницы в другую, это занятие приносило бы ему неубывающее наслаждение: и эта деятельность была бы символической. Таким задуман и герой Пастернака. Только при таком «непрофессиональном» отношении к творчеству, по мысли Пастернака, в наше время возможно создание истинных вещей. Официальные «вакансии поэта» закрыты (см. выше, о свете публичности).

Но в своем герое Пастернак хочет представить не только мыслителя об эстетике, даже так широко, символически понятой. Как у Гете, у Живаго есть область исследования, которой биографический Пастернак всерьез не занимался: естественные науки. Восхищение Пастернака естествознанием при этом

совершенно гетевское. Это восхищение возможностью видеть *правду* о мироздании: изумительную правду, более изумительную, чем все «оккультные» вымыслы. Гете не раз говорил о воспитательном смысле занятий естествознанием: как аскетика sui generis[113], они делают человека «человеком культурным» (слова Гете) и благородным[114]. Этой обработки духа гуманитарий и тем более богемный художник могут просто не знать: ведь они редко выходят из сферы своеволия, а исследование феноменов природы (в отличие от сочинения хлестких стишков или провозглашения «новых парадигм» культуры) на таких условиях невозможно. «*Естествознание так человечно, так правдиво... оно так ясно показывает, что самое великое, самое таинственное, самое волшебное протекает необыкновенно просто и открыто и без всякой магии; должно же оно наконец исцелить... людей от жажды туманного, сверхъестественного*»[115]. Пастернак так же знал необходимость аскетики в творчестве, необходимость очищения того, что считается «непосредственным», преодоление «*вульгарности природного дара*». Но для него, как для Клейста в его истолковании, такой аскезой художника была не ботаника или минералогия, а строгая философия[116]. Его герой, как мы знаем, к Когену не ездил и идет гетевским путем. Стоит заметить, что и сам Пастернак, сетуя на собственную недостаточную осведомленность в новейших естественных (точных) науках, предполагает, что тот образ реальности, который открывается ему, близок новейшим естественно-научным теориям, работам в области ядерной энергии; скачку от паровой энергии к внутриатомной должен соответствовать такой же скачок в области духовной и художественной[117].

Мы знаем о двух темах научных трудов Юрия Живаго. Первая — нервные окончания сетчатки, тема его университетского сочинения. Вторая — мимикрия, о которой он думает многие годы. Обе темы — характерно гетевские. Оптика и физиология цвета — визитная карточка Гете-исследователя. Комментарий делает гетевскую линию еще более очевидной. «*В интересе к физиологии зрения сказались... его размышления о существе художественного образа и строении логической идеи*» (IV, 80). Одновременно с этим своим сочинением Юрий обдумывает статью о Блоке[118].

Занятия мимикрией, «подражательной и предохранительной окраской» сопровождает такой комментарий: «*В размышлениях доктора Дарвин встречался с Шеллингом, а пролетевшая бабочка с современной живописью, с импрессионистическим искусством. Он думал о творении, твари, творчестве и притворстве*» (IV, 344). «*Тут, в этом цветовом подлаживании, скрыт удивительный переход внутреннего во внешнее*» (IV, 405).

Гетевские темы внутреннего и внешнего[119], зрительного и мысленного[120], волевого и вещественного[121], правды и кажимости (притворства, «серьезной игры»), единого и множественного[122], творца и его творения[123] — все это входит в феномен мимикрии, который обдумывает Живаго.

Коллеги Живаго, естественники, обремененные дорежимным образованием и потому не способные достичь той степени невежества, какая требуется от «нового человека», мгновенно опознают эту мысль и обличают Доктора в «натурфилософии Гете, неошеллингианстве» (IV, 405). Их освобожденные от вредных познаний потомки скажут обо всем этом проще: «субъективизм и декадентство»[124].

Пастернак не задерживается на собственно научном содержании трудов Живаго. Гетевское учение о природе существует реально, в виде его трудов по ботанике, минералогии, оптике и т. д., вплоть до метеорологии и открытой им гляциологии; пастернаковское (живаговское) принадлежит внутрилитературной области, как музыка композитора Леверкюна в «Докторе Фаустусе» Томаса Манна. Оно существует как проект. Много больше мы узнаем об эстетических размышлениях Доктора. Но существенно не это: все перечисленные выше темы (внешнего и внутреннего и т. д.) пересекают границу «эстетической» и «естественно-научной» областей (так в студенческой работе Живаго физиология зрения обосновывает законы построения образа и мысли: точнее сказать, и там, и там действует одно начало, одна *сила*). Действие этих принципов универсально, их осуществляют и законы природы, и законы человеческого творчества. Им не подчиняется та «посредственность», о которой мы уже не раз поминали и которая для Гете была воплощением бунта против Законов.

В сердцевине и первых, и вторых, и природных, и творческих законов располагается феномен *формы*. Таким образом, и трактат о Блоке, и исследование сетчатки представляют собой частные случаи одной науки — *общей морфологии*, исследования формы в ее изменениях, пути ее трансформаций. «*Красота есть счастье обладания формой, форма же есть органический ключ существования, формой должно владеть все живущее, чтобы существовать...*» (IV, 452). *Форма,* «ключ существования» и «ключ проникновения во все на свете», в мысли Гете и Пастернака (или его героя) настолько отлична от расхожих представлений о «форме» (можно сказать, прямо противоположна им и в этом смысле просто антиформальна[125]), она настолько глубоко увидена и пережита, что это требует отдельного большого обсуждения. Морфология, наука о форме, включила бы в себя не только гуманитарные и естественные науки, но и художественное творчество, и само бытие человека. Исследование формы, созерцание «*счастья обладания формой*» само по себе приносит счастье[126]. Общая морфология была бы апологией мироздания, своего рода понятийным гимном творению — и в этом смысле «*фактом символическим*». Однако такой науки, общей морфологии, как мы знаем, не существует, и, судя по всему, не предвидится[127]! Ее основы задолго до Гете намечались в трудах Хильдегарды Бингенской, рейнской монахини XII века (в той же мере почитавшей естественное знание). О Хильдегарде совершенно не помнили в гетевское время, да и в пастернаковское едва ли знали; ее открытие произошло позже. Имя Хильдегарды стало символом «цельного знания» только в последние десятилетия. Тем интереснее множественные совпадения их «морфологий». В сердцевине, в центре хильдегардовского мироздания помещена, как у Пастернака, *Жалость (Сострадание, Compassio)*. Она так же «правит мирами» и связывает их между собой. Жалость — это то основание познания чего бы то ни было в мире, без которого «чтение» творения невозможно[128]. Вот здесь впервые нам придется развести Гете и Пастернака: восхищенное изумление — это основа гносеологии Гете; доброжелательное сродство — да, но жалость никак не относится к дорогим для него вещам[129].

Гете и герой Пастернака отстаивают некоторый род знания, не предусмотренный во всем культурном ансамбле их времени (и нашего также). Не

только респектабельному «научному» методу, но даже паранаучному (типа New Age) свое место в этом ансамбле предусмотрено, — но не тому, о котором говорят Гете и Живаго. Такому знанию в самом деле негде главу приклонить, как жаловался Гете-натуралист[130].

Приблизительно этот метод можно было бы назвать голистическим: «*цельное, разом охватывающее картину познание*»[131]. Оно цельно не только в том отношении, что мир понимается как целое и как тяга к целому[132] и только через целое, в отношениях с целым узнается каждая его часть, от пушкинского метра до определения инфекции, поскольку каждая такая мельчайшая часть символизирует, то есть *представляет,* целое, и в этом смысле каждое мгновение есть символ всего времени, то есть вечности[133]. Цельное оно и в другом смысле: целым, неповрежденным, неразорванным представляется само отношение познающего сознания и мира. Этот метод нельзя свести ни к дедукции, ни к индукции: это интуитивное схватывание всего разом, причем схватывание по причастности или подобию (известная мысль Гете о том, что, если бы наш глаз сам не излучал свет, он не мог бы его видеть). Цельным — и всеохватывающе широким — должно быть и адекватное выражение этого знания: «*какое-то утверждение о жизни, по всеохватывающей своей широте на отдельные слова не разложимое*» (IV, 281). Разбивка на «отдельные слова», редукция такого «широкого утверждения» к какому-то окончательному и однозначному «смыслу» (что это значит? что вы этим хотите сказать?), то есть то, чего обыкновенно требуют от высказывающего такого рода вещи окружающие, невозможно. Поэтому его утверждение воспринимается как «невнятное» или «уклончивое». Однако только такая «уклончивость» реалистически отвечает реальности мира и жизни, которая «*присутствует и совершается так, будто это нескончаемое вдохновение, выбор и свобода*» (X, 482), — и резонирует тому, о чем говорит богослов: «*Ибо Слово, Создатель и законодатель мира, скрывается, открываясь, и открывается, скрываясь*» (*Максим Исповедник.* Ambigua)[134]. Открывается то, чего нельзя схватить и эффективно использовать по знаменитому принципу Ф. Бэкона: «Знание — сила». «Сила», potentia, в этом изречении значит: возможность овладеть тем, о чем «узнают», и употребить его в своих целях. Это совсем не та *сила*, energeia, о которой постоянно идет речь у Гете и Пастернака[135]. Сила, о которой говорят они, — животворящая сила вдохновения. Знание, которое имеют в виду они, поддерживает состояние открытости этому вдохновению. Речь идет о познании не как о смысловом исчерпании предмета, завладении им, но как о сохранении «неизменного отношении к нему (или с ним)», вершина которого — то *изумление* и та *жалость*, о которых речь шла вначале.

Мы начали с того, что «наука о природе» Гете и пастернаковского героя противопоставлена всякому роду дурной мистике и хочет быть наукой естественной, естествознанием. Но в области естественно-научной мысли их встречает другой оппонент: механицизм, который овладевает самими процедурами мысли, опыта и аргументации в науке Нового времени и символом которого для Гете стало ньютоновское учение о цвете. Здесь полемика, пожалуй, еще острее — и в каком-то смысле обреченнее. Редукция органического к механистическому, железный детерминизм причин и следствий

— более сильный противник этой мудрости, чем оккультизм и подобные ему системы «тайных знаний», пытающиеся проникнуть в глубину мира и глубину человека через черную дверь. Они в общем-то маргинальны в наши дни. Эти методы легко опознаются как «малокультурные», как поле интересов непросвещенного, некультивированного сознания, масс-культурные трущобы цивилизации, тогда как механицизм и техницизм занимают ее респектабельный центр, составляют само лицо нашей культуры, теперь уже не европейской, а глобальной.

О гетевско-пастернаковской альтернативе этому ходу вещей мы скажем в следующей главке, а пока коснемся другого вопроса: отношения этой мудрости с традиционной религиозностью. Известна нелюбовь Гете и Пастернака к «религиозному»[136] как вторичному, компенсирующему отсутствие чего-то «первого». «Первым» и вершинным в ряду «действий» (Wirkungen) Гете считает «гениальное». Так он описывает этот восходящий ряд: «*Случайно — механически — физически — химически — органически — психически — этически — религиозно — гениально*» («Вопросы естествознания» за 1821 и 1822 годы): «*Кирпич срывается с крыши, мы называем это в обычном смысле* ***случайным*** *явлением; он ударяет в плечо прохожего —* ***механически;*** *однако не вполне* ***механически,*** *он следует закону тяготения и тем действует* ***физически.*** *Разорванные живые ткани сразу перестают действовать, мгновенно соки действуют* ***химически,*** *выступают элементарные свойства. Однако поврежденная* ***органическая*** *жизнь так же быстро сопротивляется и стремится восстановиться. Тем временем человеческое целое более или менее бессознательно потрясено. Опомнившаяся личность чувствует себя* ***этически***[137] *глубочайше уязвленной, она жалуется на нарушение своей деятельности, какого бы рода она ни была, но человек неохотно предается терпению. Напротив,* ***религиозно*** *ему становится легко приписать этот случай высшей воле, смотреть на него как на сохранение от большей беды, как направление к высшему благу. Этого достаточно для страждущего; но выздоравливающий поднимается до* ***гениальности,*** *доверяет Богу и самому себе и чувствует себя спасенным*»[138].

Здесь, как и в знаменитой эпиграмме (Zahme Xenien, 9):

Wer Wissenschaft und Kunst besitzt,
Hat auch Religion;
Wer jene beiden nicht besitzt,
Der habe Religion

(«*У кого есть наука и искусство, / У того* ***есть*** *и религия. / У кого ни того ни другого нет, / У того* ***пусть будет*** *религия*»), — Гете представляет «религиозное» как нечто компенсаторное, как область несовершенства и недоискренности, впрочем, похвальной и полезной («этого достаточно для страждущего»). Кроме того, — а каково это для Гете! — «религиозное» категорически разрывает связь с природой (Natur) и умом (Geist)»[139]. Такой преобладающий образ благочестия, видимо, он наблюдал в своих современниках. Но описанный им (и, заметим, без осуждения) тип «религиозного действия», вообще говоря, не связан ни с Германией его эпохи, ни с протестантизмом, он вполне универсален в благополучные для религии времена. Только совсем крайний случай, такой как страдание невинного праведника Иова, об-

наруживает роковую недостаточность этого «религиозного» отношения. «Доверие к Богу и доверие к себе» движет «безумными», с этой точки зрения, словами Иова. «Доверие к себе» в случае друзей Иова значило бы доверие к непосредственно («этически») переживаемому ими ужасу и состраданию, которые они не стали бы пытаться компенсировать правильными и полезными воспоминаниями о том, что «никто не безгрешен» и что «Бог все творит к лучшему».

Гете-мыслитель как будто не предполагает, что то, что он называет гениальным, возможно и реально внутри исторического христианства, внутри Церкви. Однако в «Фаусте» эта органическая и чудесная, «гениальная» сила традиционной веры звучит в пасхальных хорах Первой части и, по-другому, в Маргарите ее последней сцены[140]. Такие же цитаты из «*гениального церковного христианства*» в «Докторе Живаго» — литургические гимны из Постной Триоди, которые комментирует Симушка Тунцева.

Но с гетевским христианством не все так просто. Гете, известный всем как вольнодумец, пантеист и «нехристианин» (Nichtchrist)[141], как он сам себя рекомендовал, ненавистник идеи Deus ex machina, кое-что знал и об этом. Однажды он заявил своему собеседнику: «Я один в наше время понимаю Христа». Попробуем подумать, что он имел в виду. Что он понимал такого, чего другие не понимали. Начнем с другого конца, с его знаменитого определения в поэзии автобиографической «Поэзии и правде» (Часть 3, гл. 13): «*Истинная поэзия возвещает о себе тем, что она, как земное евангелие, умеет освободить нас от тяготеющего над нами земного бремени своей внутренней ясностью и внешней согласованностью. Как воздушный шар, она поднимает нас вместе с нашим балластом в горние сферы и показывает нам перепутанные земные пути с высот птичьего полета*». Сравнение поэзии с «земным (иначе: мирским) евангелием» заставляет задуматься о евангелии неземном, неотмирном: на каком основании они здесь сопоставлены? На том основании, что оба они снимают тяжесть и путаницу, гнет, прибивающий человека к земле, и освобождают его для высоты и ясности. Это постоянная мысль Гете. Так, он говорит Эккерману как о чем-то само собой разумеющемся: «*Христианская церковь... освобождает человечество от* ***тяжести*** *греха*»[142]. Эта тема во всей красе звучит в Хоре ангелов из «Фауста», гениально переведенном Пастернаком:

Христос воскрес!
Пасха Христова
С нами, и снова
Жизни основа
Вся без завес.
Будьте готовы
Сбросить оковы
Силой святого
Слова его.
Тленья земного,
Сна гробового.
С сердца любого,
С мира всего[143].

В этой строфе (и особенно в передаче Пастернака) звучит еще один мотив, важнейший для Гете и в его знаменитом определении истинной поэзии прямо не названный: христианство — это еще и освобождение от какой-то тяжелой тайны, от непрозрачности. Вся основа жизни открыта. Скрывать нечего. Подглядывать некому. Открыть то, что было скрыто, — значит, по существу отдать его. И прежде этого значит: принять того, кому это всё открывается. Тот же жест — любимый им жест щедрости и обнажения красоты — в стихах Юрия Живаго о кануне Пасхи («На Страстной»):

Как будто вышел человек,
И вынес, и открыл ковчег,
И все до нитки роздал (IV, 518).

Это и есть «жизнь гениализированная», «море жизни», о котором говорят великие художники и которую «*люди решили испытать не в книгах, а на себе*» — сначала в христианстве, а потом (и неудачно) в революции (IV, 146).

Видимо, что-то близкое гетевскому чтению имел в виду Николай Николаевич Веденяпин, философ «нового христианства», когда говорил, что «*издавна лучше всего эту* (востребованную «в наше время». — *О. С.*) *сторону Евангелия почувствовали и выразили художники*»[144]. Сторону не моралистическую и даже не догматическую, — а ту, которую, быть может, ярче всего символизирует сцена с драгоценным миром и Магдалиной. Этот эпизод всегда любили художники: дивный момент «жизни гениализированной». Как мы знаем по евангельским повествованиям, эта сцена смутила не только Иуду, но и всех учеников. Зачем такая трата мира? Если кто никогда не задаст такого вопроса, то это как раз художник. Хотя бы потому, что вопрос «зачем?» ему — и «лирической стихии» — вообще ненавистен[145]. Великое имеет право быть бесцельным и беспричинным. Точнее: оно имеет привычку быть таким. Об этом мы еще скажем. Но кроме того, сказка, сказочное богатство любит расточительную щедрость; разумной бережливости она воспеть не может[146].

Христианство, как его понимает Пастернак, можно без преувеличения назвать не «религиозным», а «гениальным» (в гетевском смысле гениального) и «гениализирующем» жизнь. Собственно, то, что Гете относит к *гениальному*, у Пастернака и есть *христианское* (не «религиозное»). О «компенсирующей», «религиозной» версии христианства речь у Пастернака, в отличие от Гете, вообще не заходит, и еще бы! Его эпоха, время гонений и «воинствующего безбожия», просто не оставила места такому настроению. Верующий, как выздоравливающий у Гете и как умирающий у Пастернака[147], «поднимается до гениальности»:

Кончаясь в больничной постели,
Я чувствую рук твоих жар (II, 174).

То, что Гете и Пастернак называют «религиозностью» и «религиями», располагается далеко-далеко от этого простого, как в младенчестве, *чувства*: от реальности *силы*. Поскольку «в рамках самосознания сила называется чувством»[148].

8

Итак, тот род науки о жизни, науки живого, которым заняты Гете и герой Пастернака (теперь мы можем уже говорить не о герое, а о самом Пастернаке-мыслителе и выходить за пределы текста романа, — от чего мы, впрочем, не могли удержаться и прежде), не то чтобы противоположен, а уходит в сторону от магистрального пути нашей цивилизации. Уходит — и хотел бы увести и нас с этого тупикового пути. Их «другая наука» (дающая, между прочим, блестящие и оцененные только задним числом результаты в совершенно конкретных областях вроде открытия межчелюстной кости у человека или медицинской диагностики) сопротивляется, как мы уже сказали, механицизму и техницизму новоевропейской мысли и казуистике власти, которые в наши дни захватывает уже и область эстетического производства. Голистическим (цельным), интуитивным и органическим (эту характеристику предпочитал Гете) мы назвали этот познавательный метод. Он не может быть другим, если мы подумаем о его основе, о его *месторождении*, на языке Пастернака. Г. Гельмгольц, критикуя гетевское учение о цвете, неплохо выразил различие изначальных позиций Гете и ньютоновской физики: Гете «*смотрит на природу как на совершенное художественное произведение, которое само должно открывать свое духовное содержание восприимчивому наблюдателю*», он «*наслаждается созерцанием спектакля природы, а физики отыскивают закулисную механику рычагов, веревок, блоков и т. п.*»[149].

В основе этой познавательной стратегии — восхищение миром как великолепным, бесконечно удавшимся, неисчерпаемым в смысловом отношении созданием воображения (о воображении см. дальше). Исследующий взгляд смотрит, а не высматривает, не подсматривает («а что там *на самом деле*?»). Он знает: «на самом деле» — это именно то, что видно, а не то, что спрятано; то, что касается чувств, а не сверхчувственное, не приводные ремни и рычаги (если они вообще существуют в таком спектакле, ибо он органичен, а не механичен, и не различает средств и целей; об этом мы еще скажем). Но видит он то, что другие думают! Глаз Гете *видит* прарастение в растениях. Это не идея, не умственный вывод, как понимает гетевское «прарастение» Шиллер: как ни удивительно, это его непосредственный зрительный опыт. Зрение, видящее форму создания [150] — и тем самым видящее его великолепие.

Die unbegreiflich hohen Werke
Sind herrlich wie am ersten Tag[151].

Все великолепно, как в первый день (в День Творения). Нужно ли приводить бесчисленные цитаты из Пастернака о «первом дне», «дне творенья», о том, что все говорит о своем «месторожденьи», что «все опять впервые» и «вся степь как до грехопаденья»? Или говорить о теме великолепного, изумительного, herrlich в его стихах и прозе, письмах и заметках? Чуткие критики первых стихотворных книг Пастернака заметили их «дифирамбическое начало», и с этим связали его редкостную оригинальность[152]. Лирическая стихия, о которой шла речь, и есть дифирамбизм[153]. Таким дифирамбом, песней хвалы, может быть не только книга стихов, но и открытие «метаморфозы растений» или природы гранита. Любое обнаружение *формы*, *силы*

и *символа* — это работа лирической стихии. Это по-существу космодицея, хвала творению.

Сам Гете, думая о видимом мире и его познании, обычно предпочитал классический образ книги, а не спектакля (как у Гельмгольца). У Пастернака момент внятности и настоятельности этого «бессловесного слова» еще усилен: он видит в «реальности как таковой» даже не книгу, а послание, направленное лично ему, внезапно нашедшее его долгожданное сообщение: «*...Всегда я воспринимал целое — реальность как таковую — как полученное послание или неожиданное пришествие, и всегда старался воспроизвести этот характер прицельно посланного, который, как мне казалось, я находил в природе явлений*»[154]. Читая книгу и, тем более, держа перед глазами письмо, направленное тебе лично, естественно вникать в смысл того, что написано, а не заниматься, скажем, химическим анализом чернил. Познавательный принцип, — о чем не часто думают, — неотделим от *настроения*. Это слово кажется мне здесь точнее, чем «установка». В одном настроении человек смотрит спектакль, в другом — разбирает его закулисную механику. Первое настроение можно назвать простодушным или докритическим. В действительности же оно — послекритическое. Школа систематического сомнения, аскетическая школа им пройдена, и экзамены сданы на отлично. Соединение простодушия с умственной и душевной изощренностью кажется обыденному сознанию невозможным, но именно так устроена лирическая стихия. Впрочем, так устроена сама Премудрость.

Гетевское начало, пожалуй, всего очевиднее в *настроении* Пастернака, в его смысловом и душевным строе, общем ритме, в том, что так хорошо выражает немецкое слово *Mut*. Это настроение космического энтузиазма, познавательного здоровья, переживание какого-то чудесного *благополучия* мироздания и жизни (причем благополучия бурного и драматичного, «шекспировского»[155], в конце концов, трагического[156]), великолепия жизни и собственного интимнейшего родства с ней («Сестра моя жизнь») и с тем, что называют божественным («сверстник сердца моего»), включенность в великую игру природных стихий в качестве пятой, человеческой стихии, «квинтэссенции»[157], совершенно сродной всем четырем «нечеловеческим» (ср. «Пастернак — дождь» у Марины Цветаевой). В русской традиции это настроение совершенно исключительно[158], в германской же Гете откликнутся и другие голоса.

При этом ни в коем случае не будем называть эти отношения «воздействием» Гете на Пастернака или «отсылками» Пастернака к Гете, то есть переводить их в привычно литературный, школьный ряд. Гете (и его «Фауст») для Пастернака относятся не к литературе, а, как в «Кусте» Марины Цветаевой, к самому мирозданию, от которого ждут и требуют

Невнятицы старых садов,
Невнятицы музыки новой,
Невнятицы первых слогов,
Невнятицы Фауста второго.

С таким же основанием можно было бы говорить о «влиянии» на Пастернака дождя или сада. Несомненно, и дождь и сад *влияют* и *воздействуют*, — но совсем в другом смысле, чем тот, о котором думает нынешняя история

литературы и открывает — в качестве движущей силы ее изменений — культурный эдипов комплекс, «страх влияния»! Этот род отношений называется *сродством,* — слово и смысл столь же гетевские, как и пастернаковские.

Итак, и Гете, и Пастернак убеждены, что действительность открыта для нас — уже потому, что она по своей сути выразительна, как выразительно художественное произведение. Она *хочет* выразить себя, выразить свое: она хочет сообщить всё. Таиться и припрятывать что-то — не в ее характере, не в ее настроении. Гете: «(Морфология. — *О. С.*) *покоится на убеждении, что все существующее должно также о себе заявлять и обнаруживаться. Это основное положение* (Grundsatz)»[159]. Внутреннее непременно становится внешним, выраженным; внешнее не прячет, а открывает внутреннее. Явление (это слово следует понимать в его отглагольном смысле) фактически совпадает с собственной сущностью: за ним нечего искать. Хорошо видеть — и значит теоретизировать. «*Высшее было бы — понять, что* ***всё фактически уже есть теория*** (подчеркнуто мною. — *О. С.*). *Синева неба обнаруживает нам основной закон хроматики. Не надо ничего искать за феноменами: они сами — учение*»[160].

Действительность открыта нам, поскольку она действенна, она в своем существе — действующая сила, Macht, Kraft, энергия, а не собрание предметов. То, что мы видим, если мы в самом деле «видим видимое», — не объекты, а действия этой силы. Так, цвет в учении Гете — не объект, как у Ньютона, а действие. Действие света: «*Цвета — деяния света, деяния и страдания. В этом смысле мы можем ждать от них раскрытия природы света*» («История естествознания»)[161]. Почему «в этом смысле»? Каждое действие открывает «природу», сущность того, что действует, а сумма действий, будь она нам известна, открыла бы всю его сущность: «*Действия* (Wirkungen) — *вот что мы обнаруживаем, и полная история этих действий охватила бы, несомненно, сущность каждой вещи*» («История естествознания»)[162]. Пастернак, говоря о *силе* и *символе*, несомненно имеет в виду *силу* как *сущность* особого рода: как сущность, целиком открывающую себя в действиях, как значение, достигшее широты *значительности*, то есть, динамизма и открытой событийности. Человеческий жест щедрости и доверия, «*энергии, требующей выхода и расточения*» (IV, 13) есть символ такой сути, открывающейся в своих действиях до последней глубины. Такое отношение в *силе* сущности с действием, полная сущностность действия и полная действенность сути, напоминает нам паламитское учение об энергиях (при том, что другой, непознаваемой сущности здесь как будто не предполагается). Искусство говорит об этой *силе*. Его содержание не предметно, а *сильно*. В отличие от философии, искусство говорит «*не о принципе силы, а о ее голосе, о ее присутствии*». Приводя, как пример, «вечные сюжеты» любовной страсти в поэзии, Пастернак замечает: «*Когда мы воображаем, будто в Тристане, Ромео и Юлии и других памятниках изображается сильная страсть, мы недооцениваем содержанья... Тема их — тема силы*» (III, 186).

Из какой философии воспринята эта *сила*? Историки мысли связывают гетевскую идею *силы* и ее *действий* с той редакцией пантеизма его любимого Спинозы, которую они осуществили совместно с Гердером[163]. На месте статичных понятий Субстанции, Атрибута, Модуса в «Этике» Спинозы собе-

седники предлагают понятия Силы (Macht) и ее действий (Tatigkeiten[164]). Мне неизвестно, значили ли что-то Спиноза и Гердер для Пастернака. Но для того, чтобы воспринимать действительность как действие *силы*, философия, вообще говоря, не необходима — так же, как для того, чтобы думать, как Хильдегарда, не обязательно ее сперва прочитать. Всему этому учит «лирическая стихия», родственная самым древним и первым восприятиям мира, в которых мысль не отделена от чувства (и в смысле чувственного восприятия, и в смысле аффективного отношения, настроения) и потому способна соответствовать органическому, то есть парадоксальному.

Гетевской уверенности в том, что мир сам открывает познанию свою сущность, противостоит не только оккультизм и другие «тайные науки», но и та естественно-научная позиция, которую описал Гельмгольц: изучение спрятанных за сценой театральных машин и приводных ремней. И не менее того — философия, проблематизирующая контакт сознания с миром[165]. Это фундаментальное противопоставление, Grundsatz, объединяет на противоположном Гете и Пастернаку полюсе три вещи столь разных, что они никогда не согласились бы оказаться вместе: магию, научный позитивизм и философский гносеологический скепсис. К ним можно добавить и четвертое: ту «религиозность», о которой мы говорили, с ее непременным замесом на «чуде, тайне и авторитете». Она магична, позитивистски ограждена от «смысла» и по существу скептична.

Эта страсть смотреть и видеть то, что видно (труднейшее на свете дело, по Гете), и видеть так, «*чтобы в неизменном отношении к этому объекту наслаждаться радостью жизни*»[166], сопровождается еще одним, общим для Гете и Пастернака, свойством. Необыкновенно сильна их неприязнь к интроспекции, к знаменитой «рефлексии», к самоуглублению. Дело не в особенностях их психики, которую охотно назовут экстравертной. Своего рода запрет на интраверсию, на самоуглубление обоснован у них космически, физически и физиологически. *Сила*, как мы видели, по существу своему направлена вовне, — так и сознание, и зрение в своем существе, в своем замысле направлены вовне. Они существуют в действии, они — «*энергия, требующая расточения*». Если бы глаз смотрел на себя, он бы ничего не видел, замечает Гете, то есть он не был бы собой, органом зрения, глазом — и, значит, вообще не был бы. В тон ему рассуждает Живаго: «*Сознание — свет, бьющий наружу, сознание освещает перед нами дорогу, чтоб не споткнуться. Сознание — это зажженные фары впереди идущего паровоза. Обратите их светом внутрь, и случится катастрофа*» (IV, 69). О катастрофе бесконечной рефлексии, самоуглубления в «слепое пятно» собственного сознания, хронической болезни человека и в гетевское, и в пастернаковское, и в наше время, Гете проницательно замечает: «*Имеется также пустое пятно в мозгу, в котором никакой предмет не отражается, как и в глазу есть пятнышко, которое не видит. Углубление в него ведет к какой-то душевной болезни*»[167]. Пастернак усиливает этот смысл: к болезни смертельной, поскольку жизнь и душа есть выход наружу, «деятельное проявление»: «*Человек в других людях и есть душа человека. Вот что вы есть, вот чем дышало, питалось, упивалось всю жизнь ваше сознание. Вашей душой, вашим бессмертием, вашей жизнью в других*» (IV, 69).

Ich habe nie über das Denken gedacht,

«*Я никогда не думал о думанье*», сообщает Гете в «Ксениях». И этим поразительно отличается от своих и от наших «мыслящих» современников. Я думал зрением, мог бы сказать он, и видел мыслью. Я исполнял дельфийский оракул «Узнай себя», глядя на *другое*: например, «на травы и камни»[168], — и занимаясь естествознанием.

Тему «слепого пятна» в сознании, на которое направлена пресловутая рефлексия, Пастернак дополняет еще одним созерцаемым таким способом феноменом: *истерии* как *изнанки души*. «*Есть изнанка души, разума, нервной системы, изнанка настолько типичная и значительная, что ее часто принимают за душу как таковую, за предмет интеллектуальной деятельности, за ее сущность. Это истерия*»[169]. Изнанка, которую принимают за глубину! Так же, как «слепое пятно», *истерия* противопоставлена движению извне и вовне: «*Я думаю, что это зерно нашей морали или душевного ничтожества, хроническое заболевание личности, носимое нами в себе, тогда как наше бессмертие — вне нас — в той великой непознаваемой бесконечности, которая нас вдохновляет, притягивает и ведет всю жизнь, воспитывает и обновляет, в которой мы участвуем*».

Органическое познание органического, мысль Гете и Пастернака требует соединить такие вещи, которые в механическом мышлении представляли бы неразрешимые антиномии. Это, среди другого: феномен и теория, внешнее и внутреннее, зрение и мышление, чувственное и умопостигаемое, субъект и объект (новый «объект», по Гете, создает в «субъекте» новый орган для восприятия себя[170]; с другой стороны, воспринимающий «субъект» не повторяет «объект», как зеркало, но упруго возражает ему[171]), форма и трансформация, моментальное и непреходящее. Многого из этого мы хотя бы отчасти касались, но есть и еще сведенные воедино полюса. Необходимое и невозможное, падение и восхождение, закон и случайность (или свобода), автономное и интегрированное... всего не назовешь. Остановимся только на двух. Правда и вымысел (воображение), единое и множественное (или: уникальное и заменимое).

Итак, правда и вымысел. Мы начинали с того, что правда (или истина) — одно из первых имен того таинственного явления, которое называется *Жизнью*. Так у Гете, так у Пастернака. С возмущения общим «равнодушием к очевидной истине» начинается «гений, то есть художник»[172]. При этом символическая правда не отвечает тому, о чем она, — правда, если в нее не вносится выдумка («вранье», в смысле «говорение лишнего»): «*Фактов нет, пока человек не внес в них чего-то своего, какой-то доли вольничающего человеческого гения, какой-то сказки*» (IV, 124). Об этом удивительном свойстве *правды* и Гете, и Пастернак говорят часто и охотно. Гете, числя фантазию четвертым даром человека (первые три — чувственность, рассудок, разум), продолжает: «*Только с тремя этими дарами человечеству пришлось бы погрузиться в жалкое ничтожество*». «*Фантазия гораздо ближе к природе, чем чувственность*». «*Фантазия не уступает* (дословно — фантазия в рост, ist gewachsen. — *О. С.*) *природе, чувственность подчинена ей*»[173]. Гете говорит о росте, Пастернак — о скорости: буквальная правда не успевает за действительностью, за «успехами природы», она отстает, и тем самым обманы-

вает (III, 178). Пока мы говорим правду о чем-то, это что-то уже сместилось и трансформировалось, и только правда, которая учитывает то, чем оно *будет*, правда прогностическая или гадательная:

Слитки рифм, как воск гадальный, —

отвечает ее сущности. Откуда же можно знать прогностическую правду? Из ви́дения формы. Поскольку форма заключает в себе историю своих метаморфоз, ви́дение формы есть прогноз ее будущего и диагноз прошлого — и, за пределами всего хода времен в изъявительном наклонении, знание не только того, что налицо, что было, есть и будет, а того, что возможно. Наклонение желательное, оптатив. Воображение, гетевская «Lust zu fabulieren» (охота присочинить) правдивее «честного пересказа». Воображение точнее подражает природе, чем простая фиксация «наличного положения дел», оно ей в рост потому, что сама природа есть замысел воображения. «*Фантазируя, наталкивается поэзия на природу. Живой действительный мир — это единственный, однажды удавшийся и все еще без конца удачный замысел воображения*» (V, 26–27). То, что получается в результате воображения, преувеличивания, «деланья из мухи слона», которым занимается искусство, — и есть «высокое притворство», «правдивая кажимость» или «серьезная игра»:

Freuet euch des wahren Scheins,
Euch des ernste Spieles.

Это серьезная игра искусства — и в той же мере серьезная игра самой жизни:

Сколько надо отваги,
Чтоб играть на века,
Как играют овраги,
Как играет река.
Как играют алмазы,
Как играет вино,
Как играть без отказа
Иногда суждено (II, 183-184).

Полная мера правды и реальности — мера с избытком, переливающаяся за свои края. Это и называют игрой. Это выход из совпадения с собой, из унылой тавтологии «А есть А». А вот и нет! «А есть А и при этом непременно не А, потому что истинное А – это только то А, что превосходит А в разных формах и разных направлениях, *играет*». Они (правда и реальность) становятся собой только в том случае, когда превосходят себя. В этом смысле Пастернак утверждает: «*Несмотря на то, что Бах был композитором, его произведения действительно вершины бессмертия*» (X, 505). Поэтому, как говорят и Гете, и Пастернак, только невозможное вполне реально — и только невероятное истинно необходимо. Но так невозможен и невероятен весь видимый мир!

Unmoglich scheint immer die Rose,
Unbegreiflich die Nachtigal[174].

Те, кто отказывается понимать такую логику, не знают ни жизни, ни природы, ни искусства.

Перенесенная в область нравственности (а мы помним, что «нравственности учит вкус, вкусу — сила»), это качество истины, серьезная игра, у Гете дает такой результат: высшая добродетель — это постоянное стремление ввысь, превосхождение себя, императив *Stirb und werde*: «Умри — и стань»[175]. Это Selige Sehnsucht, блаженная тоска по другому, роднящая человека с божественным[176]. Эту тоску Пастернак видит за «стеной религий»:

Вы обнесли стеной религий
Отца и мастера тоски (I, 130).

Пастернак уточняет, что такое «превосхождение себя» — это «жизнь в других» и это жертва[177].

Единое-множественное — и настолько уникальное, что его можно заменить множеством других, ничуть не уступающих ему вещей: почти чем угодно. Такова полнота уникальности: играющая полнота. «Лучшие слова в лучшем порядке»? Пожалуй, но это не значит: только эти слова и только в этом порядке. То, что открывает такая правда и такое искусство (если угодно, мастерство), есть не некий единственный правильный ответ, а распахивающийся в бесконечность веер разных и одинаково правильных ответов. «*Взаимозаменимость образов, то есть искусство, есть символ силы*» (III, 187). Вероятно, это положение «другой науки» Гете и Пастернака — взаимозаменимость как самое полное проявление уникального — труднее всего дается обыденному сознанию. Оно привыкло искать один, окончательный, единственный ответ на свои вопросы. Не уникальный и при этом, конечно, никаким другим не заменимый. Смысл не как предмет среди предметов, — а как *среда*: вот порог, который труднее всего переступить обыденным мыслительным привычкам. В этом — в избрании своим предметом *среды* — Пастернак видит неотменимую находку импрессионизма, его совпадение с законами природы (см. выше, о бабочке).

В ряде всех этих сведенных полюсов мы видим работу символа, symbolon (sym-bolon), «складывания» этимологически. Осколки, которые настоящий символ соединяет край-в-край, так давно разбиты, так далеко друг от друга разнесены, что акт их соединения требует сверхобычной смысловой силы, того «невозможного, которое одно вполне реально» в физике (или, как мы говорили, «зоологии») Гете и Пастернака.

Реально, необходимо и происходит по определенным законам. Любимая и Пастернаком, и Гете тема случайности («*чем случайней — тем вернее*»), неуместности и несвоевременности всего истинного и великого[178] не противоречит их глубочайшей любви к законам. Речь идет только о том, что в механическом плане (а в нем живут и мыслят в «*скудоумии будней*») это предельно законное представляется случайным и несвоевременным.

Und das Cesetz nur kann uns Freiheit geben —

«*И только закон может дать нам свободу*». Пастернак отвечает этой мысли Гете: и только наша свобода позволяет закону действовать[179]. Это совсем не гегелевская картина свободы и необходимости! Речь идет о законе живого, которого не знает механистическая редукция. В мире механическом жизнь, осуществляющая собственную форму, собственный закон (ибо все метаморфозы и трансформации происходят в согласии с закономерностями,

которые можно обнаружить, вглядываясь в форму), жизнь автономная является как нечто своевольное и непредвиденное,

Как беззаконная комета
В кругу расчисленном светил.

Но самый острый спор, самая горячая битва с механистическим мышлением у Гете и Пастернака происходит в области причин и следствий, цели и средства. Потому что именно здесь, в детерминизме и «целесообразности» — самый корень зла, главная цитадель «скудоумия будней и чертовщины посредственности». Гете бесконечно благодарен Канту за его утверждение: «*Органическое произведение природы — это такое, в котором все есть цель и в то же время средство*»[180]. Разделение вещей и действий на «цели» и «средства» и соответственное обхождение со «средствами», которые «цель оправдывает», — вот начало конца. Конца политики (так представлено в романе революционное сознание), конца этики, конца жизни. Кантовский этический императив: к каждой вещи относиться как к цели, — представляется обыденному сознанию и нелепым, и неисполнимым. Каким образом, скажем, относиться как к цели к мылу, которым я мою руки? Но художник знает, каким. Его образы вырывают вещи из небытия средств — и дают увидеть их как нечто, безусловно достойно быть целью: как знаменитые башмаки Ван Гога. И здесь мы вновь встречаемся с не совсем неожиданным сближением: недопустимость разделения на «средство» и «цель», как мы знаем, составляет один из фундаментальных законов православной аскетики[181].

Гнев Гете и Пастернака на расхожее рассмотрение явлений в причинно-следственном ряду может показаться преувеличенным: что, казалось бы, в этом страшного? Но это праведный гнев, это кровоточащая обида. Страшно в такой тотальной обусловленности одного другим то же, что в «целях» и «средствах»: унижение автономного статуса вещей, уничтожение их самостоятельного смысла, их безусловного бытия. Когда вам «в жизни» говорят: «Вы сделали это потому... (и далее следует версия)», тем самым говорят: «Вы этого не сделали!» или: «На самом деле вы сделали вот что!» Мы касались этой темы в связи с мотивацией любви героев в романе («Они любили друг друга потому...»). Находя для чего-нибудь ближайшие причины, которые легче всего понять, говорит Гете, «*мы охотно мыслим механистичным то, что более высокого рода*»[182]. Предлагая причину вещи, с ней справляются. Особенно оскорбительно объяснение «циклопических событий» через «причины», якобы детерминировавшие их: «*Это у домашних ссор есть генезис... Все же истинно великое безначально, как вселенная. Оно вдруг оказывается налицо без возникновения, словно было всегда или с неба свалилось*»[183]. Обыденное сознание просто одержимо уничтожением смыслов при помощи поисков их «причин». Эту черту обыденного сознания марксизм возвел в методологический принцип. Русское присловье хорошо отвечает на все эти «почему»: «Почему, почему? А *потому*». «Зачем, зачем? А *так*».

Итак, великое (а мы помним, что великое — это символическое) беспричинно и бесцельно, «*как с неба свалилось*»[184]. Существование для какой-то (обычно утилитарной) цели так же уничтожает реальное, как и существование «по причине» чего-то (обыкновенно простейшего и расположен-

ного ниже своего следствия, как пресловутые «базис» и «надстройка»). Гете-натуралист и Гете-художник бесконечно враждебен к бытовой телеологии «пользы» (типа: рога даны быку, чтобы бодаться): «*Пробковое дерево растет не для того, чтобы людям было чем закупоривать бутылки*»[185]. Финальные причины такого рода он ненавидит как крайнюю глупость. Он благодарен Канту за то, что Кант признает право природы и искусства на бесцельное действие. «*Природа и искусство слишком велики, чтобы преследовать цели*»[186]. На месте причин и целей Гете предлагает видеть только отношения (Bezüge) и условия.

Гете (и его культурного современника Пушкина), завершающего XVIII век, больше всего раздражает финализм и связанный с ним критерий «пользы» («зачем?»), унижающий природу и искусство, да и всякое чистое действие, чистый смысл. Для Пастернака, художника XX века, современника авангарда, самая болевая точка, самый зловещий знак убогого рационализма, «*скудоумия будней*» — механистическая причинность, детерминизм («это потому, что...», «если сказал А, говори Б»). С причинностью (и причинным смыслом) он ведет не менее последовательную борьбу[187], чем радикальный авангард, — но другими путями. Примеры из прозы и стихов Пастернака, опрокидывающие привычную будничную причинность, можно приводить до бесконечности. Единственной квазипричиной Пастернак готов признать разве что простую смежность вещей в пространстве и времени, которая заставляет уподобиться и приспособиться (мимикрия), то есть те же гетевские — линнеевские — «отношения» и «условия». Образец этой логики — «*болтовня спутников, всегда негладкая ввиду ступенчатости марбургских тротуаров*» (III, 192). Вот уж кто был величайшим наблюдателем таких «причин» (вообще говоря, соответствия обстоятельствам, быть может, бессознательного, но, тем не менее, не «причиненного», а предпринятого), так это помянутый нами в начале и там оставленный Л. Н. Толстой!

Гете и Пушкин спорили с утилитарной целесообразностью накануне той эпохи, когда она приняла неслыханный прежде размах и вопрос «для чего?» «чему, кому на пользу?» стал представляться неоспоримым и последним вопросом обо всем на свете (как в русской «реальной критике», как во всем «материалистическом» настроении XIX века). Как следствие, *мысль*[188] исчезла. Авангард и Пастернак (в этом его единомышленник) пытались опровергнуть механистическую причинность и детерминизм накануне той эпохи, когда эта «причинность» воплотилась в тоталитарных машинах XX века. Как следствие, исчезло само существование (существование целых сословий и наций, уничтожаемых «по причине», но и больше того и в другом смысле — существование всех, кого включили в себя эти машины).

Настаивание на автономном статусе каждой части мира и мира как целого, — быть может, первое дело «художества мысли» и «лирической стихии». И тем более — на автономности каждой жизни (ср. воспоминание Живаго о временах «гениализированной жизни»: «*И жизнь каждого существовала само по себе, а не пояснительно-иллюстративно, в подтверждение правоты высшей политики*» — IV, 452).

В этической сфере война с «причинами и целями» принимает форму «другой этики». «*Но для деятельности ученого, пролагающего новые пути, его*

(Стрельникова. — *О. С.*) *уму недоставало дара нечаянности, силы, непредвиденными открытиями нарушающей бесплодную стройность пустого предвиденья. А для того, чтобы делать добро, его принципиальности недоставало беспринципности сердца, которое не знает общих случаев и которое велико тем, что делает малое*» (IV, 250–251).

Теперь мы столкнемся, вероятно, с главным парадоксом: автономность так необходима вещам и человеческой жизни именно потому, что только она освобождает в них «тягу к общему» и тем самым делает их символическими. Символическим, как это ни удивительно, может быть только автономное. При условии свободы от внешних и «нижних» причин и целей в них только и может действовать закон, «номос», этой автономии: закон тяги к общему. Автономное становится собой, — и это значит: «только символическим», — то есть не исчерпывающим себя своей данностью[189]. Быть «не совсем собой» и «не только собой», то есть представлять, символизировать мирозданье, его *силу,* может только то, что свободно, как оно.

9

Мы подошли к завершению. По ходу изложения мы уже столько раз с разных сторон касались объявленной темы, темы *силы* и *символа*, что сводить все сказанное воедино и повторять кажется уже излишним. Самым кратким образом: символ, как его видят Гете и Пастернак, неотделим от силы, он есть деятельность силы. Сила, не поддающаяся понятийному определению, — высшая степень цельности и ее проявление. Там, где цельность нарушена, сила не действует. С символом близко связаны такие представления, как *форма*, *образ*, *прафеномен* (последний только у Гете, и у Гете он совпадает с символом: «прарастение» он называет также «символическим растением»). *Форма* и *образ* не вполне синонимы символа, но тоже вещи силовые или сильные.

В современном употреблении «символ» стал неотличимым от условного знака. Его отсылка, его «вторая часть», конкретна и постоянна. «Символ А», скажем, обозначает первую букву кириллического алфавита. Употребив данный «символ», мы механически получим указанный смысл. Такое понимание символического противоположно гетевскому и пастернаковскому. Ни постоянного «смысла», ни постоянной закрепленности *их* символ не имеет. Символичным может стать все, что угодно, «нечаянно и наугад», как горящая свеча в сюжете романа; символическая ценность посещает и покидает вещи. На каких условиях? Видимо, на тех же, на каких является и покидает нас та *Жизнь*, с которой мы начали разговор. Они символичны, когда сильны, когда происходит некое неожиданное событие опознавания (символ всегда «вдруг»): край входит в край, и из этого следует восстановление контакта, восстановление расколотого целого, — потому что за символом стоит сюжет разлуки и неизвестности, и памяти о возможной в будущем встрече. Символ — своего рода гадание о хэппи-энде этой долгой сказки о потерянных, забытых или неизвестных родных и друзьях, предсказание счастливого конца разлуки. Каждый символ и все они вместе соединяют нас не с каким-то конкретным «смыслом» (пускай более богатым и сложным, чем в современном техническом «символе», таким как у символистов[190]), а с «не-

исследимым целым», с «легендой»[191], со смыслом, существующим не как «вещь», а как *среда*.

Мы заметили историческую приуроченность борьбы художников с механической причиной и целью — она происходила в самый канун их овладения эпохой. Настойчивое проведение темы смысла как динамической среды в поздних письмах Пастернака (смысловой среды, подобной световоздушной среде импрессионизма) — того же рода. В позднейших движениях искусства (будь это соц-, поп-арт или гиперреализм), которых Пастернак уже не застал, навязчивая и более всего угнетающая тема — полное отсутствие среды и тяги. И это не выдумка каких-то злонамеренных изобретателей, а довольно точная сводка о состоянии современного восприятия. *Среда*, *целое*, *тяга* — вещи для него недоступные. Вместе с ними недоступно и *будущее* — область действия символа.

Итак, символический смысл у Пастернака — не переносный, а прямой смысл, но поставленный в отношения динамики и «стремительного ускользания» на том «ветру», который уносит занавес с изображением (см. выше). Это событие «мгновенного откровения целого»: «Истинная символика там, где частное является представителем более общего, не как греза или тень, но как живое мгновенное откровение неисследимого»[192]. Пастернак настаивает на своем понимании реальности, «*которую можно назвать символической в том смысле, что она лишена статичности, и ни в каком другом*» (X, 494). Какого-то всеобщего словаря, типа того Symbolarium'a, о котором мечтал Флоренский, из символов такого рода составить невозможно. «*Все происходящее есть символ, и, в совершенстве раскрываясь, всякая вещь указывает на все остальное. В этой мысли заключается, по-моему, величайшее дерзание и величайшее смирение*» (X, 494). Некоторые из этих символов, быть может, самые удачные и прочные, удерживаются традицией, — и только о них обычно и думают, когда говорят о символах. Но если за этим рядом символических констант мы забудем о всеобщей возможности символизировать, мы не уловили существа символического. «*Жизнь символична, потому что она значительна*» (IV, 558). В другом месте мы читаем, что значительность жизни есть трагизм, трагедия полноты и счастья: «плакать заставляет ее (жизни) значительность». Утрата символического в *этом* смысле есть утрата самой жизни. Символичность искусства как факта, — мысль Пастернака, о которой мы говорили, — заключена в том, что значительность в искусстве открывается как «вся его тяга к общему» («*Фигурой всей своей тяги* (к общему. — *О. С.*) *и символично искусство*» (III, 187) и жертва («*Я говорю о самом артистическом в артисте, о жертве, без которой искусство не нужно и скандально нелепо...*») (IX, 627). В этой «тяге к общему» можно услышать глубокую перекличку с богословской мыслью о «*сообщенном миру порыве к причастию*»[193].

Мы уже не раз — и, как может показаться, совершенно произвольно — вспоминали в связи с «наукой» Гете и Пастернака раннюю и классическую богословскую мысль. Но избежать этого сопоставления в том, что касается символа, невозможно. Вообще говоря, во всем, что касается символа. «*Ибо духовный мир в его целостности явлен в целостности мира чувственного, где он мистически выражен в символических образах для имеющих очи, чтобы видеть.* <...> *Тот мир присутствует в этом через сущности; этот*

мир присутствует в том через символы, и дело обоих есть одно. Ибо символическое созерцание духовных вещей через видимые есть то же, что постижение в Духе видимых вещей через невидимые» (Св. Максим Исповедник. «Тайноводство», 2)[194]. Разве не слышны здесь мотивы, которых мы касались по ходу нашего рассказа: мотивы целостности, ви́дения видимого, сплошного, динамичного и непредсказуемого характера символичности?

А вот точное соответствие парадоксальному мерцанию масштаба символа: часть видимого мира, и притом мельчайшая, может символизировать не часть «мира неисследимого», а весь его, — и в этом качестве всеобщего символа она может быть заменена множеством других вещей или всеми ими вместе. Рассуждая о горчишном зерне, которому уподобляется Царство Небесное, Ориген говорит: «*Оно* (горчишное зерно. — *О. С.*) *являет нам не просто частицу небесного сущего, но все Царствие Небесное в целом*» («Комментарий на "Песнь Песней"», 3)[195]. И такими же символами всего, продолжает Ориген, могут быть другие зерна, растения, птицы и т. п. И действительно, сколько совсем разных вещей и целых ситуаций — житейских ситуаций — представлено в евангельских повествованиях как символы Царства Небесного! И как неожиданно их явление в этом значении! «*И еще подобно Царство Небесное...*» Каждая такая вещь является в своем неожиданном будущем, в своей возможности значить *всё*. Вот подсказка к пониманию так трудно объяснимой и столь драгоценной для Пастернака идеи «всеобщей взаимозаменимости», которой посвящено искусство: взаимозаменимые вещи в качестве символов относят нас к тому, что по природе своей таково, что *может быть выражено практически чем угодно*, чем-то одним, «нечаянно и наугад» — или же всем вместе. Понимание символичности символа связано с каким-то опытным знанием о свойствах того, чему он символ, чему он — вторая половина[196]. При отсутствии такого опыта мы будем иметь дело с эмблемами, иносказаниями, условными знаками. (Логос) «*через видимые вещи, как через письменный текст — раскрывается весь, целиком, как во всех вещах вместе, так и в каждой в отдельности...*» (Максим Исповедник. «Ambigua»)[197]. «*Во Христе мир восстанавливается как символ, как изобилие символов*»[198].

Богословская мысль ищет выражения для ускользающего от механической рациональности смысла символа, но прямая реализация символа, его простое присутствие осуществляется в сакраментальной реальности обряда, в таинстве. Великий исследователь христианской Литургии о. Александр Шмеман одним из главных препятствий к ее восприятию полагает «*сбивающее с толку представление о символе*» (с какого-то времени возобладавшее в экзегетической традиции) — то самое, с которым спорил Пастернак: отождествление символов с «*шифрами*», «*аллегориями*», «*неподвижными и разрозненными знаками тайнописи*» (X, 477). «Прочитанная» таким аллегорическим образом, Литургия (показательный опыт Н. В. Гоголя) теряет свою эпифаническую, пророческую *реальность*, сводясь к иллюстративному и дидактическому «примеру». Шмеман восстанавливает понимание символа как *силы* и как *части*: как внезапной реальности присутствия, эпифании невидимого, явлению будущего[199]. «*В этом смысле символа, онтологическом и эпифаническом, он приложим к Литургии*».

Итак, символу (sym-bolon) как опознавательному знаку, как силе, воссоединяющей целое, до его явления разбитое на осколки, каждый из которых сам по себе «нечитаем» и «нереален», противоположна сила разъединяющая, раскол (dia-bolos). В расколотом мире на месте *символа* оказывается совершенно условный *знак*, на месте *силы* — ее бессильная пародия, *насилие*; на месте цельности, каждая составная которой есть та же цельность, — механическая совокупность бесчисленных вещей и таких же предметных «смыслов», «идей», «проектов». Все они не связаны между собой «избирательным сродством», а повязаны каким-то общим рабством, так что ни одна из них не обладает ни свободой, ни самостоятельной ценностью и не позволяет другим ими обладать: все они *зависят* друг от друга, друг друга детерминируют и в свою очередь существуют «для чего-то еще». Все они заперты в своем безнадежном расколе. В таком мире «скудоумия будней и чертовщины посредственности» значительного — и, тем самым, символического — нет, и всякая попытка общения срывается в тот разорванный диалог, о котором мы говорили.

В перспективе человеческого творчества как «факта символического» (узнавания символов, понимания в символах, «бессмертного общения смертных» в символах)[200], противостоящего расколу, мы можем понять пастернаковские слова о «святости гениальности», об *образе* мира, символизирующем его будущее (пророк именует Господа «Богом, сотворившим будущее» Ис 45:11), о победе и празднике этого *явленного образа*:

И образ мира, в слове явленный (IV, 532).

Теперь осмелимся совсем немного договорить за Гете и Пастернака. Для них обоих вполне реален был традиционный образ двух Книг, созданных одним Автором и говорящих об одном, — Книги Природы, «бессловесного слова», и переведенной на множество языков Книги Св. Писания. В каком отношении к двум эти Книгам стоит творчество человеческого гения, которое Пастернак называет историей, «*второй вселенной, воздвигаемой человечеством в ответ на явление смерти с помощью явлений времени и памяти*» (IV, 67), а Гете — «второй природой»? Это творчество в своем целом может быть понято и как комментарий и истолкование «*бессловесного слова*», Книги природы, как ее «дописывание» (ср. мысли Гете о природности человеческого творчества и мысли Пастернака о человеке как «пятом элементе», quinta essentia мироздания, элементе исторического задания), — и как комментарий или даже «дописывание» Св. Писания (ср. известную мысль Пастернака о Библии как «*записной тетради человечества*»[201] и о великом искусстве, «*которое называется Откровением Иоанна и тому, которое его дописывает*»[202]). «Бессловесным словом» природы, вероятно, человеческий гений во все времена был занят много больше, чем Св. Писанием. У Пастернака (и кажется, только у него, читающего обе книги разом, так что природа действует внутри истории, а история происходит в самой природе, — ср. рассуждения о «*митингующих деревьях*» летом 17-го года или о «*весенней листве 1903-го, а не 1803-го года*»[203]!), в силу его особого, совсем открытого восприятия Писания, две эти Книги в каком-то смысле сходятся — в качестве образца для подражания: «*образная сторона нашей культуры, герои и*

люди европейской истории в определенном смысле представляют собой некоторое подражание Иисусу Христу или тесно с ним связаны и... Евангелие — основа того, что называется царством словесности и реализмом» (X, 412).

Итак, искусство, творчество, лирическая стихия подражают двум Книгам (или: комментируют, толкуют их). Но у той «записной тетради», которую ведет человечество и которое обычным и неточным образом называется «историей мировой культуры», можно предположить и другое значение, превосходящее чисто служебное, комментаторское. Так собственно и происходит во «второй вселенной» Пастернака — и в продолжающемся «дне Творенья» у Гете. Последний разговор, записанный Эккерманом накануне смерти Гете, открывает это со всей прямотой:

«— *Если послушать людей, — сказал Гете, — то, право же, начинает казаться, будто Бог давным-давно ушел на покой... В вопросах религии и нравственности вероятность вмешательства Господня еще допускается, но никак не в искусстве и науке — это, мол, дела земные, продукт чисто человеческих сил, и только.*

Но пусть кто-нибудь попытается с помощью человеческой воли и силы создать что-либо подобное тем творениям, над которыми стоят имена Моцарта, Рафаэля или Шекспира...

И что все это должно значить? А то, что по истечении шести дней Творения Бог отнюдь не ушел от дел, напротив, он неутомим, как в первый день. (Материальный мир задуман им) как питомник для великого мира духа. Так этот дух и доныне действует в высоких натурах, дабы возвышать до себя натуры заурядные[204].

Всё это очень близко к мысли Пастернака о «продолжении *образа* рода человеческого», о том, что «*именно в лице лирической истины постепенно складывается человечество из поколений*» (III, 179), что более всего творение продолжается в «делах гения»[205]. Человеческий гений, который есть «дар жизни», по Пастернаку, продолжает писать Апокалипсис. Можно предположить и другой образ: этот гений, «пятая стихия» не «дописывает» первую или вторую Книгу, а пишет своего рода третью — и тоже, как верят и Гете, и Пастернак[206], книгу богодухновенную: книгу, которая одновременно есть и действо (см. выше, о «зрелище»). Он пишет ее, в конце концов, о том же: это история того, что «Смерти не будет», как Пастернак вывел на титульном листе черновой рукописи первых глав романа[207]. Чтение этой книги, тему которой составляет человек, точнее — благородство человека, «новое благородство»[208], а материю — *символ* и *сила*, на привычном языке называется «изучением истории культуры» и даже «культурологией». На более прямом языке это чтение называется участием в истории: в истории человеческой природы, истории человека символического, который к нашему времени, по слову романа, немыслим без двух вещей: «*идеи свободной личности и идеи жизни как жертвы*» (IV, 13). Эту книгу писали люди, известные нам по именам и безымянные для нас, те, кто отливали первые бронзовые фигурки в нурагах и расписывали греческие вазы, те, кто изобретали арфу, пели и сказывали о короле Артуре... Их призванием было, как сказал Гете в своем «Завещании», «предвосхищать благородные души». На место это предвосхищенных душ нам и придется встать, если, как говорил Пастернак, больше некому.

Эти заметки я писала с постоянной памятью о Владимире Ивановиче Хвостине. Это попытка как-то ответить на его подарки. Почти все, о чем здесь говорится, подарил мне он, в самом начале 70-х, на уроках фортепьяно. Он дарил мне немецкие издания Гете и Рильке. Он познакомил меня с Альбертом Швейцером и подарил книгу Швейцера о Бахе, тогда почти недоступную (с пометой на обложке: «Для научных библиотек»). Он подарил мне Эккермана и Канаева — две неисчерпаемые книги, в которые я постоянно заглядываю все эти годы. В его исполнении я слышала того Брамса, о котором пишет Пастернак:

Мне Брамса сыграют. Тоской изойду...

От Владимира Ивановича я получала тогда еще самиздатские машинописные списки прозы и писем Пастернака (он, в свою очередь, получал их от Марии Вениаминовны Юдиной), и письма эти звучали для меня как соборные послания:

«Я думаю, несмотря на привычность всего того, что продолжает стоять перед нашими глазами и что мы продолжаем слышать и читать, ничего этого больше нет, это уже прошло и состоялось, огромный, неслыханных сил стоивший период закончился и миновал. Освободилось безмерно большое, покамест пустое и не занятое место для нового и еще небывалого, для того, что будет угадано чьей-то гениальной независимостью и свежестью, для того, что внушит и подскажет жизнь новых чисел и дней.

...Надо понять, что все стало прошлым, что конец виденного и пережитого был уже, а не еще предстоит» (X, 336).

И мое сердце соглашалось, захваченное этим нежданным и долгожданным счастьем: «ничего этого больше нет».

Да, все последующие десятилетия все это прошлое как прежде, как ни в чем не бывало, стоит перед глазами: нет, не как прежде, оно стоит, уже зная о своем прошедшем конце, и делается все пустее и мертвее и глумливее,— но все-таки мы читали: «Прошлое прошло... освободилось безмерно большое место для нового»...

Примечания

[1] Ибо предвосхищать (чувствовать наперед) благородные души — Вот предельно желанное призвание (*Гете, «Завещание»*).

[2] Ср. в письме М. Окутюрье от 4 февраля 1959 года: «*Я всегда думал, что в своих собственных опытах и во всей своей художественной деятельности я лишь перевожу его* (Рильке. — *О. С.*) *и развиваю, что ничего не добавляю к его оригинальности и все время плаваю в его водах. Как мне теперь* (в 1959 году! — *О. С.*) *кажется, есть основания считать, что я заблуждался*». — *Пастернак Б.* Полное собрание сочинений с приложениями. В одиннадцати томах. М., 2005. Т. X. Письма 1954–1960. С. 427 (в дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте статьи с указанием тома и страницы). При этом уловить какие-то вещественные следы влияния Рильке и в прозе, и в стихах Пастернака, — исключая разве что библейский цикл из «Стихотворений доктора Живаго», — не так-то просто! Чему учился Пастернак у Рильке? По его собственным словам, «*уметь видеть и любить*» (X, 115).

[3] Ср.: «*Спокойное, естественное изложение, соответствующее впечатлению при перечитываемом Malte Brigge*». — Из черновых набросков и планов (IV, 686).

[4] Только в двух-трех частных письмах Пастернак говорит о значении «Фауста» для его работы, — см. далее, прим. 51, прим. 103.

[5] Масштаб философской эрудиции и философской работы молодого Пастернака мы смогли представить совсем недавно — благодаря трудам Л. Флейшмана, издавшего двухтомник философских конспектов и заметок московского и марбургского периода: Lazar Fleischman, Hans-Bernard Harder, Sergej Dorzweiler. Boris Pasternaks Lehrjahre. Неопубликованные философские конспекты и заметки Бориса Пастернака. T. I, II. Stanford Slavic Studies. Vol. 11. Stanford, 1996. Двухтомник предварен большим исследованием Л. Флейшмана «Занятья философией Бориса Пастернака», вошедшим, вместе с другими заметками на эту тему, в том: Флейшман Л. От Пушкина к Пастернаку. М., 2006. В дальнейших ссылках — *Флейшман*.

В нашу задачу не входит исследование мысли Пастернака в перспективе такой философии, «философии как науки», — и, соответственно, сопоставление ее с философскими системами Г. Когена, Э. Гуссерля, А. Бергсона и др. В этом смысле сам Пастернак недвусмысленно говорит: «*Никакой философии у меня нет*» (X, 560). То, что мы собираемся рассмотреть, — это, словами Гете, «*естественное философское состояние*» Пастернака.

[6] Этой стороной пастернаковской мысли занимается в последнее десятилетие А. Шмаина-Великанова.

[7] «*Если только позволят внешние условия, я мог бы выдержать испытания благословенного, неслыханного и бросающего в дрожь образа жизни, деятельного и плодотворного, как у Гете. И конечно, я его веду, хотя тайно, в высшей степени скованно и незаметно*». — Л. Слейтер, 31 июня 1959 (X, 512).

[8] «*Как это современно по жизненности, как ново и вместе как интересно тут преломляются Гете и Л. Толстой!*» «Письмо в Пекин». 1922. — *Кузмин М.* Стихи и проза. М., 1989. С. 394.

[9] *Как ни странно — некоторые страницы, некоторые отношения автора (или его героини) напоминают облегченного Льва Толстого или романы Гете. «Мало кто знает и слышит то, что зиждет, ладит и шьет его. Жизнь посвящает очень немногих в то, что она делает с ними. Она слишком любит это дело и за работой разговаривает разве с теми только, кто желает ей успеха и любит ее верстак. Помочь ей не может никто, помешать может всякий»*, и т. д. Или о солдатах: *«роты потускнели и стали собранием отдельных людей в солдатском платье, которых стало жалко в ту самую минуту, как введенный в них смысл одушевил их, возвысил, сделал близкими и обесцветил»». Кузмин М.* Скачущая современность.

[10] «*Современные течения вообразили, что искусство как фонтан, тогда как оно — губка*» (V, 24).

[11] «*...Художественное дарование заключается вот в чем: надо роковым, инстинктивным и непроизвольным образом видеть так, как все прочие* ***думают****, и наоборот,* ***думать*** *так, как все прочие* ***видят****... То есть формы должны следовать из особого свойства каждого художнического внимания, как следуют выводы из мыслей остальных людей и т. д.*». Пастернак Б., Письмо родителям, 12–15 июля 1914 (VII, 185). Вот одно из многих в этом роде признаний

Гете: «*Само мое созерцание является мышлением, а мышление — созерцанием*». — Цит. по: *Канаев И.* Гете как естествоиспытатель. Л., 1970 (в дальнейших ссылках — *Канаев*). Что касается Льва Толстого, он как будто не теоретизировал на эту тему, но в любом его описании, портрете, пейзаже мы наблюдаем это удивительное качество: Толстой видит, как все прочие думают. Он *видит*, что вспоминает лошадь и что чувствует кормящая женщина. Оптическому миру Пастернака М. Цветаева противопоставляет свой, слуховой: «*Пастернак в стихах видит, а я слышу*». *Цветаева М.* Письма к Анне Тесковой.

[12] «*Что труднее всего? То, что ты посчитаешь легчайшим:*
Видеть своими глазами то, что у всех на глазах» («Ксении»).

[13] Бездарное, «фонтанирующее» сочинительство связано у Пастернака с «отсыревшей совестью»: «*Была ночь на всем протяжении сырой русской совести*», — пишет он в апреле 1918 года в толстовских тульских местах, после встречи с богемными собратьями по новейшему искусству. И далее: «*Ничего не изменилось на всем пространстве совести, пока писались эти строки. От нее несло гнилостностью и глиной*». «Письма из Тулы» (III, 30). Совесть, которая совпадает с гениальным творчеством, другой температуры: «*Книга есть кубический кусок горячей дымящейся совести — и ничего больше*» (V, 24).

[14] Письмо Ж. де Пруайяр 22 декабря 1959 (X, 555).

[15] «*Истина ведь всякому всегда нова, и вот, когда снова удается увидеть такого вполне истинного* (wahren) *человека, то кажется, что только что родился на свет*». Гете. — Цит. по: *Канаев.*

[16] *Талант — единственная новость,*
Которая всегда нова («А. П. Зуевой»).

[17] «*Мое учение о цвете старо, как мир, и долго его отрицать или замалчивать не удастся*». — *Эккерман И. П.* Разговоры о Гете. М, 1981. С. 422 (в дальнейших ссылках — *Эккерман*).

[18] «*Если можно было бы наделить даром речи дороги, леса, русскую землю второй половины девятнадцатого столетия,— их языком, языком камней, волков и сосен был бы язык Л. Толстого*» (далее в том же роде о языке Достоевского, Блока, Белого. — X, 554-555).

[19] *Гете.* Финал «Фауста», «Мистический хор». Букв.: «*Все преходящее — только подобье*». В переводе Пастернака: «*Все быстротечное — Символ, сравненье*».

[20] Ср. «*Мечтали о братстве. Я полон безразличной доброжелательности по отношению к большей части живых существ, которые, толпясь, наполняют жизнь — и только она сама способна внушить мне единственную настоящую любовь — любовь к ней*» (X, 513).

[21] «*Первое и последнее, что требуется от гения,— это любовь к правде (Wahrheitsliebe)*». Цит. по: *Канаев.*

[22] «Getrost! Das Unvergängliche /Es ist das ewige Gesetz, /Wonach die Ros' und Lilie blüht». — («Утешься! Непреходящесть — / Вот вечный закон,/ По которому цветет роза и лилия»).

[23] О представлении *силы*, важнейшем и для Гете, и для Пастернака, см. далее.

[24] Земной Дух в «Фаусте»: «Ein wechselnd Weben, /Ein glühend Leben, /So schaff ich ans sausenden Webstuhl der Zeit /Und wirke der Gottheit lebendiges Kleid» («Меняющее ткачество, Пылающая жизнь. Так я работаю на свистящем ткац-

ком стане времени И изготовляю живое платье божества». — Я привожу дословный перевод в тех случаях, где Пастернак дает поэтический эквивалент оригинала, опуская некоторые детали, которые нам здесь важны. — *О. С.*). Тот же образ ткачества Духа мы встретим у Хильдегарды Бингенской (см. дальше).

[25] Ср. у Пастернака образ ювелирной мастерской:

Ты держишь меня, как изделье,
И прячешь, как перстень в футляр («В больнице» — II, 174).

[26] «Es soll sich regen, schaffend handeln; /Erst sich gestalten, dann verwandeln («Eins und Alles») — «Оно (мирозданье. — *О. С.*) должно двигаться, действовать творя, / Сначала находить себе форму, потом преобразовываться».

[27] Культурное и религиозное продолжение гетевская мысль о *жизни*, основа и поэзии Гете, и его естественно-научной мысли, нашла в труде и творчестве Альберта Швейцера, в том новом «золотом правиле», которое он предложил современности: в *этике благоговения перед жизнью* — Ehrfurcht vor dem Leben. «Я жизнь, которая хочет жить в окружении жизни, которая хочет жить», — так, по его интуиции, звучит (или должно звучать) глубинное самоощущение человека (*Kein Sonnenstrhal geht verloren.* Worte Albert Schweizers. Hyperion-Verlag. Frieburg im Breisgau). Жизнь как воля к жизни, которая есть одновременно инстинктивная, врожденная воля к коммунитарности, к дарящему существованию в среде живого, к животворению и самоотдаче:

Жизнь ведь тоже только миг,
Только растворенье
Нас самих во всех других
Как бы им в даренье («Свадьба»)

— это то, что полярно противопоставляет гетевско-толстовско-пастернаковское почитание живого и его «животворящей силы» всем другим «философам жизни» и виталистам с Ницше во главе.

[28] «Охранная грамота» (III, 186).

[29] «*По существу, вся моя философия сводится, как всякая истинная философия, к оправданию, к восстановлению того, что есть*» — эти слова Марселя Пруста вполне определяют познавательный метод Гете и Пастернака, их «нефилософствующую философию». Поздний Пастернак отмечает близость Пруста (которого он прежде сторонился) и Толстого: «*А эти последние страницы* («Найденное время». — *О. С.*) *бездонно человечны, как у Льва Толстого*» (X, 437).

[30] Marcel Proust. *Contre Sainte-Beuve.*

[31] «*Я думаю, надо быть верным бессмертию, этому другому имени жизни, немного усиленному*» (IV, 12).

[32] Ср.: «*Бессмертие создано теми, кто его хотят*» (V, 290).

[33] К. Кереньи описывает два эти смысла так: *zoe* — это жизнь бесконечная, никак не охарактеризованная, полностью противопоставленная смерти, сама стихия или сила жизни, «*нечто такое, что не подпускает к себе смерти*»; *bios* — жизнь конечная, характерная, включающая в себя свою смерть (ср.: *биография*). — *Кереньи К.* Дионис. Прообраз неиссякаемой жизни. М., 2007. С. 19–22 (в дальнейших ссылках — *Кереньи*). Это греческое различение отча-

сти передают церковно-славянское *животъ* (zoe) и *житие* (bios). Если бы это не воспринималось как дурной каламбур, можно было бы — в связи с этимологией — назвать то особое творчество, о котором мы ведем речь, *зоологией*; можно было бы назвать Пастернака, Гете, Толстого, Пруста *зоологами* (а также *психологами*, что в данном случае одно и то же). Увы, слова эти заняты другими значениями. В древнейших текстах, замечает далее Кереньи, *psykhe* (душа) отождествляется с *zoe*, так что *psykhe* может употребляться на месте *zoe* (как у Гомера — II. XXII,161). В библейском употреблении, как известно, происходит то же отождествление «души» и «жизни», и в этом смысле следует понимать такие концепты, как *спасение души*. Перевод названия книги Кереньи явно неудачен: unzerstörbar, переведенное как «неиссякаемый», имеет в виду другой, более драматический смысл: жизнь, которая постоянно подвергается разрушению, но остается неразрушаемой.

[34] Самым наглядным и сказочным образом — с точки зрения ангела, отправленного учиться на землю, в поздней повести «Чем люди живы». Они живы, когда в них действует *жалость*. Так это видит ангел. «*Отчего ты одарил меня жалостью, главным даром твоим, даром святого духа, из которого вытекают все остальные?*» — спрашивает Доктор Живаго («Из черновых набросков и планов» — IV, 712). «*Мирами правит жалость*» — так Пастернак отвечает финальной строке «Божественной Комедии» Данте о «*Любви, которая движет солнце и другие светила*». Эта жалость, которой люди живы и миры движутся, жалость как дар Св. Духа — русская версия Любви, слова немного неясного в русском языке, немного отвлеченного.

[35] Нечто вроде «*характера*» или «*суммы всех чувств биографического я*». То древнее значение *души*, которое действует у Пастернака, не имеет ничего общего с традиционным тройным делением человеческого существа на тело-душу-дух (и следующими за этим противопоставлениями *душевного* и *духовного*). У меня хранятся записки моей пятилетней племянницы, которая писала их, едва выучив буквы, и подписывала: «От Даши и ее души». Помня ее тогдашние сообщения о том, что у нее душа то есть, то нет, и когда ее нет, она видит в человеке разные подробности, например, толстый он или тонкий и т. п., а когда душа есть, она не видит в нем «ничего, только его», я перевела бы эту подпись на богословский язык таким образом: «От Даши и от образа и подобия Божия в ней». Этот образ и подобие видит в другом тоже образ и подобие, а не глину со всеми ее подробностями. *Zoe* видит *zoe*, а не *bios*.

[36] *Жизнь вернулась так же беспричинно,*
Как когда-то вдруг оборвалась («Объяснение»).

О настоятельной теме *беспричинности* всего значительного у Гете и Пастернака мы еще скажем в дальнейшем.

[37] «*Я себя совершенно не знаю, такое чрезмерное значение имеет власть моей души надо мной и над всем, что со мной происходит. Я никогда не знаю, кем или чем я буду в следующую минуту...*» (X, 163).

[38] *Что только-только распогодь,*
Смерть можно будет побороть
Усильем Воскресенья («На Страстной»).

[39] «*...Мысль об истории как о второй вселенной, воздвигаемой человечеством в ответ на явление смерти с помощью явлений времени и памяти*» (IV, 67).

Обратим внимание на то позитивное, созидательное значение, которое несет здесь — в контраст множеству мыслительных систем — «явление времени». Обыкновенно *время* видится как разрушительная стихия, смерть в действии, так что *память* противостоит *времени*, сохраняя то, что оно уносит. У Пастернака *время* и *память* сотрудничают! Ср. гетевский образ *ткацкого стана времени*.

[40] *Всю ночь читал я Твой завет*
И как от обморока ожил («Рассвет»).

[41] Ср. в ранних тезисах Пастернака: «*Итак, бессмертие есть Поэт; и поэт никогда не существо — но условие для качества*» (V, 318). Более развернуто и описательно — в романе: «*В такие минуты Юрий Андреевич чувствовал, что главную работу совершает не он сам, но то, что выше его, что находится над ним и управляет им, а именно: состояние мировой мысли и поэзии и то, что ей предназначено в будущем, следующий по порядку шаг, который предстоит ей сделать в ее историческом развитии. **И он чувствовал себя только поводом и опорной точкой*** (подчеркнуто мною. — *О. С.*), *чтобы она пришла в это движение*».

[42] Ср. «*Главное мое стремление передать неожиданность реальности, ее появления, жест удивления...*» (X, 494).

[43] Перевод первой части «Фауста» непосредственно следовал за работой над первыми главами романа, а перевод второй заполнил перерыв в работе над ним длиной в три четверти года.

[44] Гете много думал о демоническом, но употреблял это слово в дохристианском, античном смысле. Так, на вопрос Эккермана, демоничен ли его Мефистофель, отвечает: «*Нет, Мефистофель слишком негативен, демоническое же проявляется только в безусловно позитивной деятельной силе*». — *Эккерман*. С. 412.

[45] «*Может быть, состав каждой биографии... требует еще и участия неведомой силы, лица почти символического, являющегося на помощь без зова, и роль этой благодетельной и скрытой пружины играет в моей жизни мой брат Евграф?*» (IV, 287). Какая-то двусмысленность этого образа открывается доктору после первой встречи с ним, в тифозном бреду: «*Совершенно ясно, что мальчик этот — дух его смерти или, скажем просто, его смерть. Но как же может он быть его смертью, когда он помогает ему писать поэму, разве может быть польза от смерти, разве может быть в помощь смерть?*»

[46] Ср. о чудесах из жития Елизаветы Венгерской: «*Это ничего, что голос естественного права облечен тут в форму чуда. Таков критерий достоверности в религиозную эпоху. У нас — свой, но нашей защитницей против казуистики природа быть не перестанет*» (III, 173). Казуистика здесь — инструмент тирании.

[47] М. В. Юдина, впрочем, по-настоящему, как в «религиозную эпоху», боялась этого Мефистофеля и находила его красноречие, «порой гениальное», опасным (см.: X, 13). Несомненный ореол жути происходящего (читатель немецкого текста «Фауста» переживает его сильнее) связан, по моему впечатлению, не с самой этой фигурой, плоской и гаерской, а, скорее всего, с общим ритмом действия, с нарастанием плененности и ослепления героя.

[48] Комментарии к «Фаусту», которые хотел сделать сам Пастернак, раскрыли бы нам, вероятно, это его удивительное прочтение. Но в такой работе пере-

водчику было отказано, о чем он с горечью не раз говорит в письмах этого времени: такого рода вещи поручались идейно-зрелым людям.

[49] Впрочем, не менее удивительна пастернаковская характеристика «Записок Мальте Лауридса Бригге» (наиболее экспрессионистского из сочинений Рильке) как «*изложения спокойного и естественного*»!

[50] Естественно, Гете и его «Фауст» — не единственный, говоря структуралистским языком, «код» «Доктора Живаго». Мне уже приходилось писать о конструктивной дмя общей композиции романа тексте православной Панихиды, к которой отсылает первая же фраза повествования (см. *Седакова О.* «Вечная память». Литургическое богословие смерти. — «Страницы» (альманах), т. 8, М., 2003). В роман впадают многие истоки, европейские и русские, и прослеживать судьбу каждого из них в ткани романа чрезвычайно интересно (как это сделал, например, датский славист Петер Йенсен со «Снежной королевой» Г.-К. Андерсена). Интересно и сопоставление с «Идиотом» Достоевского, — см. мою работу: Неудавшаяся епифания. Два христианских романа, «Идиот» и «Доктор Живаго». — «Континент», 2002, № 112.

[51] В одном из писем (З. Ф. Руофф, 1947 год) Пастернак указывает на эту связь: «*Время, обнимаемое романом, 1902–1945 г., по духу это нечто среднее между Карамазовыми и Вильгельмом Мейстером*» (IX, 492). Впрочем, в других письмах Пастернак намечает другие параллели: в письме той же корреспондентке в 1955 г. «*в немецких измерительных единицах*» он располагает свой роман между Рильке, Е.-П. Якобсеном и Г. Келлером (X, 115).

[52] *Сказка* у Пастернака — не формальная, а смысловая категория. Так он видит состав мира. Ср. в письме Н. Табидзе 1946 года: «*Ах, Нина, если бы людям дали волю, какое бы это было чудо, какое счастье! Я все время не могу избавиться от ощущения* ***действительности, как попранной сказки***» (IX, 480). О второй книге романа Пастернак прямо пишет: «*Я действительность, то есть совокупность совершающегося, помещаю еще дальше от общепринятого плана, чем в первой, почти на границе сказки*» (X, 56).

[53] Письмо Ст. Спенсеру 22 августа 1959 (X, 523). Не напоминает ли этот «тент или занавес» «живое платье божества», которое у Гете ткет земной дух? Подобным образом Пастернак говорит о своем символизме в других письмах (см. X, 379, 477, 482, 485, 489, 494). Нельзя не заметить, что все эти письма, раскрывающие важнейшие творческие темы, Пастернак отправляет своим европейским корреспондентам, переводчикам, критикам и просто читателям, писателям и поэтам, новым друзьям: Дж. Харрису, Ю.-М. Кайдену, Ж. де Пруайар, Э. Пельтье, Ренате Швейцер, Бригитте Фишер, А. Камю, Т. С. Элиоту, А.-М. Рипеллино... «*Роман вокруг романа*», «*непринужденный, задушевный и важный разговор*» с достойнейшими людьми эпохи «*в далеком мире*» (X, 509), который подарили Пастернаку последние годы, составляет фантастический контраст поистине дьявольскому разрыву диалога с соотечественниками и особенно с «коллегами» литераторами на родине. Эти важнейшие мысли часто выражены на других языках — немецком, французском, английском, и Пастернак не раз сетует, что чужой язык не позволяет ему высказать все удовлетворяющим образом. Но кому он мог бы писать это по-русски? Нине Табидзе, грузинским поэтам, сестрам в Оксфорд, старым русским эмигрантам. Пониманию, почтению, готовности слушать, которое обнаружил «дальний

мир», российская словесность обязана возникновению последнего великого опуса Пастернака — его эпистолярия последних лет, нового жанра, художественный статус которого он сам, вероятно, не оценил. Следующий шаг Пастернак предполагал сделать в форме пьесы. Но жанр послания — такого, своего рода соборного послания, которое адресаты читают другим и переписывают для других, куда новее! Эту жанровую новацию оценил Б. Зайцев, написавший Пастернаку, что его письма *составляют «конкуренцию Петрарке»* (X, 470).

[54] X, 490. В попытке анализа «Ночного дозора» я пыталась показать, что этот ветер, уносящий все движение полотна, изображен на самой картине — в странном образе «маркитантки». — *Седакова О.* Рембрандт. «Ночной дозор». 1642. Из «Писем о Рембрандте». — Сб. Дозор как симптом. М., 2006.

[55] В том смысле, в каком Гете говорит, что его «прарастение» — растение символическое (а отнюдь не «идея растения», как подсказывает ему Шиллер) потому, что оно присутствует в каждом растении как его изначальная формообразующая форма, forma formans.

[56] Эта идея о человеке как существе в первую очередь познающем перекликается со святоотеческой антропологической мыслью о праведной жизни как бессмертном гнозисе: «*человек молитвы, для которого познание тождественно жизни, а жизнь — бессмертию...*» — *Клеман О.* Истоки. Богословие отцов Древней Церкви. Тексты и комментарии. М., 1994. С. 227 (в дальнейших ссылках — Истоки).

[57] IV, 283. Чтобы понять эту фразу так, как она сказана, нужно постараться не услышать в имени Фауст всего привычного для нас «демонического» антуража.

[58] «*Для того чтобы составить эпоху в истории... необходимы два условия: первое — иметь недюжинный ум и второе — получить великое наследство.* ***Наполеон*** *унаследовал Французскую революцию,* ***Фридрих Великий*** *— Силезскую войну,* ***Лютер*** *— поповское мракобесие, а мне в наследство досталась ошибка в учении Ньютона*». — *Эккерман.* С. 127.

[59] О христианстве: «*Этот праздник, это избавление от чертовщины посредственности, этот взлет над скудоумием будней...*» (IV, 124).

[60] Письмо Ж. де Пруайяр от 17 апреля 1959 года (X, 463).

[61] Типическим Пастернак называет то, что хочет занять заранее установленные места: стать, допустим, «ученым» или кем угодно еще, исходя из того, как эта позиция понимается в данный момент.

[62] Слово «успех», в отличие от М. Цветаевой, Пастернак понимает не в противопоставлении глаголу «успеть», а как прямое образование от него. Вообще говоря, необходимо было бы составить какой-то общепонятийный словарь Пастернака, употребляющего общеизвестные слова (как «душа» и «совесть», о которых мы говорили) в несколько другом, «первом» смысле.

[63] «*Ах, Нина, если бы людям дали волю, какое бы это было чудо, какое счастье! Я все время не могу избавиться от ощущения* ***действительности, как попранной сказки***» (IX, 480).

[64] Стенографическая запись авторского предисловия перед домашним чтением глав из романа, сделанная Лидией Чуковской (V, 167–168).

[65] Е. Б. и Е. В. Пастернаки, комментируя первый законченный прозаический опыт Пастернака, «Апеллесову пяту», проницательно отмечают в ней раннее эхо этого гамлетовского «выхода на подмостки»: «*Да, это снова подмостки. Но отчего бы и не позволить мне побыть немного в полосе полного освещения? Ведь не я виной тому, что в жизни сильнее всего освещаются опасные места: мосты и переходы. Какая резкость! Все остальное погружено во мрак. На таком мосту, пускай это будут и подмостки, человек вспыхивает, озаренный тревожными огнями... на его освещение людьми была потрачена бездна огня...*» (III, 15–16, 540).

[66] Сам Пастернак в этом же смысле знает, что его поздние годы не увидены: «*Вероятнее всего, через много лет после того, как я умру, выяснится, какими широкими, широчайшими основаниями направлялась моя деятельность последних лет, чем она дышала и питалась, чему служила*» (X, 326).

[67] Ср. шутливое уподобление Творения режиссерской постановке в стихотворном посвящении Вс. Мейерхольду (I, 215).

[68] «*...А для меня самое главное то, что Христос говорит притчами из быта, поясняя истину светом повседневности*» (IV, 44).

[69] Ср.: *Крыши городов дорогой,*
Каждой хижины лицо,
Каждый тополь у порога
Будут знать тебя в лицо («Художник»).

[70] Напомним, что история, в мысли Пастернака, есть развернутый во времени Апокалипсис. Она начинается с Рождества Христова, она «основана Христом». «*Истории в этом смысле не было у древних. <...> Только после него началась жизнь в потомстве, и человек умирает не на улице под собором, а у себя в истории, в разгаре работ, посвященных преодолению смерти, умирает, сам посвященный этой теме*» (IV, 13). Поэтому *историческим* событием является всякое проявление дара, в то время как «переделка земного шара» — пустяки, не стоящие внимания, как говорит Доктор Ларе. В августиновских категориях, историей по Пастернаку является только история Града Божия. Но этот Град, неожиданным образом, не вынесен из истории, а историчен! Он собирается в ходе истории, с помощью времени и памяти (см. выше). Говоря в гетевских образах, он ткется на свистящем ткацком стане времени. Точно так же собирается «лирическая истина»: «*будто именно в лице лирической истины постепенно складывается человечество из поколений*» (III, 179).

[71] «...Созданный самой жизнью и наяву рождающийся роман вокруг романа — непередаваемо большое и праздничное испытание, окутанное печалью, как все большое в действительной жизни». К. Вольфу (X,. 392).

[72] *Но сейчас идет другая драма,*
И на этот раз меня уволь («Гамлет»).

[73] Эту «*постоянно невысказанную параллель*» Пастернак открывает в письмах своим зарубежным корреспондентам — М. Роджерс и Б. Зайцеву. «*Основным духом моих опытов или стремлений (никакой философии у меня нет) стало понимание искусства или творческого воплощения и вдохновения как жертвы сосредоточенного самоотвержения, в далеком и скромном подобии Тайной вечери и Евхаристии...*» (X, 412, 469). Параллель искусства и Страстей возникала у него уже в «Охранной грамоте» в связи с ранним Маяковским. Био-

графическое столкновение со «злом посредственности», которое «*пахнет кровью*» и от которого Пастернак как будто отказался со времени своего дебюта, настиг его. «*Замысел упрямый*»! Но произошло это столкновение совсем, совсем иначе, чем в монологическом романтизме.

[74] Героиня Пастернака, которая, как замечает автор, «не была религиозна», тем не менее ожидает того же, что Маргарита: «*что вот теперь земля расступится под ней и обрушатся церковные своды*». Но случается противоположное: Лара слышит — в будничном машинальном чтении — Заповеди блаженств и неожиданно понимает их как слова о себе. «*Это про нее. Он говорит: завидна участь растоптанных. Им есть что рассказать о себе. У них все впереди. Так он считал. Это Христово мнение*» (IV, 50–51).

[75] См. об этом подробнее: «Счастливая тревога глубины». Речь при вручении Соловьевской премии. — *Седакова О.* Музыка. Стихи и проза. М., 2006.

[76] Приходится заметить, что главный, «рациональный» аргумент этого решения — все предпринято ради спасения ребенка — не обладает силой *сказочной* мотивации. Герой сказки действует иначе. Аргумент такого рода в сказке и в трагедии (то есть в действии символическом) могут употреблять второстепенные, противодействующие общему движению событий персонажи типа Кормилицы или Друга Героя, которые ведут в сюжете партию «обыденного здравого смысла», недейственного в области *рокового*. Не то чтобы герой трагедии и сказки непременно детоубийца, как Медея. Тем не менее мы не вспомним символического героя, который действовал бы в целях спасения собственных детей. Удивительно, но этот, такой глубоко человечный мотив никогда не был и, похоже, просто не может быть сказочным и символичным, зато противоположное — принесение детей в жертву — известно во множестве вариаций (начиная с истории Авраама). Как будто в символическом пространстве, в «жизни гениализированной», словами Пастернака, человек рождает детей не для того, чтобы их мирно растить и беречь, — но только чтобы принести их в жертву.

[77] Последняя, предсмертная волна вдохновения Юрия Андреевича Живаго тоже связана с его выбором гибели, отказом от попыток найти возможность уехать к своим из гибельной России (возможность в это время еще реальную, как показывают судьбы других героев романа, как мадмуазель Флери из Мелюзеева, которая на пути за выездною визою «обогнала Живаго и пережила его» (IV, 489). Возможность эмиграции как спасения — не отвлеченная тема для Пастернака (как и для Ахматовой).

[78] III, 216 (с исправленной орфографией, с заглавными буквами).

[79] «*Какое счастье работать на себя и семью с зари до зари, сооружать кров, возделывать землю. В заботе о пропитании, создавать свой мир, подобно Робинзону, подражая творцу в сотворении вселенной, вслед за родною матерью производя себя вновь и вновь на свет!*» (IV, 276).

[80] Вспоминая великую мысль Гете о том, что идея совпадает с явлением только в высшем и в самом обыденном («*Лишь в высшем и самом обыденном идея совпадает с явлением; на всех средних ступенях опыта они разлучаются. Высшее — это созерцание различного как идентичного; самое обыденное — поступок, активное соединение разделенного в идентичное*», — цит. по: *Канаев*), мы можем сказать, что здесь «*самое обыденное*», поступок, в данном слу-

чае не совершается. А такой поступок, «*сводящий разделенное в идентичное*», и есть по существу обыденная святость.

[81] «Спекторский» (II, 28). Ср. ту же тему поэзии как силы, освобождающей от бремени и несвободы, у Гете («Поэзия и правда», ч. 3, гл. 13).

[82] Сам по себе мотив *болящего духа*, который *врачует песнопенье*, не может не вызвать в памяти библейского эпизода, в котором юный Давид поет и исцеляет пением «болящий дух» царя Саула. Имеет ли это в виду Баратынский? Но стихи его недвусмысленно говорят о другом исцелении.

[83] «Книга космоса ("первая Библия", св. Августин) и книга Писания соответствуют друг другу, ибо у них один Автор. Обе окончательно раскрываются во Христе, который написал их, а затем сделал Своим телом и ликом. Воплощенный Логос сосредоточивает и освобождает немую речь сущего, речь мира как logos alogos (бессловесного слова)».

[84] «*Он* (воздух окрестной шири. — *О. С.*) *был роднее отца и матери, лучше возлюбленного и умнее книги... смысл существования опять открывался Ларе. Она здесь для того, чтобы разобраться в сумасшедшей прелести земли и все назвать по имени, а если это будет ей не по силам, родить себе преемников*» (IV, 76).

[85] IV, 424. Лариса также и «представительница» России. Эта ее символика первостепенна для ее мужа Антипова-Стрельникова. Свеча Лары, ставшая для художника Живаго «*ключом проникновения во все на свете*», для Антипова-Стрельникова была началом самосожженья в «мировом пожаре» русской революции. Подробнее о Ларе см. мою работу: «Беатриче, Лаура, Лара: Прощание с Проводницей». — *Седакова О.* Музыка.

[86] Так же, между прочим, у Мандельштама:

И я сопровождал восторг вселенский,
Как вполголосая органная игра
Сопровождает голос женский.

[87] Это слово — «срослась» — вызывает в памяти образ сотворения Евы: как будто вынутое ребро вновь прирастает.

[88] Фамилия, которая читается как родительный падеж, — в то время как несклоняемая фамилия Люверс в названии повести «Детство Люверс» позволяет читать себя как само имя детства: детство по имени Люверс.

[89] «*Ведь только раз в вечность случается такая небывальщина... И как все растерянно-огромны! Вы заметили? Как будто каждый подавлен самим собою, своим открывшимся богатырством... море жизни, море самобытности*» (IV,145–146).

[90] IV, 146. «*За своим плачем по Ларе он оплакивал то далекое лето в Мелюзееве, когда революция была тогдашним с неба на землю сошедшим богом, богом того лета, и каждый сумасшествовал по-своему, и жизнь каждого существовала само по себе, а не пояснительно-иллюстративно, в подтверждение правоты высшей политики*» (IV, 452). Тождество бунтаря и тирана очевидно для Пастернака: «*А старший был мятежник, то есть деспот*» («Спекторский»). Освобождающей силой обладает только «*человек созидательного склада*»: «*Предвестьем льгот приходит гений*» («Высокая болезнь»).

[91] «*А счастье и одаренность — одно и то же*» (X, 164).

[92] Конец его монолога, признаемся, страшновато цитировать: «Fluch sei der Hoffnung! /Fluch denn Glauben, /Und Fluch vor allen der Geduld!».

[93] Все цитаты из естественно-научных трудов Гете приводятся по книге Канаева (см. выше). Некоторые переводы цитат Гете, приводимые Канаевым, сверены с оригиналом или другими русскими переводами и немного изменены.

[94] X, 332. Это описание «внушенности» романа повторяется и в других письмах.

[95] Эккерман. С. 105–106.

[96] IV, 336. И далее — совсем по-гетевски: «*Для них существование — это комок грубого, не облагороженного их прикосновением материала, нуждающегося в обработке. А материалом, веществом жизнь никогда не бывает. <...> она сама вечно себя переделывает и претворяет, она сама куда выше наших с вами тупоумных теорий*». Оппоненты Доктора назовут такую стратегию отношений с жизнью — «плыть по течению». По-гетевски это называется — «падать вверх».

[97] «*Все подходит и присоединяется (имеется в виду к принятым гипотезам), ибо у меня нет системы, и я ничего не хочу кроме правды ради нее самой*».

[98] «*Я себя совершенно не знаю, такое чрезмерное значение имеет власть моей души надо мной и над всем, что со мной происходит*» (X, 163).

[99] Собственную связь с «высшими силами» поздний Пастернак описывает в более привычных церковных образах: прямо переживаемое им присутствие Ангела Хранителя, особое покровительство Вышней воли (письма 1954–1960 годов).

[100] «*...Единственное, что я ношу в себе настолько физически, со всей страстью и по-земному. Это горсть русской земли и то, что, кажется, хотел от нас Христос*». Ж. де Пруайяр, 3–4 августа 1958 года (X, 367).

[101] Впрочем, за исключением Сталина, который имел какие-то идеи о «небожителе» Пастернаке, — может быть, как раз потому, что всерьез не знал русской культуры, в которой таких мест не предусмотрено.

[102] См. мою работу «Под небом насилия» — Континент, № 137, 2008. Юродивый, как известно, в русской истории всегда был единственным голосом, которой не только сопротивлялся тирану, присвоившему себе божественные полномочия, но и внутренне побеждал его в открытом пространстве, перед зрителями (см. хотя бы истории об Иване Грозном или сцену с юродивым в «Борисе Годунове»), как в Библии это делает Пророк. Особенность советской тирании в том, что и эта вакансия — место юродивого — была упразднена.

[103] Письмо К. Кулиеву от 10 августа 1953 года, ввиду выхода в свет полного перевода «Фауста» (IX, 739).

[104] «*...Тут* (в мысли о связности всего целого, как в проповедях Дж. Донна, с которыми его сравнивает корреспондент, Дж. Харрис. — *О. С.) выявляется моя скрытая, невысказанная философия*» (X, 492).

[105] О философском субстрате лирического слова Пастернака хорошо помнит Л. Флейшман: «*В русской поэзии XX века Пастернак — наиболее "философский" поэт. Философия выступает в его творчестве не всегда и не обяза-*

тельно как тема, но неизменно как опыт работы со словом, как способ, логика развертывания словесного материала <...> Именно в этой особенности таятся специфические трудности анализа творчества всего раннего периода Пастернака». — Флейшман. С. 398.

[106] «*Книжки содержали философию Юрия Андреевича, изложение его медицинских взглядов, его определения здоровья и нездоровья, мысли о трансформизме и эволюции, о личности как биологической основе организма, соображения Юрия Андреевича об истории и религии, близкие дядиным и Симушкиным, очерки пугачевских мест, где побывал доктор, стихи Юрия Андреевича и рассказы*» (IV, 472).

[107] Ситуации какой-то роковой невозможности диалога в романе (многочисленные и повторяющиеся) достойны отдельного рассмотрения. Распад общения, который они передают, не менее вопиющ, чем в театре абсурда, сосредоточенном исключительно на этом явлении, но заключается он в другом. Собеседник не то чтобы не слышит того, что произносит другой (как у абсурдистов), а наоборот: он слишком хорошо его слышит, слышит наперед. Типичный обмен репликами в таком разорванном диалоге: «*— А, вы думаете, что наоборот? Мир спасет красота, мистерии и тому подобное, Розанов и Достоевский? — Погодите, я сам скажу, что я думаю*» [IV, 43] (из разговора Николая Николаевича с толстовцем, первым в романе представителем «готового сознания». Потом такими окажутся все). Слушатель ведет себя как программа «интеллектуального ввода текста» в телефоне: он мгновенно додумывает то, что ему собираются сообщить, оперируя своим тезаурусом (слушатель этот, как правило, индоктринированный), так что на месте мысли Николая Николаевича оказываются декадентские «фавны и ненюфары» и прочие заведомые глупости. Он лишает собеседника авторства, сначала и до конца. Это мучение невозможности сообщить собеседнику что-то кроме того, в чем он и так уверен, одно из постоянных мучений советской жизни, прекрасно описано в «Козлиной песни» К. Вагинова. Здесь мы видим одно из важнейших последствий действия «чертовщины посредственности»: абсолютный раскол человеческого общения (ср. diabolos, раскольник), абсолютная невозможность *восприятия*. Символ разорванного диалога в романе — беседа Живаго с глухонемым, который понимает речь собеседника только при свете. В сценах бесед Живаго и Веденяпина с окружающими — и самого Пастернака, автора романа и стихов, со своими советскими критиками — свет этот явно выключен.

[108] Д. Ийешу. 7 августа 1956 (X, 157).

[109] «*...Искусство не название разряда или области, обнимающей необозримое множество понятий и разветвляющихся явлений, но наоборот, нечто узкое и сосредоточенное, обозначение начала, входящего в состав художественного произведения, название примененной в нем силы или разработанной истины... Это какая-то мысль, какое-то утверждение о жизни, по всеохватывающей своей широте на отдельные слова не разложимое*» (IV, 281).

[110] См. мою работу: «Вакансия поэта»: к поэтологии Пастернака. — *Седакова О.* Музыка.

[111] Ср. письма Пастернака 1917 года (родителям) — и 1958 года (Вяч. Иванову). В первом: «*Стихотворений на свете так мало, что поэзия была бы Ко и*

нор'ом (имеется в виду знаменитый алмаз Кохинор. — *О. С.*), *не пучься она от изобильного множества стишков*» (VII, 322). И во втором: «*...Многочисленность занимающихся искусством есть как раз отрицательная и бедственная предпосылка для того, чтобы кто-то один неизвестно кто, наиболее совестливый и стыдливый, искупал их множество своей единственностью и общедоступность их легких наслаждений — каторжной плодотворностью своего страдания*» (X, 349–350).

[112] Цит. по: *Канаев.* С. 182.

[113] «*Не занимайся я природоведением, я бы так и не научился досконально узнавать людей. Ни одна другая область знаний не позволяет так проследить за чистотой созерцания и помыслов, за заблуждениями чувств и рассудка, за слабостью характера, и его силой...*». — Эккерман. С. 287.

[114] Вот его мысли, усвоенные и пересказанные Эккерманом: исследование природы «*изгоняет из души все грубое, лживое, эгоистическое, иначе чистая и подлинная природа отвергнет их* (людей. — *О. С.*). *Между тем они предпочитают с неумеренным рвением заниматься поэзией и сверхчувственными тайнами, то есть тем субъективным и податливым, что не предъявляет к человеку никаких требований* (ср. у Пастернака об «*общедоступности легких наслаждений*» плохих стихотворцев. — *О. С.*). *В поэзии на пользу человеку идет лишь истинно великое и чистое, что является как бы второй природой и либо поднимает нас до себя, либо презрительно отворачивается. Несовершенная поэзия, напротив, усугубляет наши недостатки*». — Эккерман. С. 408–409.

[115] Цит. по: *Канаев.* С. 75.

[116] «Генрих фон Клейст. Об аскетике в культуре» (V, 299-300).

[117] А.-М. Рипеллино. 17 августа 1956 (X, 166–167). См тж.: «*Я невежда в современных точных науках. Но простым чутьем мне кажется, что мой способ восприятия жизни... соответствует состоянию и направлению современной логики, физики и математики*». Ж. де Пруайяр. 20 мая 1959 (X, . 489).

[118] Кстати, тема взгляда, художника как видимого героя («*Выхожу я в путь, открытый взорам*») и как «свидетеля необходимого», очень важны у Блока. См. мою работу: «В поисках "взора". Италия на пути Блока». — *Седакова О.* Музыка.

[119] Nichts ist drinnen, nichts ist draussen:
Denn was innen, das ist aussen («Epirrhema»).

(*Ничто не внешне, ничто не внутренне:*
Ибо то, что внутри,— оно снаружи).

[120] Убеждение в первоначальности зрения, — ведь оно имеет дело со светом, — выражено, к примеру, в такой шутливой программе Гете: «*Нам следовало бы меньше говорить и больше рисовать*».

[121] О силе желания, которому отвечает бессмертие, мы говорили выше. В силе желать Пастернак видит величие Фауста.

[122] Freuet euch des wahren Scheins,
Euch des ernsten Spieles:
Kein Lebendiges ist ein Eins,
Immer ist's ein Vieles («Epirrhema»).

(*Наслаждайтесь истинной кажимостью,*
Серьезной игрой:
Ничто живое не единица,
Оно всегда — множество).

[123] «*Пусть другие чтят того, кто дал корм скоту, а человеку вдосталь еды и питься. Я же чту того, кто одарил мир такою животворящей силой... Таков* ***мой*** *Бог*». — *Эккерман*. С. 404. Иначе говоря, Творец сообщает созданию собственную творящую силу, а не создает пустые «объекты», о которых потом «заботится».

[124] Из статьи В. Ермилова «За социалистический реализм» («Правда», 3 июня 1954), где таким образом характеризуются стихи «Свадьба» — по самым поверхностным приметам, одно из самых «народных» и радостных стихотворений Пастернака! Цит. по: X, 50. Потомки этих потомков будут бороться уже за чистоту другого учения и говорить о еретичности и неправославии пастернаковского христианства. Другие, «прогрессивные» потомки потомков будут видеть в письме «Доктора Живаго» соцреализм. Это мы уже слышали и слышим. Утешает мысль о том, что того, что будут говорить потомки этих потомков, нам услышать уже скорее всего не придется. А те горемыки, кому этого не избежать, найдут, как всегда, куда от этого деться: хотя бы в чтение Гете и Пастернака, в общение с созидательной стихией «избирательного сродства», с океаном благоволения.

[125] Ср. хотя бы такое рассуждение о форме у Гете: «*Форма есть нечто подвижное, становящееся, исчезающее. Учение о формах есть учение о превращениях. Учение о метаморфозе — ключ ко всем обнаружениям* (Zeichen) *природы*». А также: «*В форме заключена ее история*». Иначе говоря, форма совпадает с тем, что теперь называют парадигмой! (цит. по: *Канаев*. С. 274–275). Многочисленные размышления Пастернака о форме постоянно отмечают ее невольный, стихийный характер. Форму не конструируют, в нее попадают. Она проистекает из зрения, как выводы из мысли. Она символична, потому что оказывается формулой целой эпохи (ср. о пушкинских двудольниках и некрасовских трехдольниках как о портретах двух русских эпох).

[126] «*Эти размышления и записи тоже приносили ему счастье, такое трагическое и полное слез, что от него уставала и болела голова*» (IV, 452).

[127] Можно увидеть близость к такого рода познанию, к метанауке, в проекте структурализма, или «московско-тартуской семиотической школы», где место гетевской *формы* занимает идея *знака*. Но семиотика принципиально ограничена областью человеческой культуры, языка и построенных на основании языка знаковых систем, так что к исследованию природы, «бессловесного слова», мира незнакового, она иметь отношения не может. Напротив, она может замечательно показывать, как природное преобразуется в знаковое. Другая идея цельного знания, отчасти близкого гетевскому, вдохновляла гениальные интуиции о. Павла Флоренского. Это знание в замысле должно было бы стать развернутой космодицеей.

[128] Мы говорили выше о пастернаковской *жалости* на месте дантовской *Любви* как о русской версии «космодицеи». К этому сдвигу толкает сам русский язык, в котором глагол «жалеть» значит «любить». Но, тем не менее, представление о Боге-Жалости (причем жалости материнской), о жалости

как даре Духа Святого и о Христе как воплощенной Жалости не ограничено рамками какой-то одной культуры. Это вечное прозрение и, несомненно, связанное с библейским истоком (с представлением о «милующей утробе»). С него, как с божественного центра мира (и, соответственно, центра человеческой личности), начинает свое описание мироздания Хильдегарда в своем «духовном путеводителе» «Scivias»: глупец — это тот, «*у кого нет материнского сострадания. Каждый, у кого его нет, умирает от жажды*». При условии, что человек смотрит на мир «*с доверительным состраданием*», он может видеть творение как теофанию. Через 140 лет Хильдегарду повторяет Мейстер Экхардт: «*Вы можете именовать Бога любовью, можете именовать Его благом; но лучшее имя Бога — сострадание*» («Проповеди»). Цит. по: «Illuminations of Hildegard of Bingen». Text by Hildegard of Bingen with commentary by Natthew Fox, O. P., Bear & Company, Santa Fe, New Mexico, 1985. P. 24.

[129] Ср. его (на этот раз серьезное) противостояние христианству: христиане, говорит он, хотят превратить весь мир в госпиталь, где больные ухаживают за больными.

[130] Свой дом в дальнейшем предоставила Гете антропософия (в этом духе пишет о Гете К. Свасьян), но можно предположить, что Гете думал о каком-то другом жилище.

[131] IV, 405. Ср. у Гете: «*Не брать природу разрозненно и по частям, а представлять ее действующей и живой, стремящейся от целого к частям*».

[132] «*Фигурой всей своей тяги (к общему) и символично искусство*».

[133] Ср. в дневнике Живаго о пушкинском четырехстопном ямбе: он «*явился какой-то измерительной единицей русской жизни, ее линейной мерой, точно он был меркой, снятой со всего русского существования подобно тому, как обрисовывают форму ноги для сапожной выкройки или называют номер перчатки для приискания по руке, впору*» (IV, 283).

[134] Истоки. С. 215.

[135] Ср. замечательную максиму Пастернака: «*Нравственности учит вкус, вкусу же учит сила*» (III, 179).

[136] Гете, связывая собственный интерес к законам и правилам в живописи с отсутствием природного таланта в этой области, сравнивает «компенсирующую религиозность» с употреблением «рассудка и понимания» в искусстве, которые должны «*заполнить пробелы, которые оставила в нас природа*». — «Исповедь автора». «Религиозность», таким образом, компенсирует недостаток безотчетного, «гениального» чувства жизни и ее таинственной основы. Молодой Пастернак предъявляет иск «создателям религий»:

Зачем же, земские ярыги
И полицейские крючки,
Вы обнесли стеной религий
Отца и мастера тоски?
Зачем вы выдумали послух,
Безбожие и ханжество,
Когда он лишь меньшой из взрослых
И сверстник сердца моего («Баллада», 1916, 1928).

«Религии» в образности этих строф связаны не только с душевной бесталанностью (как у Гете), но еще и с примитивно-государственным, бюрократическим и полицейским началом (этого мотива у Гете не слышно). В свои поздние исповеднические христианские годы Пастернак не переменил мнения о «стене религий». С этим, вероятно, связано недоразумение, которое Пастернак обсуждает в переписке с Ж. Пруайяр, когда во французском «Expresse» интервью с ним было опубликовано под названием «Я почти атеист» (Х. С. 405, 407). Де Пруайяр, практикующая христианка, прекрасно понимает разницу между верой и религиозностью, их почти противоположность (как это понимает и Дитрих Бонхёффер). Для внешнего суждения такого различия не существует, и единственной альтернативой «религиозного» оказывается «атеизм» (или «релятивизм», как в статье «Борис Пастернак и христианство» (*Флейшман.* С. 731-743). На все положения, высказанные в этой удивительной статье, можно было бы ответить, но лучше этого не начинать: перед нами типичный случай «разорванного диалога»).

[137] Обратим внимание на это, в духе античной мысли, неморалистское понимание «этического» как природного человеческой психики.

[138] Цит. по: *Канаев.* С. 192–193.

[139] Характерная реплика Канцлера во Второй Части «Фауста»:

Natur und Geist – so spricht man nicht zu Christen.
Deshalb verbrennt man Atheisten,
Weil solche Reden hochst gefahrlich sind.

(*Природа и дух (ум) — об этом не говорят христианам.*
Потому-то и жгут атеистов,
Ибо таковые разговоры крайне опасны).

— «Дух и природа — не для христиан» (пер. Б. Пастернака).

[140] Здесь это красота какой-то утробной верности Христу и отречения от сатаны, которая остается живой в уже утратившей разум душе, — и ответная красота свышнего милосердия. Такого мотива мы у Пастернака не встретим.

[141] Однако не Widerchrist (противник христианства) и не Unchrist (опровергатель христианства). — См.: *Канаев.* С. 35.

[142] *Эккерман.* С. 639.

[143] Гениальный перевод, — при том что буквалистской точности здесь искать бесполезно! И в переводческом труде Пастернак остается верным своей теме *силы*: главное, что должен передать перевод, по его словам, — это *силу* оригинального текста (V, 52).

[144] Карандашная рукопись (IV, 557). В окончательном тексте романа отношения нового искусства и нового христианства изложены в обращенном порядке: «*Душою этих книг было по-новому понятое христианство, **их прямым следствием** — новая идея искусства*» (IV, 67).

[145] Ср. одно из многих высказываний Пушкина на этот счет:

Затем что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона.

[146] В сцене маскарада из Второй части «Фауста» Гете предлагает символ поэта — возницы бога богатства Плутона, разбрасывающего дары:

Bin ich Verschwendung, bin ich Poesie.
Bin der Poet der sich vollendet
Wenn er sein eigenst Gut verschwendet.

Буквально:

Я расточительство, я поэзия.
Я поэт, который исполняется тогда,
Когда он все самое свое расточает.

Как по-пастернаковски это звучит! А вот перевод:

Я — творчество, я — мотовство,
Поэт, который достигает
Высот, когда он расточает
Все собственное существо.

[147] См. последние строфы стихотворения «В больнице»:

О Боже, волнения слезы
Мешают мне видеть Тебя.
Мне сладко при свете неярком,
Чуть падающем на кровать,
Себя и свой жребий подарком
Бесценным Твоим сознавать.
Кончаясь в больничной постели,
Я чувствую рук Твоих жар.
Ты держишь меня, как изделье,
И прячешь, как перстень, в футляр.

[148] III, 186. Это чувство, как мы знаем из стихов, обладает царственной властью:

Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба.

[149] Цит. по: *Канаев.* С. 358–359.

[150] Выслушав рассказ о прарастении (оно же «символическое растение»). Шиллер заметил: «Это не опыт, это идея». Гете отвечал: «Мне может быть только приятно, что я имею идеи, не зная этого, и даже вижу их глазами». — *Канаев.* С. 100.

[151] *Неописуемо высокие созданья*
Великолепны, как в первый день;
И все твои высокие созданья
Великолепны, как в первый день.

[152] См. письмо К. Г. Локсу 28 января 1917 года (VIII, 315). Оригинальность и здесь — в смысле первичности.

[153] Ср. мысль В. Бибихина (в курсе лекций по древнейшей индийской поэзии) о том, что гимн, дифирамб, хвала есть исторически первый и самый аутентичный род лирики. Стоит помнить и о том, что оригинальное название Псалтыри — Книга Хвалений. «*По-еврейски Книга Псалмов называется, как называлась уже во времена Кумранской общины, Книгой Хвалений (sefer tehillim)*». — *Аверинцев С.* Вслушиваясь в слово: три действия в начальном стихе Первого Псалма — три ступени зла. — Псалмы Давидовы. Перевод С. С. Аверинцева. Киев, 2003.

[154] Письмо Ст. Спендеру (X, 523–524).

[155] Гете (рассказывая историю своих ботанических занятий!) называет Шекспира первым среди трех определивших его отношение к миру мыслителей (Шекспир, Спиноза, Линней). Исключительным значением обладает Шекспир и для Пастернака.

[156] «*Такою и должна быть жизнь. Она должна быть трагедией полноты, трагедией производительности и счастья*». Письмо Л. Слейтер, 1956 (X,183). «*Трагизм жизни — ее естественная закономерность, она должна быть трагической, чтобы быть реальной. Когда потом над ее свидетельствами проливаешь слезы, то это не оттого, что в ней незадачливо стеклись обстоятельства, а оттого, что она дорого стоила. Плакать заставляет ее значительность*». Ж. Л. Пастернак. 12–16 мая 1958 (X, 321).

[157] См. прим. Е. Б. Пастернака о quinta essentia (V, 521).

[158] Другой род дифирамбизма и восприятия человеческой культуры как пятой стихии мы видим в О. Мандельштаме:

Нам четырех стихий приязненно господство,
Но создал пятую свободный человек.

Разница в том, что человек в мысли Пастернака не столько «создает» пятую стихию, сколько сам ей является.

[159] Цит. по: *Канаев*. С. 274.

[160] Цит. по: *Канаев*. С. 188.

[161] Гете имеет в виду, что в цветах мы видим разного рода столкновения света с темнотой, в которой свет «страдает».

[162] *Канаев*. С. 310.

[163] Изложенное в сочинении Гердера: «Бог. Некоторые разговоры о системе Спинозы», 1787.

[164] «*...В духовном мире это мысль, в телесном — движение. Я не знаю, каким общим словом можно было бы их охватить без насилия, если не понятием сила*». Цит. по: *Канаев*. С. 159.

[165] Гете говорит, что он на стороне обыденного рассудка — против философии, которая «*никогда не доходит до объекта*». «*Она* (критическая и идеалистическая философия. — *О. С.*) *никогда не доходит до объекта, это мы должны признать вместе с обыденным человеческим рассудком...*» «*Всегда хорошо оставаться в естественном философском состоянии*» (цит. по: *Канаев*. С. 140). Похожим образом мимоходом высказывается о философии Лара, к удовольствию Живаго: заниматься философией — все равно что есть одни приправы. «*Естественное философское настроение*» иначе можно назвать «мудростью», и в определенном сотношении она противопоставлена философии: ср. «*он* (Гете. — *О. С.*) *был слишком мудр, чтобы стать философом в обычном смысле*» (слова философа Г. Сантаяны).

[166] Цит. по: *Канаев*. С. 140.

[167] Цит. по: *Канаев*. С. 143.

[168] «*Ищу* божественное (иначе говоря: себя) in herbis et lapidibus» (цит. по: *Канаев*. С. 157).

[169] Э. Пельтье-Замойской. 19 августа 1958 (X, 375).

[170] «Каждый новый предмет, хорошо рассмотренный, раскрывает в нас новый орган». — «История естествознания». Цит. по: *Канаев*. С. 174.

[171] В так называемых отрицательных зрительных следах (то есть явлении зрению цвета, дополнительного к только что виденному, например, иллюзии голубого после виденного желтого, красного после зеленого) Гете видит «*то молчаливое противоречие, которое вынуждено проявлять все живое, когда ему навязывается какое-то состояние. Так, вдох предполагает выдох, каждая систола — диастолу... Это вечная формула жизни, которая обнаруживается и здесь. Глаз требует светлого после темного...* ***и именно тем показывает свою жизнь, свое право овладеть объектом, что порождает из себя нечто, противоположное объекту***» (выделено мною. — *О. С.*). — *Канаев.* С. 320.

[172] III, 206. Совсем по-гетевски: Первое и последнее, что требуется от гения, — это любовь к правде (Wahrheitsliebe). — Цит. по: *Канаев.* С. 414.

[173] Из писем и разговоров Гете. Цит. по: *Канаев.*. С. 415-416.

[174] *Всегда невероятна роза,*
Неописуем соловей («Западно-восточный диван»).

[175] Ср. *Канаев.* С. 186.

[176] См. об этом подробнее в моей работе «Морализм искусства, или о Зле посредственности». — *Седакова О.* Музыка.

[177] Может показаться, что здесь мы сталкиваемся с существенным отличием Пастернака от Гете. Жертва — как будто слишком христианское и потому не гетевское слово: но вспомним алтарь, изображавший «всю природу» по ярусам, который Гете мальчиком мастерил для некоего жертвоприношения. И хотел зажечь при помощи зажигательного стекла («Поэзия и правда»).

[178] «*Так неуместно и несвоевременно только самое великое*» (IV, 194).

[179] Удивительные строки «Чуда»:

Найдись в это время минута свободы
У листьев, ветвей, и корней, и ствола,
Успели б вмешаться законы природы.

Иначе говоря: проклятие не испепелило бы смоковницу. Их можно понять, только имея в виду эту необходимость свободы для действия законов жизни, сохраняющих живое.

Dac Sein ist ewig: denn Gesetze
Bewahren die lebend'gin Schätze,
Aus welchen sich das All geschmükt.

(*Бытие вечно: ибо законы*
Охраняют живые сокровища,
Которыми украшена Вселенная) «Завещание».

[180] Цит. по: *Канаев.* С. 196.

[181] «*Добро, не добро сделанное, не есть добро*». «...Если нередко побеждает добро и своим явлением исправляет зло, то неправильно думать, что к этому добру привело зло, что добро явилось результатом зла. Это невозможно». *Софроний (Сахаров), архимандрит.* Старец Силуан. М., 2000. С. 161.

[182] Цит. по: *Канаев.* С. 308.

[183] IV, 181. Похожим образом Гете говорит о своем учении о цвете: «*оно старо как мир, и долго его отрицать или замалчивать не удастся*». — *Эккерман.* С. 422.

[184] Речь идет о причинности и телеологии, какими они стали в механистической мысли. Совсем иное понимание причин и целей, телеологическое тепло и каузальное тепло, живое еще в мысли Данте, здесь не обсуждается.

[185] *Эккерман.* С. 234.

[186] Мы вспоминали пушкинский гнев на «поиски целей» в искусстве и природе. «*Зачем арапа своего...*» И множество похожего:

Больше ничего
Не выжмешь из рассказа моего.

Мы вернулись к вопросу: «*Зачем* эта трата мира?»

[187] Ср. удивительное признание: «*Я описывал характеры, положения, подробности и частности с* ***единственной целью: поколебать идею железной причинности и абсолютной обязательности*** (подчеркнуто мною. — *О. С.*); *представить реальность такой, какой я всегда ее видел и переживал; как вдохновенное зрелище невоплощенного, как явление, приводимое в движение свободным выбором; как возможность среди возможностей; как произвольность... Отсюда некоторый оптимизм этой манеры. Понимание бытия не как чего-то порабощающего и разочаровывающего, а как удивительной и освобождающей тайны*». Ж. де Пруайяр, 20 мая 1959 года (X, 490).

[188] *Мысль* в том смысле, как о ней думал Пушкин: «*Где мысль одна плывет в небесной чистоте*».

[189] «*Слова только символичны, только образны...*». Цит. по: *Канаев.* С. 337. Мы помним, что у Пастернака вся ценность искусства в том, что оно «только символично».

[190] Ср. возмущение Пастернака попытками «символически» — в этом смысле символа — читать его роман (высматривать «*за каждым словом или положением какой-то иной, скрытый смысл — мыслительный, оккультный или провиденциальный*» (X, 379); подобного рода возражения встречаются во многих письмах 1958–1959 годов), отыскивая в нем «шифры», «аллегории», «неподвижные и разрозненные знаки тайнописи» (X, 477) и т. п. Это противоречит и самому характеру творчества, и тому общему, что символизирует сочинение — «величие жизни и бесконечную ценность человеческого существования» (там же).

[191] «*Я понял, что история культуры есть цепь уравнений в образах, попарно связывающих очередное неизвестное с известным, причем этим известным, постоянным для всего ряда, является легенда*» (III, 207).

[192] Цит. по: *Канаев.* С. 178.

[193] В святоотеческой мысли «*мир предстает как епифания — с сообщенным ему порывом к причастию*». — Истоки. С. 219.

[194] Истоки. С. 217.

[195] Истоки. С. 219.

[196] В этом смысле о. Александр Шмеман говорит о том, что «*истинный символ неотделим от веры: веры как «обличения вещей невидимых»*».

[197] Истоки. С. 225.

[198] Истоки. С. 217.

[199] «*Символ частичен и потому направлен в будущее*» (о. Александр Шмеман).

[200] Вот как выглядит удавшийся диалог: «*Но едва лишь речь зашла о главном, о вещах, известных людям созидательного склада, как исчезли все связи, кроме этой единственной, не стало ни дяди, ни племянника, ни разницы в возрасте, а только оставалась близость* ***стихии со стихией, энергии с энергией, начала и начала*** (подчеркнуто мною. — *О. С.*). — IV, 176–177.

[201] «*Я понял, к примеру, что Библия есть не столько книга с твердым текстом, сколько записная тетрадь человечества, и что таково все вековечное*». (III, 207).

[202] С этим размышлением Живаго с энтузиазмом соглашался католический богослов Т. Мертон (X, 397).

[203] «*Ее всю* (Третью Симфонию Скрябина. — *О. С.*) *переполняло содержание, до безумия разработанное и новое, как нов был жизнью и свежестью дышавший лес, одетый в то утро, не правда ли, весенней листвой 1903-го, а не 1803-го года*» (III, 302).

[204] *Эккерман.* С. 639–640.

[205] «*Реальные дела милосердия кое-что значат для меня, но дела гения — для меня всё*» (X, 566-567).

[206] «*Ибо "мнение" о Святом Духе ничего не стоит по сравнению с его собственным присутствием в произведении искусства, с чего начинается великое и чудесное*» (X, 472).

[207] IV, 645 (Комментарий Е. В. и Е. Б. Пастернаков).

[208] Один из ранних вариантов заглавия «Доктора Живаго» — «Нормы нового благородства». Здесь опять появляется моя легендарная четырехлетняя племянница Даша.

— Оля, а кто такие аристократы? — спросила она меня.

— Потомки благородных предков, — не долго думая, ответила я.

— Как мы с тобой, — удовлетворенно заметила она.

— Ну нет, мы не аристократы.

— А почему?

— Ну это, знаешь, князья, бароны, графы...

— А... — разочарованно сказала она. — А я думала, это верующие (она произносила: «верущие»).

— ?

— Они же потомки Бога. Кто же благороднее?

В фокусе — Захар Прилепин

Книги прозаика из поколения 30-летних Захара Прилепина в течение уже нескольких лет вызывают устойчивый интерес. Их читают, о них, об общественной позиции их автора спорят. Публиковали и мы — и прозу самого Прилепина, и суждения о нем. В этом номере мы предлагаем читателю статьи Игоря Фролова и Андрея Рудалева, посвященные двум книгам Прилепина и представляющие во многом альтернативные подходы к творчеству писателя.

В следующем номере этот разговор будет продолжен большой статьей Валерии Пустовой, которая сопоставит двух прозаиков, претендующих на лидерство в своем поколении,— Захара Прилепина и Романа Сенчина.

Игорь ФРОЛОВ

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ СТРАХА

«Грех» Захара Прилепина как национальный бестселлер

Введение в психоанализ

Мои отношения с прилепинским «Грехом»[1] тянутся уже давно — с премии им. Казакова, которую «Грех», несмотря на свои преимущества перед другими номинантами 2007 года, так и не получил. Правда, там был не роман «Грех», а рассказ, подаривший книге свое название. И вот теперь весь роман целиком завоевал премию «Национальный бестселлер». Этого уже достаточно, чтобы стать предметом анализа. И не потому, что после Нацбеста победитель просыпается знаменитым, — победных утр Захару Прилепину не занимать, да и вообще, удельная плотность премий и внимания на единицу прилепинского текста за единицу времени уже чересчур велика (а «чересчур» всегда вредит). А потому, что «Национальный бестселлер» — это указание читателю, какая книга достойна возглавить отряд самых чи-

[1] *Прилепин З.* Грех: роман в рассказах. — М.: Вагриус, 2007.

Игорь ФРОЛОВ — родился в 1963 г. в Якутии. Окончил Уфимский авиационный институт. Ушел в армию лейтенантом-двухгодичником, летал на вертолете в составе экипажа, воевал в Афганистане. Писал прозу, публицистику, публиковался в журналах «Бельские просторы», «Уральская новь». В 2007 году выпустил книгу прозы «Вертолетчик». Работал в литературном еженедельнике «Истоки» ответственным секретарем, замредактора, сейчас ответственный секретарь журнала «Бельские просторы». Живет в Уфе.

таемых книг года. Не возглавляет, а должна возглавлять — это принципиально важная разница, потому что мы знаем, как и кем формируются эти «лидеры продаж».

Когда говоришь про очередное произведение автора, нужно вспомнить предыдущие: роман «Патологии» — о любви и войне, роман «Санькя» — о молодом борце с несправедливостью.

В своей первой книге Прилепин вывел героя, Егора, которого жизнь бьет, как опытный боец новичка. Любимая девушка мучает его, он терзаем ревностью. Война тоже терзает его: герой, контрактник на Кавказе, взят в рассмотрение в период, когда он еще не привык к войне, он еще не умеет плавать в ней, война, как волна, несет его и бьет о камни. Там очень много крови и сырого человеческого мяса, присоленного крупной дрожью страха.

Вторая точка на графике эволюции героя — «Санькя». Очень важная точка.

Здесь тоже много крови (врожденная «гемофилия» автора или нехитрый расчет на алчущего крови потребителя?). Главная сцена страстей Санькиных — когда его пытают слуги закона. Героя пытают долго, за пределами терпения и героя, и читателя, — так же долго, как пытает война в «Патологиях». Но если первый роман кончается бегством Егора с войны, то Санька живет партизанской войной с системой. Мало того, в конце он выходит из «леса» и выводит остальных своих товарищей — на открытый бой. «Мягкий терроризм» нацболов (как прототипа прилепинских «эсэсовцев») в книге трансформирован в попытку настоящей революции, точнее, бунта, обреченного на поражение. Автор в одном из интервью охарактеризовал идею своей книги как *«программу массового суицида»*[2] национал-большевистской партии[3].

Однако мы как добровольные психоаналитики (а критик — в своем роде психоаналитик, стремящийся договорить то, что не договорил автор) попытаемся заглянуть в мир романа с другой стороны. Бросается в глаза личное, даже интимное противостояние заглавного героя и вождя «эсэсовцев»

---

[2] *Прилепин З.* В России слишком много людей ведет себя непотребным образом! — «Владивосток», № 2271, 11 января 2008. http://vladnews.ru/2271/Ekskluziv_V/Zahar_Prilepin_V_Rossii_slishkom_mnogo_ludej_vedet_seba_nepotrebnym_obrazom.

[3] Оговорю: я к лимоновской «вождистской» организации отношусь, мягко говоря, очень подозрительно. Для этого мне достаточно одной простой причины: человек, желающий привлечь сторонников в стране, больше всех пострадавшей от фашизма, выбирает для своей партии знамя и название, в которых соединены нацизм и большевизм. Возможно, НБП была скроена по тем же лекалам, что и забытая ныне «Память»: партия-жупел с разрешенными псевдотеррористическими методами типа кидания яйцами, чтобы была все время на плаву, напоминая электорату об опасности коммуно-фашизма. Но власть сменилась, новые правители забрали в исключительное пользование все права на патриотизм и заботу о бедных, а вождь партии сел в тюрьму и приобрел имидж страдальца от новой тоталитарной власти...

Костенко. Санька не только забирает любовь Яны, любовницы Костенко, — она отдает эту любовь, как знамя, как силу, как право на власть, да и вождь уже иссяк (аллегории совершенно прозрачны: «вялый лимон», «человек без лица»), — но и превращает игрушечных народовольцев в партию-камикадзе, которая все же вступает в последний и решительный бой с системой — в настоящий бой с настоящей (и это разница с войной в «Патологиях») мотивацией: сохранить, в отличие от вождя, лицо. Или вовсе отмежеваться от «вождя» и статуса «карманной» партии власти.

Для предотвращения непонимания надо заметить, что к Лимонову Прилепин вслух относится с пиететом, поэтому мой психоанализ — он психоанализ и есть. Мало ли кто и как *психоанализирует*. А вдруг Прилепин даже не подозревает о таком варианте прочтения своего текста? И сам Лимонов тоже, раз он сказал про книгу и ее автора: «Я пожалел, что не я ее написал. Он меня опередил»[4]. Значит, и вождь не догадывается о тайных смыслах. А я тут разошелся, понимаешь, — и все по привычке искать в литературе умолчания, иносказания, которыми можно компенсировать отсутствие собственно литературы.

...Итак, после двух «кровавых» романов и появился составленный из рассказов роман «Грех».

Начнем с предисловия, написанного Дмитрием Быковым, хотя начинать с предисловия, наверное, неправильно: важен сам текст. Но я держу в руках не рукопись, а уже упакованный товар с рекламой в виде предисловия. Это рекомендовано в национальные бестселлеры, значит, начинаю читать сначала. «*Персонаж, которого переполняет обычное счастье жить... — редчайший случай в нашей пасмурной литературе... Эта книга о том, как с Прилепиным... ничего сделать нельзя*», — говорит Быков, — мол, как ни била жизнь героя (он же почти автор), но так и не сломала: герой (он же автор) живет полной и счастливой жизнью. Быков так и озаглавил свое вступительное слово: «Счастливая жизнь Захара Прилепина».

Само собой, в бочку меда добавлена и капелька дегтя, отмечены и прилепинские недостатки: нарциссизм, стилистические перехлесты. Эти перехлесты Быков тут же дезавуирует: мол, будь книга совершенней, она потеряла бы в непосредственности и (а вот так неожиданно и привлекательно для потенциального читателя!) — «мы были бы не так счастливы, читая ее».

Это хорошая фраза. Я как читатель очень хочу быть счастлив, читая книгу. Но перед погружением в обещанное счастье как добровольный психоаналитик скажу, что и нарциссизм автора в нашем случае *не грех*. Его внешнее проявление — самолюбование в текстах, фото себя любимого на сайтах и обложках — на самом деле имеет один общий корень с художественной концепцией Прилепина. Любовь к себе прекрасному есть та самая опора в мерзком (одно из самых употребляемых слов в прилепинской прозе) мире, тот самый киль души, обеспечивающий остойчивость этого ковчега, в который собирается то немногое, что любит автор.

---

[4] Страстная, нежанровая, некоммерческая. — «НГ Ex libris», 28.12.2006. http://www.bigbook.ru/smi/detail.php?ID=2120.

Правда, слово «любит» здесь требует уточнения: ведь опьянение как водкой, так и женщиной описывается Прилепиным с одинаковой силой и одинаковыми словами.

Есть еще одна сторона нарциссизма автора-героя: в первых двух «кровавых» романах бросается в глаза (если обратить на это внимание) отсутствие у героя чувства эмпатии. Он не страдает от страданий других, автор не дает ему даже немного посочувствовать раненому, подумать об убитом: люди вокруг падают как листья, герой это констатирует отстраненно и потом (как правило) не возвращается в мыслях к бывшему человеку.

Тем не менее, замкнутый на себе, центростремительный герой — не черная дыра хотя бы потому, что нам рассказывает о его внутреннем мире автор. Нарцисс в литературе всегда ярок, потому что, любя в себе все, даже плохое, выглядит очень искренним. Человек только поэтому и пишет, чтобы себя показать как можно большему количеству людей. Использовать их как зеркало, отразиться в нем красивым и талантливым. (Мне, кстати, даже странно, что нарцисс Быков считает нарциссизм творческого человека недостатком.)

«*Книга Прилепина вызывает желание жить*, — завершает предисловие Быков. — *...Еще десяток таких романов,.. и России не понадобится никакая революция*». Прямо гоголевская вера в силу слова. Гоголь верил, что второй том его «Мертвых душ» излечит Россию, но когда первые слушатели не изменились тут же в лучшую сторону, он сжег рукопись. Это был опыт, подтвердивший, что среднему читателю неинтересны положительные герои, исправившиеся чичиковы.

Сказал ли Быков «меняю десять книг Прилепина на одну революцию» ради красного словца? Вполне возможно. Но он же, наверное, и впрямь был счастлив, читая «Грех». Я же, психоаналитически посмотрев на изнанку «Греха», задумался: а много ли там радости? И действительно ли эта книга тянет на одну десятую революции?

Добрый пух и чугунный грех

Едва ли секрет, что данный роман в рассказах — не цельное произведение, а мозаика, собранная в очередную книгу по срочной нужде. Все вошедшие в сборник рассказы были в разное время опубликованы в литературных журналах. Сегодня писателю нужно быть не снайпером, а пулеметчиком — выдавать книги очередями, иначе тебя выбьют из твоего окопа твои коллеги.

Эти рассказы объединяет не только один автор, но и один герой, тезка автора Захар (пусть и псевдонимный тезка). А что еще, кроме имени? Может быть, время, его течение? Пусть с отступами в прошлое, но романное время обычно течет из прошлого в будущее, как и положено времени. Но не в случае «Греха». Прямой хронологии тут нет. В каком порядке расставлены рассказы, сказать определенно трудно. Во всяком случае, если логика в порядке расположения и есть, то я вижу сразу несколько этих логик. Поэтому не будем искать концепцию, а пойдем по ступеням книги: авось концепция сама отыщется.

Книгу открывает рассказ «Какой случится день недели». Вроде бы это рассказ о счастье бытия, о молодости, любви, которую герой дарит женщине, дворовым щенкам, — а они отвечают взаимностью (женщины и собаки — объекты любви автора во всех его книгах, а точнее, объекты умиления). Вроде бы... На самом деле это рассказ о тонкости перегородки между раем и адом и о том, как тяжело жить в счастье, потому что жизнь все время стремится украсть у тебя это счастье. И это чувство в рассказе сильнее самого счастья.

Если говорить о послевкусии, то остается испуганно-суетливый герой. Он все время с кем-то борется — с кем-то несильным, но противным, мерзким: он спускается в ад, как Орфей, где вместо Эвридики — пропавшие щенки, он идет их искать в ужасный, грязный бомжатник, там нелюди, они, наверное, съели щенков, они могут испачкать его, заразить своим кашлем, сделать «*глубоким инвалидом с гнойными глазами и неудержимым кровавым поносом*». Он выбирается оттуда, не найдя щенков, они потом возникнут сами из ниоткуда.

Интересно, что злость героя вызывает даже американский клен на улице: «*поганое дерево, уродливое, подумал я мстительно и зло*».

Герой интервьюирует старого актера, надеясь напечатать интервью и получить какие-то деньги, чтобы было на что питать свое счастье с Марысенькой. Но актер — «поганый старикан, всех обозвал, а печатать это не дает». Придется отправить к нему Марысю. Марыся пошла. Старый актер влюбился в нее и скоро умер.

А еще герой едва не убил в бешенстве хозяйку пса, который чуть не загрыз одного из щенков. «*На хер!— заорал я снова, подняв руку с зажатым в ней камнем. — На хер пошла!*»

...Как-то не получается в первом рассказе про то самое счастье через край. Зато есть про тех, кто хочет его отобрать, и про ненависть к ним. Про эгоизм счастья, которое никого не любит вокруг себя и боится само себя потерять...

Как суровому мужчине, мне пристало экономить эмоции, а вот Валерия Пустовая написала об этом рассказе просто и понятно: «*Весь рассказ основан на неправде разного развеса: надуманность или просто недомыслие. Автор подает описываемое им как норму поведения счастливого человека. <...> Этого нормального, счастливого человека не раз захочется назвать дураком и мерзавцем — в качестве комментария к иным его репликам и поступкам. А его любовь — элементарным вожделением*»[5]. Но почему обязательно неправда и недомыслие? Я-то исхожу из посыла, что автор как раз честен. И сложность для критика в том, что в данном случае герой и автор как близнецы-братья: плюнув в одного, можно невзначай попасть в другого. Поэтому я и прикрываюсь психоанализом, который, как всякая наука, требует отрешенности от эмоций.

Следом идет «Грех». В нем тоже соседствуют любовь и смерть. Любовь (вернее, чувство влюбленности) семнадцатилетнего Захарки к двоюродным сестрам, и две смерти — крысы и свиньи. Конечно, можно сказать, что это

---

[5] *Пустовая В.* Человек с ружьем: смертник, бунтарь, писатель. — «Новый мир», 2005, № 5.

классика счастья, и кровь лишь оттеняет эту радость бытия. Если можно так сказать, то мы и скажем. Пусть так. А еще можно сказать, что это последний репортаж из рая — про лето юности, когда душа только начинает пробиваться из куколки тела...

Но сцена со свиньей здесь не просто для контраста. Остановимся, чтобы рассмотреть. Тут два пункта, требующие нашего внимания. Первый — про отсутствие чувства эмпатии, тут оно бесхитростно прямо указано, это отсутствие (свинья не человек, тут можно):

«*Захарка наблюдал ее* (привязанную свинью. — *И. Ф.*), *встав в проеме дверей, едва разлепив глаза, еще не умывшийся, улыбался*».

Не было ни единой мысли в голове, но где-то под сердцем тихо торкал в кровь странный вкус сладости чужой, пусть животной, смерти.

«Кричишь, свинья? Хочется тебе жить?» — что-то такое подрагивало в темном и тайном закутке мозга.

Хотя рассудок, внятный, человеческий рассудок подсказывал: надо жалеть, как же так, неужели не жалко?

«*"Жалко",— согласился без усилия*».

Весь тон отрывка свидетельствует об утере частицы «не».

Второй пункт для психоанализа вообще находка, — когда свинья уже зарезана и Захар смотрит на нее.

«*Ему не терпелось к сестрам. Все это живое, пресыщенное жизнью в самом настоящем, первобытном ее виде и вовсе лишенное души,— все это с яркими, цветными, ароматными внутренностями, с раскрытыми настежь ногами, с бессмысленно задранной вверх головой и чистым запахом свежей крови не давало, мешало находиться на месте, влекло, развлекало, клокотало внутри.*

<...> *И от осознания собственной теплой, влажной животности Захарка особенно страстно и совсем не болезненно чувствовал, как сжимается его сердце, настоящее мясное сердце, толкающее кровь к рукам, к горячим ладоням, и в голову, ошпаривая мозг, и вниз, к животу, где все было... гордо от осознания бесконечной юности*».

Запомним эту переполненность жизнью при полном отсутствии души, удивимся, что вид мертвой свиньи может развлекать, — а еще он может вызвать у героя прилив юношеской гиперсексуальности (эта кривая фраза про «все было гордо» внизу живота). Розовая распахнутость туши что-то напоминает герою, куда-то зовет. Да, пора к сестрам.

А еще в рассказе можно найти формулу, объединяющую весь роман: «*...Всякий мой грех... — сонно думал Захарка, — всякий мой грех будет терзать меня... А добро, что я сделал, — оно легче пуха. Его унесет любым сквозняком...*»

Грехи наши тяжкие, иначе говоря... Слова не мальчика, но взгляд взрослого человека через плечо назад. Да еще с долей любимого Прилепиным пафоса. Эти слова можно поставить эпиграфом ко всему роману. Будем считать, что этот эпиграф содержится в свернутом виде в названии «Грех». Никак не мог найти подходящее слово, пока не пришло неподходящее — «кокетство». Но я не стал на нем останавливаться и пошел дальше.

Рассказ «Карлсон» — как бы о дружбе. Или об ее подобии. Или аналоге. (У прилепинских героев, кстати, вообще нет друзей в нормальном смысле

этого слова, — одни собутыльники или соратники по борьбе, или товарищи по оружию, по работе, партнеры, — но не друзья.) Интересна вводка к рассказу: «*Нежность к миру переполняла меня настолько, что я решил устроиться в иностранный легион наемником. Нужно было как-то себя унять, любым способом*». Я не буду расшифровывать такую неожиданную побудительную силу нежности, — сам автор скажет об этом подробнее в заключительном рассказе «Сержант». А пока — есть у Захара друг, точнее, временный собутыльник Алексей, «*болезненно толстый человек, черты лица расползшиеся, словно нарисованные на сырой бумаге*». Они пьют вместе, Алексей все время говорит, герой слушает.

Герою уютно в этом мирном пьянстве по дворикам. Выпив, они ходили по книжным магазинам, говорили о своих пристрастиях. Алеше не нравились герои Хемингуэя, Газданова, эти «навязчиво сильные парни». А герою рассказа, полному здоровья и силы парню, нравились. Впрочем, нравился ему (особенно во хмелю) и неспортивный Алеша. «*Алеша, какой ты хороший!— сказал я, любуясь им*». Правда, Алеша был хорошим до тех пор, пока не высказался (он вообще правдив, как совесть, этот персонаж) о своем собутыльнике, сравнив его с Набоковым, *спортивным снобом*. «*Такой же, как ты,— вдруг добавил Алеша совершенно трезвым голосом*». Речь шла не о равенстве талантов (Алеша не считал героя талантливым писателем), а о снобизме и спортивности. После этих слов герой посмотрел на хорошего Алешу и увидел: «*Он сидел на лавочке огромный и грузный. Бока его белого, разжиревшего тела распирали рубаху*».

Психоаналитика интересует: слова Алеши — это правда (ему же со стороны виднее?) или зависть больного к здоровому, бесталанного (Алеша что-то там писал, автор даже привел те две фразы, которые ему понравились) к талантливому? Нет ответа в рассказе. Зато есть некое умолчание.

После этой правды как-то разошлись дорожки товарищей по водке, и когда Алеша снова появился в жизни героя, он был не один, а с новым «Малышом». Оказывается, и наш герой для Карлсона-Алеши был раньше Малышом, но потом перестал им быть. Они выпили втроем. Молчаливый и улыбчивый новый друг Алеши во время игровой драки с героем (герой сам попросил от избытка пьяного счастья сразиться открытыми ладонями) неожиданным и сильным ударом кулака в лицо свалил его с ног. «Упал? — сказал Алеша, не вложив в свой вопрос ни единой эмоции».

Здесь есть два ответа нашему недоумению. Либо Карлсон и его новый Малыш просто ублюдки, которые снова напомнили переполненному нежностью герою, как ужасен этот мир, либо... А вот тут вполне уместно умолчание. Про обиды, о которых не написал автор.

Герой только заметил мимоходом, что когда выпьет, задирист. И чуть не избил шофера хлебовозки, — хорошо, тот успел уехать. Наверное, и Алеша имел свою обиду, и его Малыш тоже успел обидеться, предположим, все на тот же снобизм.

Вспоминается Лермонтов с его спортивно-снобистскими шутками над Мартыновым про большой кинжал, — напомню, что в результате Мартынов, несмотря на дружбу, пристрелил Лермонтова. Потом раскаялся до та-

кой степени, что просил не ставить свое имя на могильном камне. Но Алеша оказался совсем не Мартынов.

Да, кстати, на следующий день герою позвонили из представительства легиона, но он сказал им, что уже никуда не едет. Иными словами, в герое уже не было той нежности, что толкала его на авантюру.

Справились своими силами, — дружеская помощь, так сказать.

Я здесь даже верю автору — про перестоявшую, забродившую нежность. Потому что наблюдал одного молодого родственника, гостившего у меня несколько дней. Это было начало 90-х, молодой человек мечтал стать бандитом (а, может, и был им уже). Дома ему не сиделось, читать ему было лень даже «Спид-инфо», он был такой подвижный и горячий, что в плохо отапливаемой квартире во время его пребывания стояла непривычная жара. Его переполняла жизнь (про нежность не уверен), и он изнывал от вынужденного покоя. И однажды он пошел в ресторан. Поход закончился дракой, где ему помяли лицо, снова выбили недавно вставленные зубы, потом он снял проститутку, которая его обокрала, а в заключение он (обойдемся без омонимов) классически переночевал в вытрезвителе. На следующий день, сидя на моей кухне — в синяках, оборванный, без денег и зубов, — он счастливо шепелявил: «Хорошо-то как, хоть душу отвел. А то сидел, булки парил, чуть с ума не сошел».

Это я к тому, что оргазм как разрядка накопившегося либидо у людей с избытком физической силы случается не только в результате секса. А в зависимости от тонкости душевной организации либидо может утончиться до нежности, которую избывают иностранным легионом. Но это опять из области гипотез, которые только и делаю, что измышляю. Потому что нежность, толкающая на войну, это нечто иное, более тонкое, чем излишки силы.

Идя по ступеням дальше, мы достигаем дна книги. А, может, и дна жизни героя. Если рассказ «Грех» — это верхняя кульминация книги, ее солнечный июльский полдень, то рассказ «Колеса» — нижняя мертвая точка, яма, из которой тянет падалью.

В этом эпизоде жизни герой работает могильщиком — вместе с товарищами по ремеслу копает могилы, пьет до такой степени, что теряет человеческий облик, — мать с сестрой меняют под его телом простыни. Но, несмотря на то, что сам герой балансирует на грани человек-нечеловек, вокруг него снова теснятся какие-то невероятные уроды из кошмарных снов, — например, мужик, копающийся в коляске племянника героя, потом плюющий ребенку на шапочку. Герой все время существует на пороге ада, дверь открыта, из нее постоянно шмыгают адские обитатели.

И, тем не менее, герой, хоть и теряет человеческое лицо, но не смешивается с товарищами по ремеслу и пьянкам, не растворяется в их неосмысленном бытии. *«— Вова, ты никогда не думал... что каждый год... ты переживаешь день своей смерти? — спросил я... Вовка крутит головой, не понимая ни одного моего слова».*

Врете, подлецы, он мал и мерзок иначе, — сказал о схожей ситуации один авторитетный писатель. Мы, литераторы современности, подтверждаем.

Взять, к примеру, мысли героя, который стоит с лопатой недалеко от могилы: «*Вот чего я никогда понять не могу, так это речей у могилы. Сто-*

ишь с лопатой и бесишься: так бы и перепоясал говорящего дурака, чтобы он осыпался, сука, в рыжую яму».

Я тоже не люблю речей у могилы. Но тут нетерпение иного плана: пора засыпать и ехать на поминки, пить. «А засыпать и вовсе весело...» Впрочем, это нормальный цинизм ремесленника, — главное, свою работу хорошо сделать. И быстро.

А «Колесо» тем временем все катится. Читать его тяжело, это концентрат ужаса и бессмысленности существования, но рассказ никак не заканчивается. Один сюжет сменяет другой, герой пьян, но не радостен, у него в кармане случайная фотография мертвой старухи, которую они закопали, — не глядя, на обороте он пишет свой телефон милой девушке и протягивает ей. *«Какая гадость,— сказала девушка брезгливо. — Откуда это у тебя? Зачем ты это носишь в кармане? Ты сумасшедший».*

Тут бы и сказке конец, но рассказ продолжается, как фильм ужасов, где кошмар накатывает волнами. Герой идет пьяный домой и, переходя через железнодорожные пути, чуть не попадает под поезд. Лежа у самых рельсов, он видит несущиеся мимо *«черные блестящие колеса»* — каренинскую гильотину. Жизнь свела пути поезда и потерявшего почти весь смысл бытия героя, — смысла в нем осталась ровно та капля, на которую он опоздал к поезду своей смерти.

«Шесть сигарет и так далее» — рассказ про унижение. Про практическую психологию охранника-вышибалы. Герой случайно оказался не на своем месте и, конечно, внутренне выше того богатого быдла, которое входит в заведение и считает героя слугой. Но в то же время охраннику приятно, когда с ним за руку здоровается местный авторитет. Он, охранник, уважает *«ясную человечью мощь»*, он и сам силен и здоров, как мы помним.

История, которая разворачивается в заведении, — со многими действующими лицами, каждое из которых представляет собой вектор силы, — это история о равнодействующей силе жизни, давящей человека, когда он не на своем месте. Когда тело его здоровее тела быка, а душа нежнее лепестка розы. Такое тело определяет место, но это место не годится такой душе.

После унижения (на силу охранников нашлась сила более мощная, и им было указано их место — «место!» — как псам), герой с напарником жестоко избивают одного из «шестерок», который остался без тыла, не успел уехать вместе со всеми. Он сволочь, сомнений нет, и получил по заслугам. Но месть не смывает гадкого чувства неисправимости, — наоборот, руки такие грязные, что вода не берет, мыло не моет. И дома уставшая жена, и ребенок в комнате плачет один...

После каждого рассказа возвращаюсь мыслью к Быкову, пытаясь разгадать причину его счастья во время чтения. Хочется поверить психоанализом и его творчество: все ли в порядке там?

Рассказ «Ничего не будет» — опять про счастье, теперь про семейное. Первая строка: *«Два сына растут»*. Ночь, отец и сын, — сынуля, совсем маленький. Благостная сказовость, понятное здесь умиление: *«Люблю целовать его, когда проснется. Щеки, молоком моей любимой налитые, трогаю губами, завороженный».*

Но прилепинская схема неумолимо соблюдена. Герою нет и тридцати, и он счастлив. Он муж и отец, любит и любим. Но это не проходит безнаказанно в мире Прилепина. Должна быть смерть, она где-то рядом, за стенкой. И она не заставила себя ждать, — умирает любимая бабушка.

Однако этого мало. Бабушка хоть и любима, но ее смерть закономерна — старость. Надо добавить. Он едет в деревню на похороны, и на обледеневшей развилке в его скользящую машину чуть не врезается летящая фура. Каких-то полметра, опять это «чуть», как в рассказе «Колеса», — но на этот раз к границе жизни он приблизился с другой стороны, со стороны счастья, и оно, как всегда, оказалось тонким и хрупким: один неловкий поворот судьбы, и смахнет рукавом, не заметив.

Счастье у Прилепина невероятно тяжело сохранять, — как слабый огонек единственной спички на сыром ветру, — и от этой уязвимости счастье обрамлено в страх его потерять. И когда прирастает счастье, страх прирастает в геометрической прогрессии. Ведь человек не только внезапно, но еще и бесконечно разнообразно смертен.

Как в следующем рассказе «Белый квадрат».

Если строить книгу хронологически, то этот рассказ должен стоять первым, — Захарка здесь совсем маленький. Дети играют в прятки. Захар младше всех остальных, и его игнорируют. Мы все знаем, как обидна собственная незначительность, как хочется быть равным среди первых, — и это сохранится на всю жизнь, — неуверенность, можешь ли ты быть первым? (Из всех героев Прилепина только Санька смог стать первым — и то, чтобы повести остальных на смерть. Все остальные «Захары» ходят вместе со всеми, но как-то отдельно, рядом, подчиняясь чужой инициативе, — даже Сержант не уверен в своем командирском авторитете.) Первый — это не привилегия, а в первую очередь — ответственность, чего не понимают взрослые, не то, что ребенок. И когда Захарке достается водить, — искать, — он не доводит свой поиск до конца. Потому что старшие мальчишки разбредаются, не дожидаясь, пока их обнаружит водящий малого веса. И он уходит обиженный домой, не зная, что самый лучший пацан (тот самый первый по рождению, о дружбе с ним Захарка мечтал) спрятался в морозильную камеру возле сельмага, которая не открывалась изнутри. Мальчика искали два дня...

Теперь оказывается, что у героя романа есть вина за чужую смерть — она, как червяк в румяном яблоке детства, первый его грех. Замерзший мальчик является к взрослому Захару, — с ледяными слезами на мерзлом лице. Рассказ дан последним в первой части книги, и теперь читатель может примерить этот грех ко всему страшному, что он уже прочитал о жизни героя. Хотя, вполне возможно, что такой задумки не было, как не было замысла делить книгу на две части стихотворной подборкой.

Стихи Захарки разбирать мы не будем. Достаточно сказать, что они играют роль не столько стихов (свидетельство поэтической души героя), сколько барьера, отделяющего то, что слева, от того, что справа (а справа — рассказ «Сержант»). Или же это не барьер, а знак равенства, уравнение опыта невоенного и военного. Один рассказ уравновешивает все прежние.

Среди стихотворений есть одно — центр всей книги, ноль на шкале весов:

Я все еще надеюсь, как ребенок,
разбивший вазу, в ужасе притихший,
желающий, чтобы она сама собою
срослась и примостилась на серванте.

Читая книги, все еще мечтаю.
И все еще уверен в том, что жизнь
и смерть между собою разрешатся
и я — один — останусь ни при чем.

Рассказ «Сержант», идущий за стихами и завершающий, замыкающий книгу, — как перенос после слова «жизнь».

Это новая строка книги — и последняя.

Герой на войне. Здесь он — Сержант. Это итог всего, что было прежде, заключительное звено цепи метаморфоз. Но как он оказался там? Мы ведь не забыли про ту странную нежность, толкающую героя на войну. Процитируем подробно:

«Иногда, помнил Сержант, раз в несколько лет, он начинал чувствовать странную обнаженность, словно сбросил кожу. Тогда его было легко обидеть.

Первый раз, еще подростком, когда это нахлынуло, он, обескураженный и униженный, прятался дома, не ходил в школу, знал, что его может безнаказанно задеть любое чмо.

Потом, повзрослев, так напугался очередной своей слабости, что начал пить водку — и едва развязался с этим.

Последний раз болезненность пришла, когда родились дети, два пацана.

И тогда Сержант сбежал от этого чувства, обретшего вдруг новые оттенки и почти невыносимого. Вот сюда, на блокпост сбежал.

...Чувство это сводилось к тому, что он больше не имеет права умирать, когда ему захочется.

Выяснилось, что нужно сберегать себя. Как же это унизительно для мужчины».

Рожденные тобой дети делают тебя ответственным, теперь от тебя зависят другие жизни и ты не распоряжаешься собой полностью, как раньше, — хочешь, живешь, а хочешь, умер. И это состояние не нравится тебе. Чтобы показать себе, что ты по-прежнему только свой собственный, ты убегаешь на войну.

Сразу отбрасываем прозаическое «поехал на заработки, время было тяжелое, детей надо кормить, мужик я или нет?». Это как-то бытово, как у всех. А тут, хоть и странное, почерпнутое откуда-то из нордических сказок, но героическое объяснение поступка — унизительно сберегать себя. Красиво. Однако, применив военный психоанализ, заглянем с другой стороны. Военный психоанализ, он почти такой же, как и цивильный, только грубее, безапелляционней. Что там с другой стороны?

Там все та же ответственность, но без унизительного сбережения себя. И тот же страх за детей, за любимую, за свое счастье, которое в любой момент может оборваться. И если убежать, то можно отвлечь на себя.

Закон сохранения страха — пусть за меня боятся, и тогда с ними ничего не случится. Когда я на войне, страшное может случиться только со мной. А со мной ничего не случится. Единственное условие — не оглядываться в прошлое или будущее, главное, вообще быть одному, никого и ничего не лю-

бить — и ты будешь свободен. Душа должна рассосаться совсем, оставив только рефлексы, управляющие телом, — вот рецепт окончательного счастья.

«"Самых близких, самых родных не помню", — отмахнулся от себя же, понимая, что если помянет другую свою, разлитую в миру кровь по двум розовым, маленьким, пацанячьим, цыплячьим телам, то сразу сойдет с ума.

Хочу не помнить, хочу не страдать, хочу есть камни... Чтобы снились камни, звери, первобытное... То, что было до Христа: вот что нужно. Когда не было жалости и страха. И любви не было. И не было унижения...»

Все неприемлемое, что перечислено, и есть душа. Человек болен душой. И единственное лекарство, когда болезнь обостряется, — загрузить тело с его основными инстинктами, главный среди которых — самосохранение. Война для этого — милое дело. Лучшее лекарство от души, особенно, если она так трепетна, что невыносимо жить обычной жизнью.

«Грех», «Колеса» и «Сержант» — вот три рассказа, на которых держится книга. Три разных фазы жизни. Но в «Сержанте» четкий, простой рисунок, — нет того марева — от солнца или от перегара, как в тех двух. Его уютно читать, этот рассказ. Он не мучает тебя страхом и бессмыслицей, как те, что до него. Он как шахматный этюд, когда фигуры изначально расставлены так, что у них есть только один маршрут: белые начинают и выигрывают.

Блокпост, удаленный от базы, оказался в тылу, база окружена боевиками, и группа блокпоста пробирается к своим, в осажденную крепость. Изобразительные средства скупы и точны, и даже увиденный во сне Сталин, укрепивший Сержанта, имеет право на художественное существование. Малые шероховатости, вроде «*он полз тихо, тише растущего цветка*» — цветка, а не более привычной простой травы, — даже их можно трактовать как следствие нежной души героя.

Есть только два прокола. Первый — размышление Сержанта, когда группа идет к базе. «*Я ведь тоже люблю Родину, — думал Сержант, глядя в темноту и спотыкаясь. — Я страшно люблю свою землю. Я жутко и безнравственно ее люблю, ничего... не жалея... Унижаясь и унижая... Но то, что расползается у меня под ногами,— это разве моя земля? Родина моя? Куда дели ее, вы...*»

Даже если так думал сам автор в схожих обстоятельствах, в контексте этого рассказа такой пафосный всплеск лишний. Он сильно подрывает доверие к истинности героя: вдруг приоткрывается его нарисованность.

Но второй прокол важнее. Это самый конец рассказа, когда группа добралась до своих, когда открылась тяжелая дверь и они вбежали. Сержант шагнул последним. И тут, к разочарованию читателя, свершилась эта старая, как литература, традиция: Сержанта убили на пороге. Но он (еще одна, добивающая банальность) этого не почувствовал — прямо как Цинциннат Ц., созданный «спортивным снобом» Набоковым. После взрыва Сержант «*неожиданно легко встал на ноги и сделал несколько очень мягких, почти невесомых шагов, выходя из поля обстрела*». Он удивился своему везению, обернулся и увидел «*человека, с запрокинутой головой, один глаз был черен, другой закрыт. Это было его собственное тело*».

Я считаю, что этой смертью Прилепин испортил хороший рассказ о войне. Словно тот самый шахматный этюд, который был разыгран до последнего

хода, вдруг сбили с доски неловким движением. Есть литературные ходы, которые ведут в старые кладовки, а не на свежий воздух новых смыслов.

Впрочем, это недовольство читателя. А вот психоаналитик книги должен сказать совсем другое.

Действительно, а как быть с Сержантом, останься он жить? Наверное, было бы еще банальнее, если после спасения герой вдруг осознает счастье бытия, как об этом все время говорит автор в своих интервью, — мол, счастья вокруг, хоть ложкой черпай. Тогда как в его книгах страха много больше.

В этом контексте герой романа «Грех» уже предстает тем козлом, на которого нагружены грехи автора и который отправлен в небытие, как в пустыню.

И еще, — не забудем, что мы обнаружили у героя романа острое противоречие между душой и телом. Между нежной душой и грубым телом, если хотите уточнений.

Тело — источник животного счастья.

Но тело не дает радоваться жизни, потому что оно смертно.

Стоики считали, что человек — это душа, влачащая на себе труп. И чтобы душе стало легко, нужно сбросить этот труп. Что и случилось с героем книги в последних ее строках. Он обернулся и увидел свое тело.

Больше бояться было нечего. Все плохое случилось. Вместе с телом исчезла и душа, потому что она состояла из животного счастья, вырабатываемого телом, и страха это счастье потерять (между этими полюсами и текут все бесчисленные духовные и душевные флюиды).

Правда, у Прилепина кто-то остался и после смерти героя. Кто-то обернулся и посмотрел на продырявленный, сброшенный, смятый костюм из мяса.

Это сам автор: кроме него некому.

И сам автор однажды в разговоре о «Патологиях» заметил: «*Все закончится хорошо, если герой научится любить хотя бы призрачным подобием любви божественной. У того, кто прикипает сердцем к чему бы то ни было — от куска земли до женщины и ребенка, — отнимают все*»[6].

Главное, сердцем не прикипать к любимым, и все будет хорошо.

Ответы сходятся.

«Писательство — это забава»

«Грех» — книга о прошлом. Ее корни в трудных 90-х, на которые и пришлась молодость автора и его героя. Весь депрессивный фон — он оттуда. Кроме собственно рассказа «Грех», где герою семнадцать лет, — если он ровесник автора, то это 1991–1992 год, начало распада страны и гражданской войны в тлеющей фазе — то, что называется переделом собственности, развитием дикого капитализма или просто концом советской эпохи. Эта книга о том состоянии, о котором мы уже забыли.

Уточню свою неразвитую мысль. Я просто вспомнил о типичности как важнейшем критерии литературности. И если два предшествующих романа понятно о чем, и герои действуют в историческом контексте, который и

[6] Захар Прилепин о свободе и счастье. Книжная витрина, http://www.top-kniga.ru/kv/interview/interview.php?ID=99724

определяет их жизнь и сюжеты этих двух романов, и эти герои развивают типы уже известные, то в «Грехе» мы видим отдельно взятого российского человека в его отрывочном развитии, но без указания времени действия, кризисной переломной эпохи.

И в этом случае герой выделяется в особый литературный тип, стоящий вне привычной классификации, во всяком случае, вне русской традиции. Как ни странно это прозвучит, но прилепинский персонаж, — тот, что для Быкова полон счастья, — для меня сближается с персонажем Кафки. Страх у них общий, и миры, в которых существуют персонажи, враждебны человеку.

Однако Быков своим предисловием толкнул нас на путь, который не ведет собственно к литературе. И наша объективная и злая, как ей и подобает, критичность утонула в болоте психоанализа. С одной стороны, это хорошо, но с другой, — мы же книгу читали, а не с пациентом беседовали. Для изучения пациента книга получилась интересной, с комплексным содержанием. Но, кроме того, книга подразумевает литературную оценку.

Подробным анализом стиля Прилепина заниматься я не буду — опоздал. Это уже проделано до меня много раз. Но добавлю в общую копилку свою копеечку.

Особенность прозы Прилепина в том, что ее плюсы перетекают в минусы незаметно для самого писателя. Однажды, объясняя название «Патологии», автор заметил: «*Любое чувство истинно, когда оно патологично, но где та грань, за которой эта патологичность перерастает в полный кошмар, совершенно непонятно*»[7]. Вот и в его книгах эта грань, отделяющая литературную патологию от литературного если не кошмара, то пошлости, часто оказывается перейдена. Взять хотя бы «огромные грудки» Дашеньки из «Патологий» — это уже из ряда анекдотических «гигантских карликов», это смешно. Кстати, на эту тему хорошо высказался Кирилл Лодыгин: «*Первое, что с некоторым изумлением обнаруживаешь, открыв, например, новую прилепинскую книжку "Грех": проза его несет в себе немалый заряд комизма. Комизма непреднамеренного, но не перестающего от этого быть мощным и неистребимым, несмотря на всю патетику, героическую ауру, романтизм и лиризм (который, надо думать, как раз таки преднамерен, продуман и выверен)... Избыточное и отчасти тавтологичное нагромождение эпитетов и нарочито литературных, вычурных метафор производит комический эффект*»[8].

Но мы не будем размениваться на попки и грудки, сразу перейдем к большому, — к композиции. Композиционно рассказы Прилепина в большинстве своем рыхлые. Повествование движется зигзагами, задавая несколько сюжетов, кульминаций, развязок. Остается ощущение, что это и не рассказы в точном смысле, а отрывки повестей или романов, вырезки, эпизоды. А в таких рассказах, как «Колеса» и «Ничего не будет», концовки со смертью, промчавшейся рядом с героем, выглядят искусственными подпорками, чтобы рассказ не завалился.

---

[7] *Прилепин З.* В России слишком много людей ведет себя непотребным образом!

[8] *Лодыгин К.* Да никакой ты писака! (Захар Прилепин на фоне литературной ситуации в современной России). http://www.nazlobu.ru/publications/article2384.htm.

Сам автор считает, что у него не рассказы, а новеллы, — мол, к новеллам иные претензии. И действительно, претензии другие. Новелла — это проторассказ с изюминкой-пуантом, без психологии, но с четким сюжетом, тогда как у Прилепина есть все, чего не должно быть в новелле. Но и рассказами в джеклондоновском понимании — единство настроения, ситуации, действия, — назвать их нельзя. Скорее зачатки повестей (недаром «Шесть сигарет» в журнальном варианте были обозначены как маленькая повесть). Создается ощущение, что автор и не ставил задачи соблюсти законы жанра, — ему важнее было просто изложить то, что он считал интересным в своей жизни. Тем более Прилепин — писатель идейный. Не в смысле политики, а в том смысле, что он четко осознает главную идею своей литературы: за счастье платим несчастьем. И старательно эту идею проводит. И тексты в этом случае делаются по рецепту: взял свою жизнь, нашел хорошее, нашел плохое, смешал, — готово.

Кстати, о плохом и хорошем, — но уже на стилистическом уровне. Автор часто вообще не озабочен поиском слов для выражения этических категорий плохой-хороший. Для первого существует проверенное слово «мерзкий» — «мерзкие пошлости», «омерзительное лицо», «мерзкое эхо поганого неумного мата». Есть еще «отвратное юношество», которое этим матом изъясняется. Есть и другие простые слова, прямо указующие на плохое, на содрогание героя при взгляде на все эти мерзкие лица и вещи. Это какой-то женский лексикон, — я даже слышу интонации и вижу мимику женщин, передергивание плечами, с которым они произносят эти слова...

Хорошему повезло не больше. Оно у Прилепина все «милое», «замечательное», «отличное» и просто «хорошее». Первый рассказ в книге прямо так и начинается: «*Все вокруг стало замечательным*». Мои претензии, конечно, не Прилепину, а Хемингуэю как прародителю всех этих милых, отличных и замечательных. На самом деле, слова, прямо указующие читателю, что чувствовать (смех или плач за кадром), — свидетельство писательской лени и торопливости, выдаваемой за стиль простого парня, за сложным словом в карман не лезущего.

И это не случайные промахи. Захар Прилепин и лепит (извините за каламбур) из себя простого парня, как-то случайно взявшегося за перо. Он так и говорит в интервью: «*Я пишу быстро и легко. Когда у меня появляются свободные пятнадцать минут, я сажусь и пишу. Причем без всякого вдохновения, которым любят бравировать другие писатели. И обычно — левой ногой. Писательство — это не труд, это забава. Причем забава легкая. Когда мои собратья по перу говорят, что в то время, когда они пишут, у них кровь идет горлом, я испытываю брезгливость и недоумение. У меня ничего горлом не идет*»[9].

Здесь сквозит сильное раздражение: видимо, уже достали писателя какими-то претензиями по мастерству. Хотя про горло — это скорее к поэтам. Начинал-то Захар с поэзии, но она у него горлом не пошла, тогда он пересел на прозу. Прозаики — народ более хладнокровный.

---

[9] *Болотовская Т.* Пишу левой ногой. — «МК в Питере», 11 июня 2008. http://www.mk-piter.ru/2008/06/10/030/

А про левую ногу это он не зря вставил. На самом деле, Захар так или иначе, в меру своих сил трудится над текстом, и высказался он хитрее, чем кажется. Примерно так: «Все найденные огрехи относите на счет моей левой ноги, но уж если я начну писать правой рукой, да не по пятнадцать минут, а по полчаса в день, то тут просто камня на камне не останется от пьедесталов былых литературных кумиров». Имеется в виду, что даже то, написанное небрежно, за пятнадцать минут, принимается «на ура», — чего ж напрягаться, таланта и так достаточно для успеха.

Так все и выглядит.

Даже Быков купился, — не надо, мол, прибавлять мастерства, а то непосредственность исчезнет, свежесть.

Главное, что нравится в Прилепине читателю, это искренность, вывернутость души наизнанку: вот я весь перед вами, и плохой и хороший, живой такой. Герой нашего времени. Не в смысле типичности (в этом смысле офисные мальчики ныне герои), а в высоком, героическом, в смысле примера для подражания, делать жизнь с кого.

И ведь, при всем героизме, очень лирический герой. Лирический и впечатлительный, прямо как ранний Лимонов времен Эдички (на теперешнем уже загар веков, он уже исчерпал собственно материал для литературы — ту самую неудачливость, молодую невротичность, которая и толкает на первые, самые искренние книги).

«*Лимонов принес в русскую литературу европейское ощущение абсолютного субъективизма*»[10], — говорит Прилепин. Да, а еще был Набоков, так настойчиво отодвигавший границу разрешенной субъективности. И Бунин про грехи свои писал. Но что интересно, эти двое пользовались литературой как прикрытием, накидкой на эти самые грехи. Лимонов открыл нам (как переносчик западного вируса) простую литературу — «покажи им, что ты хочешь». Чем откровеннее, тем интереснее читателю, привыкшему к литературному фастфуду. И тут — что важно! — литература отступает на второй план, от нее остаются только слова-переносчики смысла, информации. Но литература, — она, как энергия в физике, — не субстанция, не скопище частиц, коими в языке являются лексемы. Литература — отношения между определенным образом выстроенными словами. Это то новое, надсмысловое, что возникает при особом совмещении слов. Когда же текст пишется, исходя из ложно понятого принципа наименьшего действия, и энергия текста подменяется энергией авторской жизни, то возникает как раз та, распространенная ныне новая литература, где главную роль играет не «как», а «что».

Недаром мы занимались анализом не стиля, а психологии. И Прилепин сам подсказывает: в его книгах «*жизни настолько (и агрессивно) много, что иному читателю становится просто не до литературы*»[11]. И ставит это себе в заслугу.

Вот тут-то все и сходится, сливается воедино, смешивается. Жизнь, литература, левая нога...

---

[10] *Прилепин З.* В России слишком много людей ведет себя непотребным образом!

[11] Роман с революцией. — «Новая газета», 2006, № 35 http://2006.novayagazeta.ru/nomer/2006/35n/n35n-s32.shtml

Захар Прилепин выпустил три книги о себе. Молодость дала ему материал, над которым и не надо особенно работать, если есть о чем сказать, вернее, рассказать. Вот Захар и рассказал — как воевал, как боролся за идеалы, как переживал тяжелые времена. Теперь он — состоявшийся человек. Жизненно удачливый — семья, политика, общественное положение, журналы, семинары, заграница. Пишет книгу в серии ЖЗЛ о Леониде Леонове. Она наверняка войдет в шорт-листы различных премий, а одну-две и возьмет. Независимо от качества. Просто имя уже работает на успех.

Но литература в ее настоящем смысле еще не начиналась. Со времен «Патологий» не прибавилось мастерства, наоборот, писатель стал торопливее, он уже прикрыт именем, которое сделано по большей части биографией. Вообще, перед нами история-двойник под названием «Как закалялась сталь», — только в отличие от Николая Островского у Захара есть куда двигаться — как в жизни, так и в литературе.

Но вот вопрос: куда? Можно идти прямо, как шел. Дорога, вроде бы, понятная — писательство как дополнение к политике или наоборот. Это путь в разрастающийся гламур, в «литературу» лимоновского типа — мемуарить, публиковать, презентовать, получать гонорары. А можно заняться литературой ручной работы, тем более что есть энергия жизни, та самая рефлексия, интерес к письму, — то, что само по себе называется талантом. Для его культивации, чтобы вырастить нечто более интересное, чем та дикая поросль, уже занявшая часть огорода, нужно остановиться-оглянуться. Понять, что запас юности истрачен и дальше потребуется мастерство, одной искренностью уже не возьмешь, — все, что было можно, эта искренность взяла. Стиль «детско-юношеская непосредственность» уже не вывезет. Нужно сменить левую ногу на правую руку — и учесть при этом: быть сегодня настоящим писателем означает, скорее всего, полную безвестность. Чтобы тебя читали или делали вид, что читают, чтобы о тебе писали, ты должен быть публичным человеком, все время на виду, никакого уединения, а тем более серьезной литературы. Сидеть и работать, шлифовать, переписывать, — и это в то время, когда твои товарищи проносятся мимо, забирая премии и славу, и писателей все больше на квадратный метр, — вот к чему нужно быть готовым...

...Куда-то меня в утопию понесло, — забылся. Сегодня таким путем в писатели не ходят. В известные (вот существительное) писатели (вот прилагательное). Прилепин сам знает правильную дорогу. Он так и сказал: «*Сейчас, оценивая себя, я думаю, что писателем я вообще не должен был никогда становиться, потому что у меня все в жизни сложилось нормально. Я могу денег заработать, меня женщины любят, для чего мне становиться писателем? Я же вижу, как выглядит среднестатистический молодой писатель и тем более поэт, они же не похожи на людей! Я не хотел быть литератором. Сейчас я хочу, потому что мне это деньги приносит, я вот за одно лето был в трех странах, почему же мне этим не заниматься*?»[12]

Искренность, она всегда выигрышна. Но лучше отдавать ее, такую, лирическому герою.

---

[12] *Болотовская Т.* Пишу левой ногой...

ПОЕДАЯ СОБСТВЕННУЮ ДУШУ

«Проклятый» герой Захара Прилепина

Захара Прилепина признали, по крайней мере, — заметили. Практически сразу. О нем заговорили после выхода романа «Патологии» в петрозаводском журнале «Север». Потом появился второй роман — «Санькя», который на полном ходу вскочил в короткий список «Нацбеста» и чуть не взял главный трофей этой премии в питерской «Астории».

«Лидером» называет Захара Прилепина Владимир Бондаренко. Он «увлекает за собой людей», — заметил его сверстник-писатель Александр Карасев. Одним словом, личность незаурядная, и интерес к ней не случаен: ведь и каждая новая книга его становится настоящим событием в литературной жизни.

Роман «Санькя» порадовал не столько революционно-протестным пафосом с примесью романтики, правдой характеров и типичными обстоятельствами, сколько харизмой, обаянием главного героя. После затяжного безгеройного периода литературы, когда на передний план вышла в основном инфантильная, самозамкнутая личность, бесконечно рефлексирующая по поводу и без, прилепинский Саша Тишин — что глоток свежего воздуха.

Так многие критики в качестве главного достоинства романа выявляют появление в нем «нового героя». Сергей Костырко похвалил Прилепина за попытку *«ввести в литературу новый социально-психологический тип. Тип современного революционера*[13]». Размышляя над литературными итогами 2006 года, Владимир Бондаренко написал: *«Я — не большой любитель нынешнего режима, но хочу видеть новых героев. И потому все-таки главным событием литературного года назову роман талантливейшего молодого русского нижегородского прозаика Захара Прилепина "Санькя"»*[14]. Далее Бондаренко говорит, что Прилепин *«прямой последователь русской классической литературы»*, и в качестве фундамента, на котором взращен роман, отмечает «Мать» Горького и «Как закалялась сталь» Островского. Не надо забывать, что произведения эти знаменуют появление не просто нового героя, но и качественные изменения самого общества.

---

[13] *Костырко С.* По кругу. — «Новый мир», 2006, № 10.

[14] *Бондаренко В.* А есть ли у нас литература? — «День литературы», 2007, № 2.

Андрей РУДАЛЕВ — родился в 1975 г. в Северодвинске. Окончил Филологический факультет Поморского государственного университета. Участник форумов молодых писателей России. Как литературный критик публиковался в журналах «Вопросы литературы», «Дружба народов», «Москва», «Октябрь», «Север», «Урал». Живет в Северодвинске.

Кто я такой?

В одной из давних передач Владимира Познера «Времена» запомнилась поднятая проблема. Почему русские мужчины ведут себя буквально самоубийственно. Говорили о том, что увеличивается доля потребления алкоголя, возрастает количество самоубийств... Да, и в общем люди нацелены на то, чтобы просто прожигать жизнь, следуя главному транспаранту нашего времени: бери от жизни всё. То есть отсутствуют элементарные перспективы личностного развития, нет цели в жизни, что автоматически запускает в действие программу самоистребления.

Пару лет назад от того же Захара Прилепина я услышал интересное определение: «поколение БМП». Аббревиатура расшифровывается довольно просто: «без меня победили» (в другой редакции — «поделили»).

Это поколение, выросшее на обломках некогда великой страны. Период начального накопления капитала прошел, все разобрано и прибрано к рукам. Молодым людям остается в лучшем случае сделать карьеру какого-нибудь менеджера среднего звена.

Если говорить штампованным языком, целый пласт молодых людей, полных энергии, оказался на обочине жизни, но это отнюдь не аутсайдеры, не безликие, уныло бредущие тени. Общество их отторгло, оно заставляет играть по своим правилам, ходить на бессмысленные выборы. Оформившаяся элита навязывает свою систему ценностей, свое мировоззрение. Уже сама попытка вырваться из этого тотального смога, очнуться от непрекращающегося гипнотического сеанса — шаг решительный и смелый, говорящий о большом достоинстве личности. Личности нового формата, зарождающейся на сломе эпох, гибели и зарождении цивилизаций, сформировавшейся сквозь хаос и анархию безвременья.

Это период, «*когда целое поколение оказывается между двумя эпохами, между двумя укладами жизни в такой степени, что утрачивает всякую естественность, всякую преемственность в обычаях, всякую защищенность и непорочность!*»[15]

Внешнему и явному бунту героя прилепинского романа «Санькя» предшествует внутренняя брань, преодоление опустошенности, душевной пустыни молодого человека, выросшего в новой России, личность которого формировалась вместе с корчами, муками становления еще не до конца оформившейся, во многом уродливой государственности.

Критики, рассуждая о герое романа, часто делают выводы, лежащие на самой поверхности, и ставят диагноз, будто профессиональные психотерапевты: «комплекс безотцовщины», отсутствие духовной близости с родными из чего проистекает «детская угрюмость», переходящая в «*капризную, мизантропию: мир не таков, как мне хочется, так пусть плохо будет миру*». Или: «*Саша находится в постоянной обороне от мира*», соответственно, «*полноту ощущения жизни он восстанавливает с помощью алкоголя*» (Сергей Костырко). Кажется, все понятно, но для пущей убедительности намекнули и на пристрастие к алкоголю, после чего многое можно интерпретировать в русле симптомов белой горячки.

---

[15] *Гессе Г.* Степной волк.

Обретение воли

Однажды с похмелья Саша Тишин проснулся с вопросом: «Какой я?» Вопрос для него неожиданный и при отсутствии привычки к рефлексии, — ведь он «*никогда не занимался самокопанием*», — принципиально важен для него. Еще бы! Когда обрублены все пути отступления, когда семья, прошлое личное, прошлое рода, «я» личности — все предано забвению. Ты снежным кубарем несешься вперед. Твоя личность, словно зеркало, на которое наступили сапогом, состоит из кусочков разноцветной смальты, из них еще нужно постараться собрать нечто, похожее на картину: «*силясь рассмотреть себя в осколках, можно было увидеть лишь непонятные черты, из которых никогда не составить лица*». До этого экзистенциального ощущения внутреннего хаоса Саша, по сути, плыл по течению, жизнь шла по накатанной: не совершил откровенной подлости, «*не пережил ни одного унижения*», «*всегда были друзья. Всегда были девушки*», то есть жил, как все.

И вот от этого шока осознания, через отказ от себя прежнего, от инерционного образа жизни, признанного обществом, которое, судя по всему, было даже благосклонно к Саше, он совершает тягостное, мучительное перерождение. Теперь только он, Саша Тишин, — центр всего, и от него все зависит, вся космогония этого мира завязана на нем. Ослепление чуждым миром, чужая воля преодолевались долго, не просто. Через разрушение стереотипов, жестокое избиение, через выполнение втемную заданий «союзников», пока две бутылки знаменитого «молотовского коктейля» не стали оттягивать внутренние карманы его куртки, пока он не стал самостоятельно рушить кривые зеркала навязанной и агрессивной реальности.

Поиск самосознания, внутреннее домостроительство героя происходит через единение с общностью — полумаргинальной организацией «Союз созидающих». Отсюда и роман не стал герметичным потоком сознания, а приобрел мощное нарративное начало.

Говоря о «Союзе», автор преодолевает какую бы то ни было казенную политическую стилистику, патетическая лозунговость сведена к минимуму. О «*"революционно"-романтической взволнованности стиля*», которую подметил в романе критик Сергей Костырко, можно говорить с большой долей условности.

Сергей Беляков называет идеологию «Союза» «*стихийным анархизмом*», который изначально запрограммирован на поражение, все их действия могут «*окончиться только гибелью*». По его мнению, благоприятная среда существования «союзников» — бунт, «*их идеал не победа, не новое, справедливое общество, а борьба и героическая смерть*»[16]. Однако, скорее всего, это не форма, а некоторый необходимый период существования.

Это особый, сложный и мучительный обряд инициации, очищения.

Сложно согласиться с Беляковым, что «Союз созидающих» назван так «*словно в насмешку*». Вся Санькина «революция» нацелена на любовь, на созидание. Ассоциация же с аббревиатурой «СС» — особый прием инвер-

[16] *Беляков С.* Заговор обреченных, или Захар Прилепин как зеркало несостоявшейся русской революции. — «Новый мир», 2006, № 10.

сии, пародирования обывательского, то есть детерминированного, сознания. Прилепин здесь сознательно предвосхищает устоявшуюся практику навязывания штампов, ярлыков, по сути, отрезает возможность спекуляции на «красно-коричневой» или неонацистской «заразе». В «Санькя» вообще важна трансформация имени, наименований. Так члены «Союза» именуют себя «союзниками», журналисты на них повесили ярлык «эсэсовцы», с целью же унижения молодых ребят, состоящих в организации, придумали — «отсосы». Ну а достаточно необычную вариацию имени Тишина — «Санькя» — использует лишь его бабушка, и не случайно, что именно это обращение, сошедшее с ее уст, становится заглавием произведения. Можно вообще при желании сложить формулу: Санькя + «Союз Созидающих» = революция как средство обретения Родины. Вот вам и аббревиатура СССР...

Притянуто за уши? Возможно, но не более, чем ассоциация с эсэсовцами.

Не совсем прав тот же Сергей Беляков, когда говорит, что «*герои Прилепина выросли уже в новой, буржуазной России*» и «*узнать о прошлом молодым "эсэсовцам" неоткуда*»: впечатление о прошлом, малое знание о нем у них еще сохранено, хоть и, действительно, «корни эти усыхают», и процесс этот не зависит от личных качеств. Человек все больше втягивается в ситуацию, когда от него ровным счетом ничего не зависит, достаточно плыть по течению, принимать безропотно все, что тебе дозволяют, и делать то, что разрешают. Это искусственно возведенная фатальная реальность, в которой все живое отмирает, так же, как и связь с прошлым («*умирает дед, недолго осталось и бабушке*»).

«Союз созидающих» врывается в роман на первых же его страницах, где развертывается картина московского погрома. Здесь помимо всего прочего обращает на себя внимание описание самих «союзников». В самом начале это некое неделимое целое: «*Непонятные, странные, юные, собранные по одному со всей страны, объединенные неизвестно чем, какой-то метиной, зарубкой, поставленной при рождении*». Особый акцент делает автор на общей особенности всех этих ребят: они «*непонятные, странные*», они иные. Далее в общем портрете проявляются индивидуальные единицы этой общности: Матвей, Яна, Саша. Их действия и функции представлены по нисходящей роли во всем действе: Матвей «возглавил» партию, Яна в этой стихии человек действия, Саша — несколько в стороне «*стоял возле строя, не найдя своего места*».

При первом своем появлении в романе Саша Тишин не предпринимает активных действий, он довольно пассивен. Он пытается анализировать, размышлять, выступает как наблюдатель. Однако затем и сам обретает действие, его также заражает окружающая стихия. Главный герой ведóм, действует по инструкциям, которые ему спускают, часто в темную; он — будто марионетка в руках неведомых сил, пока сам не возьмет все в свои руки и не поведет за собой, обретая тем самым и свою самостоятельность. Подобное обретение своей воли, своего голоса происходит на всем пространстве романа: то Саша рекомендует на опасную рижскую акцию своего приятеля Негатива, то его самого избивают, порученное ему убийство судьи совершает другой, и только после всего этого Тишин сам ведет стихийную ватагу на погром в Макдональдсе.

Взрыв собственного самосознания — это и есть политика, ведь это не что-то совершенно отстраненное «внутреннему человеку» Саше Тишину.

Это не сомнительное искусство различных иллюзионистов-шулеров, а твердая, во весь голос заявка своей собственной позиции. Это эманация сокровенных тайников души. Ведь не случайно его дело «*никогда не было политикой, но сразу стало тем, наверное, единственным смыслом, что составил Сашину жизнь*». Еще в самом начале романа, когда колонна «союзников» скандировала «Любовь и война!», Саша изменил для себя этот лозунг и кричал: «Любовь, любовь!»

Преодоление пустоты

Первостраничный митинг, переросший в беспорядки в Москве, лишь попробовал город на зубок, и он оказался колоссом на глиняных ногах, «*слабым, игрушечным, — и ломать его было так же бессмысленно, как ломать игрушку: внутри ничего не было — только пластмассовая пустота*». Московская акция сама по себе мало значима, она имела смысл, в первую очередь, для самоидентификации героя. Это был познавательный период его взросления. Город слаб, он — лишь искусная имитация реальности, и поиск смысла здесь ни к чему не приводит. В преодолении этого разочарования Тишин едет в деревню, где у него — умирающий дед, бабушка, да воспоминания о детстве.

О деревне Санькиного детства Прилепин пишет, используя традиционные для литературы образы-символы моря, мореплавания. Она «*отчалила изрытой, черствой, темной льдиной и тихо плыла*», и плавание этой льдине предстоит недолгое, ее темная субстанция уже готова раствориться в бескрайней стихийной пустыне. Не только внешний мир враждебен ей, но и сама она не способна уже к жизни, потому как вырвана, отколота от привычной среды. Это затерянный Ноев ковчег, давно уже обветшавший и медленно разрушающийся.

Саша приезжает в деревню, чтобы еще раз подтвердить для себя связь, чтобы идентифицировать себя с ней, и поэтому эта льдина в равной мере есть также и он — маленький осколок, отколовшийся в ходе ее неумолимого таяния. Для Тишина крайне важно восстановить ассоциативный ряд, связывающий настоящее с прошлым, найти причал для упрямо тающего айсберга.

Первое, что ему попадается на глаза в деревне: бабушка, коротающая время на лавочке, да играющий рядом ребенок. Но оба они «*словно находились в разных измерениях*», — констатирует автор. Бабушка поведала о том, что произошло в деревне. Рассказ свелся к длинному мартирологу: тот умер, тот разбился либо удавился. Символ этого состояния — женщины в черных платках, похоронившие своих бесшабашных сыновей, которые в круговороте бессмысленного существования летят на огонь... Женщины, похоронившие свои надежды, свое будущее.

Следствие этой разделенности поколений — запустение, умирание деревни, которое, что очень показательно проявляется и внешне, через вид той же улицы «*пустынной, темной и грязной*». Этот ребенок и старуха, которые рядом и одновременно чудовищно далеки друг от друга, есть особая проекция санькиного внутреннего мира, который во многом неосознанно стремится к преодолению разобщенности.

Тишин — блуждающий осколок, его «деревенская порода», его связи с малой родиной «*давно сошли на нет*». Этот факт особенно печален, так как деревня есть проекция, микрообраз центрального понятия аксиологии героя — родины. Однако достаточно скоропалительный вывод делает Сергей Беляков, будто здесь Санька чужой, что «*корешков таких в его душе не осталось, что могли бы на деревенской почве прижиться*». Нет, именно в деревне у Тишина наиболее отчетливо возникает мысль о «чувстве родства», которую он высказывает в одном из диалогов. Только через это чувство, во многом бессознательное, обретаемое в детстве и проносимое через всю жизнь, достигается «*понимание того, что происходит в России*». У тех же «союзников» «чувство родства» развивает ощущение «*внутреннего достоинства*».

Ощущение одиночества преодолено: ведь «*какое может быть одиночество, когда у человека есть память — она всегда рядом, строга и спокойна*». При всей своей видимой разобщенности, при всем анархизме и оппозиционности по отношению к миру Тишин далеко не одинок, он постоянно ощущает себя частью целого. Причем не просто частью его, но его хранителем: «*Только один он, Саша, и остался хранителем малого знания о той жизни, что прожили люди, изображенные на черно-белых снимках, был хоть каким-то свидетелем их бытия*». Прошлое уходит вместе с родней далекой и близкой. И свидетельства о жизни этих людей, оставшиеся запечатленными на фотографиях, информация об этой жизни, знание о «*семейном иконостасе*», его генетический код — все это остается только у него. Саша — хранитель семейного предания. Причем семья у него не исчерпывается близкородственными узами. Семья — это и отношения, которые он стремится наладить с миром, блудный сын его.

В «Крушении кумиров» Семена Франка я нашел высказывание, которое, как ни странно, удивительным образом созвучно умонастроению Саши Тишина: «*Одно родное существо есть, впрочем, у нас всех: это — родина. Чем более мы несчастны, тем более пусты наши души, тем острее, болезненнее мы любим ее и тоскуем по ней. Тут мы, по крайней мере, ясно чувствуем: родина — не "кумир", и любовь к ней есть не влечение к призраку; родина — живое, реальное существо*». В своей несчастной отделенности главный герой подходит к переживанию необходимости живоносной связи не просто с географическими координатами места рождения, но с особой живоносной материально-духовной субстанцией. Ведь прежнее пространство детства, семьи, свободы сейчас заменено на ложные цели, мишурные ситуации, сомнительные приоритеты, причем все это связывает по рукам и ногам. Высвободиться отсюда можно через порушение общепринятых норм, бунт против мещанской идеологии.

Революция надежды

Традиционно одно из сильнейших мест Прилепина — диалоги. Без них он не обходится ни в романах, ни в рассказах. Глубокомысленные диспуты, разговоры о смысле жизни, о национальной идее, о Боге очень любимы автором. Это можно было заметить еще по роману «Патологии». В «Санькя» такими центральными диалогами становятся беседы Тишина с бывшим

учеником его отца, преподавателем философии, а в настоящем — советником губернатора Алексеем Безлетовым.

Философ-чиновник исповедует, условно говоря, особый либеральный нигилизм. Позиции неприятия существующего порядка вещей Саши противопоставлена точка зрения, что никакого порядка и нет, как впрочем, нет ничего такого, о чем можно было бы сожалеть. Советник-инквизитор XXI века заявляет: «*здесь нет ничего, что могло бы устраивать. Здесь пустое место. Здесь даже почвы нет... И государства нет*». «*Твой народ... невменяем*» — удар за ударом наносит Безлетов Саше, искушает его. Страны никакой нет, людям лишь надо дать дожить «спокойно по их углам».

Следующий шаг, прямо вытекающий из подобного нигилизма, — человекобожеский проект: лепить из ничего, из своего собственного материала все что угодно по личному разумению, внушить народу то, о чем с восторгом заявляет герой платоновского «Котлована»: «*Я же — ничто!*» Таковы реальные выводы из безлетовских формулировок. «*Народ перестал быть носителем духа*», «*Россия должна уйти в ментальное измерение*», то есть стать особого рода мифологемой, которая не имеет ровным счетом никакой связи с реальностью. Быть может, против этого перехода в ментальное измерение и протестует Санькя, пытаясь обозначить территорию реальности, против превращения людей в глиняную консистенцию, из которой можно лепить все что угодно.

Безлетов орудует философско-эстетическим скальпелем, ему и «Союз созидающих» удобно воспринимать именно как «эстетический проект», новый свежий продукт, который доставили в супермаркет, особый перформанс, призванный шокировать общественность. Он сторонник базаровской посылки расчистить плацдарм, напалмом выжечь территорию, чтобы на этой площадке сконструировать что-то принципиально новое. Он — конквистадор, несущий весть о новой цивилизации огнем и мечом, все прочие для него — аборигены, временное препятствие на пути.

Не случайно один из «союзников» Рогов прокомментировал реплики Безлетова: «*Саш, ты заметил, он ведь тебя, да и всех нас, считает айсорами, которые обувь чистят, а себя хранителем русского духа...*». Безлетовская идеология сильно отдает сектантством с четким делением на профанное и сакральное, «третий мир» и «золотой миллиард» и обозначением особого эзотерического пространства для посвященных — «хранителей». Он — мистагог несуществующего культа; отрицая разумные основания и саму реальность окружающего, он сам подвержен тлетворному духу разложения, пустоты.

Саша — хранитель родовой памяти, Безлетов — форпост легитимизированной пустоты. Наблюдая, как оппонент с аппетитом ест суп, Тишин замечает: «*В этой стране революции требует все*», иначе попросту невозможно избавиться от той же пелены безлетовской философии.

Этот вихрь под названием «революция» врывается в самом начале романа, когда все «*семьсот человек... кричали слово "Революция"*». Когда-то С. Аскольдов в статье «Религиозный смысл русской революции» писал, что революции происходят «*на почве ослабления религиозного сознания*». Революция, по словам Тишина, «*наступает, когда истончаются все истины*». В мире, в котором вольготно Безлетову, истин как раз и нет.

Вокруг этого понятия и развертывается диалог, равносильный надрывным диспутам героев Достоевского. Если для Саши средоточие многих бед — существующее общественное устройство, государственная машина, которая посредством идеологического инструментария формирует наше сознание, наши представления о мире, то Алексей Безлетов заявляет, что «*истины истончаются в вас самих!*» Крайне удобная тактика, во всю обкатанная в последнее время теми же СМИ: навязать комплекс неполноценности. Вот почему Тишин называет ее «пошлостью».

Выходит, что все беды России, сопровождающие всю ее историю, происходят из особенностей русского народа. Растекаться по этому поводу любят бесконечно и очень изощренно, особенно в те моменты, когда государство складывает с себя всяческие обязательства, когда такие реалии, как «моя родина, ее почва, ее дети, ее рабочие, ее старики», легко подменяются понимаемой сугубо прагматично «свободой» и абстрактным понятием «общечеловеческие ценности».

Революция. Понятие это достаточно многозначное. Так, с одной стороны, оно может мыслиться с сугубо отрицательной коннотацией, как не имеющая «самостоятельного содержания» и характеризующаяся «*отрицанием ею разрушаемого, поэтому пафос революции есть ненависть и разрушение*». Но, с другой, революцией можно считать «*выступление Дмитрия Донского по благословению преподобного Сергия против татар*» как против законной власти[17]. По сравнению с 17-м годом революции сейчас трансформировались, причем существенно. Они уже не такие грандиозные, нет вселенского размаха, чаще всего номинальны и формальны, отдают мещанским душком. Часто воспринимаются они как особая пиар-кампания, замешанная на конспирологии.

У Прилепина революция имеет скорее созидающее значение. Это некоторая необходимая стадия, через которую происходит возникновение нового, прорыв «карты будня». С точки зрения обывательской логики, она может быть совершенно не понятна. Поэтому в критике прилепинские герои часто выставляются как пьянствующие от безделья юнцы, практически безвольные, ведомые чьей-то волей, идеей. Они в лучшем случае смешны, а действия их бессмысленны, как битье головой о стену с железными шипами. В мире внешнего довольства, достатка и глянцевого показного благополучия любой протест может стать аморальным и незаконным.

Может показаться, что, как в романах Достоевского, Прилепин моделирует ситуацию, когда идея замещает человека и он уже перестает мыслить себя вне ее. Однако в «Саньке» нет принципиального теста на идейность, любое искусственное построение напрочь отвергается; Саша на пути поиска основ жизни, ее ценностных констант. Нет какой-то внешней идеологемы, которая бы детерминировала жизнь, связывала волю. Наиболее важно то, что исходит из его внутреннего мира, глубоко переживается героем.

Революция Тишина во многом происходит из-за затухания семейно-родовых уз. Индивидуалистический мир предельно агрессивен по отношению к традиционным ценностям. Человек в нем одинок, взаимоотношения

[17] *Булгаков С.* Героизм и подвижничество.

между людьми в лучшем случае поддерживаются товарно-денежными отношениями. Вот поэтому в революции Санька Тишин видит последнюю опору. Для него она — лекарство порушенному миру. Можно без преувеличения сказать, что Тишин противостоит началу того периода истории человечества, «*в котором человек перестанет быть человеком и превратится в бездумную и бесчувственную машину*», о наступлении которого предостерегал, в частности, Эрих Фромм в «Революции надежды».

Революция — осознание самости, с ней связана динамика взросления Саши, путь к очевидности, к осознанию несложных и понятных истин (всему этому можно противопоставить декларативное морализаторство в повести Сергея Шаргунова «Ура!», подхваченное в качестве броского транспаранта). Эти истины априорны, они не обсуждаются: «*Бог есть. Без отца плохо. Мать добра и дорога. Родина одна*». Такова простая и естественная система ценностей, с которой Тишин легко пришел к «союзникам», ведь «*все остальное к тому времени потеряло значимость*»: власть не интересовала, «*к деньгам относился просто*», из семьи осталась практически только одна мать.

Революция Саньки — тоска по семье, по родине, живые связи с которой все более затираются, превращаясь в малозначащие автоматические лозунги. Его порыв к ней — это попытка вспомнить, попытка установить родство если не с семьей, то пусть с эфемерной пока еще Родиной, усилие, которое достигается ценой жертвы, личной жертвы.

В своем дневнике Федор Абрамов оставил замечательное высказывание: «*Самопожертвование как высшее проявление русской красоты*»[18]. Подобной красотой светится Саша Тишин.

Каждый в ответе за всех

Жизнь героев Прилепина отнюдь не лежит лишь в эмпирической плоскости, они с завидной регулярностью покушаются на мир трансцендентный, поднимают онтологические вопросы. В традиции отечественной литературы это — норма, однако с точки зрения современного литературного процесса скорее исключение из правила.

Человек в интерпретации писателя — микрокосм, но не украшенный, неупорядоченный, с огромными зияющими пустотами внутри: «*это огромная, шумящая пустота, где сквозняки и безумные расстояния между каждым атомом. Это и есть космос*». И в тоже время мир, окружающий нас, есть проекция нашего сознания. В этом плане структура мироздания может восприниматься как взаимосвязанная система отражений: «*И мы точно так же живем внутри страшной, неведомой нам, пугающей нас пустоты. Но все не так страшно — на самом деле мы дома, мы внутри того, что является нашим образом и нашим подобием. И все, что происходит внутри нас, — любая боль, которую мы принимаем и которой наделяем кого-то, — имеет отношение к тому, что окружает нас*».

Эта интуиция, это переживание Прилепиным сформулированы практически в духе православной традиции. Вспоминается при этом образ, довольно

[18] *Абрамов Ф.* Так что же нам делать? СПб., 1995.

распространенный и часто используемый в святоотеческой литературе, который приводит, в частности, Семен Франк: «*Подобно тому, как листья дерева отделены и как бы обособлены друг от друга, непосредственно не соприкасаясь между собой, но в действительности живут и зеленеют только силою соков, проходящих в них из одного общего ствола и корня, и питаются влагой общей почвы, так и люди, будучи вовне обособленными, замкнутыми друг от друга существами, внутренне, через общую связь свою с всеобъемлющим Источником жизни, слиты в целостной единой жизни*»[19].

Христианское учение свидетельствует о человеке как вершине творения. Он — главное доказательство единения миров. Единство мира чувственного и умопостигаемого иллюстрирует по мысли преп. Максима Исповедника «*человек, состоящий из души и тела*». Единство миров утверждено законом Творца, согласно которому их «*дружественное родство*» обладает неизменно большей силой, чем их личные свойства, индивидуальные качества, ведущие к разделению, дифференциации миров. Исходя из этого, Максим Исповедник подходит к необычайно важному утверждению, что «*сущие, согласно единообразующей связи, принадлежат скорее друг другу, нежели самим себе*»[20].

В отечественной литературе Нового времени всегда была актуальной попытка разрешить извечную проблему примирения интересов «я — мы», личного, интимного и общего, доказать, что здесь нет ведущего и нет ведомого, а есть последовательная причинно-следственная связь, как и в любви: «я» становится «мы», а «мы» — «я». С точки зрения христианина, все в мире особым образом организовано, взаимосвязано, соединено. Всякая дифференциация явлений, всякое деление на индивидуальности возможны лишь только во внешнем созерцательно-чувственном плане. Органы чувств не в состоянии уловить все внутренние скрепы явлений, которые раскрываются через нравственную философию — «умное зрение». Только «умное зрение» дает представление о мире как системе зеркал, где все отражается во всем. Отсюда состояние любого звена в этой связке прямо влияет на все остальные. Вопрос ставится о способности ретранслировать исходное изображение, в котором будто в зеркале видится «слава Божия» (преп. Максим Исповедник) без каких-либо искажений, искривлений, поскольку они с нарастанием передаются дальше, внося диссонанс, хаос, противоречия в общий единый строй. Так, например, частный грех отдельно взятого человека может стать прямой причиной кровопролитной войны, унесшей жизни десятков тысяч.

Таким образом, христианское учение утверждает мысль о том, что каждый в ответе за все и всех. Нет чужого несчастья, чужого горя, чужого преступления. И любое исправление возможно только через очищение, т. е. возвращение вспять через источник искажения к первоначалу — чистому незамутненному образу.

Так, к примеру, Федор Абрамов в своей «Чистой книге» сравнивал человека с кораблем, который «*обрастает ракушками, водорослями, тиной. И*

---

[19] Франк С. Цит. соч.

[20] *Прп. Максим Исповедник.* Богословские и аскетические трактаты. Книга 1. М., 1993.

ему надо время от времени очищаться. Самое надежное и самое действенное очищение — религия, искусство, простое человеческое слово».

Осознание этих взаимосвязей рождает не фатализм — слепое поклонение внешней, неподвластной тебе силе, а ощущение собственного долга, особого предназначения, призвания в жизни. Прилепин пишет, что Саша обладал твердым знанием, *«что ничего не избежать, он Саша, все сделает, до конца. Словно это уже вне его воли и вне его власти — как приговор».* Жизнь посвящена высшей идее, высшему долгу, ради которого личное благополучие, личное счастье должны быть принесены в жертву, — ко всему этому он пришел путем свободного выбора.

Последнее описанное в романе действие Саньки: он положил в рот нательный крестик. Быть может, именно в этот момент жизнь главного героя стала наполняться смыслом, изничтожая кромешную внутреннюю пустоту, искоркой вспыхнула мысль: все *«вот-вот прекратится, и — ничего не кончится».* Если до этого в той же ситуации сопоставления своего «я» и России он ощущал свою внутреннюю вторичность и даже случайность, то теперь — истинное безусловной родство с миром, в котором малый человек становится краеугольным камнем всего. Он — его творец.

Про́клятый сын

Владимир Елистратов отметил, что Тишина можно с полным основанием отнести к категории «герой времени». Это не штампованный, не раздутый СМИшными ужасами образ молодого безбашенного экстремиста, не революционер в романтических тонах с наганом и в кожаной тужурке, а *«простой русский парень с неутраченной и жгущей его изнутри жаждой справедливости. И он внутренне мечется между любовью к людям и ненавистью к бездушной системе»*[21].

По словам критика, таких людей становится все больше, и *«это действительно назревающий взрыв, реалистически спрогнозированный автором».*

Санька Тишин — традиционный странник-правдоискатель, исследующий болевые точки, которые появились на теле страны, в душе человека за последнее время. Это правдоискание всегда сопряжено со страданием, трагизмом. Не герой таков, что не может нигде прижиться, а сама почва и в городе, и в деревне, и в головах перестает быть плодородной, она выдувается ветром, утрамбовывается катком, закатывается в асфальт ложных целеустановок. Именно поэтому в романе прорисована ситуация неустроенности героя, он пребывает в некоем вакууме. Тишин вне города и деревни; прошлое уже практически ускользнуло, а будущее под большим сомнением, да и люди, встречающиеся на пути, лишь случайные попутчики. Он одинок, потому как — деятель, трудник нового мира.

Герой, как и «союзники», бесприютен. Об этом говорит и древний дед, встреченный во время остановки в случайной избе по пути в деревню: *«В сердцах ваших все умерли, и приюта не будет никому».*

---

[21] *Елистратов В.* Накануне реализма. — «Нева», 2007, № 10.

Сашка находится в промежутке и никак не может прибиться к какому-то берегу, ведь сами координаты берегов размыты. Он между прошлым и настоящим, между семьей: дедом с бабушкой, почившим отцом и матерью, — а с другой стороны, группой, партией, идеей, с которой также слитно связан еще от рождения. Он, как Парус Лермонтова, завис в пространстве, вне вертикальных и горизонтальных координат: «счастия не ищет», да и не бежит от него, а вожделенный покой обретается лишь в борьбе, «буре».

Герой уже упоминавшегося здесь Сергея Шаргунова («Ура!») сделал попытку вырваться из чуждого, как тина облепляющего со всех сторон, мира, посредством манифестально-лозунговых жестов. Тишин Прилепина, реально оценивая всю бесперспективность многих своих поступков, твердо укрепился в знании приоритетных вещей, ради которых можно и смерть принять. Он ведом четко осознаваемым долгом: ты — последний хранитель родовой памяти, ты — мостик в образовавшемся провале между прошлым и будущим, и именно от тебя зависит, каким будет завтра.

Долгое время нам повторяли, что никакая идея не стоит ни одной даже самой малой жертвы. Саша же демонстрирует приверженность не мумифицированной, но живой идее, которой является семья, род, Родина. Да и он сам, его личность замешаны не на постулате эгоистической вседозволенности, а на глубоко переживаемой мистической взаимосвязи с миром. Он отстаивает право на протест, на открытый ясный взгляд на мир, на возможность собственного суждения. Через жертвенность, через отрицание себя, он приходит к обретению своей истинной самости, своего голоса: «*Я, Саша Тишин, считаю вас подонками и предателями! Считаю власть, которой вы служите,— мерзкой и гадкой! Вижу в вас гной, и черви в ушах кипят! Все! Идите вон!*»

И пусть голос этот будет, в какой-то мере, созвучен голосу древнерусского юродивого, обличающего власть имущих, он избавляет от тотального гипноза навязанных стереотипов. Примерно то же выкрикивает перед смертью чекистам Андрей, герой давней повести Леонида Бородина «Вариант»: «*Слушайте, вы, подонки! Вы привыкли, чтобы перед вами ползали на коленях, вы привыкли хватать людей, как мышей! Попробуйте возьмите меня! Я первый стреляю в вас! Но скоро вас будут взрывать, давить машинами, бросать под поезда! Преступники — это вы! Вас научат бояться, сволочи!*»

И ведь, действительно, осознание того, что «преступники — это вы», в скором времени пришло.

Тишин вовсе не беспечный романтик, он достаточно четко ориентируется в ситуации, трезво оценивает свои силы. Себя он называет «прóклятым», понимает, что едва ли будет понят, едва ли будет оправдан своими современниками. Сейчас Саша отлучен от общества, маргинал, но ведь именно такие часто становятся в будущем героями. Герой — творец нового мира и его художественный жест, как правило, радикальный, это прорыв застоявшейся заскорузлой реальности, разрушение стереотипов. Это самоубийственный шаг.

«*Такие, как ты, спасаются, поедая Россию, а такие, как я, — поедая собственную душу*, — неистово чеканит Саша во время последнего диалога с Безлетовым в захваченной администрации губернатора. — *Россию питают*

души ее сыновей — ими она живет. Я ее сын, пусть и про́клятый. А ты — приблуда поганая».

Выражение «приблуда поганая» явно не из словаря Тишина, его устами здесь говорит сама твердь земли русской, его деревенские старики, с которыми он именно здесь стал одним целым. Сам автор в одном из интервью сказал: «*У меня сложилось ощущение, что Россия жива, пока в ней есть про́клятые*»[22].

«Про́клятый» — это и непонятый, иной, лишний человек XIX века. Инаковость не всегда воспринималась в значении изгойства, она может характеризовать человека свободным от пороков общества, через что тот получает право предписывать обществу норму, высказывать правду без обиняков. Таковой во многом была в Средние века роль христианского аскета, «*странника и пришельца в этом мире*». Вопрос о разграничении проклятости, отверженности и, с другой стороны, святости, подвижничества очень тонок. По некоторым свидетельствам, в будущем, пройдя через монастырь, Алеша Карамазов Достоевского должен был стать, по замыслу автора, революционером. Федор Абрамов в своем неоконченном романе «Чистая книга» также показывает нам радикальную эволюцию одного из своих героев — младшего сына в семье Порохиных Гунечки. Вначале это был очень богомольный молодой человек, готовился в монахи, но позже революция завлекла его, захотел он Царство Божие организовать. В восемнадцать лет Гунечка записался добровольцем и был убит в первом же бою.

Кто же такие «про́клятые» люди, заключают ли они в себе основные поколенческие признаки или их можно воспринимать как казус, исключение из правил — это еще вопрос. Однако некоторые штрихи их совокупного портрета, после знакомства с Сашей Тишиным, отметить можно.

Характерно устойчивое переживание включенности в целокупный исторический контекст нации, а также тоска по близкому историческому прошлому, с которым связано детство героя. Оно ушло естественным образом посредством временно́й изменяемости, но также и насильственно: изменился общественный строй, уклад жизни, произошла ротация системы ценностей, разрушена мощная держава. Молодое поколение, сформировавшееся на этом сломе эпох, зачастую воспринимает эту трансформацию крайне болезненно, как раскол семьи, уход близкого человека. Подобное настроение характерно можно определить в качестве характеризующей черты многих представителей нового поколения в литературе. Особенно явственно это проявляется в романе Василины Орловой «Пустыня», прозе Романа Сенчина, Ирины Мамаевой.

Традиционно слом эпох, коренные исторические, формационные изменения в литературе показывались через историю семьи, смену ее поколений. У Прилепина обрисована ситуация *после*, когда уже и семьи-то практически нет. Осталась лишь память, которой во многом и живет Тишин, как герой Гайто Газданова («Вечер у Клэр»), потерявший после революции родину, восстанавливает ее только по воспоминаниям.

---

[22] *Прилепин З.* Это просто мужская работа. — «Политический журнал», 2007, № 7–8.

Интимно-личностные переживания преодолеваются (недаром Тишин крайне редко предается рефлексии), молодой человек вырастает до осознания себя частью некой новой, далеко не формальной общности, лидером и вождем которой он готов стать.

Это право ему дается через переживание исторического единства. У Тишина происходит обретение исторического чувства, чувства живой истории и взаимосвязи с миром. Он не только связан с семьей, малой историей, но включен в большую историю рода, страны, духовное единство с которыми ощущается все более. Поэтому он очень остро ставит историософские, онтологические вопросы. Его задача — внести порядок в хаотизированный строй мира, что достигается через личную жертву.

Отсюда проистекает видимый радикализм героя, являющийся, как ни странно, следствием его традиционализма. Он лермонтовский «Листок», только не собственной волей, а насильственно сорванный с дерева: вырос, воспитан в одной стране, с определенной системой ценностей, и все это контрабандой пытаются изменить, подменить. Если Безлетов свыкся с этой ситуацией, говоря: «Нет ничего», — то Тишин протестует: если нет, то, по крайней мере, было, а раз было, значит, забрали...

Миссия «про́клятого героя» — восстановить баланс, начать все с нуля. В финале романа призрак либерализма, который символизирует Безлетов, выброшен в окно. После этого жеста Саша Тишин с нательным крестиком становится символом нового-старого ментального этапа в жизни страны, когда она, ее народ, история будут рассматриваться в своей совокупности, а не в ложной хаотической дробности. Для этого и нужно преодолеть призраки дня нынешнего и вспомнить историю рода, найти себя, что и пытается, по мере сил, сделать Санькя.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

(Четвертый квартал 2008 г.)

А. «Волга», «Дружба народов», «Знамя», «Москва», «Наш современник», «Новый мир», «Октябрь»

Интересен по замыслу, ярок, но и противоречив по исполнению **роман Дениса Гуцко «Домик в Армагеддоне»** («Дружба народов», № 12) — о поиске веры и способе жизни современного молодого человека, не удовлетворенного пошлостью окружающей гламурно-коммерческой цивилизации. Главный герой вырос сиротой при живом отце, его воспитала бабушка. Детство Фимы было скудным и скучным, *душа ныла, искала уюта.* Герой пытается найти себя поочередно в двух православных молодежных братствах, представляющих собою эдакие скрещения храма с казармой... *Православие,* — думает Ефим — *штрафбат, которому отступать не велено. Которому полечь суждено, чтобы другим дорогу расчистить. И нас как только не называли. Православным комсомолом называли, церковным спецназом. А только мы — последняя для всех надежда. Не будет великой православной России — никакой не будет.* Сначала на пути героя — опекаемая православным духовенством и местной властью молодежная организация Владычный Стяг. Это своего рода военно-церковный орден православных скаутов: дисциплина, сплоченность, жесткий распорядок — уроки православия, построения, рукопашный бой, полезный труд, молитва. Фима уверен, что *Стяг — дело для настоящих мужчин*, жаль только, что ничего серьезного им не поручают, кое-кто, небось, даже думает про стяжников: *слабаки, крещеная пионерия.* И парни начинают самовольничать. Для начала прекращают ночные автогонки у станичного кладбища: *Пришли на кладбище с факелами и парой канистр бензина. Не говоря ни слова, проткнули шины. Самого ретивого свалили на землю и бензином облили. Все молча, без суеты...* По соседству строят *город азарта* Шанс-Бург — центр игорного бизнеса, и ночами стяжники проникают на стройку, пишут краской на стенах, на авто «Новый Армагеддон», «На Армагеддон!», рисуют смерть с косой — православное граффити. Это они называют *армагеддонить...*

Но однажды Стяг прекращает свое существование, а Ефим с товарищами попадает в Православную Сотню. Членам этой почти тайной организации обещано настоящее Дело — ради возрождения Святой Руси, ради освобождения ее от *басурманщины* и *иезуитчины.* Однако не находит себя Фима и в Сотне, где *православием бряцают как оружием*, а Бога *вспоминают исключительно в разговорах о грядущем величии России.* Вообще бунт молодых крестоносцев носит какой-то демонстративно-декоративный характер. Герои больше говорят, чем делают, дела же их нелепы, бессмысленны и неудачны, как, впрочем, и всякое проявление *соборности в армейских сапогах*, выражаясь словами еще одного персонажа романа Кости Крицына. Тот же Костя говорит: *величие российское к чему ни приставь — беда. Жестокое оно какое-*

то, величие наше. Каннибальское. Кому-то надо непременно в землю лечь, чтобы другим величия приобщиться. И эти слова, судя по всему, выражают позицию автора. Недаром и Ефиму кажется, что *он постоянно ходит под чьим-то испытующим взглядом. Живет как в рентгеновской кабинке. Тоска частенько хватает его за сердце...* К нему и впрямь здесь присматриваются и решают: не наш Фима. Так оно и есть, ибо последняя фраза романа закрывает все, что было с Ефимом прежде: *Отчаянно хотелось тишины...*

...Ряд проблем этой вещи зафиксировал уже первый ее рецензент Роман Сенчин. Он, в частности, отметил и то, что религиозные переживания и духовный опыт юных героев Гуцко довольно поверхностны. Действительно, Гуцко смотрит в романе на происходящую православную реформацию в основном со стороны, оценивает ее опасности, предупреждает и предостерегает, взывает к отцам, забывшим о детях, — но и сам замысел, и средства его реализации не предполагают подробной и внятной игры духовных контроверз. Автор отслеживает не столько отчетливые духовные смыслы и их противостояние, сколько эфемерные эмоциональные реакции. В романе есть жестковатость, энергетика и аскетизм, но он едва ли подходит для выражения глубокой диалектики идей.

Среди самой заметной прозы сезона — тексты **Леонида Зорина**. В «Новом мире» (№ 11) опубликованы два мемуарных очерка «Из «Зеленых тетрадей»». Прекрасный **очерк «Отец»** — воспоминание об отце, с которым автора связывали тесные духовные узы. Сын уехал в Москву заниматься литературой и театром, отец остается в южном городе. *Он ощущал, что связь его с сыном, казавшаяся почти запредельной, проросшей и в нем и во мне, слабеет. Да и могло ли сложиться иначе? Жили мы врозь, меж нами лежали горы и степи, мы месяцами не заглядывали друг другу в глаза. Стали несхожими наши дни и, уж тем более, вечера. Что обещали ему его сумерки? Кварталы с потушенными огнями на тесной, то душной, то слякотной улочке? И что могло посулить ему утро? Он помолчал, потом признался: — С тех пор, как ты здесь, я обездолен.* Сюжет об отношениях отца и сына сплетается с воспоминаниями о юношеских амбициях, связанных с намерением изменить мир, усовершенствовать в середине 50-х общество постсталинского розлива. В **очерке «Казанские гастроли»** Зорин вспоминает о встрече в холле казанской гостиницы с неким актером, не удовлетворенным жизнью. Это впоследствии срифмовалось у автора с историей о московском убийце. *Он представлялся жильцам и хозяевам — порой это были малые дети — сотрудником коммунальных служб, потом доставал припасенный топорик и убивал доверчивых жителей с безжалостным, беспощадным спокойствием. Трофеи его обычно оказывались нищенски жалкими и ничтожными, но это его не останавливало и в малой мере, он не гнушался и ничего не стоящим скарбом. Эта кровавая одиссея закончилась через две недели — был схвачен на казанском вокзале <...> Газеты приводили подробности — артист оренбургской оперетты...* А в *«московском романе»* **«Глас народа»** («Знамя», № 11) писатель изобразил некий политический проект (партию «Глас народа»), основой которого оказался замечательный по своему звучанию голос героя — *мужественный и подчиняющий бас*, призванный проникнуть в каждое сердце. Однако голос стечением роковых обстоятельств был утрачен, а вместе с этим и полити-

ческая интрига рухнула... Параллельный план — несколько историй о любви и одиночестве персонажей в огромной и равнодушной Москве. По сути, перед нами как раз попытка **романа** о Москве, причудливой, противоречивой, манящей и отталкивающей, полной соблазнов, богатой на случайности, меняющие жизнь... Москве невозможных возможностей и невероятных людей.

В отличном **рассказе Вячеслава Пьецуха «Война за испанское наследство»** («Октябрь», № 11) девочка из Нижнего Новгорода унаследовала от умершего отца кое-какую собственность в Испании. В состязание за руку и сердце богатой наследницы, тринадцатилетней девчонки, вступают *предприниматель средней руки Николай Владимирович Обмылков, студент-политехник Иван Веселовский и еще один гражданин без определенных занятий по фамилии Большаков*. Далее в характерной для Пьецуха манере анекдота с острыми комментариями и феерическими зигзагами судеб повествуется о живописных перипетиях *войны за испанское наследство*...

Повесть 80-летнего прозаика из Коми **Ивана Торопова «Не стреляй в медведя дважды»** («Наш современник», № 11) — интересная история о крепком, правильном старике-охотнике Ондрее, его верной собаке Кащысе и Большом Медведе. Поэтичное, живописное, цветистое повествование с трагическим финалом. В отличие от истории о старике и рыбе Хемингуэя Торопов торопит развязку и приводит всех протагонистов к гибели в последней схватке, расчищая пространство для коротких банальностей и сантиментов: иссякает великое и большое, остается мелюзга.

Интересен и как опыт, и содержанием ***поп-арт роман*** молодого петербуржца **Олега Сивуна «Бренд»** («Новый мир», № 10). Это своего рода каталог-опись самых знаменитых брендов эпохи (Энди Уорхол, кукла Барби, Кодак, Кока-Кола, Люфтганза, Нокия, Икея, Ксерокс и т. п.). 26 глав — 26 брендов. В совокупности — образ мира, экстракт культурно-исторического момента. Написан этот необычный роман (а может, и вовсе не роман) в манере лирико-философского, отчасти культурологического, отчасти исторического эссе. Автор постоянно фиксирует свои реакции и ассоциации, по сути предлагая еще и срез сознания довольно характерного молодого человека начала нового века.

Злоба дня

Игорь Малышев в **романе «Подменыши»** («Новый мир», № 11) скрестил поверхностно-беллетризированное повествование о юных революционерах, коммунистах-террористах, с лесной и еще какой-то демонианой: *Подменыш — по народным поверьям, ребенок, подброшенный русалкой, лешим или иным лесным духом взамен похищенного человеческого дитя*. Герои в основном разговаривают на разные темы, ведя жизнь беспечно-праздную (*Дни тянулись красивые и неторопливые, как процессия экзотических улиток*), нарочито вводимые обстоятельства вносят в их жизнь новые темы для разговоров. Персонажи примитивны, и это отчасти следствие слабых повествовательных ресурсов автора, дающего вместо полноценного живого героя лишь его картонно-бледный контур. Уныло-элементарен левацкий риторический дискурс, владеющий сознанием героев и автора. Особенно характерно, что ностальгически-советский квазикоммунистический идеализм у Малышева

и его порождений сопровождается неприятием демократии и уверенностью, что людей можно и нужно гнать к счастью силой... Впрочем, надо оценить стремление персонажей быть *правильными* и их ставший нутряным зовом протест против несправедливости. Ближе к финалу *по поддельным документам* (неведомо как и где взятым, но для писателя это не проблема) они улетают в Африку делать революцию. Африканские картон и фанера у Малышева еще грубее и смешнее русских. Довольно банальная и вторичная, часто беспомощная, хотя отчасти и злободневная проза.

По-своему революционна и проза **Елены Георгиевской «Вода и ветер»** («Волга», № 1), главная героиня которой придерживается весьма специфических ориентиров в любви. О подруге-еврейке она говорит: *Мы были убежденными предателями родины, родной религии и традиций. Это очень помогало нам в жизни и в общении друг с другом.* Все прочее здесь представляет собой эскизно-колоритные наброски нравов в провинции и столицах и вспышки острых фраз. *Считают, что наиболее женственная профессия — проституция, стриптиз. Когда медленными ласкающими движениями стягивают с себя одежду, показывая все, кроме себя самой. На самом деле наша жизнь — антистриптиз, когда год за годом мы должны натягивать на себя все больше дешевого истлевающего шмотья предрассудков. В обуви, которую нам предписали носить, невозможно ходить по-человечески (гораздо удобнее кирзовые сапоги), в ней можно только танцевать под абсурдную, выматывающую мелодию, ни одна нота в которой не принадлежит нам самим. Посмотри, это ангельская риза, говорят тебе и набрасывают тебе на плечи залепленную грязью рвань с чужого плеча.*

Не менее колоритно-живописно, но более чем исконно-посконно (с отчетливо видимым элементом стилизации) ткет свои повествования эмигрант из сибирской деревни, почему-то проживающий в чужом для него европейском Питере, тезка московского классика **Василий И. Аксенов**. В **повести «Малая пречистая»** («Москва», № 12) представлен сельский обиход. Простые люди, простые нравы. Родина. Начинается повесть характерным сказовым куском (диалогом): *Ну дак она же у тебя будто не старая... — Шестым теленком. — Че разве путаю, бывает... Тогда-т, конечно... Какая ж старая... В самом прыску есче, кровь с молоком, как говорится. Шестым-то тока — для коровы... Среднего возврасту, выходит... — Так. — А телка стельная? — Да обломалась вроде летом, в конце июля. — Не с Белошапкинским?.. С подпалинами, бурый... Здоровый нéрез. Откормили. Денег в яво изрядно Белошапкин вбухал. — Да уж. — Хлеба, придут, берут вон в магазине — нам на полгода с Лушей бы хватило... — Средствóв порядошно вложил. Немало.* Аксенов религиозно-чувствителен (иной раз очень пронзительно, с любовью и жалостью к родным людям), но не весьма глубок. Проза его не всегда уверенно выстроена, иногда автора клонит в банального розлива публицистику с некоторой даже, кажется, примесью ксенофобии. *И телевизор даже не гляжу. Включишь — послушаешь, посмотришь — а что там? Пустое. Говорильня. Хиханьки да хаханьки. Больше про перхоть да прокладки. Кому-то нужно. Раньше серьезней и достойней как-то было.* В целом же — крайне характерная на сегодняшний день проза для журнала «Москва», чьим постоянным автором Василий И. Аксенов и является.

Липчанин **Александр Титов** в **повести «Путники в ночи»** («Волга», № 1) рассказывает о бывшем первом секретаре райкома, проживающем на пенсии в своем городке. Занятный, даже симпатичный старикан, постоянно являющий собой фигуру несовпадения с новыми временами.

Омич **Валерий Мурзаков** в **повести «Белые гуси»** («Москва», № 11) сводит председателя колхоза и криминального авторитета. Один вроде как продавец, другой — покупатель. Текст довольно вялый и вообще жидковат, но не без ярких деталей. Вот такая, например, есть историйка, замечательная уже именем (кличкой) действующего лица: *Он, несмышленый шестнадцатилетний карманник, понравился вору в законе, авторитету по кличке Христос. <...> Почему Христос выбрал его, можно было только гадать. Может быть, Христос любил молодое мясо, а может быть, оттого, что по внешности и по своим повадкам он менее всего походил на блатаря, а это могло пригодиться... Побег был удачный, они ушли от лагеря километров за триста и встретили по пути охотничье зимовье <...> И вот тут, разнежившись в тепле, Христос сделал большую ошибку. А всего-то он ему и сказал: «Ты, пацан, наверное, в детстве дерьма много ел». <...> После зимовья прошли они еще день по тайге и решили заночевать у костерка. Дело привычное. У Христоса были меховые носки, на ночевку он всегда снимал валенки и просушивал у костра портянки, а спал в меховых носках. Это было большое преимущество... Именно это преимущество вызывало тогда у шестнадцатилетнего карманника жгучую зависть. Ну и что? Украсть-то их было невозможно. Но когда напряженно и долго думаешь в одном направлении, то иногда приходит неожиданное решение. Намек Христоса на то, что он счастливый, и валенки, которые Христос снимал на ночь, соединились, и его озарило. Он рисковал жизнью, но выиграл. Ночью он осторожно вытащил у Христоса из-под головы валенки, временно подсунув свой тощий мешок, и помочился в них. Потом так же осторожно проделал всю операцию в обратном порядке. Конечно, все могло кончиться не так счастливо для него, но ему тогда подфартило. Их на следующем переходе пугнули, они вынуждены были почти двое суток уходить от погони, а мороз был для тех мест обычный, под пятьдесят. Через четыре дня Христос на ночевке размотал портянки и показал ему черные пальцы. Но не догадался. Возможно, потому, что тогда ему было не до этого. Не догадался он и после, когда, обессиленный, не мог идти, а с юга уже наносило дымком недалекой железной дороги. Тогда Христос сказал, что не ошибся, выбрав его в напарники, и что он большой везун. И если он вытащит его к железной дороге, то Христос отдаст ему половину золотого песка, который хранит у себя на поясе. Он поклялся, что вытащит Христоса во что бы то ни стало, и той же ночью ушел, оставив его одного. Вот тогда Христос наверняка догадался, но было уже поздно. Через три дня он вернулся и снял вместе с поясом все золото. Беречь его было некому, в глазницах Христоса лежал снег.*

У Мурзакова Христос, а у тюменца **Сергея Луцкого** в **рассказе «Стратег»** («Наш современник», № 12) — Брежнев. Зачем, почему он носит фамилию генсека-бровеносца, — спросите у Луцкого. Он скажет. А рассудительный, между прочим, деревенский мужик; не по душе ему цинизм заехавшего на родину в гости былого однокашника Геннадия Порфирьевича. Рассказ — по кальке «Плотницких рассказов» Белова, только сильно потопорней и на

новом материале. В другом **рассказе**, **«Сувенир из Глубинки»**, другой положительный мужик Виктор Семенович возит к девочкам коммерсантов-начальников и в душе очень их презирает. Но не вслух. Луцкий раскрывает нам тайны этой боязливой души.

Рассказ еще одного омича **Анатолия Клименко «Крутим-вертим»** («Москва», № 11) — зарисовка об уличных наперсточниках. *Улица, ранее носившая имя Надежды Крупской, теперь стрит Фаины Каплан.* И вообще кругом нелюбимый автором *рынок*. Некуды податься русскому человеку в Омске.

О солдатской службе в Чечне в манере суховатого свидетельства рассказывает в **повести «Чеченская пыль»** («Октябрь», № 10) **Инсаф Давлитов** из Альметьевска. Пролог к повести такой: *Однажды в 95-м один стриженый солдат решил кардинально сократить срок службы, написал заявление — «доброволку» и отправился на Северный Кавказ. Война оказалась тяжелой, непонятной и нестерпимо долгой. Хотя день шел за два, отслужить быстрее не получилось. Зато здесь он встретил много хороших людей. Вместе с ними солдат месил грязь, глотал густые чеченские туманы, замерзал на постах, ввязывался в сомнительные предприятия, усыпал незнакомую землю стрелянными гильзами и терзал ее гусеницами бронетехники. С тех пор, кажется, прошла вечность. Иногда тот солдат возвращается мыслями в прошлое и берется за карандаш. Писать оказывается нелегко. С чего начать? С того страшного боя, в котором им приказали расстрелять подбитую БМП с еще живым экипажем, чтобы машина не попала в руки противника? Или с невзрачного парня-снайпера, который убивал мирных жителей, добывая деньги для лечения престарелой матери? Мысли путаются, обо всем рассказать невозможно. Везде было одно и то же. Редкий день тогда обходился без стрельбы и смертей. В итоге рождается собирательный образ войны, но все равно портрет этой мерзкой старухи далек от оригинала. Лучше бы его не видеть совсем.*

Исповедальная записка нижегородца **Егора Верещагина «Варнава»** («Октябрь», № 12) — история в форме предсмертной исповеди послушника в монастыре, якобы записанной им самим. Поверить в последнее невозможно, но итог — затейливо-игровое повествование с бомжеванием и параллельными мирами.

Николай Климонтович в **романе «Скверные истории Пети Камнева»** («Октябрь», № 11) в привычной своей манере живописует быт и нравы московского образованного сословия последних десятилетий. На сей раз в центре внимания — тщательно спортретированный, но по итогу довольно ординарный профессорский сынок, потом журналист, с его комплексами, вкусами, настроениями, а главное — с подробно изображенными разнообразными интрижками и браками. Шалопай, баловавшийся литературой, в ранней молодости фрондировавший и даже отчисленный по наводке КГБ с журфака, *тунеядец, бродяга* и поэт, *нигилист и скептик, Петя*... А потом это просто много пьющий, широко и хаотично живущий и подуставший от жизни человек. Может быть, и типичный представитель, но в таком случае представляет он среду, которая может сегодня вызвать лишь очень специальный интерес. Возможно, автор хотел представить в лицах деградацию типа позднесоветской интеллигенции. Тогда это ему отчасти удалось. Но героя

своего он даже любит. В любом случае Климонтович — опытный рассказчик, подчас довольно тонкий наблюдатель, неглупый в суждениях «с точки зрения опыта и здравого смысла». Вот так, к примеру: *в семидесятых годах прошлого века эскапизм вообще был в моде у нервных и чувствительных городских юношей, многие из которых, как и Петя, являлись изгнанными комсомольскими бурсаками, не желавшими мириться с порядками университетов, провонявших партийным духом. И многие молодые люди того поколения так и сгинули, спились или погибли, где-нибудь в Сибири или на Сахалине, куда отправлялись по своей воле, в попытке спрятаться от советской власти, от немытой России, в каких-нибудь дальних углах и на забытых окраинах империи, где, как они предполагали, жизнь была чище, а власть дальше.* Увы, в основном все же автор погряз в «прозе жизни», тяготеет к очерковости, не умея найти выход к какой-то большей значительности.

Но все познается в сравнении. Роман Климонтовича по разнообразию затронутых сюжетов просто классика на фоне **романа** в новеллах модного в окололитературной среде **Олега Зайончковского «Счастье возможно»**. Судя по опубликованным в «Октябре» (№ 11) фрагментам этого романа, перед нами — обычная для автора банальная сентиментально-бытовая проза из жизни средних современных горожан. Актуальные приметы схвачены весьма поверхностно (по типу: *Я сам иногда с интересом смотрю московские новости. Особенно криминальные. Особенно про разборки в верхних эшелонах власти и бизнеса и про то, как у знаменитостей угоняют их «Бентли» и «Майбахи». В такие минуты приятно осознавать себя малоизвестным и малоимущим. Нет лучше защиты, чем собственная малость. Крошечному существу легче спрятаться, и оно не ушибается при падении. Что ни говорите, хорошо чувствовать себя незаметным...*). А любовно-бытовые истории малоинтересны. Общая тенденция повествования вполне выражена в названии опуса.

Вообще, неопасная сентиментально-бытовая стихия составляет, как это нередко бывает, основу журнального мейнстрима. Есть тут вещи позначительней прочих. Так, **Светлана Петрова** в небезынтересной **повести «Кавказский гамбит»** («Дружба народов», № 10) кропотливо воссоздает нехитрые истории и быт своих немолодых героев из сочинского поселка Хоста. Даже и не знаешь, зачем так уж детально и со столькими повторами. Неторопливо история подбирается к трогательному адюльтеру бывшего участкового Васи Панюшкина, влюбившегося на старости лет в соседку. *Как ни противился Панюшкин природе, порог желаний с каждым свиданием медленно, но неуклонно повышался. Его мечта чудесным образом обрастала плотью, воображаемые артерии и вены, совсем как настоящие, наполнялись условной кровью, вскипающей от возбуждения. Сначала его устраивало просто находиться в комнате у Зины, потом — сидеть рядом, держать маленькую руку в своей. Однажды он погладил ей колено, и она не заругалась.* Далее Вася отправляется в Германию за подержанной иномаркой, и жизнь его на русской таможне окончательно идет наперекосяк. (Это, наверное, наиболее яркие страницы повести, дающие острый рисунок таможенных нравов.) В целом — сентиментальные акценты и проза жестковатого быта, трогательная умелая беллетристика.

Слава Сергеев в двух **рассказах** о путешествиях («Дружба народов», № 10) в своей обычной свободной непринужденной манере делится впечатлениями от некоторых перипетий жизни, встреч с друзьями-подругами, небрежно связывая личное и глобально-историческое, без особенной глубины, но на остром нерве преломляя одно в другом. В рассказе **«Советник Ющенко»** в дни Майдана рассказчик встречается со студенческим приятелем в Киеве. В рассказе **«Дама с собачкой»** не первой молодости одинокая особа из Крыма нашла мужа в Англии через Интернет. *Мы выпиваем, я стараюсь шутить, я испытываю к ней смешанные чувства: мне ее жаль, и в то же время она вызывает уважение. Моя жена говорит, что она творческий человек, и это все объясняет, не важно, что она ничего не делает, ленится или боится, не хочет или что-то еще... Еще, я думаю, что она, жалуясь на свое одиночество, в то же время настолько привыкла к нему, что, пожалуй, это будет трудно кому-то изменить. Даже в Лондоне.* Как всегда, очень обаятельная проза, прелесть которой в деталях и интонации, в постоянном присутствии неравнодушного автора — задушевного рассказчика и милого собеседника.

В **повести Сергея Смирнова «Привет от царицы Савской»** («Москва», № 12) герой, хваткий и циничный москвич-журналист, изгнан из рерайтеров и нашел себе новый заработок: приманивает к своей собаке псов-кавалеров, а потом за мзду возвращает их владельцам... Отсюда развиваются дальнейшие, уже откровенно романические осложнения. Умелая беллетристика развлекательного свойства. Автор обычно пишет в жанрах историко-приключенческого романа, триллера, что и дает о себе знать.

Мелодраматическая история: маленькая **повесть** венецианки **Елены Хейфиц «Случайное объявление в бесплатной газете»** («Октябрь», № 12). Героиня — английская журналистка — решает свои женские проблемы. Неудачная попытка забеременеть, любовник-итальянец... и как итог — довольно предсказуемая, но притом сентиментально-эффектная развязка. Живописны начинающие повесть картинки московской клиники советских времен, где героине пришлось сделать аборт по причине ошибочного диагноза.

Мелодраматизированный любовный треугольник выписывает **Валерий Осинский** в неимоверно растянутой **повести «Верность»** («Москва», № 10). Героиня тут любит одного, с богатым внутренним миром, а замуж выходит за другого, с более прочным положением в обществе. Между тем получивший отставку офицерик гибнет на Кавказе... Много охов, ахов, слез и соплей. *Она вдруг увидела цинизм своих фантазий, фантазий злого ребенка-переростка о том, что можно прожить в полсовести, и тихонько заплакала, утирая слезы по-детски, кулаком.*

Мелодраматически-надрывный привкус крови есть и в **рассказе** питерца **Кирилла Рябова «Плевок»** («Октябрь», № 12): семейная драма в остром, форсированном композиционном развороте. Выписанный из психушки герой по прозвищу Плевок возвращается домой. Его никто не ждет...

Сантименты с религиозной подкладкой и мистическими акцентами составляют содержание **рассказа Григория Петрова «Покаяние Петра»** («Новый мир», № 12). Поучительная история из личной жизни царя Александра II становится поводом для того, чтобы некий современный живописец пе-

реоценил приоритеты в своей жизни... Этот прозаик верен себе. Даже, пожалуй, чересчур. Обывательский быт он скрещивает с какими-то чудесными явлениями, чтобы извлечь душещипательные эффекты, а может быть, даже получить душеспасительные следствия. Это слегка напоминает рождественские истории Диккенса. Но не забирает с такой силой.

Религиозно-сентиментален и колорит **повести** тюменца **Сергея Козлова «Зона Брока»** («Наш современник», № 12). Дорожное приключение сводит вместе бесшабашного водилу Петровича и вроде б монаха Алексея, поповского сына, воевавшего на Кавказе, потерявшего там голос и возвращающегося теперь (в монастырь?) с похорон отца. По ходу дела возникают спившиеся крестьяне, наладивший в деревне крепкое хозяйство армянин, какие-то мусульманского происхождения гопники... Петрович признает авторитет немого монаха-воина. В целом идеология повести понятна, но банальна. Да и вообще автор тяготеет к простым решениям и слишком любит дидактический нажим. То, что у Гуцко является предметом осмысления, у Козлова становится лишь поводом для апологии.

Более умело сочетает прозу жизни и сентиментально-религиозные материи **Майя Кучерская** в **рассказе «Кукуша»** («Знамя», № 10). Героиня навещает беспутного друга, и это становится в итоге поводом к христианским прощенью и радости. Тонкая, чуткая вещь.

А некогда подававший немалые надежды молодой литератор **Антон Уткин** в **рассказе «Настенька»** («Новый мир», № 11) ныне демонстрирует и недурное освоение приемов квазихудожественной публицистики спекулятивного плана, какой было и есть немало на периферии нашей словесности. Довольно обеспеченная московская старуха у него недовольна новой жизнью в стране (дело происходит лет десять назад), она едет к сестре на юг и страдает, что все как-то пошло не так, что держава погибла, а народ бедствует... Аргументом становится и случайная встреча на перроне какой-то станции с фронтовой подругой, которая торгует вареной картошкой для пассажиров. Дельная и бойкая, она и теперь вроде б нашла себе дело, но автор и его героиня считают иначе: нуждается, бедует — потому и пошла на перрон (который рифмуется у Уткина чуть ли не с панелью: *Слева от входа в вокзал стоял белый милицейский микроавтобус с синей полосой вдоль борта, и милиционеры грубо запихивали в задние двери ярко накрашенных, не по погоде одетых девиц. Те визжали, смеялись*). Может, зря прожита жизнь? Не выдерживая наплыва чувств, москвичка умирает. В деталях Уткин попрежнему сочинитель умелый, мастеровитый. Слово к слову лепится. Но, читая его новую прозу, думаешь: народолюбие вещь хорошая, и даже очень, только почему его нужно совмещать с мимохудожественным примитивом?

Рассказ Елены Долгопят «Музыка» («Знамя», № 12) — о слепом подростке, его особым образом настроенном слухе, об его первом сексуальном опыте. Живописно, витиевато и не весьма глубоко по содержанию.

«Старый да малый» — ***житейские истории*** **Бориса Екимова** («Новый мир», № 11) — стариковские наблюдения, пунктирные воспоминания, впечатления бытия, все вперемешку. Доминирует умилительная тональность. *Прошелестев через ветви и листья, рядом с нами упало спелое яблоко. Под легким порывом ветра прошумела маковка старого тополя, что растет за*

двором. Где-то совсем вдали, за Доном, благодушно громыхнуло, ответствуя. Нынче по всей округе грозы да ливни. Славное лето.

Кладбище, родные могилы, воспоминания детства, пошлый шум окрестной жизни, — все смешалось в букет, вызывающий у героини сложное движение чувств, в **рассказе Елены Холмогоровой «Танцуют все!»** («Новый мир», № 10). Кладбище как средоточие жизни. Как ее своего рода экстракт и критерий. Может быть, в этом есть что-то чрезмерное. Но у Холмогоровой получилось убедительно.

Чувствительный тарусец **Сергей Михеенков** в своих **рассказах** («Наш современник», № 10) также не выходит за пределы сентименталистской парадигмы. То это подсмотренный, подслушанный миг тайного свиданья (**«В тумане»**), то мытье героя в бане с женщиной, которую когда-то любил и не забыл поныне (**«Рита»**), то дидактизм со слезой: приехал мужик через тридцать лет на родину, к старенькой няне, и загудел, пустился во все тяжкие, — так и не собрался сделать по просьбе няни про запас крест на ее будущую могилу (**«На родине»**). Гладкое неброское письмо.

Еще сентиментальные пустяки. **Татьяна Владимирова** в **рассказе «Шла Сара по Тверской»** («Октябрь», № 12) поведала о том, как походя, на прогулке, можно взять и встретить любовь. Игра дамского воображения.

Рассказ Георгия Авдошина «Осень в городе К» («Октябрь», № 10) — набор слегка слащавых лирических этюдов о горожанах, с их необъяснимыми причудами. *Осенью Виктор Алексеевич всегда чувствует себя одиноким. Как только начинают падать первые листья, Виктор Алексеевич грустнеет и перестает разговаривать с людьми. Он часами сидит у окна и смотрит на улицу, как там все происходит, кто куда идет и как все меняется. Или просто уходит из дому. Шагает часами по улице. Что-то шепчет себе под нос. Заходит в парк и сидит там на скамейке. Пока не станет холодно. Возвращается домой поздно. Ничего никому не объясняет. А никому ничего и не надо объяснять. Они давно уже все понимают. «Сейчас все такое хрупкое»,— говорит он жене, поворачивается на бок и выключает свет.*

Рассказ красноярца **Евгения Эдина «Ладони мироздания»** («Октябрь», № 12) — мутная, многословная история мутного неинтересного молодого героя, у которого не ладится с женой и вроде как ладится с подружкой. *Сам себе удивлялся: стал угодливо улыбаться, трижды думал, прежде чем сказать. Видели бы армейские дружки! Подбирал, синтезировал интонации, внутренне собирался, настраивался... И не говорил. Ничего не помогало, отношения не теплели. Механизм отношений — дело сложное, настоящий сопромат. Как они рождаются — загадка, но как они умирают — это еще сложнее, совсем уж выше понимания. Не люди, не живые, без тела и души, а вот — умирают. И он чувствовал это стремительное умирание, отмирание. Расползающуюся прореху в бытии.* Ради интриги герой у Эдина режет линии на ладони, на спор с начальником. Затейливо придумано.

Начинающая беллетристка **Юлия Маринина** в **рассказе «Папа, папочка»** («Дружба народов», № 10) вывела девицу, которая от первого лица простодушно закладывает своего папашу. И такой он, и сякой. Одновременно у нее как бы щемит как бы в груди. Ну прямо хам-сим-иафет какой-то, в одном флаконе. Так и хочется погрозить девчушке пальцем: Юля,

так нельзя!.. А в рассказе **«Тараканы в голове»** очень похожая на первую рассказчица поведала о своем опыте знакомств с иностранными женихами по инету. Особа довольно цинична: *Главным условием размещения анкеты на сайте знакомств было указать телефон. Я написала номер моей бабушки (не оставлять же телефон мужчины, с которым живу). <...> Каждый вечер я погружалась в омут виртуальных женихов и барахталась там часа два — потом приходил мой мужчина (насупленный, обиженный моим невниманием) и утягивал меня за руку в спальню.* Впрочем, этот цинизм, предъявленный автором как нечто обычное и повседневное, уже не удивляет. Как бы это должно быть смешно и забавно.

Сюжеты из прошлого

Калужанин **Юрий Убогий** в **повести «Охота»** («Наш современник», № 11) верен себе: пишет о русских писателях-классиках, влезая им в душу и наделяя собственным пониманием реальности. На сей раз жертвой стал Тургенев. Неярко, но умело создается внешний контур обстоятельств, связанных с приездом его на родину, в Спасское. А все, мнится, ради того, чтоб изобразить любовь Тургенева к России и русским людям, русской охоте и попенять на то, что хищница француженка Виардо насмерть привязала бесхарактерного красавца к себе и своему семейству. Впрочем, мысль эта озвучена вполголоса, да и вообще повесть написана как бы шепотом.

Курянин **Николай Шадрин** в **повести «Повенчанные на печаль?»** («Москва», № 12) заново рассказал историю любви Анны Тимиревой и адмирала Колчака. Получилось романтизированное повествование с апологетической тенденцией.

Галина Кузнецова-Чапчахова в «главах из **романа» «Поздняя любовь»** («Наш современник», № 10) также поведала трогательную романическую историю — о любовном романе немолодого Ивана Шмелева — эмигранта-вдовца.

Среди парижских эмигрантов находит героев своего **романа** и **Юрий Буйда («Третье сердце»** — «Знамя», № 10). Но он неизмеримо более, чем Кузнецова-Чапчахова, затейлив и умел. Буйда предъявил выполненную яркими красками, виртуозную вещицу про маньяков-серийных убийц и маргиналов с заявкой на ощупывание грани между пороком, грехом и святостью, с присутствием Бога, с острым акцентом на гибельность жизни и на правду любви, какой бы эта любовь ни была и к чему бы ни вела. В щегольском тексте странной опиской смотрится упоминание романа Томаса Манна «Золотая гора» (нам известна пока только «Волшебная гора», но Буйде, конечно, виднее). Кирилл Анкудинов заметил и еще одно, тоже волшебное сочетанье: Федор *помогал дяде взвешивать и смешивать химикаты, и слова «нитрат», «хлорид» и «гашиш» с детства заняли в его лексиконе естественное место.* Критик здраво предположил, что гашиш тут спутан с банальным поташем или нашатырем. В целом Буйда увлекает, но по итогу скорей разочаровывает. Эффектные заявки оборачиваются довольно простыми развязками. Вообще, кажется чрезмерным уклон в эстетизацию патологии.

Олег Гайданов в обширном **мемуарном очерке «Наследство. Исторический сказ о судьбе одной русской семьи»** («Дружба народов», № 12) поведал

быль о роли клада с изумрудами в жизни своей простой советской семьи. Удивительная история.

Владимир Фридкин в **очерке «Безродные космополиты»** («Знамя», № 12) живописует феномен космополитизма на примере выдающегося физика, создателя современной теории научной фотографии Вольфа Берга. Со своим персонажем автор встречался и вынес впечатления и сведения, которые подробнейше и излагает.

«Наш современник» в № 10–12 продолжает публикацию фрагментов-глав из незавершенного военного **романа Владимира Богомолова «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?»** (начало — в № 6–9 за 2008 год). Это проза, где исповедальность сочетается с воспроизведением (или имитацией) документов эпохи. С документами скорей всего перебор. А вот воспоминания о молодости у автора получаются порой пронзительные. В № 11 это яркое повествование о том, как совсем зеленого рассказчика назначили командовать похоронной командой и вскоре его чуть не расстреляли за компанию с мародерами, которые в этой команде привыкли обирать мертвых.

Лазарь Лазарев в **очерках «Уходят, уходят друзья...»** («Знамя», № 10) рассказал, что помнит о двух замечательных москвичках XX века — Ирине Эренбург (дочери известного писателя) и Надежде Мандельштам. Есть новые подробности.

Николай Коняев из Ханты-Мансийска в **рассказе «1961-й»** («Наш современник», № 11) воспоминания о том, как жители советской глубинки переживали полет в космос Гагарина, связывает с описанием первых религиозных впечатлений. Однажды рассказчик увидел Бога... Повествование занятное, но нескладное.

Рассказ белгородца **Виктора Белова «Сорок один боб»** («Наш современник», № 11) — про потерянный секрет. Бабка Фрося гадала на бобах. А теперь уж никто так не умеет. Хотя что значит это «теперь»? — Белов и сам немолод, редакция поздравляет его с 70-летием.

Лирические, насквозь субъективные, яркие и многословные **мемуары «Складень»** (точнее, новую версию многократно уже пересказанных автором позднесоветских московских годов и встреч, жизни московской богемы) публикует в «Октябре» (№№ 8, 9, 11) **Владимир Алейников**. Пример: *Зверев был человек многогранный. Как стакан, привычный, граненый, из которого он частенько пил порою, не морщась, водку или прочие, столь же крепкие, словно жизнь, пронзительно-жгучие, по традиции нашей, отечественной, ритуальные вроде напитки. Словно ясный кристалл, магический, надо помнить, читай— провидческий,то есть творческий,сквозь который прозревал он такие связи и такие улавливал ритмы, что, вселенским единством сущего наполняясь, творил, как пел.*

Омич **Сергей Прокопьев** в **повести «90-й псалом»** («Москва», № 11) со знанием дела подробнейше описывает военные будни советского контингента в Афганистане. Выглядит это малость абсурдно: солдаты упорно и кропотливо воюют неведомо за что. Но автору, кажется, нет дела до этого абсурда. Он подменяет осмысление происходящего ностальгически-сентиментальной слезой и добавляет затем модный «православный» акцент. Прошел 21 год — и главный герой, Андрей, стал жертвой уличного хулиган-

ского нападения. Тут-то почему-то и вспомнилось, что от пули и прочего вреда его некогда хранил 90-й псалом, переписанный на листочек и подколотый к трусам. *Спроси его в Афганистане честно: верит ли в защитную силу молитвы на листке, запаянном в полиэтилен? Он, повидавший столько смертей, затруднился бы ответить. Но держал псалом при себе постоянно. Это был закон, сделать иначе — как предать Олюшку, которая заклинала, провожая: «Не выбрасывай! Ради меня и детей не выбрасывай! Держи при себе постоянно!»* Пазл складывается: героя спасал Бог; вот и жена его Олюшка за него молилась непрестанно. А за кого никто не молился, кто не носил в трусах непонятые слова, — тех, выходит, Бог за это наказал? Так и получается у нехитрого прозаика. А что убивал Андрей, так это не в счет. Прокопьевский бог это давно ему простил.

Рассказы Вадима Муратханова из цикла **«География памяти»** («Дружба народов», № 10) — подробные, досконально детализированные воспоминания о всяких случаях из жизни. Как рассказчика били корейцы, как он в Ташкенте плутал по улочкам и нашел дорогу к приятелю, как подвергался и не подвергался гипнозу, как покупал и продавал на толкучке Тезиковке... *каждый оказавшийся здесь мог при желании сам сделаться Тезиковкой. Преступить ее зазеркалье, встав по ту сторону прилавка и отменив опыт всей своей прежней жизни и само текучее время. Одеждой, внешностью и повадками слиться с этой странной страной, без малейших усилий уравнивавшей в правах бомжа, бизнесмена и инженера. Здесь, как ни в каком ином месте, комфортно было спиваться и деградировать, никому не бросаясь в глаза и ни на миг не выпадая из общей пестрой мозаики. Можно было посвятить жизнь продаже какой-нибудь принципиально непродаваемой и бесполезной на первый взгляд вещи, живя не прошлым, не будущим, а лишь одним растяжимым до бесконечности «сегодня» (и ни один тезиковский язык не повернулся бы сказать, что жизнь твоя пролетела зря). Если не станешь никуда спешить, безнадежный невзрачный неликвид однажды уйдет у тебя здесь в качестве антиквариата и даже принесет немного денег, чтобы отметить это событие кружкой слегка разбавленного кислого пива.* Старательный труд памяти и хорошо организованная речь.

Мемуары Владимира Личутина «Год девяносто третий... Взгляд из деревенского окна» («Наш современник», №№ 10, 11) — взгляд агрессивного дачника на недавнюю нашу историю в один из ее кульминационных моментов. Агрессия Личутина связана с сокрушением по поводу поражения дорогих ему политических сил в октябре 1993 года. Пространно и зло обличает автор политических врагов, давая им уничижительные характеристики; пеняет народу, *милым* русским людям, что не туда они глядели. И вот — *Содомиты правят бал.* И вот — *жидь и невзглядь.* Сельские картинки в основном привлекаются писателем, чтоб показать, как туго народу под игом чуждой власти. Один есть *истинный друг* у автора: коллега Проханов. Помог купить свинью. Свинья эта, кстати, своим взглядом напоминает Личутину враждебного публициста Черниченко... Напрасно стали бы мы искать у Личутина позитивной программы. Он предпочитает невозбранно ворчать и браниться, — но в результате это худо-бедно тоже дает образ реальности, пропущенной через сердце. И причудливо это все сочетается с личутин-

скими длинными периодами, с почти патологической неспособностью автора писать коротко и членораздельно, вовремя ставить точку.

Владимир Тучков в **рассказе «Вода забвения»** («Новый мир», № 12) изобразил старорежимного советского урку, которого подкосили новые времена с их новыми, жесткими понятиями. Остроумная придумка. Тучков мастеровит. Искусен.

Прочая проза хуже поддается систематизации.

Потомственный прозаик **Денис Драгунский** в свои **двадцать рассказов** («Знамя», № 12) вместил все подряд. Что ему захотелось. А захотелось в основном про капканы в отношениях между мужчиной и женщиной. Вышло местами остроумно и всегда очень коротко. Вот один такой сюжет, навеянный, кажется, питерскими реалиями. *Скромное обаяние повседневности. Санкт-Петербург, 2007, 27 октября. 14.30. Выхожу из метро «Площадь Восстания». Прохожу сквозь строй раскрашенных девиц. Черные губы, зеленозолотые веки, трехдюймовые ногти. Серебряное напыление на волосах. Красные сапоги со стразами. Колготки в сеточку. Несмотря на прохладу, голые пупы с пирсингом. Отчетливо слышный шепот: «Мужчинаааа... Хотите отдохнуть с девушкой?» Я не удерживаюсь от брезгливой гримасы. Иду дальше. Рядом со мной шагает молодая женщина. Понимающе вздыхает. Смотрю на нее. Простое, но изящное драповое пальто. Ботиночки — не новые, но красивые. Короткая стрижка. Шарфик, беретик, самая простая сумка на плече. Мы встречаемся глазами. Она легонько улыбается и осуждающе косится в сторону размалеванных путан: вот, мол, дрянь какая в нашем прекрасном Питере. Я киваю в ответ. Она негромко говорит: «Мужчина, хотите отдохнуть со скромной, интеллигентной девушкой?»* Ну, и чтоб гендерно уравновесить мораль, еще вот такой сюжет. Шеф приглашает свою подчиненную в дорогой ресторан. Подчиненная строит далеко идущие планы. Ей кажется, что в ее жизни вот-вот начнется самое главное. Пара садится за столик, — и тут шеф сообщает, что собирается уволить девушку. Вот для чего он пригласил ее в заведенье.

Под рубрикой «путевая проза» **Василий Голованов** в **очерке «Сопротивление НЕ бесполезно. Французский дневник»** («Знамя», № 12) рассказывает о своем путешествии во Францию. *Раз в жизни мне довелось быть известным писателем. На две недели мне выпала такая роль. И я ее сыграл. Сыграл хорошо. Наверное, потому, что подспудно готовил себя к ней. И в один прекрасный день в театре жизни мне ее предложили. Правда, предложили во Франции, где под французским названием «Eloge des voyages insenses» вышла моя книга «Остров, или Оправдание бессмысленных путешествий».* Симпатичная апология свободной и творческой жизни. Как говорит автор французским слушателям: *Я хочу представить вам свою книгу... Это книга о необходимости быть верным долгу. Иначе говоря, о необходимости исполнить те заповеди сердца, которые оставило в нем детство. О необходимости во что бы то ни стало реализовать свои детские мечты — потому что это лучшее, что есть в нас... Потому что только через это мы обретаем возможность быть.*

А **Владимир Кравченко** в **очерках «Книга реки. В одиночку под парусом»** («Знамя», № 10; начало в № 6) рассказал о своем плавании по Волге, в

нынешней части текста — от Ярославля до Свияжска. Почти никто теперь не плавает по Волге, чтоб потом про это рассказать. Очерки Кравченко в этом смысле — эксклюзив. Они хороши подробностями, свободным слогом, но в совокупности дают довольно поверхностный взгляд на места, в которых останавливался автор.

Поэтесса **Мария Галина** представила **роман «Малая Глуша»** («Новый мир», № 12; журнальный вариант). Некий персонаж, министерский чиновник, долго, с грехом пополам добирается до глухого селения, обозначенного в названии, с трудом переправляется через реку... По ходу возникают всякие нестрашные для читателя квазимистические завихрения. Почти гоголевское инферно. В итоге оказывается, что это было путешествие на тот свет, через русскую Лету, а герой наш — что-то вроде современного Орфея... Сочинение Галиной — причудливые выдумки, отчасти болезненные фантазии, приводящие к выводу, что ничего и никого вернуть оттуда в этот мир нельзя. А мы-то надеялись. Да. Жива традиция мистизированной фантастики в манере Улицкой-Вознесенской. То Славникова отдаст ей дань. То Алексей Иванов. А то и Малышев, о романе которого речь шла выше... Но пишет Галина прозу многословно, увязая в деталях, тянет, как жвачку жует. Примыкает к роману гораздо более органичный **рассказ** о перевозчике и его дочери Янке **«В плавнях»** («Новый мир», № 10). Время действия — первые советские годы. Здесь игра в тот свет соразмерна размеру произведения. Парафраз по мотивам купринской «Олеси».

Рассказ Владимира Кузьмищева «Чужая жизнь» («Знамя», № 10) — умело выписанный анекдот о страшной мести солдата своим мучителям-офицерам в нашей парадоксальной армии.

Быт и нравы в среде рядовых эмигрантов из СССР в Америке — предмет прозаика из Нью-Йорка **Вадима Ярмолинца** в **повести «Подрезка»** с характерным подзаголовком *Жизнь после жизни* («Волга», № 2). Любовь-морковь и все такое. Бойко и по верхам. А в **романе «Свинцовый дирижабль "Иерихон 86-89"»** («Волга», № 4) Ярмолинец изображает провинциальную одесскую богему времен перестройки: журналистов, рок-музыкантов, поэтов. Заголовок отсылает к названию рок-группы «Led Zeppelin» — свинцовый дирижабль. Многословная, не весьма увлекательная беллетристика.

В той же «Волге» (№ 3) публикуется **роман Евгения Новицкого «Mefistofeль forever»**. Нехудшее в нем — предисловие автора, предупреждающего, что роман *строится на намеренном смешении стилей, высокого и низкого, он состоит из контрастов и противоречий. Слог его довольно напыщен, сюжет достаточно безумен, что укладывается в такие придуманные автором определения, как «современное барокко» и «параноидальный поп-авангард». Я ведь осмеливаюсь считать себя не рядовым прозаиком, а авангардистом, т. е. заведомо дерзаю примкнуть к тем людям и явлениям, которые влияют на развитие литературы. Мой роман — это такой перформанс; я отчетливо рассчитывал на то, что его порой неприятно будет читать. У Юрия Вяземского есть «роман-искушение», у меня же — «роман-извращение» (почему бы не быть и такому роману?) Он состоит из рывков, избыточности, безвкусицы, вульгарности и глупости. Но в целом, смею надеяться, — текст продуман, монолитен и со смыслом.* Дальнейшее — сочетание пре-

тенциозности и похабства. С забавными квазиискусствоведческими вкраплениями то о Буратино, то о Гайдае, то о Носове.

Рассказы пермяка **Александра Фуфлыгина «В сенях державы»** («Октябрь», № 12) — это эссеизированные фельетоны. Игра праздного, неплохо натренированного ума.

Не менее виртуозно фантазирует на темы отечественных праздников **Владимир Березин («Календарная Книга»** — «Знамя», № 12), смазывая времена и перемежая реальное с невозможным. По словам автора, *действие происходит в фантастическом будущем и в придуманном прошлом, а также в наши дни. Три пласта повествования перекрываются и связаны общими героями и историческими событиями — общеизвестными и фантастическими.* Представление о типе авторского комбинирования дает уже самое начало: *Календарная Книга — книга странная. На каждом листе ее что-то свое — но всегда дата, и почти всегда — праздник. Праздников в Русской Календарной Книге много, на всех хватит. То там День космонавтики, который справляют в декабре, потому что два зека угнали тогда первый «Восток» из Джезказганской степи, то День морского флота, когда один капитан-лейтенант встал на пути немецкого линкора у таймырских берегов, День Советской армии, когда один офицер поменялся местами с Големом, а то и вовсе — праздники недалекого будущего. (Как я люблю эти времена — недалекое будущее, туповатое настоящее, бестолковое прошлое). Будто старинная машина времени, ожившая пентаграмма ОСОАВИАХИМА, окутавшись паром и электрическими огнями, перелистывает этот календарь.*

Обзор подготовил Евгений Ермолин

В. «Аврора», «Звезда», «Нева»

Новый **роман Александра Мелихова «Интернационал дураков»** («Нева», № 11) — вещица с очевидным привкусом странности, вымороченности, причем странность есть тут своего рода компонент сюжета, важнейшая его составляющая. Миром, убежден герой романа, правят истинно блаженные, а именно — дауны, кретины, аутисты, олигофрены. Они — самая безобидная часть человечества. И это, должно быть, неплохо: ведь *был ли хоть один случай, когда умственно отсталый человек изобрел какое-то ужасное орудие? Установил диктаторский режим? Возвел финансовую пирамиду? Возглавил бандитскую шайку?..* К тому же умственно ущербные обладают и ключиком к счастью, ибо не выходят из круга себе подобных, не заглядывают вперед... Такова ведущая мысль романа, основной его концепт. Отсюда и страстное желание героя — чисто умственное, подчеркнем, желание — выкинуть в массы этакие объединительные лозунги: *Олигофрены всех стран, объединяйтесь! Олигофрения — светлое будущее всего человечества!* Но о чем, собственно, сам роман? В мир несчастных, безнадежно больных, не сознающих, однако же, собственного горя (в чем и состоит их счастье), роман этот читателя погружает. Не чересчур глубоко (сделать это, скорее всего, и невозможно), но — погружает. Дело в том, что юная возлюбленная героя работает в интернате для умственно неполноценных. Она, как Вергилий, и водит героя по их сумрачному миру. Надо сказать, что человеческие исто-

рии, открывающиеся ему, порой действительно потрясают. И будь роман по-настоящему наполнен этой подлинной, глубоко трагичной, безнадежной гуманностью, мы имели бы другое произведение, и, быть может, выдающееся. Перед нами же —выморочный сплав несчастливой любовной истории, подробно описанных плотских утех стареющего мужчины, рассказов о судьбах безнадежных больных и их несчастных родителей. Странно здесь уже само по себе сочетание умозрительности и нервности. Роман то взмывает в заоблачные выси, то окунает читателя в нарочито беспредельное, буйное торжество низкой плоти, тоже, между прочим, требующей своего. Соединить две эти стихии могло бы одно — личность героя-рассказчика. Однако, увы, личность эта так и остается непроявленной, смутно зыбкой, двоящейся и исчезающей, словно тень тени, отражение отражений. Роман, вроде бы изо всех сил, каждой рассказанной историей взывающий к состраданию, тут же окатывает читателя странно холодной волной, словно у истории этой нет ядра, нет сердца. И понимаешь, что все описанные тут плотские утехи, как и все рассказанные трагические истории, — не более чем вынужденное прибежище потерянной и потерявшейся человеческой души, всплеск эмоций, которым нет выхода. Сложная, в общем, вещь, как и все последние романы Мелихова.

Евгений Белодубровский в замысловатой **повести-вспоминании «Пальто, или Три Эм. Метафора. Метаморфоза. Мнемозина»** («Нева», № 10) изображает себя самого — *весьма необычного, яркого, кучерявого и лохматого, как Пушкин,* да и носящего дворовое прозвище Пушкин. По ходу действия в тексте расставлены как бы вешки-опоры. Ими герою служат истории его собственных пальто, коих он износил за 60-летнюю с гаком жизнь чертову дюжину. Тон повести нервически взвинченный, неудержимо болтливый, когда одна мысль наезжает на другую, а другая ответвляется куда-то вбок, расширяясь посредством многочисленных вставок, примечаний, комментариев. Там и сям, чередуясь с рассказами об авторских пальто с хлястиками и без, мелькают имена Гумилева, Ахматовой, Лихачева, М. Лозинского, Блока, Д. Хармса, О. Форш, вообще множества именитых питерцев, ходивших по тем же улицам, где гулял лирический герой в разнообразных, дорогих его сердцу пальто. Это лестное для обеих сторон соседство явно неслучайно: *Я наверняка не просто так родился и выжил в войну... Не просто же так, за здорово живешь, холили и лелеяли и берегли его от хвороб* все, кто только мог. Заявку можно было бы истолковать как шутливую, чему, однако же, сопротивляется сама материя повествования. Странноватое произведение, что и говорить.

Несколько самоделковую психолого-детективную историю рассказывает в **повести «Капкан судьбы» Алексей Маркс** («Нева», № 12). История, как говорится, жизненная, но с оттенком примитивизма. Молодой русский парень из Казахстана в перестроечное изломанное время уезжает с родителями в Новосибирск. Но и там не живется ему спокойно: снедает его извечная наша грусть-тоска, которую он, само собой разумеется, заливает водкой. А водка до добра не доведет. Парень смазливый, девушек вокруг него вьется немерено, вот и сбился бедолага с пути. И жену забыл, и детей. А неудержимо влекущая к себе размалеванная краля оказалась известно кем. Вот он ее спьяну и

порешил, да и угодил в тюрьму. А в тюрьмах-то наших, матушки мои, что делается!.. История из разряда тех, какими делятся на скамейках пьяницы с сочувствующими им добрыми старушками. А ты не пей, не гуляй с кем попало, чай, у тебя жена есть, детишки, об них и думай.

Не чересчур оригинален и **Владимир Кантор**, в **рассказе «Смерть пенсионера»** («Звезда», № 10) описавший нелегкий быт, а потом смерть одинокого старика профессора. В последние годы кто только на эту неисчерпаемую тему не писал! От тривиальности историю спасает разве что финал. Оказывается, любимая жена старика *давно ждала его на небесах, где они встретились наконец,* а не жила в Америке. А он-то все убеждал себя, как ей там, вдали от бесчеловечной родины, хорошо.

Очередную «повесть номера» под названием **«Сад Бахуса» Вячеслава Овсянникова** представляет «Аврора» (№ 6). Увы, больше всего **повесть** напоминает пустой конфетный фантик. Развернешь его, — а вместо конфетки там пшик. Итак, конец 80-х, всеобщий повальный дефицит. Но не для всех. Некое семейство в пригородном питерском Петергофе устроилось преотлично, благо мать семейства заведует продуктовой базой. Вся в связях и разнообразнейшем блате. Читатель ждет уж рифмы «розы», а также справедливого осуждения барыг, живущих явно не по совести и не по средствам. Однако взамен морального осуждения представлено невыносимо подробное перечисление всяческих житейских обстоятельств, сквозь которые многочисленное семейство проходит с разной степенью удачливости.

Нина Катерли в фантастическом **рассказе «Сказочник»** («Звезда», № 11) выводит символические фигуры доброго, но беззащитного Сказочника, его сына, сделавшего отличную карьеру при дворе правителя, а также омерзительного Кольчатого Змея, Крысы, Привидения, Воробья, Ветра и т. д. Смысл рассказа: Добро и Зло в родном царстве поменялись местами, и отныне рассказывать сладкие сказочки запрещено, ибо на дворе новое время — время *реальных людей,* в которых сила. Сюжетец любопытный, правда, несколько утомительно разгадывать, кто тут есть кто и что скрывается под очередной аллегорией.

Цикл рассказов об умненькой девочке/девушке Марусе под заглавием **«Кубики»** публикует в «Звезде» (№ 12) **Ирина Климовицкая**. В детстве Маруся подавала большие надежды: ребенок явно талантливый, круглая отличница. Разве что к музыке, которой ее обучают насильно, неспособна. А поступила в университет, пожаловалась как-то врачу, сильно устав, на *утрату души,* на то, что *превратилась в стороннего наблюдателя собственной жизни,* — и угодила в знаменитую питерскую больницу на Пряжке, страшноватый дурдом. А уж там сквозь ужас, коего она нагляделась предостаточно, жизнь заставила ее по-настоящему чувствовать *процесс собственной жизни,* а не наблюдать его со стороны.

Интересной и трогательной историей о заветном желании юной девушки стать настоящей певицей делится **Лидия Березнякова** в **рассказе «Короткая жизнь в искусстве»** («Звезда», № 10). Удивительно теплый рассказ. И самое в нем обаятельное — та совершенно неподдельная, чистая и бескорыстная любовь к искусству вокала, которой рассказ переполнен. Ну не дал девушке Бог настоящего артистического таланта, покидает ее и голос, про-

резавшийся на короткое время. Но все же, пусть и недолго, голос был, — и какое же это было неподдельное счастье, упоение музыкой, общение с подлинными талантами!..

Рассказ «Ночная охота» Игоря Гамаюнова («Нева», № 10) — о том, как быстро и, самое главное, успешно сумел успокоить свою растревоженную было совесть некий москвич-интеллигент. Всего лишь чуток и поболела у него душа, когда он узнал, как невольно подвел под тюремный срок честного парня-егеря из степной глуши. Но и этой, совсем коротенькой, работы совести герой не выдерживает. Самооправданий у него наготове — без счета, вот к ним он и прибегает, желая внутреннего покоя и безмятежности. Ничего не скажешь — история пронзает.

О необыкновенном случае с юной американкой, приехавшей в Москву, повествует **Сергей Стрельцов** в **рассказе «Тургеневская девушка»** («Нева», № 10). Как водится, в первопрестольной ее моментально обокрали. Но именно благодаря этой краже она и встретила свою вымечтанную любовь.

Волнообразные капризы немолодого ученого, которыми он замучил влюбленную в него даму, — основное содержание **цикла новелл** писательницы-дебютантки **Кати Бурнашовой**, объединенных под заглавием **«Встречи одной немолодой пары»** («Звезда», № 10). Дама то взмывает в сладостных мечтах до небес, то с грохотом рушится на землю. Беднягу, конечно, жаль, но почему автор начисто забывает дать ей хоть каплю ума? Впрочем, будь героиня им наделена, о чем было бы писать?

Рассказы Дмитрия Притулы («Нева», № 12) — типично житейские сказовые истории. Подтекст их — «и чего только в жизни не бывает»! И непутевый младший братишка, баловень и любимчик семьи, волею судьбы, а точнее, собственной безалаберности, вдруг превращается в безногого инвалида и тяжким грузом повисает на сестрах (**«Малыш»**). И бабульку — страстную кошатницу, замучившую своими бесчисленными кошками весь дом, — пытается отравить родная дочь. Правда, травится не старуха, а мальчишки, которых бабулька от души угостила ядовитым студнем (**«Переселение»**). И главное не разобрать, кто здесь прав и кто будет следующей невинной жертвой.

Образец до крайности кровожадной и глубоко безнравственной прозы — подборка **рассказов** осетина **Тамерлана Тадтаева «Цхинвальские подстольники»** («Нева», № 10). В редакционной справке сказано, что автор — профессиональный военный, а также, что особо подчеркивается редакцией, *участник сопротивления грузинским агрессорам 8—10 августа 2008 года.* Вот как представляет себя читателю герой-рассказчик, персонаж безусловно положительный: *Мы ненавидим и убиваем. <...> Пролитая кровь не утолила моей жажды. Я хочу убить как можно больше грузин, на их территории, захватить Тбилиси и устроить там резню, как они прошлой зимой в Цхинвале.* А пока грузин под рукой нет, — *вирус войны*, поселившийся в крови рассказчика, велит ему учинить расправу хотя бы над кошкой: *Я схватил ее за хвост и стал бить царапающийся и мяукающий серый в полоску комок о пыльный асфальт. Выбив из кошки всю жизнь, швырнул труп в темные воды Лиахвы.* Просто мальчонка с детства подавал большие надежды в отношении всевозможных убийств, чем откровенно гордится: таким и должен быть истинный патриот! И если здесь, на войне, никого на его глазах

не убивают, — так это не война, а пустяки. Имеется у рассказчика и пример для подражания, — так сказать, подлинный герой, предмет обожания и восторга. Это громила-солдат — *фантастическое существо, не ведающее ни страха, ни жалости.* Он убивает врага дробящим ударом приклада в лицо, а потом ногами добивает раненого, месит из его тела *тесто для пирогов.* Вот зрелище, по-настоящему *захватывающее дух*!.. Впрочем, с не меньшим мастерством этот образец для подражания убивает и соотечественника-осетина. Впрочем, что тут долго обсуждать. По сути дела перед нами — откровения до крайности злобного, темного и вконец озверевшего солдата. Отыскала-таки «Нева» для себя плодотворную литературную дорожку. Такого даже «Молодая гвардия» себе не позволяет.

Мемуары и non-fiction

Любопытными материалами на тему писательской жизни делятся «Нева» и «Аврора».

Свои дневники и рабочие тетради 2004—2005 годов **Дмитрий Каралис** озаглавил **«Принцип реванша»** («Нева», № 12). «Реванша» — потому, что по своим убеждениям автор есть доподлинный *консерватор, радикал и реваншист.* Вот почему его принципом стало добиваться, чтобы страна опять была *мощной, доброй и справедливой.* То есть такой, какой она была в советские времена, особенно в военные. Касаясь темы покаяния, с которой ему постоянно надоедают писатели-либералы, Каралис откровенно пишет: *Лично я... каяться не готов. За какие деяния предков я должен каяться? За то, что они вступили в партию в блокадном Ленинграде?.. За то унижение голодом и холодом, которое они переносили за все 900 дней блокады?* Встречи с друзьями и знакомыми отца, создание фильма о железной дороге в блокированном городе и подлинных ее героях — вот содержание этой публикации. Причем содержание острополемическое, целиком адресованное проклятым писателям-демократам.

Обзор — не место для дискуссий, иначе непременно захотелось бы спросить: в какой это, интересно, счастливой Аркадии довелось жить автору? Где располагалась эта *мощная, добрая и справедливая* страна, не имевшая в своем послужном списке ни ГУЛага, ни Катыни, ни голодоморов, ни коллективизации? Страна, не нападавшая 26 июня 1941 на нейтральную Финляндию и ни коим образом 900-дневную блокаду не спровоцировавшая? Страна, *где,* как поется в песне, *так вольно дышалось* родителям Каралиса (между прочим, когда-то целую книгу написавшего о собственном дворянском происхождении!)? Где же это сказочно справедливое государство, ни сном ни духом не виноватое в том, что миллионы женщин, стариков и детей оказались запертыми в холодном, вымирающем и обстреливаемом городе, — да и ни в чем другом не виноватое?..

Впрочем, государство это, которое седьмой десяток лет привычно прячется за спины умерших блокадников, нам всем хорошо известно. Приведем цитату из книги историка и социолога Дины Хапаевой «Готическое общество: морфология кошмара»: *Миф о войне — это заградительный миф. Он возник как миф-заградитель ГУЛага... «Плавильный котел» мифа о войне был призван объединить разорванное террором общество против общего врага и превратить сокрытие преступления в подлинную основу «новой общности*

людей — советского народа»... Главная функция мифа о войне, которую он продолжает успешно выполнять и по сей день, — вселять в души наших соотечественников непоколебимую уверенность в том, что ГУЛаг — всего лишь незначительный эпизод, иногда досадно торчащий из-под могучей спины «воина-освободителя».

Не устыдившись нашей истории, не приняв на себя моральную ответственность и за плохое, и за хорошее в истории своей несчастной и преступной страны, мы все рано или поздно вынуждены будем гордиться и ГУЛагом, и коллективизацией, и бесчисленными напрасными жертвами.

В очерке ныне покойного **Николая Шадрунова**, озаглавленном **«Московские прохиндеи»** («Аврора», № 6), автор воссоздает страсти вокруг сгоревшего в Петербурге в 1993 году Дома писателя. Он свято убежден: дом подожгли нарочно, и сделали это, несомненно, те, кто разрушил СССР. То бишь — проклятые демократы. Это они, ленинградские писатели-демократы, *обличая минувшие десятилетия, раздували... угольки того костра, в котором предстояло сгореть всему нашему государству.* Попутно автор бросил камни и в тех московских и питерских писателей, вроде Новеллы Матвеевой и Виктора Кривулина, кто, ядовито сказано в очерке, живя *глубокой внутренней жизнью,* втайне был постоянно снедаем мечтами об иноземной Нобелевской премии.

В «Дневнике редактора» («Аврора», № 6), названном **«Нужен ли России Союз писателей»**, **Николай Коняев**, бросив взгляд в прошлое этой советской организации, пишет о том, какой доброй и замечательной она была. *В каждом конкретном случае находилось конкретное выражение помощи, которую оказывал Союз писателей этим писателям, спасая их от нищеты, от бездомности, от прямого физического уничтожения...* Кто же были эти счастливцы? Оказывается, М. Булгаков, А. Ахматова, Б. Пастернак.

Приз редакции «Авроры» — в студию!

Обзор подготовила Евгения Щеглова

С. «Иностранная литература»
(Публикации 2008 года)

ПЕРВЫЙ НОМЕР «Иностранки» полностью посвящен **Конан Дойлу** и викторианским детективным историям. Наиболее интересны здесь произведения самого писателя, особенно, если учитывать, что журнал публикует дебютный рассказ Дойла **«Подлинная история о привидениях Горсторпской усадьбы»**, который пришел к русскому читателю через *130 лет после написания и утери, через 65 лет после счастливого обретения и 8 лет после публикации в Великобритании.* Можно сказать, что Том Халтон — герой рассказа — прапрообраз Холмса: он также курит трубку, его рассуждения степенны и убедительны. Из крупных произведений Дойла в номере представлена повесть **«Долина страха»** в переводе И. Бернштейн. Это не только новый перевод, но и новое возвращение одной из самых странных повестей Дойла, запрещенных в свое время в Советском Союзе.

Необычная публикация — стихи Конан Дойла из сборника **«Песни действия»** 1898 года в переводе М. Бородицкой. *В его поэзии преобладали*

темы воинской доблести, жестокости и разрушительности войны, прославление людей «героических профессий», размышления на темы британской и европейской истории. Но, помимо этих «высоких» тем, у Дойла можно найти и любовную лирику, и притчи, а также стихи, описывающие анекдотические ситуации, и автор демонстрирует при этом незаурядное чувство комического. В общем и целом, это очень «английские» стихи — в меру ироничные, в меру абсурдные, без малейшей доли дидактики.

Особого внимания заслуживает очерк 1903 года **Роберта Андерсона «Шерлок Холмс: детектив с точки зрения Скотленд-Ярда»**, потому что это взгляд специалиста по уголовному праву, с 1888 по 1901 возглавлявшего уголовный сыск Скотленд-Ярда.

НОМЕР ВТОРОЙ — тематический: представляет новогреческую литературу XX века.

Роман современного классика **Костаса Тахциса «Третий брак»**, необычайно популярный у себя на родине, особенно в 1960-е, появился, наконец, в русском переводе А. Ковалевой. Автор рисует широкую панораму Греции времен гражданской войны и оккупации. В романе несколько сюжетных линий, минимум описаний и максимум действия, обо всем происходящем рассказано с точки зрения главной героини. Это она, Нина, в третий раз вышла замуж (с первым мужем развелась, второй умер, и вот теперь — третий). Но «Третий брак» — не столько собственно о третьем браке, сколько о желании жить вопреки всему и, следовательно, даже о возможности еще одного брака. Вот характерные рассуждения героини, сетующей на плохое здоровье мужа и надеющейся, что он не умрет: *Надеюсь, Господь обнесет меня этой чашей — это уж было бы слишком. Но если не дай бог случится что-то и с ним, то попы, как я слышала, разрешают и четвертый брак, так что я вполне могу выйти замуж и еще разок.*

Роман затрагивает практически все вечные темы: любовь и предательство, вера и неверие, рождение и смерть, отношение матерей и детей, новое поколение и старое, мирное время и военное... Тонко, мудро и с юмором передает Тахцис восприятие жизни глазами представительницы другого пола. Это еще и роман о сильных и чрезвычайно эмоциональных женщинах, переживших очень многое, доходящих порой до цинизма, из нежных и робких девочек превратившихся в цепких истеричных баб, которые побывали и на вершине, и на дне и не понаслышке знают, что такое любовь-ненависть. Семейная сага, вписанная в историю Греции, изложенная ярким, живым языком, полным просторечий, острот, поговорок и мудрости, — таков роман Костаса Тахциса. *Единственное, что в жизни имеет значение, так это быть хорошим человеком, а добиться этого ты можешь только сам. Кто бы там сейчас ни правил, какой бы строй ни устанавливал, есть вещи, которые никогда не изменятся: всегда будут люди и нелюди...*

ТРЕТИЙ НОМЕР открывается фрагментами из автобиографического романа **Гюнтера Грасса «Луковица памяти»**. Журнал представляет главы, связанные с военными эпизодами жизни немецкого классика. Как пишет переводчик книги Б. Хлебников, *именно эти главы имел в виду президент*

Келер, когда говорил в своей поздравительной речи, что «Луковица памяти» — свидетельство тому, с какой жаждой нового и волей к творчеству начинало свою послевоенную жизнь поколение Грасса. Отдельным изданием книга вышла чуть позже — в августе 2008. На ее страницах — два десятилетия: от начала Второй мировой войны до публикации «Жестяного барабана» в 1959. Это правдивое повествование, в котором Грасс не умалчивает даже о службе в войсках СС, что вызвало, мягко говоря, волнение — еще до выхода книги из печати. Но ценность романа не только и не столько в откровенных признаниях, сколько в осознании ошибок прошлого, в смелости назвать их своими, в способности добраться до самой сердцевины памяти, отбрасывая шелуху воспоминаний.

Стоит обратить внимание на дебют американского писателя **Шона Макбрайта** — роман **«Зелень. Трава. Благодать»** (по-английски — очень динамично: **Green. Grass. Grace**). Легко и ярко написанный от лица подростка Генри Тобайса Тухи, на родине писателя роман стал бестселлером. Что же привлекло и критиков, и читателей в этом, надо сказать, незамысловатом повествовании? Можно предположить, что простота изложения (роман читается очень легко, не являясь при этом средней руки беллетристикой); бесспорно, привлекает и язык: молодежный сленг, без страха и без цезур используемый автором, придает такую живость герою и реалистичность всему происходящему, какие еще поискать в современной литературе... Но главное — это, пожалуй, сам герой, которому свойственно неутомимое подростковое желание все осмыслить в сочетании с мудрым, по-настоящему взрослым оптимизмом. Вообще главный герой, как и все его ровесники в романе, отличается необыкновенной взрослостью, — не сразу понимаешь, сколько им всем лет: они по-взрослому рассуждают, по-взрослому общаются с родителями, по-взрослому пьют и курят... Все же, несмотря на некоторый натурализм, на обилие нецензурщины (что, конечно, может смутить иного читателя), это все-таки очень добрая книга — о парнишке из ирландского квартала Филадельфии, который идет к своей цели, любит, взрослеет, размышляет, балагурит, разговаривает — как умеет, главное, что искренно.

В мартовском номере представлен также фрагмент романа **«Слепота»** (1995) крупнейшего португальского писателя, драматурга, поэта, эссеиста, лауреата Нобелевской премии **Жозе Сарамаго**. Этот странный роман критики относят к жанру социальной антиутопии. Внезапная слепота «накрыла» людей, — и книга посвящена тому, что они узнали, что поняли, как изменились их отношения... В этом романе продолжают развиваться принципы «нового гуманизма», поднимаются вопросы человеческого достоинства, истины и лжи, уважения и унижения. Как всегда у Сарамаго — отчаянный взгляд на человечество, надежда на прощение.

НОМЕР ЧЕТВЕРТЫЙ. Молодой бельгийский автор **Томас Гунциг** довольно популярен в нашей стране, славу ему принесли роман-антиутопия «Смерь Билингвы» и «Самый маленький на свете зоопарк». В одном из своих интервью прозаик сказал, что хотел бы написать книгу, события которой разворачивались бы в России. Однако действие романа **«Куру»** (2005 год) происходит не в России, а в Берлине. Гунциг вообще любитель давать

своим романам причудливые названия. Вот что написано в энциклопедии: «*Куру — болезнь, встречающаяся почти исключительно в высокогорных районах Новой Гвинеи у аборигенов племени форе, впервые обнаружена в начале XX века. Болезнь распространялась через ритуальный каннибализм. С искоренением каннибализма куру практически исчезла. Главными признаками заболевания являются сильная дрожь и порывистые движения головой, иногда сопровождаемые улыбкой... В начальной стадии болезнь проявляется головокружением и усталостью. Потом добавляется головная боль, судороги и, в конце концов, типичная дрожь. В течение нескольких месяцев ткани головного мозга деградируют, превращаясь в губчатую массу. Это заболевание встречается преимущественно у женщин и детей и считается неизлечимым — через 9–12 месяцев оно заканчивается смертельным исходом*».

Гунциг, которого критики называют «младшим братом Равалека» и «внучатым племянником Кафки», создал своеобразный реалистичный мир, объемное, местами абсурдное повествование о нашем времени, повествование, написанное современным, порой даже уличным языком, однако не лишенное индивидуализма, тонкой иронии и серьезного взгляда на молодежь. Необычные герои романа «больны» необычными недугами: у Фреда в голове мухи, Пьер появился на свет в результате «хромосомной диссеминации». Все они — и богатая девочка Кристин, и итальянец Фабио, и клон-мутант Пьер, и «человек с мухами» Фред — участники масштабной антиглобалистской демонстрации в Берлине по поводу саммита «Большой восьмерки». Переводчик романа Н. Хотинская тонко подметила, что *Гунциг сумел, как это мало кому удавалось, уловить и отразить в уморительном и жутковатом, гротескном без ерничества и серьезном без нравоучительности романе дух своего времени.*

В разделе «Carte Blanche» — **«Признания туриста. Допрос» Кристофа Рансмайера**, известного австрийского писателя, знакомого русскому читателю по таким произведениям, как «Болезнь Китахары», «Последний мир», «Ужасы льдов и мрака». «Признания...» — своеобразная поэтическая проза, емкие пластичные описания природы, тонкие наблюдения, небанальные размышления. Мысли о природе творчества и о природе существования ненавязчивы и в то же время неотвратимо приковывают внимание. В целом же «Признания...» скорее похожи на собрание афоризмов, заметок туриста, путешествующего по жизни, — метких, неожиданных и, что самое замечательное, полных самоиронии.

В *ПЯТОМ НОМЕРЕ* публикуется роман **Маргарет Махи «Пространство памяти»**. В предисловии — трогательная история знакомства переводчика и автора — известной новозеландской писательницы, обладательницы премии Ганса Христиана Андерсена. К сожалению, на русский язык произведения Махи практически не переведены, на родине же ее романы уже сейчас считаются классикой. «Пространство памяти» наряду с романом «Преследующий» — один из лучших в творчестве Махи. Это уже не детско-юношеская литература, на ниве которой прославилась писательница, однако и здесь повествование не лишено некоторой наивности и даже сказочности — в характере самого героя Джонни Дарта (отчаянного, совсем еще молодого

человека), в казалось бы случайных обстоятельствах (встреча в ночном городе со старой женщиной, потерявшей память), в незримом присутствии духа умершей сестры, даже в немногословных пейзажных описаниях. Движение роману придают динамичные диалоги, посреди которых можно иногда остановиться и оглядеться, и поверить, что все закончится хорошо, потому что герой — совестливый парень и в каком-то смысле по-настоящему счастливый человек. Глубокий, добрый, психологичный роман, из которого, кстати, русский читатель узнает еще и о жизни Новой Зеландии, о борьбе народа маори за свои права, о привычках и обычаях новозеландцев.

Швейцарский писатель **Петер Биксель** представлен двумя рассказами и **«Пятой Франкфуртской лекцией»**. *С Петером Бикселем скучать не приходится*, — пишет в послесловии к рассказам Петер фон Матт. И стоит прочитать рассказы, чтобы убедиться: Биксель и правда ни с кем не соревнуется, а простое «пошел дождь» напишет так, что *невольно втянешь голову в плечи, почувствовав, как капли падают за воротник*. В своих коротких предложениях Биксель умудряется и рассмешить, и заставить задуматься, и поставить нешуточную проблему.

Со шведского переведена **«Современная смерть» Карла-Хеннинга Вийкмарка**. Это своеобразная драма поднимает проблему эвтаназии, о чем подробно пишет **Борис Юдин** в статье **«Кто там у последней черты?»**: *По сути дела, Вийкмарк вводит читателя в своего рода интеллектуальную лабораторию, в которой происходит выработка принципиально нового — с точки зрения накопленного человечеством опыта — понимания смерти и отношения к ней: концепции «современной смерти». Это — заранее объявленная смерть, которая будет наступать по предписанию чиновника*. Рациональная, по мысли государственной политики, экономия на пенсионерах, беженцах, инвалидах бесчеловечна, однако *нельзя выпрыгнуть из общественной формации и экономики, но можно, по крайней мере, попытаться по мере сил встать на защиту некоего минимума человечности*.

Нельзя обойти вниманием стихи **Уоллеса Стивенса** в переводе Г. Кружкова, который еще написал к переводу статью, полную тонких комментариев к творчеству поэта: *Стивенс труден совсем не так, как Рильке, Элиот или Пастернак. Те сложны сами по себе, безотносительно публики. А Стивенс как будто нарочно задает загадки; в его стихах постоянно чудится какой-то подвох*. Лишь в процессе перевода Кружков, по собственным же словам, начинает понимать переводимое стихотворение. И статья, в которой автор трактует некоторые образцы поэзии Стивенса, и сами переводы — замечательная попытка приобщить читателя к этому эксцентричному явлению в американской поэзии.

В разделе «эпистолярий» представлены письма **Ивлина Во** Джорджу Оруэллу и Грэму Грину, а также заметки, в некотором роде даже афоризмы из дневников 1960–1964 годов. В письмах Во предстает веселым собеседником и острословом. Дневники тоже полны остроумных замечаний, а кроме того содержат интересные факты из жизни прозаика и просто мысли, которые он посчитал нужным записать: *Слабеющая память и старческий зуд писать письма в «Таймс» на любую тему подтолкнули меня к решению время от времени записывать все, что приходит на ум*.

Т. Баскакова в ***НОМЕРЕ ШЕСТЬ*** рассказывает почти сказочную историю **Георга Кляйна**, чьи романы долгое время пролежали в «ящике письменного стола», прежде чем увидели свет. К писателю, ставшему лауреатом многих премий, успех пришел внезапно и надолго,. У Кляйна появились и почитатели, и литературные недруги, те, кто не принял его манеру «мифоманиакальной», «мнимопритчевой» прозы, обвиняя его то в безвкусице, то в слишком нарочитом выставлении напоказ уродства. У читателя есть шанс составить собственное мнение: «Иностранка» публикует роман **«Либидисси»**, который критики признали одной из лучших немецкоязычных книг года. Сходство с «Процессом» Кафки не должно сбить с толку, — напротив, оно даже делает чтение интереснее: чем больше находишь общего между Шпайком Кляйна и Йозефом К. Кафки, тем неожиданнее становится конец «Либидисси», пронизанный пульсацией жизни, противопоставленной отлаженной работе «людей-автоматов». В каком-то смысле это книга о противопоставлении логически выверенного существования — алогичному, то есть живому, свободному. Стиль романа сложный, порой вычурный, создает странный, пробуждающий воображение мир вымышленного города Либидисси и героя в этом мире — немецкого резидента Шпайка, который на протяжении всего повествования тоскует по родине. Роман о современном пространстве современной жизни, помещенной в город, похожий, в принципе, на любую столицу, знакомый каждому.

Восьмидесятилетию **Тоне Павчека**, словенского поэта, переводчика русской литературы, посвящена подборка его стихотворений, а также эссе **«Ленинградская встреча с Бродским»**. За свою долгую жизнь Павчек видел много и многих. Большую славу в Словении снискали его эссе-мемуары. Воспоминание о встрече с Бродским *русской зимой далекого тысяча девятьсот шестьдесят третьего* — одно из них. Павчек вспоминает и А. Ахматову, и молодых А. Кушнера и В. Соснору... Автор возвращается в шестидесятые и уводит за собой читателя.

Стоит отметить новеллу **«Прощальный подарок зла»** известного албанского писателя **Исмаиля Кадарэ** в переводе и с послесловием В. Тюхина. Кадарэ, по словам переводчика, — *писатель, который всегда пишет о современности*. Перед читателем — Османская империя, но по намекам, разбросанным в тексте, понятно, что речь идет о коммунистической Албании. Новелла написана в 1987 году и представляет собой своего рода прощальный взгляд на гаснущую тиранию. В интервью, данном специально для читателей «Иностранной литературы», писатель признается: *Что касается российских читателей, то я считаю их одними из самых лучших в мире*. Исмаиля Кадарэ, некогда студента Литературного института, многое связывает с Россией. В конце интервью — короткий, но пронзительный рассказочерк **«Смерть русской женщины»**.

НОМЕР СЕДЬМОЙ. Особое внимание следует обратить на **«Бумажный театр» Милорада Павича**. Это, можно сказать, мистификация наизнанку: во вступлении автор признается, что все тридцать восемь писателей, вошедшие в его роман-антологию мирового рассказа, придуманы им самим, так же как и их произведения. *«Включенные» в книгу выдуманные писатели представля-*

ют реально существующие, конкретные страны, в которых публиковались переводы моих произведений. И это не только дань уважения моим читателям из этих стран (что, разумеется, тоже имеет место), но и стремление самому познакомиться с этими литературами ближе, чем с остальными.

Неожиданна и подборка живущего в Америке болгарского **поэта Никиты Нанкова**. Его стихи — своеобразные наследники русского футуризма: замысловатые, оригинальные стихи-рисунки:

бис бис бис
ер ер ер
барболи барболин барболинк
е ке нке
барболинке

Однако, пожалуй, самая долгожданная публикация июля — новый (а к тому времени только недавно изданный в Англии) роман **Иэна Макьюэна «Чизил-Бич»** в переводе В. Голышева. Макьюэн хорошо знаком русским читателям по романам «Искупление», «Суббота», «Невинный, или Особые отношения» и, конечно, «Амстердам». Сюжет «Чизил-бич», казалось бы, прост — история любви, вечное «а счастье было так возможно...» Однако это еще и размышление о духовном и телесном, о переходе пуританской эпохи 50-х годов в безумные 60-е. Флоренс любила Эдуарда, но, выйдя за него замуж, поняла, что не может и не хочет физической близости. *Как они встретились, и почему в современную эпоху эти возлюбленные так робки и невинны? Они считали себя слишком просвещенными, чтобы верить в судьбу, и все же казалось парадоксальным, что встреча, перевернувшая их жизнь, произошла случайно...*

НОМЕР ВОСЬМОЙ. **Ясмина Хадра** (женский псевдоним алжирского писателя, живущего в Париже) и роман **«Теракт»**. Как следует из названия, это роман о терроризме. Как понимаешь после прочтения, — о любви: человека к Богу, мужчины к женщине, женщины — к идее... Главный герой Амин Джаафари, тель-авивский хирург арабского происхождения, оказался перед странными вопросами: зачем надо было устраивать взрыв в кафе? кто несет за это ответственность? что толкает смертников на намеренную гибель? И — самый главный из вопросов: почему террористкой-смертницей оказалась его собственная жена Сихем, которую он так любил и у которой, казалось бы, не было ни малейшего повода вступать в террористическую организацию. И все же смертницей оказалась именно она — современная успешная женщина, жена известного израильского хирурга. Оказывается, Джаафари совсем не знал свою жену. И он решает ехать в Палестину. То, что открылось ему там, в каком-то смысле лишает значения все, чем он жил раньше. И новые вопросы встают не только перед Джаафари, но и перед каждым читателем: что такое семья? что такое взаимопонимание? что такое счастье? что такое родина? Драматичный роман, соединивший в себе восточную повествовательную традицию и западноевропейский психологизм, заставляет нас взглянуть на актуальную проблему терроризма не глазами политика или общественного деятеля, а полными ужаса глазами влюбленного человека, в одночасье потерявшего все: *один миг — и все точки опоры исчезают, точно их ветром сдуло.*

В *ДЕВЯТОМ НОМЕРЕ* — роман классика английской литературы **Мюриэль Спарк «Не беспокоить»**. Это очень «спарковское» произведение — с множеством действующих лиц, с драматическими, порой абсурдными полемическими диалогами. Все действие укладывается в одну ночь, — но ночь, по-настоящему безумную, когда слуги (единственные действующие лица, которых мы видим) в доме богатого рода Клопштоков готовятся стать хозяевами всего наследства. Многочисленные слуги и есть сценаристы и режиссеры этой ночи: они планируют все вплоть до самоубийства хозяев. Ткань романа и драматическая, и поэтическая одновременно.

Татьяна Баскакова перевела и прокомментировала пьесу нобелевского лауреата **Эльфриды Елинек «Облака. Дом»**. Обширный комментарий к этой пьесе совершенно необходим, потому что эта экспериментальная пьеса, по словам переводчицы, *очень трудна для восприятия, для русского читателя особенно, поскольку такого рода театральных текстов на русском языке практически нет.* Задаешься вопросом: театральный ли это текст и в чем его театральность: небольшие фрагменты (сцены), произносящиеся от лица «мы», сплошь основанные на высказываниях Гельдерлина, отделенные друг от друга только пропуском строки. Однако большое количество постановок этой пьесы говорит само за себя: слишком велик соблазн интерпретации — от воссоздания художественного мира Гельдерлина до истории *развития самосознания немецкого народа с начала XIX до конца XX века...*

Стоит обратить внимание на автобиографическую прозу **Элиаса Канетти «Факел в ухе. Фрагменты автобиографии»**, известного романами «Ослепление» и «Масса и власть». За долгую жизнь Канетти сменил немало городов и стран, похоронил немало дорогих людей. Автобиография Канетти — это насыщенное событиями повествование без особенных отступлений и размышлений «на тему», но тем пронзительней описание чувств ребенка, потерявшего отца, мужа, потерявшего жену, мальчика, обретшего новый — немецкий язык — язык любви с матерью, язык будущих произведений.

НОМЕР ДЕСЯТЬ — тематический номер, посвященный итальянской литературе. Составители представили широкую панораму итальянской литературы — от «Неистового Орланда» до футуризма и экспрессионизма, от лирических современных новелл до пронзительного юмора **Джованнино Гуарески**, собрав, таким образом, под одной обложкой практически все формы: стихи, поэмы, эссе, интервью, новеллы, пьеса, документальная проза, роман и даже манифест.

Но, несмотря на представленные прозаические жанры, крупной прозы в номере все же нет, зато есть поэма в прозе **«Листик против молний» Тонино Гуэрра** — поэта, прозаика, кинодраматурга. Гуэрра не раскрывает перед нами какие-то особые стороны своего творчества: это знакомое его читателю лирическое настроение, немного меланхоличное, уводящее в воспоминания и размышления о прошлом, — недаром поэма (скорее, лирическая проза, записанная в столбик) посвящена сестрам и брату:

> Я понимал, что иду по внутренним тропинкам,
> которые пролегли среди обломков моей памяти.
> Я долго смотрел вокруг, не сходя с места.

Памяти переводчика Николая Живаго посвящена публикация пьесы **Альдо Николаи «Железный класс (осенняя история)»**. Действующие лица — 76-летние Либеро Бокка и Луиджи Палья — случайно знакомятся и завязывают разговор — о времени, о прошлом и современности, о детях, о старости. Они оба прошли войну и оба в каком-то смысле одиноки. Их разговор совсем не похож на драматический диалог, — напротив, это самая что ни на есть настоящая беседа двух людей, вступивших в старость. Бокка, немного брюзга и любитель похвастаться, и Палья, немного восторженный и любитель пожаловаться, перебивают друг друга, шутят и острят, с юмором говорят о себе и своей старости, потому что *каждому человеку столько, на сколько он выглядит. Сколько заслужил.*

Внимание читателей также обращается на творчество футуристов, экспрессионистов и сюрреалистов. Пространный манифест футуризма **«Противоболь»** (1914) **Альдо Палаццески** предлагает представить Господа в виде простого человека, ничуть не великого, который сотворил мир, потому что это весело: *Расстаньтесь же с вашей серьезностью, если вы хотите хоть что-то узнать о Нем и Его творении...* Это призыв перейти «за ограду», перестать бояться, отбросить стереотипы, понять, что люди «не были созданы для страданий», и романтическое упоение страданием давно устарело. Чем дальше, тем заявления становятся все более шокирующими, — на то он и манифест футуризма: «*смерть близких и их страдания подарят вам мгновения самой большой радости*», «*долой уважение к другим, пристойное поведение, стройные тела, красоту, молодость, богатство и свободу!*», «*позаботьтесь о том, чтобы хотя бы один из ваших детей был горбуном*», и т. п. В конце манифеста Палаццески делает не менее шокирующие выводы, провозглашающие стремление футуризма победить боль, страдания, старость и смерть. Гораздо более миролюбив опубликованный тут же манифест знаменитого **Филиппо Маринетти — «Манифест футуристической кухни»**, предлагающий *упразднить макароны — абсурдную гастрономическую религию итальянцев* и настроиться на футуристические рецепты (формулы), например: *мужчина — женщина — полночь.*

Событие номера — первая публикация на русском экспрессиониста **Федериго Тоцци**, чье творчество после сорокалетнего забвения стало гордостью итальянской литературы. Его новеллы создают мир абсурдной реальности, то очаровывающий, то пугающий. **«Бурная жизнь. Книга авантюрных романов»** искателя приключений, уничижителя иллюзий импрессионизма легендарного **Массимо Бонтемпелли** — еще один подарок. *Пишу в надежде обновить европейский роман*, — претенциозно заявляет в начале повествования Бонтемпелли. В каком-то смысле ему это удается: его минимализм обрел немало последователей.

ОДИННАДЦАТЫЙ НОМЕР посвящен литературе Квебека. О том, что вообще представляет собой эта литература, пишет **Жак Годбу** в статье **«Как возникла квебекская литература»**. Это небольшой экскурс в историю непростых отношений англоязычной и франкоязычной Канады. Это еще и попытка обозначить основные особенности — стилистические, тематические и прочие — творчества писателей Квебека: *героям произведений не*

сидится на месте, они все время в движении, словно кочевники на бескрайнем континенте.

В номере опубликован и роман Годбу **«Консьержка пантеона»** — грустное повествование о немолодом метеорологе из Квебека по имени Жюльен Макай, которого от остальных людей отличает жажда писательства. Он бросает работу и едет в Париж, чтобы написать большой роман. Но в чужом городе его ждут одиночество и бедность. Этот роман — печальная прогулка по Парижу, который столь же печален и заманчив, сколь холоден и далек.

Роман **Сержио Кокиса «Полустанок».** И снова путешествие по незнакомой земле. Но если в «Консьержке пантеона» герой едет в Париж, то герой «Полустанка» случайно оказался в полуразрушенном поселке Вокзал. Все просто: вместе с семьей ехал с курорта домой, вышел размяться на станции и, пока курил в туалете, — поезд ушел. Место оказалось настолько заброшенным, а попытка дождаться другого поезда настолько безнадежной, что ничего не осталось, как поселиться в Вокзале и ждать, когда семья пришлет за ним машину. Полустанок разделил жизнь Адриана на то, что было до (работа, карьера, семья) и после (досада на жену, одиночество, чувство отчужденности среди застойной, идущей на убыль жизни поселка). Но не просто так попадает сюда Адриан, ему предстоит решить для себя нечто очень важное. Вокруг — бескрайняя степь и бесконечное запустение, а если *кто, по несчастью, высадился на Вокзале, то уж так при Вокзале и живет...* Странный, несколько гротескный роман о поисках самого себя, потому что заброшенный полустанок — едва ли не лучшее место для начала нового пути.

Про пьесу **Робера Лепажа «Обратная сторона Луны»** нет смысла много говорить, достаточно напомнить, что спектакль по ней взял главный приз на VII Международном театральном фестивале имени Чехова в Москве в номинации «Лучший зарубежный спектакль, показанный в России». Журнал публикует один из монологов пьесы — целого мира человеческих эмоций, от мечтательности и иронии — до переживания неудач и трагического одиночества после смерти матери.

В ***ДВЕНАДЦАТОМ НОМЕРЕ*** — популярный в Америке роман **Кормака Маккарти «Дорога»**. Загадочный роман загадочного писателя, который не дает интервью и никак особо не комментирует свое творчество. Это книга-дорога, ведущая отца и сына неизвестно куда, в постапокалиптическом мире, в разоренной ядерной войной Америке, где ничего не растет, где нет ни солнца, ни еды, где все серо и мертво. Возможно, именно подобная стилистика, изображающая мир безысходности, жестокости и насилия, и стала причиной непопулярности первых романов писателя, но экранизация его произведений и престижные награды заставили по-иному взглянуть на его творчество. Теперь критики (не все, правда) называют его лучшим американским писателем со времен Фолкнера. Что же касается «Дороги», то это тяжелый роман, который воспринимаешь всем существом буквально до дрожи. По канве повествования идешь с отцом и маленьким сыном — чтобы выжить: *Голубоватое свечение, казалось, висело над стартовой площадкой, с которой им предстоит отправиться в последнее путе-*

шествие на край света, про которое некому будет рассказывать. Некому. Не надо себя обманывать.

Три публикации посвящены еще не переведенному на русский, но наделавшему шума роману Джонатана Литтелла «Благоволительницы». Удивительно уже то, что роман написан по-французски, тогда как его автор — американец, то, что книга, с одной стороны, отмечена Гонкуровской премией, а с другой, — терпела и продолжает терпеть нападки критиков. Роман о зверствах Второй мировой войны почти в тысячу страниц, построенный по подобию музыкальных сюит Жан-Филиппа Рамо, изложенный, как отмечают филологи, академическим языком XIX века, — *словно Пруста, Джойса, Фолкнера и Роб-Грийе не было и в помине,* — что же это за явление? В этом вопросе пытаются разобраться литературоведы **Жорж Нива** (**«Эринии Литтелла — судьи или судимые»**) и **Сергей Зенкин** (**«Джонатан Литтелл как русский писатель»**).

Обзор подготовила Анастасия Строкина

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ДЕЛУ ПИОНТКОВСКОГО*

Российский федеральный центр судебной экспертизы при министерстве юстиции российской федерации

Заключение эксперта (по гражданскому делу № 2-153543/07 о признании информационного материала экстремистским)

24 ноября 2008 г.

Экспертиза начата: 09 ч. 30 мин. 11.12.2007.

Экспертиза окончена: 18 ч. 30 мин. 24.11.2008.

В РФЦСЭ при Минюсте России 11.12.2007 поступило определение от 25.09.2007 судьи Басманного районного суда города Москвы С. В. Климовой о назначении комплексной судебной филологической экспертизы по гражданскому делу № 2-153543/07 по заявлению Басманной межрайонной прокуратуры г. Москвы о признании информационного материала экстремистским.

На разрешение экспертизы поставлены следующие вопросы:

1. Содержатся ли в книге «Нелюбимая страна» автора А. Пионтковского, изданной ООО «Полюс», высказывания, содержащие признаки возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной розни, а также пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии?

2. Если таковые имеются, то в какой форме они выражены; выражены ли они в форме призыва к осуществлению таких действий, обоснования осуществления таких действий или оправдания осуществления таких действий?

На исследование представлены:

1. Гражданское дело № 2-153543/07 — 1 т.

2. Книга А. А. Пионтковского «Нелюбимая страна» — 1 экз.

Обстоятельства дела

Басманная межрайонная прокуратура г. Москвы обратилась в суд с заявлением в порядке ст. 13 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» о признании информационного материала — книги «Нелюбимая страна» автора А. А. Пионтковского — экстремистским и запрещения его распространения на территории Российской Федерации.

Согласно перечню родов и видов экспертиз, которые проводятся в судебных экспертных учреждениях Минюста России, поставленные перед экспертами вопросы решаются в рамках судебной лингвистической экспертизы.

В обоснование заявления Басманной межрайонной прокуратурой г. Москвы была представлена справка об исследовании. Это лингвистическое исследование (№ 17/6826-лингв от 22 января — 16 марта 2007 г.) проведено С. М. Федяевым, главным экспертом ЭКЦ ГУВД по Краснодарскому краю, на основании отношения о назначении лингвистического исследования, вынесенного 21 декабря 2006 г. начальником СЗКСБТ ФСБ РФ Управления по Краснодарскому краю полковником А. В. Украинским. Перед С. М. Федяевым был поставлен вопрос: «Имеются ли в представленных материалах высказывания, содержащие призывы к осуществлению каких-либо враждебных или насильственных действий по отношению к лицам какой-либо национальности либо высказывания, содержащие пропаганду неполноценности граждан какой-либо национальности или социальной группы по сравнению с другой нацией или группой, либо высказывания уничижительного характера по отношению к лицам какой-либо национальности, этнической или социальной группы?»

В своем исследовании эксперт С. М. Федяев пришел к выводу, что «В представленных материалах имеются высказывания, содержащие призывы к осуществлению каких-либо враждебных или насильственных действий по отношению к лицам, имеющим определен-

* http://grani. ru/Society/Media/Freepress/p. 144940. html, полная версия

ный социальный статус, какой-либо национальности либо высказывания, содержащие пропаганду неполноценности граждан какой-либо национальности или социальной группы по сравнению с другой нацией или группой, либо высказывания уничижительного характера по отношению к лицам какой-либо национальности или социальной группы. Данные высказывания выражены в утвердительной форме. Функциональная и эмоциональная направленность предоставленных материалов — побудительная, содержащая призывы к определенным действиям (в том числе насильственного характера)» (л. д. 9–18).

В деле также имеется непоименованный документ с указанием адресата «В Басманную межрайонную прокуратуру г. Москвы» (л. д. 6–8), со штемпелем Московского Государственного областного университета. Это текст «социально-психологического изучения» книги Пионтковского, составленный на основании обращения Межрайонного прокурора А. Ю. Захарова и подписанный доктором психологических наук, профессором, заведующей кафедрой социальной психологии МГОУ Т. И. Шульгой. Вопросы, поставленные перед Т. И. Шульгой, в тексте не приведены. В результате изучения книги Т. И. Шульга пришла к следующим выводам:

«1. В представленных материалах имеются высказывания, содержащие призывы к осуществлению каких-либо враждебных или насильственных действий по отношению к лицам, имеющим определенный социальный статус какой-либо национальности и высказывания, содержащие пропаганду неполноценности граждан еврейской, американской, русской и других национальностей, а также определенных социальных групп по сравнению с другой нацией, группой.

2. Имеются высказывания уничижительного характера по отношению к лицам отдельных национальностей или определенных групп.

3. В книге отсутствуют призывы к насильственному изменению конституционного строя и нарушению целостности Российской Федерации. В представленной для исследования книге "Нелюбимая страна" Андрея Пионтковского отсутствуют в содержании утверждения, направленные на подрыв безопасности Российской Федерации, призывы к осуществлению террористической деятельности» (л. д. 7–8).

Производство экспертизы поручено комиссии экспертов:

Смирнову Андрею Анатольевичу, ведущему эксперту РФЦСЭ при Минюсте России, имеющему высшее образование по специальности «031001 — Филология», право самостоятельного производства судебных экспертиз по специальностям «2.1 — Исследование письменной речи», «26.1 — Исследование продуктов речевой деятельности», общий экспертный стаж 29 лет;

Сафоновой Юлии Александровне, имеющей высшее образование по специальности «031001 — Филология», кандидату филологических наук (специальность: «10.02.01 — Русский язык»), доценту, стаж работы по специальности 29 лет;

Кукушкиной Ольге Владимировне, профессору кафедры русского языка филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, доктору филологических наук, имеющей высшее образование по специальности «10.02.01 — Русский язык», стаж работы по специальности 24 года.

Прим.: Сафонова Ю. А. была привлечена в качестве эксперта в состав комиссии согласно ходатайству РФСЦЭ (№ 3775/24 от 06.12.2007), которое было удовлетворено судом 24.12.2007 (вх. № 3775/24). С 14.04.2008 Ю. А. Сафонова работает в РФЦСЭ в должности ведущего эксперта.

Кукушкина О. В. была привлечена в качестве эксперта в состав комиссии согласно ходатайству РФСЦЭ (№ 3775/24 от 06.12.2007), которое было удовлетворено судом 24.12.2007 (вх. №3775/24).

При проведении экспертизы была использована следующая специальная и справочная литература:

1. Баранов А. Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика: учебное пособие. М., 2007.

2. Ермакова О. П. Ирония и ее роль в жизни языка. Калуга, 2005.

3. Ивин А. А. Основы теории аргументации. М., 1997.

4. Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В. Н. Кожевникова, П. А. Николаева. М., 1990.

5. Методические рекомендации Генеральной прокуратуры «Об использовании специальных познаний по делам и материалам о возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды» от 29.06.99 г.

6. Ратинов А. Р., Кроз М. В., Ратинова Н. А. Ответственность за разжигание вражды и ненависти. Психолого-правовая характеристика, М., 2005.
7. Толковый словарь русского языка: В 4 тт. / Под ред. Л. Н. Ушакова. М., 1915–1940.
8. Яценко Н. Е. Обществоведческий словарь. Изд. 3-е, испр. и доп. СПб., 2007

Исследование

1. Определение понятий

В формулировках, поставленных перед экспертами вопросов и в исследовательской части экспертного заключения употребляются такие понятиях как призыв, обоснование, обвинение, социальная рознь, социальная группа, возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, ирония, аллюзия, которые в контексте настоящего заключения понимаются следующим образом.

Социальная рознь является отражением вражды между социальными группами. Под социальными группами понимаются относительно устойчивые совокупности людей, имеющие отличные, только им присущие признаки и выступающие целостными субъектами отношений в обществе, в сферах, наиболее отвечающих реализации их потребностей. Различают большие социальные группы, средние социальные группы и малые социальные группы. Большие социальные группы — устойчивые совокупности значительного количества людей, функционирующие в масштабах общества в целом: классы общественные, этнические и демографические общности, социальные слои, профессиональные группы и др. Средние социальные группы — сравнительно устойчивые общности людей, прожинающих на одной территории или работающих (обучающихся, проходящих военную службу и т. п.) в одной организации. Малые социальные группы — относительно устойчивые небольшие по численности социальные группы, члены которых находятся между собой в непосредственном личном общении и взаимодействии (семья, соседская общность, школьный класс, первичная производственная ячейка, дружеская компания и т. п.).

Под социальными группами в контексте ст. 282 УК РФ понимаются только большие социальные группы, входящие в структуру современного российского общества, при этом признак принадлежности к социальной группе является наиболее широким, родовым по отношению к другим (видовым) понятиям, включенным в диспозицию ст. 282 УК РФ признакам языка, происхождения, религиозной принадлежности, а также признакам пола, расы и национальности. То есть в контексте данной нормы права могут рассматриваться только те большие социальные группы, которые объединены по признаку пола, национальности, расы, происхождения, принадлежности к религии.

Чтобы избежать противоречащего здравому смыслу включения в социальные группы мафиозных структур, организованных преступных группировок и частных коммерческих фирм, к большим социальным группам, подлежащим юридической защите государства, обычно относят также группы, объединенные по признаку, который является неизменяемым (раса, национальность, пол, происхождение, религиозная конфессия).

Прим.: Религиозные конфессии относятся к этой категории на том основании, что истинность вероучений является недоказуемой, а религиозные распри не могут быть разрешены иначе, как в результате религиозных войн.

Социальные группы, которые объединены по изменяемому признаку, исключаются из подлежащих юридической защите в контексте ст. 282 УК РФ.

К основным способам возбуждения национальной, расовой или религиозной розни (вражды) относятся:

- формирование и подкрепление негативного этнического стереотипа, отрицательного образа нации, расы, религии;
- перенос различного рода негативных характеристик и пороков отдельных представителей на всю этническую или религиозную группу;
- приписывание враждебных действий и опасных намерений одной нации, расе, религии по отношению к другим;
- возложение вины и ответственности за деяния отдельных представителей на всю этническую, расовую, религиозную группу;
- утверждения о наличии тайных планов, заговоров одной национальной или религиозной группы против других;

- объяснение бедствий и неблагополучия в прошлом, настоящем и будущем существованием и целенаправленной деятельностью определенных этнических, расовых, религиозных групп;
- побуждение к действиям против какой-либо нации, расы, религии;
- требования вытеснения из различных сфер деятельности лиц определенной национальности, расы, конфессиональной принадлежности;
- угрозы и подстрекательства к насильственным военным действиям в отношении лиц определенной национальности, расы или по признаку религиозной принадлежности».

В узком лингвистическом смысле призыв — «это особый тип речевого акта, коммуникативное назначение которого в общем случае описывается... семантической формулой... "Я хочу, чтобы ты сделал Р"» (1, с. 412). «Пропозициональное содержание призыва — это описание будущего действия (действий) адресата, рассматриваемого как часть общественно значимой деятельности» (там же, с. 440). «Подготовительные условия призыва заключаются в том, что: 1) адресат в состоянии совершить действие, о котором идет речь; 2) действие, о котором идет речь, не выполнено и желаемое положение дел отсутствует; 3) говорящий и адресат являются политическими субъектами или лицами, которые представляют политических субъектов; 4) речевой акт рассматривается как часть общественно-политической коммуникации; 5) ни говорящий, ни адресат не считают очевидным, что адресат совершит действие без соответствующего речевого акта говорящего» (там же, с. 442).

Призыв-воззвание — этот речевой акт имеет целью побудить адресата выполнить действие, рассматриваемое как важная часть общественно-полезной деятельности, способствующей достижению некоторых идеалов, или побудить адресата учитывать в своем повседневном поведении эти идеалы.

Призыв-лозунг — это речевой акт, обращенный к адресату с целью побудить его выполнить некоторое действие (совокупность действий) или учитывать в повседневном поведении некоторые идеалы, осмысляемые как центральная и важнейшая часть деятельности некоторого политического субъекта, идентифицирующая этого субъекта как такового, причем чаще всего и говорящий, и адресат рассматриваются как политические субъекты, при этом они деперсонифицированы, а говорящий, как правило, не исключает себя из числа адресатов речевого акта.

В широком смысле, который, по-видимому применяется в законодательстве, призывом является заложенная в тексте авторская интенция, побуждающая читателя к определенным действиям. Иными словами, когда говорят, что Герцен звал Россию к топору, не имеют в виду, что в его текстах были такие фразы, как «Россияне, хватайте топор!», имеют в виду, что прочтение его текстов вызывало у читателей желание совершить соответствующие агрессивные действия.

Под обоснованием понимается подкрепление доказательствами, приведение доводов для доказательства чего-либо, аргументация, почему надо сделать что-либо. Оправдание в отличие от обоснования является реакцией (ответом, восприятием) на обвинение, то есть на высказывание или целый текст, где содержится обвинение. Обоснование в большинстве случаев является эксплицитным (явным) и представлено в тексте в виде аргументов, имеющих словесно выраженное отношение к доказываемому тезису или положению. Оправдание может оказаться имплицитным (скрытым), поскольку во многих случаях оно является реакцией на обвинения, высказанные в других текстах (других авторов), которые автор данного текста с необходимой и достаточной подробностью не пересказывает.

Ирония является стилистическим приемом, основанным на нарушении нормы согласования смыслов; это иносказание, когда слово или высказывание обретают в контексте речи значение, противоположное буквальному смыслу или отрицающее его, ставящее под сомнение. Ирония в смысле, прямо противоположном буквальному (4, с. 132; см. также 2).

Аллюзия (от лат. allusio — шутка, намек) — стилистический прием, заключающийся в использовании намека на реальный общеизвестный, политический, исторический или литературный факт.

2. Общий анализ текста книги Пионтковского

Издание, поименованное на обложке как книга автора А. Пионтковского «Нелюбимая страна», содержит 146 страниц текста.

- Стр. 1 (не пронумерована) — титульная страница: указан автор — Андрей Пионтковский, название книги «Нелюбимая страна», выходные данные: место издания — Москва, издатель — РДП «ЯБЛОКО», год издания — 2006;
- Стр. 2 (не пронумерована) — оборот титула: указаны выходные данные книги: ISBN — ISBN 5-85691-061-3; редактор: Ю. Здоровов, корректор: И. Осипова; подписано в печать 29.05.2006 г. ; указан формат, объем в п. л., печать (тип); тираж, полиграфическое производство; знак копирайта.
- Стр. 5–6. Введение. Автор А. Мельников. В этой части названа цель книги: «дать российским гражданам возможность познакомиться с критической оценкой деятельности группировки Путина». По мнению А. Мельникова, эта цель актуальна в предвыборный (выборы Президента России) период, так как «заставляет любого мыслящего человека оценить действия властей в межвыборный период и сделать выбор, исходя из этой оценки» (стр. 5). Во Введении также сообщается, что «Публикуемые статьи ранее были размещены на сайте Грани.ру (www.grani.ru) в сети Интернет» (там же).
- Стр. 7–139. Основная часть издания, собственно текст А. А. Пионтковского, состоящий из 25 поименованных и датированных глав.
- Стр. 141–145 — раздел «О "ЯБЛОКЕ"».
- Оборотная сторона обложки — отзывы об А. Пионтковском и о его книге (авторы отзывов: Ю. Афанасьев, Г. Канчели, М. Касьянов, А. Кондауров, М. Розовский, В. Цыгичко).

Согласно поставленным вопросам исследованию подлежит основная часть издания, собственно текст А. А. Пионтковского, стр. 7–139. Каждая из 25 его глав имеет: 1) название; 2) дату, следующую непосредственно после заглавия. Вместе название и дата образуют заглавие каждой главы. Расположение глав — хронологическое (первая глава датирована 25 апреля 2005, последняя — 6 мая 2006).

Каждая глава, как правило, имеет определенный информационный повод (или является рассуждением на определенную тему) и содержательно представляет собой оценочную рефлексию А. Пионтковского на события российской политики, уже произошедшие или возможные в будущем. Статьи Пионтковского принадлежат к жанру аналитической журналистики, которая ориентирована не на репортажное описание конкретных фактов и событий, а на обобщенную оценку (в данном случае политического процесса). Как правило, аналитические статьи выходят несколько позже того события, которому они посвящены или которое стало поводом для их написания, в таких статьях делается обобщенный анализ многочисленных публикаций СМИ, вышедших «по горячим следам». Например, статья «Наши победасты» написана в августе 2005 года, а посвящена событиям, произошедшим в мае, то есть за три месяца до момента публикации.

Поскольку в аналитических статьях обсуждаются уже известные широко освещенные в прессе события, автор может не затруднять себя подробным изложением фактических обстоятельств, ему достаточно назвать обсуждаемый факт или только намекнуть на него. Так, в той же статье «Наши победасты» говорится о массовой демонстрации молодежного движения «Наши» и о том, что В. В. Путин принял представителей этого движения на президентской даче. О демонстрации Пионтковский пишет следующим образом: «Пораженцев должны сменить победасты. Пока их только трое: Сурков, Павловский и примкнувший к ним карьерист и двурушник Якеменко. Но в мае они уже вывели на Ленинский проспект 60 тысяч юных победастиков...», даже не упоминая названия движения. О приеме на президентской даче Пионтковский тоже пишет иносказательно, прямо не называя ни президента, ни его гостей: «Заказчику все это настолько понравилось, что он лично принял в Завидове депутацию наиболее отличившихся стражей суверенной революции».

При скудости фактического материала аналитическая журналистика допускает широкие исторические параллели и оценочные суждения. Так, в той же статье Пионтковский, говоря о политтехнологах, организовавших движение «Наши», упоминает несколько их предыдущих пиар-кампаний, и вспоминает организаторов «Черной сотни», говорит о немецких, китайских и арабских молодежных движениях, о либералах-»пораженцах» времен Первой мировой войны и т. д. При этом Пионтковский не столько сообщает информацию, сколько оценивает ее, ср.: «Не чекисты, а зондеркоманда суперлиберальных мародеров из СПС осуществила зачистку НТВ». Хотя большая часть глав-заметок сиюминутны и злободневны, в том смысле, что они привязаны к конкретной текущей ситуации и актуальны именно для данного (указанного в дате главы) текущего момента, автор постоянно совершает экскур-

сы в мировую историю и в историю России, отыскивая параллели в политической российской истории и аргументируя свои выводы цитатами-аллюзиями (аллюзии к творчеству М. Ю. Лермонтова, В. Соловьева, М. Гершензона. П. Чаадаева; Ф. Хайека, Дж. Оруэлла, А. М. Горчакова. М. Исаковского, М. Булгакова, В. Хлебникова и др.).

Аналитические статьи обычно публикуются в авторской колонке (ср. колонку редактора), задача таких колонок не информировать читателя о том или ином событии, а представить свое мнение, свой анализ этого события в соотнесенности с другими. Именно поэтому читатель ожидает найти в таких колонках обобщения в оценки, анализ и прогнозы. Уровень обобщенности суждений в аналитической журналистике зачастую настолько высок, что их фактографическая основа не подлежит верификации. Так, фраза Пионтковского из цитированной статьи — «либеральные» советники и пиарщики развязали две кровавые политтехнологические чеченские бойни для повышения рейтингов своих клиентов и оба раза повторяли, что при этом возрождается российская армия — является обобщенным изложением выводов многочисленных СМИ-публикаций и книг на тему о том, кому были выгодны две чеченские войны. Но если в таких публикациях и книгах данные (либо иные) выводы подтверждались фактической и событийной информацией, то у Пионтковского они излагаются уже без аргументации как общеизвестная и общепринятая в определенному кругу точка зрения.

Заканчиваются главы-статьи Пионтковского выводами (вывод-прогноз, вывод-оценка, вывод-совет и др.). Датировка глав не случайна, она указывает на актуальность рефлексии, которая исчерпывается с течением времени и интересна только как «история вопроса» (прав ли был Пионтковский, насколько корректно он анализировал события, нашли ли его прогнозы подтверждение в будущем). Во многих случаях Пионтковский, обозначив вопрос прямо, поставив вопрос перед собой, отвечает на него; вся статья в таком случае — поиск и аргументация ответа на поставленный вопрос. Обычно вопросы таковы, что ответы на них не предполагают верификацию. Таковы, например:

«Курс ост-вест. 20 июля 2005 года» (стр. 31–35) — вопрос: почему Путин не любит Запад?

«Нелюбимая страна» (стр. 25–27) — вопрос: почему Путин не любит нынешнюю Россию?

«Незаданный вопрос. 9 сентября 2005 года» (стр. 46–55) — почему не был доведен до конца сценарий приглашения Аслана Масхадова (Ахмеда Закаева) с требованием (просьбой) добиться освобождения заложников, а был реализован сценарий штурма?

«Ошибка инженера Ходорковского. 21 октября 2005 года» (стр. 63–67) — вопрос: почему Путин не любит Ходорковского?

Обобщая информационные потоки оппозиционной прессы, снабжая свои обобщенные суждения негативной оценочной окраской, Пионтковский рисует непривлекательный образ действующей власти и ее наиболее известных представителей. Негативная оценка, колеблющаяся между иронией и сарказмом, обычно задается у него в самом начале текста (ср. в цитированной статье: Чекисты в окружении Путина вызывают у меня гораздо меньшую неприязнь, чем так называемые «либералы») и не меняется на его протяжении (ср. далее, сурковы и павловские — это не мозг администрации президента.., а совсем другая ее субстанция; Те же самые «мыслители» и выродили убогую идейку «суверенной демократии»... Каждую избирательную кампанию кремлевские «интеллектуалы»-провокаторы строили на какой-нибудь большой лжи, апеллируя к фобиям как властителя, так и управляемых масс, спекулируя на них в своих собственных интересах. В роли верховных аятолл-победастов выступают сами Сурков и Павловский. В своих лекциях-проповедях они внушают юным провинциальным победастикам ненависть к безбожному и порочному Западу). Тексты Пионтковского перенасыщены метафоричностью, иронией, гротеском, явным и скрытым цитированием, в том числе самоцитированием., аллюзиями. Все в целом создает публицистический текст, по обличительному пафосу близкий к жанру памфлета. Подобные статьи (книги) традиционны для отечественной политической журналистики (см. публицистику А. И. Герцена, очерки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Благонамеренные речи», «Современная идиллия»: см. и ср., например, регулярно публикующиеся в газете «Московский комсомолец» «Письма президенту» А. Минкина).

Объектом негативной оценки у Пионтковского является действующий на момент публикации статей президент России В. В. Путин, его ближайшее окружение, деятельность подчиненных ему органов верховной власти и наиболее значимые события, касающиеся внутренней и внешней политики страны. Причины негативной оценки верховной власти Пионтковский формулирует в заглавной статье сборника, названной «Нелюбимая страна». Она начинается словами: «Владимиру Путину определенно не нравится та страна, в которой Борис

Абрамович Березовский поставил его смотрящим, сам удрав в Лондон. С великим трудом тянет он лямку верного супруга нелюбимой жены» и заканчивается следующим резюме: «Не получится у него ничего с этой страной. И не полюбит ее он никогда». Все остальные статьи сборника в том или ином аспекте повторяют и развивают заданную точку зрения. Проблематика расовых, национальных и религиозных отношений, равно как и проблема языковой политики, в круг тем, которые затрагивает Пионтковский, не входит и упоминается эпизодически, по ходу обсуждения других вопросов.

3. Краткий анализ глав книги А. Пионтковского

В целях обнаружения в тексте книги высказываний, в которых содержатся признаки возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной розни, а также пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии (далее — высказывания искомого типа), был проведен тематический, коммуникативный и лексико-семантический анализ всех ее глав (статей).

1. Ближнее зарубежье Китая. 15 апреля 2005 года (с. 7—11)

Информационный повод: российско-украинские переговоры о создании единого экономического пространства

Тема: межгосударственные отношения между странами бывшего СССР (ближнего зарубежья).

Вывод-прогноз: надо рассматривать Китай как потенциально основного партнера.

Обыгрывается словосочетание ближнее зарубежье (Китай — тоже зарубежье, ближнее, но в буквальном смысле, а не в переносном).

Примеры аллюзий: «А Москва надеялась, все ждала и верила сердцу вопреки...» «Я ждала и верила сердцу вопреки...» (стр. 10). «Панмонголизм — хоть имя дико, но им ласкает слух оно» (ср. первую строку стихотворения Вл. Соловьева «Панмонголизм»).

Высказывания искомого типа, а также призывы и лозунги: отсутствуют.

2. Дети Гершензона. 3 мая 2005 года (стр. 13—17)

Информационный повод: падение рейтинга Путина и его окружения («путинской группировки»).

Тема: кризис верхов, проявляющийся в заявлениях самой власти.

Цитация: Что касается любителей пострелять, то не могу отказать себе в удовольствии процитировать коллегу Александра Проханова, сказавшего: «Что может быть смешнее и отвратительнее Глеба Павловского с кобурой, болтающейся на толстых ягодицах» (стр. 13—14) — источник: газета «Завтра», 06.04.05 — Александр Проханов. У КОМПАРТИИ ВЫШЕЛ ЛИМИТ НА СНОТВОРНОЕ.

«В операции с "Юганскнефтегазом" Путин лично, по справедливому определению его помощника по экономике, вел себя как наперсточник, крышуя неустановленных следствием "физических лиц, давно работающих в области энергетики", которые украли актив стоимостью 8 миллиардов долларов» (стр. 15) — ссылка на высказывание Илларионова, ср.: «Советник президента Андрей Илларионов бросил вызов своему начальнику. Переход главного актива "ЮКОСа", "Юганскнефтегаза", под крышу государственной "Роснефти" он — в отличие от Владимира Путина, которому сделка понравилась, — назвал "аферой года" и при этом сравнил "Газпром" и "Роснефть" с "наперсточниками"»; Или: «Аферой года стала продажа "Юганскнефтегаза"... теперь уже не мистической компании "Байкалфинансгрупп" Роснефтью, все операции по объединению "Роснефти" с Газпромом, разъединению Роснефти с Газпромом и так далее... До настоящего времени мы наблюдали подобные действия среди наперсточников, сейчас мы видим, как этим делом занимаются компании со стопроцентным государственным капиталом и государственной властью» (А. Илларионов на пресс-конференции в Александр Хаусе г. Москва 28 декабря 2004 г., ссылка: http://www.c-society.ru/wind.php?ID=216642&soch=1)

«Он (Павловский) все время говорит о каких-то ста петушиных словах, с которыми Путин "обратится к народу и сметет ими с доски все политические фигуры"».

Вывод: «Мы (общество) оказались в трагической ситуации, о которой говорил Гершензон около века назад».

Высказывания искомого типа, а также призывы и лозунги: отсутствуют.

3. И. Каримов, В. Путин и другие. 20 мая 2005 года (стр. 18–23)

Информационный повод: События в Андижане (Узбекистан).

Тема: отношение Путина к событию, поддержка И. Каримова.

Вывод-оценка: «путинский режим обречен. Такой режим просто не может существовать в великой европейской стране в XXI веке», потому что он поддержал Каримова, который, по мнению Пионтковского, нарушил права и свободы человека.

Аллюзии: «Раздайте патроны, поручик Павловский, Устинов и Сечин — надеть ордена!»

Высказывания искомого типа, а также призывы и лозунги: отсутствуют.

4. Нелюбимая страна. 24 мая 2005 года (акр. 23–27)

Информационный повод: Путин в последнее время «срывается» («То у него ющенковские сионисты кровавые в глазах, то французику грозится что-то отрезать, да так, чтобы больше ничего не выросло; то эстонку вдруг, изгаляясь, передразнивает. Все чаще срываясь, все больше начинает походить на городского сумасшедшего Европы»).

Тема: Путин не любит Россию.

Вывод: «Путин не любит Россию за то, что она уже не империя»; потому что «у нее никогда уже не будет дрезденской резидентуры — этого Эдема путинской юности, несокрушимого форпоста Великой Империи».

Аллюзии: «А любить отчизну странной лермонтовской любовью такие не умеют» (стр. 26) (ср.: М. Ю. Лермонтов: «Люблю Отчизну я, но странною любовью...»).

Высказывания искомого типа, а также призывы и лозунги: отсутствуют.

5. Дорога к рабству. 17 июня 2005 года (стр. 27–30)

Информационный повод: в явном виде отсутствует.

Тема: экономическое мировоззрение Путина и его окружения.

Проблема: прорыв в постиндустриальное общество для России.

Вывод-оценка: «Такая комбинация — авторитарная бюрократическая власть плюс ресурсное изобилие — абсолютно убийственна для развития, потому что она лишает бюрократию любой обратной связи с реальностью, разлагая и коррумпируя ее полностью. Что и происходит на наших глазах». И далее: «Дорога, которой мы идем, — это третья дорога к рабству, а четвертой не бывать. Потому что либо эта система разрушит страну, либо все-таки мы найдем в себе мужество с этой дороги сойти, и тогда весь этот путинский период останется в нашей исторической памяти как некая последняя прививка против философии рабства».

Игра слов (на созвучии с Чучхе): «Вообще в его [Путина] экономическом мировоззрении причудливо, но органично сочетаются элементы чубайсизма и чекизма, что позволяет мне назвать его философию моделью ЧуЧе» (стр. 28).

Высказывания искомого типа, а также призывы и лозунги: отсутствуют

6. Курс ост-вест. 20 июля 2005 года (стр. 31–35)

Информационный довод: грядущие президентские выборы.

Тема: Путин и его окружение не любят Запад.

Вывод: «Не Запад как таковой заставляет кипеть их разум возмущенный, а низкий собственный статус в его иерархии, несмотря на все добытые непосильным трудом нефтегазовые активы» (стр. 32).

Аллюзии: «прогрессоры» (бр. Стругацкие), «выдающаяся посредственность» (ср. слова Троцкого о Сталине).

Высказывания искомого типа, а также призывы и лозунги: отсутствуют.

7. Наши победасты. 10 августа 2005 года (стр. 36–41)

Информационный повод: встреча Путина с лидерами движения «Наши». Тема: либералы в окружении Путина.

Вывод-оценка: «Несчастна страна, в которой отцом нации работает Путин, мозгом нации — Павловский на пару с Сурковым, а совестью нации — Хинштейн».

Аллюзии: «Несчастна та страна...» («Жизнь Галилея», Б. Брехт).

Высказывания искомого типа, а также призывы и лозунги: отсутствуют.

8. Россия сосредоточилась. 15 августа 2005 года (стр. 41–45)

Информационный повод: объявление «суверенной демократии» в качестве государственного курса.

Тема: место России в глобальной политике.

Вывод-рекомендация: вместо того, чтобы заниматься выборами 2008, бороться за власть и делить нефтяные активы, надо определить место России в глобальной политике, потому

что три супердержавы США-Индия-Китай уже ведут переговоры, а место России не определено.

Аллюзии: «Россия сосредоточивается», — сказал когда-то министр иностранных дел Российской империи князь Горчаков. «Российская элита сосредоточилась, — мог бы ответить птенец другого Царского Села Сергей Лавров, — ... на распиливании нефтегазовых активов». Высказывания искомого типа, а также призывы и лозунги: отсутствуют.

9. Незаданный вопрос. 9 сентября 2005 года (стр. 46–55)

Информационный повод: захват террористами заложников в Беслане.

Тема: ментальность власти и общества. Тема раскрывается на сопоставлении действий В. С. Черномырдина и В. В. Путина в аналогичных ситуациях: первый выполнил требования террористов, и все заложники были спасены, а террористы наказаны не были, второй не пошел на переговоры с террористами (в частности, не пригласил для ведения переговоров признанных позднее террористами Аслана Масхадова или Ахмеда Закаева), и во время штурма значительная часть заложников погибла, но террористы были наказаны.

Вывод-оценка: «В России нет гражданского общества — и отдельный человек остается совершенно беззащитным, прежде всего ментально, перед фаллической вертикалью власти. Он знает, что он никто и звать его никак. На Кавказе, как и вообще на Востоке, также нет гражданского общества в западном понимании этого института — но его функции выполняют традиционные клановые структуры. Человек ощущает себя звеном во временной цепи поколений и пространственной сети сородичей. Массовая трагическая гибель людей затрагивает все общество. Мы же, русские, похоже, навсегда провалились в какую-то культурологическую черную дыру между Западом и Востоком. Нет более атомизированного социума, чем русский. Мы пыль на ветру» (стр. 54–55).

При обсуждении заявленной темы автору — в соответствии с информационным поводом — приходится говорить о терроризме и террористах; и терроризм» и террористов он оценивает однозначно отрицательно (ср.: «негодяя, организовавшего Беслан, — Шамиля Басаева»; «уничтожение бандита Басаева было задачей совсем других людей»).

Автор также делает сравнение двух конкретных национальностей, русских и осетин («Реакция русских на "Норд-Ост" и осетин на Беслан была показательно различной. Россия забыла про "Норд-Ост" и давно уже не задает власти никаких вопросов. Осетия не забудет никогда и никогда не перестанет задавать российской власти вопросы») и, причислял себя к русской нации («О русском народе, к которому я имею честь и несчастье принадлежать»), в традициях отечественной демократической журналистики XIX века делает оценочное сравнение не в пользу своей нации («Нет более атомизированного социума, чем русский»). Это сравнение требуется автору не для демонстрации преимуществ или ущербности одной нации по отношению к другой. Через него Пионтковский приходит к печальному выводу, что русские уже утратили человечность, присущую клановым обществам, но еще не достигли человечности, характерной для гражданского общества («Мы... провалились в какую-то культурологическую черную дыру между Западом и Востоком»).

Самоцитирование: «Меня часто упрекают в демонизации Путина. Это не так. Будучи его политическим противником, я никогда не отрицал его достоинств, патриотизма, например. Вот что я писал в сентябре 2001 года в "Новой газете":

"В. Путин знает правду о своем восхождении и о том, кто его привел к власти, и о том, какую роль в операции 'Наследник' играла чеченская война, поход Басаева в Дагестан, взрывы в Москве, 'учения' в Рязани. Если чего-то не знал, то уже догадывается.

Для офицера и патриота России, каковым он безусловно является, эта правда мучительна и невыносима. Он гонит ее, накладывает на нее табу, вытесняет в подсознание.

И по всем законам психоанализа она вырывается оттуда в его взрывных неадекватных реакциях всякий раз, когда речь заходит о Чечне.

Это личная человеческая драма Владимира Владимировича Путина. И эта трагедия страны, которую он возглавляет" (стр. 50–51)».

Высказывания искомого типа, а также призывы и лозунги: отсутствуют.

Прим.: Надо отметить, что, говоря о нациях, Пионтковский употребляет это слово не в значении «народ» («исторически сложившаяся часть человечества, объединенная устойчивой общностью языка, территории, экономической жизни и культуры»), а в переносном значении «государство, страна» (ср.: «Есть вопросы, которые нации из чувства самосох-

ранения избегают задавать себе именно потому, что подсознательно знают ответ. Например, кто убил президента Джона Кеннеди или кто взорвал дома в Москве и Волгодонске. Ясно артикулированный ответ мог бы стать разрушительным для государства, и поэтому мы никогда его не услышим»).

10. Thank you Mr. President! 27 Сентября 2005 года (с. 56–42)

Информационный повод: совместная пресс-конференция Джорджа Буша и Владимира Путина.

Тема: Путин уверенно держится с Бушем, «Россия встает с колен».

Вывод-оценка: взаимопонимания с США у Путина нет, но это не его вина: «Конечно, никакая это не стратегия — ни в стране, ни во внешнем мире. Но его и не учили никогда стратегии. Его учили немецкому языку, вербовке и активным мероприятиям. И все эти предметы он старательно усвоил».

Аллюзии: «Спасибо Вам, родной товарищ Путин, За то, что Вы живете на земле» (стихи М. Исаковского о И. В. Сталине).

Высказывания искомого типа, а также призывы и лозунга: отсутствуют.

11. Ошибка инженера Ходорковского. 21 октября 2005 года (с. 63–67)

Информационный повод: продажа компании Б. Абрамовича.

Тема: причины нелюбви Путина к Ходоровскому.

Вывод: «Сам того не подозревая, Ходорковский ударил в самое больное место, раскрыл самую сокровенную тайну режима».

В данной статье в негативном контексте употребляется выражение «иудейские олигархи», указывающее на национальность, но оно употреблено иронически: «Добрый наш, доверчивый русский народ, полюбивший приблатненного подполковника... за его беспощадную борьбу с ограбившими Россию иудейскими олигархами...», что свидетельствует о том, что автор не только не придерживается этой точки зрения, но и отрицает ее.

Высказывания искомого типа, а также призывы и лозунги: отсутствуют.

12. Как Россия проиграла кавказскую войну. 28 октября 2005 года (стр. 67–71)

Информационный повод: разгром в Нальчике террористических банд.

Тема: сепаратизм на Кавказе сменяется исламизмом.

Вывод-оценка: «Сравните ситуацию в Дагестане и на Кавказе в целом с сегодняшней и почувствуйте разницу. По меткому выражению г-на Суркова, "там распространяется подземный пожар, и мы не знаем, что с этим делать". Потеря Кавказа — вот в чем заключается главный итог и операции "Наследник", и Всего путинского правления» (стр. 71).

В данной статье говорится о терроризме на Кавказе, который вызывает у автора однозначную негативную оценку, ср.: «эти банды по своему составу становятся все более интернациональными», «Исламский джихад — это горизонтальная сетевая структура, объединенная общей очень заразительной и убедительной для миллионов идеологией, локальные ячейки которой достаточно автономны и, как раковые клетки, могут распространяться, поражая все новые участки».

Аллюзии: «После Масхадова подполковнику никто не пишет» (название известной повести Г. Маркеса — «Полковнику никто не пишет»), «победил разгуливающий по Кремлю в подштанниках Рамзан Кадыров» (отсылка к эпизоду с генералом Чернотой в пьесе «Бег» М. Булгакова).

Высказывания искомого типа, а также призывы и лозунги: отсутствуют.

13. Подайте на пару боеголовок. 14 ноября 2005 года (стр. 72–78).

Информационный повод: испытание новой межконтинентальной ракеты,

Тема: военное противостояние США — России.

Вывод-призыв, адресованный президентам России и США: «Уважаемый президент Путин! Дорогой Владимир Владимирович! Вспомните о национальной гордости великороссов! Перестаньте брать деньги у этих, по вашему меткому выражению, "стоящих за спиной исламских террористов" более могущественных, более опасных традиционных врагов России, которые все еще рассматривают ядерную Россию как угрозу и стремятся ослабить и расчленить ее, отрезав наиболее лакомые куски...

Уважаемый президент Буш! Дорогой Георгий Георгиевич! Не будьте лохом. Перестаньте кормить ораву больших и маленьких адамовых и тратить деньги американских налогоплательщиков на разжигание антиамериканской истерий в России. Руки прочь от российского ядерного комплекса!» (стр. 78)

Высказывания искомого вида, а также призывы и лозунга, обращенные к читателям: отсутствуют.

14. Из Большой Восьмерки в Большую Бригаду. 15 декабря 2005 года (стр. 79–82)

Информационный повод: назначение Герхарда Шредера в North European Gas Pipeline Company.

Тема: экономическая деятельность окружения В. В. Путина.

Вывод-оценка: «Политэкономический механизм функционирования сегодняшней российской власти становится все более очевидным и бесстыдно откровенным.... И при ельцинском дворе крутилось достаточно авантюристов, ловивших там нефтяные компании и медиа-холдинги, пробивавших через любимую дочку или любимого охранника нужные решения. Но все же термин "Семья" был скорее метафорическим. В Ельцине, при всех его многих свойственных русскому человеку недостатках, не было той крысиной жадности и деловитой целеустремленности, так характерных для власти сегодняшней».

Высказывания искомого типа, а также призывы и лозунги: отсутствуют.

15. Медведь с трубой. 12 января 2006 года (стр. 83–86)

Информационный повод; отключение газа Украине.

Тема: экономические отношения между Россией и Европой. Вывод-прогноз; «Европейские партнеры никогда уже не будут уверены в надежности Газпрома... Дурная телевизионная возня с кранами в течение одного дня 1 января 2006 года навсегда изменила энергетическую стратегию Европы».

Аллюзии: «Но нет, Аннушка уже разлила канистру с газом» («Мастер и Маргарита», М. Булгаков), «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» («Фауст», Гете), «вторая попытка изнасилования Украины, о необходимости которой так долго говорили миграняны-леонтьевы-пушковы-дискины, свершилась» (известные слова В. И. Ленина о победе революции).

Высказывания искомого типа, а также призывы и лозунги: отсутствуют.

16. Председатель земного шара. 20 января 2006 года (стр. 87–90)

Информационный повод: петербургской саммит «большой восьмерки». Тема: отношение В. В. Путина к участникам встречи.

Вывод-прогноз: «До саммита наши внешнеполитические косачевы со скошенными от беспрерывного вранья глазами будут мягко журить наших иранских партнеров за недостаточно ясное разъяснение ими своей человеколюбивой позиции по еврейскому вопросу. А под это ласковое журчание вокруг иранских ядерных объектов будут развертываться российские зенитные установки. Что с математической неизбежностью приведет к военному конфликту, который поставит под угрозу все поставки нефти из региона Ближнего Востока».

Говоря о «еврейском вопросе», Пионтковский имеет в виду не прямое значение этого словосочетания, не национальный вопрос, а переносное, то есть межгосударственные отношения между Ираном и Израилем.

Аллюзии: «подпольный человек» («Двойник», Ф. М. Достоевский), «со скошенными от беспрерывного вранья глазами» («Я пришел через две недели и был принят какой-то девицей со скошенными к носу от постоянного вранья глазами» — «Мастер и Маргарита», М. Булгаков.)

Высказывания искомого типа, а также призывы и лозунги: отсутствуют.

17. Русская бабушка и еврейский дедушка. 31 января 2006 года (стр. 91–94)

Информационный повод: преступление молодого религиозного фанатика в московской синагоге.

Тема: ксенофобия в российском обществе.

Вывод: власть использует национальный вопрос в своих политических целях.

Вывод-прогноз: «Пока простодушные русские бабушки будут во всем обвинять евреев, а хитроумные еврейские дедушки верноподданнически переводить стрелки на горячо нелюбимый наверху Запад, этому человеку будет очень легко управлять страной».

«Сердобольной (простодушной) русской бабушкой» Пионтковский называет старушку, позвонившую на радиостанцию «Эхо Москвы» с наивно-нелогичным комментарием: «До чего же эти евреи довели бедного мальчика!». «Хитроумные еврейским дедушкой» Пионтковский называет детского врача Льва Рошаля, который высказался в Общественной палате по поводу резни в синагоге, косвенным образом связав ксенофобию внутри страны с влиянием Запада: «Любые попытки разжигать этническую рознь в нашей многонациональной стране недопустимы, так как могут привести к распаду государства, которого желают наши враги на Западе и который они финансируют». Противопоставленные национальные

качества (простодушия — у русских и хитроумия — у евреев) использованы Пионтковским не для противопоставления, а, напротив, для сопоставления, — для акцентирования иронической оценки причудливой логики общественного дискурса.

Высказывания искомого типа, а также призывы и лозунги: отсутствуют.

18. Великий Энергетический Хоспис. 3 февраля 2006 года (с. 95–99)

Информационный повод: проверка собственного (Пионтковского) прогноза трехгодичной давности о путях развития российской политической системы.

Тема: концепция «великой энергетической державы» как стратегический выбор России

Вывод-оценка: «Русский золотой миллион — верная опора режима, требующего от него за сказку, сделанную былью, всего лишь уплату минимального членского взноса — абсолютную политическую лояльность. В этой среде "перестройка" не возникнет никогда. Или, как это было с СССР, только тогда, когда уже будет безнадежно поздно».

Аллюзии: «Мы не халявщики. Мы партнеры» (телевизионная реклама «МММ». «Сидящим Вместе в Джакузи» (ср. название молодежного движения «Идущие вместе»). «И снова мчится чудо-тройка с главврачом на облучке. И расступаются перед ней в изумлении и ужасе иные народы и государства. Куда мчится — хрен ее знает. Не дает ответа» («Мертвые души». Н. В. Гоголь).

Высказывания искомого типа, а также призывы и лозунги: отсутствуют

19. Сталин и Троцкий нашего времени. 8 февраля 2006 года (стр. 100–106)

Информационный повод: очередное заявление Бориса Березовского.

Тема: Березовский и Троцкий как политические провокаторы.

Вывод-оценка: «Оказавшись в эмиграции, Березовский начал с очевидным знанием дела утверждать, что взрывы организовали не чеченцы, а власть. Но он забывает при этом напомнить, кто реально руководил Россией осенью 1999 года. Высшей властью в стране был штаб операции "Наследник" (Березовский. Волошин, Юмашев. Дьяченко), действовавший от имени недееспособного президента. Через поход Басаева и Хаттаба в Дагестан, взрывы домов в российских городах и разрушительную войну в Чечне вели они и их телевизионные киллеры тогда еще никому не известного и неспособного принимать самостоятельных решений Владимира Путина к президентскому креслу, чтобы предотвратить грозивший их бизнес-интересам приход в Кремль соперничающего клана Лужкова-Примакова. Позорная тайна зачатия путинского режима навсегда связана одной цепью Путина в Березовского. Странно, что они этого не понимают. А может быть, как раз очень хорошо понимают и потому так великолепно играют в пас» (стр. 105–106).

Самоцитирование: «Борис Березовский... еще раз блестяще подтвердил характеристику, данную мною на страницах "Граней" в день его юбилея: "Березовский последние шесть лет выполняет роль ценнейшего агента Путина за рубежом, пытаясь 'возглавить' любую оппозицию путинскому режиму и тем самым автоматически ее дискредитировать"». (стр. 104) «В программные документы партии "ЯБЛОКО" внесено по моему предложению требование "отстранения от власти путинского режима всеми возможными конституционными средствами"».

Высказывания искомого типа, а также призывы и лозунги: отсутствуют.

20. Да здравствует Сатана номер один! 21 февраля 2006 года (стр. 107–110)

Информационный повод: скандал с датскими карикатурами на пророка Магомета.

Тема: что дает исламское коллективное бессознательное для осмысления общего развития человечества.

Обращаясь к теме исламского фундаментализма и его экстремистских проявлений, Пионтковский пытается обсуждать ее в терминах психоанализа, ср.: «Мы должны быть благодарны господам исламским радикалам за то, что своим доходящим до запредельной дикости проявлением этого комплекса они помогают поставить диагноз человечеству. Сегодняшнее буйство исламского мира — это отчаянная попытка массового самца остановить начавшееся с Возрождения возвращение и восхождение человечества к великой женственности» (стр. 110). Автор видит корень исламофашизма в комплексе «страха женщины, страха жизни».

Вывод-совет; «Исламскому миру нужна не демократическая, а прежде всего сексуальная революция. Что же касается нашей европейской цивилизации, то остановить продвижение современного варварства на ее духовную территорию мы сможем только оставаясь верными двум ее величайшим ценностям — свободной мысли и свободной женщине» (стр. 111).

Высказывания искомого типа, а также призывы и лозунги: отсутствуют.

21. Опаснее врага 6 марта 2006 года (стр. 112–118)

Информационный повод: Публикация статьи «Не осуждайте Путина огульно» Анатоля Ливена в «Financial Times».

Тема: коррумпированность российской властной элиты и ее забота о своем имидже на Западе. Автор высмеивает фразу иностранного журналиста: «Новая российская элита, замысленная господином Путиным, будет свободно перемещаться между государственным и рыночным секторами и в процессе этого перемещения будет щедро вознаграждаться».

Вывод-оценка: «Фундаментальная проблема правящей российской "элиты" (и ее золотого фонда — питерской бригады) заключается в том, что воровать ей надо здесь, в России, а тратить наворованное и наслаждаться скромным обаянием буржуазии — там, на Западе».

Аллюзия: «скромное обаяние буржуазии» (Le Charme Discret de la Bourgeoisie, название кинокомедии Луиса Бунюэля), «Умри, Анатоль, лучше не скажешь» («Умри, Денис, лучше не скажешь» — слова Екатерины Великой, адресованные Д. Фонвизину).

Высказывания искомого типа, а также призывы и лозунги: отсутствуют.

22. Пакт Лаврова-Машаля 13 марта 2006 года (стр. 119–125)

Информационный повод: публикация статьи министра иностранных дел России С. Лаврова «Россия в глобальной политике» и официальный прием одного из лидеров ХАМАСа Халеда Машаля в Москве.

Тема: смена ориентиров во внешней политике, переход от поддержки США к поддержке исламских фундаменталистов.

Вывод-прогноз: «...в глазах исламофашистов, ведущих священную борьбу с Западом, Россия всегда останется частью этого ненавистного Запада, причем наиболее уязвимой, а потому и наиболее привлекательной для экспансии. За 1939 годом обязательно последует 1941-й... Пакт Молотова-Риббентропа поставил Россию на грань гибели. Русский Бог, русский мороз и невероятные мужество и жертвенность русского народа спасли ее в 1941–1942 годах. Ценой победы стали многие миллионы жизней. Пакт Лаврова-Машаля и очередной «выбор сердцем» кремлевских вождей могут иметь не менее серьезные последствия».

Аллюзии: «кремлевского горца и его тонкошеих вождей» («Мы живем, под собою не чуя страны...», стихотворение О. Мандельштама), «свирепый гунн жег города и мясо белых братьев жарил» («Не сдвинемся, когда свирепый гунн / В карманах трупов будет шарить, / Жечь города, и в церковь гнать табун, / И мясо белых братьев жарить!..» — «Скифы», А. Блок).

Высказывания искомого типа, а также призывы и лозунги: отсутствуют.

23. Последняя развилка Путина. 21 марта 2006 года (с. 126–130)

Информационный повод: Продажа Москвой Ирану зенитных комплексов «Тор М-1» и интервью по этому поводу исполняющего обязанности премьер-министре Израиля Эхуда Ольмерта «Эху Москвы».

Тема: негативные последствия этой продажи для мировой политики. Вывод: только Путин может повлиять на расстановку сил на Ближнем Востоке («Ахмадинеджад не захочет ничего изменить. Ольмерт не сможет. Остается один человек. Он может заморозить ракетную сделку, остановить тикающий часовой механизм, дать больше времени всем — европейским дипломатам, иранским муллам, израильским военным. Но может и соблазниться как президент "великой энергетической державы" ценой в несколько сот баксов за баррель нефти. Владимир Путин оказался весной 2006 года у самой главной развилки своей удивительной и загадочной судьбы и карьеры»).

Высказывания искомого типа, а также призывы и лозунги: отсутствуют.

24. Политрук и особист. 6 апреля 2006 года (стр. 131–135)

Информационный повод: победа Лукашенко на выборах.

Тема: вхождение Белоруссии в состав России.

Вывод-прогноз: «Очередной пароксизм "объединения с Белоруссией" закончится не только падением Лукашенко, но и крупнейшим политическим провалом путинского режима. Окончательно оттолкнув вслед за Украиной и Белоруссию, путинская Россия останется на постсоветском пространстве только с кокойтыми и Кадыровыми».

Высказывания искомого типа, а также призывы и лозунги: отсутствуют.

25. Путияма и конец Истории. 6 мая 2006 года (стр. 136–138)

Информационный повод: выступление Андрея Илларионова в Вильнюсе 4.05.2006 г.

Тема: исторический путь России: она — часть Европы или особая Ойкумена?

Вывод-оценка: «Завороженные материальными плодами западной цивилизации евразийские вожди с презрением отвергали ее корни — все эти тысячи раз оплеванные ими европейские ценности, которые давно бы уже стали русскими ценностями в России Андрея Курбского. Царь Владимир тоже недолго увлекался модернизационными мечтаниями своего советника Андрея... Мы уже не строим ни Царство Божие, ни Коммунизм, ни Рыночную Экономику. Мы даже не удваиваем ВВП. Мы — Великая Энергетическая Держава. Мы уже приехали».

Аллюзии: «Мы уже в Хопре» (из рекламного ролика одной из финансовых пирамид), «Путин-Фукуяма», «Путияма и конец Истории» («Конец истории», Ф. Фукуяма).

Высказывания искомого типа, а также призывы и лозунги: отсутствуют.

Таким образом, в статьях А. Пионтковского, собранных в книге «Нелюбимая страна», высказывания директивного типа (с призывами, пожеланиями, побуждениями), адресованные читателям, отсутствуют. (В одной из статей имеются иронические призывы к российскому и американскому президентам). Равным образом в статьях не проявляются и директивные интенции; содержание статей располагает к размышлениям и оценкам, но не к действиям. Предлагаемые автором на собственном примере политические действия не выходят за границы правового поля: «В программные документы партии "ЯБЛОКО" внесено по моему предложению требование "отстранения от власти путинского режима всеми возможными конституционными средствами"».

В статьях А. Пионтковского отсутствуют высказывания, направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, отсутствует пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии.

Исключительным объектом критических высказываний и негативных оценок А. Пионтковского являются российские власти и их наиболее известные представители.

Изложенные выше выводы расходятся с выводами, сделанными в лингвистическом исследовании № 17/6826-лингв от 22 января — 16 марта 2007 г., подписанном С. М. Федяевым, и в тексте о «социально-психологическом изучении» книги Пионтковского. подписанном Т. И. Шульгой. Определить причину расхождения в выводах не представляется возможным, так как С. М. Федяев и Т. И. Шульга не привели в текстах исследований никакой аргументации сделанных ими выводов (в исследовании Т. И. Шульги — по сути только выводы).

Выводы

1. В книге «Нелюбимая страна» А. Пионтковского, изданной ООО «Полюс», не имеется высказываний, содержащих признаки возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной розни, а также пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии.

2. В книге А. Пионтковского не имеется высказываний, содержащих признаки возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной розни, а также пропаганды исключительности, превосходстве либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии, выраженных в форме призыва к осуществлению таких действий, обоснования осуществления таких действий или оправдания осуществления таких действий.

Эксперты: А. А. Смирнов, Ю. А. Сафонова, О. В. Кукушкина
05.12.2008 12:20

Корректор — *Ю. Н. Маслов*
ЛР № 066469
Подписано в печать 13.04.2009. Формат 60x90/16. Бумага типографская.
Гарнитура «Таймс». Печ. л. 32,00. Тираж 1500 экз.
Заказ № 596

Отпечатано в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6. Заказ № 849

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

«КОНТИНЕНТ»

принимается во всех отделениях связи России.
Наши подписные индексы

71682 *(годовая подписка)*, 73218

в красно-бело-синем каталоге «Роспечати»

В помещении редакции «Континента» (ул. Плющиха, 27, кв. 1) можно оформить льготную подписку на журнал с любого номера и на любой срок – при условии получения выходящих номеров в редакции.

В редакции «Континента» можно приобрести также отдельные номера журнала прошлых лет.

Время работы редакции: с 13:00 до 17:00 по будням.

В МОСКВЕ журнал «Континент» продается:

"КНИГА" – Нижняя Радищевская, 2; тел. 915.11.45

ЖУРНАЛЬНЫЙ КИОСК "НОВОЙ ГАЗЕТЫ" –
Страстной бульвар, 8 (рядом с выходом из метро «Чеховская»)

ЛИТИНСТИТУТ книжная лавка –
Тверской бульвар, 25; тел. 694.01.98

"ПИРОГИ" – Никольская, 19/21; тел. 621.58.27

"ПРОЕКТ ОГИ" – Потаповский пер., 8/12, стр. 2; тел. 627.56.09

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "ЗНАМЯ" – Б. Садовая, 2/46; тел. 699.80.67

СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ книжный киоск –
ул. Покровка, 29, офис 38; тел. 623.03.80

"УМНЫЕ КНИГИ" – ул. Покровка, д. 27, стр. 1; тел. 916.28.14

"ФАЛАНСТЕР" – Мал. Гнездниковский пер., д. 12/27; тел. 749.57.21

ХРАМ КОСМЫ И ДАМИАНА В ШУБИНЕ –
Столешников пер., 2; тел. 629.52.62

ХРАМ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
НА УСПЕНСКОМ ВРАЖКЕ – Газетный пер., 15; тел. 962.05.63

В РЕДАКЦИИ «КОНТИНЕНТА» МОЖНО ПРИОБРЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДАНИЯ:

Аудиокнига Ольги СЕДАКОВОЙ «Две книги»

Издательство «АЗиЯ-ПЛЮС», СПб., 2008 г.

Аудиокнига включает в себя диск с авторским чтением стихов и музыкой композитора А. Вустина, а также книгу с текстами этих стихов, иллюстрированную фотографиями.

Книга Ольги СЕДАКОВОЙ «Музыка»

В книгу, изданную в «Русском міре» в 2006 году, вошли стихи, филологические и религиозно-философские эссе. Книга выпущена в серии «Литературная премия Александра Солженицына».

Книга Нелли БИУЛЬ-ЗЕДГИНИДЗЕ «Литературная критика журнала "Новый мир" А. Т. Твардовского (1958-1970 гг.)»

Издание Культурно-просветительского центра «Первопечатник», 439 стр. Докторская диссертация автора, защищенная на факультете славистики Женевского университета. Исследуется творчество ведущих критиков «Нового мира»: В. Я. Лакшина, Ю. Г. Буртина, И. И. Виноградова, А. Д. Синявского в контексте журнальной политики.

Книга Игоря ВИНОГРАДОВА «Духовные искания русской литературы»

Издательство «Русский путь», 2005 г., 672 стр. Автор предлагает галерею масштабных мировоззренческих портретов русских писателей и мыслителей XIX-XX веков от Лермонтова и Писарева до Солженицына и Искандера. Книга обращена к духовным проблемам нашего времени — прежде всего к проблемам того «открытого сознания», которое свойственно современным людям, в подавляющем большинстве своем живущим вне мира религиозной веры. Книга для всех духовно вменяемых наших современников, которые не утратили способности терзаться высшими загадками бытия.

Книга «ХРОНИКА КАЗНИ ЮРИЯ ГАЛАНСКОВА (в его письмах из зоны ЖХ-385, свидетельствах и документах)». *Составитель, автор вводной статьи и комментариев — Геннадий Кагановский.*

Книга выпущена издательством «Аграф». Поэт, мыслитель, подвижник Ю. Галансков погиб в мордовском лагере строгого режима в возрасте 33 лет на шестом году заключения. Его письма из-за колючей проволоки, а также другие материалы, сопряженные с кульминационным периодом жизни Галанскова (пребывание под следствием в Лефортовском изоляторе, судебный процесс, лагерные хождения по мукам), позволяют читателю составить представление об этой яркой неповторимой личности, о том времени и о том режиме, которые предопределили его мучительный путь.

Также имеются в продаже
остатки тиража некоторых номеров «КОНТИНЕНТА» с 1993 года

Звоните и приходите!

Тел. (499) 248.62.35 **Адрес:** ул. Плющиха, д. 27, кв. 1

Время работы редакции: с 13:00 до 17:00 по будням.

ВНИМАНИЕ!

ДЕТСКОМУ ДОМУ слепоглухонемых
требуется помощь.

◆

Привозить и присылать можно все,
кроме одежды и игрушек, —

перевязочные средства, медикаменты,
стиральные порошки, постельное белье,
средства личной гигиены, присыпку, детский крем,
памперсы всех размеров —

по адресу:

141300
Московская область, г. Сергиев Посад,
ул. Пограничная, д. 20,
детский дом слепоглухонемых,
Епифановой Галине Константиновне

❖

20009
№ 1

«КОНТИНЕНТ» № 139, 512 стр., подписные индексы в каталоге Роспечати 73218, 71682